

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ



ПИСАТЕЛЬ
И ВРЕМЯ



4

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

26 мая 1987 года в Вологде отмечается День славянской письменности — общий праздник братских славянских народов, посвященный великому изобретению Кирилла и Мефодия — славянской азбуке.

Славянская кириллица совершила подвиг во имя цивилизации, гуманизма, во имя сближения народов. Буквы кириллицы не истощили своей скрытой человекотворческой энергии. И сегодня они окрыляют наше стремление к новым высотам.

Жив народ, пока жива его историческая память, а вещее слово, рожденное славянами, особенно нужно и бесценно сейчас, во дни растления человека массовой культурой — этой всепожирающей ржавчиной двадцатого века.

Виктор Астафьев.

Веселин Иосифов.

КИРИЛЛИЦА

1 2
А Б В

аа буки веди

3 4 5 6 7 10 8 20
Г Д Е Ж С З И Н К К

глагол добро есть живете зело земля и иже дервь како

40 70 200 300
Л М Н О П Р С Т Ў

люди мыслете наш он покой рцы слово твердо ук

500 600 800 900 90
Ф Х Ѡ ѡ Ц Ц Ы Ъ Ш

ферт ха омега ша цы червь ер шта

Ь Ы Ъ Ю Ѡ Ю А Я

ерь еры ять ю я е юс малый юс большой

Ю ю Ѡ ѡ Ѡ ѡ 400
Ю ю Ѡ ѡ Ѡ ѡ

юс малый йотированный юс большой йотированный кси пси фита ижица



Кирилл и
Мерополь -
наши великие
друзья всегда
будут нас
объединять как
друзья, как наши
душевные братья.
Сергей Захаров

Богария дорога для меня как
и для каждого русского
не имперского исторического
чужака. Для крепости нашего
сродства необходимо было бы
подвига Союзники братья.
А сколько было и есть друзей
оружия зловит на дорожники
Друзья друзей!

Александр

Труднее для слабой
интеллигенции в Вологде - это
даже и не развитие из
аббревиатуры к историческим исто-
мечности, к истории, а через
это наше влияние на
судебную систему. Труднее
это для нашей страны и страны
общественности. В Круге

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

**СБОРНИК
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОЗЫ**

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1988

Составитель
И. Г. ПОДСВИРОВ

Художник
АРКАДИЙ РЕМЕННИК

Писатель и время.: Сборник документальной прозы.—
П 34 М.: Советский писатель, 1988.—528 с.
ISBN 5—265—01091—2

В четвертом выпуске сборника «Писатель и время» в страстных выступлениях Л. Леона, Ю. Бондарева, Д. Гранина, В. Астафьева, Б. Олейника, Т. Каипбергенова, В. Пиккуля, В. Яворовского и других отражены важнейшие проблемы перестройки, защиты культурного наследия и исторической памяти, раздумья о 1000-летию крещения Руси и возрождении праздника славянской письменности в нашей стране, о днях памяти А. С. Пушкина. Обзор «Вокруг поворота» посвящен многолетней дискуссии о переброске стока северных рек на юг, грозящей непоправимым бедствием, экологической катастрофой.

4702010201—405
П _____ 103—88
083(02) — 88

ББК 84 Р7

ОТЕЧЕСТВО



«МНЕ НУЖЕН ПУШКИН,
НУЖЕН, КАК РОССИЯ»¹

— Дмитрий Сергеевич, когда мы с вами работали над фильмом «Дома у Пушкина», а съемки проходили в самый разгар реставрации последней квартиры поэта, то многие сомневались, стоит ли показывать ее в таком, можно сказать, «обнаженном» виде, без мебели, книг, мемориальных вещей.

— Мне кажется, что мы тогда получили уникальную возможность увидеть и показать квартиру Пушкина на Мойке в ее обнаженно-доподлинном виде, какой ее никогда больше увидеть не удастся. Перед нами открылись совершенно неожиданные, неизвестные вещи. Нина Ивановна Попова, хранитель дома на Мойке, рассказала об интересных находках, которые были сделаны во время реставрации. Они свидетельствуют и о полутора-вековой жизни самого дома, и о быте Пушкина и его семьи. Мне кажется, что целый ряд археологических фрагментов — живых свидетелей ушедшей эпохи — надо после реставрации сохранить, ведь замечательно интересно увидеть какие-то детали, будь то кусок старых обоев, неожиданно найденное окно, там, где была глухая стена или что-то еще.

Здесь встает принципиальная проблема мемориального музея. Ведь можно создать, так сказать, типологический музей. Обставить его мебелью пушкинской поры, театрализовать, декорировать — но это будет музей быта, а не музей Пушкина. Можно, конечно, оставить лишь подлинные вещи, но их немного, и организаторам музея будет очень непросто ограниченными средствами добиться достоверности и дать посетителям материал для раздумий.

Надо найти компромиссное решение, золотую середину. В таком музее, как квартира на Мойке, должны быть, конечно, подлинные вещи, их следует тактично дополнить типологическими предметами, как сделано это с книгами библиотеки поэта (она ведь представлена на Мойке дублями пушкинских книг), и, безусловно, в экспозиции должна присутствовать археология, рассказывающая об истории дома, его судьбе и в послепушкинское время.

— А лично у вас что-нибудь связано с этим самым пушкинским местом Ленинграда?

¹ Из письма читателя в газету «Советская Россия».

— Конечно, ведь я старый петербуржец. Всю жизнь я живу в этом городе, и это одно из любимых мест моих прогулок. В старости хочется ходить в те места, где бывал в детстве. Здесь еще до революции и до первой мировой войны я бывал с отцом. По воскресеньям мы ходили смотреть развод караула в Зимнем дворце, смотреть и слушать, потому что караул шел во дворец через ворота (развод совершался во дворе) при оглушительном звуке оркестра. После Дворцовой площади мы шли сюда, к окнам пушкинской квартиры, сюда часто приводили детей, здесь не было еще ни музея, ни памятной доски.

Но все петербуржцы знали, что тут умер Пушкин. И приводили детей посмотреть на окна этой квартиры.

Я не специалист по жизни и творчеству Пушкина, моих знаний о Пушкине не больше, чем у любого русского человека, моя специальность — древнерусская литература, но постоянно возвращаюсь мыслями к Пушкину, постоянно тянет прийти сюда. Я помню, как в доме на Мойке уже в тридцатые годы, когда я начал работать в Институте русской литературы, здесь было уже несколько музейных комнат и появился замечательный музейный организатор — Борис Валентинович Шапошников. Он был директором нашего музея в Институте русской литературы и здесь на Мойке работал по созданию музея-квартиры Пушкина.

Мне кажется, что он обладал абсолютным музейным чутьем, как люди обладают абсолютным слухом в музыке. Это был совершенно замечательный человек по своему вкусу, именно музейному вкусу, по умению делать экспозиции, создавать музеи.

Потом наступили дни Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года в Мойку, рядом с квартирой Пушкина, попала бомба. Набережная дала трещины, дом был под угрозой, и мы, сотрудники Института русской литературы, пришли сюда, чтобы спасти вещи, экспонаты, мебель. Я тащил со всеми диван — это я очень ясно помню. Потом с трудом достали грузовик, чтобы перевезти вещи в Пушкинский дом. Так что и я совсем немного, но причастен к судьбе музея на Мойке.

— Ведь этот район Ленинграда можно считать как бы пушкинским. И вид из окна его последней квартиры, быть может, самая достоверная его часть. Здесь буквально все напоено Пушкиным, причастно к его жизни, биографии. Дом Пушкина за углом, дом Аракчеева, а за ним Зимний дворец. А во времена Пушкина Зимний был виден из окон его дома.

— Из окон квартиры Пушкина был виден Зимний дворец. Поразительно. На многие размышления может натолкнуть эта, казалось бы, случайность. Дома Аракчеева, который сейчас закрывает дворец, не было, и Пушкин мог видеть обитель царя. Поэт и царь. Ведь именно Пушкин изменил во многом это соотношение. Положение его предшественников было иным. Они получали высочайшие подарки, дорогие табакерки, перстни, обязаны были писать оды и т. д. А Пушкин ощущал себя независи-

мым. Он высоко ставил дело чести поэта и чувство чести поэзии. Ибо поэт и поэзия неразлучны.

Пушкин осознал свою силу как поэта, а без этого сознания не может быть истинного творчества. Вот к каким мыслям приводит это противостояние Мойки и Зимнего дворца, не в житейском смысле, конечно, а в смысле высоком, духовном.

— Но его вдруг назначают камер-юнкером. Николай Первый решил свести его положение к положению поэта придворного.

— Пушкин оскорбился, что его, поэта, царя, низводят до какой-то табели о рангах. Почему царя? Я часто думаю над его строкой: «Ты, царь,— живи один!» Как нужно ее понимать? Поэт ощущал себя царем в царстве литературы. Это поразительно сказано Пушкиным. Осознавая себя царем, в одиночестве равным со всеми, он как бы замыкается в своем творчестве и ощущает себя властителем не подданных, а властителем мира всего, не только поэтического.

Царем над русской историей — в какой-то мере потому, что ведь он же выступает в качестве судьи, и судьи над Пугачевым, над Петром, над Борисом Годуновым. Он вершит суд свой. Это совершенно замечательное ощущение себя как царя духа, одинокого царя, взирающего на Россию, который может сказать словами письма к Чаадаеву, что он никогда не променяет русскую историю ни на какую иную.

Вот почему он оскорбился, а не потому, что перерос возраст камер-юнкера. Бывали они и старыми.

А ведь Пушкин был поэт-пророк. Впрочем, великие поэты России были пророками — и Лермонтов, и Блок.

Именно это и дало Аполлону Григорьеву право сказать, что «Пушкин — это наше все». Будем всегда помнить эти слова.

— А что, Александрийская колонна была видна из его квартиры?

— Видна была с набережной Мойки. Но это неважно. Важно, что Александрийский столп был недалеко. Ведь вы помните, как начинается у Пушкина:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа.
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

А что такое Александрийский столп? Ведь этого даже многие ленинградцы не знают. Я помню, когда я учился в университете, нам преподавал английский язык мистер Клер, настоящий англичанин, и вот он говорил нам: «У вас нет патриотизма, у вас, у студентов, у русских, нет патриотизма. У нас каждый англичанин знает, что такое Нельсонова колонна и кто там стоит на Нельсоновой колонне, а вы не знаете, в честь чего Александрийский столп воздвигнут».

Мы начинаем гадать. Одни говорят, что в честь взятия Парижа, другие — в честь возвращения русской армии из заграничного похода, и так далее.

Он берется за бока и хохочет. «Вот,— говорит он,— вы же не знаете, сколько букв в русской азбуке, я вас спрашиваю, вы не знали, вы и тут не знаете самой большой достопримечательности в Ленинграде. Ведь даже Нельсонова колонна на одну треть ниже монолита Александрийской колонны. Она самая большая в мире, это самый крупный монолит в мире. Это же памятник императору Александру Первому».

А теперь вдумаемся в строку Пушкина,— значит, памятник поэту, воздвигнутый им, выше памятника императору.

«Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Это значит, что поэзия, царство поэзии больше и выше, чем власть императора. И это утверждение свободы духа, которое необходимо царству поэзии. Пушкин осознавал себя национальным поэтом, выразителем народных дум, понимал свое предназначение. Он действительно был пророк, кажется, что он знал будущее. Но несомненно, что полное осознание своего предназначения пришло к нему, когда он занялся русской историей, стал интересоваться отношением народа и государства, народа и царя. Это выразилось и в «Борисе Годунове», и в «Капитанской дочке», истории Петра, истории Пугачева — здесь Пушкин выступает и как историограф, и как пророк, он остается верен своей концепции поэта-пророка.

— В последнее время нет-нет да поднимаются вновь вопросы: а надо ли углубленно постигать биографии поэтов и писателей? Некоторые критики, журналисты, скажем прямо, более бойкие, чем глубокие, публично заявляют, что исследование личной жизни писателя это лишь «суета у черного хода». Возможно, и не стоило бы даже замечать людей, так утверждающих, если бы не наносили они прямой, осознанный вред нашей культуре — после подобных публикаций испуганные издатели начинают всячески тормозить издания биографий писателей, затрудняется и дело с созданием мемориальных музеев.

— Вы затронули чрезвычайно принципиальный вопрос, и я рад, что поднят он именно в связи с Пушкиным. И дело в том, что такие выступления обнажают тревожную тенденцию пренебрежения к биографическому исследовательскому жанру. А это в корне неверно. Ведь поэзия и поэт в новое время неразрывно связаны. Мы удешевляем силу поэзии, когда узнаем жизнь поэта, подробности его биографии. Поэтому так велика читательская потребность в мемуарной литературе, поэтому читатели так интересуются биографией Пушкина, жизнью Лермонтова, всеми обстоятельствами ухода и смерти Л. Толстого, судьбами Достоевского и Блока.

— А почему вы сказали о «новом времени»?

— О, в древнее время было совсем по-другому. Я, специалист по древнерусской литературе, точно могу сказать, что тогда произведение жило отдельно от автора, может быть, за исключением «Поучения Владимира Мономаха», которым, кстати сказать, очень интересовался и которое ценил Пушкин, и за исключением «Слова о полку Игореве», которым Пушкин здесь, в этой комнате на Мойке, занимался последние месяцы своей жизни.

Произведения без автора — чудная вещь, удивительная. Былины, например, существуют без создателя, их сам народ создал. Но ни «Евгений Онегин», ни «Медный всадник» невозможны без Пушкина. Как невозможны и «Руслан и Людмила», и лицейские стихи. Одно дело читать эти произведения, когда ничего не знаешь о Пушкине, другое дело читать их, когда знаешь жизнь Пушкина, помнишь, в каких обстоятельствах было написано то или иное произведение. Ведь правда же это так — поэт и поэзия связаны. Связаны до сих пор, и любая тень, набрасываемая на поэта, накладывается и на его поэзию. Вот это не всегда все сознают, а между тем это крайне важно, крайне важно, и Пушкин это прекрасно понимал. И потому был так последователен и беспощаден в защите чести своей и Натальи Николаевны. Ведь, защищая себя и жену, он еще и поэзию, и бессмертие свое защищал от циников и пошляков.

— А ведь очень интересно, что почти сразу после женитьбы Пушкин снимает дачу Китаевой, ближайшую к Царско-сельским паркам, и приводит туда молодую жену.

— И все это он делает с главной целью — рассказать, нет, не рассказать, а показать Наталье Николаевне свою лицейскую юность, свое отрочество, все, что было связано с самыми счастливыми днями его жизни. Он как бы дарит ей время, проведенное в Лицее, знакомит со своими лицейскими товарищами, учителями. Живая память о былом приходила здесь к поэту, и он делился ею с Натальей Николаевной. А память эту составляли природа, памятники, то есть русская история, сливавшаяся с природой, и его личная история, которой было буквально напоено это место.

— Дмитрий Сергеевич, вы в книге «Поэзия садов» неоднократно обращаетесь к имени Пушкина. Но тема «Пушкин и «сады Лицея», мне кажется, вас наиболее интересует.

— Действительно, это очень важная и очень непростая тема. Ведь лицейская лирика Пушкина своими темами и мотивами тесно связана с царскосельскими садами. И царскосельские сады, и лирика Пушкина в значительной мере зависели от общих им поэтических «настроений эпохи», а само пребывание молодого поэта в «садах Лицея» несомненно воздействовало на его лицейскую лирику.

Но вначале скажем, что же это такое — «сады Лицея», о которых Пушкин говорит в восьмой главе «Евгения Онегина».

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал...

Даже Владимир Набоков, не говоря уже о других толкователях, не пошел в понимании слов «сады Лицея» дальше, чем определив их как «сады, примыкающие к Лицею». Но в понятии «сады Лицея» есть примечательные оттенки. Ведь сады были непременной принадлежностью лицеев и академий начиная со времен Платона и Аристотеля.

Понимание «садов Лицея» как садов, традиционно связанных с учебными заведениями, садов Аристотеля и Платона было живо и в представлениях царскосельских лицейцев.

И. И. Пущин писал, вспоминая, как его отдавал в Лицей его дед: «Старик с лишком восьмидесятилетний хотел непременно сам представить своих внучат, записанных по его просьбе в число кандидатов Лицея, нового заведения, которое самым своим названием поражало публику в России,— не все тогда имели понятие о колоннадах и ротондах в афинских садах, где греческие философы научно беседовали со своими учениками».

— Когда Пушкин говорил «сады Лицея», он, наверное, подразумевал под этим понятием и архитектуру Царского Села?

— Следует обратить внимание на то, что Пушкин говорил о «садах Лицея» во множественном числе. Очевидно, что Пушкин не ограничивал территорию «садов Лицея» каким-либо одним садом, а имел в виду все дворцовые сады Царского Села, которые были в ближайшем окружении: Лицейский садик, Старый (или Голландский) сад, пейзажный Екатерининский парк и Александровский. В отдалении к ним примыкал и Павловский парк, поскольку Пушкин бывал в нем и по крайней мере одно из его лицейских стихотворений было непосредственно связано с Павловском: «Принцу Оранскому».

Царскосельские сады были по преимуществу садами голландского барокко и поздней разновидности барокко — рококо. На барочном характере садов Царского Села следует остановиться особо, так как с этим связано особое понимание Пушкиным и его друзьями-лицейцами всего их эмоционального и семантического строя, широко отразившегося в поэзии Пушкина-лицейца.

Для русского барокко и особенно рококо Растрелли существенное значение имело древнерусское золочение маковок и различных архитектурных деталей. Золото соответствовало той же эстетике барокко: оно давало разнообразные эффекты в зависимости от освещения, было различным в различное время дня, при различной погоде, утром или в закатных лучах, при густой летней листве и редкой осенней, при весенней окраске листвы и осенней, при снеге или дожде. Золото было различным — мокрое от дождя или тумана, сухое при облачном небе и в ветреный день,

когда оно беспрерывно менялось от освещения или когда было ровно и спокойно освещено в пасмурный день. Совершенно особых эффектов достигало золото в сочетании с белым снегом: видимое через спокойно падающий снег или как бы движущееся в метели.

Совершенно неправильно представление о том, что золотом достигался только эффект богатства, пышности и «ювелирности» дворца.

По старым фотографиям и по личным впечатлениям я знаю, что даже тогда, когда золота на Екатерининском дворце в Царском Селе уже не было, а капители, базы, кариатиды были грубо окрашены в желто-коричневый цвет, созерцание садового фасада дворца через черные полуторастолетние стволы и зелень лип доставляло редкостное эстетическое наслаждение. К сожалению, при «реконструкции» сада липы, даже находившиеся в хорошем состоянии, были спилены, чтобы без особой нужды «раскрыть вид на фасад» (напомню, что противоположный парадный фасад Екатерининского дворца всегда оставался открытым и легко обозримым, следовательно, особой нужды «раскрывать вид» не было).

— «Сады Лицея» — неотъемлемая и драгоценная часть пушкинских памятников под Ленинградом. А как конкретно отразились они в его лирике?

— Своим известным словом о «садах Лицея» Пушкин придал несколько иронический характер, указав, что свое образование в них он сочетал с некоторой свободой от школьных требований: «читал охотно Апулея, а Цицерона не читал». То же соединение «школы» с образом садов встречаем мы и в стихотворении 1830 года «В начале жизни школу помню я», в котором он говорит как раз о своем восхищении: «все кумиры сада на душу мне свою бросали тень». Напомню, что в первоначальном наброске этого стихотворения сад и школа соединены еще отчетливее. Набросок начинается строкой: «Тенистый сад и школу помню я». Тем самым уже в зрелые годы Пушкин сохранил то отношение к Лицею, которое воплотилось у него в лицейских стихотворениях, где подчеркнут дух свободы и свободной природы.

Образы «садов Лицея» глубоко пронизывают собой всю лицейскую лирику Пушкина. Здесь и «берега спокойных вод» («Послание к Галичу»), «темный берег сонных вод» («Мое завещание друзьям»), «ложе маков и лилий» (там же), «злачны нивы», «ручеек игривый», «под кровом лип душистых» («К Наташе»), «среди темной рощицы, под тенью лип душистых» («Леда»), журчание ручьев, дремлющие воды, зеленые склоны холмов и т. д.

Понимание Пушкиным «садов Лицея» как садов свободы, вольности и наслаждения, тишины, отчасти воспитанное новыми идеями английских либералов, было характерно не только для Пушкина. Дельвиг в 1817 году обращался к своим лицейским друзьям с такими стихами:

Я редко пел, но весело, друзья!
Моя душа свободно разливалась.
О Царскосельский сад, тебя ль забуду я?
Твоей красой волшебной оживлялась
Проказница фантазия моя,
И со струной струна перекикалась,
В согласный звон сливаясь под рукой,—
И вы, друзья, любили голос мой.

В эпоху романтизма было принято наполнять сад различного рода личными воспоминаниями и памятниками. В памятных местах возлагались цветы, клались какие-либо сувениры, на ветки деревьев вешались венки, ленты, свирели и пр. Аналогичное украшение деревьев упоминается в стихотворении Пушкина «Другу стихотворцу»: «Зубчатый меч висел на ветви мрачной ивы...» (1814).

Из скульптур и памятников Царского Пушкин откликается главным образом на исторические — памятники русским победам. Отчасти это объясняется тем, что Павел I увез из Царского большинство мифологических статуй и сады Лицея вообще были ими сравнительно небогаты во времена Пушкина. Памятники русским победам — это другая, очень важная сторона чувствительности Царского. Их было в Царском немало.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что памятники русским победам изображаются Пушкиным в «Воспоминаниях в Царском Селе» в оссиановском духе.

«Воспоминания...» начинаются с картины столь характерной для Оссиана ночи:

Навис покров угрюмой ночи
На своде дремлющих небес...

И далее идут образы, типичные для Оссиана:

С холмов кремнистых водопады
Стекают бисерной рекой...

Чесменский памятник

...окружен волнами,
Над твердой, мшистою скалой
.
Кругом подножия, шума, валы седые
В блестящей пене улеглись.

О кагульском обелиске говорится:

В тени густой угрюмых сосен
Воздвигся памятник простой.

Сосны реально окружали когда-то кагульский обелиск, но эпитет «угрюмые» подчеркивает их характерность для оссианического пейзажа.

Характерно также заканчиваются стихи «Воспоминания в Царском Селе». В. А. Жуковский назван в них «скальдом», и

это не оставляет сомнений в том, что многочисленные оссианические образы и мотивы «Воспоминаний...» употреблены вполне сознательно:

О скальд России вдохновенный,
Воспевший ратный грозный строй,
В кругу товарищей, с душой воспламенной,
Греми на арфе золотой!
И снова стройный глас героям в честь прольется,
И струны гордые посыплют огонь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца.

Несмотря на наличие памятников русским победам, «садом пышности» Голландский сад перед Екатерининским дворцом никогда не был, но совмещение архитектурного стиля с пейзажным в «садах Лицея» происходило во времена Пушкина тем легче, что деревья в Голландском саду уже достаточно разрослись. Совмещение обоих стилей отнюдь не уменьшало силу воздействия «садов Лицея» на поэзию Пушкина, особенно в его лицейских стихах.

— И если подвести итог, то чему же научили Пушкина царскосельские парки и чему они учат нас сейчас, как должны мы, люди, живущие в конце XX века, относиться к этим замечательным памятникам?

— Царскосельские сады научили Пушкина сладости воспоминаний, связали поэзию Пушкина с постоянными реминисценциями прошлого и научили его ценить вольность.

Воспоминания рождала в нем не только пейзажная часть Екатерининского парка, но и Старый (Голландский) сад с его удивительной гармонией регулярности и свободы, начал, идущих от человека и от природы. В пейзажной части парка были по преимуществу героические памятники, памятник военной славы России, в старом же саду — античные символические и аллегорические фигуры:

Все — мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры...

В 1829 году Пушкин писал:

Воспоминая смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой...

Царскосельский парк был парком воспоминаний и, как указывает И. Ф. Анненский в своем замечательном очерке «Пушкин и Царское Село», тема воспоминаний стала ведущей темой поэзии Пушкина: «...именно в Царском Селе, в этом парке «воспоминаний», по преимуществу, в душе Пушкина должна была впервые развиться склонность к поэтической форме воспоминаний, а Пушкин и позже всегда особенно любил этот душевный на-

строй», вызываемый «сумраком священным» тенистых деревьев.

Прекрасно сказала Анна Ахматова о Пушкине и царско-сельских садах:

Смуглый отрок бродил по аллеям
У озерных глухих берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен гулко и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

В пушкинских парках надо хранить эстетический идеал молодого Пушкина и живую память о нем.

Подумайте, Пушкин, женившись, поехал именно в Царское Село. Он хотел поделиться с Натальей Николаевной своими отроческими и детскими воспоминаниями, побродить с ней вместе у озерных берегов, это очень хорошо уловила Ахматова, именно у озерных берегов пейзажных парков мечтательность пронизывает поэзию Пушкина. Пушкин был связан не с регулярными парками, а именно с пейзажными, и все, даже маленькие, отрывки стихотворений Пушкина, посвященные парку, все они связаны с теми или иными пейзажными мотивами.

— Природа царскосельских парков и пейзаж Михайловского — как они, казалось бы, столь различные, сосуществуют в поэзии Пушкина?

— Пушкин сознательно открыл природу в царскосельских парках, а затем перешел в русскую деревню. Простой русский пейзаж Пушкин знал еще в раннем детстве, в Захарове, но сознательное открытие русской природы произошло в Михайловском и Тригорском. Вот почему они святы для каждого русского человека.

Природа Святых Гор (теперь Пушкинских Гор) служит как бы комментарием к многим стихам Пушкина, к отдельным главам «Евгения Онегина», освящена встречами здесь с его друзьями, с Ариной Родионовной, с крестьянами. Воспоминания о Пушкине живут здесь в каждом уголке. Пушкин и природа здешних мест в дружном единстве творили здесь новую поэзию, новое отношение к миру, к человеку! Хранить природу Михайловского и Тригорского — со всеми деревьями, лесами, озерами и рекой Соротью — мы должны с особым вниманием, ибо здесь, повторяю, совершилось поэтическое открытие русской природы.

Пушкин, идя от природы России, постепенно открыл для себя русскую действительность.

Изменить что-либо в Михайловском и Тригорском да и вообще в пушкинских местах бывшей Псковской губернии нельзя, так же как и во всяком дорогом нашему сердцу памятном месте. Даже и драгоценная оправа здесь не годится, так как

пушкинские места — это только центр той обширной части русской природы, которую зовем Россией.

— Дмитрий Сергеевич, мы говорили о местах, связанных с Пушкиным в Ленинграде и его пригородах, на Псковской земле. Хотелось бы услышать ваше мнение о Москве: как здесь берегут память о великом поэте?

— Одним из замечательных событий культурной жизни стало открытие мемориального музея Пушкина на Арбате. Мы давно мечтали о нем. Этот музей создавался долго и трудно, и вот наконец он открыт. Это замечательный подарок всем любящим русскую литературу, русскую культуру. Теперь, видимо, надо думать о создании музея или концертного зала Государственного музея А. С. Пушкина в церкви Большого Вознесения, где венчался поэт. Для этого здание следует не откладывая освободить от арендуемого его учреждения и передать московскому музею поэта. Говоря о пушкинской Москве, я не могу не сказать о человеке, который много сил отдал созданию мемориальной квартиры Пушкина на Арбате. Это Марк Михайлович Баринов. Его готовил себе на смену А. З. Крейн. М. Баринов работал, к сожалению, очень недолго, директором Государственного музея А. С. Пушкина и всего себя отдавал служению памяти поэта. Писатель, журналист, моряк, он пришел к Пушкину уже в зрелом возрасте, и любовь его к русскому гению была действенной. В свое время именно с Марком Михайловичем делился я идеей создания в Москве «Пушкинского парка». Действительно, есть в Москве в пределах Бульварного кольца в буквальном смысле Пушкинский район. Определяется он не административными границами, а духовным содержанием. И рождается идея «Пушкинского парка», состоящего из нынешних бульваров, скверов в арбатских и кропоткинских переулках, ведущая нас к другому зеленому массиву в центре столицы — к Парку имени Горького.

Что же такое — «Пушкинский парк»? Прежде всего это будущее, недалекое будущее, которое мы должны создать для того, чтобы получить своеобразное Михайловское в Москве.

Человеку в наше время как никогда важно периодически, не от случая к случаю, переключаться на тишину, на природу и на высокие размышления. Это не доброе пожелание, это объективная необходимость, условие, при котором мы сумеем создать нравственное здоровье, активное, психически устойчивое общество коммунистического будущего.

Образ сада, Эдема, образ места уединения от суеты жизни всегда, во все времена был желанным. Сейчас такой сад жизненно необходим, его надо смело вводить в самые сердцевинные части современных городов, особенно современных сверхгородов.

Такой парк, непременно имеющий длительные пешеходные маршруты (обязательно для прогулок, а не садик для сидения на скамейках!), будет способен привлекать людей из квартир, чтобы

они сменили бездумное «расслабление» у телеэкрана на зеленую тишину, прогулки, размышления.

Для создания «Пушкинского парка» практически надо совсем немного: не сносить жилые кварталы, не перепланировать проспекты, не вести сложные строительные работы.

Создание парка я вижу в выполнении нескольких принципов.

Первый — тщательные работы садоводов-специалистов над превращением бульваров Тверского, Суворовского, Гоголевского в романтические парки.

Второй — создание непрерывного «зеленого» пешеходного маршрута от памятника Пушкину до Пушкинского музея на Кропоткинской улице.

Третий — переулки Арбата должны быть «зоной зелени и тишины» «Пушкинского парка». После уничтожения старых, малоценных построек здесь осталось много пустырей. Следует их тщательно засадить деревьями и кустарниками, составляющими фрагменты большого парка. Переулки должны стать, безусловно, пешеходными.

И наконец, четвертый принцип организации «Пушкинского парка» заключается в том, что все работники культуры, и в первую очередь сотрудники Государственного музея А. С. Пушкина, должны принять участие в создании парка, сделав все памятные места (ведь здесь не только пушкинские — здесь и дом Гоголя, и дом Аксаковых, и дом Герцена, и дом Блока) органическими, необходимыми составными частями этой огромной зоны духовной тишины. Все, о чем я говорю, в конце концов и не ново. Ведь были в свое время старые парки, в которых такими «опорами» духа были античные статуи, фонтаны, гроты, искусственные руины. В нашем обществе свободных людей, свободного духа иные символы, иные святыни. И потому я убежден, что «Пушкинский парк» будет. Дело только за тем, чтобы идея созрела в душах...

В создании «Пушкинского парка» или «Пушкинской зоны» не надо заниматься только украшательством, ставить, например, огромные фонари — нелепо, посреди улицы, и не надо превращать парковую зону в место бойкой торговли: только антикварные, книжные и букинистические магазины, сувенирные лавки, кафе для встреч и никакой шумной музыки.

Будущее живет в делах и планах сегодняшнего дня. Скоро великая годовщина — двухстолетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Пусть же нашим подарком любимому поэту и себе, детям и внукам, потомкам нашим будет «Пушкинский парк» в столице.

Вместе с М. М. Бариновым мы в 1982 году опубликовали в «Огоньке» материал, в котором поставили вопрос о создании в Одинцовском районе Подмосковья Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина — в Захарове и Больших Вяземах, где прошло его долицейское детство. Это одно из главных

пушкинских мест в нашей стране, и стыдно сказать, в каком ужасном оно находится состоянии. И вот через четыре года я читаю в «Правде» изложение письма секретаря Московского обкома КПСС В. Брисенкова, в котором говорится, что «бюро МК КПСС дана принципиальная оценка недостатков в деле охраны и использования мемориала пушкинских мест в Одинцовском районе... В настоящее время все вопросы, связанные с созданием Государственного Пушкинского музея-заповедника, находятся на рассмотрении в компетентных организациях». Прекрасно, что наконец-то сдвинулось решение вопроса о приведении в порядок пушкинского Подмосковья. Но кто виновен в годах проволочек, за которые многое безвозвратно утеряно, искажено, уничтожено, несмотря на то что в августе 1982 года Захарово принято на государственную охрану? Руководители Московской области давно и хорошо знали о том, что творится в Захарове и Больших Вяземах, об этом на протяжении многих лет бьют тревогу центральная пресса и телевидение, и только сейчас решили поставить вопрос о заповеднике.

Кстати, как следует из той же публикации в «Правде», решение этой проблемы предполагается половинчатое, на первом этапе пушкинские места становятся филиалом Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея. Почему? Для Звенигородского музея пушкинская тема чужда, не проще ли и, главное, целесообразнее организовать пушкинский заповедник в Подмосковье как естественную составляющую Государственного музея А. С. Пушкина в Москве, придав ему, конечно, соответствующие полномочия, штаты, средства? Это было бы государственное, разумное решение проблемы, а не попытка случайного, поспешного выхода из критической ситуации. Во многих городах, в том числе и Ленинграде, такие объединенные музеи прекрасно работают. К тому же Захарово и Вяземы, связанные с детством поэта, должны быть по преимуществу музеями молодежи. И здесь должна быть расположена Летняя Пушкинская школа, путевки в которую должны получать дети, решившие серьезно заниматься творчеством Пушкина.

— Мы беседуем с вами, Дмитрий Сергеевич, в канун печальной годовщины — 150-летия со дня гибели А. С. Пушкина. Те конкретные проблемы, которые мы затронули, не уведат ли в сторону от высокой и чистой темы осознания значения Пушкина для нас и наших потомков?

— Давно пора научиться не отрывать слов от дел. Я не помню времени, когда бы не говорили о любви к Пушкину, но, и я не раз уже это повторял, любовь должна быть действительна: каждый юбилей, особенно такой, какой мы отмечаем в февральские дни 1987 года, заставляет подвести некоторые итоги, собраться, сосредоточиться для движения вперед. В делах и планах сегодняшнего дня живет будущее, вот почему мы и в юбилейные дни говорим о делах. Ведь скоро великая годовщина — двухсотлетие со дня рождения Пушкина. Пусть же нашим подарком

любимому поэту, и себе, и детям, и внукам, потомкам нашим будут приведенные в порядок пушкинские места, новые издания его книг. Пушкинский театр, достойные поэта музеи... Я верю, нет, я уверен, что это будет один из краеугольных камней нравственного и патриотического воспитания подрастающего и грядущих поколений.

— Через несколько дней откроется для посетителей квартира поэта на Мойке. Сегодня Вы пришли сюда по приглашению музейных работников, чтобы познакомиться с новой экспозицией.

— Сейчас мы находимся здесь, в квартире, в последней квартире Пушкина. Здесь, где он умер, погиб, и говорить о нем сейчас мне очень трудно, поэтому я прошу извинить меня — здесь говорить необыкновенно трудно. Недавно было заседание Президиума Советского фонда культуры. Там разрабатывалась программа на 87-й год, и, по-моему, второй или третий пункт этой программы был посвящен теме «Пушкин и мы». Что это значит? Почему Фонд культуры выделил Пушкина? Не только потому, что это год 150-летия со дня гибели Пушкина, но и потому, что Пушкин — центральная фигура русской культуры...

Если бы пришлось делать, создавать праздник русской культуры — я думаю, что такой праздник когда-то будет сделан, — это будет день рождения Пушкина, День Рождения Пушкина. Потому что Пушкин сконцентрировал в себе все самые замечательные стороны, самые идеальные стороны русской культуры.

— Без Пушкина не существует русской литературы, ее традиционных форм. Пушкин создал вот этот усадебный роман, который так великолепно развили Тургенев и Гончаров. Пушкин создал все формы русской поэзии в ее наивысших проявлениях. И Пушкин приобщил русскую культуру к культуре европейской. Пушкин откликнулся на все самые важные явления мировой культуры — и Гафиз, и Байрон, и Фауст. И от каждого он взял самое характерное, самое типичное, самое острое, потому что, скажем, сцены из Фауста — это вещь вне сути гётевского произведения. Так же точно, как суть средневековья в «Скупом рыцаре», суть начала падения средневековья. Ренессанс Пушкина завершил длительный процесс русского Ренессанса и т. д., и т. д. То, что отметил Достоевский в своей чудной речи на торжествах, посвященных открытию памятника, в Пушкине все это сконцентрировалось. В Пушкине это проявилось как какая-то вспышка величия русской культуры и ее мирового значения.

Но вот что мне особенно тяжело — мы в колоссальном долгу перед Пушкиным. Вы подумайте, хорошо ли мы храним рукописи Пушкина? Только что были морозы, были протечки. В архиве протечки, где хранятся почти все рукописи Достоевского, Салтыкова-Щедрина, почти все рукописи Пушкина. И там капала

вода. Это же невероятно! Могли ли бы подумать в Армении, что в Матенадаране могло произойти что-нибудь подобное? Или в Институте грузинских рукописей? Почему мы храним так плохо рукописи наших писателей? Почему у нас нет настоящих аспирантов и аспирантуры по Пушкину? Почему у нас до сих пор нет настоящего академического издания Собрания сочинений Пушкина? Потому что то, что было и выходило лет сорок тому назад, это нас сейчас не может удовлетворить. Ведь мы текстологически изучили рукописи Пушкина плохо. Для того чтобы хорошо изучить рукописи Пушкина текстологически, надо историю заполнения тетрадей изучить прежде всего на нашем современном уровне текстологии. Этого ничего не сделано. Ушли великие пушкинисты прошлого: ушел Томашевский, ушел Бонди, ушел Благой, ушел Михаил Павлович Алексеев. Кто сейчас может сравняться с этими людьми? Это ведь наша вина. Мы не подготовили смены пушкинистов, и я думаю, что сейчас, в дни национальной трагедии — гибели величайшего нашего человека, — мы должны ощутить, что мы плохо относились к его памяти. Мы вовсе не так относимся к его памяти, как относятся к памяти Шевченко на Украине, как относятся к памяти Шота Руставели в Грузии. Мы не все сделали, что можно сделать, и это наша вина. Это наша огромная вина.

— «Пушкин и его время» — это огромный материал. И вот уже почти полтора века исследователи проникают в его тайны, стремясь приблизиться к загадке гения, постичь его жизненные и творческие связи. Какие проблемы стоят перед пушкинистами наших дней?

— Я бы даже расширил вопрос. По-моему, уровень пушкиноведения — лакмусовая бумажка развития отечественной науки о литературе. Сейчас Пушкиным занимаются очень многие: о нем пишут диссертации, биографии, стихи, романы, пьесы в стихах и прозе и т. д., и т. п. Но с сожалением должен отметить, что пушкинистов, казалось бы, немало, а уровень науки о Пушкине сейчас сравнительно невысок. Это настораживает. Ведь нас ожидают очень серьезные работы, связанные с Пушкиным. И прежде всего издание академического Собрания сочинений, создания Пушкинской энциклопедии и, конечно, написание полной научной биографии Пушкина, летописи его жизни. Вы понимаете, что я перечислил лишь некоторые задачи пушкиноведения. Но не только ученые должны участвовать в процессе расширения наших знаний о Пушкине, в воспитании любви к нему и понимания его произведений. Разве не прекрасна, например, идея создания Пушкинского театра, выдвинутая актером и поэтом Владимиром Рецептером? Действительно, в Англии есть всемирно известный Шекспировский театр, а мы до сих пор не имеем театра нашего национального гения — Пушкина. Его драматургия — это драматургия слова, ее необычайно трудно донести до зрителя. У актеров театра Пушкина должна быть высочайшая, одухотворенная и осмысленная, подчеркиваю, осмысленная школа чтения стиха, тек-

ста, пушкинского текста. Это был бы экспериментальный театр, и в этом тоже его важная роль.

Загадка театра Пушкина разгадывается, как мне кажется, тем, что это театр слова и мысли. Есть театр ситуаций, театр сюжетов, театр настроений, театр мысли, театр театра. Театр слова — один из самых трудных видов театра. Пушкина читать невероятно трудно, ибо его надо читать с предельной простотой, ни на минуту не забывая музыки стиха и драматизма мысли, заложенной во всем произведении и в каждом его отдельном слове.

Предложение Владимира Рецептера создать театр Пушкина — театр, где ставился бы Пушкин — один Пушкин или по преимуществу Пушкин, — не только «интересно» и «своевременно», эти два слова обычны в одобрениях подобных предложений, но и умно, ибо на Пушкине лучше всего учиться читать поэзию — в драматургической, лирической или эпической форме. Опыт Пушкинского театра был бы крайне важен для всех театров. На игре Пушкина проверялся бы актер и постановщик. Удачи и неудачи в пушкинских произведениях были бы показательны и поучительны. В. Рецептер не предлагает воссоздать яхонтовский «театр одного актера». Он предлагает нечто иное, но в чем-то близкое: создать театр одного автора, чтобы актеры учились на труднейшем тексте, а зрители сравнивали, вникая тем самым и в слово Пушкина, и в игру разных актеров, учились бы слушать, а не просто ожидать развязку.

— На VIII съезде писателей вы выступили с конкретными предложениями о переиздании произведений целого ряда русских писателей, чьи книги по тем или иным причинам долгое время были преданы забвению, не печатались. А существуют ли работы о Пушкине или его времени, которые необходимо вернуть к активной жизни?

— Я с огромным удовлетворением слежу за переменами, которые сейчас происходят, и по мере сил стремлюсь участвовать в процессе обновления, демократизации. Действительно, на VIII съезде писателей я назвал имена некоторых русских авторов, чьи книги надо издать и донести до читателей без излишнего шума и ажиотажа. Кое-что уже сделано, хотя в этом очень важном аспекте перестройки иные литературные деятели, облеченные чинами и должностями, усмотрели чуть ли не посягательство на основы литературной и общественной жизни. И я рад, что абсолютное большинство литераторов и читателей поддерживает тот ветер перемен, который врывается в атмосферу. Разве не симптоматично, что будет издано в приложении к журналу «Огонек» 12-томное Собрание сочинений Карамзина, куда войдет и его «История государства Российского»? Честь и хвала «Огоньку», проявившему инициативу в этом деле. Н. М. Карамзин, которого высочайше ценил Пушкин, наконец выйдет к самому широкому читателю.

Конечно, надо издать многие забытые очень хорошие иссле-

дования о Пушкине. Например, статьи о Пушкине пронзительно умного Владислава Ходасевича, особенно «Колеблемый треножник», да и ряд других работ. «Мой Пушкин», как сказала Цветаева, был у многих русских писателей, и как бы было интересно собрать в одну книгу наиболее яркие, концептуальные статьи и речи, выходящие за пределы собственно академического пушкиноведения, начиная, например, с бессмертной пушкинской речи Ф. М. Достоевского и гениального завещания А. А. Блока «О назначении поэта». Это была бы поистине провидческая книга.

— Одно из ваших выступлений называлось «Пушкин и мы». Что вы вкладываете в это понятие? Почему вы считаете, что тема «Пушкин и мы» бессмертна, а процесс расширения знаний о Пушкине, любви к нему безграничен?

— Пушкин — это лучшее, что есть в каждом из нас. Это доброта и талант, смелость и простота, демократичность и жизнелюбие, верность в дружбе и бескрайность в любви, уважение к труду и людям труда... И еще мы нежно любим и постоянно оплакиваем Пушкина потому, что он погиб за свои убеждения, за честь, за любовь. Погиб в бою, с оружием в руках.

Говоря про честь, я в первую очередь имею в виду бой за честь поэта, ибо не может ни уважать себя, ни жить, ни быть уважаемым и любимым читателями поэт с замаранной честью. Этот закон в полной мере действует и сегодня. Не будут ни уважать, ни любить поэта, как бы хорошо он ни писал, если он марает свою честь корыстолюбием, низкопоклонством или иными бесчестными качествами.

Я думаю о Бородине, о героях 1812 года. Современники Пушкина, многие из них — его близкие друзья. И в то же время никому из нас не придет на ум считать Багратиона и Кутузова, Раевского и Ермолова, Дениса Давыдова и Надежду Дурову своими современниками. Они наша славная, величаявая, героическая, прекрасная история.

А Пушкин — нет! Он наш, сегодняшней, современный. Это не столько можно объяснить, сколько понять душой, всем существом своим. Однако хочу попытаться выразить, высказать это словами. Вся короткая жизнь Пушкина известна нам с детства не только по школьному курсу, по биографическим книгам — главным образом по его собственным произведениям.

Думаю, что тайна безмерного обаяния Пушкина в том, что он в каждое мгновение жизни, в каждой ее песчинке видел, ощущал, переживал огромный, вечный, вселенский смысл. И потому он не просто любил жизнь во всех ее проявлениях, жизнь была для него величайшим таинством, величайшим действием. И потому он был велик во всем: и в своих победах, и в своей любви к людям, к природе, в любви к Родине, к ее истории, ее будущему.

Даже самые закоренелые циники, самые отъявленные мещане и обыватели, самые легкомысленные вертопрахи ближе или глубже в душе своей сознают — или всегда, или со временем — свою ничтожность.

А все простые, хорошие люди на планете или знают, или догадываются, или смутно ощущают, что жизнь вокруг нас и в каждом из нас есть величайшая тайна, требующая серьезного, глубокого отношения, полной отдачи, и что жизнь за это дарит нам ощущение счастья, гармонии, полноты существования.

В конечном счете это и есть идеал каждого из нас. И в Пушкине этот идеал был воплощен в полной мере. Потому он и есть наш идеал, вечно живой, вечно с нами.

Это философская сторона вопроса. А бытовое ее воплощение оказывает на нас, людей восьмидесятых годов XX века, не меньшее, если не большее воздействие.

Мы уважаем труд, знаем цену труду, ценим людей по их труду. Пушкин был первым профессиональным литератором России, он жил своим трудом, боролся против произвола издателей, добивался достойной платы за труд поэтов, писателей, драматургов.

Он был верным другом и добрым товарищем.

Он не боялся царей и презирал карьеристов-вельмож.

Он был другом декабристов, их учеником и их учителем.

Он был нежным, заботливым мужем, заботился о чести и покое жены до последней минуты жизни.

Наконец, он был просто здоровым, нормальным, веселым, смелым и сильным человеком.

И все эти простые, земные, общечеловеческие превосходные качества никогда не будут забыты, всегда будут залогом его бессмертия в наших сердцах.

Много пишут о Пушкине — величайшем поэте, гении. Но народ любит гениев — простых в своем величии и великих в своей простоте. И потому я подчеркиваю здесь именно простые, общечеловеческие черты в образе Пушкина.

Размышляя о Пушкине, люди невольно сравнивают себя с ним. А сделал ли бы и я так? А поступил бы так же? А что я думаю об этом?

Это очень полезные размышления и очень важные. Они способствуют пробуждению в наших душах и умах самых лучших, самых высоконравственных мыслей и устремлений.

В конечном счете это и есть самовоспитание добром и красотой человеческой души.

И в заключение нашей беседы я хочу напомнить слова Гоголя, который гениально сказал об Александре Сергеевиче Пушкине: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным, это право решительно

принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключалось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в той же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

*Беседу вел кинорежиссер Дмитрий ЧУКОВСКИЙ,
автор телевизионного
документального фильма «Дома у Пушкина».*

Странно, что отмечаем день памяти. Обычно отмечают дни рождения.

Но как-то мы чувствуем: это правильно. Просто и правильно. Отметить день п а м я т и Пушкина.

День памяти важен нам, ибо он невольно обращает нас к зрелому Пушкину. Эту особую зрелость отметил еще Белинский в статьях о Пушкине, что как-то не заметили. В завершении «Онегина», в «Медном всаднике», в великих строках «Из Пиндемонти», в прозе, письмах, в дневниках, наконец, в мемуарах и отзывах о самом Пушкине его поздних лет мы с особенной силой ощущаем обаяние того нормального человека в высочайшем смысле этого слова, который так дорог ныне. Нормальный, то есть не «средний», а втайне гармонический, «всесторонне развитый» на духовной основе. Может быть, это просто всегдашняя черта гения?.. Но Пушкин тут особенно характерен. И это нам особенно ценно. Ведь как никогда в нашей литературе мы нуждаемся в таком человеке. Мало того. Мы нуждаемся в нем и в жизни. Человечество переживает напряженные времена. И как никогда ясно, что не люди безумия, не люди истерики и страха, не люди сект, кланов, линий и плоскостей, а лишь люди нормальные — нормальные в высоком смысле этого слова — ныне могут спасти мир. Ибо они и добры и умны, то есть мудры; ибо они терпимы и при этом принципиальны; ибо обладают тем чувством тайной гармонии, «сообразности и соразмерности» (его слова!), которых так не хватает в нынешнем «внешнем мире», ибо если не знают, так чувствуют, в чем истина человечества именно как человечества, а не как суммы тех или иных средних особей.

Пушкин последних лет...

Много сказано о трагедии этого поэта, этого человека в тридцатые годы, но, в сущности, как-то ничего и не сказано. Ибо трудно сказать конкретно... Женитьба, Дантес? Да, это. Предательство друзей, даже самых близких? Да. Но Пушкин был готов к этому. Давно уж он слышал из-за спины зловещий шепот — и наконец начал ставить точки над *i*. Лучше отсутствие друзей, чем друзья-предатели. Литературная, социальная атмосфера после 1825 года? О да, конечно. Трагедия Пушкина была тут и в том, что он был слишком умным человеком. Впоследствии Зощенко напишет: «Меня больше всего интересовал огромный аналитический ум Пушкина, что наряду с высоким

поэтическим напряжением создало гениального писателя...» И так, ум. Пушкин был один из последних н о р м а л ь н ы х людей в тогдашней России. Он был нормальный человек, духовный прежде всего. Каждый тянет его к себе. Одни «шьют» ему православие на смертном одре, другие называют первым западником, французом и англичанином на русской почве, третьи щеголяют его «примирением» с твердым царем Николаем, четвертые до хрипоты цитируют юную оду «Вольность», пятые воспевают простодушие «этого Моцарта», шестые цитируют «я... мнителен и хандрлив (каково словечко?)». Ну и так далее. Несть числа концепциям. Да и сам он: «человек он был». Он добросовестно хотел объяснить друзьям и знакомым свое положение, свое состояние. Он видел наивность друзей-декабристов. Он видел и хитрость молодого Гоголя, и прямолинейность молодого Белинского. Он видел тупик и будущих либералов, и юных славянофилов. Да что перечислять: перечитайте знаменитое письмо к Чаадаеву. То, в черновике которого сказано, «что правительство все-таки единственный Европеец в России» и что «только от него зависело бы стать во сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания». Но ведь и это письмо — не разгадка. Его ведь тоже нельзя понять буквально, прямолинейно. Там и ирония, и горечь, и дума... Там нужен умный читатель.

Где их взять, умных, в 30-е годы в положении Пушкина? Карамзины, Вяземский? Баратынский? Молодой Тютчев?.. Но Тютчев далеко — а дружеский шепот за спиной, злословье и байки благополучных, бытовые чувства и чья-то зависть отравляют существование. «Мне кажется, эти люди меня не любят»: задумчивые слова Пушкина в прихожей — Пушкина, уходящего из гостиной ближайших, вернейших друзей. Версия не проверена: как всякий истинно одинокий человек, Пушкин, в сущности, был чрезвычайно скрытен — вопреки его сангвиническим выходкам.

Куда деться поэту?

Пушкин мало пишет после женитьбы.

Дело тут, понятно уж, не в самой женитьбе, а в той атмосфере, которая висит в связи с этим, после этого. Суета, расходы. Бабыя возня. Винят, идеализируют Наталью; все проще. Красавица, но обыкновенная женщина. Каждый год рождает: некогда и вздохнуть. А тут царь, Дантес и все прочие.

Мы говорим о простоте Пушкина. Но это ведь та простота, что — как белый свет. Он ведь самый сложный.

Как всякий нормальный, втайне гармонический человек, Пушкин невыразим в одном тезисе. Эпоха же все более требует линейности. Все уверены в себе. Надеждин, юный Белинский, Гоголь, которому Пушкин с некой грустной всепонимающей улыбкой дарит сюжеты и «Ревизора», и «Мертвых душ». Надеждин утверждает, что роман «Евгений Онегин» — роман о том о сем и ни о чем. О женских ножках. И ведь, что самое смешное, этот роман действительно можно так прочесть. Слепой не видит,

глухой не слышит... А объяснять — что ж тут объяснишь? Радует степной, полный сил Кольцов; но культуры нет и принижен... Жуковский весь озабочен, в глаза не смотрит: воспитатель наследника. Учит Пушкина писать письма царю. Пушкин: «Теперь, отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми?...» «...холопом и шутком не буду и у царя небесного» — в дневнике повторяет Пушкин Ломоносова. И прямо пишет жене: «Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутком ниже у господ бога. Но ты во всем этом не виновата, а виноват я из добродушия, коим я преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни». Снова и снова Пушкин возвращается к этой мысли; видно, уж очень она его занимала: «Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостию и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову, предстателю муз, высокому своему патрону, который вздумал было над ним пошутить. «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже у господ моего бога дураком быть не хочу» («Путешествие из Москвы в Петербург»). Это к вопросу о том, что Пушкин примирился, смирился, стал послушным и пр.

Новая литературная общественность? Она требует, чтобы ты был или прогрессивным в ее понимании, или реакционным: остального не понимает. Что ей Пушкин, если он напечатал это «В надежде славы и добра...»?

Мы пробрасываем тот многолетний спор о Пушкине, который велся после смерти поэта в XIX веке, и обращаемся снова к тому, что нам ближе, — к наступившему XX веку.

Теперь он, как известно, кончается.

Но чем далее, тем яснее мы видим, что XX век — понятие не хронологическое, а именно социальное и духовное. Разумеется, не буквально от 1900 года; но, кстати, почти буквально...

Трагедию Пушкина глубже всех раскрыл Блок. Это конечно же статья «О назначении поэта». Блок сам находится на пороге ухода, гибели — и думает о судьбе поэта. «Между тем жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его путях. Слабел Пушкин: слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века... Пушкин умер. Но «для мальчиков не умирают Позы», сказал Шиллер. И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура... Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла

смысл»... Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единственно и нераздельно... Никаких особенных искусств не имеется; не следует давать имя искусства тому, что называется не так; для того чтобы создавать произведения искусства, надо уметь это делать... В этих веселых истинах здравого смысла, перед которыми мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина.

Да, Блок.

Но и он тут не все сказал; и не мог он сказать всего.

Оно невыразимо, «все» это.

Невыразимо для той ситуации, в которой был Пушкин.

Годы идут, и с их ходом мы видим, что такие ситуации вообще типичней для гения, чем иные. Жизнь его — не праздник, а тайный подвиг.

Нам дорог он, он — «нормальный человек»; но как определить, что нормально? Что же гармонично, истинно нормально в нынешнем мире?

Как определить, чтоб это поняли все или многие?

Трудно определить, хотя можно почувствовать; но как же, как же узнать, чувствуют ли — чувствуют ли «они» — эти «все», «многие»?..

«Невыразимо».

Но оно, «невыразимое», и есть то самое, что через 150 лет после гибели гения заставляет нас молча задуматься о его судьбе.

День рождения — это день восторгов.

А тут — молча.

День памяти.

Очерк посвящен Лицею, открытому в Царском Селе в 1811 году,— уникальному учебному заведению России, из стен которого вышла целая плеяда замечательных деятелей нашего отечества.

Несколько лет назад в Чикаго устраивалась школа — «для миллионеров». Естественно, «с возможностями». В частности, и с возможностью широко и основательно изучить мировой школьный опыт. В беседе с одним оказавшимся там в ту пору представителем наших литературно-академических кругов устроители школы признались, что самое глубокое и совершенное из найденного ими по этой части во всей новейшей человеческой истории было — Царскоелицейский лицей. Признание таково, что явно выходит за рамки хозяйской любезности и желания сказать гостю приятное. Да и вообще иноземному взгляду, видимо, отчетливее кинулось в глаза то, к чему мы уже пригляделись, может быть, еще по-настоящему не успев и взглядеться.

Для уяснения сути Лицея нам, очевидно, мешают две вещи. Не секрет, что скрупулезная дотошность изучения, воссоздание быта, житейские подробности подчас способны и затенить собственно историческое осмысление. Во-вторых... Пушкин. Пушкин, который вполне выявил суть Лицея, чуть ли не к себе только его и свел в наших глазах: «пушкинский Лицей», «пушкинские сокурсники», «пушкинский выпуск». А ведь конечно же дело не только в том, что там случайно оказался гениальный мальчуган.

Б. В. Томашевский резюмировал: «Имя Пушкина обязательно сопутствовало теме о «лицейском духе», другие имена случайны. Пушкин определял суждения о Лицее». Случайны ли, однако, и другие имена? Правильно: Пушкин определял суждения о Лицее, но случайны ли суждения о Лицее самого Пушкина:

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!

Пушкин писал, объединяя в братство людей, разошедшихся по полюсам: ведь, вообще говоря, как минимум одной из забот «царской службы» было содержание в «мрачных пропастях земли» людей, против этой службы восставших. Пушкин же устремляется к лицейским друзьям поверх всего этого и поверх всего этого их объединяет. Но и потому, что в известном смысле так оно было в самой жизни этих людей.

«Слава Лицея,— писали авторы отличных книг о Лицее и одни из его новооткрывателей М. П. Руденская и С. Д. Руденская,— началась с имени Пушкина, с его посвящений Лицею, с его светлых воспоминаний. Благодаря Пушкину впервые заговорили о «лицейских питомцах», о первом «блистательном» выпуске Царскосельского лицея. И современниками всегда подчеркивалось, когда речь шла о Малиновском, Вольховском или Данзасе, что он был из числа именно первого «славного» выпуска. Но что слава Лицея без Пушкина? «...Лицейское солнце обманчиво. Если оно и горит, то лишь отсвечиваясь Пушкиным»,— заметил А. Эфрос (в книге «Рисунки поэта». — Н. С.). И это справедливые слова». И все же вряд ли слова эти абсолютно справедливые. Опять-таки доверимся Пушкину. Неужели все уже им сказанные слова о «прекрасном союзе» и «святом братстве» лишь сентиментальная дань детским впечатлениям, лишь, уже по оценке Ю. М. Лотмана, «идиллические воспоминания»?

Выдающихся людей во все сферы русской жизни Лицей поставит и позднее (достаточно назвать М. В. Буташевича-Петрашевского или М. Е. Салтыкова-Шедрина), но уже никогда больше не создается той общности, что существовала в первом выпуске, а если она и появляется, то лишь как бледная тень этого первого выпуска и слабое о нем напоминание.

В фискальной записке о Лицее В. Н. Каразин писал злобно, но умно и совершенно точно: «Из воспитанников более или менее есть почти всякий Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом...» Да, Пушкин с колоссальной силой сконцентрировал, представил и выразил то, чем был там «почти всякий».

Дело не только в Пушкине, но и в самом Лицее. Не восстанавливаем же мы — и вряд ли когда-нибудь займемся этим — казарму школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров только потому, что там оказался Михаил Лермонтов, или гимназические классы петербургской гимназии, раз уж туда попал Александр Блок. Отметка в справочнике или путеводителе, какое-нибудь мемориальное обозначение, настенная доска — все: достаточно. Ибо для нас здесь важен только сам Лермонтов. Только сам Блок. Не то с Лицеем.

Недаром уже тогда Лицей вызывал напряженный интерес за рубежом как одно из центральных явлений русской жизни, а уже в двадцатые годы сам Меттерних, канцлер Австрии, но фактически один из руководителей всей политической Европы, запрашивал подробную историю создания Лицея, желая получить

ключ к важнейшим русским событиям, прежде всего к декабрю 1825 года. Пушкинский Лицей есть зародыш, модель и прогноз удивительного человеческого сообщества, впрочем, тогда столь же исторически необходимо возникшего, сколь и необходимо исторически обреченного: Лицей в пушкинском его смысле погубили много раньше, чем погубили самого Пушкина.

Лицей создан, когда устанавливалась, как надеялись, новая Россия, когда призывались к историческому служению на Отечество новые люди. Их нужно было найти, вырастить и воспитать. Требовались деятели общенационального масштаба и всегосударственного образа мыслей. На Лицей возложены были великие надежды, и потому в него было вложено почти все лучшее, что имела культурная Россия. Посадили и пустили в рост редкое растение, развитие которого уже потом вышло из-под контроля и за пределы самых далеко идущих видов и совершалось как бы само по себе. Известно, что надежды и планы обычно оказываются прекраснее, выше и шире своих претворений. Здесь же реализация далеко превзошла пусть самые благие административные замыслы, воплощение становилось ярче всех мечтаний и опрокидывало их.

Может быть, даже этому способствовало то, что собственно практические начертания и намерения властей предержавших отпадали довольно быстро: «дней Александровых прекрасное начало» все более тускнело. Сперанский от государственных дел, а значит, и от Лицея, призванного обеспечить эту государственность «кадрами», был отставлен. В этом смысле вокруг Лицея постепенно образовывался как бы вакуум, в конце концов для него благодетельный.

Характерно ведь и то, как пышно, с какими фанфарами и при каком стечении каких гостей Лицей открыли и как скромно, буднично и равнодушно, произведя первый выпуск, Лицей «закрыли»: уже с 1823 года в нем будет наводить порядок генерал Гольдгоер. А ведь до этого дирекция решительно и с успехом противилась введению в Лицее военных дисциплин.

Но осенью 1811 года дело было не только в торжественности открытия и представительности «первенствующих лиц», а благоговела Лицей при начале вся официальная (впрочем, и неофициальная тоже) Россия: царь и царская семья, и высшее духовенство, и члены Государственного совета, и министры. Три десятка мальчишек напутствовались на учение и на служение как на предназначение и на миссию. Но, повторяю, дело не только в этом. Профессор Куницын, о котором позднее Пушкин скажет: «Он создал нас, он воспитал наш пламень», — действительно начнет «создавать» их в первый же день. Уже при открытии в яркой речи им было сказано о гражданских обязанностях, но, по воспоминаниям Ивана Пущина, «ни разу не было упомянуто о государе. Это небывалое дело так поразило и понравилось императору Александру, что он тотчас прислал Куницыну

Владимирский крест». При открытии Лицея рядом с царем еще сидел Сперанский. Но уже присутствовал и Аракчеев.

Лицейское детство — это и детство всей молодой России и ее надежда. Нам нельзя не любить это детство там, где оно проявилось так прекрасно, и не лелеять его колыбель. Кажется, слова Маркса об античности как прекрасной поре человеческого детства многое могут пояснить и в этой части нашей истории.

Да и само название нового учебного заведения было для России необычным, и, может быть, не только в России, но и во всей Европе его античное происхождение впервые получило какое-то оправдание. Недаром и сами лицеисты так ревниво его оберегали. «Лицей (или Ликей, только, ради бога, не Лицея)», — предостерегает Пушкин своего корреспондента П. А. Вяземского в марте 1816 года.

Отблеск античности ложился в Лицее на русскую культуру интереснейшей эпохи. В Лицей приняли тридцать мальчиков. Естественно, как всегда в России, шли в полный ход знакомства, связи и протектирования, но все же состав единственного в своем роде русского учебного класса подобрался опять-таки с удивительной исторической точностью. Когда позднее, особенно в определенную пору, Пушкин возложит самые большие надежды на русское дворянство, то почти без сомнения можно сказать, что его социология здесь питалась и очень сильными впечатлениями от такого дворянства, вынесенными из детских и отроческих лет.

Речь должна идти не об абстрактном вообще дворянстве, да такого никогда и не было, Ленин недаром определит целый этап освободительного движения в России как дворянский. Недаром воспользуется и известной характеристикой декабристов у Герцена: «Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия».

Все это прямо связано с тем, что именно дворянство в лучшей своей части было хранилищем культурных ценностей России и держателем ее культурных акций. Позднее Блок даже назовет пушкинскую эпоху самой и единственно культурной эпохой в жизни России.

Лицеисты возрастали среди святых воспоминаний прошлого, но и среди живых впечатлений настоящего. 1812 год — могучий толчок всему последующему лицейскому пребыванию. Было наглядно ясно, что само настоящее — это уже история. Свой патриотизм Пушкин выносил отсюда. Конечно, патриотизм этот не имел ничего общего с националистической исключительностью или с противопоставлением кому бы то ни было. Такой патриотизм в Пушкине поселялся и укреплялся Лицеем. Это был, так сказать, интернационалистский патриотизм. Совершенно особый тип именно русского патриотизма, открытый и готовый к принятию инационального. И в то же время проникавший все

растущим осознанием того, что национальное находится у правящего режима в загоне и небрежении.

Что же собой представлял Лицей, чему там учили, кого и как воспитали?

Для чего же долгие годы готовились и приготовились эти юноши, почти мальчишки? Ответ может быть только один — ни для чего. Или для всего. Они готовились универсально, энциклопедически, многопредметно — именно для всего. Тогда это понимали. Понимали при начале Лицея. Потому-то Сперанский писал, что Лицей соединяет в себе виды несравненно большие, чем все наши университеты, а во главе Лицея были поставлены самые выдающиеся русские, не просто педагоги, но просветители: Василий Федорович Малиновский и Егор Антонович Энгельгардт. Понимали это и при конце Лицея. Иван Пущин рассказывает о лицеистах 1817 года: «Мы, шестеро, назначенные в гвардию, были в лицейских мундирах на параде гвардейского корпуса. Подъезжает к нам граф Милорадович, тогдашний корпусной командир, с вопросом: что мы за люди и какой это мундир? Услышав наш ответ, он несколько задумался и потом очень важно сказал окружающим его: «Да, это не то, что университет, не то, что кадетский корпус, не гимназия, не семинария — это... Лицей!» — поклонился, повернул лошадь и ускакал».

Царскосельский педагог уже конца века, Иннокентий Анненский, писал: «В Лицее были уставом запрещены телесные наказания — черта в высокой степени замечательная; в интернате не было обычного в наше время казарменного устройства; всем питомцам полагались отдельные комнаты — «кельи», как их называл Пушкин; пансионский день распределялся гигиенично: на учебе 7 часов, остальное время прогулки, игры, гимнастика. Курс был общеобразовательный и рассчитан только на шесть лет. Прекрасная библиотека выписывала всю периодическую печать, и лицеисты читали много и свободно. Профессора аттестовали питомцев не цифрами, а отзывами, и еще теперь, благодаря этому можно видеть индивидуальные черты Пушкина и его товарищей в школьном возрасте».

Много внимания в Лицее уделяли спорту. Пушкин и всегда держал себя, как теперь сказали бы, в хорошей спортивной форме: много ходил, плавал, скакал на лошади, стрелял. Мы привыкли говорить о Пушкине: первый, первый, первый... Естественно, в литературе. Но вот неожиданная заметка в современном спортивном издании: «Пушкин — первый русский боксер» — во французском тогда боксе.

Кроме того — иностранные языки, кроме того — музыка, рисование, выведившие на почти профессиональный уровень. Все это очень насыщено, в очень размеренном, строгом режиме. Лет обучения оказалось шесть, но, говоря нынешним языком, интенсивность обучения была чрезвычайной. Не все там может быть измерено табельными оценками: в конце концов имя-то выпуску дал человек, который занимал по успеваемости 26-е мес-

то (из 29). А ведь, кроме того, нам известно, как много, почти фанатически самоотверженно предавалось большинство лицей-стов «самостоятельной» работе. И Пушкин своей тоже.

«...Кто знает,— пишет И. Ф. Анненский,— если бы еще в Лицее Пушкин не прошел практического курса поэзии и не пережил периода подражаний (Державину, Жуковскому, Батюшкову и ранним французским парнасцам), если бы вместо досуга для творческих снов он выучил вчетверо больше уроков и прослушал гораздо больше по-тогдашнему ученых лекций, если бы, наконец, у него не было литературных общений, подстрекающего соперничества метроманов-друзей,— удалось ли бы ему войти в жизнь уже сложившимся писателем, успел ли бы он в короткий срок, отмежеванный ему судьбою, создать все то великое и вечное, что он нам оставил? Не надо забывать и положительных знаний, и навыков, вынесенных Пушкиным из Лицея: он был несравненно грамотнее Лермонтова, я уже не говорю о Гоголе; он вышел из Лицея с порядочным запасом сведений по мифологии и истории, по русской литературе, и выучился по-латыни: по крайней мере на юге он читает Овидия в подлиннике, а поступая в Лицей, читал Вергилия во французском переводе».

Хотя Лицей располагался в Царском Селе, как бы при императоре и в этом смысле при дворе, он не становился придворным, и руководители за этим очень следили. Когда возникло пожелание, чтобы лицеисты несли часть придворной службы, директор его решительно пресек, дабы никак не поселить духа искательности и угодничества. При русской монархической резиденции жила своей жизнью маленькая лицейская республика. «Благодаря Бога, у нас по крайней мере,— пишет лицеист Илличевский,— царствует... свобода (а свобода — дело золотое). Нет скучного заведения сидеть à ses places (на своих местах.— Н. С.); в классах бываем недолго: 7 часов в день; больших уроков не имеем, летом досуг проводим в прогулке, зимою — в чтении книг, иногда представляем театр, с начальниками обходимся без страха, шутим с ними, смеемся». Здесь складывалось удивительное сообщество, уникальный, говоря нынешним языком, коллектив. Два качества здесь все определяли: это было общество, и это были личности. Особенно любопытны с этой точки зрения позднейшие столкновения с жандармами бывших лицеистов, совсем не «неблагоданеренных» политически. Очевидно, человеческое достоинство бесило власть не меньше, чем политическая неблагонадежность. Со вторым даже было явно легче расправляться. Тем более хотелось ломать первое.

Оказавшийся однажды по делам службы в Вене Горчаков, которым приехавший туда же с царем Бенкендорф попытается помыкать, даст жандарму ледяной презрительный отпор. Правда, скоро в полицейском досье князя появится запись: «Князь Горчаков не без способностей, но не любит Россию». А ознакомится со своим досье Горчаков, уже только став канцлером России и прилагая все свои способности во имя спасения Рос-

сии. Впрочем, в ранге политического доноса обвинение в любви к России обычно уравнивалось с обвинением в нелюбви к ней.

«Самостоянье человека — залог величия его», — скажет позднее Пушкин. Из Лицея начало такого самостоянья лицеисты вынесли и через всю жизнь свою его пронесли. Пушкин на вопрос царя, кто среди лицеистов первый, отвечал, что первых среди них нет, все — вторые. Впрочем, в ответе носившему номер первый Александру это могло выглядеть и как ловкий светский каламбур.

В каждом лицеисте было воспитано такое чувство личного достоинства, непременной особенностью которого было в то же время уважение к другому, соотносимость себя с другими, чувство дружбы, родства и братства. Пушкин написал много горьких слов о дружбе и друзьях, но никогда ни одного упрека не раздалось в адрес лицейских товарищей, совершенно особых друзей в ряду всех друзей. Необязательно лицейские друзья были ближайшими. У Пушкина вне Лицея были и тогда, и позднее более близкие. И в Лицее были не только друзья, были и недруги. И все-таки суть отношений лицеистов заключена в том, что они союз, с правами уникальной духовной экстерриториальности и душевной близости. Это даже не дружба в обычном смысле слова, а нечто высшее, во всяком случае иное, необычное явление невиданного ни до того, ни после того типа связи:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен.
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастье куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

«Береги честь смолоду» — такими словами осенит Пушкин последнее свое создание — «Капитанскую дочку». И это будет не отвлеченное нравственное поучение, а действенный жизненный принцип, нашедший народную форму выражения, но вынесенный еще из детства, из Лицея. Там располагаются истоки последнего пушкинского завета. Лицеисты были людьми такой сбереженной смолоду чести, и чем дальше, тем больше это осознавалось. Встреча лицеистов каждый раз становилась находждением ими самих себя, постоянным возвращением к самим себе, к своей сбереженной молодости. Когда сходятся лицеисты, то за порогом как бы оставляется все: они просто люди, пусть на один день, на один вечер, на несколько часов, на какой-то момент.

Ощущая острее, чем кто-либо, именно это особое качество Лицея, то есть его первого выпуска, Пушкин категорически воспротивится тому, чтобы, например, 25-летие Лицея праздновали совместно тремя выпусками: «Нечего для двадцатипятилетнего юбилея изменять старинные обычаи Лицея. Это было бы худое предзнаменование. Сказано, что и последний лицеист один

будет праздновать 19 октября». Пусть один: ибо он особый, объединенный только со всеми своими и отъединенный от всех не своих.

К моменту окончания Лицея выявлялись и определялись вкусы, наклонности и интересы каждого из лицеистов. В то же время именно в совокупности своей все они были готовы ко всему. Небольшой этот класс оказался способен выдвинуть группу потенциальных государственных деятелей. И уже заключал в себе человека, который станет самым выдающимся дипломатом всего русского, а может быть, и европейского девятнадцатого века, — князя Горчакова. И он же, класс этот, создает нескольких «антигосударственных» деятелей: семь — почти треть класса — фамилий лицеистов попадут в следственные дела по декабристскому движению, а некоторые станут выдающимися его участниками, рыцарями даже этого рыцарства (Иван Пущин) и, может быть, немного его донкихотами (Вильгельм Кюхельбекер).

Первый лицейский класс выдвинет и замечательного боевого генерала Вольховского. И замечательного мореплавателя — адмирала Матюшкина. И музыканта Яковлева: полагают, что, может быть, и сейчас мы распеваем или слушаем некоторые его романсы из тех, о которых говорят: автор неизвестен. И группу выдающихся литераторов: того же Кюхельбекера, Дельвига...

Но набранный страной исторический разбег уже обрывался. И почти все стали не тем, чем должны были стать. Вопреки всем прогнозам быстрой карьеры не сделал князь Горчаков. Да и что в самом деле за государственный деятель, который прибегает спасать государственного преступника только потому, что тот даже и не друг его в тесном смысле, а просто вместе учились? Ведь Горчаков примчался после 25 декабря к Ивану Пущину с заграничным паспортом, умоляя того уехать, но Пущин отказался все из-за той же чести. И бог с ним, с его, Горчакова, государственным умом и масштабом, если такой деятель способен встретиться с опальным поэтом, пусть даже не по личной потребности, а всего лишь из одного чувства чести.

Такие люди, как Матюшкин, станут скитаться по морям и океанам и окажутся полуотставленными от дел к тому времени, когда русский флот будет в них нуждаться в смертельно опасные години.

А Сергей Ломоносов не совсем неудачник, может быть, только за дальностью расстояния: он дипломат, и чем дальше, тем дальше: наконец, посланник аж в Рио-де-Жанейро. В Лицее директор, составляя на него характеристику, не решился, правда, на определение «гениальный», но, видимо, задумался над ним: «Очень интересный юноша, не то чтобы гениальный, но все же выдающийся талант... Политикой интересуется очень живо. Очень словоохотлив и умеет обычно направить разговор на наиболее

высокие интересы человечества... Он любит людей... и часто думает о том, каким образом он может быть для них наиболее полезен. От этого он всегда полон проектов и предложений, направленных обычно на преобразование армий, новые порядки в министерстве, другое управление финансами и т. п.».

Как видим, в глазах педагогов Ломоносов не то чтобы гениальный, но... Вообще же слово «гениальность» именно в Лицее многие примеряли ко многим лицеистам. О быстрых способностях («если не гений») Дельвига, еще мальчика, пишет еще мальчик Илличевский. А мальчика Горчакова взрослый внимательный наставник Егор Антонович Энгельгардт определяет уже без тени сомнения: «Если в схватывании идей он высказывает себя гениальным, то и во всех его более механических занятиях царят величайший порядок и изящество».

Таким образом, Пушкин не был единственный, кого уже в Лицее называли (правда, не наставники) гением. Да и как развивался бы его гений, например, без содействия «если не гения», то «быстрых способностей» Дельвига и других? «Блажен поэт,— напишет о Пушкине через много лет Дружинин,— имеющий в лучшем своем друге (т. е. в Дельвиге.— Н. С.) испытанного путеводителя». Все лицеисты были в той или иной мере поэтами, но был среди них не просто лучший и превосходивший прочих, но первый в России абсолютный тип поэта. И его поэтическая абсолютность прямо связана с человеческой абсолютностью. «При самом начале — он наш поэт»,— скажет Иван Пушкин.

Обычно поэты стыдливо отрекаются от большинства своих ранних стихов, в лучшем случае относя некоторые из них в приложения, выделяя лишь те или иные, достаточно редкие, удачи. Общее читательское ощущение поэзии Некрасова, например, вполне может обходиться без его первой книги «Мечты и звуки». Эта книга, по сути, не входит в понятие «Некрасов», хотя историками литературы и биографами она, естественно, исследуется в своей неслучайности. Детские «Мечты и звуки», в общем, даже искажают образ поэта Некрасова.

Полный образ Пушкина невозможно представить без его детских лицейских стихотворений. Маркс говорил о древних греках как прекрасной поре человеческого детства, потому-то и вызывающей наше восхищение, и называл греков нормальными детьми.

Подобно этому мы восхищаемся литературным детством Пушкина как единственной в своем роде порой прекрасного литературного детства, пристрастно и нежно опекаем Лицей, а самую колыбель — Царское Село — назвали именем Пушкина. Разве не уникально для нас это понятие — «Лицей», разве повторимо и не единственно это место?

ПРАЗДНИК СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ: КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?

«Круглый стол» в Вологде

Уже много лет писатели ставят вопрос об учреждении в нашей стране Праздника письменности. В 1986 году им удалось провести День славянской письменности в масштабах Мурманска. Центром торжеств 1987 года стала Вологда. А если в будущем сделать этот праздник всенародным? Реально ли это? Каким тогда быть празднику? Эти вопросы во многом и определили содержание «круглого стола», в котором приняли участие известные писатели из Москвы, Киева, Минска, Иркутска, Сыктывкара и Мурманска.

Почему необходим праздник письменности?

Владимир КРУПИН:

— Язык — одно из главных богатств нации. Он формирует личность. От степени владения языком зависит уровень мышления. Но всегда ли современники осознают это?

Нам всем — писателям и читателям — остро недостает дня, когда, слыша древнее и вечное слово, радостно вздрагивала бы душа. Праздник письменности помог бы поднять интерес к отечественной культуре, к тому времени, когда человек приобрел способность облекать знаки в слова, когда слово кроме звучания приобрело еще одну форму — письменную, когда человечество научилось с помощью слова соединять души людей на расстоянии.

Валентин РАСПУТИН:

— У нас многие считают, что говорят на русском языке. Но на самом деле речь их пропитана своего рода машинной смазкой тусклых новаций, заготовками расхожих понятий и суждений. Русский язык постепенно становится категорией не исторической, а только сегодняшнего дня. Он мелеет, все чаще засоряется неологизмами. Мы легко принимаем в свою речь чужие слова. Это какое-то поветрие. Некоторым уже неловко употреблять русские слова, обязательно надо щегольнуть словами, заимствованными из других языков.

Я получаю письма от людей, которые считают себя образованными. Многим авторам за сорок лет. А в письмах — ошибки. Авторы пытаются образно выразить свои мысли и тут же допускают грамматические ошибки.

Многие люди не умеют правильно строить фразу. Им неважно, куда поставить то или иное слово. А раньше было не так. Каждое слово знало свое место. Оно существовало только в своей форме и в своем значении. Если встало слово на свое место,

его уже нельзя было ни сдвинуть и ни переиначить. Правильно поставленное слово создавало вокруг себя особый микроклимат. Оно учило простоте, точности и честности, и не только в выражении мысли, но и в жизни вообще.

Увы, далеко не всегда этому учит школа. Я считаю, безобразно — отнимать в школьной программе часы от изучения русского языка. Разве это дело, что в девятом-десятом классах давно не преподается русский язык?

Во многих странах сейчас появились общества по охране родного языка. У нас такого общества, которое охраняло бы русский язык от жаргонов, американизмов, скороговорчатости, нет. Но, думается, в какой-то степени эти проблемы нам помог бы решить праздник письменности. Он дал бы всем нам прекрасную возможность еще раз оценить значение языка в нашей жизни и встать на его защиту.

Борис ОЛЕЙНИК:

— Я считаю, что мы упустили два поколения людей, в своем большинстве равнодушных к познанию собственных истоков. Многие из них мыслят определенными стереотипами. Чтобы теперь приобщить представителей этих поколений к первоисточкам, нужна необычная форма. Думается, скорее всего молодежь привлечет праздничность, торжество. Это первое, для чего, по моему мнению, нужен праздник славянской письменности.

Второе: праздник может повлиять на укрепление интереса к украинскому языку. Сейчас авторитет этого языка падает.

Дело в том, что в 1964 году Устав школы дал родителям и их детям право решать, изучать им родной язык или нет. Но дети есть дети. Многим ребятам чем меньше предметов, тем лучше. Обычно в каждом классе изъявляло желание учить украинский язык лишь семь-восемь человек, не больше. Однако остальная часть класса покинуть урок не могла. Учителя боялись, а вдруг ребята что-нибудь да натворят. Тридцать человек, не захотевших изучать родной язык, должны были сидеть на уроке и заниматься на выбор или чтением, или игрой в морской бой, или чем-нибудь другим. То, что некоторые ребята воспринимали себя при этом «страдальцами» якобы по милости тех, кто проявил интерес к родному языку, мало кого из педагогов беспокоило. Так одновременно наносился вред развитию украинского языка и интернациональному воспитанию школьников.

Я убежден: ответственность за сохранение языка должно нести прежде всего государство. Нельзя это право отдавать на откуп только родителям.

Сейчас многие отцы проявляют заинтересованность в том, чтобы их детей зачислили в спецшколы с углубленным изучением иностранного языка. Но иностранный можно при желании выучить практически в любом возрасте. А родной, если он с

детства не войдет в кровь и плоть человека, уже никогда не станет ему близким и дорогим, а будет им восприниматься как иностранный.

Кстати, у нас появилось в последнее время большое число национальных писателей, пишущих на русском языке. Мне кажется, что это тоже способствует порождению у некоторых читателей нигилизма к родному языку. Я уже не говорю о том, что мало кому из таких писателей удастся достичь в своих произведениях народной органики.

Языковая неграмотность, убежден, порождает политическую неграмотность. Язык несет в себе точность. Его надо сохранять. И здесь многое может сделать праздник письменности.

Нил ГИЛЕВИЧ:

— Борис Олейник с тревогой говорил о падении интереса к украинскому языку. Но это относится и к белорусскому языку. Зайдите сегодня в любой книжный магазин Белоруссии. Полки буквально ломятся от книг на белорусском языке. И если бы без всякого движения лежали только посредственные сочинения. Лежат ведь и произведения, которые входят в золотой фонд литературы.

Многие жители республики отвыкли читать на родном языке. Праздник даст возможность и об этом поговорить, о том, как это важно для современника — понимать речь предков, дорожить своим языком. Я глубоко уверен в том, что путь к сердцам других народов лежит прежде всего через родной язык.

Владимир ЛИЧУТИН:

— Не так давно довелось мне побывать на вечере, посвященном «Слову о законе и благодати» митрополита Илариона. Для большинства участников вечера было характерно восприятие «Слова...» как одного из первоначальных камней в фундаменте русской национальной культуры. Я тогда позволил себе заметить, что надо вести отсчет не от найденных памятников, а от еще не обнаруженных. Ведь когда появилось «Слово...», Киев уже назывался матерью городов. Но культура этих городов не могла создаваться на пустом месте.

Для чего я это говорю? Беря за отправную точку, скажем, славянскую азбуку, другие письменные памятники Кирилла и Мефодия, нельзя подспудно не думать и о том, а что же было до них. Неужели существовало темное мрачное пространство? Незнание того, что существовало в былые века, не должно зачеркивать культурных достижений тех дальних столетий. Праздник славянской письменности подвигнет нас на расширение своих представлений о культуре мира.

Думается, здесь уместно обратиться к истории праздника. Впервые он широко отмечался на земле России еще в 1863 году. А «позаимствовано» торжество было у наших болгарских друзей. Это они 130 лет назад проявили инициативу

праздновать величие слова. Тогда же стало традицией ежегодно 24 мая по всей Болгарии проводить демонстрации, концерты, литературные вечера. Праздники письменности у тысяч и тысяч людей вызвали потребность обратиться к опыту великих первоучителей — Кирилла и Мефодия, к истокам культур братских народов.

К сожалению, в России эта традиция просуществовала всего несколько десятилетий. Длительное время у нас вообще проводились только от случая к случаю научные празднества. Причем самое первое такое празднество состоялось лишь в мае 1963 года. Ученые организовали тогда конференцию, посвященную 1100-летию создания славянской азбуки. В 1969-м и 1985 годах прошло еще два научных заседания. Оба они были приурочены к памятным датам, связанным с жизнью и деятельностью Кирилла и Мефодия. А народный праздник как таковой в советское время у нас не проводился.

В числе первых, кто стал ратовать за возрождение прекрасной традиции, был мурманский писатель Виталий Маслов. В середине февраля 1980 года он предложил одному из секретарей правления Союза писателей РСФСР попробовать провести праздник хотя бы в леспромхозах Архангельской области. Ему тогда ответили, что это несбыточная мечта. Но Маслов и не подумал отступить от своей задумки.

Размышляя о причинах проявлений вандализма в памятных местах, он пришел к выводу о том, что нельзя во всем винить одних подростков. Да, нет оправдания стрельбе юных молодчиков в Долине славы. Но только ли от скуки у ребят поднялась рука на самое святое? Писатель убедился: часть молодежи лишена своих корней, она выросла в беспамятстве.

В какой-то мере виновата в этом, по его мнению, и литература. Так, во многих поэтических сборниках 50-х годов он насчитал всего двести слов. Но разве можно всю правду жизни выразить таким малым количеством слов? Правде нужен язык. А он в последнее время стал терять свою чистоту, замутнился жаргонами, заимствованиями, неоправданными неологизмами. Вот Маслов и взялся в 1986 году на свой страх и риск готовить Праздник письменности в масштабах всего одного города — Мурманска. Ему захотелось воссоздать во всей полнокровности древо отечественной истории.

Когда проводить праздник?

Владимир КРУПИН:

— Думается, есть смысл обратиться к опыту болгарских друзей. Вот уже многие годы они проводят этот праздник 24 мая.

Борис ОЛЕЙНИК:

— А может, в определении даты нам не стоит дублировать Болгарию? Главное — праздник надо проводить на базе какого-то события. У нас Праздник письменности можно сделать Днем Нестора — одного из первых писателей Древней Руси. А можно проводить его на базе «Слова о полку Игореве». Скажем, устраивать торжества в дни начала Игорева похода. Это, кстати, позволит усилить интерес к древнерусской литературе. Но устраивать торжество именно всенародное. А то отмечали мы 800-летие

«Слова о полку Игореве» и умудрились этот юбилей «засушить». В потоке научных конференций и докладов «Слово...» как-то промелькнуло мимо сознания большей части молодежи. Получилось так, что к юбилею вышло огромное количество переизданий памятника, однако читателей у «Слова» почти и не прибавилось.

Нил ГИЛЕВИЧ:

— Возможно, нам и не надо стремиться к тому, чтобы Праздник письменности в нашей стране обязательно совпадал бы с 24 мая. Это, конечно, не потому, что мы не благодарны Кириллу и Мефодию. Просто у каждой страны, у каждой республики существуют свои национальные традиции. Да и организационно, видимо, каждой республике легче проводить праздник в какой-то свой день. Нам, например, легче было бы расширить до республиканских рамок ежегодный праздник книги, который проходит сейчас на родине белорусского первопечатника Франциска Скорины — в Полоцке.

Но, с другой стороны, есть большой смысл в том, чтобы праздник устраивать повсеместно в один и тот же день — 24 мая. Это подчеркнет наше единение, совместное обращение славянских народов к своим истокам. Тогда появится еще одна возможность в праздничных условиях взглянуть на корни нашей дружбы, подумать о нашем извечном братстве.

Да, в этом случае при организации праздника возникнет немало дополнительных сложностей. Только стоит ли их пугаться?

Словом, вариантов много. Какому отдать предпочтение — пока не знаю. Видимо, надо еще раз взвесить все «за» и «против».

Владимир ЛИЧУТИН:

— Я боюсь одного: не попал бы праздник во власть бюрократа.

Каким быть празднику?

Валентин РАСПУТИН:

— Начинать надо, видимо, с малого. Первым шагом на пути к всенародному празднику могут стать конференции. Я не думаю, что круг их участников должен замыкаться только филологами, историками и писателями. Надо шире привлекать к подготовке конференций всех любителей словесности, рядовых читателей. На конференциях должны звучать живые сообщения о языке, о слове.

В день праздника наши писатели должны выходить к чита-

тельским аудиториям со своими рассказами о языке, о памятниках письменности, выходить с конкретными предложениями о сохранении отечественной культуры.

А в будущем надо, конечно, проводить праздник так, как в Болгарии, — с праздничным шествием по улицам наших городов, с нарядно украшенными колоннами, с демонстрантами, с хоршими, не казенными лозунгами...

Виталий МАСЛОВ:

— В 1986 году центром праздника славянской письменности был Мурманск. Затем эстафета была передана Вологде. Организация главных торжеств 1988 года доверена Новгороду. И пусть это наметившееся правило — центр праздника шагает по стране — станет особенностью Дня славянской письменности в нашей стране.

Мурманск, Вологда, Новгород, Киев... Может, дойдет очередь и до Москвы. Но тут единственная опасность: в Москве столько праздников. Как бы не затерялся этот праздник среди других, не превратился бы в мероприятие для галочки.

Еще одна особенность намечается. Каждый год праздник должен решать свои определенные задачи. Таких задач в области языка, литературы, вообще культуры накопилось выше головы. Например, в Мурманске на празднике шел разговор о развитии многонациональных литератур. В Сыктывкаре, скажем, уместно было бы обсуждение проблем, связанных с переводом. Надо только темы объявить заранее — хотя бы года за два, чтобы можно было провести серьезную подготовительную работу.

Материалы таких разговоров необходимо публиковать отдельными сборниками. Нам в Мурманске это, к сожалению, не удалось.

В 1987 году мы постарались, чтобы праздник славянской письменности — выставками, уроками — отметили не только в Мурманске, Ловозере, Коле и Североморске, как в предыдущем году, но и во всех других городах и районах области. Возможности для этого были. Во-первых, многие выпускники Мурманского педагогического института, принимавшие участие в первом празднике, стали преподавателями в самых разных уголках Заполярья. Во-вторых, среди школьников снова были объявлены конкурсы на лучшее сочинение и отзывы-рецензии.

Многие мурманчане мечтали присутствовать на празднике в Вологде. Я и сам хотел увидеть самое главное: как пойдут на праздник после последнего звонка выпускники школ, нарядные, счастливые. Это, я был уверен, придало бы празднику особую красоту. Но в Вологде совместить праздник с последним звонком не удалось. Может, получится в Новгороде.

Группа мурманчан совершила также поездку по Болгарии, воочию увидела, как отмечают 24 мая наши друзья. Неплохо,

если бы направление городами, через которые прошел праздник письменности, специальных делегаций в Софию со своими знаками и эмблемами стало традицией. Ведь главным центром Дня славянской письменности все равно останется навсегда София.

Владимир ЛИЧУТИН:

— Мурманский праздник первое зерно, брошенное в почву. Проложена первая борозда. Теперь важно, чтобы зерно проросло добрыми всходами.

Что сейчас меня тревожит? Есть опасность, что в нашей стране праздник примет наукообразную форму. А необходимо прежде всего торжество, уличный карнавал, чтобы радость выплеснулась на площади городов и сёл.

Мы мало даем слова читателям. А хотелось бы услышать, что они думают о языке произведений современных писателей. Я считаю, что в современной литературе наблюдается возбуждение интереса к языку.

Позволю себе личное отступление. Мой брат в четырнадцать лет уехал из Мезени. Спустя годы, когда вышла моя первая книга, он спросил меня, почему я не русским языком пишу. В городе брат в какой-то мере забыл наш язык. Надо было восстановить в памяти многие слова, которые пришли к нам из седой старины.

Оказалось, в городе надо «подпитывать» язык. Не случайно прежде всего город, а не деревня, полюбил книги, например, Белова. Почему? Большинство горожан вышло, скажем так, из земли. Они устали жить в вечной суете, спешке, отразившейся и на языке. Появилась тоска по родным корням, по языку детства. Выпал якобы за ненадобностью целый языковой пласт. Теперь приходится восстанавливать забытое, только это — дело непростое.

Праздник письменности должен, на мой взгляд, стать и праздником быта, обычаев, прекрасных народных и национальных обрядов.

Владимир КРУПИН:

— Я вспоминаю ваше выступление в Мурманске...

Владимир ЛИЧУТИН:

— Я тогда рассказывал о двойственности книги.

Книга несет в себе сатанинское и ангельское. Она обозначена как для сокрушения, так и для созидания. Поэтому чрезвычайно важно, кто пишет книги. Автор обязательно должен быть духовно здоровым человеком. Если же он самовлюблен, мелочен, тогда весь его яд может передаваться читателю. Нельзя понимать книгу только как божественный сосуд.

Само развитие издательского дела, массовой культуры показывает правомерность моих размышлений и тревог. Я вовсе не возражаю против массовой литературы. Она, как и литература

элитарная, безусловно имеет право на жизнь. Но массовая литература должна быть не разрушающей, а хотя бы исповедующей общежитейские заповеди.

Владимир КРУПИН:

— Разве это не тема для разговора, который можно в День славянской письменности повести на заседаниях клубов книголюбков? Видимо, каждый клуб должен также определить свое место в этом празднике.

Борис МОЖАЕВ:

— Каждый праздник должен быть красочным. Как раньше справляли все торжества? Они были великолепно отрежиссированы. Возьмите свадьбу или рождение. Эти обряды были чрезвычайно продуманны. Ничего не совершалось случайно. Праздники превращались в зрелищные спектакли.

Мы сейчас не придаем значения традициям. Смотрим на многие обряды как на чепуху. Это обидно.

Я вот недавно был с группой писателей в небольшом итальянском городе Никозии. У него давняя история. Город был заложен три тысячи лет назад. В один из вечеров мы были приглашены в ратушу. При входе нас встречала молодежь. Я думал, грянет сейчас рок. Но молодые ребята с блеском повели средневековые хороводы, исполняли древние песни и танцы, восстановленные балетмейстерами. Мы увидели красочное зрелище, любовь, благоговение к многовековым обычаям родного города. Это тронуло. Потрясло также великолепное знание молодежью своих традиций.

Многие же наши ребята ударились сейчас в поп-музыку, а традиции свои знают плохо.

Это не значит, что я — яростный противник рока. К рок-музыке я отношусь спокойно. Считаю, как нахлынула эта волна, так и схлынет. Не это страшно. Мы забываем свои истоки. Русские песни уже мало кому из молодежи знакомы.

Да, ничего бесследно не проходит. Не пройдет бесследно и рок. Останутся зарубки. Но не об этом сейчас сердце болит. Пусть молодежь, если она хочет, тешится роком. Но нельзя, чтобы утрачивались наши корни. Традиции — важный фактор в жизни каждой нации. Надо возрождать хороводы, старинные песни, и обрядовые, и духовные, и жанровые. Какое хоровое пение было на Руси! Какая музыка! Какие пляски! Вот тогда на общем фоне будет видно, что стоит, например, народная песня, а что — рок-музыка.

Нил ГИЛЕВИЧ:

— Я давно занимаюсь переводами болгарской поэзии на белорусский язык и поэтому часто бываю в Болгарии. Не забуду первых своих впечатлений от Дня славянской письменности. Было это в шестьдесят третьем году.

Приближение праздника я почувствовал недели за две. В книжных магазинах и библиотеках люди спрашивали произведения древнеболгарской литературы, сборники классиков. Одни искали в книгах цитаты о красоте языка для транспарантов, другие — стихи для чтения в концертах. В домах культуры по вечерам самодеятельные коллективы готовили инсценировки по мотивам старославянских произведений. Особенно приятно было то, что застрельщиками праздничных мероприятий выступали молодые ребята. Повсюду ощущалось, что праздник, раскрывающий духовные истоки народа и прославляющий великие имена отечественной культуры, обращен к будущему.

Мне кажется, и нам нужно начинать с привлечения к подготовке праздника молодежи. Надо зажечь у молодых ребят искру интереса к отечественной культуре. Издатели, видимо, заранее должны выпустить книги о великих людях славянской культуры, красочные плакаты, открытки. В сценариях торжеств обязательно следует предусмотреть использование тех древних народных обычаев, которые и по сей день не утратили своего эмоционального и нравственного воздействия.

Не представляю я себе праздника и без песен. Почему бы нашим поэтам и композиторам не создать гимн просвещению, песни, воспевающие величие слова и культуры, но такие песни, которые бы подхватил народ?

Борис ОЛЕЙНИК:

— В празднике надо задействовать также прекрасных артистов. Пусть в День славянской письменности выйдут они на площади, в парки и скверы, прочтут на языке оригинала произведения первых славянских писателей. Пусть на подмостках всех театров в этот вечер пройдут премьеры спектаклей по этим произведениям. Я хочу, чтобы люди, услышав прекрасное звучание древнего языка, сами захотели взглядеться в эти тексты, вчитаться в слова, которыми говорили наши предки, обратиться к словарям.

Давайте вместе подумаем над тем, как убедить многих наших молодых современников в том, что словари уже сами по себе представляют увлекательнейшее чтение.

Владимир КРУПИН:

— После того как наслушаешься на улице, в магазинах, на собраниях жаргонов, исхлестанных фраз, обращение к словарям воспринимаешь как своего рода очищение. Словари — это та струна, по которой настраиваешь, воспитываешь чувство слова, свои читательские вкусы. Я, например, часто достаю с полки «Материалы к объяснительному словарю вятского говора» Николая Васнецова. Порой берешь книгу в руки для того, чтобы уточнить значение всего одного слова, но, открыв ее, уже не можешь оторваться. Одно слово вытягивает другое. Ведь раньше

многие словари строились не по алфавитному, а по гнездовому принципу.

Мы, взрослые, должны в день праздника предлагать детворе увлекательные игры лингвистического характера, чтобы у ребят у самих появлялась естественная потребность в обращении к словарям. А может, и стремление завести собственные словари. Я знаю, что такой словарь много лет ведет Валентин Григорьевич.

Валентин РАСПУТИН:

— В этот словарь я заносу слова, которые уже полузабыты или совсем вышли из употребления. Пользуясь этими материалами, я иногда пытаюсь сам сочинять новые слова. Не всегда, правда, мои словообразования оканчиваются успехом. Я тогда неудачные свои «открытия» уже нигде не использую. А если чувствую, что слово несет в себе жизнь, что оно будет понятно моим читателям, то стараюсь не хранить его только в рабочем словаре, включаю его и в свои произведения.

Геннадий ЮШКОВ:

— Праздник славянской письменности должен стать событием не только для славянских народов. Он имеет прямое отношение, например, и к финно-угорским народам, проживающим в нашей стране. Финно-угров связывает со славянами немало общего. Если обратиться к истории взаимоотношений наших народов, мы обнаружим много светлых страниц. Еще в XIV веке Стефан Пермский составил во многом на основе кириллицы первую коми азбуку. А замечательный писатель Епифаний Премудрый написал по свежим следам его биографию. «Житие Стефана Пермского» сегодня воспринимается как ярчайшее произведение древнерусской литературы. Мы, современники, рассматриваем это житие как художественный документ, отразивший не только авторские симпатии к герою, а прежде всего правду истины.

А сколь много общего в наших языках, в наших культурах. Помню, мы беседовали об этом с Федором Абрамовым. Писатель заканчивал одно из лучших своих произведений — роман «Дом». Я тогда сказал Абрамову, что название его родной деревни — Веркола — с коми языка переводится как «лесная избушка».

Праздник письменности поможет укреплению дружбы наших народов. Я понимаю, что сразу даже в масштабах нашей автономной республики организовать его сложно. Так давайте начинать с малого. Прежде всего праздник необходимо провести в местах, связанных с именем Стефана Пермского, например, в селении Усть-Вымь. Ведь стыдно признаться, что у нас до сих пор не переведено на коми язык «Житие Стефана Пермского», практически нет на коми языке и какой-либо другой литературы о Стефане Пермском. Само 600-летие первой коми азбуки, отме-

чавшееся в 1972 году, было «замято». Это несправедливо по отношению к прошлому. Нельзя так относиться к своим истокам. Люди должны знать, откуда они. Нельзя перерубать корни.

Борис ОЛЕЙНИК:

— Мы как-то забыли еще и о том, что сегодня во многих наших районах работают болгарские рабочие. Они и вдали от своей родины всегда отмечают 24 мая, устраивают целые карнавалы и фестивали. Почему бы местным учреждениям культуры не попросить у болгарских рабочих помощи в организации праздника письменности?

Здесь есть смысл обратиться к рассказу о величании слова в 1987 году на вологодской земле. Дни письменности на Вологодчине были увенчаны юбилеем Константина Батюшкова. Отсюда и особенность праздника, составной частью которого стала научная конференция.

Работа конференции в Вологде была построена по двум секциям. На первой творчество выдающегося русского поэта рассматривалось в контексте литературного процесса. Известные ученые, такие, как С. Фомичев, В. Турбин, В. Гура, В. Кошелев, и другие, обсуждали проблемы творческого метода, жанра и поэтики К. Батюшкова.

Вторая секция была посвящена проблемам славянской письменности. Видные писатели и ученые с горечью говорили о том, как плохо современники знают свой нравственный капитал. У нас мало издается источников, не говоря уже о популярной исторической литературе. Нам порой кажется, что древнерусская литература скудна и бедна. Но еще в тридцатые годы академик Никольский составил три миллиона карточек по памятникам древнерусской литературы. Ему удалось, в частности, зафиксировать шесть тысяч только оригинальных житий, шесть тысяч произведений ораторской прозы, около шести тысяч исторических повестей. Однако опубликована из этого пока только малая частица, и то многие тексты — в сокращении. Некоторые жанры древнерусской литературы вообще широкому читателю неизвестны.

Доктор филологических наук Ю. Бегунов приводил и такой пример. Ему посчастливилось разыскать в одном из архивов никогда ранее не публиковавшееся на русском языке Ростово-Белозерское предание о Кирилле и Мефодии, однако напечатать его в научных сборниках ученый так и не смог, только на страницах «Вологодского комсомольца». Между тем опыт издания документов есть.

На конференции рассказывалось о создании вологжанами Свода документальных памятников. Этот свод в форме каталогов-путеводителей знакомит с памятниками большого исторического значения, отражающими вклад народных масс в духовную и материальную культуру Вологодской области и страны. Издано уже несколько томов, рассказывающих только о памятниках письменности в музеях Вологодчины. Этому бы опыту — широкую поддержку в других краях и областях страны.

Много говорилось на секции о слабости современной теоретической мысли. Совершенно справедливо указывалось, например, на необходимость синтеза

искусства и науки при изучении письменности. Подчеркивалось, что овладение национальной культурой, письменностью во многом исключает проявление национализма. Как верно заметил в своем сообщении В. Крупин, приобщение к духовным истокам ведет к интернационализму.

Но конференция — не единственное событие праздника. В дни торжеств на Вологодчине прошло много интересных встреч и фольклорных концертов. Девятиклассникам вологодских школ, например, запомнились уроки литературы «Вначале было слово», которые провели у них известные писатели. Студенты педагогического института тепло принимали у себя Василия Белова, Сергея Викулова, Владимира Крупина, Семена Шуртакова. А у читателей Вологодской областной библиотеки интерес вызвала беседа с Дмитрием Балашовым.

Естественно, речь на этих встречах прежде всего шла о слове, о нашей культуре, об истории. Впрочем, вот отрывки из выступлений самих писателей.

Василий БЕЛОВ:

— Мы многим обязаны Болгарии, так много сделавшей для укрепления авторитета праздников письменности. Когда я впервые познакомился с болгарским языком, то поразился удивительному сходству многих болгарских и русских выражений. Многие слова я с детства слышал в наших вологодских деревнях. Второй раз я поразился сходству пляски. В Болгарии пляшут, как в моей деревне. Это интересно: открываешь родство не по науке, а словно случайно.

Праздник письменности нужен нам давно. Язык, которым мы говорим, в наше время сводится к штампам. Народный язык во многих научных трудах игнорируется и ущемляется. У Даля в словаре было свыше двухсот тысяч слов, причем в его труд вошли далеко не все слова. В словарях Ушакова и Ожегова количество слов снизилось до 80 тысяч. А газетный язык дошел до 5 тысяч. Неграмотность наша распространилась настолько далеко, что даже некоторые академики уже разучились склонять сложные числительные. Я не говорю о неграмотности письма, когда кое-кто перестал ставить запятые.

Плохо поставлено в институтах изучение языка и истории. Я убежден, народы, которые теряют память, — они теряют жизнь. Нельзя этого допускать. Здесь есть чему поучиться у болгар. Наши общие языковые корни дают нам право перенять болгарский опыт.

Дмитрий БАЛАШОВ:

— У нас совершенно никак не поставлено историческое воспитание молодежи. В школах и институтах безобразно преподается история. Нет оригинальных мыслей, стройности в изложении исторических сведений. Молодежи часто повторяют старые вульгарные идеи. При этом если раньше учителя что-то пытались доказать, то сейчас они в своих выводах предпочитают опи-

раться на различные инструкции. Научная аргументация порой вообще отсутствует.

Наши школьники благодаря Дюма и Дрюону хорошо знают всех кардиналов и королей Франции, но не могут, за редким исключением, назвать имя фактического создателя Московского правительства, а в какой-то мере и государства — митрополита Алексия, активно поддерживавшего объединительную политику московских князей, так как в учебниках о нем почти ничего не сказано. Я считаю, надо обязательно переписать практически все школьные учебники по истории, вдохнуть в них жизнь.

Видимо, не случайно широкая публика узнает сегодня о прошлом своего Отечества, как правило, из художественной литературы. Школьный курс истории ей мало что дал. Я и сам свои романы пишу главным образом с воспитательной целью.

Писатель, как я считаю, не имеет права нарушать исторические сведения. Он должен писать только то, что известно ему по источникам. Современный исторический роман сейчас многими воспринимается как учебник.

И что самым ценным было в этих встречах — полное отсутствие формализма и всяческое поощрение импровизаций. Помню, в пединституте уже собирались вечер объявлять закрытым, и вдруг В. Крупин, увидев в зале группу москвичей, мечтающих о создании музыкально-этнографического театра, попросил ребят выйти на сцену. Будущие педагоги были буквально потрясены исполнением молодыми москвичами русских песен и стихов Ю. Кузнецова и Н. Рубцова.

Центральные события праздника — открытие памятника и мемориального музея К. Батюшкова. Участники торжеств увидели, как в самом центре Вологды — на Кремлевской площади под сенью храма Софии — встал на берегу реки вместе со своим конем бронзовый Батюшков.

Композиция памятника во многом необычна. В скульптуре долгое время было принято подчеркивать, как человек покоряет природу, как он оседлывает коня. А Вячеслав Клыков пошел по другому пути. За основу композиции он избрал момент возвращения поэта на Родину из очередного похода. Бронзовый Батюшков стал рядом со склонившим голову своим боевым другом — конем. А рядом — Афина Паллада и Муза в образе вологодской крестьянской девушки со свирелью.

По-своему оригинальным получился и мемориал в селе Даниловском, что близ Устюжны, где прошло детство поэта.

Там, в Устюженском районе, торжество получило свое продолжение. Необычной была уже встреча гостей праздника. При въезде в город хозяева сделали своего рода заставу. Для начала гостям потребовалось разобрать импровизированные завалы на дороге. Под еловыми ветками их ждал первый сюрприз: устюженский «чеснок». В давние времена устюжане использовали его в борьбе с иноземцами. Сейчас «чеснок» воспринимается как свидетель доблести вологжан. А гостей уже приветствовали фольклорные коллективы.

Следующая остановка — перед мостом через реку Молога. Гостям было

предложено разгадать символы древних устюжанских полотенец, вспомнить народные обряды, отведать сусла...

А вечером весь город собрался на правобережье Мологи вокруг семи поэтических костров. Юные устюжане декламировали Батюшкова и Пушкина. Свои стихи читали московские поэты. Вздвинуто говорили о славянском слове болгарские гости.

От поэтических костров праздник перекинулся на городище — древнерусский памятник XI—XII веков. С импровизированной сцены выступали фольклорные коллективы Вологодчины, ансамбли народного танца, академические хоровые капеллы, мастера-умельцы из окрестных сел.

Кульминацией праздника стал пуск по реке двухсот огоньков и праздничный салют над Мологой.

Так торжества на родине Батюшкова сами собой разрешили научный вопрос о народности его поэзии. Праздник наглядно показал, что творчество поэта всегда находилось в органической связи с народными песнями.

Пишу «торжества». Но, быть может, преувеличиваю? А как оценивают праздник на вологодской земле болгарские друзья? Говорит известный болгарский прозаик, лауреат Димитровской премии Генчо Стоев:

— Как все мои друзья, видевшие торжества в Болгарии, бесконечно рад, что вы приступили к организации Праздника письменности. Надо сказать, во всей Болгарии с интересом наблюдали за всем, что происходило на вологодской земле. Сильное впечатление оставили торжества в Устюжне. Рад я был и возможности встретиться с Василием Беловым. Люблю этого писателя со всем спорным и бесспорным в его творчестве еще с тех пор, как он только появился на литературном горизонте. При встрече я поделился с Беловым своими впечатлениями от чтения его романа «Все впереди». На мой взгляд, это произведение продолжает большие традиции русской прозы. Оно представляет попытку самопознания национального характера в современных условиях.

Что сегодня мешает повсеместному проведению праздника?

Владимир КРУПИН:

— Во-первых, слабое знание о празднике письменности, который ежегодно проходит в Болгарии. Тот, кто хоть раз был 24 мая в Болгарии, запоминает этот день, как правило, на всю жизнь.

Во-вторых, слабое знание многими нашими современниками истории своего родного языка, памятников своей письменности, которое порождает невежество по отношению к слову.

Валентин РАСПУТИН:

— Многие люди считают, что читать книги на древнерусском языке чрезвычайно сложно. На самом деле это не так. Здесь не требуется специального образования. Нужна просто привычка к старой книге. Да, с первого раза древнерусского текста не одолеть. Надо будет вернуться к тексту и во второй, и в третий раз. Но зато потом летописи читаешь уже с большим удовольствием.

Я очень жалею, что не оценил этого еще в студенчестве. В университете древнерусский язык был «проходной» дисциплиной. Потребность в чтении летописей, древнерусской литературы появилась у меня только в последние двадцать лет. Не забуду тех ощущений, когда впервые прикоснулся к старым книгам. Читая древнерусский текст, я словно вспоминал то, что было во мне раньше.

Владимир КРУПИН:

— Читающий древнерусскую литературу словно открывает для себя огромное море человеческой мудрости.

Что нам, современникам, важно сегодня в древнерусских текстах? Полное совпадение слова и значения. Один абзац из любой летописи зачастую содержит в себе больше мыслей, чем иной современный роман. Каждое предложение из летописи вызывает целое море чувств.

У нас же пока очень слабо поставлена пропаганда исторических знаний.

Валентин РАСПУТИН:

— К сожалению, у нас мало издается исторической литературы, фольклорных произведений. До сих пор нет приличного свода летописей. Давно следует переиздать сочинения Карамзина и Татищева. Причем переиздать факсимильно. Надо сохранить культуру текста, культуру языка. Говорите, не много будет читателей у таких книг? Но и не надо стремиться к количеству. Пусть будет столько, сколько есть. Главное — чтобы каждый человек получил наконец возможность удовлетворить свой интерес к прошлому Отечества.

Борис ОЛЕЙНИК:

— Уже давно общественность нашей республики ставит вопрос об издании свода общеславянских летописей на древнерусском и современном украинском языках. Тормозят это дело буквоедские, другого определения и не подберу, споры лингвистов о том, как лучше перевести то или иное слово. Хорошо, что журнал «Киев» не пошел на поводу у канительщиков и вот уже третий год печатает на своих страницах отдельные летописи. Регулярная публикация летописей в популярном журнале, думается, способна зажечь интерес к прошлому своего народа не у одного читателя.

Нил ГИЛЕВИЧ:

— Уже сегодня приходится, к сожалению, сталкиваться с непониманием важности праздника со стороны чиновников от культуры и некоторых хозяйственников. Раз в свое время в этих людях не было воспитано уважительное отношение к книге, к культуре, то теперь рассчитывать на их помощь трудно. Наоборот, гораздо чаще они будут оказывать противодействие. И уже оказывают.

Так, несколько лет назад преподаватели республиканской художественной школы, расположенной в старинном предместье Минска, предложили провести праздник встречи весны с использованием древних народных традиций. Вместе со своими учениками они взялись за подготовку национальных костюмов, фольклорных концертов, постановку хороводов. Но некоторые комсомольские руководители и деятели местных органов культуры увидели в обращении молодежи к давним белорусским обычаям воскрешение архаизма, проявление чуть ли не национализма.

Так что нам еще предстоит борьба с косностью, равнодушием, бюрократизмом.

Хорошая традиция возрождается сейчас на наших глазах. Но, может, стоит уже сегодня подумать о расширении границ праздника? Давайте возьмем за праздник письменности всех народов. Пусть он будет в разных районах проходить не в один день. При выборе даты торжеств для того или иного региона давайте обратимся к культурным традициям каждого народа. Главное — праздник поможет понять нам наши корни, вспомнить о том, кто мы, откуда пошли и куда идем.

Записал Вячеслав ОГРЫЗКО

*1160-летию со дня рождения
Константина (Кирилла) Философа
посвящается*

Начнем сказанием черноризца Храбра «О письменах»:

Прежде ведь славяне, когда еще были язычниками, не имели письмен, но чертами и резами читали и гадали. Крестившись же, вынуждены были римскими и греческими буквами записывать славянскую речь без устроения. Но как можно хорошо написать по-славянски греческими буквами «богъ», или «животь», или «ЗѢЛО» (много), или «црькы» (церкви), или «чаание» (ожидание), или «широта», или «ѦДЪ» или «АЗЫКЪ» (где), или «юностью», или «ЖДОВ» другие, подобные этим? И так продолжалось многие годы.

Потом же человеколюбец Бог, все упорядывающий, не оставил и человеческого рода без рассудка, но всех к разуму приводя и спасению, помиловал род славянский. Послал им святого Константина Философа, названного в монашестве Кириллом,— мужа праведного и истиннолюбивого. И создал (он славянам) тридцать и восемь букв: одни по образцу греческих письмен, другие же по славянской речи. Сперва начал по-гречески. Они ведь (начинают) с «альфы», он же — с «азъ». Начало обеих едино. И как оные (греческие) подобно еврейским письменам созданы, так и (славянские) — греческим. Евреи первой буквой имеют «алеф», что означает «учение». Когда приводят ребенка на обучение, то говорят: «Учись — это есть «алеф». Греки подобно тому рекут «альфа». И так понравилось выражение еврейской речи греческому (языку), что ребенку вместо «учение» говорят «ищи». Ведь «альфа», произносимая на греческом языке, (в переводе) и есть «ищи». И по тому подобию святой Кирилл создал первую букву «азъ». Но якоже первая буква «азъ» от Бога дарована роду славянскому (как бы) на отвержение уст (его), то и в разумение (этого) детям, учащимся буквам, широким раздвижением губ ее произносят, а другие буквы малым открытием губ возглашаются и произносятся.

Вот же суть письмена славянские, так их надлежит писать и произносить: А, Б, В, Г, до Ѧ. Из них двадцать четыре подобны греческим письменам, это: А, В, Г, Д, Е, З, Н, Ѧ, І, К, Л, М, Н, З, О, П, Р, С, Т, V, Ф, Х, У, W. четырнадцать —

славянской речи, это: Б, Ж, С, Ц, Ч, Ш, Щ, З, Ы, Ь, Ъ, Ю, Ж, А.

Некоторые говорят: «Зачем тридцать восемь письмен создал, можно было и меньшим числом писать, как и греки двадцатью четырьмя (буквами) пишут. Не ведают точно, каким количеством (букв) пишут (греки). Есть у них двадцать четыре буквы, но не наполняются этим книги, и добавили к ним одиннадцать доегласных и в числах добавили три — «шесть», «девятьсот» и «девятьсот». И собирается их всех тридцать восемь. По тому подобию и по образу тому создал святой Кирилл тридцать восемь букв.

Другие же говорят: «К чему славянские письмена? Их ведь ни Бог не сотворил, ни апостолы, ни ветхозаветны есть, как еврейские, римские и греческие, которые ветхозаветны и восприняты Богом». И полагают такие, что одним (только) им сотворил Бог письменность. И, подумайте, что говорят окаянные: будто на трех языках только Бог повелел книгам быть, как в Евангелии говорится: «и была доска, написанная на еврейском, латинском и греческом», а славянского языка нет там. И потом-то говорят, что славянские книги не суть от Бога..

На это что скажешь? Что поведать этим безумцам?

Все же ответим им по Святому Писанию, как научились, что все суть строго от Бога, а не от иного. Не создал Бог ни еврейский язык вначале, ни латинский, ни греческий, но сирийский — на нем же Адам говорил, и от Адама до потопа этот язык звучал; и после потопа, (пока не) разделил Бог языки при столпотворении (Вавилонском), как написано (в Писании): «Разделены были языки». И как языки разделились, так и нравы, и обычаи, и уставления, и законы, и искусство каждого народа: египтянам (досталось) землемерие, персам же, и халдеям, и ассирийцам — звездочетие, волхование, врачевание и волшебство и все хитрости человеческие. Евреям же — святые книги, в них же писано, как Бог небо и землю сотворил, и все, что на ней, и человека, и все по порядку, как описывает (Писание). Эллинам же (дана) грамматика, риторика и философия.

Но перед этим греки не имели для своего языка письмен и финикийскими буквами записывали свою речь. И так было многие годы. Позже пришел Паламед и, начав с «альфы» и «беты», изобрел грекам только шестнадцать букв. А Кадм из Милета прибавил еще к ним три буквы. И теми девятнадцатью буквами писали в течение многих лет. Потом Симонид нашел и добавил две буквы, и Эпихарм сказатель открыл три буквы, и собралось их двадцать четыре. Спустя много лет Дионисий Грамматик открыл шесть доегласных, затем другой — пять и иной три числительных. И так многие за множество лет едва собрали тридцать восемь письмен.

Потом же, когда минули многие годы, Божиим повелением нашлось семьдесят мужей, которые перевели с еврейского языка на греческий Святое Писание.

А славянскую письменность создал один святой Константин, названный в монашестве Кириллом. И азбуку изобрел, и книги перевел за короткий срок. А у них (греков) многие — и за многие годы: семь мужей письмена обустройствавали, а семьдесят человек переводили. Потому-то славянская письменность святейша есть и более почитаема, поскольку святой муж создал ее, а греческую — эллины-язычники.

А ежели кто скажет, что незавершенную азбуку устроил и после него совершенствовали, то отвечаем ему: и греческая много раз подправлялась Акиллом и Симахом, потом и многими другими. Ибо легче впоследствии поправить, чем вначале создать.

И ежели спросишь книгочея греческого, говоря: «Кто вам письменность обустроил и книги перевел, или в какое время?» — то мало кто из них ведает. Если же спросишь славянских грамотеев, говоря словами: «Кто ваши письмена создал и книги перевел?» — то все знают и, отвечая, говорят: «Святой Константин Философ, названный Кириллом. Он нам азбуку создал и книги перевел, и Мефодий, брат его. Ведь еще живы те, кто их видел». И если спросишь, в какое время, — и то знают, и скажут, что (было это) во времена Михаила — царя греческого, и Бориса — князя болгарского, и Ростислава — князя моравского, и Коцела — князя блатенского, в лето же от сотворения мира 6363 (855)¹.

Есть и другие ответы, которые в ином месте еще скажем, а ныне нет времени. Таков есть разум, братья, Богом дарованный славянам. Ему же слава, честь и власть, и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Вот такое небольшое сочинение древнеболгарского писателя конца IX — начала X в. черноризца (монаха) Храбра о нашей общей для южных и восточных славян письменности.

Текст требует небольших пояснений.

Прежде всего — о Кирилле и Мефодии.

Они родились в Солуни (Фессалониках) — главном городе Македонии, населенном в основном славянами и греками. Их отец Лев занимал пост товарища (то есть заместителя) военного областного начальника, был знатым и известным при дворе вельможею. Это дало возможность детям получить приличное образование и поступить на службу. Старший брат, Мефодий, выбрал военную стезю и довольно быстро занял место правителя одной славяно-греческой области.

Прослужив десять лет, он вдруг уходит на гору Олимп в Полихрониевый монастырь и постригается в монахи.

Да и меньший брат, Константин, также отказывается от блестящей светской карьеры. Наделенный превосходными

¹ На самом деле создание славянской азбуки ученые относят к 863 году.

способностями к учению и достигший значительных успехов в науках, он обратил на себя внимание логофета Феоктиста — бывшего опекуна царевича Михаила — и был вызван им в Константинополь для продолжения образования вместе с царевичем.

В столице он сблизился с кружком образованных людей, чьи интересы не ограничивались ревностным изучением отцов церкви. С не меньшим увлечением они читали светских римских и греческих писателей, усердно занимались математикой и философией, риторикой и грамматикой. Во главе кружка стоял знаменитый Фотий — будущий греческий патриарх, ставший учителем Константина.

Благодаря благоприятнейшим обстоятельствам своей судьбы — знатному происхождению, богатому природному дарованию, значительным успехам в науках, связям при дворе — Константин мог легко достичь блестящих почестей в свете.

Он же...

Отказался от покровительства царя.

Высокого служебного положения.

Выгодного брака.

Жизнь его была озарена иной целью.

Он принял сан священника и место библиотекаря в патриаршей библиотеке при церкви св. Софии — ближе к знаниям.

Но — многие знания умножают печали.

Как и старший брат, он уходит от мирской жизни в монастырь и, только уступив настоянию друзей, возвращается в столицу, принимает должность учителя философии и звание философа — сохранившееся за ним в веках.

Было философу 24 года.

Кажется, трудно понять его поступки. Будучи знаменит — отказался от блестящего положения, но с готовностью принял опасный вызов милитенского эмира и отправился в 851 (или 852) году в трудное путешествие в Среднюю Азию ради отстаивания своей веры в прениях с магометанами.

Так начались равные апостольским подвижнические деяния первоучителя славян Константина Философа.

Он не только с честью для христианской империи провел диспут, но и познакомился (видимо, именно в это время) с сирийскими переводами Святого Писания и церковной службой на этом языке. Чувствуется, что уже тогда его интересовала миссионерская деятельность. Поэтому неудивительно, что, когда в конце пятидесятих годов в Константинополь прибыло посольство из хазарской земли с просьбой направить к ним искусного книжника и мудрого учителя христианам для ограждения их от стремлений иудеев и мусульман обратиться в свои веры, Константин с готовностью откликнулся на эту просьбу, тем более что и выбор византийского царя Михаила III и патриарха Фотия пал на него.

Хазарская земля граничила с югом древнерусского государ-

ства и с северочерноморскими колониями греков. Здесь проживали и славяне.

Для Константина, знавшего с детства славянский язык, эта поездка была особенно привлекательна, поскольку появлялась возможность проповеди христианства среди славян-язычников. И в конце 860-го — начале 861 года он покинул столицу Византии.

Путь лежал через Корсунь (Херсонес). Константин остановился в ней и изучил еврейский язык и самаритянский для свободной полемики с иудеями. В этом же городе, согласно одному из ранних жизнеописаний Константина, Философ познакомился с русином, показавшим ему Евангелие и Псалтырь, написанные русскими (рушскими) письменами.

Что это был за язык — ученые не могут выяснить до сих пор.

Константин довольно быстро научился читать и писать на нем. Не вызвало ли это знакомство с близким к известному еще с детства славянскому языку мысль о необходимости (и возможности!) создания азбуки, понятной для *всех славян*, и переводе на нее богослужебных книг? Не с этой ли целью он сравнивал свой язык с русским, определяя гласные и согласные буквы? И коль скоро научился «излагать» их, то, стало быть, разобрался в грамматике. Во всяком случае, спустя два года, то есть в 863 году, когда настоящим образом возникла потребность в письменности и книгах для моравских славян-христиан, Константин предложил и такую письменность, и переведенные на нее им же самим книги. Но я забежал вперед.

После успешной, хотя чуть было не закончившейся трагически поездки Константин уклонился от звания епископа, но не ради тихой жизни в уединении при церкви св. Апостолов. Видимо, он уже был одержим идеей создания понятной для всех славян азбуки. «Устроение» ее произошло в довольно короткие сроки.

Около 862 года в Византию прибыло посольство из Моравии от князя Ростислава с просьбой прислать учителя Святому Писанию на родном им славянском языке. Первое, чем поинтересовался Константин, — есть ли у этих славян буквы для их языка, ведь невозможно записать на воде беседу. И услышал ответ императора могущественной Византийской империи: «Дед мой, и отец мой, и иные многие искали их и не обрели, как же я смогу их обрести?»

Чего не мог император, смог скромный философ.

В Моравию Константин отправился с братом Мефодием, взяв с собой первый перевод части Евангелия на устроенный им славянский язык: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...» Однако литургия на славянском языке испытывала очень сильное притеснение со стороны немецкого и латинского духовенства, защищавшего три «священных» языка: еврейский, греческий и латинский.

Право на славянские переводы книг Константин отстаивал и на Соборе в Венеции, и непосредственно в Риме, перед лицом папы.

В знак признания правомочия славянской письменности папа Адриан положил на алтаре в храме св. Петра славянское Евангелие, принятое от Константина.

В эту поездку Константин заболел и, приняв схиму под более привычным для нас именем Кирилла, 14 (27) февраля 869 года в возрасте 42 лет отошел в будущее.

Умирая, он просил брата продолжить апостольскую деятельность: «Мы с тобою, как два вола, тянули одну борозду. Я падаю на своей гряде; день мой кончился. Но ты не думай оставлять труды учения, чтобы удалиться на свою любимую гору; ими ты лучше сможешь обрести спасение».

Старший брат выполнил волю своего младшего брата, несмотря на трудности и лишения.

Будучи уже даже епископом Моравии — попал в заточение. По освобождении стал архиепископом и... был изгнан из Моравии. И тем не менее крестил чешского князя Боривоя и ввел в Чехии славянское богослужение. А его ученики проповедовали даже в Силезии и Польше.

После его смерти 6 (19) апреля 885 года латинский язык вытеснил из всех этих областей славянский.

Ученики ушли в Болгарию, принявшую в 865 году христианство и вошедшую в свой золотой век. Болгары заботливо хранили память (отмечается 24 мая по новому стилю) и труды первоучителей и передали нам. В Древней Руси их хорошо знали. Начальная русская летопись содержит рассказ и о славянских подвижниках, и об обретенных ими письменах, причем неоднократно подчеркивает, что славянский народ и русский — один и язык у них общий — славянский: «Аще и поляне звахуся, но словенскаяа речь бе. Полянами же прозвани быши, зане в поли седяху, а язык словенски един».

Возникает вопрос: когда же славянская письменность появилась на Руси и какая именно?

Судя по истории западных и южных славян, потребность в своей письменности возникала прежде всего с принятием христианства, то есть с появлением необходимости переводов христианской литературы для литургических служб и проповеди учения на родном языке. Подтверждает это и история Руси. Ее всеобщее крещение, когда христианство стало государственной религией, произошло в 988 году при Владимире Святославиче. И после этого на Руси действительно появилась богатая переводная, а затем и оригинальная древнерусская литература церковного и светского содержания. Однако сама письменность возникла на Руси гораздо раньше. Целый ряд данных позволяет прийти к такому выводу.

Достоверно известно, что христианские общины существовали на Руси в середине X века, а в 945 году в Киеве была соборная

церковь Ильи Пророка, в которой клялись по договору с греками христиане из дружины Игоря. К стати сказать, и этот, и более ранний договор Олега (911) были написаны, судя по «Повести временных лет», на древнем славянском языке.

Христианство приняла в 955 году княгиня Ольга, частью христианской была и дружина ее сына — князя Святослава, отца Владимира Крестителя. Вести службу без книг — невозможно! Стало быть, уже тогда была необходимость в переведенных на славянский язык богослужебных книгах. Во всяком случае, пока мы не имеем ни одного факта, указывающего на то, что церковная практика на Руси в то время опиралась на какую-то иную письменность.

Однако и X век не исчерпывает предел древности христианства и письменности на Руси, ведь некоторые русские и византийские исторические источники сообщают, что в середине IX века крестилась какая-то Русь, расположенная на север от Византии. Тогда возникает вопрос: кого подразумевали под Русью?

По норманнской теории, приверженцем которой был один из первых русских летописцев, название «Русь» пошло от варягов: «...от варягъ бо прозвашася русью, а первое беша словене». Однако его же собственный предыдущий текст противоречит этому утверждению. Начиная с 852 года, как «нача ся прозывати Руска земля... якоже пишется в летописаньи гречьстемь», наименование «Русь» в географическом плане отождествляется с Киевской землей, а в этническом — с полянами.

В начальной, еще не датированной части «Повести временных лет» упоминается о хазарах, нашедших на Днепре полян, давших в качестве дани обоюдоострый меч. И сказали тогда старцы хазарские: «Си имуть имати (эти станут собирать) дань на насъ (с нас)», что, по словам летописца, и случилось: «Володеють бо козары (хазарами) р у с ь с к и и князи и до днешнего дне». А п е р в ы м р у с с к и м князем этот же летописец называет Олега, «понелиже (поскольку) седе в Киеве»!

У академика М. Н. Тихомирова есть интереснейшая работа «Происхождение названий «Русь» и «Русская земля»¹, в которой он убедительно доказывает, что эти названия относятся к полянам и территории восточных славян с центром в Киеве. Не буду пересказывать его доказательство, но несколько дополню их.

В «Повести временных лет» до изложения под 862 годом легенды о призвании варягов Русью называется Киевская земля. А вот в самом изложении легенды получаем иное: «И от техъ варягъ прозвася Руская земля, ноугородьци, ти суть людье ноугородьци от рода варяжьска, преже бо беша словени», а в другом месте — «от варягъ бо прозвашася русью, а первое беша словене».

Любопытно, однако, то, что ни тогда, ни в позднейшей

¹ Опубликована в книге: Т и х о м и р о в М. Н. Русское летописание. М., 1979.

летописной практике Новгородская земля не входила в понятие «Русская земля». Это наименование появляется с приходом Олега в Киев: «И седе Олегъ княжа въ Киеве, и рече: «се буди мати всемъ градомъ Русскимъ», а далее следует их перечень — Чернигову, Переяслову, Ростову, Любечу, — в котором Новгорода нет!

Замечательно своей красноречивостью расхождение в названиях руси русскими летописцами и византийцами.

В то время как русский приверженец норманнской теории норовит называть варягов, а от них и новгородцев «русами», византийцы называют русью киевских князей Аскольда и Дира, о которых, кстати сказать, Патриаршья летопись повествует раньше, чем о Рюриковичах. Следовательно, византийцы, следуя исконно русской традиции, называли Русью полян и Киевскую землю.

Выяснив этот вопрос, обратимся к сообщениям древнейших русских летописей об удачном походе в 860 году на Константинополь княживших в Киеве русских князей Аскольда и Дира. Вскоре после этого похода Русь приняла от Византии христианство. Конечно, здесь нельзя говорить о всеобщем крещении Руси, ведь христианство не стало на ее территории господствующей религией, как это было после 988 года. Тогда, видимо, крестились только князья да их ближайшее окружение, куда, возможно, входила и дружина.

Для нас же в данном случае важен сам факт появления среди руссов христиан, а вместе с ними, надо полагать, и переводной богослужебной литературы.

Известный нам патриарх Фотий писал в 867 году в «Окружном послании», что руссы сменили свою языческую веру на христианскую, «вошедши в число подданных нам и друзей, хотя незадолго перед тем грабили нас и обнаруживали необузданную дерзость... они приняли пастыря и с великим тщанием исполняют христианские обряды». Послание Фотия позволяет заключить, что принятие Русью христианства произошло после 860 года, но до 867 года.

Вспомним, что Кирилл около 860 года отправился к границам Древней Руси — в Корсунь и Хазарский каганат. Вполне возможно, что именно в это время христианство вступило в ее пределы.

Тогда же он познакомился и с русским языком. Несомненно, что этот язык относится к группе славянских: Кирилл сравнивал его со знакомым ему солуньским наречием и освоил его быстрее, чем изученные в то же время еврейский и самаритянский. Кстати сказать, Кирилл изучил в Корсунь те языки, которые непосредственно нужны ему были в этой поездке.

В трактате «О письменах» черноризец Храбр говорит о попытках славян создать свою письменность на основе греческих букв. Обе славянские азбуки — «кириллица» и «глаголица» — созданы по этому принципу. Первая основана на греческом уставном письме и имеет четкие графические начертания

букв. Пример — перед вами. Кириллицей мы пользуемся, с небольшими изменениями, до сих пор. Вторая — близка скорописи VIII—IX веков, очень вычурна и сложна по написанию. Предполагали даже, что она использовалась как тайное письмо. Несомненно, более удобна в употреблении была кириллица, она и осталась.

После длительных исследований и дискуссий большинство ученых пришли к выводу, что Кирилл создал глаголицу. Но как же тогда быть с утверждением чуть ли не очевидца деятельности Кирилла — черноризца Храбра, что Кирилл устроил кириллицу?

Дело в том, что в оригинале труда Храбра, как показали исследования, была названа глаголица, которую впоследствии переписчики сочинения заменили на более употребляемую и лучше им известную кириллицу.

В таком случае что же представляет собой «русский язык» и куда он девался?

Несомненно, это была хорошо развитая письменность, поскольку на нее были переведены такие сложные книги, как Евангелие и Псалтырь. А раз так, то она не могла исчезнуть бесследно. Храбр же говорит только об одной славянской азбуке, созданной Кириллом, и ее внедрении у юго-западных славян. Глаголические рукописи чаще всего происходят из тех мест, где бывали Кирилл и Мефодий. Что же касается Болгарии и Руси, то есть восточных славян, то у них получила развитие кириллица, которую совершенствовали ученики первоучителей. Значит, они улучшали не азбуку Кирилла, а бытовавшую здесь письменность. Она оказалась более практичной — обработанной временем и людьми.

В некоторых русских списках отрывков из жития Кирилла после перечисленных букв кириллицы имеется любопытное утверждение: «Се же есть буква словенска и болгарска еже есть руская».

Кириллица вытеснила глаголицу в конце IX века. В 894 году болгарский царь Симеон признал старославянский язык, основанный на кириллице, официальным государственным языком. Последующая практика использования кириллицы на Руси закрепила (или возродила?) за ней название «русских письмен». Даже переводы Кирилла порой называли русскими.

Интересно, что за пять лет до официального крещения Руси, то есть в 983 году, пражский католический епископ Войтех (Адальберт) в подчиненной ему епископии «разруши веру правую и рускую грамоту отверже, а латинскую грамоту и веру постави».

И пожалуй, последнее любопытное свидетельство из русской рукописи XV века: «А грамота русская явилася богом дана, в Корсуну русину, от нея же научися философ Константин и оттуда сложив и написав книги русским языком». Комментарии, как говорится, излишни, впрочем, следует заметить, что в утверждении, как и у Храбра, отразилась позднейшая

традиция замены глаголицы на кириллицу — «русский язык».

Что же получается в итоге?

Во время посещения Корсуни Кирилл познакомился с «русскими письменами» — протокириллицей — и на ее основе и на основе греческой скорописи VIII—IX веков создал глаголицу, на которую и перевел первые книги. После смерти славянских учителей богослужения на славянском языке в Моравии и Паннонии были запрещены и вытеснены латынью.

Получившие достаточную лингвистическую подготовку ученики Кирилла и Мефодия перебрались в Болгарию, где и усовершенствовались бытовавшие в ней и в Древней Руси «русские письмена», применяемые восточными славянами «без устройства» и с привлечением греческих букв. В результате сформировался старославянский язык.

Так это было или иначе — сказать сейчас трудно.

Один пример, доказывающий существование кириллицы на Руси в X веке до принятия в 988 году христианства, лучше сотни теоретических выкладок по этому поводу.

Пример действительно приводят пока только один. В 1949 году при раскопках Гнездовских курганов под Смоленском Д. А. Авдусиным была открыта на глиняном сосуде надпись «гороухща», относящаяся, согласно культурному слою, к первой четверти X века.

Но, как говорится, одна ласточка весны не делает...

Разыскания академика Б. А. Рыбакова в области древнейшего русского летописания привели его к выводу, что первые краткие летописные записи о князе Оскольде (Аскольде) относятся уже к 872—875 годам. Большое количество найденных «писал» — роговых или костяных изогнутых заостренных палочек для письма — относятся к IX—X столетиям и также свидетельствуют о наличии письменности на Руси в то время. Причем «писала» предназначались для письма на бересте или воощеных дощечках — материале, доступном любому сословию, что говорит о широком распространении грамотности. Во всяком случае, надписи на новгородских берестяных грамотах XI—XII веков подтверждают это.

«Все это, конечно, хорошо, — скажет читатель, — но вот если бы отыскалась ранняя старославянская надпись, тогда бы...»

До сих пор почему-то никто не обратил внимание на любопытную деталь в правлении Владимира Святославича.

Владимир стал киевским князем в 980 году, за восемь лет до крещения Руси. Он проводил независимую от Византии политику и, более того, стремился к соперничеству с нею. Он взял византийскую колонию Корсунь (все та же Корсунь!) и силой заставил выдать за себя византийскую царевну Анну.

Известно, что в то время и ранее византийские императоры печатали золотые монеты — номисмы, на которых с обратной стороны изображался Иисус Христос, а с лицевой — император с легендой (то есть надписью) по краям на греческом языке,

свидетельствовавшей, кто выпускал монеты. Монета служила своеобразной визитной карточкой императора.

До нас дошло несколько золотых монет Владимира Святославича, чеканенных по типу византийских в конце X века. А вот сребреники Владимира были в значительной степени самостоятельным творением древнерусских монетчиков того же времени.

Но самое любопытное — это надписи на монетах вокруг портрета русского князя, сделанные *кириллицей*. И не одно слово, а целые фразы, причем на каждой монете — своя. На златнике — «Владимиръ а се его злато», с обратной стороны — «Иисусъ Христось». На раннем сребренике — «Владимиръ на столе» и «Иисусъ Христось». А уж если на монетах делались надписи, то наверняка подразумевалось, что их прочтут! Значит, кириллица не была диковинной в 988 году, ведь скорее всего монеты с Христом приурочивались (или озаменовали) к принятию христианства Русью.

Через короткое время, но в пределах того же X века сребреники с Пантократором стали перечеканивать. Изменилась и надпись на них. На лицевой стороне — «Владимиръ на столе», а с обратной, вокруг родового знака Рюриковичей, сменившего изображение Христа, — «а се его сребро».

Четыре великолепных надписи *кириллицей* на монетах Владимира служат прекрасным доказательством употребления старославянской письменности на Руси в конце X века.

На III Международной научно-церковной конференции, проходившей в начале года в Ленинграде, я рассказал видному австрийскому слависту академику Францу Марешу о надписях на монетах Владимира. Он был поражен услышанным: четыре неучтенных лингвистами кириллические надписи X века из Киева — более чем великолепный подарок ученым к историческому юбилею!

— Несомненно, — заговорил он горячо, — они служат подтверждением существования в Древней Руси и в более раннее время хорошо развитой письменности. И вы, видимо, правы, — поддержал он мое предположение, — что выпуск златника князь Владимир приурочил к Крещению Руси.

И мы подумали, что если бы его выпуск повторить сейчас, то монета с изображением Владимира и кириллической надписью могла бы стать юбилейным знаком...

ВОЙНА И МИР К. Н. БАТЮШКОВА

К 200-летию со дня рождения поэта

— А вот гора, которую Батюшков штурмом брал,— сказал мне Эрки Пеуранен, доктор всевозможных наук, профессор, известный финский специалист по истории русской литературы.

Гора была впечатляющая: гранитные глыбы, сосны, а сверху снежок: дело-то шло к зиме, а зима в Финляндии — кто же не знает! — лютая. Покарабкались мы по горе, которую Батюшков штурмовал: труднехонько. А если представить себе, что от вершины и до подножия она была изрыта шведскими укреплениями, из которых по шедшим на штурм залихватски палили пушки да ружья, Батюшков сразу же станет похож на одного из множества офицеров Великой Отечественной: взятие какой-то заданной высоты стало в нашем сознании просто-таки канонической ситуацией. И в песнях она воспета, и в мемуарах воспроизведена — в тех, разумеется, случаях, когда бравшие высоту могли писать мемуары, а то бывало и так: высоту возьмут, а писать мемуары уже и некому.

После штурма живописной финской горы в июне 1807 года Батюшков был тяжело ранен в ногу. Все офицеры его батальона тоже были ранены, один убит. Поэту только-только исполнилось двадцать лет. Два-дцать!

Снова и снова встречаясь с рассуждениями, просто-таки с выкриками о стремительных, даже якобы бешеных темпах XX века, я чувствую в них какую-то опрометчивую надуманность, и чем больше нервозности в них, тем меньше им верится. Конечно, от Москвы до Тбилиси, до Тифлиса по-старому, долетаем за два-три часа, беспечно перелистывая ярким факелом возгоревшийся ныне отважный журнал «Огонек» или озабоченно обгладывая крылышко тощего аэрофлотского курчонка, в то время как современникам Батюшкова, Пушкину или Лермонтову, на подобный вояж требовались полные смертоносных опасностей недели, если не месяцы. Тут наше превосходство в темпах неоспоримо.

Но можно ли представить себе такого поэта XX века, который за десять, всего лишь за десять лет промчал бы путь от поэмы «Кавказский пленник» до «Повестей... Белкина», то есть от буйного, уверенного в себе романтизма до прозы, ориентированной на доподлинное, будничное, обыденное? Такого поэта представить себе невозможно. Я вообще не ощущаю поэтической,

художественной эволюции даже лучших современных поэтов, не говоря уже о том, что я не могу припомнить поэта или писателя, который отрицал бы, отбрасывал бы себя вчерашнего, на обломках отринутого строя последующее. Переломы, внутриличностные революции — такого у нынешних не бывает. Изменилось наше художественное сознание за последние полвека, положим? А для XIX столетия его изменения были нормой поэтической жизни: изменяюсь, следовательно, существую. Темпы внутриличностного роста были такими отчаянными, что мы кажемся просто какими-то духовными тихоходами.

К двадцати годам Константин Батюшков уже ясно определяет свою поэтическую, литературную позицию: он — с обновителями языка, стиха, стиля, жанров. Ода или элегия? Мирнейший, казалось бы, жанр элегии обнаруживает внутреннюю воинственность: элегия противопоставляется оде, потому что элегия личностна, и смысл ее в признании за человеком права на бунт даже против вечных законов природы. Элегия возникает там, где мы выражаем желание заведомо неосуществимое, явно несбыточное: преодолев какие-нибудь невероятнейшие пространства, прервать разлуку или, победив время, вернуть себе молодость. Но время необратимо, отсюда и особая грусть элегии — грусть, с которой русская поэзия вступала в XIX век. И была эта грусть чем-то невиданно новым: индивидуальное «я» осмеливалось заявлять о своих притязаниях, личность отделялась от единообразного множества, а это было опасно, зане вольнодумством попахивало. Поэт начинается с элегий.

Как они успевали? Когда? Каким образом вмещалось в жизнь русского интеллигента начала прошлого века столько знаний, увлечений, литературных начинаний, воинских подвигов, дружб, любви и, наконец, веселых полемических выходов, литературного озорства, мистификаций и маскарадов? Батюшков чудом остается в живых. Вырвавшись, если выразиться романтически, из хладных объятий смерти, он пишет преизводительную поэму «Видение на берегах Леты» (1809). Новое в ней дерзновенно прощается с прошлым, отвергает его: Батюшков кануна Отечественной войны 1812—1814 годов живет, видимо, в том особенном состоянии духа, которое нисходит на убежденных в своей правоте новаторов в пору преодоления ими доктрин и догм недавнего прошлого, когда открываются перед ними новые горизонты. Очищаясь, Батюшков отважно хоронит в реке забвения своих литературных противников, а в позитивной программе его — сосредоточение в творчестве, скромность, устройство мира, где достигнута гармония цивилизации и природы, серьезного и забавного, умиротворенного и деятельного («Мои Пенаты»). Но полностью открывается Батюшков в пору Отечественной войны и немного позднее, и открывается он как, я сказал бы, литератор-конспект, в сжатых, в эмбриональных

формах, в формах наброска, прогностической реплики, предуказавший немало решающих моментов русской литературы.

Уже в дружеском письме двадцатилетнего офицера есть продуманная установка на воспроизведение изнанки войны, ее прозы, смешного, нелепого, которое сопутствует героическому: здесь уже брезжит тот тип восприятия войны и военных событий, которым будет жить баталистика Полежаева, Лермонтова да в конце концов и Л. Н. Толстого. Но вполне просматривается Толстой в небольших фрагментах 1817 года «Из записной книжки». Герой 1812 года Раевский высказывает там прямо-таки толстовские трактовки войны: «Из меня сделали Римлянина... из Милорадовича — великого человека, из Витгенштейна — спасителя отечества, из Кутузова — Фабия. Я не Римлянин, но зато и эти господа — не великие птицы. Обстоятельства ими управляли... Провидение спасало отечество». И здесь же Раевский рассказывает эпизоды из Бородинского сражения, низводя патетические легенды к реальным боевым происшествиям, полным забавных деталей. А картина исхода из Москвы ее жителей, начертанная в послании 1813 года «К Дашкову», — эпическая сторона романа Толстого: бегущие толпы, пожарища. И по «Москве опустошенной» бродит одинокий поэт, не духовный ли он двойник, не предтеча ли он Пьера Безухова?

Полноценной творческой жизни поэту отпущено было 10—12 лет, и в течение их Батюшков создавал какое-то хранилище сюжетов, характеров, новеллистических разработок, которые в русской литературе XIX века разрастались в эпические полотна, в нравоописательные сцены, в социально-психологические романы. Батюшков ощущал необходимость комедий, с которыми, будто по слову его, выступили сначала Грибоедов, а затем и А. Н. Островский: «Москва есть большой провинциальный город, единственный, несравненный... Москва идет сама собою к образованию... Лондон беднее Москвы по части нравственных карикатур. Какое обширное поле для комических авторов, и как они мало чувствуют цену собственной неистощимой руды». Батюшков уже прозревает так называемую грибоедовскую Москву, Москву Фамусова, Скалозуба, Молчалина.

И приятель наш Илья Ильич Обломов у Батюшкова проглядывает: «Всю жизнь провел он лежа, в совершенном бездействии телесном и, сколько возможно было, душевном». Но это не об Обломове сказано, а о предшественнике его, одном из «оригиналов Московских». В этюде «Похвальное слово сну», написанном в 1809 году все в той же Финляндии, — смешная апология лени и безмятежного сна. «Наш оригинал был совершенный царь своей постели. Целый день он лежал то на одном боку, то на другом... Способность спать во всякое время есть признак великой души... Сон есть признак великого духа и доброй души. Доброй души — ибо сонливый человек не способен делать зла, которое требует великих усилий, беспокойства и беспрестанной деятельности». И не будем вдаваться, вязываться в кипучие

споры о том, хорош или плох Обломов. Не о нем нынче речь, а о Батюшкове. А уж он-то хороший: и Л. Н. Толстого предвидел, и И. А. Гончарова за полвека до их появления. Не говорю уж о Пушкине: издавна известно, что «Медный всадник» начинается переложением в стихи прямой цитатой из Батюшкова; присутствует Батюшков и в романе «Евгений Онегин». А в чем-то прозрел он и наши заботы, надежды, сомнения.

Пересматриваются и уточняются ныне трактовки всевозможных индивидуальных судеб, идейных течений и поэтических направлений. Пересмотрена и репутация сентиментализма; во всяком случае, наиболее дальновидные наши литературоведы начали ее пересматривать. И правильно они поступают, ибо очень существенное это было литературное направление: сен-ти-мен-та-лизм. И очень оно актуально сейчас: безусловная ценность личности на фоне каких угодно великих свершений, потому что человек есть цель, а не средство этих свершений, благоговение к чему бы то ни было живому — все это и жизненно, и насущно. Некорректны споры о том, к какому литературному направлению «относится» тот или иной поэт, литератор; поэты создают направления, растут вместе с ними, а не входят в уже готовые статичные рубрики. У Батюшкова был и реализм несомненный, был романтизм. Но прежде всего Батюшков развивался вместе с русским сентиментализмом, явлением светлым, глубоким, хотя, разумеется, и неоднородным.

Был у нас Батюшков...

Батюшков солдатского героизма и солдатской обыденщины...

Батюшков умиротворяющей поэзии отдыха, созерцательной, добродушной лени...

Батюшков, предсказавший «Горе от ума» Грибоедова, «Медного всадника» Пушкина и трагически обезумевший в начале нового этапа своих неустанных исканий и художественных находок...

Батюшков, знавший цену и прозы войны, и поэзии мира...

РОЖДЕНИЕ ПАМЯТНИКА

«Каждый человек живет по особому, свойственному только одному ему, времени» — эти слова принадлежат скульптору, лауреату Государственной премии СССР Вячеславу Клыкову.

А многое из того, что создано художником, помимо Третьяковской галереи, Русского музея, других собраний, живет в светлом пространстве старинного московского особнячка на Ордынке, где находится его мастерская.

28 мая 1987 года в Вологде — открытие памятника поэту-земляку Константину Батюшкову, авторами которого являются В. Клыков и архитектор В. Снегирев.

Тем, кто интересуется искусством, имя Клыкова давно и хорошо известно. В многообразии созданного мастером каждому дорого свое. Кто-то помнит монументальные его работы, памятники, оформление интерьера детского музыкального театра; кто-то ценит острые, гротескные работы серии «Пиджаки»; кто-то выделяет уникальную портретную галерею, в которую вошли и фигура В. М. Шукшина, точно передающая динамизм и энергию художника, и портрет Игоря Стравинского, выразивший нервный психологизм, мощь и парадоксальность его личности, портрет — почти зримое воплощение мира его музыки.

В холле, где мы разговариваем, останавливает внимание макет мемориала Победы на Поклонной горе. В. Клыков предлагает свой вариант памятника.

Но сегодня наша речь о Батюшкове, о памятнике ему. И о вологодском крае.

— Вячеслав Михайлович, наш край уже давно стал для вас не просто географической величиной, но и личным творческим явлением. Что привлекает вас к нему?

— Ощущение единства культуры, единства взглядов на поэзию, литературу, архитектуру, которое объединяет с многими моими вологодскими друзьями.

Я из Курска.

Вы знаете, как пострадал наш город в войну, и в нем нет тех ценностей, что есть в Вологде. То, что хранится у вас в музеях, является нашими непреходящими ценностями. Вот это духовное богатство наше и притягивает.

И конечно, присутствие такого писателя, как Василий Белов,

который создает собственное силовое поле. И, конечно, Батюшков...

— Почему остановили выбор для памятника Батюшкову именно на том месте, где он сейчас возводится, на берегу реки?

— Первоначально мне предложили поставить его на площади перед картинной галереей. Но место не приглянулось. Памятник не должен налагаться ни на один из существующих архитектурных объектов. Это одинаково невыгодно и для памятника, и для архитектуры.

Я выбрал площадку на берегу реки, так как памятник будет, на мой взгляд, удачно просматриваться с улицы Батюшкова, но стоять он будет как бы на фоне неба. Основной фасад развернут в сторону центра города. Композиция памятника развернута по горизонтали — по контрасту с храмом Александра Невского.

С другого берега реки он будет смотреться практически равноценно главному фасаду, не накладываясь на Софийский собор.

— В чем состояла сложность работы над памятником?

— Самое важное в каждом памятнике — выбор масштаба. На площадке, окруженной решеткой, помещены гранитные тумбы с двумя скульптурами — богини войны Афины Паллады и музы поэзии в полутораметровую величину. Фигура Батюшкова — 3 метра 30 см — предполагает осмотр с разных точек. С дальних точек осмотра она должна выглядеть небольшой, вблизи — значительной. Мне кажется, выбор масштаба найден верный.

Трудно согласиться с доводом, что лирический поэт XIX века «не приживется» «в чужой» обстановке сооружений XVI—XVII веков.

История едина в своем продолжающемся развитии. Новое содержание, которое привносит новый памятник, не мешает тому, что уже есть.

Возможно, абстрактная фигура и выглядела бы инородной, неорганичной.

Но что может быть красивее фигур человека и лошади? Образ пасущейся на лугу лошади с детства привлекал меня. Тот же образ мы находим и в поэзии Рубцова, да и Батюшкова.

— Вы как-то сказали, что «невозможно проиллюстрировать поэзию и судьбу. Воображению надо домыслить памятник».. Разве это возможно в скульптуре, самом материальном, вещном из искусств, в котором закреплен главенствующий взгляд автора, воспринимаемый как единственный и абсолютный?

— Возможно, ибо скульптура всегда многозначна. Она предполагает взгляд с разных ракурсов и раскрывается постепенно. Свои ракурсы может открыть в ней каждый.

Когда я делал памятник Н. Рубцову для Тотьмы, я искал в мотиве ту особую простоту, которая свойственна его поэзии.

Мотив памятнику задавали и берег реки, и сквер, и характер застройки города, одно-, двухэтажный по преимуществу.

Вообще отношение к памятнику — важный аспект культуры. В памятнике фокусируется и выражается прежде всего национальная идея во времени. В памятнике должна проступать не схема, а человечность; и в форме, и в масштабе — внимательное отношение к среде. И это хотелось выразить в памятнике Батюшкову.

Беседу вела Н. СЕРОВА

**ЗЕМЛЯ — НАШ ДОМ,
БУДЕМ ЕЕ БЕРЕЧЬ**

— Для вологодской земли война была подлинной трагедией,— начал нашу беседу В. Белов.— Можно насчитать сотни деревень, куда не вернулось после войны ни одного солдата. А солдатские жены и матери, дети и старики делали для победы все, что было в их силах. Известно, что на собранные средства были построены авиасоединение «Героическому Ленинграду» и танковая колонна «Вологодский колхозник». День и ночь вологжане отправляли на фронт эшелоны с продовольствием, хотя сами ели не досыта... У меня на родине, в глубоком тылу, люди умирали от голода. От болезни, связанной с недоеданием, умерла и моя бабушка Фоминишна. Она с матерью все старались хоть как-то накормить нас, пятерых, оставшихся без отца...

Одно из видений военной поры: мы, ребяташки, сидим в розовом разливе лугов и щиплем клеверные маковки. Всего обиднее было то, что нащиплешь корзину, умнешь, а когда мать их высушит и истолчет в ступе, получается всего горстка коричневой муки. Ели и мох, и репейники, и толченую солому. Но клеверная мука была самая лучшая, лепешки из нее не так обдирали горло...

Всплывают в памяти собрания в конторе, где женщины слушают уполномоченного по хлебу, по займу, по лесу. А весной... Лошади, на которых раньше пахали, сдохли, некоторые съедены. Десяток женщин на веревках, без оглобель, волокут плуг. Одиннадцатая идет бороздой... От дома к дому бредут нищие...

Из этих воспоминаний и возник рассказ «Такая война». Но тут всего лишь частица народной трагедии...

Забывать это нельзя. Не только потому, что страдания народов были безмерными, но еще и потому, что существует угроза новой войны. Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева предлагает быструю и полную ликвидацию ядерного оружия во всем мире. Будем верить, что усилия нашего государства не останутся втуне.

— В своем выступлении на съезде писателей РСФСР вы призвали литераторов острее чувствовать необходимость и новизну общественных перемен. Что сейчас составляет вашу главную боль писателя и гражданина?

— Все, что касается современной семьи! Состояние семьи очень меня волнует и в публицистическом, и в художественном

плане... Мне кажется, что разрушение семьи, которое происходит, может обойтись нашему государству очень дорого. Это чувствуется уже теперь и в нравственном, и в экономическом, и в демографическом смыслах. Отрицательно сказывается на семье и на производстве миграция населения, система вербовки, оргнабора, вахтовых методов работы. Высокие заработки где-то за тысячи километров, вдалеке от семьи, не идут людям на пользу. Дальние поездки невыгодны обществу и экономически...

Проблема общежитий. Мы очень много теряем от того, что значительная часть населения живет в общежитиях. Могу доказать: общежития не способствуют ни высокой нравственности, ни высокой трудовой активности, если взглянуть на них с точки зрения не сиюминутной административной, а с государственной выгоды. Люди не пускают корней, легко снимаются с мест. Текучесть и дефицит кадров — одно из следствий такого явления. Мне кажется, пока люди живут в общежитиях, текучесть кадров не остановить. Говорят, общежитие — это коллектив, там меньше, мол, почвы для индивидуализма. Думаю, даже наоборот... Свое жилье, квартира привязывают к месту, дают возможность завести семью. Перспектива улучшить жилищные условия закрепляет людей на предприятии, побуждает лучше трудиться, способствует не только росту и укреплению семьи, но и производительности труда. Если разобраться, то и алкоголизм ведь тоже во многом связан с жизнью в общежитиях, с затянувшейся холостяковщиной без якоря, без корней. И наоборот, семья, квартира, заботы о доме, о детях наполняют жизнь человеческую великим смыслом. И уже самим этим отвлекают от прожигания времени и здоровья. Пьянство — результат определенных социальных явлений, и бороться надо прежде всего с тем, что его порождает. Я говорил на съезде, что даже в Госплане и Минфине некоторые предрекали провал борьбы с пьянством. Но я не боюсь повторить, что народ всей душой принял постановление ЦК партии и правительства, что он ждет еще более решительных, еще более радикальных мер. Лично я за «сухой закон», принимаемый по инициативе местных Советов. Не согласен с теми горе-наркологами, которые считают, что надо учить культурно пить. Возможно ли культурное потребление наркотика? Поговаривают, что если полностью запретить продажу алкоголя, то все бросятся гнать самогон. Но на деле все выглядит наоборот: подпольное производство алкоголя только поощряется его общественной, «законной» доступностью. Говорят, что радикальные меры не в состоянии пресечь беду, что где бы ни вводился «сухой закон», он приносит только вред. Но это величайшая ложь! Люди просто мало знают о таком опыте.

Когда горит дом, не рассуждают, какие меры тушения хороши, какие не годятся. Используют все средства! А алкоголь несет народу неисчислимые беды. Вот самый свежий пример. Только за один восемьдесят пятый год в колхозе на моей родине не стало двенадцати человек — мужчин. Не моего возраста, нет. Все мо-

ложе меня. Смерть их так или иначе — следствие алкоголизма. А появление на свет неполноценных детей? И это при сокращении рождаемости вообще...

— Василий Иванович, в своих рассказах и очерках вы высказываете немало мыслей о трудовом и нравственном воспитании. Что вам кажется здесь самым главным?

— Все опять же связано с проблемой семьи. Одной школе не одолеть негативного отношения к труду. Я считаю, что дети должны воспитываться родителями, в семье. Вот прочел в «Литературной газете» недавнее интервью с Маркесом — он тоже так считает... По-моему, это дикость: при живых родителях сдавать детей в интернаты. Помню из раннего детства, как страшно, как горько и тревожно бывало, когда мать уходила из дома на целый день. И как радостно, удивительно легко становилось на душе, когда она возвращалась! Мир вновь становился солнечным. А ведь дети, с семи лет живущие в интернате, не видят родных по восемь-девять месяцев...

Многие молодые люди просто не хотят, боятся иметь семью. А другие хотят, но не могут, не умеют даже жениться... Почему-то раньше в крестьянских семьях подобных проблем не возникало. Устройство контор по брачным знакомствам вызывает в лучшем случае улыбку... Выходит, сам мужчина не может найти себе жену? Но это плохой мужчина... От молодоженов можно иной раз услышать: «Чего спешить с детьми, надо пожить для себя!» Разве это «пожить для себя» не есть высшее проявление мещанского эгоизма, потребительского отношения к жизни?..

В школе вводится программа по семейному и даже будто бы сексуальному воспитанию. Но ведь есть же вещи романтические, интимные, тайные. Чувство стыда — оно же необходимо, как прежде. А тут публично будут учить... Чему? И опять, наверное, за счет гуманитарных предметов. Программы по языку и литературе и так до смешного урезаны. Формализм и рационализм настойчиво проникают в школу. В изучение даже таких связанных с живой природой предметов, как география и биология, вводят математические методы. Такова логика развития науки. Но тонко чувствующую, живую, умеющую сострадать душу не сформируешь с помощью компьютерной техники. Поэтому я убежден, что литература должна быть важнейшим школьным предметом.

— Вы как-то высказали мысль, что восприятие художественного образа качественно сродни его созданию. Разница лишь в масштабах. Думается, это абсолютно верно по отношению к актеру, певцу, исполнителю. Здесь и восприятие уже созданного образа, и создание на его основе своего для передачи зрителю, слушателю. А последний? Восприятие им художественного образа зависит от эстетической подготовленности, культурно-нравственного уровня...

— Формируется-то зритель, слушатель, читатель исподволь. Все начинается с младенческих лет и только продолжается в

школе. Уроки литературы должны будить в детях прежде всего хороших читателей. А разбуженный читатель уже сам формирует свой вкус и умение размышлять, давать оценку явлениям жизни. К сожалению, многие считают, что познали Льва Толстого и Федора Достоевского, посмотрев несколько кинофильмов, поставленных по произведениям этих величайших писателей. Это заблуждение опасно еще и потому, что и сами-то постановщики нередко шиворот-навыворот трактуют классическое произведение. Мне кажется, радио, телевидение, эстрада часто играют как бы в поддавки с молодежью, предлагая примитивно-облегченную культурную программу. У нас прямо-таки какое-то нашествие рок-музыки... Конечно, все это безоговорочно, бездумно потребляется, снабжать так называемой «культурой». Мне уже приходилось говорить о «полупроводниковом» характере культурно-массовой работы, напоминающей улицу с односторонним движением. Люди как бы разделены на две части: одни на сцене поют и пляшут (создатели), другие внизу смотрят и слушают (потребители). Художественная самодеятельность, в которой бы участвовали все без исключения, в клубных условиях невозможна. Любая сцена, любая эстрада подразумевает наличие зрителя, так сказать, пассивного потребителя. Может быть, стоит подумать всем миром о восстановлении традиции общих народных гуляний и праздников, где посильно участвуют все. Поют, пляшут, играют, одни лучше, другие хуже, но именно все.

— Потребительство духовное, вероятно, является следствием материального потребительства. В наши дни отчетливо слышны предостережения ученых в этом плане. Психология потребительства — серьезнейшая опасность, которая грозит человечеству. Она же ведет и к расхищению, к разбазариванию богатств земли, которые не безграничны, которым уже виден конец...

— Я тоже думаю об этом постоянно... На моей родине на здании железнодорожного вокзальчика лозунг: «Дадим сверх плана пять тысяч кубометров леса!» Мне еще понятно, когда сверх плана выпускают, например, пять тысяч холодильников. Но если леспромхозы из года в год превышают расчетную лесосеку, если естественным ростом древесины не восполняется ее расходование, можно ли называть победой перевыполнение плана? Через станцию Харовская каждые полчаса проходит состав с лесом, перерабатываемым на бумагу. Каждый вагон такого состава — это обширный лесной пустырь. В нашей Вологодской области зоне тайги угрожает исчезновение.

Не могу не сказать еще об одном положении в проекте Основных направлений — о переброске воды северных рек на юг. Научный экстремизм отраслевых специалистов, предлагающих подобные проекты, вызывает глубокую тревогу. Аргументированные возражения с предложением исключить этот пункт из предсъездовского документа высказали в печати ученый М. Лемешев, писатель С. Залыгин. В поддержку этого исключения

высказываются и многие другие ученые, известные деятели культуры, рабочие и колхозники. Серьезное опасение по поводу этого проекта прозвучало на недавней областной партийной конференции в Вологде. Этот проект противоречит постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР о Нечерноземье. Он не пошел бы на пользу и югу, об этом тоже появились сообщения в печати.

Тревожит еще чрезмерный рост некоторых наших городов, образование мегалополисов. Может быть, в Японии или в Мексике нет выбора, природные условия вынуждают создавать такие города. Но у нас-то что заставляет расти и расти, например, Москву? Концентрация таких огромных масс людей опасна даже в мирное время. Я, конечно, не призываю к тому, чтобы все жили в деревне, но крестьянский дом в стратегическом плане можно сравнить с подводной лодкой, способной на длительное автономное плавание... Эти мысли приходят не только в родной Тимонихе, в доме, который построил мой прадед Михайла Григорьевич. В Москве они становятся еще неотступнее...

Беседу вела М. ИСКОЛЬДСКАЯ

— Война, парень ты мой, война, чего сделаешь, война,— повторяет Николай Иванович, ведя меня за околицу деревни Полунино.— Это ведь представить и то невозможно, сколь тут полегло.

Мы стоим у края огромного поля.

— Ржев видишь? — спрашивает Николай Иванович.

— Да,— отвечаю я, глядя на дымящие трубы города.

— Туда Волга. Во-он туда потекла. Туда Старица. Оттуда Настя моя. В Торжке педучилище кончила, я тоже тверской. Под Зубцовом первый бой принял, где сейчас плотина, деревня Михнево, медаль получил «За боевые заслуги». Повидал, парень ты мой. Семнадцати лет взяли, сто восемнадцатая стрелковая дивизия. И воевал до конца победы. А с сорок шестого здесь. Еще избушка цела, где Настя преподавала, там же и жили. Ученики были ровня с ней по возрасту, а то и старше. Вот, парень ты мой, как война отбросила. Был колхоз имени МЮД, все поля в минах, сколь подрывались. До сих пор смерть таится, вот только что недавно случаи были, читал? «Таилась смерть под Ржевом». Настя всегда с учениками проводила беседы — ходить только по дороге. Приехали в Полунино — одни ямы от бомб, деревья горелые да остатки печей. Стали обживатьсь я. Немецкие блиндажи разбирали и ставили избы. Первые березы на могиле сажала Настя с учениками в сорок восьмом году, скоро и березам сорок лет. И на пенсию вышла, и я пенсионер, и можно бы уехать, а уж куда мы сейчас от этой могилы?

— Николай Иванович,— прошу я,— давайте вернемся, мне надо текст с могильной плиты списать.

Я прошу еще и оттого, что мы оставили у памятника моего друга. В могиле его отец. Другу надо было побыть одному. Отходя и оглядываясь, я увидел, как он закрыл лицо ладонями, как затряслись его плечи. Мужественный сорокапятилетний седой мужчина. Мы целый день добирались из Москвы до Ржева, потом из Ржева до Полунина и много о чем говорили. Друг с тоской говорил, что не знает, как воспитывать сына, потому что сам рос без отца. «А был сын на могиле дедушки?» — «Да». — «Ты ему рассказывал про Северо-Западный?» — «Еще бы. Он и сам чуть что прочтет или по телевизору услышит, сразу: «Пап, Гитлер говорил, что потеря Ржева равна потере половины Берлина! Пап, против наших были отборные эсэсовские части!» А поехал сюда в

этот раз один, у него школа. Спрашиваю, что дедушке передать, говорит: «Ты через Москву поедешь, купи кроссовки». И нарисовал фломастерами, какие брать, какие не брать».

— Вот строит же совхоз двухквартирные коттеджи, ведь можно же было одну половину какого-то выделить, раз уж так со школой получилось, — говорит Николай Иванович.

Мы издали увидели, что друг подметает на узенькой дорожке упавшие листья.

— Да зачем? — сердится Николай Иванович. — Разве мы не убираем?

— Ну что, — улыбаясь просветлевшими от слез глазами, спрашивает меня друг, — что, парень ты мой, заговорил тебя Николай Иваныч?

Могильная плита завалена горой цветов. Мы временно освобождаем от них надпись, сортируя увядшие от свежих.

— Вот эти гладиолусы утром сегодня две женщины возложили, на машине приезжали. Раньше не видел, новые. Тут все время народу прибавляется.

Я начинаю списывать:

«Здесь похоронены солдаты, сержанты и офицеры, 5, 10, 18, 20, 24, 32, 37, 43-й...»

— Давай я буду диктовать, ты быстрее запишешь, — предлагает Николай Иванович. — Ты на какой цифре остановился?

— Сорок три. Пишу.

— Сорок третьей. Дальше: 52, 78, 107, 111, 143, 178, 182, 183, 210-й. Успеваешь? 210, 215, 220, 243, 246, 247, 248, 250, 348, 357, 359, 369, 371, 375, 379, 413, 415, 632, 879, 966-й стрелковых дивизий, тридцать третьей отдельной бронетанковой дивизии. Пиши цифрами. 4, 35, 36, 119, 130, 132, 133, 136, 153, 156, 238-й стрелковых бригад. Вот, парень ты мой, — прерывает диктовку Николай Иванович, — в дивизии три полка, а в бригаде три дивизии. Вот какая арифметика. Пиши дальше: 18, 25, 28, 35, 38, 55, 85, 115, 119, 144, 153, 238, 249, 255, 270, 298, 427, 438, 472, 492, 829-й танковых бригад, девяносто третьей гвардейской минометной бригады, четыреста тридцать восьмой отдельной саперной бригады. Все. Давай проверим, я снова прочту, ты следи, правильно ли записал, тут, парень ты мой, точность нужна, тут, парень ты мой, десять тысяч солдатиков один к одному лежат.

— Нет, больше. Уже давно больше, — говорит Анастасия Михайловна, когда мы, иззябшись на ветру, пьем чай вместе с нею и Николаем Ивановичем. — Сейчас пойдем, и покажу. Только не сразу, посидим после чаю, а то опять озябнете. На террасе холодно.

И мы замолкаем. Я уже знаю, что материалы, стенды, альбомы крохотного музея, сделанного А. Н. Калошиной, учительницей этой начальной школы, сейчас вынесены из школы и музейчик прекратил свое существование. И это еще одна из причин, почему я здесь. Я давно собираю материалы о своих земляках-вятичах, и когда речь заходила об Отечественной войне, о невер-

нувшихся с нее, то очень часто назывались именно эти места, Ржев назывался особенно часто: вятский призыв сорок первого года был брошен на самое решающее место великой битвы. А друг мой каждый год ездит на могилу отца, он рассказывал об Анастасии Михайловне, о ее беде.

— Кому-то помешал,— говорила она.— А ведь кто бы ни приехал, сразу знали — не в сельсовет, не в правление, надо идти в школу, здесь и списки, здесь мы и рассказывали о боях. А на Девятое мая готовили композицию. Школьники на разные голоса читали Твардовского «Я убит подо Ржевом», редкий, кто скрепится, все плакали. Потом идем в школу, смотрим фотографии, альбомы, стенды. Потом кто что привез, общий стол, поминки. Мне уже многие десятки людей родными стали. К сорокалетию Победы ограду сделали, мост через Холынку.

— А не было мысли написать у могилы все до единой фамилии погибших? — спрашиваю я.

— Ой, не знаю. Статьи, наверное, такой нет. Надпись такую нам не поднять. Музей Калининский приезжал, экспозицию смотрели, конечно, у нас скромно, но душевно. А сколько историй накопилось! Сижу раз одна, Коля за дровами уехал, а двадцать километров, за день не обернешься, стучат. Дождь был, темно, вот как сегодня, открываю — человек весь мокрый: «Здравствуйте, я из братской могилы». Страху! Оказалось, на него была похоронка и в списках здесь значился, а остался жив. Куранчев Николай Григорьевич, пулеметчик.

— Знаю, знаю,— подтверждает друг.— Они еще в Образцове друг друга узнали с одной женщиной. Она тогда девочкой была в войну, сиротой, они ее подкармливали. Он нашел место, где пулеметное гнездо его было, стал копать и выкопал круг и пулеметную ленту.

— А как по братикам убивался,— вздыхает Анастасия Михайловна,— по своим пулеметчикам. Все приезжал, а что-то последнее время не был. Он из города Железнодорожного. Уж не случилось ли чего? Говорил, если что, хотел бы именно сюда лечь, как намечалось. Чудом тогда уцелел. Ну что, пойдём?

Квартирка Калошиных — пристройка к школе. В школе два класса. В классах примерно по десятку парт, некомплектная школа. В классах чисто, тепло. Знакомые с детства круглые печиголландки, горячие на ощупь. Николай Иванович видит, что я коснулся печи.

— Кто истопник, спроси. Я истопник. В четыре часа утра топил, до сих пор жар держат. Не дадим, парень ты мой, деточкам замерзнуть.

Кое-что хранится в шкафу одного класса. Это кое-что необычайно значительно, это реликвии: гильзы, солдатские медальоны, пластмассовые пенальчики, значки, ремни. Тут же подарки музею — с Урала, из Прибалтики, Москвы.

— Города нет, наверное, чтоб оттуда не было

здесь солдата. Сижу у телевизора, погоду передают, называют край, область, город, я сразу вспоминаю: есть оттуда. Последние по времени, кто разыскали отца, были из Башкирии.

И вот эта тетрадь. В тяжелых красных корках. Анастасия Михайловна кладет ее на учительский стол. В книге типографским способом по алфавиту напечатаны бесконечные списки фамилий.

— А первые списки были в сельсовете, написаны от руки. Три огромные книги,— вспоминает друг.— Я, когда доискался, что отец похоронен здесь, приехал в сельсовет. И вот — не забыть — девушка листает, листает, прямо вечностью показалось, там же не все по алфавиту было, там же из разных могил свозили в пятьдесят третьем в одну...

— Да, свозили. Мера вынужденная, но правильная, все поля в могилах и минах, и сил ухаживать за каждой могилой не было. С округи свезли. Которые были ближе к Залькову, тех туда свезли, там пятьсот человек, списки тоже составлены,— объясняет Николай Иванович.

— И вот,— продолжает друг,— она листает, я жду, страшно было. И страшно найти, и не найти, может, еще страшней. Нашла, показывает: «Да, да, вот запись, смотрите, все сходится». Я смотрю, ничего не вижу, строчка дрожит, плывет. А потом, помните, с вами встретились.

— Как не помню! Я гляжу, кто-то новенький у моих березок, а дело к ночи. И подошла, и ночевать увела. А вот чего покажу, вот снимки, недавно захоронили семь человек, останки мелиораторы нашли. Венки возложили, и уже — видели? — и на этот холмик цветы кладут.

— А когда музей прикрыли?

— Четырнадцатого октября прошлого года. Кое-кто говорит: тебе, Михайловна, легче будет. А мне не легче, мне стыдней. Ездил нынче в Старицкий район, в селе Покровском могила бурьяном зарастает, там пятьсот солдат захоронено.

Они отошли к шкафу, рассматривая составленные в его тесноту и теперь скрытые в нем экспонаты, а я стал листать книгу.

Боже мой, знал ли я, когда учился читать, что буду читать такую книгу? Фамилия, имя, отчество, года рождения разные, год смерти один — сорок второй. В конце каждой буквы были специально оставлены чистыми страницы, и они начинали заполняться. Лукашов Семен Васильевич, Логинов Василий Евдокимович, Ломоносов Виталий Леонидович, Парамонов Дмитрий Павлович, Прокопьев Иван Иванович, Первушин Варлаам Никифорович, Пономарев Евгений Михайлович, Петров Иван Кузьмич, Реутский Федор Данилович, Сухорослов Яков Филиппович, Серебряков Петр Куприянович, Савельев Петр Фролович, Карпов Константин Николаевич, Кравцов Николай Павлович, Копейкин Сергей Васильевич, Коркин Павел Алексеевич... И бесчисленное множество вятских фамилий: Кошечевы, Гребневы, Ашихмины,

Кропотины, Колпащиковы, Куклины... Годы рождения от 1896-го до 1925-го.

— Перезахоронения были из ближних деревень — Ново-Семеново, Лазарево, Мачихино, Козеки, Куропаткиной рощи, ее прозвали рощей смерти, там двадцать шестая дивизия гибла, — говорит Николай Иванович.

— А на плите не значится, — сверяюсь я со списком.

— Тут много чего не значится, тут начать рыть подряд, тут, парень ты мой, картина будет страшная.

Анастасия Михайловна кладет альбомы. В них фотографии тех, кого разыскали родственники.

— Пономаревы из Торжка. Братья-близнецы, похожи, правда? Авенира убило, и Валерий подошел к нему прощаться, и тут его шальная пуля скосила. Замертво, на брата упал. Мать все приезжала, умерла в прошлом году. Токарев Дмитрий Степанович, механизатор, в войну танкист, из села Черепаново Кировской области, погиб у деревни Лазарево. Танкист Серемин Григорий Васильевич, десять раз водил танк на Полунино. А вот наша Аня.

Девичье лицо необычайной красоты открылось взгляду. Такие лица незабываемы: душевная чистота светится в доверчивых глазах. Сердце сжалось, совсем девочка.

— Анечка наша, Карабанова, лежит с братиками в могиле. Пятьдесят вторая стрелковая дивизия, у них особенно сильно работает совет ветеранов, всегда приходят к нам. Аня из боя под Галаховом вынесла сто пятьдесят раненых.

— Сколько, — спрашиваю я, — сколько? — хотя ясно слышал, что сто пятьдесят, но тяну время, чтобы наглядеться на Аню. Переворачиваю твердую страницу и вновь возвращаюсь, как же так, такая красота и убита?

— А вот еще три книги, — приносит новые списки Анастасия Михайловна.

— Еще? — спрашиваю я почти в ужасе, но понимаю, что обязательно надо коснуться руками каждого листка и обязательно прочесть хотя бы несколько фамилий на каждом.

Потом вновь альбомы. Вновь земляки. Агалаков Иван Павлович, с 1908 года, из деревни Полуторница Верховинского района Кировской области. Но нет же в Кировской области такого района. Может быть, Верхошижемского? Черных Павел Ильич, из деревни Покров Яранского района...

— Идемте на веранду, — зовет Анастасия Михайловна. — А то совсем припозднимся.

Но уже надо зажигать свет: осень, рано темнеет. На веранде холодно, сквозь одинарные рамы дует. Сюда после прикрытия Комнаты славы, как называли экспозицию в классе, вынесены стенды и крупные экспонаты. И снова лица, лица. Когда понимаешь, что этих людей нет в живых, что они погибли именно здесь, именно за Отечество, их лица начинают по праву казаться ликами.

Анастасия Михайловна показывает стенд «Достойны славы отцов». Вверху фотографии убитых лейтенанта Иванченкова и рядового Гребнева, внизу их сыновья — космонавт Александр Иванченков и поэт Анатолий Гребнев.

— Саша приехал, когда еще был студентом. В дождь, ботиночки легкие, гляжу издали — плачет, убивается. Домой привела, обсушили. Обрато идти, Николай Иванович старенький плащ отдал. Потом еще приезжал, не раз, а когда в космос слетал, в славу вошел, думала, перестанет приезжать, некогда. Зря плохо думала, каждый год приезжает. Дочку привозит, такая бойкая. В этот раз прощаемся, спрашиваю: ну, кем собираешься быть? Она: как кем? космонавтом.

И Толя мне как родной, давно ездит. Его стихи в книге о Ржеве помещены. Книгу Иван Васильев выпускал, когда еще во Ржеве жил, а не в Великих Луках. У Толи стихи замечательные. Об отце особенно:

Я снова сорвусь и поеду,
Гонимый сыновней тоской,
По старому горькому следу
В деревню за Волгой-рекой.

Дальше разговор с отцом, и отец как бы отвечает:

Я слышу, сынок, я слышу,
Но только я встать не могу.

И в конце, мол, если бы твои слова были всеильны, то

...встали бы все десять тысяч
Из этой могилы со мной.

Уходим с веранды. Анастасия Михайловна выключает свет. Глаза быстро привыкают, и сквозь стекла видно вызвездившее небо.

— К холодам,— замечает Анастасия Михайловна.

В доме Николай Иванович заварил новый чай и спрашивает, проверяет знания, какой чай и какие травы к этому чаю добавлены.

Я обжигаюсь, пью чай жадно, но все не проходит дрожь, и я понимаю, что это не от холода, это нервная дрожь.

— Что это такое? — не выдерживаю я.— Кому помешал музей? Да почему у нас все так, все приходится доказывать, что музей нужен, что отношение к прошлому определяет нравственность настоящего. Я сюда поехал, а за день до этого был на заводе «Динамо» у могилы героев Куликовской битвы Пересвета и Осляби. Да еще попади на этот завод. Глядят как на врагов. Просто теряешься, как будто те, кто тормозит реставрацию часовни, умирать не собираются. Цех был, вывели цех, новый построили, компрессорный, теперь рядом с часовней собираются новый ставить, термоконстантный, сто десять на сто десять метров. А рядом Симонов монастырь, куда должен проход от захоронения пройти, там все гаражами залеплено. И куда ни кинь,

езде клин. Музей Достоевского то закрыт годами, то в такой тесноте ютится, что срам. Мировая величина, гений. А комната, где он родился, в такой мерзости запустения, не рассказать. Я шел с прорабом, какие-то балки, бочки, все перерыто, железо ржавое, с потолка льется. Я там в темноте в яму упал, ушибся, ногу ободрал, и вставать неохота, до чего горько. А ведь кабы не умели делать. Та же битва Куликовская. На моих глазах из праха, из руин встала церковь Рождества Богородицы у впадения Непрядвы в Дон. Именно там захоронения павших в Куликовскую битву. И опять же — не отмечены границы захоронения. Куда прийти, где цветы положить, где духа святости набрать? И после этого говорим, что балбесы растут, что ничего святого у молодежи нет. Откуда оно будет — по могилам ходим!

— Как по могилам? — спрашивает Николай Иванович. — У нас ограда.

— Не здесь. Здесь надо обязательно ограду расширить и все фамилии написать. Это надо. А то только умеем декламировать: «Никто не забыт, ничто не забыто», «Это надо не мертвым, это надо живым». И по могилам ходим, и еще как ходим, и не вздрогнем. В Боровичах на месте могил парк разбили и танцплощадку сделали. Могилы! Пушкин говорил: могила — национальное достояние. У могилы нет возраста, она вечна! Рублев Андрей! Гений из гениев. Где могила? По летописям, у северо-западной части Спасского собора Андроникова монастыря. Там музей его имени. Очень хорошо. А где могила? Доску Ватагина наугад поставили, а могила не обозначена. Мне одна сотрудница показывала место, говорит: над ним всегда бабочки летают. И начинаешь думать: почему же, кто же нам мешает заниматься памятью, вроде никто. А доходит до дела, дело не движется. Та же Куликовская битва — крупнейшая битва средневековья, цивилизацию спасли, а памятники битве? Скульптор Клыков сделал ворота. Причем ему их и заказывали, и ворота получились прекрасные, двухстворчатые, литые, символические: единение воина и крестьянина, образы матерей и жен, установить хотели на улице Степана Разина, именно по ней из Спасских ворот Кремля шло войско на битву. Юбилей в восьмидесятом году прошел, сейчас восемьдесят шестой, где ворота? Я книгу делал «Меж Непрядвой и Доном», не свою, а как составитель, там стихи, летописи, сказания о битве древние и современные, дали тираж пятьдесят тысяч, обещали переиздать, мол, большое патриотическое дело, и тут соврали. А! За что ни возьмись... — Я отодвигаю чашку.

Знаю, что сейчас надо побыть одному: нехорошо заражать своим настроением. Да и чем поможет этот разговор? А где еще говорить о памяти, как не на местах кровопролитных боев? Нет, надо любить одному.

— Я пойду похожу, — говорю я.

— И я пойду, — говорит друг, понимая меня, — мне надо к

могиле сходить, землю взять. Мама перед смертью наказывала на ее могилу земли с отцовской могилы привезти.

— Ночью на кладбище не ходят,— говорит Николай Иванович.

— Это же не кладбище, памятник.

Мы одеваемся и выходим. Совсем вызвездило, и еще добавляет свету ущербная луна.

— Ты куда пойдешь? — спрашивает меня Николай Иванович.— Туда не ходи, шутики, парень ты мой, плохи. Хоть и подмерзло, а опаску имей.

— Ладно.

И, отойдя от дома, иду именно туда, куда не надо. Сердце колотится, лицу жарко — какой длинный был день. Вечность назад мы подъехали к Волге и умывались из нее, боясь пить, так как плыли по ней мазутные пятна. «Вот тебе образ,— говорил друг,— Волга текла кровью, сейчас нефтью». Вечность назад мы подошли к могиле, и я пытался представить масштабы захоронения. И этот разговор за чаем, как нахлынуло о наших долгах перед павшими за нас и вообще об отношении к памяти. Ведь ничего же не будет без памяти. Счастья без нее не будет, совести не будет. Молочные реки потекут, а если сын, если дочь, если потомки забудут о прошлом, зачем эти реки? Ну не все же так плохо. Вон и Анастасия Михайловна говорит, что уже не только внуки убитых, уже нынче и правнука привозили. И что все больше и больше людей едет поклониться праху. Все так, но почему так тяжело доказывать ведомственным людям, что нет ничего важнее памяти, что тот же план люди с совестью будут делать не за деньги, а за совесть и на совесть. Плохи, пока плохи дела.

Я шел быстро, запинался за крупные комья земли, а один раз упал на камни, но разглядел, что не камни, а замерзшие клубни картофеля. И снова шел, взглядывая то на небо, то на красноватое зарево Ржева, поворачивался к слабому свечению заката, вглядывался в темный восток, откуда завтра, может быть, взойдет солнце. Вспомнил Николая Ивановича, его предупреждение о неразорвавшихся минах и снарядах. И как-то обреченно подумал: а взорвусь? Столько в кино видел эту двухмерную вспышку света, как она происходит в жизни? Нет, нельзя, нельзя так думать. Нет Ани Карабановой, некому вынести, некому спасти, надо жить.

Надо жить.

От автора.

Радостно сказать в заключение, что музей в Полунино и восстановлен, и расширен.

ПРОЕЗЖАЯ МИМО ЛЮБАНИ

С детства мечтал водить паровозы. После войны, когда распростился с флотом, я решил учиться на машиниста. Пошел на курсы помощников машинистов, но меня отвергли — не хватало образования. Но даже поныне я не могу спокойно слышать далекий возглас ночного паровоза. Меня каждый раз охватывает волнение юности, когда я, стоя под насыпью, наблюдаю за пролетающим вдаль составом и говорю себе:

— Кто знает? Так ли уж правильно я выбрал свою судьбу? На кой черт мне сдалась эта окаянная литература, если бы я мог сейчас стоять в будке паровоза, а передо мною бы раскрывалась дорога — дорога, как несбывшаяся мечта...

Влюбленный в железные магистрали, я, конечно, с большим удовольствием читал их историю. А эта история очень богата, порою даже трагична. И однажды, проезжая мимо станции Любань, я невольно подумал: «Не пора ли нам вспомнить Мельникова?..»

Знаменитый ботик Петра I вошел в историю как «дедушка» русского флота, но у железных дорог России была своя «бабушка», и они оставили нам многочисленное потомство... Николаю I не давала покоя мысль: если французы пустили вагоны между Парижем и Версалем, то почему он из Петербурга в Царское Село ездит на лошадях? Проектов железнодорожных путей было множество, некоторые даже смехотворные. Так, например, предлагали настелить рельсы от столицы до Москвы, но вагоны с пассажирами пусть везут лошади с ямщиками. Старые вельможи при дворе Николая I утверждали, что с рельсами и шпалами пусть балуются в Европе, а в России, какую дорогу ни настели, ее все равно зимою засыплет снегом — не пройти и не проехать. Наконец была и реакционная точка зрения: мол, связав города и население губернии быстрым сообщением, можно вызвать в народе вредные мысли, отчего как бы не возникла новая «пугачевщина»...

«Бабушкой» магистралей будущего стала придворная дорога между столицей и царской резиденцией, продленная от Царского Села до Павловска, излюбленного места богатых дачников, где давались для публики концерты... Эта первая дорога сделалась модной забавой для петербуржцев, а вид локомотива ошеломлял пассажиров: «Не можем изобразить, как величественно сей грозный исполин, пыша пламенем, дымом и кипячими брызгами, дви-

нулся вперед», а за ним тащились, сцепленные воедино, не вагоны, а экипажи с дилижансами и платформа с дровами для отопления «исполина»... В нотных магазинах Петербурга раскупались ноты «паровой мазурки» по названию Locomotive.

1837 год — год гибели Пушкина — стал датой зарождения на Руси железнодорожного транспорта. Институт путей сообщения уже существовал, выпуская для нужд государства знающих офицеров-путейцев. Они занимались прокладкой шоссе или каналов, о паровой же тяге судили по книге своего профессора П. П. Мельникова. В столице нудно и долго заседали многоречивые комитеты, судившие, выгодно или убыточно заведение железных дорог, пока не последовало решение свыше... Министр путей сообщения, граф Карл Толь, герой 1812 года, вызвал к себе двух инженер-полковников, которые считались в обществе большими друзьями.

— Господа! — сказал им Толь. — Императору надоела болтовня выживших из ума стариков-сенаторов, и во исполнение его высочайшей воли мне велено послать вас в Америку, где железные дороги строят быстрее и длиннее, нежели в Англии.

Николай Осипович Крафт заметно огорчился:

— Увы, я не знаю английского языка.

Павел Петрович Мельников засмеялся:

— Невелика премудрость: научимся «ай оу пыпл»...

— Нельзя ли ехать в Германию? — настаивал Крафт. — Там ведь тоже заводят железные дороги, а язык немецкий я знаю.

— Нельзя! — ответил граф Толь. — Германия не имеет климатических условий, схожих с русскими просторами, а климат Америки ближе всего к русскому... Итак, прощайте, господа!

Мельников был отпущен из института в год восстания декабристов, его имя осталось на мраморной доске, ибо познания юного офицера были столь велики, что институт сразу доверил ему вести кафедру механики. Крафт был старше Мельникова, его прославил проект Волго-Донского канала. Друзья надолго покинули Россию, а когда вернулись из США, то «друзей» было не узнать. По удачному выражению современника, полковники напоминали двуглавого орла, смотрящего в разные стороны. Вражда их меж собою была слишком выразительна, но сглаживалась взаимной вежливостью хорошо воспитанных людей, тем более что им пришлось написать отчет о поездке в Америку, составивший целых три тома...

Карл Толь скончался в 1842 году, его место занял граф Петр Андреевич Клейнмихель, выученик Аракчеева, никогда не видевший железной дороги. Инженер-генерал Андрей Дельвиг, создатель Мытищинского водопровода в Москве, писал о Клейнмихеле, что тот ездил в Царское Село только в колясках, чтобы даже не видеть железной дороги. Но, выслушав приказ Николая I о своем назначении, он «немедля отправился на Царско-

сельскую станцию железной дороги и тут первый раз увидел паровозы, вагоны, рельсы и прочее...». Спрашивается, если это был такой ретроградный дикарь, то почему выбор императора пал именно на него? Ответ прост: невежество Клейнмихеля искупалось почти звериной свирепостью. Николай I знал, что Клейнмихель забьет насмерть тысячи людей, но повеление царя обязательно исполнит...

В особом комитете по железным дорогам заседали сенаторы, генералы, губернаторы и бюрократы, но, когда дело зашло о направлении дороги на Москву, император не стал с ними советоваться — он вызвал на «ковер» самого Мельникова.

— Слушай,— сказал Николай I,— в направлении дороги из Петербурга в Москву возникло немало различных мнений. Ты, наверное, знаешь, что богатые купцы Новгорода никаких денег не пожалеют, чтобы дорога на Москву прошла через Новгород.

Ответ Мельникова сохранился для истории:

— Дорога обязана соединить две русские столицы, а из Москвы предстоит прокладывать новые пути к югу и на восток, дабы связать ее со всей Россией. Отклонение пути к Новгороду нарушит прямизну генеральной магистрали, удлинит пути на 80 верст, а следовательно, станет дороже и билет для пассажира. Если мы сейчас уступим новгородским Титам Титычам, то лет через десять или двадцать России все равно предстоит снова сыпать в болота миллионы, прокладывая прямой путь из Петербурга в Москву...

Николай I остался доволен таким ответом.

— Ты меня выручил,— сказал он Мельникову,— и твое мнение совпадает с моим. Так что веди дорогу прямо...

Позже возникли обывательские анекдоты, будто Николай I взял линейку и провел по ней прямую линию между столицами, причем карандаш отразил даже кривой выступ, когда огибал палец императора. Все это — чепуха! Никогда Николай I не проводил трассу по линейке, а слова его «веди дорогу прямо» вовсе не означали, что она должна быть идеально прямой.

Мельников царедворцем никогда не был, а именно царедворцы немало испортили ему крови, называя его фантазером.

— На Руси всяк по-своему с ума сходит,— брюзжали сановные старцы.— Не один Мельников завихряется! Эвон, князь Владимир Одоевский, писатель, до того додумался, что после железных дорог у нас вагоны с пассажирами по воздуху летать станут...

Егор Канкрин, министр финансов и неглупый человек, тоже пытался внушать Мельникову свои «передовые идеи»:

— Вы прежде подумайте! Непобедимость России заключена именно в ее бездорожии. Представьте, что в двенадцатом году мы бы имели железные дороги. Наполеон через два дня оказался бы в Москве, а потом фукнул бы дальше — в Сибирь! Нет уж, дорогой мой, не будет у нас дорог — и Россия останется несокрушимой...

А некоторые даже пугали царя, цитируя французского экономиста Шевалье, утверждавшего: «Железные дороги — это самые демократические учреждения». В этом они нисколько не заблуждались. Великий русский демократ Белинский уже в последнем градусе чахотки все-таки находил в себе силу, чтобы наблюдать, как в столице возводится здание вокзала. Здесь его однажды встретил еще молодой офицер Федор Михайлович Достоевский.

— Я сюда часто хожу, — сказал ему Белинский. — Хоть душу отведу, когда постою да погляжу, как подвигается работа. Наконец-то у русских будет большая железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне тяжесть на сердце...

Так думал не один Белинский; многим казалось, что рельсы, протянутые в глубь великой России, выведут ее из тупика самодержавного режима, могучий локомотив разрушит устои старой, феодальной России. Именно по этой причине русское общество видело в инженерах-путейцах героев будущей, обновленной России.

Кстати, слово «паровоз» изобрел писатель Николай Греч (до этого они назывались «пароходами»). В простом народе железные дороги окрестили словом «чугунка»...

13 января 1842 года царь созвал на генеральное совещание ареопаг своих сановников: быть или не быть дороге, допускать ли к ее созданию иностранный капитал или строить дорогу на «собственных костях»? Мельников на это совещание приглашен не был. Перед ним даже не извинились:

— Помилуйте, но ведь вы... только полковник!

Дорогу решили строить на русские деньги, а сооружение магистрали поручили двум полковникам — Мельникову и Крафту, которые, как догадывается читатель, не заключили друг друга в жаркие и трепетные объятия. Николай I дал им личную аудиенцию, хотя всю жизнь не терпел путейцев, считая институт путей сообщения рассадником «вольнодумства». Он обещал, что двери его кабинета всегда будут открыты для Мельникова и Крафта:

— По любому вопросу прошу беспокоить лично меня...

В этом царь обманул их. Обманул и вторично, сказав, что инженерам будет предоставлена вся полнота власти на магистрали. Крафт в присутствии царя молчал как проклятый, и тогда император обратился к Мельникову с насущным вопросом:

— Я нуждаюсь в вашем мнении: выписывать ли нам паровозы и рельсы из Европы или производить их у себя дома?

«Я отвечал, — вспоминал Мельников, — что признаю не только полезным, но даже необходимым локомотивы и вагоны устроить дома, хотя это и обошлось бы несколько дороже для казны...»

— Если наши рабочие,— сказал Мельников,— сами будут создавать паровозы, то именно из рабочих явятся машинисты для их обслуживания. Закупая же паровозы за границей, мы сразу обречем себя на зависимость от иностранных машиностроителей.

Царь ответил:

— Я уже обещал это русским заводчикам... но я не знаю, что из этого выйдет!

Будущая дорога была разбита на две дирекции, и Крафт возглавил Южную (с лучшими условиями работы), а Мельникову досталась Северная дирекция, где от самого Петербурга тянулись болота, а над землекопами кружились тучи лесной мошары. Николай I благословил полковников, умолчав о главном: управлять строительством будет безграмотный сатрап Клейнмихель и когда ему поднесли карту будущей трассы, то Петербург оказался внизу, а Москва сверху.

— Переверните карту, ваше сиятельство,— сказал писарь, нижайше кланяясь графу.— Вы держите ее вверх ногами.

— Молчи, дурак! — отвечал Клейнмихель в свойственном ему духе.— Я самого тебя заставлю ходить вниз головой...

Павел Петрович настаивал перед графом, чтобы проекты железных дорог были преданы самой широкой гласности. Клейнмихель же скорчил гримасу...

— Дать народу право обширной гласности,— ответил Клейнмихель,— это все равно, что держать тигра за его усы...

Между тем русское общество не оставалось равнодушно к построению дороги. Инженер Ераков, женатый на сестре Некрасова — Анюте, дал поэту обличительный материал для создания знаменитых его стихов: «Вот они, нашей дороги строители...»

Крафт поселился в Твери, дичась общества, а Мельников основал свой штаб в Чудове, окружив себя задорною молодежью; они никогда не встречались, лишь переписывались. Мельников в своей дирекции уничтожил всякую бюрократию, лично общаясь с инженерами и рабочими; зато Крафт не вылезал из Твери, задушив свою дирекцию грудами бумаг, инструкций и приказов. Царь ни разу не посетил районы строительства; граф Клейнмихель объезжал трассу дважды в году, весной и осенью, никогда не пытаясь примирить Крафта с Мельниковым, антагонизм которых выражался слишком откровенно.

Дорога целиком была отдана на откуп хищникам подрядчикам; эти «лабазники» налетели на стройку отовсюду — как воронье на падаль. Казна трещала, не в силах удовлетворить их алчность. За шпалу в 30 копеек они драли с казны по 7 рублей и быстро становились миллионерами. Их мотовство дошло до крайности: так, моясь в бане, они поддавали на каменку не водой, даже не малиновым квасом, а французским шампанским знаменитой марки «Вдова Клико».

...Землекоп был главной фигурой на стройке, их навезли со всей России. Дж. Уистлер, дабы облегчить их каторжный труд, выписал из Америки паровые экскаваторы, но они ломались на выемке грунта, едва ковши задевали тяжелые камни. А ведь каждый землекоп, чтобы получить свои копейки, был обязан за один только день перелопатить 666 пудов земли — так возводилась насыпь! Все избы окрестных деревень были переполнены больными и умирающими; вдоль будущей дороги Москва — Петербург выстраивались кресты убогих погостов. Подрядчики заламывали такие цены за каждый мешок гороха или болты для крепления мостов, что волосы вставали дыбом. Мельников, как и Крафт, люди честнейшие, часто жаловались Клейнмихелю:

— Нельзя же потворствовать столь отвратительному грабительству. На дорогу отпущено сорок три миллиона серебром, но тут не хватит и ста миллионов золотом, чтобы дотянуть рельсы до Москвы... Воля ваша, так вы, граф, и вмешайтесь!

Но Клейнмихель не вмешивался.

— И без вас все знаю, — отвечал он. — Но... пусть грабят и дальше, сволочи! Если же удешевить строительство, то низкие цены вызовут при дворе сомнение в солидности моего предприятия, одобренного его императорским величеством.

Что взять с Клейнмихеля? Когда не стало болтов, он велел своему племяннику — полковнику гвардии Огареву:

— Хоть укради, но чтобы эти болты у меня были...

Огарев разом положил в карман мундира 50 тысяч рубликов. А некий барон Корф, тоже подрядчик, хапнул сразу 680 тысяч рублей, которые следовало заплатить рабочим на трассе. Не получив ни копейки, умирая с голода, землекопы начали разбегаться. Тогда барон Корф вызвал жандарма Вроблевского, и тот в один день перепорол 300 человек, выдав каждому по 80 розог...

В августе 1850 года Николай I навестил Москву, дабы праздновать юбилей своего 25-летнего царствования. Конечно, в Кремле был устроен парадный обед, в блистающем сонме обедающих за царским столом был и граф Клейнмихель.

— Ты чего там копаешься? — вдруг разгневался царь. — Семь лет прошло, а когда повезешь меня по своей железной дороге?

Клейнмихель застыл с ложкою возле рта:

— На будущий год, ваше величество... скоро!

— Смотри! — через весь стол погрозил ему вилкою император. — Я из тебя весь сок выпущу, ежели слово не сдержишь...

За столом сидел и Мельников, но царь с ним не беседовал. После обеда Клейнмихель зазвал его в кабинет:

— Слышал, что я обещал государю?

— Слышал. И пришел в ужас от вашего обещания.

— Я — тоже... — сознался Клейнмихель. — Но слово не воробей, вылетит — не поймаешь...

Дистанционные инженеры на стройке получили приказ: к

1 августа следующего года дорогу закончить, чтобы 15 августа испробовать ее перевозкой войск гвардии, а 22 августа прокатить до Москвы самого императора. Получив такое распоряжение, путейцы хватались за головы — ведь впереди была зима:

— Земля промерзнет на большую глубину. Песок еще можно рыхлить, но как работать на глинистых почвах, которые затвердевают на морозе, становясь крепче камня?..

Породу взрывали порохом. В. А. Панаев вспоминал: «Едва крестьяне засеяли яровое, мы издали клич по всем окрестным деревням, и к нам явились тысячи народа с бабами. Мужики рыли землю сошниками, а бабы таскали ее — кто в мешках, кто в рогожах, кто в фартуках, а кто и просто в подолах». 15 августа 1851 года первый паровоз провез до Москвы первые вагоны, в которых отважно ехали семеновцы и преображенцы, которых пустили по трассе в качестве подопытных. Гвардия доехала до Москвы благополучно, после чего тронулся сам император. Царица побоялась ехать и осталась в столице. В пути царь сделал остановку возле Веревбинского моста — чуда тогдашней техники, которым не перестают восхищаться и сегодня наши инженеры. Царь спустился под мост, оглядывая его снизу, а в это время заметил, что рельсы, еще не прокатанные колесами, покрылись ржавчиной.

— Красы! — заорал он.

Вмиг рельсы густо обляпали масляной краской. Император вернулся в вагон, а поезд — ни с места; забуксовал. Его колеса вхолостую вертелись на жирной смазке свежайших белил.

— Быстро смыть краску, сыпать песок на рельсы, — сообразил Мельников. — Хуже нет усердия не по разуму.

Станций еще не было, телеграф дорогу не связывал. Но царь прокатился благополучно и, прибыв в Москву, каждый день гонял в Петербург паровоз, чтобы отправить письмо жене. Обратный паровоз доставлял ему ответные послания жены. Но в переписке вдруг образовался перерыв: обратный поезд однажды не прибыл. Клейнмихель велел Мельникову:

— Немедленно послать поезд навстречу.

— Но связи меж ними нет, поезда столкнутся.

— Ерунда! Увидят свет фонарей — сами остановятся...

Понимая всю опасность, Мельников сам сел в московский поезд и выехал навстречу петербургскому. За городом Клином поезда встретились, но машинисты заметили свет фонарей на крутом повороте, когда тормозить было поздно...

Павел Петрович Мельников сам рассказывал:

— Последовал удар такой силы, что я растянулся на полу. Мой вагон не раздробило только потому, что он был один, прицепленный к тендеру паровоза. Когда я выбрался, первое, что увидел, это машиниста, разорванного пополам. Оба встречных локомотива поднялись на дыбы, упираясь передними колесами, ревели сирены... Кочегара выбросило вон, он остался жив: на другом паровозе тендер сместился вперед, раздавив машиниста

и коцегара на паровом котле. Нам не удалось вызволить их, и в течение часа они жарились заживо в неслыханных страданиях...

Такова первая железнодорожная катастрофа в России!

Император, поздравляя графа с окончанием дороги, спросил, как и чем наградить инженеров-путейцев, которые девять лет подряд не вылезали из лесов и болот, руководя работами.

— Ваше величество,— отвечал подлец,— вы не поверите, как я измучился, подгоняя этих ленивых оболтусов. Даже Мельников и Крафт, люди знающие, оказались столь нерасторопны и неопытны, что доставили мне одни лишь заботы и лишние хлопоты...

Высший орден империи достался Клейнмихелю, а Мельников с Крафтом получили скромные ордена св. Анны. Но дорога, раньше срока пустившая поезда по едва достроенной трассе, уже перевозила пассажиров. Это были сущие мученики! Локомотивы часто ломались на голом месте, не доходя до станции, в морозы они замерзали, и пассажиры пешком топали до ближайших станций. Тогда же в столичной печати появилась злая, но справедливая карикатура: в снежных сугробах застыл поезд, из окон вагонов, заламывая руки, вопят о помощи несчастные, голодные пассажиры, а мимо них по зимнему тракту легко и проворно несется лихая тройка, спеша быстрее поезда к Москве...

Клейнмихель едва терпел Мельникова за его прямоту и почти рыцарскую честность; презирал его за то, что этот человек, едва ли не главный создатель дороги, жил только на жалованье, часто вообще сидел без обеда, спал на охапке соломы, накрываясь, как солдат, шинелью. Чтобы он впредь не колол глаза жуликам, его спровадили строить «антрацитную» железную дорогу в Донбассе.

Он стал неугоден. Его проекты развития железных дорог по всей России и активного судоходства по всем рекам и морям отвергались столичной бюрократией как «несбыточные». Павел Петрович не был энергичным борцом, он умел лишь страдать:

— Ладно! Гром не грянет, так мужик не перекрестится. А случись война где-нибудь на Дальнем Востоке или даже в Крыму: если не будет железных дорог, то нашему солдату никаких сапог не хватит, пока он доберется до места сражений...

Севастопольская кампания доказала его правоту: солдаты шагали до Крыма пешком, артиллерию тянули волы. Наконец Николай I скончался, Клейнмихель вылетел в отставку, что вызвало такую буйную радость, что все поздравляли друг друга. При новом императоре Александре II открылась череда насущных реформ, но прежняя рутинная не сдавала своих позиций: бумагописательный формализм доказал свою неистребимую живучесть...

...После Клейнмихеля к управлению путей сообщения пришел образованный генерал Чевкин, но его ума хватило лишь на то, чтобы ко всякому полезному начинанию привлекать иностранный капитал; при Чевкине русским инженерам-путейцам запрещалось даже подниматься в будку паровозного машиниста, ибо машинисты были из иностранцев и они никак не хотели делиться секретами своего ремесла... Тут было над чем задуматься!

Мельников получил орден св. Владимира за проектирование железных дорог к югу от Москвы, ведущих к портам Черного моря, но его проект запоздал: война была уже проиграна. Петербург, созданный на отшибе империи, постепенно терял свое значение, Москва быстро становилась «ядром» всего железнодорожного транспорта страны. Мельников это давно предвидел:

— Еще Дидро говорил Екатерине Великой, что иметь столицу в Петербурге — это все равно что человеку иметь сердце под ногтем мизинца, а Москва — давнее сердце всей России, и она издавна не терпела вмешательства иноземных знахарей...

Собеседники догадывались, что под «знахарями» Мельников имеет в виду иностранных банкиров, собиравших дивиденды с прокладки русских магистралей. В конце 1858 года его избрали в почетные члены Академии наук. Толстосумы и спекулянты, свои и зарубежные, наживали миллионы на строительстве частных железных дорог, они хотели бы прибрать к своим загребушим рукам и дорогу между столицами как самую выгодную, но Павел Петрович (уже генерал и академик) отстоял ее: она осталась казенной.

— Будь моя воля, — говаривал он, — я бы все пути сообщения подчинил государственным интересам. Это вам не частная лавочка... Наконец пора избавить несчастного русского мужика от бурлацкой лямки, дабы по Волге и ее притокам бегали быстрые пароходы...

В 1862 году его назначили управляющим, а через два года и министром путей сообщения. Сначала он вернул в институт студентов, исключенных за «крамольные» мысли. Царю он сказал:

— Ваше величество, я ведь тоже не всегда высказываю мысли, которые угодны вам...

Мельников охотно принял японскую делегацию, не скрывая от восточных соседей ничего такого, что интересовало их для заведения железных дорог в Японии, вступавшей в бурную «эпоху Мэйдзи». Наконец, для нуждающихся студентов Павел Петрович установил повышенную стипендию.

— А где вы возьмете денег? — спрашивали его.

— В своем кармане, — отвечал Мельников.

На посту министра он сделал очень много полезного, но оставался по-прежнему скромным. Ютился в одной комнатенке, ездил, как и все, в общем вагоне, и никто из пассажиров не признал бы в нем академика и властелина самого богатейшего и самого перспективного министерства России... Впрочем, однажды он раскрыл свое инкогнито. В вагон поезда вошла

веселая, щегольски одетая компания молодых путейцев, они даже не заметили своего министра. Мельников сказал им:

— Вы, господа, как я догадываюсь, живете не по средствам. С вашего жалованья так не одеваются. Вы наверняка пошили свои мундиры у лучших портных столицы, выпили на станции шампанского. Согласен, что вам сейчас приятно и весело. Но как бы это «веселье» не кончилось тем, что скоро вам денег не хватит. А тогда будете брать взятки и воровать казенные деньги... Так будьте скромнее, ибо в скромности — залог честности!

Мельников отменил военные звания для инженеров-путейцев, Институт путей сообщения стал гражданским заведением, куда шли учиться не только дворяне, но и разночинцы. В городе Ельце он открыл первое в стране училище для рабочих — будущих машинистов, дорожных мастеров и работников телеграфа. При нем Россия удлинила свои железнодорожные магистрали почти на пять тысяч верст, а по Волге забегали пароходы общества «Меркурий».

Не для себя он старался — для Отечества! А за все, что Мельников сделал хорошего, он получил выговор за плохую работу. Павла Петровича выжил шеф жандармов граф Шувалов, мечтавший посадить в кресло министра своего человека...

— Черт вас всех раздери! — сказал на прощанье Мельников.

Покинув столицу, он поселился на станции Любань, дальше от столичной суеты, где вел самую простую жизнь. Поглощенный наукой и писанием мемуаров, он так и не удосужился найти для себя подругу жизни. Довольствуясь в быту самым малым, ведя почти аскетический образ жизни, Павел Петрович под старость обнаружил, что у него скопилось немало денег. Растратить их на себя и свои нужды — об этом он даже не помышлял! Не таков был этот человек. Мельников на свои сбережения открыл в Любани школу для детей рабочих-путейцев, устроил богадельню для престарелых инвалидов войны и одиноких старух...

Происхождение же самого Мельникова было едва ли не простонародное, ни знатной родней, ни гербами не обзавелся. Но был у него родной брат Алексей, имевший дочь — Варвару. Ради нее братья приобрели в окрестностях Вильно (Вильнюса) небольшую усадьбу Маркучай. Павел Петрович умер в 1880 году, а через три года после его кончины племянница стала женой Григория Александровича Пушкина, сына великого поэта.

По странному капризу истории они венчались в той самой виленской церкви, в которой когда-то Петр I крестил Ибрагима Ганнибала, прадеда поэта. Григорий Пушкин провел в Маркучае последние годы жизни, там же и умер в 1905 году.

Его вдова Варвара Алексеевна пережила мужа на 30 лет.

Почувствовав приближение смерти, она завещала хранить свою усадьбу Маркучай — как будущий музей поэта с его вещами, сохраненными для истории ее мужем, и музей А. С. Пушкина

на был открыт для публики уже после войны — в 1948 году.
Так совместились имена Мельникова и Пушкина.

Проезжая мимо Любани, каждый заметит, что в сквере станции стоит памятник Павлу Петровичу Мельникову. Он установлен в 1954 году, и тогда же прах ученого был перенесен с кладбища к подножию памятника.

Наша страна давно стала Великой Железнодорожной Державой, и мимо могилы зачинателя русских железных магистралей денно и ночью проносятся сияющие огнями экспрессы, с каждым годом наращивая скорость... Жаль, что холодная бронза памятников не способна жить, видеть, чувствовать!

А все-таки жаль, что я не стал машинистом...

ШАЦК РЯЗАНСКИЙ И ШАЦК ВОЛЫНСКИЙ

Кому же нынче неведомо, что история Отечества воспитывает патриота и гражданина? Только вот вопрос: когда и с чего начинается оно, воспитание историей? Со школьных уроков? С фильмов? С исторических романов и повестей?

Все это, конечно, играет свою роль. Но могу по себе сказать, что всего этого и недостаточно. Если история постигается лишь таким образом, невольно начинаешь думать, будто она нечто далекое не только во времени, но и в пространстве. То есть ее дороги бесконечно далеки от места, где ты родился и растешь.

Не всем суждено родиться в столицах. Большинство из нас, это факт, появляется на свет в маленьких городах, в селах и деревнях. Скромные, тихие, они живут, кажется, жизнью негромкой и неприметной.

Вспоминаю первые детские впечатления, какими получил их в городке по имени Шацк, притулившимся на краю рязанской земли. Невелик был городок. Домов выше двухэтажных не увидишь, да и тех-то раз-два и обчелся. Правда, есть своя Красная площадь. Но какая? Лениво бродят по ней сонные куры и пыля проплывают возы с сеном.

Запомнилось, как долго искал я на карте страны наш Шацк. Искал и не мог найти. Было обидно: оказывается, город у нас такой, что его и на карту не нанесли. Значит, недостоин?

В чем состоит это достоинство, представлялось довольно смутно. Несомненным, пожалуй, было лишь то, что уважаемый город должен иметь нечто примечательное в своей биографии. Поскольку же Шацк не только отстоял на сорок километров от железной дороги, но и сама история вроде бы решительно обошла его стороной, не оставив никаких памятных славных следов, то о чем тут говорить?

В детстве, когда непременно мечтаешь о большом и героическом, особенно остро это ощущение досадной обойденности. В самом деле, где она, настоящая Красная площадь? Где Чапаев воевал? Где броненосец «Потемкин»? А Куликово поле, Полтава, Бородино? А Нева и крейсер «Аврора»? Да в речку Шачу не то что крейсер — самый маленький катер не войдет: она же летом чуть не пересыхает.

А каково было наше всеобщее ребячье удивление, когда один из друзей принес новость прямо-таки потрясающую: в Шацке бывал Степан Разин. Мы не поверили. Как же так? Восстание

Разина в школе мы уже прошли — почему тогда учительница истории ничего не сказала об этом?

Но мальчишка горячился, доказывая свое, и в конце концов притащил номер областной газеты, в котором был напечатан исторический очерк с краеведческими материалами о разинском восстании. Ну, конечно, он кое-что перепутал, наш товарищ. Сам Разин не был в Шацке. Однако волны его восстания действительно докатились сюда, и даже выдвинулась отважная предводительница крестьян, известная под именем атамана Алены. Потом с ней жестоко расправились: сожгли на костре, как Жанну д'Арк...

Трудно передать, что это было за чтение. Редкий приключенческий роман проглатывался нами с таким увлечением, как этот газетный очерк, ничем не выдающийся по своим литературным достоинствам. Но все в нем воспринималось по-особенному, потому что привычное название нашего города и названия окрестных сел, такие буднично знакомые, зазвучали тут на фоне событий поистине исторических.

Спасибо тому очерку! Он помог нам впервые по-новому взглянуть на свой маленький, скромный городок и увидеть вдруг в его прошлом такую глубину, что дух захватило. И, бродя по тихим улочкам, продираясь сквозь заросли крапивы и репейника на задворках, так хотелось отыскать какие-нибудь следы происшедшего здесь много лет назад.

Вот тогда, одержимые поисками исторических достопримечательностей, мы и обратили внимание на странное сооружение, высившееся у въезда на городской рынок. Без всяких надписей, оно было похоже одновременно и на трибуну, и на памятник. Именно эта необычайность формы вместе с обветренностью серых камней, его слагавших, заставляли думать о чем-то старинном и загадочном.

Ответ удалось отыскать не сразу. Вначале мы услышали, что это могила неизвестного революционера, отчего, разумеется, любопытство вспыхнуло еще больше, хотя и странным показалось: почему могила возле базара? Потом нам сказали, что когда убили этого революционера, базара тут не было и в помине, а был пустырь. Ведь убили в 1905-м или 1907 году. И наконец была названа фамилия: Морин. Ефим Морин.

Для меня до сих пор факт этот остался непостижимым и недоступным. Чтобы хоть кто-то из земляков забыл такого человека! Единственным объяснением может быть то, что шли первые послевоенные годы и только что отгремевшее великое всенародное бедствие для многих заслонило на время другие события.

Мы искали след Ефима Морина. И самой большой удачей стало, что в селе Шаморге еще жил его старый брат. Никогда не забуду тот день. Яркое солнечное утро, когда мы на случайных подводах добирались до Шаморги, и темную, вьюжную ночь, когда пешком, сбиваясь с дороги в сугробы, возвращались

домой. Мы думали, что, наверное, именно в такую ночь жандармы застрелили Ефима по пути в шацкую тюрьму. Коварно, в спину. После будет представлено, что убит при попытке к бегству. Так боялись враги этого пламенного агитатора, бунтовавшего местных крестьян, что, когда схватили его, постарались скорее расправиться.

Легендарная была история... Оказалось, ее можно встретить на улице Шацка. Иногда я видел высокого грузного старика в черном тулупе и валенках, направлявшегося из Казачьей Слободы в Дом колхозника, то есть в дом приезжих, где он работал. И вот слышу, что Иван Иванович Чуфистов не только бывший борец на ковре, победивший однажды (подумать только!) даже непобедимого Ивана Поддубного, но и борец революции, много сделавший для установления Советской власти в Шацком уезде. Группой ребят решились мы наконец зайти в Дом колхозника и попросили: «Расскажите, пожалуйста, о себе».

А получился рассказ о революции. Вернее, о пути в революцию шацкого крестьянина, ставшего питерским рабочим, а в 1917 году — красногвардейцем. Товарищи по заводу Барановского избрали его депутатом в Выборгский районный Совет, он встречал Ленина на Финляндском вокзале, участвовал в штурме Зимнего... Только представьте: перед нами сидел и говорил участник событий, о которых раньше знали мы лишь по книгам и фильмам!

Тогда же мы впервые услышали и о том, в какой жестокой классовой борьбе рождалась Советская власть в нашем Шацке. О героях и мучениках этой борьбы. Иван Иванович был первым, кто назвал нам имена Арсения Петровича Иванова — петроградского рабочего, приехавшего в Шацкий уезд по направлению Ленина и возглавившего здешний укомболь (уездный комитет большевиков), и Александра Михайловича Корнилова — уроженца Казачьей Слободы, матроса с «Авроры», ставшего первым председателем Шацкого ревкома. Видите, оказывается, и в маленькую Шачу может войти крейсер великой революции.

Мне очень хочется, чтобы каждый, кто будет читать эти заметки, вспомнил свое детство и подумал, какое место в нем занимало знакомство с историей родного края, называемого также малой родиной. Доводилось говорить об этом с разными людьми. И ответы были разные. Однако всегда настораживало чувство этакой неполноценности, слышавшееся в некоторых из них: «Да знаете, у нас ничего интересного...» Дескать, а что интересного может быть в какой-нибудь Осиновке или Елатье?

Но ведь точно так же и я до поры до времени думал про свой Шацк! Ныне этого уже не думаю.

За последнее время интерес к отечественной истории, а вместе с тем к краеведению значительно вырос. Активизировалась работа в этом направлении. И все-таки... Вот разговариваю со школьником, который живет в колхозе имени Присягина, и спрашиваю, а кто он такой, этот Присягин. Юноша мнется, смущается и наконец отвечает: «Кажется, летчик». Это об одном

из соратников Ленина, учеников его школы в Лонжюмо, который родился в здешних местах.

Выходит, делаем немало для увековечения и пропаганды нашей славы, а надо-то больше, гораздо больше. Об этом нельзя не сказать во весь голос сегодня, когда мы отпраздновали дату поистине этапную — 70-летие Великого Октября. Подготовка к юбилеям несовместима с небрежением к памяти героического прошлого. И, проявляя заботу о том, чтобы донести его до современного молодого поколения, следует, думается, лучше использовать опыт, который уже есть в этом благородном деле.

Недавно, через много лет, вновь посетил я родной мой Шацк. Он заметно раздался и вывьс и вширь, помолодел, похорошел. Но не только это обрадовало. Проходя по улицам города, я словно читал строки его биографии. Вот на здании общежития СПТУ — мемориальная доска, сообщающая, что здесь, в бывшем уездном училище, с 1857-го по 1860 год учился выдающийся русский ученый-почвовед Павел Андреевич Костычев. На Доме колхозника — доска в память о находившемся тут уездном комитете большевиков, а на училище механизации — о II съезде Советов Шацкого уезда, проходившем 10 января 1918 года.

Долго стоял перед могилой Ефима Морина. Теперь его фамилию каждый может прочитать на памятнике, который выглядел в свое время столь загадочно. И здесь же десять других фамилий: ведь это братская могила, где кроме героя 1905 года похоронены борцы за Советскую власть, погибшие в годы гражданской войны.

Нет уже в живых Ивана Ивановича Чуфистова. Но на его доме в Казачьей Слободе мемориальная доска. Здесь же, в Казачьей, — обелиск в честь шатчан, павших смертью храбрых в годы Великой Отечественной... Город воздает дань памяти славным своим землякам.

Однако самое волнующее открытие ожидало меня впереди, и поверьте, об этом стоит рассказать несколько подробнее. Раньше я уже слышал о краеведческом музее в селе Желанном, что в 35 километрах от Шацка. Но правильно сказано: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Увиденное превзошло все мои ожидания.

Нет, естественно, не берусь описывать каждый из двенадцати тысяч экспонатов (четыре тысячи в залах, восемь — в запаснике), разместившихся на 750 квадратных метрах дома, самого большого в селе. Я останавливался то перед выпиской из «Разрядной книги», сообщавшей об основании Шацка в 1552 году как крепости на «засечной полосе» России, то рассматривал первый план города, то его герб — улей на серебристо-голубом фоне, три пчелы и два перекрещенных снопа. Привлекло взгляд сообщение о том, что шацкий воевода Алексей Зюзин возглавил в 1613 году первое посольство от царя Михаила Федоровича к английскому королю, которому вручил грамоту о воцарении и разорении русской земли от поляков и шведов.

Основные события, связанные с разинским восстанием на шацкой земле, думалось, были мне известны, но и здесь находил я много для себя нового. А вот, оказывается, и пламя другой великой крестьянской войны охватывало этот край — под водительством Пугачева.

«К тому бунту многие окрестные жители склоняются», — с тревогой писал в своем донесении шацкий прокурор Селихов. Музейный стенд называет фамилии предводителей наиболее крупных крестьянских отрядов восставшей шацкой провинции: Филиппов, Евстратов, Кирпичников, Марков... Это они смело вели своих товарищей, вооруженных вилами, топорами да рогатинами, на бой против царских полков. А потом, высоко подняв головы, шли на лютую казнь за правое дело.

«Некоторые военные команды вели себя в селах как в неприятельской земле, — свидетельствовал современник. — Иногда команда казнила жителей по жребию, иных вешала на глаголях за ребра, других колесовала и четвертовала. На сечение не хватало плетей, и все воеводские канцелярии были озабочены усиленным их изготовлением. Не хватало также кандалов для бесчисленных колодников, и потому все кузницы завалены были сплошною работою с платою по рублю за экземпляр...»

Жизнь крестьян исконного российского края недаром привлекала впоследствии внимание основоположников марксизма-ленинизма. В ней, как в зеркале, видели они многие процессы, типичные для русской деревни. И конечно же интересны представленные в музее издания «Трудов податной комиссии», к которым обращался К. Маркс, и материалы, использованные В. И. Лениным при работе над «Развитием капитализма в России».

Интересного много. Вдруг узнаю, что в имении Отрада близ Шацка скрывался от полиции ленинский сподвижник А. Д. Цюрупа, будущий нарком продовольствия. А какая колоритная фигура князь Кугушев, которого Ленин назвал беспартийным большевиком!

1919 год. На реке Маныче героически погиб уроженец Шацка Чернецов — командир полка красной дивизии. При освобождении Мелитополя бросился с гранатами под танк, задержав фашистскую контратаку, шатчанин Василий Сухов. Это уже год 1944-й, Отечественная война. Более двадцати Героев Советского Союза дала Родине шацкая земля. И тут же, на музейной стене, — портреты земляков, ставших Героями Социалистического Труда: Андрей Васильевич Сучугов, Николай Алексеевич Вотяков, Дмитрий Яковлевич Сучков... Прошлое смыкается с настоящим, вчерашний день — с днем сегодняшним.

Я ходил от стенда к стенду и думал: если бы нам в детстве увидеть такое богатство, столько сразу узнать о родном крае и людях его! Ведь мы узнавали о чем-то почти случайно, урывками, можно сказать — по клочочкам. А здесь и всеохватность, и научная система. Прямо краеведческий университет.

Пора сказать о человеке, которому принадлежит главная

заслуга в создании этого удивительного музея. Николай Илларионович Панин, директор местной школы. Приехал он в Желанное после окончания Рязанского пединститута вместе с женой, тоже учительницей, и маленьким сыном. Что было за спиной начинающего учителя истории? Родился недалеко отсюда, в деревне Борки, после школы работал сельским кузнецом, институт окончил уже в 31 год. Кажется, ничего примечательного. Но примечательное было! Это страстная, неумная мечта открыть землякам богатую историю края, в котором они живут. Возникла мечта как контраргумент все тому же скептическому: «А что у нас интересного?» И, приехав к месту работы, он немедленно принялся за осуществление своего замысла.

Постепенно в сбор экспонатов для будущего музея были вовлечены все: и учителя, и ученики, и родители. Приносили старинные фотографии, предметы домашней утвари, редкие книги... Наладилась связь с архивами и многими музеями. Под руководством Панина, который еще со студенческих времен увлекся археологией, ребята вели раскопки в местах древних поселений. А когда экспонатам стало тесно в школе, встал вопрос о специальном здании.

Конечно, ничто не делается само собой. Пришлось-таки Панину похлопотать. Хотя бы из-за того же стройматериала. До областных организаций дошел. Ну а строили, как говорится, всем миром. Всем селом. Никто уже не сомневался: этот музей необходим. Селу, району, области.

Удивительно, думаю я, ведь еще совсем недавно сомневающихся было сколько угодно. Многие ли верили, что сюда глухими проселками только ради музея будут добираться экскурсанты из Мурманска и Тюмени, Иркутска и Ташкента? Думаю об изумительной способности подвижника, энтузиаста заряжать своей горячей верой окружающих. Теперь вся Желанновская школа — это коллектив энтузиастов. А в центре по-прежнему он, Николай Панин.

Мне видится в нем многое от тех российских интеллигентов, которые шли в народ, движимые страстью нести ему знания. То же стремление самому постоянно учиться, те же самоотверженность, душевная щедрость, неограниченность интересов. Как нужны нам сегодня такие люди! Интеллигентность не выдается с дипломом. Ее все время надо воспитывать и развивать.

Подумайте: музей, отражающий историю всего Шацкого района, возник не в райцентре, не в Шацке, а в Желанном. Почему? И почему нет ничего подобного во многих соседних районах? Что, история там беднее? Да нисколько. А вот нет пока своего Панина.

Желанновский музей стал нынче филиалом Рязанского областного историко-архитектурного музея-заповедника. Так что насчет экскурсантов из Мурманска и Ташкента сказано не просто для красного словца. Сам я читал в книге отзывов теплые,

восторженные записи, оставленные посетителями со всех концов страны. Этим можно гордиться. Но меня, честно признаюсь, особенно порадовал такой факт: все больше выпускников здешней школы остается в родном селе. Разве нет в этом связи с музеем? Я расспрашивал многих ребят и убедился: связь самая прямая. По-иному смотрят они теперь на окружающее, больше ценностей видят в родном краю.

Только в Российской Федерации сейчас около семи тысяч музеев, работающих на общественных началах. Народных в полном смысле слова. Правда, суть такова, что этого количества уже совершенно недостаточно. Сегодня, когда мы отметили 70-летие Октября, вопрос, по-моему, должен стоять так: свой краеведческий музей — каждому району, а может, и каждому городу, селу. Это, думается, абсолютно реально. А главное — этого требует задача воспитания людей, особенно молодежи, на лучших наших исторических традициях.

Инженер В. Яковлев из той же Рязанской области рассказал в своем письме, как был создан и работает школьный музей в селе Нармушадь Шиловского района, организованный учителем Иваном Григорьевичем Малаховым. Это еще один увлеченный энтузиаст, достойный своего земляка Николая Панина. Под руководством любимого педагога ребята составили обстоятельную историю родного села. Узнали, например, не без гордости, что трое сельчан, участников войны 1812 года, принимали награды из рук самого фельдмаршала Кутузова.

Музей — живая память села. Ведь и до будущих поколений дойдут материалы, собранные сегодня ребятами: «Земляки — участники Октября и гражданской войны», «Первые пятилетки», «В пламени Великой Отечественной», «Фронтные стихи», «Герои тыла», «Будни сельсовета», «Старые и новые обряды»...

Все это она, история. И за ее свидетельствами не надо было ехать далеко. Обратились к односельчанам, прошли по домам. Кое-где, когда речь заходит об организации музея на предприятии или в колхозе, сразу спрашивают: а где деньги взять? А штаты? Опыт Нармушади да и Желанного свидетельствует, что без всего этого можно вполне обойтись. Не требуется ни денег, ни штатов. Нужно другое: настоящая увлеченность.

А как необходимы такие музеи сегодняшнему дню! Они необходимы и местным жителям, и людям заезжим, которым тоже интересно узнать биографию нового для себя края. Замечу: при нынешнем развитии туризма, стремлении многих побывать в новых местах это обретает особую значимость.

До недавнего времени я знал один Шацк — городок на Рязанщине, место моего детства. И вот, будучи на Украине, в Волынской области, узнаю, что здесь тоже есть свой Шацк. Естественно, захотелось поближе познакомиться с тезкой родного города. Согласитесь: есть нечто символичное в том, что две точки на Земле, отстоящие друг от друга на многие сотни километров, Украина и Россия, по-сестрински нарекли одним

именем. И столько поднялось тогда в моей душе: ожидание встречи и воспоминания о прошлом, всяческие предположения и новое осознание связи родовых корней...

А открылся мне Шацк волынский в зелени огромных тополей, похожих на рязанские осокори, и в блеске озер — Люцимира и Черного, расплескавшихся с двух сторон. Несколько растерянный, ходил я по незнакомым улицам, стараясь вникнуть в жизнь здешних людей, в их настоящее и прошлое. О настоящем кое-что говорили вывески: «Лесхоззаг», «Лесной техникум», «Рыбзавод», «Межколхозстрой», «Комбинат коммунальных предприятий», «Маслозавод», «Ресторан «Голубые озера»... О прошлом своим город молчал.

Я завернул в поселковый Совет, где приняли меня, надо сказать, очень радушно. Однако работали здесь люди все молодые, они охотно рассказывали о новостройках — Доме культуры и кинотеатре, общежитии техникума и туристической базе, о лучших доярках и льноводах района, которым конечно же стоило посвятить очерк в газете. О прошлом удалось установить только, что первое упоминание здешнего Шацка в литературе относится к 1564 году, и это меня почему-то искренне обрадовало: почти ровесник Шацку рязанскому!

— Знаете,— сказали мне,— надо вам у наших стариков побывать.— И начали перечислять: — Василий Мусиевич Наумыч — бывший учитель, живет на улице Восьмого Березня, то есть марта; Копытко Данила Алексеевич — бывший бригадир, там же; Смоляры Марк Дмитриевич и Акулина Ивановна...

Пошел по старикам. Действительно, знают и помнят многое. Слушаю про времена графа Браницкого, при котором «дуже бунтовали» местные крестьяне, про эвакуацию в Пензенскую губернию в 1915 году, про жизнь под панской Польшей, когда за прием к врачу надо было отдавать пуд ржи, а за двадцать дней в больнице — корову продавать... Боролись против такой жизни. В 1936 году польская полиция зверски замучила коммунистов Я. Гинайло и К. Терету. Тридцать лет спустя по дороге на Любомль, в лесу, где песок берут, экскаватор вырыл два человеческих трупа. По коботам на одном из них узнал старожил Терету...

Так постепенно дошли до года 1941-го, до Великой Отечественной, когда стали эти места партизанским краем. На улице Радянской Армии отыскал маленький домик за невысоким зеленым штaketником. Скрипит калитка, и через огород, прямо пахнувший перегретым укропом, узкая дорожка ведет к распахнутой настежь двери. В прохладных сенях, стоя на табуретке, пожилая женщина белит потолок.

Марк Дмитриевич Смоляр? Правильно, он здесь живет. Только нет его сейчас: уехал в Любомль, вернется вечером. И вот я уже молчу, не зная, как завести этот самый трудный для матери разговор. Рассказывая о здешних партизанах, мне помянули про героическую смерть комсомолки Ярины Смоляр, отец и мать

которой тоже были в партизанском отряде. Но как спросить мать о смерти дочери?

Сбивчиво поясню, что привело меня сюда. Называю имя Ярины, замечаю мелькнувшую скорбь на ее лице. Осторожно, будто на ощупь, сквозь наболевшие дни и годы возвращаемся мы в войну.

...Чужой флаг на площади, чужая речь. Тревожные выстрелы по ночам. Промозглость туманного осеннего утра и чернеющие ворота колхозной конюшни, куда «под оружием» сгоняют молодежь. Кто говорит — в Неметчину, кто — еще страшнее. У Смоляров сидит Степан Шковорода, большевик, партизанский командир, из леса пришел. Он говорит: «Надо вызволять ребят».

Комсомольцы уходят с ним. Федор Боярчук, Рупанец Семен, Сулим Николай, Ярина Смоляр... Дочь «головы» сельпо, семнадцатилетняя заведующая клубом в пригородном селе Крапивники. Пытаюсь представить ее лицо. Не осталось ни одной фотографии, а для матери дочь была и есть самая красивая. Черные косы. Тонкая, стройная. Певунья. И — партизанская разведчица.

Где-нибудь в архивных документах, в статистике, которая знает все, бесстрастными цифрами с математической скрупулезностью учтены, возможно, дела 5-й роты отряда имени Котовского партизанской бригады имени Буденного. Акулина Ивановна не помнит цифр. Она помнит, как неуютна была схваченная ноябрьским морозом голая земля поздней осени, когда чуть не целую ночь пришлось поджидать фашистские машины по дороге на Припять. Она хранит холодок отчаянной радости под сердцем с той минуты, когда летели эти машины под откос и руки вздрагивали вместе с кожухом автомата.

Я думаю и вот еще о чем. Никто не вечен на этой земле. Сейчас мы пока можем услышать рассказ ветерана об Октябрьской революции и гражданской войне (увы, таких уже мало, очень мало!), о первых пятилетках, о Великой Отечественной. Но люди уходят. И будет время — их голосов не услышит уже никто. Как же важно запечатлеть для будущих поколений все, чему были свидетелями и участниками эти люди! Записать на бумагу, на магнитофонную пленку, снять для кино. Современная техника позволяет донести до потомков не только голоса, но и облик тех, кто делал и сегодня делает Историю.

Подумайте только: «Солдатские мемуары», снятые по инициативе Константина Симонова, уже сейчас стали бесценной реликвией. Но ведь это капля в море, если говорить о том, что мы все могли бы (и должны!) сделать общими силами для увековечивания современной нам исторической памяти.

Конечно, здесь не официальный декрет нужен — прежде всего движение сердца. В том числе и тех, кто живет сегодня по бесчисленным нашим маленьким, «периферийным», городам и селам. Есть же здесь коммунисты и комсомольцы, есть

интеллигенция, с которой испокон веку связывается свет культуры в нашей «провинции».

Надо только всем нам понять и прочувствовать, как это важно — сохранить голос и лицо Истории, которая сегодня рядом с нами. Не пожалеть сил, заботы и непременно сохранить.

...Очерк о Шацке рязанском появился в газете, и в то же утро начали раздаваться телефонные звонки.

— А знаете ли вы, что в Шацке бывал Чичерин, соратник Ленина и будущий нарком иностранных дел? Стоило бы краеведам заняться исследованием этой страницы его жизни.

— Досадно, что в статье у вас ничего не сказано об одном из организаторов краснодонской «Молодой гвардии» Иване Земнухове. Он ведь родился в Шацком районе.

Письма знакомили меня с новыми и новыми судьбами дочерей и сынов Шацка. Например, Анатолий Павлович Визаулин, с детства мечтавший о море, стал контр-адмиралом. Космосу посвятил свою жизнь Виктор Михайлович Ключарев: он много лет был одним из ближайших помощников легендарного Королева. А вот Рифат Шахович Яраев, ветеран Великой Отечественной, раскрыл мне большую коллективную судьбу, истоки которой берут начало в том же Шацке. Он повез меня в 446-ю московскую школу, которая находится возле метро «Электрозаводская». И вот здесь-то мне открылось такое, о чем конечно же не могу не рассказать.

Музей. Он посвящен 71-й гвардейской дивизии. В самом большом школьном зале собраны сотни экспонатов, которые воссоздают историю почти за семьдесят лет. Фотографии, рисунки, письма, номера старых газет, наградные листы, протоколы партийных и комсомольских собраний военных лет... Все перечислить невозможно. И все это собрано ребятами — вчерашними и сегодняшними школьниками.

Гляжу на их лица и чувствую, как захвачены они новой идеей. Впереди — еще одно путешествие в историю Отечества.

Поиск продолжается...

Если, приближаясь, смотреть издали — Севастополь возникает белыми домами, врезанными в солнечную голубизну неба и моря.

Белые дома на голубом заставляют подумать о парусах. И в этой символикe своя глубина.

Морской Севастополь, заложенный для российской эскадры два столетия тому назад, — впрямь «паруса» флота, дающие ему дыхание и силу.

Город со славой воина, с добрым именем труженика.

Сравнению с другими он не поддается.

Он — Севастополь.

Не побывав тут, мы все равно с детства-юности держим в сердце это:

Малахов курган, Корабельная сторона, Графская пристань...

Лазарев, Нахимов, Корнилов, поручик артиллерии с 4-го бастиона Лев Толстой, сестрица милосердия Даша Севастопольская, матрос Кошка...

Затем, как зримые зарницы революции, — красные флаги на мачтах «Потемкина» и «Очакова»...

Одухотворенное решимостью и жертвенной любовью лицо лейтенанта флота Шмидта...

Дробный перестук матросских каблуков по трапам и пулеметных очередей, щебнисто скальвавших крымский известняк зданий...

Это уже после — в гражданскую, когда мучительно и твердо отстаивалась судьба Советского Крыма и Севастополь долгие месяцы был на кончике штыка контрреволюции. Красноармейские полки Южного фронта обломили тот штык, и главком Фрунзе 12 ноября 1920 года телеграфировал в Москву Ленину:

«Сегодня наши части вступили в Севастополь... Измученной стране открывается возможность приступить к залечиванию ран, нанесенных империалистической и гражданской войной...»

Теперь в высокую летопись города вписываются строки, расцветенные кумачом ударных призывов: покончить с разрухой, строить социализм! Как всюду в стране. И в то же время с осознанием своей, присущей Севастополю особой ответственности. Корявым почерком мозолистой рабочей руки ложились на бумагу весомые, непререкаемые слова:

«Наши берега Черного моря являются рубежом с капитали-

стическими соседями, которым ни в коем случае доверять в миролюбии не приходится, ибо наша революция, наша рабоче-крестьянская республика для капиталистических стран есть мозоль, бельмо на глазу, которое они всяческим образом и действиями стараются удалить. Поэтому наш боевой Красный Черноморский флот для защиты берегов от нападения необходим!»

Из протокола собрания рабочих севастопольского морзавода от 17 января 1923 года.

Вслушаемся внимательнее:

«...доверять в миролюбии не приходится...»

«...флот для защиты берегов от нападения необходим!»

Пережитое и выстраданное учило быть бдительными. Чужого нам не надо, свое будем крепко защищать!

Морзаводцы ставят на стапели изувеченный взрывами корпус крейсера «Память Меркурия», откачивают воду из его трюмов и отсеков, капитально ремонтируют котлы, механизмы, оборудование... Худые, жилистые люди с горячими и яростными глазами, устремленными в лучезарное будущее, они работали, не жалея себя — при скудном пайке, одетые кое-как; и если не находилось нужных инструментов, не хватало электроэнергии, не было проектной документации — был зато пролетарский энтузиазм, опиравшийся на рабочую сноровку. Надо — сделаем! Для республики — значит, для самих себя.

«П о с т а н о в и л и:

...всем рабочим помнить, что каждая выпущенная морская единица гарантирует благополучие всех граждан республики и в материальном отношении, и в политической устойчивости нашей страны...»

(Из того же протокола собрания на морзаводе.)

И 1 мая 1923 года учебно-боевой крейсер под именем «Коминтерн» на глазах у ликующего Севастополя, радостно пуская дымы, вышел в море, как флагман ведя за собой всю эскадру. Трехтрубный, по тем временам — красавец: с тонкими, колющими небо мачтами, приплюснутыми орудийными башнями, с двойным «многоточием» иллюминаторов по каждому борту... На нем развевался вымпел начальника морских сил СССР и Реввоенсовета морских сил Черного моря.

Это не требовало пояснения.

А спустив на воду мощный «Коминтерн» и вслед за ним другие «морские единицы», рабочие завода уже со спокойным горделивым пониманием, как что-то исключительно честно заслуженное ими, восприняли перевод цехов на «мирную» работу. Стране нужно буровое и нефтяное оборудование — изготовим. Ремонтировать паровозы? Сумеем. Заказ на постройку лесовозов и рейдовых шхун? Вот это совсем по нашей — морзаводской — части!..

Оставаясь дозорным на море, Севастополь жил такими же трудовыми заботами и праздниками, как, скажем, Харьков или

Ростов, Минск и далекий северный Архангельск... Он давал свою долю продукции, установленную требованиями пятилетних планов развития народного хозяйства; он строился и прихорашивал себя, одеваясь все в тот же белый таврический камень.

И броская южная красота Севастополя своеобразно оттенялась, как всегда, присутствием тут флота.

И не просто флота — военного.

Подчеркнутая выправка и традиционная вежливость, предупредительность флотских командиров; матросская дисциплинированность и молодость — в улыбках, глазах — под золотом ленточек бескозырок; суровые силуэты эсминцев в бухте; памятники в скверах и на площадях, в металле и граните выразительно увековечившие славную историю русского флота, — все это и многое другое придавало городской красоте строгое изящество. И Севастополь ревниво поддерживал (как старается поддерживать и ныне) вот такой свой стиль, свою форму.

Город и флот не отделяли себя друг от друга. В праздной толпе выходного дня на набережной среди белоснежных форменок и офицерских кителей красочно пестрели женские платья. Сестра боцмана с водолея, дочь комиссара эсминца, племянница судосборщика, внучка флотского ветерана, просто жена или невеста моряка... Чуть ли не в каждой семье — непременно свой моряк, и если он временно не состоял в «законном» родстве — такое предполагалось.

В поздний предночной час, когда заканчивался срок увольнительных, краснофлотцы во весь дух мчались к пристани, чтоб успеть на последний рейдовый катер, развозивший по кораблям.

Патрули понимающе отходили в сумрачную тень уличных платанов. Ведь вместе с ребятами бежали, теряя туфли, их подружки. Тоже на пристань!

Прощались — по обычаю — там.

Служба у моряка такая: обещать скорого и точного свидания он не может...

Но обещали.

И ждать просили.

И так же было тут, на Графской пристани, в ночь на 22 июня сорок первого года.

Мало кому суждено было встретиться с любимыми после той ночи.

На рассвете город встряхнули бомбовые разрывы и раздавшийся в ответ на них грохот береговых и корабельных батарей.

Севастополь, как положено часовому границы, принял на себя удар в числе первых.

* * *

При рождении Севастополя ему пророчески дали гордое имя. В переводе с греческого на русский оно означает: величественный город; город, достойный поклонения.

Гордое это имя попервоначалу — без малого два века тому назад — было записано в судовой журнал флагманского корабля Азовской военной флотилии, приведшего сюда, к выступу юго-западного побережья Крымского полуострова, эскадру под флагом опытного и смелого вице-адмирала Федота Клокачёва, героя Чесменского сражения.

Имя вознеслось и засияло над прокопченной крышей небольшой кузницы и тремя наспех построенными зданиями, в которых разместились службы флотилии.

С той кузницы ведет свою родословную Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе.

С тех заложённых матросами домов — градостроительная история Севастополя.

Но величественным, как предопределяло название, городу предстояло быть не за счет его будущей красоты.

К красоте стремились, но к сохранению особого государственного достоинства обязывало само положение. Величия Севастополя требовал престиж России на Черном море. Надо было положить конец опустошительным набегам соседей на южные земли государства. Надо было показать далеким заморским державам, что для России Черное море — как для тех Северное и Бискайский залив.

Ни в Северное, ни в Бискайский Россия эскадры не посылала. Только купцов с товарами.

И форты Севастополя возводились не против иноземных купцов...

Стрелка жизненного барометра Севастополя вынужденно показывала одну и ту же «погоду»: опасно!

* * *

«В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни только развалины! Разрушенные дома, обвалившиеся стены, груды обломков — полное разорение. Будто чудовищное землетрясение всей своей мощью обрушилось на этот клочок суши. Долгих полтора года война бушевала здесь и оставила город в таких развалинах, печальнее которых не видано под солнцем...»

Это не о последней войне.

О войне 1853—1855 годов, когда, разъяренные неудачами турков, высадились на русские берега французы и англичане.

А про город, увидев его таким спустя двенадцать (!) лет после осады, написал Марк Твен, еще тогда никому не известный репортер.

«...печальнее которых не видано под солнцем...»

Город, явивший беспримерное мужество, заставивший восхищаться своей доблестью врагов, тяжело вставал из пепла.

Телега царизма скрипела на ухабах, была бессильна в скорости, преодолении расстояний, и хоть в завесе густой дорожной пыли иногда призрачно высверкивала праздничная медь оркестра,

слышались бойкие команды, мчались куда-то расторопные фельдъегери — время будто бы вязло в медлительности, однообразии, нужде и страданиях.

Слава России — Севастополь — обживался на горьком пепелище, поглядывая на мир подслеповатыми окошками матросских мазанок, в облике которых — при сравнении с редкими дворцами новой постройки — угадывалась своя независимость. Как и в людях.

Седые ветераны севастопольских сражений, одетые в линялые, отслужившие срок мундиры с памятными медалями и крестами, не замечали густого золота эполет нового флотского начальства. Им нужны были такие, как Нахимов, генерал Хрулев, штабс-капитан Мельников, под командой которого они рыли в каменистом грунте длинные галереи и слуховые «рукава», научились бить врага минами из-под земли...

Те воевали; эти празднуют.

Те были с ними, севастопольцами; эти — над ними.

Подслеповатые окошки окраин и — высокие, в обрамлении колонн окна в центре. От земли и — свысока. Две позиции, классовый антагонизм которых впоследствии сконцентрирует матросскую ярость на «Потемкине», даст заряд революционной борьбе на флотах.

И ровно пятьдесят лет понадобилось Севастополю, чтобы в 1905 году он наконец-то достиг былого уровня — сравнялся по числу жителей, домов, по развитию торговли, количеству мастерских и т. д. с тем, что имел он перед началом Крымской войны.

Пятьдесят лет на восстановление!

Этот факт сообщит мне архитектор Алексей Иванович Баглей, добавив тут же, что, оценивая привычные для нашей эпохи социализма дела, полезно порой проводить сравнения.

В Великую Отечественную, знаем, Севастополь опять был полностью выжжен и разрушен. Так, что зодчие спорили: зачем восстанавливать город на горах битого камня и искореженного железа — не проще ли построить его заново за бывшей городской чертой, «во чистом поле»?

Лучшие мастера архитектуры из Москвы, Ленинграда, Харькова, сведенные в единую проектную группу, решали будущую судьбу Севастополя, когда еще руины города были охвачены огнем кольцом вражеской обороны, когда в штабах напряженно выработывалась стратегия сокрушительного штурма...

Решали в штабах — решали в проектных организациях...

И как только в мае 1944 года, после жесточайших боев на крутых склонах Сапун-горы, замыкавшей «ворота» Севастополя, враг был выброшен из города — со вторым эшелонами появились строители, вооруженные готовым генпланом застройки улиц.

Нет, невозможно было уйти от этих обогранных кровью, опаленных камнями, священных для каждого сыновнего сердца, — город стали бережно возрождать на прежнем, исконном его

месте и таким образом, чтобы непременно сохранился исторически сложившийся, чисто севастопольский «рисунок» основных городских районов и магистралей.

Сейчас, когда проходишь центральными улицами Севастополя, здания, выстроенные в строгих монументальных формах классического ампира, отражающие в своих окнах литую бронзу, чугун и мрамор памятников, навевают ощущение торжественной старины и невозмутимой надежности, а новые многоэтажные кварталы, сияющие блеском стекла и металлоконструкций, в то же время молодо поднимают город над морем, придают ему ту крылатую устремленность, которая опять же свойственна лишь молодости...

Так и должно быть: город — история, город нового дня, город будущего!

Однако — про главное...

Севастополь строили руки всей страны.

За пять лет, восстановив свои улицы, корпуса морского завода, других предприятий, он стал по всем промышленно-экономическим, социально-бытовым и прочим показателям точно таким же, каким был до войны.

И скорым шагом пошел дальше.

Теперь в Севастополе, если оглядываться на тот, довоенный уровень, — в три раза больше жителей, в пять с лишком раз больше жилых помещений (по количеству квадратных метров!), хотя их удручающе не хватает. Надо строить и строить...

* * *

Алексей Иванович Баглей воевал под Сталинградом, прошагал и прополз на животе со взводом полковой разведки пол-Европы. Тяжелое ранение получил в предместье Вены.

Он в Севастополе давно, привык, обжился, и все равно — когда мы говорили с ним о подвиге города — он волновался. Повез смотреть величественный памятник, сооруженный на высоком мысу, напротив Константиновского рavelина. Памятник городу, увенчанному Золотой Звездой Героя Советского Союза.

Огромная стела над синевой залива, похожая одновременно на маяк и на плывущий в ветровой выси парус...

Повез смотреть заложенный между Стрелецкой и Круглой бухтами — с выходом к морю — Парк Победы. В каменистый грунт не высажены, нет, — буквально врублены тонкие деревца. Тысячи саженцев. И это начало.

Врублены — потому что всюду в Севастополе спрессованная глина вперемешку с известняковым щебнем, белый «материковый» камень. Чтобы посадить каждое дерево, надо выдолбить яму из расчета 1,5 м × 1,5 м × 1,5 м (а то и по параметрам в 2 м!), заполнить яму специально завезенной издалека, за десятки километров плодородной почвой и — поливать, поливать...

Каждое дерево тут поэтому словно бы в большом горшке. Посадка каждого, по данным озеленителей, обходится городу самое меньшее в 70 рублей.

Каждое должно получать нужное количество пресной, не засоленной воды, которая в морском городе столь же ценна, как привозной чернозем.

И задумываешься: чему удивиться здесь? Просто ли красоте многочисленных севастопольских скверов, искусно вписанных в общий ансамбль городских улиц и площадей, смягчающих своей тихой, задумчивой зеленью контрастность местных красок, когда властвуют резкая белизна зданий и бурый цвет холмистого простора? Или другому удивиться... Терпеливой, настойчивой любви севастопольцев, на которой возвращены все эти скверы, аллеи, причудливые зеленые островки, засаженные акацией, кипарисами, японской софорой, крымской сосной, каштанами, туей, персиковыми и миндалевыми деревьями, тополями и даже белоствольными березами.

Березы, как правило, не переносят юга.

А в Севастополе растут.

На Малаховом кургане посреди молодых деревьев, будто бы в мудрой отрешенности, стоит старый миндаль, огороженный низкой ажурной решеткой. Он хранит в себе железо войны. Это единственное дерево, которое чудом уцелело на кургане под убийственным смерчем прицельного огня.

В городе есть еще несколько таких стойких, изрубцованных осколками деревьев, трогательно оберегаемых жителями. Не знаю, входят ли они в опись 733 памятников Севастополя, но они — тоже памятники.

Как и следы от артиллерийских снарядов на фундаментах, которые кое-где, редко, держат новые, послевоенные стены.

И когда севастопольцы, открывая нам, приедем, свой город, обращаясь к воспоминаниям, заметно волнуются — это еще от боязни, что вдруг мы не поймем всего.

Не поймем так, как видят Севастополь они сами.

Севастопольцы.

* * *

Имеющий перворазрядные музеи, впечатляющие мемориалы, овеянный горячим дыханием истории, Севастополь все же не огромный город-музей под высоким небом, как может кому-то показаться. Он прежде всего просто город.

Трудится, несет службу, цветет улыбками; озабоченно обсуждает жилищные, транспортные, торговые и прочие проблемы; заставляет останавливаться у красочных афиш театров, кинозалов; рекламными щитами-объявлениями приглашает на работу, на пляжи, на экскурсии, на учебу — в ПТУ и в музыкальные школы, в приборостроительный институт (свыше десяти тысяч студентов!) и в два высших военно-морских училища, в техникумы и в детскую художественную школу...

Серебро седины и наград; рабочий пульс промышленных предприятий; по-молодому не сдержанные — громкие и веселые — голоса; богатые, сочные, как на картинах живописцев фламандской школы, краски городского базара; надраенные бляхи матросских ремней и золотая вязь морских фуражек; переполненные желтые троллейбусы; цементная пыль строительных площадок; белые косые паруса яхт на глади залива и смытые дымкой и расстоянием фигуры приземистых кораблей там, где купол голубого неба своим краем заходит в свинцовую глуть моря...

Морзавод бросает под ноги звонкую стружку сверкающего металла; в порту, по-мальчишески волнуясь, жадно принимаешь в себя сырые запахи рыбы, водорослей, далеких штормов и туманов, словно бы повисших ключьями на такелаже судов; а за стройными рядами домов, в пригородных совхозах, на сотнях гектаров зреют под солнцем тяжелые кисти винограда...

Все он, Севастополь.

И одно только бесспорно: тут, как нигде, нынешняя шумная разноголосая жизнь окрашена сдержанной — гордой, полной достоинства — памятью.

И, пристально вглядываясь в лица, вслушиваясь в слова, знакомясь с судьбами, не зрением и слухом, а сердцем улавливаешь трепетный отсвет этой памяти. Отсвет большого незатахающего огня.

В городском комитете партии познакомился я с Антониной Алексеевной Сариной.

Ее в Севастополе знает каждый. И я — до нашей встречи — уже знал, что Антонина Алексеевна член партии с 1924 года, бывший секретарь горкома «по промышленности» — до войны, в героические месяцы обороны, в послевоенные годы.

Ее судьба — в судьбе Севастополя.

И писать о ней, Антонине Алексеевне Сариной, — в чем-то самом главном повторять Всеволода Вишневского, нарисовавшего нам женщину-комиссара в «Оптимистической трагедии». Лишь с небольшой поправкой на время.

И не в кожаной куртке, разумеется, суть, хотя такая куртка тоже была привычной для узеньких плеч. Не во внешнем сходстве.

В другом...

В молодости, безоглядно и радостно отданной общему революционному делу. Когда горишь — зажигая, когда ты — как факел на ветру, рассыпающий искры. К тебе тянутся, за тобой идут.

Там, у Вишневского, сразу корабли и фронт; тут — корабли и строительный грохот первых пятилеток. Свой фронт, менее опасный, но не менее трудный.

А настоящий фронт не заставил себя ждать. И 22 июня, когда стекла дребезжали от артогня, в горкоме проходило

экстренное совещание по перестройке всей работы на военный лад.

Три дня, неделя, от силы две — вот жесточайшие сроки, что отводились цехам на освоение заказов для Крымского фронта. Ежедневная рабочая сводка на столе секретаря ГК по промышленности пестрела наименованиями новой, вчера еще неведомой предприятиям продукции:

РМ-50 и БМ-82 (минометы),

Ф-1, РГД и ПТГ (гранаты),

РОКС-2 (огнеметы) — и т. д.

Работа — круглыми сутками, под вой бомб, со смертью рядом, в зареве пожаров, на урезанном до минимума пайке. Тыла в осажденном Севастополе не было. Всюду передовая — и для бойцов, и в цехах.

Морзаводцы уходят в штольни, смонтировав там котельную, электростанцию, компрессорную и опреснительную установки, оборудовав свои новые участки необходимыми станками. А что невозможно было спрятать под землю — службы, связанные с ремонтом боевых судов, — по-прежнему оставались на заводской территории, под непрекращавшимся обстрелом противника.

Каждый день вырывал из рядов товарищей...

И каждый день обороны, как все другие работники поредевшего горкома, Антонина Алексеевна Сарина со словом ободрения, поддержки, партийного приказа, помогая срочно решать в коллективах неотложные задачи, находилась в самой гуще тех грозных событий.

До конца, до последнего, самого трагического дня обороны — 3 июля 1942 года.

Раненая, в окровавленной блузке, она была вызволена из огненной западни моряками и вместе с ними пробилась в открытое море на подводной лодке.

9 мая 1944 года, в долгожданный день освобождения города, она вошла в него с армейскими частями.

Три дня еще затем выбивали гитлеровцев с городских окраин, с мыса Херсонес, где, загнанные в угол, они сопротивлялись с яростью обреченных, пока другая, встречающая, ярость, куда более могучая, — справедливого возмездия — не заставила их сложить оружие, поднять руки. И в эти три дня разрушенный город, представлявший собой жуткое нагромождение оплавленного железа, битого камня, с пустырями, заросшими бурьяном, кипевшими несметными полчищами крыс, уже начал работать, а значит, жить.

Тысячи и тысячи трупов под ослепительным майским солнцем, отсутствие питьевой воды, сотни гнедых артиллерийских битюгов, бессмысленно пристреленных немцами при бегстве, взрывоопасные «сюрпризы», разбросанные повсюду, едкий смрад подвальных пожарищ... И если попытаться символически изобразить рабочую эмблему севастопольцев тех дней — это положен-

ные накрест, неотделимые друг от друга лопата и миноискатель.

10 мая утром они, уцелевшие в оккупации, выбрались из своих землянок, нор, погребов, ям, стекаясь к центру, на люди,— изможденные женщины и дети, старики и пожилые мужчины, познавшие неволю, но не унизившиеся до служения врагу.

1900 севастопольцев.

1900 и 110 000, что составляли население города к сорок первому году.

Там, где нынче сквер на площади Ушакова, военные связисты, еще разгоряченные боем, по просьбе горкомовцев быстро установили репродуктор, вывели его на трансляцию — и над дымящейся округой торжественно зазвучал голос московского диктора:

«Здравствуй, родной Севастополь, любимый город советского народа, город-герой, город-богатырь! Радостно приветствует тебя вся советская страна...»

Худенькая невысокая женщина здесь же, посреди взволнованной толпы, энергично говорила:

— Товарищи, на этой неделе откроем первую школу. Дети должны учиться. Дорог каждый день, не будем ждать... У кого найдется стол — несите для школы стол! Есть табуретка или сохранились какие-нибудь книги — не жалейте для школы табуретки и книги! Карандаши, бумагу, чернильницы — все для нашей первой школы!..

Надо было расчищать завалы, печь хлеб, учить детей, лечить больных, спасти город от возможных эпидемических вспышек, из металла разбитых военных машин делать инструменты, восстанавливать морской завод...

И 1 июня (всего через двадцать дней после освобождения!) над порушенными корпусами цехов разнесся знакомый каждому севастопольцу басовитый морзаводский гудок, возвещающий о том, что завод в строю, он уже поднимает из руин себя и будет поднимать свой город.

А в ноябре в Севастопольскую бухту вошли корабли Черноморского флота.

На набережной их встречал весь город.

Это был праздник.

Пришел флот — теперь уже совсем Севастополь!

Теперь, как всегда.

* * *

Слушая Антонину Алексеевну Сарину, я думал о том, что память не просто живёт — она взывает, требует...

Мы подчинены памяти — и без прошлого нас нет.

Это прошлое, делающее честь Отечеству, сведено в бронзу и мрамор монументов — «Потомству в пример», как крылато сказано на цоколе памятника капитан-лейтенанту Казарскому,

дерзкому севастопольскому герою русско-турецких сражений начала XIX века.

Это прошлое, пережитое лично тобой, но по высокой значимости событий принадлежащее всему народу, когда ты был одним из множества, по счастливой нечаянности уцелел в огне, а тысячи пали,— не дает покоя сердцу. И чем годы дальше — тем чувства глубже.

Так говорят фронтовики.

И, наверное, под таким душевным напряжением возникли известные строки Твардовского,— они не чернилами написаны, а болью самой:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,—
Речь не о том, но все же, все же, все же...

До отказа забитая ранеными подлодка, вырвавшись из кипящей в разрывах бухты, погружалась в спасительную для нее морскую пучину, и все, в том числе Сарина, знали: в городе, занятом противником, на его окутанных зловещим заревом окраинах, в завалах методично сметаемых взрывчаткой рavelинов и дотов, в угарной тесноте штолен продолжают отчаянно драться разрозненные группы красноармейцев, моряков, ополченцев.

Презрев смерть, они дрались до последнего.

Сотни героев...

Выходили навстречу лязгу танковых гусениц со связками гранат; оставшись без патронов, встречали гитлеровцев ножами, штыками, прикладами, пущенными в ход саперными лопатками. Погибали, сами обильно сея смерть среди врагов; погибали, зная, что скорее всего некому будет рассказать об их мужестве: у товарищей, что рядом, тот же жребий...

И сейчас пламя негаснущего Вечного огня, величаво-скорбная мелодия, звучащая у мемориалов,— это им.

Цветы, почетные пионерские караулы, клятвы, песни — им.

Живые в неоплатном долгу перед павшими.

Вот что мы говорим себе...

И продолжаем упорно искать: кто, жертвуя собой, был там, как его звали, где его боевые однополчане, помнят ли его? Но главное — имя.

Имя воскрешает человека из небытия, и если оно открыто — в нем продолжение человеческой жизни.

Он погиб — и мы знаем, кто он. Знает Родина. Есть не просто память о безвестном герое — есть человек, совершивший во имя Родины геройство... Есть человек!

Имя героя — его личное бессмертие.

Открыть, назвать имена — это тоже долг.

Так понимает Антонина Алексеевна Сарина.

Подводная лодка плывет к ним, на тот берег...

Плывет с того самого дня, когда уходили оттуда,— уже не один десяток лет...

Штурман — память.

И к книгам, что посвящены Севастополю Великой Отечественной войны, теперь можно прибавить свыше шестидесяти томов документальных рассказов участников обороны и штурма города, кропотливо собираемых исторической комиссией при горкоме партии, возглавляемой Саринной.

Этим рукописям, одетым в переплет, нет цены. В них — голос рядовых героев севастопольской битвы, их свидетельства высокого народного мужества и поименно тех, кто во мгле сражений навсегда слился с этой сухой, выжженной землей, белыми камнями, пронзительной морской синью... Чьи имена нынче закреплены чеканными буквами на плитах и уличных табличках. Чьи имена подразумеваются в высеченных золотом на мраморе наименованиях армейских и флотских подразделений, в названиях кораблей, которые тут, в Севастополе, большой кровью оплачивали свою воинскую славу.

Проходишь улицей и натыкаешься взглядом на скромную мемориальную доску — рядом с другой, напоминающей, что когда-то в Севастополе жил писатель Станюкович:

«...На этом месте находилось здание, в котором с 1930 г. по июль 1942 г. размещались инженерно-строительные органы ЧФ, руководившие созданием оборонительных, базовых и авиационных сооружений Черноморского флота».

Что за словами — простыми, как отчет?

За ними — опять же война. Предчувствие войны в те далекие годы. Готовность флота к ней. Напряженный поиск военной инженерной мысли. Вклад флотских строителей, конструкторов, архитекторов в создание оборонительной мощи Севастополя...

Не утраченному зданию доска, не просто «органам ЧФ», а конкретным людям, их бессонному труду, умению, таланту.

Такая памятная доска — как заголовок одной, на всех, книги. Раскрой ее — будут фамилии, лица, судьбы... У каждого — своя страница.

В историческую комиссию при горкоме, работающую на общественных началах, пишут со всех концов страны. Помогите найти... Помогите восстановить... Сообщаю о фронтовых соратниках... Не известно ли вам?.. Отвечаю на ваш запрос... Взволнован, что вспомнили...

Из самых разных мест письма, и самые разные. Только спокойных нет. Спокойные люди сюда не пишут.

Заводской инженер прислал письмо из Благовещенска. Про отца. Тайком от того.

Отец, написал он, с войны имеет страшную рану на голове. Защищал Севастополь. Попал в плен. Наград у него нет. Начнешь спрашивать — молчит. Очень справедливый он, и если так

молчит — значит, мучается. А я, написал инженер дальше, хочу, обязан знать, что́ было с моим отцом в Севастополе.

Сарина это письмо оставила «за собой». По спискам личного состава выяснила, в каком полку числился тот фронтовик из Благовещенска; нашла его командира, однополчан, даже тех, с кем он пережил фашистскую неволю... Полетело в Благовещенск ответное письмо: дорогой товарищ, твой отец — доблестный защитник Севастополя, он храбро воевал, а попав тяжело раненным в плен, там тоже не встал на колени перед врагом; поздравь его с награждением медалью «За оборону Севастополя», приглашаем приехать...

Случай в работе комиссии не исключительный. До сих пор бывшие бойцы получают заслуженные медали за Севастополь, по разным причинам не врученные им раньше.

Медаль — на груди, а признание Севастополем, что он помнит, как ты стоял тут насмерть, — это в сердце... И едут сюда ветераны, взрослых сыновей везут с собой, внуков. Плачут. Ищут дорогие им имена на братских могилах. Кто не поймет этих слез?

А на бегущих навстречу нарядных улицах ветераны невольно распрямляют ссутуленные пережитым плечи: город улыбается им — как не улыбнуться в ответ? Это мы стареем, а жизнь — в своем ровном бесконечном продолжении, в своей устремленности в будущее, время омолаживает ее, а не старит.

Только память...

Ее горечь. Ее благородный свет на всем, чем горды сейчас.

* * *

На Малаховом кургане неподалеку от массивных пушек времен Крымской войны навечно установлены два корабельных орудия войны минувшей.

Они с эсминца «Бойкий», прославившегося на флоте не только подвигами — воинской везучестью своей. Эсминец, словно «заговоренный», оказывался неуязвимым для вражеского огня — там причем, где ничтожно мало шансов было для такой везучести. При высадке десанта, когда в тесноте залива напрямую, с близкого расстояния была по нему береговая артиллерия; в открытом море, когда фашистские стервятники, намного превосходя в количестве стволов, огневой мощи, клевали и с воды, и с воздуха; при глубоких рейдовых операциях к чужим берегам, когда один на один он вступал в бой с целым неприятельским укрепрайоном, после чего предстояло еще пройти сотни миль до своей базы, отбиваясь от налетов авиации, при угрозе подводного торпедирования...

Сражавшийся флот уважительно произносил имя капитан-лейтенанта Годлевского, искусного в морском боевом деле командира, а по характеру рискованного храбреца, на которого равнялась вся команда «Бойкого».

Одного из матросов с «Бойкого» — бывшего машиниста-турбиниста Петра Филипповича Белоцерковца — встретил я в пригородном совхозе «Качинский».

До того как в сентябре сорок второго взял его к себе Годлевский, Белоцерковец получил глубокие ожоги и раны на эсминце «Бдительный» — в момент его гибели у новороссийского пирса.

На пиджаке Петра Филипповича среди орденских ленточек три такие, что говорят сами за себя, выразительно обозначая воинский путь их хозяина. Это ленточки медалей «За оборону Кавказа», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя». Фронтового лиха хлебнул сполна, все четыре года — в пекле. А всего на «Бдительном» и «Бойком» провел семь лет — с тридцать девятого, когда призвали на срочную с Полтавщины, по сорок шестой, когда демобилизовали.

В «Качинском» он с первого дня размечал колышками на пустошах будущую территорию совхоза. И кто начинал тут, как он, обильно полили землю своим потом, пока не переделали щебнистый известняковый грунт в удобную для виноградников почву. Но это — рассказ особый, не одного Белоцерковца пришлось бы вспомнить, хотя без описания его личных заслуг в становлении и развитии совхоза такой рассказ тоже был бы неполным.

Как-никак за эту землю у Петра Филипповича два ордена — Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. Многие годы бессменно был он здесь управляющим отделением, где под виноградом 1800 гектаров. Дел по горло, покоя нет, как заведенный с утра до позднего вечера, — прокаленный жарой и ветрами, худой, наживший болезнь желудка. Но заговори с ним про совхоз — будто одним этим уже радость ему даришь! Восторг на лице и в словах: столько винограда даем — никому в Крыму за нами не угнаться, так развернулись — скучать некогда! Море рядом, а в прошлом году за лето лишь два раза в нем выкупался: никак с плантациями не вырвешься... Нет, мы еще не отставники, мы повоюем!

Надвигая поглубже кепочку на глаза, тянул за собой: поехали туда, на плантации, будет что посмотреть!

Доволен, одним словом, человек жизнью. Потому что с другой стороны взглянуть, с семейной — тоже у него все хорошо. Свой дом; с женой, Меланьей Сергеевной — «переселенкой» из Воронежской области, — они душа в душу; поставили на ноги двух детей: дочь работает в Севастополе, сын плавает механиком на корабле. Когда навещают друзья с «Бойкого», приезжая издалека, даже из Сибири, в подвале всегда найдется добрая посуда с «изабеллой», отменным виноградным вином. Такого сорта винограда — «изабеллы» — в совхозе нет: лишь у него на домашнем участке три урожайных корня...

Мы разговаривали — и я спросил, почему же он, Петр Филип-

пович, после долгой фронтовой службы на море не вернулся на свою Полтавщину.

Он замолчал. Тучка набежала на ясные глаза, смывая оживление.

Ответил:

— Себя надвое не разорвешь.

Лишь потом — в дальнейшем разговоре — понял я смысл этих слов.

В окружении рыжих крымских холмов, под севастопольским небом, затянутым копотью сражений, догорела его молодость (покидал корабль — двадцать восьмой год шел); он отдал молодость этой земле, а товарищи его отдали за нее свои молодые жизни, — и хотел он уехать отсюда, но не смог. Память, знал, заставила бы оглядываться; там, в полтавском селе, звала бы сюда, потому что все, что потрясло и утвердило его как человека, было тут, в Севастополе...

Без Севастополя он уже не верил в другую жизнь для себя.

А специальность агронома, которую успел получить до флота, нужна была здесь так же, как строительная.

На многих участках не росла даже дикая трава — так земля была обезображена войной. Кое-где на каждый квадратный метр приходилось по два-три килограмма осколков.

И не только осколков.

В другом пригородном севастопольском совхозе — «Золотая балка» — открыт памятник рабочим, погибшим после войны на виноградниках. От бомб, от мин и гранат, что таились в грунте и отзывались смертью, когда попадали под лопату, тяпку, лемех плуга...

Семнадцать человек. Большинство — женщины.

Директор «Золотой балки» Павел Николаевич Масько тоже — пехотинцем — дрался за Севастополь.

И родом он из Севастополя. Сын плотника.

Отец облагораживал севастопольский камень деревянными конструкциями; на глазах сына труд отца исчезал в огне.

«Золотая балка» славилась своим виноградом еще до войны. Для его произрастания тут, в долине, особый — лучше не надо — микроклимат.

«Ркацители», «рислинг», «саперави», «алиготе», «шабаш», «чауш»... Знаменитые сорта — и на продажу, и на производство тонких вин. На своем совхозном винзаводе.

Хозяйство с его миллионными прибылями всегда на виду, в почете, — и директор, разумеется, тоже. А поскольку дела идут превосходно — настроение у Павла Николаевича тоже превосходное. Шумно весел, в словах и жестах размахист, напорист и в то же время благодушен — шуточки-прибауточки на языке. Кто ни глянет, ни послушает — скажет, завидуя: вот, как на картинке, удачливый человек! Грудь в наградах, и внешние данные хоть куда — что рост, что стать, и седина не старит...

Про то, как сам он, Масько, солдатом был — опять же рас-

сказывает в легком тоне, подсмеиваясь над собой. В ночной разведке на немца сверху, с дерева, прыгал, промахнулся, и немец ловким оказался — сграбастал, чуть не укукошил, спасибо, ребята подоспели.... Под Кенигсбергом искалечило осколками, гангрена началась, хотели ноги ампутировать, он, не зная, что это за штука такая — ампутация, согласился. А уже в операционной понял — взбунтовался: «Умру, но с ногами!» В восемнадцать лет свою смерть вблизи не видишь, а вот безногих много видел — и сам теперь?!

Выкарабкался, возили из госпиталя в госпиталь закованным по пояс в гипс, а потом на костылях вернулся домой.

В двадцать четыре года «сосватали» председателем в дальний и бедный, на грани развала колхоз. Село угрюмое, народ недоверчиво-настороженный... «Нового нам привезли? Всяких видали. Теперь, значит, мальчишку. Нехай!..» Проголосовали и разошлись. Представитель из райцентра, обрадованный, что выборы гладко прошли, в машину и домой. Отъезжая, крикнул из темноты: «Не робей. Осваивайся!» И остался новый председатель Павел Масько посреди грязной осенней улицы, ночью, один, не зная, куда податься, чего предпринять, у кого б корочку хлеба попросить: с утра не ел...

А когда позже переводили — «на укрепление» — директором в совхоз, в селе шумели: «Не отдадим нашего Масько!..»

Вот как все бывает у «удачливых», почему они, поглядеть, неунывающие!

А серьезно если: про Белоцерковца и Масько — это штрихи к одному портрету.

Портрету севастопольца.

Город — с его широтой, оптимистической приподнятостью — похож на людей, живущих в нем; люди, само собой, похожи на город.

* * *

И когда город стоит у южного моря — он не просто красив. Он берет от моря глубокое, свободное дыхание, ветровую свежесть, звонкую беспредельность, солнечный загар на лица, мягкую, как приливная волна, интонацию говора...

Море украшает город.

А держат город руки людей.

И все слито воедино: море, город, люди...

В затоне морзавода, вода которого красна от ржавчины и соскабливаемого с корабельных бортов сурика, тесно от судов. Пришли залечивать раны, нанесенные океанскими штормами, скуластые, с гарпунными пушками китобои известной флотилии «Советская Украина». Поблизости — в искристой россыпи электросварки, громыхании стальных листов, в разноголосице рабочих команд — завершается строительство двух тяжелых плавучих кранов.

Самоходные плавкраны уходят отсюда не только в отечественные — в чужие порты. Спрос на стотонные «Черноморцы», трехсоттонные «Богатыри» велик. А спрос зависит от авторитета, что завоевали себе у заказчиков эти универсальные морские работяги. Любое дело им по плечу — на судоверфи, у причала, на незащищенной акватории. Грузоподъемные операции и аварийно-спасательные, строительно-монтажные; транспортировка негабаритных грузов на собственной палубе; гидростроительные работы и по укреплению береговых линий... на все они умельцы!

Издали посмотреть, плывет этакий гигантский утюг, выдавливая из-под себя водяные валы, а его лихо обходят фасонистые теплоходы, дизельэлектроходы, резвые на просторе, горделивые в своем облике, подчиненном скорости, слитом с морской стихией. Но возвратятся они в порт — и по-сыновьи ласково жмутся к плавкрану, ожидая его помощи, доверяясь ему... Мы побегали — мы вернулись к тебе!

А в цехах завода готовят детали корпусов и оснастки для закладки на стапелях сверхмощных самоходных кранов грузоподъемностью в 1600 тонн. В одном — пять «Богатырей»! Это уже «Витязи». Краны-исполины. Они тоже морские трудяги — строители портовых причалов, мостов, дамб, но прежде всего — надежные спасатели, способные поднять из темных глубин затонувшие суда, стащить при нужде корабли с мели. Кроме мощного грузоподъемного комплекса «Витязи» имеют высокопроизводительные водоотливные насосы, гидромониторы, сложное водолазное оснащение. Внешне они под стать тем океанским кораблям, что с величавой медлительностью входят в севастопольские бухты, неся свои белые надстройки над многоэтажным городским зданием, — корабли-заводы, приписанные к производственному объединению «Атлантика», обосновавшемуся в Севастополе, имеющему тут свой крупный порт, судоремонтные и прочие технические подразделения.

Один из таких семипалубных великанов — ПДПКЗ (плавающий добывающий и перерабатывающий консервный завод) «Анатолий Халин» — стоял у причала рыбного порта, и второй помощник капитана Петр Дмитриев, молодой, белокурый, с синими глазами, в которых держалось море, показывал мне сложную электронную аппаратуру, позволяющую безошибочно «нащупывать» косяки рыбы при самых сложных условиях лова. Тралы выбрасываются не на авось, не в расчете на внезапность удачи, — чуткие приборы на расстоянии определяют степень этой удачи: возможный объем добычи, как брать ее, что за рыба...

— Нам промахиваться нельзя, — пояснил Петр Дмитриев, гордясь кораблем и ответственностью. — Сто тысяч банок консервов дай за сутки — это только план. А у нас рекорд есть — в сутки сто девяносто тысяч! Встречали, наверно, нашу продукцию в магазинах? Сардины, скумбрия, сельдь, суп любительский... Баночки с красивыми этикетками!

Суда объединения «Атлантика» — такие, как «Анатолий Ха-

лин», супертраулеры (СТ) и рефрижераторно-морозильные (РТМ), — работают в океанских широтах от Северного моря Южной Америки, вокруг Африки и на просторах Индийского океана. На полгода корабль, бороздящий моря, — и дом рыбака, и его родная земля под красным Государственным флагом. До той поры, когда снова сбежит он с трапа на гулкую бетонку своего севастопольского причала — навстречу цветам и тем, кто соскучился по нему больше всех...

— Здравствуй, Севастополь, твои позывные были нам главным маяком вдали от Родины!

* * *

Встречи с севастопольцами не втиснешь в торопливую запись блокнотных — сделанных на ходу — строчек. Их работа на тяжелой каменистой земле и в море, в современных, оснащенных первоклассной автоматикой цехах и на стройплощадках, разговоры с ними — все, что видел тут, перечувствовал, исподволь складывалось в повесть о Севастополе. Вернее, пришло предчувствие такой повести. Про суровый вдохновенный труд, про любовь и ненависть, про то, что нет границ меж легендой и жизнью.

В этой повести — жестокость войны и всесильность человеческого духа. Руины Севастополя и солнечное сияние его широких окон. Пепел и цветы. Годы и вечность.

С Севастополем невозможно прощаться.

Севастополь навсегда с тобой.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ «КВАНТ»

На тридцатом году космической эры два землянина улетали, чтобы собрать на орбите еще невиданный научно-исследовательский комплекс. Они, конечно, не знали, что собирать его им придется в полном смысле слова вручную — выйти из стен своего внеземного дома и «раз-два взяли!» помогать двум массивным объектам стянуться. На это служит автоматика, но такой выпал случай. И он еще раз показал, к каким невероятным поворотам готовы наши космические команды. Что за тридцать лет можно действительно налетать опыт, смелость и умение, о которых когда-то и не мечталось.

Есть особые витки в космонавтике — витки надежды. Когда Земля и борт, помогая друг другу, преодолевают очередной барьер, выставленный космосом. Как и любая стихия, он хранит свою неприкасаемость. И будет, верно, хранить вечно, поэтому при любых успехах новая и новая борьба неизбежна.

«Таймыры» стартовали между «Миром» и «Квантом», на корабле «Союз ТМ-2». Каждое из этих названий означает новую страницу в развитии наших космических аппаратов. Чтобы понять всю суть предстоящих волнений, мы должны с ними познакомиться хотя бы кратко.

«Мир». Орбитальная станция нового, третьего поколения, дающая возможность непрерывной работы на борту экипажам, сменяющим друг друга. Наконец-то сдернуты чехлы, и мы увидели эти загадочные шесть стыковочных узлов, которыми интриговали нас специалисты несколько последних лет. Это настоящий прорыв в возможностях станции, когда их займут специализированные научные модули. В сущности, все, что происходило до сих пор в «Салюте», нередко приводило в ужас тонких и привередливых специалистов — разработчиков экспериментов. Скажем, астрофизик холодел от одной мысли, что неподалеку от телескопа, приемник которого требует охлаждения жидким азотом или гелием, раскаляется до полутора тысяч градусов печка, выплавляющая полупроводники. Технолог, в свою очередь, часами уговаривал медиков отменить физкультуру, если у него шла плавка и кристаллизация. Какая там идеальная невесомость, если станция ходуном ходит от космонавтского бега. Биологи переживали за свои хилые растения, которым не хватало глотка кислорода в плотной атмосфере, мало, конечно, похожей на степное приволье.

Теперь каждое из этих направлений получит свой «цех» величиной с такую же станцию. Первый из них — астрофизический модуль «Квант». Летающая рентгеновская и ультрафиолетовая обсерватория, в которую вложили немало ума и таланта ученые многих стран. Охотник за пульсарами, нейтронными звездами, черными дырами с уникальной системой горископов, умеющих навести на объект и держать всю махину в ориентации хоть вечно без траты топлива, что было довольно суровой проблемой. На длительные эксперименты рабочего тела не навозишься, к тому же «заплывывается» газами атмосфера вокруг станции, мешая многим экспериментам.

Можно и здесь посвятить особый рассказ сверхчутким детекторам, ловящим рентгеновские кванты, запущенные к нам откуда-то лет миллиард назад. Или сверхумной ЭВМ, которая отслеживает координаты, находит и опознает источники, дает команду на включение комплекса приборов. Или десяткам устройств, помогающих очищать, обрабатывать, передавать информацию вплоть до воплощения ее в безупречных машинных распечатках или роскошных компьютерных цветных снимках.

Но нас интересуют тревоги и волнения человека.

Чтобы можно было представить всю гамму напряжений, переживаемых космонавтом, напомним и о «полуполете» Олега Макарова с Василием Лазаревым на «Союзе», который так и остался без номера. Это было пятого апреля 1975 года, на девятнадцатом году космической эры и на 261-й секунде полета. Два «Урала», привязанные к ложементам, ощутили противную килевую качку, как в катере на волне, затем завопила сирена и замигало красное табло «Авария носителя», затем началось вращение, как в карусели, затем резкий толчок — и конец короткой невесомости. Стремительное нарастание перегрузки, тело тяжелеело, вжимаясь в кресло и расплываясь в нем. Это пиротехника системы аварийного спасения раскидала аварийные блоки, и спускаемый аппарат пошел на резкий спуск. «Представьте, что вам положили доску на грудь, а на нее поставили минимум «Запорожец»... Это более позднее, осмысленное, так сказать, сравнение А пока казалось, что ребра трещат, спирало дыхание, вместо слов из горла вырывался хрип. Баллистический спуск, поняли они. Но и тут, верный своему самообладанию, Лазарев скосил глаза на махонький глобус на пульте и сквозь свинцовые веки проследил трассу падения, после чего выдал из себя: «Давно мы с тобой, Олег, в Китае не были...»

Сели все же не в Китае, а в Горном Алтае. Только что вокруг них была весенняя казахстанская степь, усеянная тюльпанами, прогретая солнцем, освещенная улыбками провожающих. Спустя какие-то минуты — снежная пурга, холод, мрак, «ласточкино гнездо» — карниз над обрывом, за который чудом зацепился спасенный корабль. Самолеты поисково-спасательной группы,

кружащие где-то над облачностью, ползание в темноте по снегу в поисках веток и хвороста для костра, растопка из картонной обложки бортиструкции. Инструкция называется: «Действия экипажа в безлюдной местности». Спасибо, выручила.

Это я к тому, что как-то незаметно у нас в печати возник образ космонавта как румяного, всем довольного щекастого парня с ослепительной белозубой улыбкой, у которого всегда все в порядке. Кто в какой степени за минувшее тридцатилетие поусердствовал в создании такого образа, судить поздно. Но сами космонавты от него морщатся, как от зубной боли.

Хотя что делать, если улыбка у Владимира Титова действительно ослепительная, искренняя, даже в самом начале ребяческая. Потом на нее наложились горьковатые складки. Но так, мелькнут и исчезнут, если ничего не знать, то и не подумаешь о двух стартах и отчаянной борьбе, которая сопровождала им на двадцать шестом году космической эры, весной и осенью 1983-го. Сначала, в апреле, на пульте «Союза Т-8» после вывода на орбиту не загорелся маленький скромный транспарант, ничем особенным не отличавшийся от десятков соседей. Эта неисправность встречалась в зачетных билетах на тренировках. По инструкции она означала отмену стыковки и возвращение домой. Потому что не раскрылась антенна поисковой радиосистемы «Игла». Без нее две крохотные пылинки в околоземном космосе — станция и корабль — не «увидят» друг друга и не смогут пойти на взаимное автоматическое сближение.

Потом в сентябре Титову и Стрекалову довелось выскочить из пламени горячей ракеты-носителя на стартовой байконурской площадке. До сих пор вспоминаю, и не я один, наверное, кисловатый вкус во рту — вкус опасности — от вида багряно-красного огня с черной дымной каймой, полезшего снизу вверх по стволу ракеты. Вместо того чтобы упругой энергичной струей толкнуть носитель вверх, огонь как-то неохотно и неуклюже заклубился, замешкался вокруг сопел и полез обнимать стартовую установку. Захотелось крикнуть: «Там же люди!» На НП повисла драматическая тишина, глаза отказывались верить. Владимир с Геннадием, накрытые в своей кабине коллаком обтекателя, не могли видеть пожара, они лишь чувствовали волну необычных вибраций, пробежавших по телу ракеты. И не они должны были принять решение по срабатыванию САС — системы аварийного спасения. За нее отвечали два специалиста из стартовой группы, один «со стороны» корабля, другой — носителя. За несколько считанных секунд они четко и согласованно среагировали на ситуацию.

Со стороны показалось, что старт все-таки состоялся. С необычно резким громом и ярко-белой струей из красного костра вырвался уносимый в небо корабль. Но — корабль без ракеты,

даже часть корабля, спускаемый аппарат. Полет его был недолог. Где-то над космодромом, в пределах видимости и слышимости, раздался хлопок. Обтекатель отвесной пулей просвистел вниз, никто и моргнуть не успел. Кабина с четырехкилометровой высоты стала плавно опускаться на парашюте. Совсем как посадка после космической экспедиции. САС сработал безупречно.

Покрутившись над вечерней степью и мягко ткнувшись в грунт, аппарат и экипаж в нем дожидались недалекой группы поиска. Вертолеты пошли тут же. Выйдя на связь, Владимир Титов сказал: «Зарегистрируйте самый короткий полет в космонавтике... Пять минут тридцать секунд...»

Потом, на подготовках, тренировках, формировании новых экипажей, особенно болеешь за ребят, прошедших сквозь такие передраги. Чтобы им повезло, чтобы зачеты, старт, вся программа прошли без осложнений и заноз. Понимаешь, что для новой работы им надо иметь особый запас и терпения, и мужества, и оптимизма. Надо уметь о многом забыть и многое помнить. Это даже начинать не с нуля — начинать с обидной горечи невезения. Но начинать надо. И они снова в работе.

Вот такие люди, прошедшие снеговую купель аварийных посадок, костер стартовых пожаров, влезавшие в обледеневший космический дом для его оживления, провожают и напутствуют новый экипаж. Что-то придется совершить и вам, ребята. Кого же сейчас проводили?

«Таймыр» — это позывной командира экипажа Юрия Романенко. Он прозвучал в космосе в третий раз. Вместе с Георгием Гречко Юрий когда-то установил на «Салюте-б» потрясающий рекорд длительности полета: 96 суток. Как мы все были взволнованы! Двадцать первый год космической эры, первая встреча на станции двух экипажей, давшая зеленый свет программе совместных полетов «Интеркосмоса»... Затем — яркий полет с молодым кубинским летчиком Арнальдо Тамайо Мендесом. Можно много говорить о Романенко как о классном летчике, опытном и высокотренированном космическом операторе, просто решительном, находчивом, надежном человеке. Или о подводном пловце, заядлом яхтсмене, как и положено сыну моряка, который до сих пор под летной формой носит тельняшку.

Они немного похожи, одного склада и даже очертаний лица, только Саша Лавейкин еще светится молодостью. Почти десять лет разницы. Круглолицый, спокойный, со вспыхивающим румянцем на щеках от непривычки к вниманию. В 1974-м, после МВТУ имени Баумана, был принят в конструкторское бюро по специальности инженера-прочниста. Это значит рассчитывать на прочность узлы и детали космических объектов. Есть они, собственноручно, можно сказать, слаженные, и в корабле «Союз ТМ-2», где он занял место.

В дорогу на «Мир» он прежде всего взял фотографию отца, боевого летчика Великой Отечественной. Герой Советского Союза, генерал-майор авиации в отставке Иван Павлович Лавейкин

совсем немного не дожид до этого старта. Но, снятый у своего Ла-5 между боями в сорок третьем, он продолжает с сыном свой полет.

Но вот стартовые волнения позади, и мы слышим голоса «Таймыров» с орбиты.

Станция хороша, но обстановка на борту вполне вокзальная. С одной стороны — собственное имущество, с другой — грузы висящего «Прогресса», с третьей — завезенное наследие «Салюта». Вещи на потолке — мебелировка космической эры. Расконсервация — свет, связь, тепло, вода, кухня, сантехника... Все как дома. Только на лету, туда-сюда, листая синие, красные, зеленые журналы с инструкциями. Слышим энергичное командирское:

— Режь!

— Режу!— всегда готов бортинженер.

— Что вы там режете? — тревожится снизу Валерий Рюмин.

— Удлинитель тут прибортован, отрезаем крепление.

— А-а...— Это, видно, не страшно.— Вы там все же осмотрительней, прежде чем что-то делать, советуйтесь с нами. И вообще семьдесят семь раз отмеряйте.

— Принято, отмеряем...

Монтаж, подстыковка, настройка, тесты кучи приборов. Вскрытие разных панелей, поиск разъемов и стыков, нужных кабелей, которые витают по отсекам змеиными связками.

Обживание, освоение, первые эксперименты, но главное мысли, конечно, о нем. О «Кванте». Ведь это гвоздь программы — как его отправить, как принять, как подключить, начать работу. Как по заказу, вспыхивает сверхновая звезда в Большом Магеллановом облаке — телескопы нашего полушария не могут до нее дотянуться. А тут не просто увидеть, а в рентгеновском диапазоне, самом информативном и загадочном... Астрофизики всех стран — участников проекта бросились уточнять программу, предвкушая приятные минуты открытия воочию черной дыры или, на худой конец, новорожденной нейтронной звезды...

Словом, есть чего ждать. И вот «Квант» на подходе. Та же ракета-носитель «Протон», что поднимала «Мир», «Салюты», лунных, венерианских, марсианских разведчиков, доставляет его на орбиту. Через пять суток (громоздкие машины требуют особо осторожного сближения) двадцатитонная конструкция прибыла к месту встречи.

Стыковки давно перестали быть сенсациями. Пожалуй, во всем ЦУПе не было ни одного человека, кто бы сомневался и в этой. Прототипы «Кванта» — крупные «Космосы» уже причаливали к станциям. Насколько память не изменяет, если в пилотируемых вариантах что-то случилось, что требовало вмешательства пилота, то в автоматике особых происшествий не было. Журналисты уже почти написали репортажи, осталось вставить приличествующие моменту реплики, в основном повторяющиеся всегда в момент касания...

Но жизнь показала, что она и в космосе не застыла в штатных схемах. И даже все наоборот.

Ранним утром пятого апреля, в 4.20 по летнему московскому времени, старая испытанная система радиозахвата «Игла» подвела модуль к корме станции, к причалу грузовых кораблей. Отныне они будут пристраиваться к «Миру» через «Квант». Надо только его самого сначала пристроить. За полкилометра до касания все было как обычно. Юрий с Александром перешли в «дальний угол» — в свой транспортный корабль, пришвартованный с другой стороны. Такова инструкция по технике безопасности. Идут спокойные переговоры с оператором: дальность, скорость, угловые колебания...

— «Таймыры», дальность четыреста восемьдесят! Есть выдвижение штанги стыковочного механизма... Есть картинка на экране! Процесс идет штатно.

Двести метров. Скорость сближения — полтора метра в секунду. Осталось всего ничего. И вдруг что-то меняется, в радиообмен входит Валерий Рюмин.

— «Таймыры!» У нас прошла потеря захвата и увод «Кванта». Вы перейдите в ПХО, посмотрите в иллюминаторы и скажите, что там увидите.

Голос ровный, обыденный, из-за этого сначала как-то не доходит. Что не доходит? А то, что телеметрия показывает нечто непредвиденное. Что модуль ни с того ни с сего вдруг отключил свою радиосистему захвата и пошел прочь от «Мира». Никто ему такой команды не давал, что это вдруг за отсебятина? Надо срочно проверить, что там, убедиться своими глазами. Можно только представить, какими торпедами вылетают они из своего «дального угла» к иллюминаторам переходного отсека.

— Ч-черт, где бинокль?! — зацепился за что-то Саша Лавейкин.

Хрипловатый от волнения голос командира:

— Валера, он отходит от нас!

— Отходит, приняли. — Рюмин будто каждый день принимает такие доклады. Нетороплив, хмуроват, сосредоточен.

Рядом у операторского пульта мнет обеими руками шевелюру Владимир Соловьев. Нетрудно догадаться, что там под ней: «В чем дело?», «В чем дело?», «В чем дело?»

— Наблюдаем модуль позади нас, внизу, на фоне Земли! — Не ошиблась чертова телеметрия. — Имеет остаточные скорости!

— Вращается, да?

— Вращается немного...

— Скорость примерно не можете подсказать?

Романенко прикидывает на глаз сотые и тысячные угловых скоростей. Уточняет: «Квант» немного отстаёт, но движется за старшей, как привязанный.

— Спокойно, Юра, Саша... Все нормально, изучаем телеметрию. Скоро что-то поймем и вам сообщим. Вы открывайте люки, приводите все в исходное, занимайтесь личными делами. Мы пока

вас не трогаем, будем разбираться, что с «Квантом», искать варианты.

За окнами уже всюду сияет солнце. Но здесь, кажется, этого никто не замечает. Москва двинулась на работу, а здесь с нее никто не уходил. Включено все, что может думать, считать, вспоминать, сравнивать. От комплекса ЭВМ до разума, личного опыта, интуиции ученых, космонавтов, разработчиков. Никто еще не знает, когда попытка будет повторена: сегодня, завтра, послезавтра. Но что будет — очевидно.

Ну а вдруг? Как все же въедлив червь сомнения. Все бывает на свете. Первая мысль — о встревоженных астрофизиках, которые семь долгих лет шли к этой стыковке. А еще дольше о ней мечтали. Боюсь смотреть на расстроенное лицо молодого члена-корреспондента большой Академии Рашида Сюняева. Он руководитель рентгеновского комплекса «Кванта» и совсем недавно рассказывал о научной начинке модуля, открывающей для наблюдения несколько тысяч рентгеновских источников на вселенском небе. Ему держать объяснение с коллегами из многих стран, вложивших в летающую обсерваторию свои идеи, технику, средства. Ковчег ты наш, ковчег, как ты там?

Но ЦУП не отвлекается абстрактными вопросами. Он работает с конкретными.

Уже на следующий вечер здесь снова столпотворение. Больше шестидесяти журналистов из многих стран пожаловали задать свои въедливые вопросы «Таймырам» в канун Дня космонавтики. В ожидании двух «интервьюшных» сеансов парятся под «юпитерами» телесъемки руководители полета. К нашей общей советской гордости все вопросы по «Кванту» парировались спокойно, солидно, с полной уверенностью.

— Мы оптимистически смотрим на повторение стыковки, — сразу начал Рюмин. — Причины уже изучены и кажутся нам вполне понятными. Дело в том, что мы не часто стыкуем на орбите объекты с такими массами — каждая больше двадцати тонн. Поэтому с особой осторожностью относимся к процессу сближения, ужесточаем требования к допускам при взаимных маневрах на ближнем участке. Как видно, в этом и перестарались, слишком заузили коридор для маневров, и при каком-то нарушении параметра, излишнем крене, допустим, автоматика сближения «испугалась» и дала команду на отход. Теперь изучим необходимые степени допусков, введем в командное устройство новые данные, расширим возможности аппаратов и повторим операцию.

До банального убедительно, а столько было волнений. Запаса топлива в баках «Кванта» хватает, и еще не на одну стыковку. Можно спокойно ждать. Но тут кто-то из французских коллег — не то не расслышал, не то не успел включить магнитофон, не то проснулся — повторяет вопрос. Притом буквально так: «Чем вы объясните провал стыковки и каким образом?..» и т. д. Впервые вижу Рюмина таким негодующим. Как-то совсем

по-мальчишески, сердито, будто в дворовой перепалке, он вскакивает и кричит:

— Кто вам сказал о провале?! При чем тут провал? Что такое провал, вы хоть представляете?

Довели человека. Но тут же берет себя в руки и объясняет все сначала, так же терпеливо и размеренно.

Все же не так легко на душе у наших космических асов. Каждая переделка — совершенно новая. Все можно понять, только когда она кончится. А вот как кончится?

Девятое апреля. Такое же раннее утро. Вернее, еще ночь. Народу в Центре управления вдвое больше, чем в первый раз. Атмосфера настороженной. Все ли предусмотрели в этих мудреных коридорах? Слушаю радиосвязь ЦУП — борт. Романенко спокойным голосом передает контрольные данные. Пройдено полтора километра дальности. Километр. Полкилометра. Двести метров! На этом рубеже вздох облегчения. Не успел он дошелестеть — касание. Наконец-то!

— Оно было очень мягким! — радуется Саша Лавейкин. Это значит — молодцы, какие молодцы баллистики, программисты, управленцы. Молодцы ЭВМ, безропотно просчитавшие колоссальную прорву данных, множество вариантов. Сумели и расширить коридор, и соблюсти нужную осторожность для соприкосновения двух таких гигантов.

— Мы вас поздравляем! — отзывается ЦУП теми словами, которые звучат всегда, но всегда с новой сердечной наполненностью. — Сразу свободнее дышится? Можете перейти в рабочий отсек корабля, готовиться к возвращению на станцию. Все, что в транспортнике включили, теперь выключайте.

Видно, предосторожности с «дальним углом» в этот раз были предприняты утроенные. На машину надейся, а сам не плошай. Хорошо, она вздумала отдернуться при неувязке назад. Ну а если бы вперед? При всех восторгах к технике надо, конечно, относиться трезво.

Но сейчас какая там трезвость — хочется сразу поздравить Рашида Сюняева: наконец его волнения позади и можно смело смотреть в глаза зарубежным коллегам. А то: «Провал стыковки! Провал стыковки!»

Но Сюняев в ответ на поздравление тревожно смотрит на экран: «Смотрите, здесь что-то не то...» И на лица вокруг снова набежало облако. Что там еще?

Шесть светофоров, шесть кружочков режима «Стыковка» обозначают последовательность стыковочных операций. Касание, механический захват, стягивание, соединение и герметизация объектов. Последний, шестой светофор: «Режим выполнен». Три кружка уже горят зеленым — эти пункты выполнены. Три — еще оранжевым. И что-то задержались с переключением. Время идет, идет, а стягивание никак не завершится. И наконец совсем

остановилось. До полного стыка колец не хватает несколько сантиметров. Что там заклинило?

«Таймыры» возвращаются в зону, чтобы услышать эту огорчительную весть.

— Сцепка у нас не получилась, — говорят им снизу. — Включите телекамеру и сами попробуйте что-нибудь увидеть из иллюминаторов. Нет ли крена в связке? Или что-нибудь лишнее увидите в районе стыка...

— Да, вроде бы есть перекосяк, правое крыло солнечной батареи немного задрало вверх.

Снова девять утра, снова «Мир» и «Квант» не состыкованы. Только еще более загадочно. От того, что вместо двухсот метров их разделяет теперь двадцать сантиметров от силы, никому не легче. Какая опасность таится в этих двадцати сантиметрах, никому не известно. Но она есть.

— В основном мы на сегодня работу закончили, — смиряются руководители полета. — Готовьтесь спать, а мы дальше будем думать. Да позавтракать не забудьте...

Чувствуется, что самому ЦУПу в ближайшие сутки снова будет не до сна, не до завтрака.

— Подожди, мы кое-что заметили! — спешит успеть до выхода из зоны Романенко. — Когда выдвигали штангу, я видел плоскость стыковочного шпангоута «Кванта». К нашему кольцу, мне показалось, он находился под небольшим углом. И при стягивании мы ощутили два толчка: первый, как обычно, и второй. При выдвигании штанги, на середине хода, какое-то колебание было, не очень понятное. Как будто что-то держало, а потом освободило, с таким мягким рывком...

Бортинженер добавляет нечто не менее существенное. Ему показалось, что по корпусу модуля к стыковочной щели тянется металлический трос. Вот это новость! Не он ли и попал между кольцами?

Еще не раз, а может, и не десяток раз прокрутили специалисты магнитные ленты с этими записями. Вслушивались в каждое слово. Снова и снова посылали «Таймыров» к иллюминаторам осматривать стыковочную ситуацию. Но черт бы ее побрал, эту мертвую зону. Как ни крути головой, как ни коси глазами, стык в окошко не виден, внешняя телекамера тоже не берет. Можно строить тысячи догадок, но пока руками не потрогаешь, все это область фантастики. В ход идут версии одна заковыристей другой. От тросика, кабеля или другой помехи, попавшей между кольцами, до несовмещения отдельных деталей — стыковочных горловин, разъемов, вилок и розеток. И, наконец, повреждения каких-либо накладок и шин, создавших «заусеницу». Факт тот, что за все обозримое время стыковок такого на этом этапе монтажа не бывало. Такие загадки и пугают, и тянут к себе. Знать-то все равно необходимо.

На эту драму и пало торжественное собрание в Москве, посвященное Дню космонавтики. Многим оно показалось в тот момент неуместной шуткой. А впрочем, торжественные слова о мужестве, о мастерстве, о готовности преодолеть любую трудность в освоении космоса как раз теперь и могут найти очередное свое подтверждение.

Недосчитались на том собрании многих видных специалистов космонавтики, привыкших к почетным местам в ряду коллег и товарищей. Им было не до торжеств. Искали варианты «достыковки». Искали днем и ночью, в ЦУПе и Центре подготовки космонавтов, в конструкторском бюро и на предприятиях. Перепроверялись горы документации и километры телеметрических лент, прокручивалось множество предложений.

Сразу вспомнились все случаи, когда выход был только в выходе. Тот же Юрий Романенко с Георгием Гречко инспектировали стыковочный узел «Салюта-6». Леонид Кизим с Владимиром Соловьевым за восемь вылазок на палубу «Салюта-7» провели в открытом космосе больше тридцати двух часов. Шесть раз «ходили» только на ремонт двигательной установки, проделав массу слесарных и монтажных работ, порой просто непредвиденных, когда отворачивание какой-нибудь старательно законтренной землянами гайки занимало вместо десяти минут добрую пару витков. Это не так уж давно — двадцать седьмой год космической эры. Сам руководитель полета Валерий Рюмин на пару с Владимиром Ляховым чуть раньше, на двадцать третьем году, перерезал ножницами-бокорежами стальной тросик антенны радиотелескопа, которая никак не хотела расставаться со станцией. Это уже классика, вошедшая в учебники, а еще не стерлось, какого мужества требовало одно только РЕШЕНИЕ на невысказанные тогда операции.

Не знаю, может, теперь, опираясь на те решения, это пришло с большей уверенностью. А может, опять просто не было иного выхода. Но, как ни крути, пришлось ребятам через двое суток влезать в скафандры. Срок на подготовку от момента решения рекордно короткий. Сутки! Даже медики пожертвовали дополнительным днем медисследований — правда, здоровье «Таймыров» этого не потребовало, хватило имеющихся данных.

Экономить в космосе можно на многом, но только не на здоровье экипажа, не на его сне и отдыхе. Даже в самые тревожные дни и ночи их аккуратно укладывали спать на свои законные восемь часов — пусть даже с «перевернутыми» сутками, что здесь бывает нередко. А вот управленцы вряд ли спали и по четыре часа. Многие вообще не покидали стен ЦУПа. Об этом говорил весь их вымотанный вид, усталые глаза, осунувшиеся лица, когда субботним вечером, ровно через неделю после первой и через двое суток после второй попытки мы съезжались на третью.

Многое в такие минуты бросается в глаза — чего в обычных буднях, может, и не заметил бы. Заметно заиндевел ежик Рю-

мина — может, и сам собой, время-то идет, но ведь и такие события помогают. Снова боюсь подойти к научному руководителю рентгеновской обсерватории Сюняеву — его переживаний не пожелаешь никому.

Но что всегда подкупает в этих людях — держат себя в руках безупречно, в самой трудной обстановке не изменяют выдержку, юмор, внимание. Профессионалы, иного не скажешь.

Перебрасываются деловой информацией, сдобренной шуткой, и постороннему слуху не покажется, что это сборы туда, где метеоритишко массой в один грамм, миллиметра полтора в диаметре, летит тебе навстречу со скоростью до семидесяти километров в секунду. И по математическим расчетам в площадь, равную двум квадратным метрам, он попадает раз в восемьдесят лет. Но вот когда наступит этот «раз» — действительно через восемьдесят лет или сегодня? Лучше уж такие вопросы не задавать. Но они сами стучат в виски, по крайней мере нам, находящимся в полной безопасности на Земле. К тому же не так давно (двадцать шестой год космической эры) Ляхов и Александров слышали «поцелуй» такого странника в стекло «Салюта-7». Кинулись к иллюминатору — на стекле снаружи кратер, заметный невооруженным глазом. Воронка от попадания. Сфотографировали на память и для науки. Но стекло-то бронестойкое, а скафандр беззащитен. Впрочем, повторяю, это мои личные мысли. Да плюс столь неопределенное состояние комплекса, ни да, ни нет, вдруг что-то в этом загадочном стыке скovyрнется, и людям уже и возвращаться некуда из звездной бездны... В конце концов убеждаю себя, что все эти рассуждения дилетантские, и вверяюсь целиком и полностью уверенности специалистов, которые тем временем складывают в мешок самый разный инструмент — чтобы при надобности и резать, и рубить, и ковырять, и цеплять.

— Молоток положили? — напоминает опытный Владимир Соловьев.

— Да, — подтверждают сверху.

— Без молотка и лома нам никак нельзя, — напоминает «Маяк-2» свои монтажные дела.

11 апреля. 23 часа сорок одна минута летнего московского времени. Ровно девятнадцать минут до наступления Дня космонавтики, но об этом все начисто забыли. Пока. Из переходного отсека уже выпущен воздух, небольшое усилие, и открывается чуть прилипший к кольцу люк. Командир несколько необычно — из бокового стыковочного кольца круглой «головы» станции — выходит наружу и устанавливает дополнительный поручень, соорудив доморощенный трап. Мы представляем это зрительно благодаря испытателям Центра подготовки космонавтов, которые начали тот же путь под водой, при наведенных телекамерах. Осторожное, «замедленное», как в рапидных съемках, движение громоздких фигур вдоль борта...

23 часа 51 минута. Неожиданно звонкий голос Александра Лавейкина:

— Падает давление! У меня падает давление!

Давление отнюдь не медицинское, а воздуха внутри скафандра. Неужели дырка? Все цуповские залы немеют.

— Включи инжектор! — мгновенно реагирует Рюмин.

— Все равно падает! — К упавшему голосу бортинженера присоединяется противный зуд зуммера изнутри скафандра, от одного звука которого может стать дурно.

Но тут внимательный и хладнокровный Романенко по счастью замечает, что Саша нечаянно и незаметно для себя задел на коробке управления скафандром ручку сброса давления. Его специально понижают для выполнения тяжелой работы, чтобы доспехи были мягче. Значит, дырки нет. Но дух перевести надо.

Фу, пронесло.

— Вы кончайте нас тут пугать, — ворчит внизу Рюмин, впрочем, скорее успокаивая, чем осуждая экипаж. Там сейчас труднее, чем внизу, это все понимают.

— Не у тебя первого, так что действуй спокойно, — добавляет Соловьев, тоже видевший всякое и проработавший раз, помнится, почти весь выход в перегретом скафандре.

Кончен первый рабочий сеанс. «Таймыры» улетают, чтобы до следующей зоны добраться до среза кормы и осмотреть стык. Понятно напряжение, с которым Земля ждет их возвращения и доклада.

12 апреля. 00.43. Слышим наконец их медленные и глухие голоса — через систему дальней корабельной связи «Сапфир».

— Находимся на срезе агрегатного отсека, у стыковочного узла. Никакой конец проволоки туда не попал. Есть небольшой сдвиг стыковочного кольца вверх и в сторону, примерно на сантиметр.

Новая загадка. Если бы проволока — как легко бы стало сейчас на душе. Причина ясна. А тут еще искать и думать.

— Хорошо, мы сейчас посоветуемся здесь минуточку и дадим ответ. А вы присмотрите для себя свободные зоны движения, чтобы можно было спуститься и работать у стыковочного механизма.

Так посылают смельчаков в прорыв.

Снова толкучка у макета. Подозрение падает на продольные накладки жабо стыковочного узла. Одну из них могло скосырнуть каким-нибудь зацепом, и теперь она заклинивает ход. Это принимается как рабочая версия, и после почти мгновенного совещания у пульта связи Рюмин доводит план действий.

— Вы остаетесь на срезе, когда будем давать команду на выдвижение штанги. Сначала на 150 миллиметров, потом посмотрим, потом до конца. Посмотрите состояние накладок на жабо. Приготовьте отвертку, молоток, чтобы выпрямить, если зацепило.

Есть такая версия, один из вариантов. Кто из вас ближе к этому месту?

— Я стою, Валерий Викторович! — готов нырнуть в стык Лавейкин.

Никогда еще космонавты не находились снаружи на расходящихся объектах. Это не только ново, это неизвестно, а потому и небезопасно, как кажется мне. Снова злополучная штанга ползет назад. Не очень-то удобно, наверное, бортиженеру нависать над щелью и вглядываться в ее глубину. Мало ли что там может оказаться, и не очень-то различимое, и слишком сложное для опознания...

— Там лежит какой-то предмет! — вдруг вскрикивает он с чисто мальчишеской непосредственностью. — Здоровый мешок, похоже, белый...

— Да, лежит... — удостоверяет и Романенко, подобравшись поближе. — Я даже его потрогал рукой... Сорок на сорок сантиметров примерно...

Немая сцена. Уже не первая в эти стыковочные ночи. Мешок? Как в деревне...

— Или какой-то предмет, завернутый в тряпку, — решает быть точным Лавейкин.

— Он что, похож на тряпку? — допытывается Рюмин. — Ты можешь залезть, чтобы было безопасно? Сейчас выйдем на свет...

— Похож на тряпку, да, — соглашается «Таймыр-2». — Если раздвинете объекты еще больше, могу залезть. И мы сможем его достать.

Принимается одно из самых смелых, мне кажется, решений за историю космонавтики.

— Раздвигаем, отойди! — тут же командует Рюмин. — А на что этот мешок похож? Ну, мягкое, твердое в нем? Круглое, квадратное?

— Трудно сказать... — мнетя Лавейкин. — Похоже на мешок, но что там...

— Ты его береги потом, — переходит Рюмин на отеческие наставления. — Это будет тебе подарок к Дню космонавтики.

Значит, проблеск. Уже небольшая разрядка. В зале — осторожная надежда. Вся — на этих парней, которые несутся над планетой с первой космической, невидимо для нас выполняя что-то ювелирное, но в то же время предельно простое.

— Юра, ты можешь ко мне прийти потихоньку и достать его ломиком или рычагом? — переговариваются командир с бортиженером.

— Могу...

— Вы насчет рычагов поосторожней! — остерегает Земля голосом одного специалиста, отвечающего, видно, за целостность всяких стыковочных деталей. — Лучше попробуйте так, пошатайте.

— И руками поосторожней! — добавляет она же голосом дру-

гого, отвечающего, видимо, за безопасность рук и ног.— Перчатки берегите. Главное, не спешите!

Уже по крайней мере видно, что стыковочный узел в полном порядке. Кроме мешка, никаких отступлений от нормы.

— Слава богу! — вырывается у руководителя полета.— А не видно, на этом мешке ничего не написано?

— Нет...— честно пыхтит Саша.

— «С праздником» написано,— бурчит командир, снова покидая зону в разгар выковыривания нештатного груза.

Теперь снова ждать, чем кончится виток. В цуповских коридорах и холлах стихийно организуются дискуссионные группы. Самые предусмотрительные уже запаслись фотографиями монтажных операций, подтверждающими их непричастность к появлению загадочной «соринки» в глазу нашей космонавтики. Снова рождаются и умирают самодельные пока версии. Может, мешок с отходами не отошел от станции. Может, кусок обшивки или упаковки затесался куда не надо. Будут, конечно, комиссии, будут разборы, но пока одно ясно: можно, только осторожно, потихоньку начать поздравления с двенадцатым апреля. Да, уже час идет праздник. Хорош праздничек, не так ли? Зато первый в мировой истории экипаж встречает его не просто на орбите, а в открытом космосе! Это звучит. Но пока не совсем.

Третий рабочий сеанс. Глухая ночь, половина третьего.

— Закончили работу, узел очищен от постороннего предмета. Но порадовать вас ничем не можем: предмет порезали на части, он разлетелся, у нас ничего не осталось. Резали его ножом, пилили, рубили зубилом — сильно забило его и спрессовало, скрутило... Узел находится в отличном состоянии.

Что на это сказать? Заплакать или рассмеяться? Рюмин отвечает в свойственной ему философской манере:

— Ты в свое время рассматривал стыковочный узел спереди, а теперь сзади... Это редко с кем случается. Так что поздравляем с успешной работой и с праздником. Спасибо, мужики. Ну и желаем там в узле из инструментов ничего не оставлять.

Намек понят. Теперь они впервые в истории наблюдают снаружи стягивание двух огромных космических аппаратов. Под хор громкого счета штанга проходит роковую отметку 373 миллиметра и полностью входит в предназначенное ей гнездо. На экране с трехдневным разрывом загораются три последних зеленых глазка режима «Стыковка». Стык герметичен.

Подхожу к Рашиду Сюняеву. Примет теперь наконец поздравления? Принимает, но с большой опаской. «А лучше все-таки дождаться включения. А еще лучше результатов».

Ветераны, пожимая на прощанье руки, рассуждают, как шагнула вперед космонавтика. Еще не так давно какой-нибудь транспарантик, невпопад вспыхнувший или погасший, заставил бы отменить всю программу, бежать назад, приземлять экипаж. А теперь — как на крыше собственного дома: вышли, голыми руками, можно сказать, устранили дефект. Все в порядке, можно

лететь дальше. Хоть на Марс, хоть к черной дыре, которую скоро откроет нам «Квант».

В странное мы живем время. Очень странное. Монбланы сложнейшей безупречнейшей документации, километры телеметрии Супер-ЭВМ, управляющие головоломными процессами со скоростью миллион операций в секунду... И мешок, просто мешок, с деревенской непонятливостью затесавшийся в святая святых электронного будущего. Дядя, ты куда? Кто тебя надоумил?

Молчание. А может, мы просто очень еще молоды? Всего тридцать лет новой эры — космической. Тридцать. Что это по сравнению с тысячелетними эрами? Лететь нам еще и лететь...

...Год спустя зарубежная пресса уже пестрит ссылками на результаты, добытые «Квантом» из недр Вселенной. Его рентгеновские приемники первыми в мире (нашем, разумеется, земном) обнаружили рентгеновское излучение Сверхновой Большого Магелланова облака. Это был роковой для всех астрономов момент в августе 1987 года. Никогда еще за всю историю человечества они не были свидетелями того, как раздвигается «занавес» оболочки взорвавшейся звезды и начинает пропускать рентгеновские кванты. Правда, отправила она их в странствие по Вселенной 180 тысяч лет назад, так что для нас это настоящая машина времени, показывающая столь давнее прошлое. А что там сейчас? Это узнают уже наши потомки через те же 180 тысяч лет.

Еще одна сенсация — Новая из созвездия Лисички, открытая японским рентгеновским спутником «Гинга» в апреле 1988 года. Яркая рентгеновская вспышка на том месте, где для глаза и оптики ничего не тлеет... «Квант» зарегистрировал ее чуть позже, 15 мая, но зато какое зрелище открылось ему! Фейерверк! Если «Гинга» отметил мягкое излучение с температурой объекта порядка 20 миллионов градусов, то приемники «Кванта» обнаружили «жесткий» хвост, раскаленный до полутора миллиардов градусов. Кажется, такой печки земные астрономы еще не наблюдали. Может быть, эти акцессы дальней Вселенной кого-то не очень волнуют, а вот Рашид Сюняев не может сутками оторваться от графиков и картинок: «Ведь это, возможно, у нас на глазах «черная дыра» кушает очередную звездочку-жертву, и мы видим этот момент!» Поистине, «Кванту» везет.

**ПЕРЕСТРОЙКА:
ЭКОЛОГИЯ
ЭКОНОМИКА
НРАВСТВЕННОСТЬ**



ВОКРУГ ПОВОРОТА

Обзор дискуссии о переброске рек и защите природы

Мы живем в сложное и ответственное время. Эпоха научно-технической революции поставила перед нами задачи, от правильного решения которых зависят не только судьбы войны и мира, но и само существование земли и человечества, современной цивилизации. В ряду острейших и неотложных проблем — отношение к природе и ее богатствам: земле, водным источникам, всему живому... Природа не безгранична в своих возможностях, ее нельзя бездумно эксплуатировать, она требует к себе бережного подхода, а в нынешних условиях — и деятельной, бескомпромиссной защиты.

Как известно, советские писатели всегда поднимали свой голос в защиту природы. Вспомним страстные выступления Леонида Леонова, Сергея Залыгина, Олега Волкова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Валентина Распутина, Василия Белова, Чингиза Айтматова и многих других. Их смелая публицистика неизменно вызывала и сейчас вызывает большой резонанс. Вовлекая в обсуждение проблем экологии широкую общественность, крупных специалистов и деятелей науки, наши писатели без преувеличения проявили подлинное мужество и гражданскую озабоченность, когда решался вопрос о повороте на юг северных и сибирских рек. Сформированное при их активном участии общественное мнение во многом способствовало тому, что ЦК КПСС и Совет Министров СССР 14 августа 1986 года приняли постановление «О прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек». Это постановление было встречено трудящимися с большим удовлетворением.

Незадолго до его принятия редакция журнала «Наш современник», выполняя пожелания читателей, провела очередное заседание «круглого стола», где обмен мнениями начался с наболевшей темы — так называемого «проекта века», то есть переброски рек. В разговоре, носившем острополемический характер, приняли участие писатели и ученые — члены возглавляемой вице-президентом АН СССР академиком А. Л. Яншиным комиссии по проблемам мелиорации почв и переброске речного стока. Круг тем постепенно расширился, и обсуждение вылилось в откровенную дискуссию по актуальным вопросам перестройки, естественно включающим в себя обновление хозяйственного механизма и аспекты научно-технического прогресса, важные задачи в области разумного природопользования и ответственность ученых, специалистов, администраторов за принимаемые те или иные решения. Характерно, что в ходе заседания «круглого стола» лейтмотивом звучала мысль М. С. Горбачева: «В любой ситуации мы должны помнить предостережение Ленина: «Страшны иллюзии и самообманы, губительна боязнь истины».

Поиск истины в его нравственном преломлении придал разговору особую

тональность и доверительность. Приведем здесь в кратком изложении и пересказе лишь отдельные выступления участников, опубликованные в первом и втором номерах «Нашего современника» за 1987 год.

Сергей ЗАЛЫГИН,

писатель, лауреат Государственной премии СССР:

«Пришествие каждой новой эпохи всегда смущало человечество. И в самом деле в пришествии этом неизбежно было заложено множество противоречий, которые предстояло решить. Однако возможности и способы их решения оставались неясными и спорными для мыслителей, причем не только выдающихся. И общественное мнение сходилось на том, что «время покажет» и «сама жизнь подскажет», как дальше жить и что делать и как эти противоречия устранять.

Но прежде чем находились ответы и подсказки на «главные вопросы», наступала следующая эпоха, она тут же незамедлительно выдвигала свои собственные проблемы, в то время как не были решены проблемы предыдущих десятилетий. И таким образом, каждое поколение, освобождаясь от груза прошлого, всего того, что отжило свой век, все более и более отягощалось грузом будущего: каким-то оно будет и как-то мы сумеем его осуществить, да и вообще сумеем ли?

Нынче положение осложняется еще и тем, что неприемлем больше метод проб и ошибок, метод, при котором предпринимается та или иная крупная акция — техническая или научная, а потом уже делается попытка уяснить, что из этого получится. Это можно было делать при условии меньшей масштабности всякого рода начинаний, чем теперь. При современной технике и современных масштабах любая ошибка вполне может оказаться катастрофической и даже — катастрофически необратимой.

Уже в первые годы нашего социалистического существования даже от великих наших писателей можно было услышать о том, что вот, мол, вскоре мы решим проблемы международных и классовых столкновений, а тогда единственным нашим врагом останется... природа. С ней и будем бороться. И, вместо того чтобы искать с природой разумного союза, используя для этого все возможности, мы принялись природу покорять... Покорять и покорять. И отделять себя от нее, забывая о том, что мы — тоже часть природы, и, покоряя целое, мы неизбежно уродуем и ту ее часть, которая — мы сами, и более того — мы опять приходим к той же самой проблеме — быть или не быть? И это несмотря на то, что великий Вернадский — наш, а не чей-нибудь соотечественник, что именно он определил: если мы хотим жить и дальше, биосфера должна стать ноосферой, сферой разума.

Да, если еще недавно рассказ или повествование о природе были рассказом «биосферическим», рассказом отдохновения, когда на природе человек избавлялся от своих забот, отдыхал душой и телом, мыслью и чувством, набирался сил для дальнейшей жизни, то нынче природа требует от человека огромных ноосферических усилий для ее (и своего собственного) сохранения, она требует и ноосферического рассказа, а в этой перемене мест и ролей опять-таки повинна не она, а мы с вами.

Природа — предметна, и давайте же говорить теперь уже не о понятиях, а о предметах, тех самых, которые более всего необходимы для существования человека.

Давайте и сегодня остановим свое внимание на тех проблемах природопользования, которые особенно остро встали перед нами, например, на использовании водных ресурсов страны.

Одним из самых заметных событий общественной жизни 1986 года была дискуссия по проекту переброски части стока северных и сибирских рек — «проекту века», как называли его авторы и вдохновители: министр мелиорации и водного хозяйства СССР **Н. Ф. Васильев**, его первый заместитель **П. А. Поладзаде**, директор Института водных проблем, член-корреспондент АН СССР **Г. В. Воробьев**, главный инженер проекта **А. С. Березнер**, начальник Главнечерноземводстроя, заместитель министра мелиорации и водного хозяйства СССР, заместитель Председателя Совета Министров РСФСР **А. В. Алексанкин** и многие другие.

Не проходило, наверное, и недели, чтобы центральная печать не выступила — причем остро критически — по этой проблеме. При самом активном участии литераторов и журналистов из проекта Основных направлений был снят абзац о развертывании работ по переброске части стока северных рек на юг.

И наверное, будет самым правильным сделать нечто вроде обзора этих выступлений печати за последнее время.

Но прежде несколько общих замечаний. Водными ресурсами и их использованием занимается у нас ряд ведомств. Самое крупное из них — Министерство мелиорации и водного хозяйства: здесь, уже в самом названии, мелиорация искусственно соединена с водным хозяйством. Это самое крупное из строительных министерств. Его годовой бюджет составляет 8 миллиардов рублей. В его системе работают 2 миллиона человек. Так вот, из своих ежегодных восьми миллиардов на водные мелиорации тратится 96 процентов, а на все остальные 35—40 видов — лесных, химических, противозерозионных, культуртехнических, агрономических и прочих — 3—4 процента (200 миллионов рублей). Поскольку это министерство использует воды применительно к сельскохозяйственному земельному фонду, то и этот фонд тоже в значительной мере находится в его руках. Стоимость гектара орошения очень велика, причем проектировщики хотят и выводят эту стоимость, но только для порядка. Она никого ни к чему не обязывает, не имеет каких-либо предельных показателей. Сколько стоит оросить один гектар — тысячей рублей больше, тысячей меньше, — никого это не волнует. Чем дороже, тем даже лучше, — колхозу или совхозу это все равно, потому что деньги не их, а государственные, а Минводхозу чем дороже, тем лучше — тем скорее он выполнит план освоения средств.

Итак, вместо того, чтобы тратить 8 миллиардов рублей на улучшение всего нашего сельскохозяйственного земельного фонда равномерно, Минводхоз вкладывает их почти исключительно в те водные мелиорации, которые охватывают лишь 10 процентов этого фонда, — так ему выгодно. Из этих 10 процентов только одна треть дает плановые урожаи, воды же тратится на орошение в полтора-два раза больше оптимальных норм; из сопоставления этих двух показателей — плановой урожайности и затрат воды — можно сделать вывод, что коэффициент полезного использования водных ресурсов в сельском хозяйстве составит примерно 0,20.

При этом очень быстро деградируют остальные 90 процентов земельного фонда, которые не получают почти ни копейки на свое улучшение, и возникает реальная угроза того, что лет через 10—15 мы останемся без чернозема.

Такому положению дел — катастрофическому положению — способствует и отсутствие у нас цены на землю и воду.

О цене земли речь должна идти отдельно, это очень важный вопрос, чтобы говорить о нем лишь попутно; отсутствие же цены на воду влечет безудержное ее расточительство и приводит к экономической безграмотности технических проектов водного хозяйства.

Так, подаем ли мы воду на орошаемое поле по каналу длиной 3 км или 3000 км, цена ее одинакова: 00 руб. 00 коп. Отсюда у нас выгоден любой проект переброски вод с севера на юг, а если кому-то это покажется необходимым — то и в обратном направлении. Много земляных работ на строительстве каналов? Но это выгодно для Минводхоза. Чем больше, тем лучше!

Далее. Об эффективности орошения.

Мы ведь не знаем той доли урожая, которая получена за счет собственно орошения, поскольку урожай получается не только благодаря воде, но и благодаря удобрениям, уходу и обработке. Тем более что и удобрения, и техника на орошаемые земли даются в первую очередь.

В Средней Азии у нас процветает так называемое «инициативное» орошение. Что это значит? Это значит, что хозяйство, а то и частное лицо присоединяются к государственному каналу и поливают тот или иной участок земли того или иного размера. Вот эта инициатива — она же в какой-то мере и воровство воды — очень и очень поощряется. Она всех устраивает, потому что площади «инициативно» орошаемых земель в планах хозяйства точно не учитываются, зато урожаи, полученные с них, перечисляются на плановые поливные земли, и таким образом достигаются высокие показатели урожайности с гектара на этих плановых (и подотчетных) орошаемых полях. Все это мешает разумно регулировать вложения в мелиорацию столько-то — на простейшие мелиорации, столько-то — на водные, столько-то — на строительство новых систем, столько-то — на реконструкцию старых. Простейшие мелиорации не приносят Министерству водного хозяйства никаких доходов, и оно их игнорирует, отсюда и возникает эта диспропорция: 1:30 в пользу «пере» — перебросок, перераспределения, перекопок.

И утверждается, что альтернатив этим «пере» не только нет, но вроде бы даже и быть не может. Но альтернативы есть — это хотя бы проект простейших мелиораций, составленный республиканской организацией Росземпроекта, но дело-то вот в чем: эта республиканская контора — просто кролик против всемогущего Минводхоза, и серьезного слова ей в решении проблем мелиорации до сих пор не дано. Минводхоз утверждает, что $\frac{1}{10}$ мелиорированных земель дает нам $\frac{1}{3}$ всей продукции растениеводства, но при этом исчисление идет не в натуральных цифрах, а в рублях, и так как поливные культуры — хлопчатник, рис — очень дороги, то и получается подобный результат.

Кроме того, при самом приблизительном определении эффективности мелиораций надо учитывать не весь урожай, а только его увеличение за счет полива, это очевидно для всех, кроме Минводхоза, который учитывает весь урожай орошаемого клина. На самом же деле мелиорированные земли дают нам 10 процентов зерновых (не считая риса), 7 процентов сахарной свеклы и 1 процент подсолнечника. Теперь, если учесть, что на те средства, которые вкладываются в орошение одного гектара, можно подвергнуть простейшим мелиорациям 400—500 гектаров, причем безо всякого риска засоления и заболачивания, без огромных эксплуатационных затрат в будущем, если учесть столетний опыт Каменной

степи, где урожай в условиях лесных мелиораций в среднем такой же или иногда даже выше, чем на орошаемых землях той же зоны,— встает вопрос: чей проект разумнее — проект переброски рек, предложенный Министерством водного хозяйства, или проект простейших мелиораций Росземпроекта? Но это сопоставление, по существу, никогда всерьез не прорабатывалось.

Мало того, что Министерство водного хозяйства не учитывает реальную стоимость орошения, до последних дней оно само себе выбирало объекты строительства, само проектировало, само строило и само себе сдавало построенные объекты. С организацией Агропрома положение несколько изменилось, но пока лишь формально, а не на деле. Оно же, министерство, является еще и государственным водным контролером. Та же проблема охраны Байкала — это, по существу, его проблема, но министерство умывает руки в этом вопросе, и мы никогда не слышали его слова в защиту Байкала, которое здесь должно быть обязательно сказано.

О том, как у нас используются в этих условиях водные ресурсы. Я буду говорить, обращаясь к сообщениям центральной печати. У меня масса газетных вырезок с мест, из районов орошаемого земледелия, мне их присылают без конца, но я буду пользоваться только теми, которые у всех на виду.

Вот они.

«Комсомольская правда». «В долгу у земли». Беседа с членом-корреспондентом АН СССР В. А. Ковдой.

Ссылки на плохие природные условия у нас несостоятельны. Это неверно. Русские поля — родина эталонного чернозема. У нас из 300 миллионов гектаров мирового чернозема — 190 миллионов, или 70 процентов. Тогда почему же вложение средств не дает желаемой отдачи?

Потому что мы неправильно используем потенциальные возможности нашей земли. В. В. Докучаев утверждал, что чернозем, на котором Русь развивалась, этот богатырь может однажды надорваться. И вот он уже надорвался — плодородие его упало наполовину. Десятилетиями мы вкладываем в строительство оросительных и осушительных каналов огромные средства, напрасно ожидая обещанных урожаев. Низкая агрикультура, примененная при орошении, обходится нам очень дорого. И речь не только о деньгах, зарытых на строительстве каналов,— разрушаются и сами черноземы.

Далее, еще одна статья — в «Неделе» — «Чем дышит земля».

«Планета ежегодно теряет 8 миллионов гектаров продуктивной земли (у нас — приблизительно 100 тысяч гектаров в год). Нужно иметь службу учета и оценки земель. Две тысячи мелиорированных земель не дают проектной урожайности.

Каракумский канал: использовано 225 кубических километров воды за четверть века, почти годовой сток Волги. А недобор хлопчатника составляет 400 тысяч тонн. Гибнут пастбища, заболачиваются пустыни.

Украинские черноземы надумали орошать водами Дуная. Дунай — сточная канава Европы. (Не хватает нам своей грязи, доставляем за большие деньги европейскую.) По пути загубили лечебный Сасыкский лиман. Полная деградация 20 тысяч гектаров черноземов.

В Арало-Каспийском бассейне сбрасывается в реки 70 кубокилометров дренажных вод, а ведь они все засолены. Опасности подвергается вся среда нашего обитания.

У нас исчезает пресная вода. Нет уже пресной воды в том понимании, как это было 30—40 лет назад, ее минерализация повысилась во много раз. Поливные черноземы могут вскоре погибнуть. До сих пор не созданы образцово-показательные оросительные системы».

«Известия». 6 декабря 1985 г. «Зачем пустыне болота?» «Странно было видеть среди сыпучих, казалось, совершенно безводных песков такие обширные заросли. Еще труднее поверить, что несколько лет назад здесь шумели фруктовые сады, не жились сочные туркменские дыни, наливались солнцем виноградные гроздья. Это — «грунтовка» — подъем соленых вод в результате неумеренного орошения».

Строители («Главкаракумстрой») отрапортовали в свое время о досрочной сдаче спланированных земель и прокладке оросителей, подписали акты и ушли. Дренаж не был заложен в проекты. В районе (Гяурском) раньше орошаемый гектар давал продукции на 2 — 2,5 тысячи рублей, а теперь редко где на 1,5. Деревья засыхают от... воды. И где? В пустыне.

Стратегию такого расточительного природопользования пытаются оправдать: надо торопиться с подачей воды все дальше и дальше, а заниматься землями, на которые она подана, некогда. И освоенные земли доведены до критического состояния.

«Правда». 15 декабря 1985 г. «О жажде и самотеке»: в результате орошения «полтора ста скважин с насосами пришлось установить для защиты Ашхабада от подтопления грунтовыми водами».

«Правда» — мнение ученого А. Г. Бабаева — президента Академии наук Туркменской Республики.

Кара-Богаз — бесценный дар природы. В марте 1980 года его отсекали от Каспия с целью остановить обмеление Каспия, но вода в Каспии уже 7 лет как прибывает. И если даже учесть повышение уровня в результате изоляции Кара-Богаза, то оно составляет всего 12 мм. Так что никакого значения отсечение Кара-Богаза никогда и не имело.

Ученые забили тревогу, боролись 3 года, чтобы снова заполнить Кара-Богаз водой. В Министерстве водного хозяйства им твердо сказали, что нет, вода из Каспия обратно не пойдет. «Союзгипроводхоз» заявил: «Перекрытие глухой дамбой было своевременным и правильным». Все-таки в 1984 году трубы в дамбе были заложены, вода снова стала поступать в Кара-Богаз. *Но виновных так до сих пор и не обнаружено.* А в Кара-Богазе произошли необратимые отрицательные изменения. Существенно изменился климат. Убытки объединения «Кара-Богазсульфат» составили 120 миллионов рублей.

Печать многократно спрашивала: кто виноват? Ответа по-прежнему нет! *Все та же порочная круговая порука действует безотказно.*

Еще сообщение: уровень в Каспии повысился на 1 метр 14 см, а секретарь отделения гидротехники и мелиорации ВАСХНИЛ Б. Шумаков пишет, что уровень моря из года в год понижается.

«Советская Россия».

Мелиоративное «наступление» в Саратовской области ведут полтора десятка крупных строительно-монтажных трестов, более 30 тысяч рабочих, инженеров, служащих. Борьба за премии, высокая зарплата, громкие слова. За минувшую пятилетку в Саратовской области была орошена 131 тысяча гектаров.

План Волгоградской области на пятнадцатилетие — 1 миллион гектаров.

Чем чаще мы слышали такие цифры, тем сильнее росло опасение, а не является ли это гигантоманией? А что на них растет, на этих орошаемых гектарах? Растет камыш. Системы обслуживать некому. Нет людей. Все это результат погони за валовым показателем в выполнении плана строительства новых систем.

Сданы оросительные системы, на которых до конца не построены оросительные каналы. На орошаемых угодьях урожай — 4,5 центнера. У мелиораторов уверенность в безнаказанности: ничего, мол, все сойдет!

С речками и прудами дело обстоит так.

«Советская Россия». Автор Кирьянов, работник Минводхоза, начальник Азово-Черноморского бассейнового управления по регулированию, использованию и охране вод.

В водоемах за 30 — 35 лет вода настолько засолена, что пользоваться ею для орошения, безусловно, нельзя. В бассейне Кубани создано 1480 водоемов, но в хозяйственном использовании находится 18 процентов. Остальные воды напрасно испаряются, средняя глубина прудов — 1,2 м, а испаряют они слой в 1 метр. В воздух уходит в 10 раз больше, чем приносится в Азовское море всеми речушками. Подтоплены огромные территории сельскохозяйственных угодий и сельскохозяйственных пунктов.

Так же, как и водой, Минводхоз распоряжается денежными средствами. «Разговор с финансовым инспектором». Статья в «Известиях» «Средства можно не зарабатывать, а выпросить».

В Минводхозе несколько лет не выполняли план по взносу собственных средств на финансирование капитальных вложений. В 1984 году недодано 466 миллионов рублей.

За 1985 год — 474 миллиона. Министерству водного хозяйства нечем рассчитываться с поставщиками, с банком, задолженность превысила миллиард рублей.

И что же? Первый заместитель министра мелиорации Полад-заде запросил еще 270 миллионов рублей на погашение задолженности.

Понятно, когда нужно выделять средства на районы, пострадавшие от землетрясения. Но на оплату долгов и приемов?

Вот вам и эффективность мелиораций, о которой так остро ставил вопрос товарищ Горбачев в Целинограде 7 сентября 1985 года!

В одном из последних номеров «Правды» — статья на ту же тему, министр финансов спрашивает: «Видели ли вы плачущих министров?» Как будто не видели. Оказывается, есть плачущие министры, в том числе министр водного хозяйства, который приходит и выпрашивает миллиард рублей — приблизительно такую сумму. Его просят обосновать этот запрос. Он отвечает такими доводами: «постановим», «увеличим», «урегулируем», «ускорим» и так далее. И министр финансов в удивлении, потому что нет никаких доказательств необходимости испрашиваемой суммы.

Одно с другим связано: как используется вода, так и денежные средства, КПД для того и другого одинаков.

И получается такая ситуация: предположим, в семье растет ребенок. Ему дают один рубль на расходы. Он 50 копеек разбрасывает, покупает что-то ненужное. Тогда ему дают еще рубль. И этого рубля ему не хватает. Ему дают два рубля, чтобы он учился их расходовать. Вот так, образно говоря, обстоит дело с Министерством водного хозяйства — оно десятилетиями учится пользо-

ваться и водой, и деньгами, но никак не научится этому. Зато научилось запрашивать и то и другое в десятках кубокилометров и в миллиардах рублей.

Однако же, наверное, пора вернуться к задачам собственно литературным. Я не имел в виду сделать общий обзор состояния нашей литературы и всех тем публикаций в журналах, которые в большей или меньшей степени отвечают тем сегодняшнего разговора. Во-первых, потому что мое слово первое и хотелось бы услышать сначала мнение моих товарищей. Во-вторых, мне кажется, что, собственно, художественных произведений на эту тему у нас вообще не очень-то много, и только журнал «Наш современник» имеет совершенно определенную позицию — ту позицию, о которой можно будет судить и спустя годы, поскольку она не случайна, она последовательна.

Во главу же угла той литературы, которая говорит о современных отношениях человека с природой, я готов поставить «Царь-рыбу» Виктора Астафьева. («Наш современник», 4—6, 1976 г.) Вот где автор дает нам пример того, как художник может представить Природу в качестве не только картины, пейзажа, но и процесса, и действующего лица, как может он соединить в нечто неразрывное целое процесс жизни природы и жизни человека.

Мне кажется, что наша критика, которая в общем-то много писала об этом произведении и высоко его оценила, тем не менее не уловила этого нового качества литературы, проявившегося здесь очень сильно.

Что касается публицистики по поводу природообразующих проектов, так здесь нам, писателям, специалисты говорят: вы вмешиваетесь не в свое дело! Толком ничего не знаете, а лезете!

Во-первых, давайте разберемся, кто во что вмешивается. Вот я написал книгу. Любой человек ее может читать или не читать — это его дело. Навязываться к нему не могу.

У нас уже затоплено 2600 сел и 165 городов. Площадь под существующими и проектируемыми водохранилищами по суммарным размерам приближается к площадям такого государства, как Франция,— что это? Невмешательство в жизнь всех этих сел и городов?

Кроме того, наш опыт показывает, что когда самая широкая общественность подает свой голос, права оказывается она, а не узкие специалисты. Так было с Нижней Обью, так было с Байкалом...

Да, очень любопытно было бы обнаружить хоть одну сколько-нибудь заметную статью деятелей водного хозяйства в защиту того же Байкала. Но не слышал о таких. А вот о том, что общественность лезла и лезет не в свое дело, защищая Байкал, об этом слышал и слышу все время. Кстати, комиссия по проблемам Байкала давно создана, но она до сих пор не собиралась. Кто опять приложил тут руку? Академик **Н. М. Жаворонков**, слово которого сыграло решающую роль при утверждении проекта ЦБК на Байкале, так до сих пор ни разу не выступил перед общественностью, не обосновал свою точку зрения, не разъяснил ее. Значит — полная и моральная, и материальная безответственность. Она продолжается и на Кара-Богазе, и на Каракумском канале, и в Саратовской области, и на Кубани — везде и всюду.

Это мы умеем — оберегать спокойствие ведомственных интересов и честь мундиров.

И еще нам говорят, что в технические проблемы мы вносим эмоциональность, которой тут не место.

Это последнее утверждение — принципиальное, важное, в нем надо

разобраться. Человек сам по себе не лишен чувств, тогда почему же они исключаются из проблем его сегодняшнего и будущего существования? Почему наше существование должно решаться с точки зрения тех, кто лишен чувств? Тех, кому эмоции представляются делом сугубо личным и стеснительным? Но воспитанная эмоция — это ведь прежде всего то чувство меры в любой деятельности человека и даже в его мышлении, которое так необходимо в наше время.

Из эмоций возникает нравственность и этика, а этика, в недалеком прошлом бывшая не более, чем этикетом, это то, что более всего необходимо современному миру во всех его проявлениях и проблемах. Нам нужна этика техники, этика политики, этика общественного поведения, этика международных отношений и, что нужно подчеркнуть здесь особенно, этика экологии.

Когда и как мы потеряли способность реальной оценки положения дел в водном (а значит, и в земельном) хозяйстве? Трудно сказать, но факт остается фактом — потеряли. Тем более мы попросту не только не умеем, но и не хотим учитывать последствия природообразующих проектов, а крупные водохозяйственные проекты — они ведь все природообразующие, все — рискованные, все — с необратимыми последствиями.

Если уж земли в результате водных мелиораций не улучшены, значит, они испорчены, середины здесь нет, а если испорчены, то на очень долгое время, а то и навсегда.

В технику и в природопользование как можно скорее должен быть принесен доказательный реализм и этика.

Этика должна стать — и медленно становится — наукой столь же обязательной, как математика или геология. Этика должна быть связана со всеми нами и покоиться на своей безусловной необходимости. Не будет ее — будет одна только система компьютеров, которая в самом недалеком будущем, может быть, еще в бытность нашего поколения, исчислит войну как единственный результат всех результатов нашего существования.

В течение веков этика культивировалась и сохранялась в умах людей произведениями искусства, может быть, даже литературой прежде всего. Она была принадлежностью людей искусства и частным делом каждого члена общества, при этом едва ли не каждый откладывал ее на потом, на некое неопределенное, но светлое будущее, когда сама собой займет свое место в сознании человека.

Однако история рассудила иначе — если мы предполагали, что сначала наступит это искомое и такое желанное светлое будущее, а потом в нем расцветет этика, то в действительности оказалось, что вообще не будет ни только светлого, но какого бы то ни было будущего, если этика не станет реальной и активно действующей силой... И я уверен в том, что если сегодня кто-то еще без стеснения утверждает, что гуманитарии не должны вмешиваться в технические проблемы, тем более в проблемы, так или иначе связанные с экологией, то это не что иное, как дремучая невежественность, которая отдает — не знаю даже, чем отдает, — кажется, средневековьем.

В то же время гуманитарии совершенно не вправе ждать, что наука придет к ним с поклоном и скажет: «Ах, дорогие мои и ненаглядные! Ну что же я буду теперь без вас делать, спасите и помогите!»

Я совершенно уверен в том, что, собираясь в Ленинград на секретариат Союза писателей РСФСР, который ставил на обсуждение проблему столько же литературную, сколько и природоведческую, большинство из нас не заглянули

в книги, ну, например, того же Вернадского, учение которого о том, что человек — это вовсе не надстройка над природой, а ее часть, это учение, из которого, мне кажется, должны исходить современная экология и литература, если они ставят своей целью вписаться в природу.

Ощущение того факта, что человек и окружающая его природа суть одни и те же химические элементы, что он и она — это единый процесс существования, нигде и ни в чем неповторимый, что «быть или не быть?» — вопрос, который нынче в равной мере относится и к нам, и к ней, — ощущение и понимание всего этого только и может этот вопрос решать.

Других средств его решения у нас нет, да, вероятно, и не может быть.

И если в своем неудержимо бурном развитии наука превратила в нашем сознании землю в почвоведение и геологию, воздух в метеорологию, а воды в гидрологию, то теперь она же обязана снова сблизить нас с природой в ее нераздельно-целостном состоянии, должна научить нас называть вещи своими собственными именами и, если на то пошло, создать новое, современное и социально и научно обоснованное язычество, то есть создать союз человека с природой.

Я не хотел бы и дальше развивать эту мысль, она достаточно очевидна, но все-таки я решусь привести еще один пример, может быть, и спорный, может быть, и не совсем внятный, но почему-то занимающий меня уже не первый день.

Вот мы говорим о том, что важнейшая, если так можно выразиться, технологическая проблема искусства и литературы — это соответствие между формой и содержанием произведения искусства.

Найдите гармонию между тем и другим, между смыслом произведения и той формой, в которой данный смысл может быть выражен наиболее полно, красиво и лаконично, и это будет значить, что произведение искусства состоялось, что оно вступило в жизнь как необходимый предмет этой жизни.

Но вот в чем дело — почему эту задачу мы до сих пор считаем присущей только искусству, ему одному, а больше ничему другому? А разве во всей природе, во всей нашей личной и общественной жизни не так же?

Существует, положим, задача построить такую-то машину или создать некую службу быта или систему образования — все это смысл, все это не что иное как содержание, но теперь ведь надо найти соответствующую этому содержанию форму его воплощения, форму техническую, технологическую, производственную, форму организационную, в виде тех или иных учреждений, руководящих и исполнительных.

В окружающей нас природе такой задачи нет, в ней каждый предмет — это гармония между содержанием и формой его воплощения, содержание дерева, или травинки, или животного полностью воплощено в его форме, разве только многовековая эволюция и приспособляемость может оказывать влияние на формы и отдельные части и органы этих существ, но для человека поиск форм его существования всегда является самой злободневной задачей этого существования».

Н. Ф. ГЛАЗОВСКИЙ,

доктор географических наук, заведующий отделом проблемной лаборатории эрозии почв и русловых процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, член научного совета Академии наук СССР по проблемам почвоведения и мелиорации почв,

заместитель председателя подкомиссии ГКНТ по нормированию водопользования в сельском хозяйстве:

«Многие важные источники ошибок в природопользовании уже обсуждались моими коллегами. Они указывали на отсутствие обоснованных методов экономической оценки природных ресурсов, несовершенство хозяйственного механизма, низкую квалификацию авторов проектов и дезинформацию ими директивных органов, принимающих решения. Но есть и другие причины ошибок, в которых необходимо основательно разобраться.

Одну из важнейших причин бесхозяйственного использования природных ресурсов следует искать в самом механизме создания крупных проектов природопользования, основанном на отраслевом подходе. Как рождается сегодня тот или иной проект?

Этап первый. Ведомство, исходя из необходимости увеличения объемов собственного производства, выдвигает проект, который в наибольшей степени позволяет это производство расширить. Так, например, Минводхоз СССР заинтересован более всего в расширении водно-хозяйственного строительства, поэтому он берется в первую очередь за крупные — по объему строительных работ — проекты, в том числе проекты территориального перераспределения стока наших рек. Лишь позднее ведомство начинает подыскивать для этой идеи цель — подходящее практическое применение, которое могло бы служить обоснованием необходимости осуществления данного проекта. И, как правило, эти цели оказываются весьма неопределенными и не отвечающими коренным интересам развития народного хозяйства. Другими словами, *наши ведомства мало интересуют вопрос о том, не окажется ли убыточным для народного хозяйства выдвигаемый ими проект.*

Этап второй. Предложив идею и лишь затем сформулировав ее цель, инициаторы проекта начинают пробивать его в ГКНТ СССР в качестве государственного задания для научно-исследовательских и проектных институтов. И здесь часто публике демонстрируется следующий фокус, который в значительной степени позволяет предопределить итоги исследований по этому проекту: вместо задания на разработку альтернативных вариантов достижения какой-либо конечной народнохозяйственной цели — увеличения производства продуктов питания, обеспечения населения товарами и т. д. — выдается задание на прогноз изменения природных условий при осуществлении данного проекта и на разработку мероприятий по предотвращению его отрицательных последствий. Споры нет: прогноз изменения среды и предотвращения негативных последствий — вопросы важные и они должны рассматриваться в любом проекте. Только вначале должна быть обоснована необходимость именно этого проекта.

Однако положение пока еще таково, что выполняемые в современных проектах на стадии ТЭО (технико-экономического обоснования) расчеты по своей сути никак не обосновывают необходимость данного проекта, поскольку при этом рассматривается обычно лишь два-три альтернативных варианта достижения конечной цели из десятков возможных. Бывает и так, что проектанты в качестве альтернативного выбирают заведомо неприемлемый вариант, в сопоставлении с которым предлагаемый проект оказывается более оптимальным, что и выдвигается как достаточное основание для принятия именно этого проекта. Так, при обосновании необходимости переброски части стока сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан проектанты говорят о возможном

использовании избыточных трудовых ресурсов этого региона на новых орошаемых землях. При этом в качестве альтернативы данному варианту они рассматривают заведомо негодный и вредный — по экономическим, социальным, этическим и природным соображениям — вариант переселения части населения Средней Азии и Казахстана в другие районы, к примеру, на Дальний Восток. Вместе с тем не рассматриваются такие вполне и во всех отношениях приемлемые, реалистические варианты, как создание трудоемких, но не водоёмких производств, широкое развертывание работ по выполнению комплекса мер, обеспечивающих более рациональное использование земельных и водных ресурсов, и т. д.

Такой *демагогический прием* не только не позволяет объективно оценить различные пути и варианты решения важной народнохозяйственной задачи, но и *дезинформирует* подчас не только местные власти, а также и население. Так уже на стадии рождения идеи проекта и ее утверждения происходит подмена общегосударственной цели целями узковедомственными.

Этап третий. Научные исследования и изыскания. *Недобросовестные проектировщики стремятся прежде всего найти сговорчивых, уступчивых субподрядчиков*, о которых заранее известно, что они и не дадут отчетов, противоречащих идее проекта. Как поет в известной сказке Кот в сапогах, пробегая мимо козлов: «Король задаст вам вопрос, а вы должны дать ему правильный ответ». Такими субподрядчиками и оказываются в первую очередь научные организации своего же ведомства. Но не только своего. В исследованиях по территориальному перераспределению стока рек помимо организаций Минводхоза СССР приняли участие институты Академии наук СССР и многих других уважаемых ведомств. И не только приняли участие, что можно было бы объяснить естественным, «законным» интересом к новым научным проблемам, но и в значительной своей части стыдливо умолчали о многих несуразницах проекта. Возникает вопрос: почему умолчали? По двум простым причинам. Выдавая негодные заказчику результаты, институт рискует в дальнейшем потерять выгодную для него, якобы «государственную» тему, участие в которой дает ему возможность хорошо отчитаться по графе «внедрение результатов исследований». А не отчитаешься — получишь головомойку. Кроме того, с институтом в дальнейшем не будет заключен хоздоговор, он лишится ощутимых средств на приобретение нового оборудования и приборов, на проведение экспедиций, а сотрудники института потеряют значительную часть премий. Поэтому не очень принципиальный директор института закрывает глаза на выявленные его же сотрудниками непроработанные стороны проекта, а иногда и на то, что результаты исследований фактически говорят о нецелесообразности его осуществления. И вот в результате всего этого в головную проектную организацию поступает приглашенный, обтекаемый «научный» отчет, напоминающий дипломатический меморандум.

Справедливости ради следует отметить, что не все поступают подобным образом. К счастью, многие институты присылают объективные отчеты, содержащие критические замечания, а часто и общие выводы, идущие вразрез с идеей генеральных проектантов. Однако у последних есть на вооружении два обкатанных годами способа избежать такой напасти. Во-первых, можно тут же перепоручить исследование спорной проблемы более сговорчивой организации и в дальнейшем пользоваться только ее отчетами. Во-вторых, головная организация может просто не дать в заключительном сводном отчете выводов исследований, которые идут вразрез с идеей проекта или очень уж акцентируют

внимание на его недоработанности. (Я не говорю здесь об объективных трудностях проведения природно-экологических исследований — об этом речь ниже.)

Наконец исследования закончены, сформирован заключительный отчет, и начинается этап четвертый: согласование и «проталкивание» проекта. К сожалению, именно на этом этапе, который должен был бы стать непреодолимым препятствием для халтуры, часто происходит легализация проекта на государственном уровне. Я не буду говорить здесь о тех причинах этого явления, которые связаны с заведомым нарушением юридических норм. При должном контроле это поправимо. Сложнее устранить другие причины. Так, каждый крупный проект проходит государственную экспертизу Госплана СССР или республики, а часто — того и другого. Десятки экспертов изучают проект. Казалось бы, через такой ОТК могут пройти только проекты, имеющие действительно научное обоснование. Однако часто получается не так. Во-первых, подбор экспертов бывает тенденциозен, поскольку на этот подбор всеми правдами и неправдами старается влиять то ведомство, чей проект экспертируется. Что же касается проекта переброски части стока северных рек в бассейн Волги, то сам директор головного научно-исследовательского института по этой проблеме являлся председателем государственной экспертной комиссии, экспертировавшей этот проект!

Вредит делу и многоэтапность составления сводных экспертных заключений, в процессе которого значительная часть критических замечаний может быть отсеяна проектантами. Эта многоэтапность приводит к тому, что большинство экспертов — специалистов по данной проблеме допускаются к экспертизе только на ее начальной стадии. А на решающем этапе обсуждения проекта их мнением экспертная комиссия уже не интересуется.

Известно, что о предстоящей защите докторской диссертации необходимо известить за несколько месяцев до нее всю научную (и не только научную) общественность (через Бюллетень ВАКа), разослать не позднее чем за месяц до защиты в 150 организаций автореферат диссертации, получить на него многочисленные отзывы крупных специалистов и, наконец, публично защищать основные положения диссертации. А вот при прохождении через ГЭК — государственную экспертную комиссию Госплана СССР — многомиллиардного проекта, изменяющего природные условия на огромной территории и затрагивающего самые важные стороны экономической и социальной жизни всей страны, судьбу его решают... 40 — 50 человек, причем специалистами по многим важнейшим проблемам, затрагиваемым проектом, являются лишь несколько экспертов! Разве не удивителен этот факт? Ученые же, не связанные с проектом хозяйственными работами и потому способные дать ему наиболее объективную оценку, часто узнают об экспертизе проекта случайно.

Другими словами, установленный порядок — точнее, беспорядок — таков, что *«пробить» глобальный по своим показателям и последствиям проект оказывается у нас намного проще, чем защитить кандидатскую или докторскую диссертацию.* Что и произошло с проектом «Территориальное перераспределение водных ресурсов рек европейской части СССР» и защитой докторской диссертации на ту же тему: соискатель, один из руководителей проекта, вынужден был снять работу с защиты уже на стадии ответов на вопросы аудитории, потому что десятки авторитетнейших ученых, не имевших возможности выступить в роли экспертов проекта, приехали на защиту и задали соискателю ряд вопросов, на которые он так и не смог дать вразумительного ответа.

Далее. Согласно положению, проекты должны быть согласованы с местными властями. И вот их позиция во многих случаях кажется непонятной, поскольку нередко они одобряют проект, наносящий значительный ущерб их районам. Но непонятна она только на первый взгляд. *Причина этой уступчивости кроется в системе финансирования:* местные власти строят дороги, школы, жилье в значительной степени за счет средств, выделяемых на крупные проекты, затрагивающие территорию этих районов. Поэтому они часто и одобряют много-миллиардные проекты — в расчете на то, что *некоторые крохи перепадут и их областям.*

Таков действующий сегодня механизм рождения, оценки и принятия проектов, открывающий «зеленую улицу» явно убыточным и разорительным для народного хозяйства, антиэкологическим, технократическим «идеям века». Ясно, что этот механизм должен быть изменен. И вряд ли один человек сразу может предложить наиболее разумную систему создания и оценки проектов. Но уже сейчас можно предложить следующее.

Первое. Думается, что формулировка задания ГКНТ на проведение исследований должна: а) указывать на их конечную народнохозяйственную цель; б) содержать требования по исчерпывающей оценке всех возможных альтернативных путей достижения этой цели. Соответственно экспертиза Госплана должна отклонять проекты, для которых не рассмотрены все альтернативы.

Второе. Финансирование исследований Госпланом не должно проводиться через ведомственную головную организацию. Его целесообразно проводить через все ведомства, которых касается данный проект, или же непосредственно финансировать организации и учреждения, принимающие участие в исследованиях. Таким образом было бы ликвидировано финансовое давление заинтересованного ведомства на научные исследования и изыскания.

Третье. Возможность официального участия в исследованиях должна предоставляться всем научным учреждениям соответствующего профиля. Главная организация в сводном заключительном отчете должна специально излагать все доводы против идеи проекта и давать из отчетов организаций-соисполнителей все материалы, указывающие на недоработанность тех или иных сторон проекта.

Четвертое. Должна быть пересмотрена система государственного экспертирования крупных проектов. Во главе экспертизы не может стоять человек, руководивший разработкой данного проекта. Даже как-то неудобно говорить об этой очевидной вещи, но вот приходится. Экспертиза несекретных проектов должна быть гласной. Необходимо предоставить, причем не только специалистам, но и всем гражданам возможность открытого публичного обсуждения проектов, особенно в печати. Это не только в определенной степени преградит путь негодным проектам, но также, что, по-моему, еще более важно, повысит гражданское самосознание и гражданскую ответственность человека. Итак, резюмирую: предлагать решение той или иной проблемы, разрабатывать тот или иной проект должны специалисты, обсуждать — весь народ, принимать решение — компетентные руководители».

Н. Г. МИНАШИНА,

доктор сельскохозяйственных наук, член научного совета по проблемам почвоведения и мелиорации АН СССР, вице-председатель комиссии по мелиорации Международного общества почвоведов:

«Целесообразность дальнейшего развития мелиорации не вызывает сомнения, она жизненно необходима. Но мелиорацией стали называть в основном строительство крупных гидротехнических сооружений: плотин, водохранилищ, магистральных каналов, мощных насосных станций и т. д. Между тем гидротехническое строительство — это не мелиорация, оно лишь может быть предпосылкой для дальнейшего развития мелиорации, если правильно осуществлено. В противном случае оно приносит труднопоправимый вред, что зачастую и наблюдается в настоящее время. Вот как об этом пишет президент ВАСХНИЛ А. А. Никонов: «...на значительных площадях происходит вторичное засоление и заболачивание почв, разрушение их структуры и микрофлоры. Велики потери воды, но не менее велик ущерб, наносимый природе. Его восполнение иногда невозможно» («Коммунист», 1986, № 9, с. 37).

Нельзя допускать, чтобы на практике дискредитировалась сама идея.

Наш великий почвовед В. В. Докучаев почву называл отражением природы, фокусом всех условий, зеркалом ландшафта. Ухудшение почв — показатель общего ухудшения экологических условий. Поэтому при первом же появлении признаков ухудшения почв надо принимать срочные меры.

«Мелиорация» — улучшение. Но, как известно, в природе ничего нет лишнего, все уравновешено с условиями, ничто бесследно не исчезает, и ничто ниоткуда не появляется. Если мы что-то улучшаем за счет привлечения дополнительных ресурсов в одном месте, то что-то ухудшается за счет отъема ресурсов в другом месте. Это надо отчетливо осознавать и заранее рассчитывать. Соразмерять, что в результате мелиорации будет получено, а что потеряно.

Наши мелиораторы обещали нам одни прибыли и совсем умалчивали о том, каковы будут потери. А ведь местами потери оказались такими, что они не дали возможности даже достичь стабилизации и повышения продуктивности сельского хозяйства. В самом деле, за последние 20 лет в мелиоративное строительство вложено 120 миллиардов рублей, увеличилось применение удобрений, внедрены более урожайные сорта культур, возросла техническая вооруженность сельскохозяйственных работ, а роста сельскохозяйственной продукции за много лет нет на половине мелиорированных площадей в РСФСР, на Украине, в Белоруссии. В ряде областей, как раз в тех, где наиболее развивались мелиорации (Ростовская, Волгоградская, Саратовская), наблюдается уменьшение производства сельскохозяйственной продукции. Очевидно, ответственные за мелиорацию работники не отдают себе отчета о масштабах воздействия «мелиораций» на природные условия.

С. Н. ЧЕРНЫШЕВ,

доктор геолого-минералогических наук, профессор, член экспертной подкомиссии Госплана РСФСР по проекту перераспределения стока северных рек:

«Одна из важнейших задач науки — прогнозирование природных процессов окружающей нас среды. А так как динамика «поведения» многих объектов природы сложна и непредсказуема, то надежность прогнозов нередко невысока, что, конечно, создает немало трудностей для долгосрочного государственного планирования. Даже при самом добросовестнейшем отношении к делу, опоре на самую совершенную методику дать точный прогноз какого-либо явления природы удастся не всегда.

В тех же случаях, когда результаты прогноза ущемляют узкоэгоистические интересы того или другого ведомства, специалисты — в угоду последнему —

используют подчас наименее совершенные, а то и вовсе примитивные модели и методики — дабы подогнать результаты прогноза под ведомственный интерес, согласовать их с ведомственной «выгодой». Принятие ответственных решений о строительстве крупных объектов без учета этого обстоятельства наносит значительный ущерб природе и экономике страны. Самый яркий пример тому представляли проектирование и разворот работ по переброске стока северных рек в Волгу и Дуная в Днепр, основанные на прогнозах, которые делались по ошибочной методике. Так, на канале Дунай — Днепр «ошибка» в прогнозе процесса рассоления озера Сасык привела к потере 18 тысяч гектаров земель, на которых была создана оросительная система.

Идея переброски стока северных рек в Волгу основана на выводах тех прогнозистов, кто предсказывал снижение уровня Каспийского моря и одновременно повышение солености Азовского. Но как бы в насмешку над — назовем их узковедомственными — прогнозистами природные процессы на Каспийском и Азовском морях уже почти 10 лет имеют направление прямо противоположное тому, что предсказывали эти специалисты.

Минводхоз СССР и Институт водных проблем АН СССР прогнозировали неуклонное увеличение потребления пресной воды в стране. Однако введение оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях и другие меры по рациональному водопользованию привели, по данным министра Васильева, к сокращению забора пресной воды за одиннадцатую пятилетку примерно на 20 кубокилометров в год. Сэкономленная вода отдается новым предприятиям и оросительным системам. Сокращение расхода воды — событие не из ряда вон выходящее, а нормальное в условиях технического прогресса и введения ресурсосберегающих технологий, поэтому его конечно же следовало предвидеть.

Все страны идут по пути сокращения потребления воды. Резервы для сокращения у нас здесь еще значительные. Например, в Москве теряется столько воды, сколько было бы достаточно для водоснабжения Киева. Несмотря на это, для водоснабжения Москвы проектируются новые водохранилища и каналы, в частности плотина на Волге у города Ржева. В сельском хозяйстве страны потери воды составляют в целом более 40 кубокилометров в год! Они значительно превышают планировавшиеся на ближайшую четверть века объемы переброски воды из северных рек в Волгу, из Дуная в Днепр и из Иртыша в Среднюю Азию. Уже частичная ликвидация потерь и приведение норм полива в соответствие с действительными потребностями полей делают ненужным перераспределение стока рек. Но Минводхоз и Институт водных проблем, несмотря на очевидные факты, продолжали настаивать на старом прогнозе роста водопотребления, втягивая планирующие и строительные организации в разворот работ на новых крупных объектах.

Поддержание уровня Каспийского моря на отметке минус 28,5 метра было одной из главных задач переброски. Уровень этого моря-озера в XVI — XVII веках был на 25 — 27 метров ниже уровня Мирового океана, в XIX веке он поднимался к отметкам —24 и даже —23 метра. В 1915 — 1930 годах уровень Каспийского моря удерживался примерно на 26 метрах ниже уровня океана, принятого за абсолютный ноль отметок, а к концу 30-х годов понизился почти на 1 метр. С 1950 года этот уровень опустился ниже отметки — 28 метров. К 1977 году уровень достиг минимальной величины за весь период наблюдений — они были организованы в 1720 году по приказу Петра I, — опустившись на 29 метров ниже уровня океана. Снижение уровня наносило известный

ущерб некоторым отраслям хозяйства. Одновременно возрастала соленость Азовского моря. Если в 20-х годах в его воде содержалось около 10 граммов солей на 1 литр, то к 1976 году концентрация солей достигла абсолютного максимума — 13,6 грамма на литр, то есть возросла более чем на треть. Убывание уровня Каспия и осолонение Азова совпали по времени со значительным падением улова осетровых. Однако основной причиной ухудшения условий для азовской рыбы и снижения ее улова было и остается не повышение солености моря, а заражение его гербицидами и ядохимикатами, выносимыми в Азов с орошаемых полей юга.

Несколько слов о Кара-Богазе. Этот залив в системе Каспия играл роль регулятора уровня и состава воды этого моря. Залив ежегодно поглощал многие кубокилометры воды и с ними миллионы тонн солей. И чем выше был уровень моря, тем больше поглощал Кара-Богаз, выполняя роль выпускного клапана. Закрыть его — значит нарушить режим моря. Его закрыли. Теперь ущерб от этого стал очевиден.

Как известно, для своих разработок авторы проекта сделали прогнозы изменения уровня Каспия, основанные на упрощенном — вопреки накопленным за 250 лет фактам — предположении о постоянном-де повышении сухости климата и данных о все возраставшем ранее отборе воды на хозяйственные нужды. При такой модели вывод получался простой: дескать, с каждым годом Волга будет приносить воды все меньше и меньше и уровень Каспия будет понижаться. То есть авторы прогноза временное снижение уровня моря возвели в абсолют! По аналогичной схеме готовился прогноз и для Азова: снижение притока вод из Дона и Кубани будет, мол, компенсироваться периодическими нагонами воды через Керченский пролив из Черного моря и вызывать неуклонное повышение солености.

Реальность оказалась далека от прогноза: с 1978 года уровень Каспия стал подниматься, а соленость Азова уменьшаться. К 1982 — 1983 годам содержание солей, вопреки прогнозу, снизилось до 11 г/л, то есть достигло уровня 30-х годов. Снижение солености вскоре благотворно отразилось на фауне моря. Многие рыболовецкие хозяйства уже в 1984 году выполнили пятилетние задания. Этому, конечно, способствовали и меры по рыбозаведению.

Уровень Каспийского моря, теперь уже на протяжении девяти лет, неуклонно повышается. К настоящему времени он поднялся на 1,2 м, то есть находится на 0,7 м выше оптимальной отметки, к которой его намечено поднять с помощью переброски северных рек. В море естественным путем накопились такие запасы воды, которые переброской планировалось дать ему далеко за пределами текущего столетия. Уровень моря находился в 1985 году на абсолютной отметке — 27,9 м, тогда как по прогнозу, принятому в проекте переброски, на 1985 год ожидалось — 29,3 м. Выполненная кандидатом физико-математических наук М. И. Зеликиным проверка совпадения реального уровня с вероятностным прогнозом, положенным в основу проекта переброски, показала, что реально осуществившееся событие имеет в этом прогнозе вероятность менее 1 процента. Другими словами, если бы мы в 1976 году задали вопрос, поднимется ли Каспий к 1986 году на такой уровень, который фактически уже достигнут сейчас, то авторы прогноза ответили бы, что это невозможно, что за это — один шанс из ста. Такова «надежность» узковедомственного прогноза.

Но ведь были и другие прогнозы динамики уровня Каспийского моря,

основанные на представлении о циклическом ходе климатических процессов. Однако эти прогнозы настойчиво исключались из рассмотрения при составлении проектов переброски, так как они не устраивали Минводхоз СССР.

Академик Л. С. Берг, крупнейший советский географ, за полвека до подъема уровня писал, что в последней четверти XX века спад уровня сменится подъемом. Б. А. Шлямин в 1962 году, С. В. Антонов в 1963-м, К. И. Смирнова в 1966 году дали количественный прогноз спада и подъема уровня. Так, К. И. Смирнова на 1977 год предсказала уровень —28,8 метра (фактический уровень был только на 20 см ниже), уровень 1983 года, по Смирновой, —28,0 м, а фактический —28,08. На 1986 год она прогнозировала —27,65 метра. В июле 1986 года уровень был на отметке —27,7 м, то есть подошел близко к прогнозированной величине. По прогнозам Б. А. Шлямина, подъем уровня Каспия будет продолжаться до 30-х годов будущего столетия, когда уровень ожидается на два метра выше минимального и почти на метр выше современного. Таким образом, через 40—50 лет следует ожидать восстановления уровня начала нашего века. Абсолютный минимум моря Б. А. Шлямин прогнозировал за 16 лет до его наступления с высокой точностью по времени и по абсолютной величине. Ошибка его прогноза укладывается в 10 см. Это ли не пример точного научного предсказания!

Увы, прогнозы Л. С. Берга и его последователей, основанные на гелиогеофизических связях, не были приняты во внимание Минводхозом. Это министерство считает необходимым спасти Каспийское море путем переброски. Но сейчас надо не спасать Каспий, а спастись от него. Море наступает, и дальнейшее повышение его уровня окажется пагубным для сооружений, находящихся на берегу и на акватории. Уже подтоплены кварталы некоторых городов, например, новый строящийся квартал в северной части Махачкалы. Подтоплен санаторий у города Избербаша и другие сооружения. Море наступает на нефтяные месторождения полуострова Бузачи, на пляжи, затапливая их там, где проектируются всесоюзные здравницы.

При нагонах воды активизировался размыв берега. Он нанес существенный ущерб базам отдыха к югу от устья реки Сулак. В одном месте береговой уступ — клиф — переместился на 50 метров. Разрушены ценные постройки, и возникла опасность загрязнения моря от разрушения сооружений на берегу. Многие ведомства начали создавать берегозащиту миллионной стоимости.

Вот во что обходится стремление сохранить в качестве официального неверный прогноз! *Огромные коллективы были вовлечены в авантюрное, по существу, мероприятие.* Для пополнения моря более сотни институтов работали по программе ГКНТ над проектом систем переброски. Возглавлял эту работу Институт по перераспределению стока северных и сибирских рек — «Союзгипроводхоз», уже в течение 10 лет выпускающий проекты, осуществление которых нельзя допустить, и, думается, в условиях перестройки оно не будет допущено. Кому нужен такой институт?! Замечу, что продукция его регулярно отвергается Госэкспертизой ввиду недопустимо низкого качества. К примеру, ТЭО проекта переброски части стока северных рек в бассейн Волги был отвергнут дважды: союзной и республиканской экспертизой — и так и не был ими утвержден.

Минводхозом СССР были осуществлены многомиллионные вложения в строительство систем переброски. Между тем Каспийское море наполнилось естественным путем более чем на 400 кубокилометров. Переброска не только

5 — 10, но даже и 20 кубокилометров ежегодно в Каспий в сравнении с этой массой воды явилась бы незаметной и ненужной добавкой.

Неверный ведомственный прогноз стал причиной размещения новых объектов в опасной близости от наступающего моря, был использован для обоснования крупных вложений в проекты перераспределения стока рек. Необходимо пересмотреть ведомственный прогноз динамики уровня Каспийского моря, учесть цикличность этого природного процесса, срочно изменить места заложения новых народнохозяйственных объектов. Проекты «Союзгипроводхоза» следует считать явным пережитком экстенсивной системы ведения народного хозяйства.

Итак, неверные прогнозы природных процессов, возведенные в ранг государственных документов, становятся причиной огромного ущерба народному хозяйству. Оставляя в стороне морально-этические аспекты, можно сказать, что это происходило и происходит из-за отсутствия объективной научной экспертизы проектов, особенно в области водного хозяйства. Это и не удивительно, поскольку Г. В. Воропаев, будучи директором ИВП АН СССР, возглавляет одновременно и Государственную экспертизу Госплана СССР».

А. С. МИЩЕНКО,

доктор физико-математических наук, профессор, член проблемной комиссии по геометрии и топологии Отделения математики АН СССР:

«Обсуждение проблемы поворота части стока северных рек европейской части СССР на юг в печати и различных организациях вскрыло поразительную картину той обстановки, в которой принимались важнейшие государственные решения. Сотни ученых, представители буквально всех областей науки, писатели, деятели искусства высказывали тревогу о судьбе нашей земли, о возможных необратимых последствиях такого крупного вмешательства в природу, как переброска части стока северных рек в бассейн Волги. Они говорили о печальном опыте других таких же неверных решений. Но даже если их опасения не принимать во внимание, то сама стоимость проекта — десятки миллиардов рублей — показывает, что этот проект являлся крупнейшим в стране.

И что же? Изучение ТЭО проекта показало, что его теоретическое обоснование находилось на каком-то пещерном уровне, ибо оказалось попросту ошибочным! Организации же, которые разрабатывали этот проект, ранее неоднократно уличались в недобросовестности по другим проектам.

Но даже не это главное и опасное. Самое опасное я вижу в том, как вели обсуждение проекта его авторы. Язык не поворачивается говорить об этом, но — на каждом шагу, будь то *цифровые данные или выдвижение аргументов, они обманывали*. Но обманывали не только они. В обмане участвовали все, начиная от рядовых сотрудников и кончая директорами институтов, министрами.

Но повороты рек — это всего лишь частный случай. Беда в том, что такое же положение нередко у нас и с принятием решений, касающихся образования, сельского хозяйства, машиностроения. Читая центральные газеты, можно легко убедиться: каждая отрасль порой допускает серьезные просчеты и упущения. Приходишь к мысли: надо менять существующую систему управления народным хозяйством... Дело дошло до того, что даже писатели вынуждены заниматься чисто хозяйственными и научно-экологическими проблемами.

По моему мнению, такого жанра деятельность напоминает донкихотство. Ну в самом деле, докажем мы наконец, что поворачивать реки вредно. Так

за это время другие или те же проектанты создадут еще более убийственные проекты в какой-нибудь иной отрасли.

Как достичь повышения степени ответственности? Разумеется, необходимо устранить ведомственный подход при принятии важнейших государственных программ. Но этого мало для полного оздоровления нашей экономики. Необходимо еще усовершенствовать наше законодательство, которое пока еще не только не борется со злом безответственности, но и поощряет его. Правда, одним изменением законодательства добиться многого нельзя. Необходимо изменить и общественное сознание. Ведущую роль в этом деле должны сыграть наши писатели и журналисты. В каждой книге, статье, репортаже они должны убеждать людей в том, что многие наши беды происходят именно из-за этого. Просчеты и ошибки не были бы допущены, если бы мы все и каждый на своем месте оценивали нечестные поступки своих коллег не как их личные недостатки, а как действия, подрывающие устои нашего государства».

Б. С. СОКОЛОВ,

Герой Социалистического Труда, действительный член Академии наук СССР, академик-секретарь Отделения геологии, геофизики, геохимии и горных наук АН СССР, президент Всесоюзного палеонтологического общества СССР, председатель Междуведомственного стратиграфического комитета СССР, председатель Советской национальной рабочей группы по международному проекту «Глобальные геологические события в истории Земли»:

«Я — геолог, а к тому же еще и палеонтолог, значит, в известной мере и биолог. Поэтому мне хорошо известна глубина стоящих перед нами чисто экологических проблем. И я не могу не согласиться с Сергеем Павловичем Залыгиным, что обсуждаемые проблемы вышли далеко за пределы Севера европейской России или Сибири. Они неизмеримо шире, даже если касаться только одних водных ресурсов.

Как геолог я хорошо представляю, как сформировалась экологическая система, окружающая среда, в которой существовали наши предки и существуем мы. У природы на этот эксперимент, на построение очень сложной и очень устойчивой системы ушли не тысячи, а миллионы и сотни миллионов лет. Мы же пытаемся без всякой экологической проработки провести сугубо волюнтаристский эксперимент и достичь какого-то успеха буквально за считанные годы. Это чушь абсолютная и вредная! И я с горьким сожалением должен признать, что здесь есть прямое обвинение и по адресу Академии наук, в которой оказалось достаточно много недобросовестных ученых — тех, что по разным далеким от науки причинам присоединяют свой голос в пользу малообоснованных проектов и тем самым наносят колоссальный вред и народному хозяйству, и авторитету ученого, и, конечно, нравственности нашего общества.

Надо беспощадно изобличать тех, кто виноват, без всяких обиняков называть их имена. Если они занимают высокие посты, добиваться их переизбрания, не дожидаясь установленного срока. Нужна гласность не на бумаге, а на деле. Необходимо участие всего общества в тех процессах, которые в нем происходят. В конце концов мы не должны быть жалкими свидетелями таких «новаций», когда уродовались земли, на которых не только возражали наши предки, но и рождалась наша культура! Ведь посмотрите, что пока еще творится во всем нашем Нечерноземье, в полосе средней России! Заросшие улицы, сотни и

тысячи разрушенных домов, затопленные поймы. Об этом нужно непрерывно и во весь голос говорить.

Человеческий фактор должен быть учтен таким образом, чтобы никто из людей, на какой бы пост он ни претендовал — секретаря райкома, председателя исполкома, председателя колхоза, директора совхоза, заведующего лабораторией, члена-корреспондента, академика, министра, — ни на какой пост не мог бы быть ни избран, ни назначен без раскрытия его нравственного лица, ибо отсюда начинается все. Если человек честен, правдив, если у него есть совесть, если он предан Родине, а не своей «кормушке», то он может вести за собой и общество.

Поэтому я целиком за то, чтобы проблема, которую мы сегодня обсуждаем, не свелась к одному очень важному, очень тревожному, но узкому вопросу, чтоб она была воспринята как важнейшая проблема развития нашего общества.

Проблема переброски стока северных рек России, проблема Байкала стали пробным камнем проверки силы советского общества в преодолении совершенно устаревших, антинаучных, волюнтаристских форм хозяйствования, в борьбе против личностей любых рангов, действующих по принципу временщиков — «после нас хоть потоп», в борьбе за подлинную нравственность и культуру в общении с природой и разумное использование ее даров. Одновременно это борьба и за сохранение нашего неповторимого наследия, во всем идущего от родной земли и ее истории, борьба за будущее страны и занятое ею место в семье народов Земли. Промахи и злоупотребления в этом процессе министерств и ведомств — очевидны, промахи Академии наук — недопустимы.

В структуре Академии наук сегодня все еще имеются зияющие дыры, которые давным-давно должны были бы быть заделаны. Сколь бы, к примеру, ни выглядел частным подобный вопрос, но ведь это чудовищно, товарищи, что в нашей главной академии нет института почвоведения! Я не могу считать институтом почвоведения гибрид, который называется Институтом почвоведения и фотосинтеза, расположенный в Пущине, — гибрид странный, который находится под руководством очень хорошего ученого, но все-таки всего-навсего геоморфолога, специалиста по эрозии почв.

В Академии наук должен быть институт почвоведения, самого настоящего, докучаевского почвоведения, которым славилось все русское почвоведение и которое, к стыду нашему, с успехом развивается за рубежом и там называется «докучаевским».

А вот и еще одна наша беда! Сколько институтов, мы знаем, было в свое время изъято из Академии наук, и во что они превратились! В придатки соответствующих управлений различных министерств, то есть, по существу, в их обслуживающий персонал. Плоды этого мы пожинаем и сегодня».

Валентин РАСПУТИН:

«Очень жаль, что я впервые присутствую на разговоре такого уровня. Если раньше мы, писатели, те, кто выступал по проблемам, затронутым на «круглом столе», казались смелыми, то сейчас я готов признать, что мы были просто лакировщиками. Потому что те вещи, о которых мы говорили, настолько малая, настолько скромная часть того, что происходит и что, очевидно, подлежит огласке ради нашего будущего и будущего наших детей.

Писательские выступления, они ведь, к сожалению, выдаются за одни эмоции. И мы, вероятно, дали основание упрекать нас в том, что в наших речах много эмоций, а мало фактов и мало цифр. Действительно, до поры до времени так и

было. Но и сейчас, когда появились и цифры, и факты, нас уже по привычке, поскольку сложилось соответствующее отношение к писательскому слову, обзывают «крикунами», которые, мол, знают только кричать, а убедить ничем не могут.

Да, нам иной раз ой как не хватает консолидации с патриотически настроенными учеными! Особенно теперь, когда гласность в значительной степени будет зависеть от нашего с вами союза. До чего проще стало, например, мне, когда подключился к защите Байкала (он, наверное, и раньше этим занимался, но мы не знали друг друга) академик Б. Н. Ласкорин и сообщил мне кое-какие цифры. Намного проще стало разговаривать и с министром, и с другими администраторами.

А то есть элементарные вещи, например, цифры предельно допустимой концентрации на Байкальском комбинате, которые мне, чтобы не быть «крикуном», необходимо знать. Но от меня их тщательно прячут. Они в Госкомгидромете за семью печатами. Почему меня и общественность надо держать в неведении? Непонятно! Только с огромным трудом, тайком, приватно, при условии, что я не буду называть открывшего мне сию тайну, удалось узнать нужные цифры. И выяснилось, что по основным загрязнителям шесть раз менялись нормы предельно допустимой концентрации, и всегда в сторону послабления. Нормы ослабляются, следовательно, число нарушений становится меньше. И таким образом общественность водят за нос, утверждая: мол, на Байкале все в порядке.

Среди виновников загрязнения озера я на первое место поставил имя академика Н. М. Жаворонкова. Ему это очень не понравилось, ему и его сторонникам. Я получил несколько писем (если бы их опубликовать!), оскорбительных не только по отношению ко мне — оскорбительных по отношению вообще ко всей этой проблеме. Товарищи предельно саморазоблачились.

Отношение академика Александрова к байкальской проблеме я узнал только совсем недавно, когда прочитал как член комиссии его письма. Он предлагает ничего не менять на Байкале. Комбинаты, дескать, пусть работают, как работали. Академик считает, что можно обойтись какими-то малейшими косметическими мерами?!

Вероятно, для того чтобы как-то поправить положение, надо теперь в первую очередь публично разоблачить махинации некоторых ученых, дельцов от науки».

* * *

Как видим, проблемы защиты природы, в том числе обсуждение предполагаемого поворота северных и сибирских рек, буквально всколыхнули умы и в конечном итоге имели далеко идущие последствия позитивного характера. В атмосфере гласности не только заметно возросла активность людей, но и стали сдавать одну позицию за другой сторонники весьма сомнительного «проекта века». Что и говорить, при свете гласности они почувствовали себя неуютно. В служебных кабинетах, за плотно закрытыми дверями конечно же было легче «согласовывать» и утверждать любые прожекты, пусть даже самые разорительные для государства. А теперь возникла необходимость отстаивать их принародно. Ситуация менялась.

Следует сказать, что еще раньше, в мае 1986 года, Союз писателей РСФСР провел в Ленинграде заседание секретариата, на котором была высказана

серьезная тревога по поводу разрекламированной «акции века», фактически направленной на своевольную перекройку водных ресурсов страны. Эта же тема поднималась на VI съезде писателей РСФСР, а затем на VIII съезде писателей СССР. Примечательно, что российские литераторы в принятой на своем съезде резолюции специально отметили, что они «выражают серьезную озабоченность решением экологических проблем в некоторых районах страны». Поэтому съезд поручил новому составу Правления СП РСФСР довести эту озабоченность до компетентных органов и, если потребуется, привлечь широкую советскую общественность к участию в обсуждении и решении этих жизненно важных проблем.

Писатели и журналисты с честью исполнили свой гражданский долг. Общественность не осталась в тени. Публикации в газетах и журналах, выступления на радио и по телевидению, дискуссии с участием как противников проекта, так и его сторонников позволили рассмотреть вопрос, что называется, с разных точек зрения. В итоге Политбюро ЦК КПСС приняло решение, в котором говорилось:

«Рассмотрев вопросы осуществления проектных и других работ, связанных с переброской стока северных и сибирских рек в южные районы страны, Политбюро в связи с необходимостью дополнительного изучения экологических и экономических аспектов этой проблемы, за что выступают и широкие круги общественности, признало целесообразным прекратить указанные работы. В принятом по данному вопросу постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР предусматривается сосредоточить главное внимание и сконцентрировать материальные средства прежде всего на более экономном и эффективном использовании имеющихся водных ресурсов и комплексном использовании всех факторов интенсификации сельскохозяйственного производства».

В статье «Поворот» (журнал «Новый мир», 1987, № 1) Сергей Залыгин с облегчением писал: «Так закончился многолетний спор между сторонниками и противниками проектов переброски».

Однако столь оптимистическое утверждение писателя, как показали последующие события, было преждевременным. Ибо «поворотчики» не собирались складывать оружие. Отдадим должное внутреннему чутью С. Залыгина, сделавшему оговорку в конце статьи: «Ведомство (Минводхоз и Институт водных проблем.— *Ред.*) и сейчас не унывает: мол, ничего, потерпим, а лет через пять возьмем свое. «Шелкоперы во всем виноваты, журналисты и писатели. Ну и кое-кто из ученых. Потерпим. И свое возьмем!»

И все же в главной, общественно-психологической и нравственной, оценке происшедшего, автор «Поворота», безусловно, прав. Решение партии и правительства, утверждал он, есть не что иное как один из важных и убедительных фактов общего процесса перестройки, которым живет нынче страна. «Отказавшись от надуманных, в узководственных интересах проектов переброски речного стока, или, как еще говорилось у нас, «проектов поворота рек», государство наше осуществило поворот в сторону общественного мнения. Поворот столько же необходимый, сколько и необратимый».

Ввиду несомненной общественной значимости этой статьи целесообразно выделить здесь ее отдельные положения, чтобы читатель мог составить наиболее полное представление о вспыхнувшей с новой силой полемике вокруг «Поворота», между сторонниками и противниками переброски.

Итак, Сергей Залыгин писал: «Общественная жизнь страны в минувшем

году была более чем богата событиями, а импульсом этих событий был XXVII съезд КПСС, прошедший в начале года. Не составляет исключения и дискуссия, о которой идет речь. Она велась давно.

Собственно, сначала никакой дискуссии и не было, а было безудержное восхваление «проекта века» его авторами в отечественной и зарубежной печати, суть которого состояла в том, что проектировщики уже всех превзошли, все инстанции прошли и дело за немногим — осуществить проект в натуре; немногочисленные же по тому времени противники проекта вплоть до середины 1985 года вообще не получали слова, по крайней мере в печати.

Во время всенародного обсуждения проекта Основных направлений, как уже говорилось, общественное мнение вполне восполнило это молчание — и периодическая печать оказалась заполненной протестами против переброски. Медики предупреждали, что переброска опасна в санитарно-эпидемиологическом отношении, биологи утверждали, что пострадает флора и фауна сразу в нескольких речных бассейнах, геологи просто-напросто хватали проектировщиков за руку, поскольку они проектировали трассы каналов в заведомо неподходящих для этого грунтах, историки опасались гибели памятников нашей истории и культуры, агрономы, инженеры, экономисты, крупнейшие ученые приводили доводы против, против, против.

В результате пункт проекта Основных направлений, который предлагал развернуть строительные работы по переброске, был после съезда КПСС изменен — теперь предусматривалась лишь углубленная проработка проблемы.

Общественность успокоилась. Казалось, что и вправду для этого у нее имеются все основания. Но не тут-то было!

Оказывается, материалы и решения съезда истолковывались далеко не однозначно.

«Углубленная» проработка вопроса? Очень хорошо! — заявили сторонники переброски. Это именно то, чего мы хотели. В порядке углубленной проработки и «эксперимента» мы и перебросим 6 кубокилометров в Волгу! Ну если уж не 6, так 2,2 кубокилометра. (А это уже совершенно абсурдная цифра.)

И тут же в завидном темпе началась подготовка к строительству. Прибегая к разного рода ухищрениям, прежде всего канцелярским, Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР добились финансирования и открытия подготовительных строительных работ в Вологодской и Архангельской областях, а журналистам снова (как в прежние времена) «не рекомендовалось» об этих работах писать. Началось фактическое осуществление проекта, который так ведь и не прошел экспертизы в целом, — вот какие были пущены в ход ухищрения. Но и это не все.

Совершенно неожиданно появилось письмо за подписью первого заместителя председателя Госплана СССР товарища П. А. Паскаря, в котором говорилось: «В результате работы, проведенной многими научно-исследовательскими и проектными институтами Академии наук СССР, Минводхоза СССР и других министерств и ведомств, подтверждена необходимость первого этапа переброски части стока северных рек в бассейн Волги в объеме 5,8 куб. км».

И это в то время, когда уже пять отделений АН СССР представили отрицательные заключения по проекту, когда такие же заключения вынесли Всесоюзное географическое общество, Всероссийское общество по охране памятников истории и культуры и многие другие, когда решительно выразили свое несогла-

сие с проектом Совмин Коми АССР, а также областные организации Вологды (хотя ранее они некоторое время этот проект и поддерживали).

...Значение и настоятельная необходимость в общественном мнении определяются ныне еще и необходимостью видеть действительность такой, какая она есть, без ведомственного лоска и без ведомственной узости; наконец, видеть действительность не по отдельным частям, а в целом.

Что и говорить, без деятельности ведомственно-специализированной, без служебного взгляда на вещи, на все наши проблемы обойтись нельзя, но ведь обойтись только ими — нельзя тоже. Этот взгляд всегда ограничен прежде всего потому, что он без конца расчленяет окружающий мир — единую природу — на самые разные природные ресурсы — водные, минеральные, земельные, лесные и так далее; общество — на профессии, народное хозяйство — на отрасли, государство — на учреждения. Эта стихия подразделений и разделений все возрастает. Разделяя же действительность и ее главные проблемы на части, на множество частей, ведомственность властвует над действительностью — принцип, старый как мир.

И только общество общими усилиями может создать более или менее целостную картину и самого себя и окружающей его природы, и мира и своей страны. Нужно воспринимать жизнь в возможно широком и всестороннем плане. И каждую проблему тоже.

В случае, о котором идет речь, форма организации общественного мнения, по крайней мере в области научной, определилась с самого начала: в соответствии с поручением Политбюро ЦК КПСС на базе научных советов АН СССР была создана Временная научно-техническая экспертная комиссия по проблемам повышения эффективности мелиорации под председательством вице-президента АН СССР академика А. Л. Яншина.

Именно потому, что комиссия была общественной, она проделала работу, не выполнимую ни для ведомства, ни для самой академии, ведь она обращалась за участием и помощью к любому научному учреждению, к любому добровольному обществу и к любому гражданину. И никогда, ни разу не получила отказа, наоборот, «предложение» многократно превышало «спрос». Не было у комиссии ни канцелярии, ни машинисток, ни стенографисток, но и тут находились добровольцы, они вели «дела», и дело шло.

Какие бы специалисты ни требовались по ходу дела — агрономы, экономисты, юристы, кинематографисты, биологи, медики, математики, — все они были к ее услугам. Колоссальный общественный резерв, недоступный самому крупному ведомству!

Рассмотрение проекта в работе комиссии занимало не столь уж большое место. Причины низкой эффективности мелиорации в сельском хозяйстве страны — вот тема и направление ее работы, и ее труды еще предстоит серьезно изучать многим ведомствам. Но это тема отдельного разговора, который, надо думать, состоится в недалеком будущем, это совершенно необходимо, чтобы проблема ставилась снова и снова со всей остротой, иначе лет через десять — пятнадцать наши водно-земельные ресурсы придут в окончательный упадок и мы окажемся одной из самых малоземельных и низкоурожайных стран.

Да, социализм оказался на редкость жизнеспособной и терпеливой формацией. Каким только агрессиям, интервенциям, блокадам и эмбарго он не подвергался извне — а вот устоял! Каким только чрезвычайным положе-

ниями и происшествиям мы не подвергали его сами в силу необходимости, а иногда и безо всякой необходимости, по привычке мыслить безвариантно, по привычке не столько искать в нем, сколько требовать и требовать от него,— он устоял. Социализм обрел нынче прочное политическое положение, у него — непререкаемые достижения в области культуры, ему необходимо экономическое упрочение, а разве этому способствуют прожекты, подобные «переброске стока»?!

Так не настало ли наконец время с умом использовать все его возможности, в частности возможности природные и общественные, критически учесть их, а еще вернее — свои собственные недостатки, а то ведь поздно будет!

Время наступило такое, о котором можно сказать: сейчас или никогда! Можно сказать: если не мы, тогда кто же?

На такие-то размышления наталкивает дискуссия по поводу проекта переброски части стока северных рек...

Как это ни грустно признать, но ведь выигрыша-то, по существу, не оказалось ни у кого, все в проигрыше — и ведомство, и государство, и общество. Плакали народные денежки, вложенные в проект. А все те силы, которые мы называем общественным мнением и которые затратили столько энергии ради доказательства того, что дважды два — четыре,— они-то что выиграли? Дело ведь с самого начала было настолько очевидным, что диву даешься, каким образом Минводхоз, а вкупе с ним Институт водных проблем АН СССР путем одних только бюрократических процедур и проволочек могли столько времени удерживать свой проект на плаву!

По существу, средств защиты у них никогда и не было — не было новых доказательств, которые могли бы возникнуть по ходу дискуссии, ничуть не укреплялись и исходные посылки проекта, наоборот, они только теряли, подвергаясь уничтожающей критике. Имея в виду резкое повышение уровня Каспия, можно сказать, что эти посылки были опровергнуты и самой природой.

Природа была против, общество — против, зато ведомство — за. И ничто так и не могло поколебать уверенности сторонников проекта в том, что в конце концов они возьмут верх. Ведь вопреки существующему законодательству они даже открыли строительные работы по проекту, который не прошел экспертизы в целом. Это ли не нарушение государственной дисциплины? Это ли не предмет для расследования? Для далеко идущих заключений и выводов. Для того чтобы отнестись ко всей последующей деятельности Минводхоза и Института водных проблем критически, с особым вниманием и с той же степенью гласности, которая пока что лишь на одном — только на одном! — этапе остановила это министерство от безрассудных действий».

...Но призыв партии и государства к переменам — уже перемена, причем важнейшая. И обращен этот призыв прежде всего к общественности. Не к самому же себе будет обращаться с призывами государственный аппарат, для этого у него есть другие средства — приказы, указания, постановления, взыскания, поощрения. Но наступает момент, когда всего этого оказывается мало — нужны перемены принципиальные. Чем их больше, тем активнее становится общественное мнение, чем активнее оно — тем больше перемен.

Одно другим формируется, одно — причина другого, и то и другое — это уже новое время, время обновления.

Таков опыт этой дискуссии минувшего года (т. е. 1986 года.—*Ред.*) —

события исключительного общественного значения. Этот опыт ни для кого не должен пройти даром, он — достояние года и минувшего, и предстоящего, и многих последующих лет, поскольку процесс перемен — необратим.

Сергей Залыгин сопроводил статью «Поворот» многозначительным подзаголовком — «Уроки одной дискуссии». К сожалению, сторонники переброски, если уж говорить начистоту и без всяких дипломатических извинений, никаких серьезных уроков для себя не извлекли. Ибо не хотели извлекать, совершенно не были заинтересованы в столь многотрудной нравственной переоценке содеянного. Об этом свидетельствуют напечатанные в седьмом номере журнала «Новый мир» за 1987 год наиболее характерные письма разработчиков и непосредственных участников осуществления переброски рек, поступившие в ответ на статью. Предпослав обширной публикации «Как совершается поворот» краткое вступление, редакция сочла необходимым заметить: «В этих откликах есть совпадающие, есть и полярные точки зрения. Читательская почта, на наш взгляд, дает определенное представление о нынешнем уровне общественного сознания, о настроениях, складывающихся в условиях демократизации. Многие читатели поддерживают выступление журнала, осуждают тех, кто ставит ведомственные интересы выше народных, требуют надежных гарантий от повторения ошибок и злоупотреблений, которые были допущены с «проектом века».

Первое слово было предоставлено одному из главных оппонентов — члену-корреспонденту АН СССР Г. В. Воропаеву. Приведем здесь лишь некоторые его суждения:

«В журнале «Новый мир» № 1 за 1987 год опубликована статья главного редактора С. Залыгина «Поворот». Написана она в связи с принятым в ЦК КПСС и Совете Министров СССР решением прекратить проведение проектных и подготовительных работ по переброске части стока северных рек в Волгу и сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан. Это решение С. Залыгин истолковал как закрытие проблемы вообще.

«Так закончился многолетний спор между сторонниками и противниками проектов переброски», — восклицает он с самого начала статьи. Непонятно, что дало С. Залыгину право на подобное заявление, если в том же постановлении есть две важные записи. Одна из которых поручает «ГКНТ, АН СССР и ВАСХНИЛу продолжить изучение научных проблем, связанных с региональным перераспределением водных ресурсов...», а вторая рекомендует Госплану СССР совместно с другими ведомствами разработать и представить в Совет Министров СССР в первом квартале доклад по развитию производительных сил региона до 2010 года с учетом складывающейся демографической и хозяйственной обстановки. Даже из одного только тенденциозного толкования постановления партии и правительства вырисовывается позиция писателя, вынуждающая к продолжению дискуссии. Но есть и более важное обстоятельство, которое хотелось бы обсудить: на какой информационной базе эта дискуссия велась и велась ли она вообще. Наконец, что немаловажно, С. Залыгин много внимания уделил лично мне, хотя никогда со мной не встречался, ни разу не беседовал даже по телефону. Откровенно говоря, не поверил бы, расскажи мне кто-либо о подобных методах работы публициста, если бы не столкнулся с ними лично. Не знаю, как расценивается подобная «заочная» публицистика с точки зрения профессиональной этики, но, судя по результатам, пользоваться ею вряд ли целесообразно, ничего, кроме искажений фактов,

неправильного толкования поступков, действий, рассуждений, путаницы и неразберихи в постановке проблемы, она не дает.

Не помогло и то, что С. Залыгин по образованию и довольно длительному опыту работы является мелиоратором, кандидатом технических наук, что еще не так давно он писал научные статьи по мелиорации и водному хозяйству. Может быть, это связано с тем, что в прежних научных статьях мелиоратор С. Залыгин поддерживал переброски речного стока, создание крупных водохранилищ и гидростанций, развитие водных мелиораций, да не где-нибудь в пустынных районах, а в Сибири и на Иртыше. «И все виды водных мелиораций крайне необходимы», — пишет он в одной из статей. А вот выдержки из некоторых других его работ: «Конечно, водохранилища на Оби, по-видимому, рано или поздно возникнут. Рано или поздно вода Оби должна быть использована для орошения Кулундинской, Прииртышской степей и даже пустынь Средней Азии. Но вот там — действительно будет «восстановление» земель, которые без воды представляют собой бесплодную пустыню» («Комплексное освоение водных ресурсов Обского бассейна». Новосибирск. «Наука». СО АН СССР. 1970)».

Далее, обращаясь к С. Залыгину, Г. Воропаев пишет:

«Много страстей разгорелось вокруг проектов переброски, и Вы правы в своем обобщении, когда говорите, что вопрос этот надо понимать шире. В стране развернулась широкая, долгожданная, выстраданная дискуссия по многим насущным проблемам. Основа ее — гласность. Гласность — это возможность находить ответы на свои вопросы и сомнения, это мысли вслух, это возможность высказать суждения, объяснить свои действия, узнать истинное положение дел, своевременно и достоверно информировать общество, выслушать мнение оппонента, объяснить трудности и принимаемые решения, поделиться хорошим опытом. И все это вместе является активным компонентом формирования общественного мнения. Согласитесь, общественное мнение при современных средствах массовой информации очень несложно направить и по ложному следу. Мы так привыкли доверять прессе, высказываниям наших уважаемых писателей, ученых. Но отсюда — особая требовательность к печатному слову, повышенная ответственность перед обществом за достоверность информации.

Увы, в опубликованных материалах содержалось столько передержек, полуправды и прямых ошибок, что рациональное зерно, если оно и было, уже трудно бывало отыскать. В том числе и в статье «Поворот».

Давайте, однако, вернемся к истокам событий: 14 июля 1982 года, сессия Верховного Совета РСФСР, голос писателя звучит гневно:

«Кроме того, проектировщики переброски как бы упустили из вида, что значительный подъем грунтовых вод, когда реки потекут вспять через старинные русские города, подтопит Каргополь, Великий Устюг, весь подол Вологды со знаменитой исторической архитектурой и Софийским собором; будет затоплена примерно на 1,5 метра и жемчужина зодчества, гениальное творение рук человеческих — Кирилло-Белозерский монастырь; наполовину уйдут под воду Спасо-Прилуцкий и Спасо-Каменный монастыри, неповторимые шедевры XVI века, а над поверхностью образовавшегося моря останутся лишь часть стен и башни Ферапонтова монастыря, известного всему миру непревзойденными фресками Дионисия. Где же целесообразность и разумная направленность этого проекта, если он принесет невосполнимые потери нашему климату, нашей культуре, если безвозвратно исчезнут с лица северной

России не только сотни деревень, но и около 15 тысяч памятников русской истории?»

У кого не дрогнет сердце от такого варварства! И какие бы суровые меры ни были приняты против таких проектировщиков — они были бы оправданы. И вот уже работают многочисленные комиссии ГКНТ, Совета Министров РСФСР, Министерства культуры РСФСР, Академии наук СССР и многие, многие другие. Выезжают на место специалисты, обследуют, изучают, ищут. Итог: все в той фразе — писательская фантазия (в справках об этом написано вежливее, деловым стилем). Нет ни водохранилищ, ни обмеления озер, ни чудовищных каналов, ни затопления памятников, жемчужины архитектуры находятся далеко в стороне от проектируемых сооружений. Казалось бы, все ясно, перехватили писатели, чего не сделаешь во имя святого дела! Но проходит немного времени — новые выступления того же рода, и с теми же, по сути дела, «фактами», только эмоций еще больше. Уже вещают, что беда будет грандиознее, чем от фашистского нашествия, что все это — геноцид против русского народа и культуры. Снова проверяют, снова ничего не подтверждается. Но общественное мнение этому уже не верит.

...Но могла бы быть и интересная, полезная дискуссия по проблемам водообеспечения, водопользования, природопользования в целом. Материалы упомянутых проектов и впервые проведенные в стране широкие комплексные научные исследования интересны и во многом поучительны не только для специалистов. В наше время особенно остро стоят вопросы, как ускоренным образом повышать эффективность общественного производства, одновременно максимально сохраняя природные ресурсы и улучшая ранее испорченные экосистемы, ландшафты? Как при этом сочетать интенсификацию производства с экстенсивными формами хозяйства, реконструкцию старых предприятий с созданием новых объектов? Почему в экономике развитых стран уживаются и развиваются и те и другие формы, каков здесь экономический и социальный механизмы?

К сожалению, неведение часто подталкивает людей на выводы, в которых причины подменяются следствиями. Так было и в прошлой критике проектов переброски, когда всем видам водопользования в стране старались приписать недостатки, проявляющиеся иногда не в силу их имманентных свойств, а из-за несовершенства эксплуатации объектов, низкого качества строительства, несовершенства экономического и правового механизмов во взаимоотношениях общества с природой. Оснований для острой критики в нашей практике больше чем достаточно. Но пора бы уже разобраться и в причинах, породивших эти недостатки, и давать конструктивные предложения. Ученые, работающие в области исследования и управления водными ресурсами, видят пути решения возникших проблем, отдают себе отчет и в том, что во многих случаях практика опоздала на пятнадцать — двадцать лет с решением ряда из них. Поэтому особенно важно развивать исследования и разрабатывать научные основы стратегических решений, которые обеспечивают оптимальный план конкретных мер в ближайшей и отдаленной перспективе. Наука в этом отношении должна намного опережать практику, а для этого нужно в несколько раз увеличить затраты на исследования, изучение среды, гидрогеологические, почвенные и иные изыскания. А сожаления о якобы бросовых затратах, которые выражает С. Залыгин, это еще одно свидетельство давней оторванности его от мелиоративных и иных практических дел.

Думается, что публицистика, и художественная литература, и другие литературные формы могут оказать большую помощь в решении непростых задач водообеспечения страны. Воспитание хозяйского, доброго отношения к водным ресурсам — это частица нашего общего воспитания на пути становления хозяевами своей земли, страны, своей судьбы. И у нас в стране есть много прекрасных человеческих судеб, отданных благородному делу одарить человека чистой водой. Надо и нам самим быть щедрее душой и чище помыслами».

Примерно в том же духе, что и Г. В. Воропаев, высказался в своем письме в редакцию и главный инженер «Союзгипроводхоза» **О. А. Леонтьев:**

«Для меня не существует проблемы — имеет или не имеет право общественность на получение информации по основным вопросам, касающимся развития тех или иных отраслей экономики, в том числе и мелиорации. Ответ однозначен: имеет. Но вопрос о том, какая это информация: объективная или субъективная, достоверная или недостоверная. Так как на базе достоверной и правильной информации решение может быть правильным и неправильным, а на базе неправильной информации решение может быть только неправильным. Эта мысль каждый раз приходит в голову, когда читаешь последние публикации в журналах «Новый мир», «Наш современник» и других, в которых меня и моих коллег обвиняют во всех смертных грехах. При этом статьи насыщены фактами и цифрами, которые на первый взгляд впечатляют неискушенного читателя, и у него волосы дыбом встают от нарисованных ужасов. И не удивительно, если читатель согласится с писателем С. П. Залыгиным, предложившим ставить мелиораторам памятники вниз головой. Чтобы не быть голословным, приведу такой пример.

«Общественные обвинители» проекта переброски части стока северных рек в реку Волгу всенародно заявляют о том, что в результате его осуществления система переброски «подтопит Каргополь, Великий Устюг, весь подол Вологды со знаменитой исторической архитектурой и Софийским собором... Кто не содрогнется от такого кошунства! На самом же деле все обстоит совершенно иначе. Возьмем, к примеру, хотя бы один из перечисленных памятников — **Ферапонтов монастырь**. Отметка фундамента монастыря находится на 15 метров выше максимального проектного уровня воды в канале, не говоря уже о том, что канал проходит более чем в 30 километрах от монастыря. Чтобы до конца все было ясно, представим себе на секунду, что такое злодеяние произошло. Тогда это значит, что будет затоплен не только **Ферапонтов монастырь**, но и весь город Ленинград под самый шпиль Адмиралтейства, абсолютная отметка которого ниже башен **Ферапонтова монастыря**. Совершенно аналогичная картина надуманных ужасов и с другими упомянутыми шедеврами русского зодчества. Вот вам пример правильной и неправильной информации.

Или еще один пример. Опять о памятниках, поскольку эта тема близка каждому, кто дорожит историей и культурой своей страны. Со страниц печати громкогласно заявлялось, что в проекте переброски части стока северных рек в зону затопления попадает около 15 000 памятников архитектуры и истории русской культуры. Это ни в коей мере не соответствует действительности, так как институт «Спецпроектреставрация», специализированный в этом вопросе, проводивший обследование этой территории, выявил только 10 памятников, попадающих в зону влияния окончательно выбранного варианта, и в проекте предусмотрено сохранение всех этих памятников. Это еще один пример правильной и неправильной информации.

Остается только руками развести, как в упомянутых публикациях авторы легко обращаются с цифрами произведенных затрат на научные, проектные и изыскательские работы по проектам переброски. Упоминается цифра «500 миллионов, не то миллиард, только-то и всего», хотя на самом деле израсходовано 84 миллиона рублей. Согласитесь, что эти цифры разного порядка. Несомненно, 84 миллиона рублей — это серьезная сумма. Но давайте реально смотреть на вещи.

Статьи наших оппонентов буквально выплеснулись на страницы газет и журналов. Почти на каждую такую публикацию направлялись ответы авторов проекта. Статьи специалистов и ученых, занимавшихся изучением данной проблемы. Их было не менее нескольких десятков. Ни одна из них не была опубликована. А ведь полемика предполагает наличие как минимум двух точек зрения, а не монолог в центральной прессе, который мы наблюдаем сейчас. Полемике в ленинском смысле слова претит такое положение, когда «злая радость отрицания» преобладает над позитивной системой суждения».

Редакция «Нового мира», на наш взгляд, в разгоревшейся полемике приняла единственно верное решение — опубликовать мнения оппонентов без всякого приглаживания и причисывания, такими, каковы они есть в подлинниках. И надо сказать — эффект получился неожиданный. Читаешь иные опровержения — и только разводись руками в тихом изумлении. Особо, например, выделяется коллективное письмо сотрудников института «Союзгипроводхоз» — кандидата технических наук **В. С. Панфилова**, кандидата геолого-минералогических наук **А. А. Желобаева** и кандидата сельскохозяйственных наук **В. В. Мясникова**. Начало письма весьма энергичное:

«В этой статье С. Залыгин, высокомерно вознесясь и над министерствами, и над Госпланом, и над Академией наук, и, уж конечно, над всеми бездарными специалистами, высказывает свои безапелляционные суждения по водохозяйственным и экологическим проблемам нашей страны.

То, что эти суждения должны безапелляционно приниматься, очевидно. То, что все и говорить и думать должны по-залыгински, — тоже. Не совсем ясно ему только одно, как должны перестроить отношения Госплан и другие ведомства в свете его, Залыгина, указаний. Но и здесь он нас обнадеживает. На вопрос «как?» он отвечает: «...Пока не берусь судить. Берусь только ставить вопрос. Вот появятся в портфеле нашей редакции отклики на эту статью, всякого рода материалы и предложения, вот тогда и подумаем, не без пользы подумаем!..»

Какое великодушие! С такими, как Залыгин, мы не пропадем! В свое время Наполеон сказал: «Государство — это Я!» Теперь Залыгин говорит: «Народ — это тоже Я» и «Наука — это тоже Я!»

В этой статье мы тоже хотим вынести уроки из проведенной дискуссии по вопросам перераспределения водных ресурсов нашей страны (включая и методы ее организации и проведения), сохраняя объективность освещения этого вопроса, и высказать свое мнение по затронутым вопросам.

Не скроем того компрометирующего нас факта, что мы являемся специалистами в обсуждаемой области. Но все-таки мы хоть в какой-то мере являемся и общественностью. И именно с этих позиций мы считаем, что при проведении принципиально правильных решений мы должны постоянно следить и за правильностью их проведения и правильностью их толкования, не допуская

заносов на поворотах, которыми, к сожалению, так богата наша история и наша наука.

В «Повороте» же Залыгина такой занос определен весьма явно, а в изложении истории дискуссии и в освещении технических вопросов допущены искажения, не говоря уж об оскорбительной оценке отдельных видных представителей науки и целых коллективов специалистов.

Начнем с истории организации (именно организации) дискуссии по вопросу переброски стока рек.

В нашей прессе, а особенно в «Литературной газете» в 1985—1986 годах появилось много статей, направленных на сохранение окружающей среды при хозяйственной деятельности вообще и в случае переброски северных и сибирских рек в засушливые районы юга страны и в республики Средней Азии.

Обсуждая вопросы мелиорации и сельского хозяйства, многие писатели выступали с категорическими требованиями прекратить всякие проработки, а тем более строительство по проектам переброски северных и сибирских рек в южные районы страны.

Такие же мотивы прозвучали и в ряде выступлений на съезде писателей РСФСР¹.

Особенно на этом фоне выделялся С. Залыгин, считающий себя специалистом в области мелиорации и ратоборцем против всяких попыток инженеров (сплошь бездарных и безграмотных), любыми средствами стремящихся «испортить природу».

В ряде статей и выступлений многие писатели выступали со своими размышлениями, апеллируя к общественному мнению, а точнее, формируя его. В резолюции съезда писателей РСФСР была выражена «серьезная озабоченность решением экологических проблем в некоторых районах страны» и поручалось «новому составу Союза писателей довести эту озабоченность до компетентных органов...».

В резолюции съезда и в «Литературной газете» предлагалось организовать дискуссию по этой проблеме.

В газете от 18 декабря 1986 года был дан ответ т. Залыгину министра мелиорации и водного хозяйства Н. Ф. Васильева, где многие вопросы этой проблемы были освещены и показана некомпетентность т. Залыгина в тех вопросах, которые он пытается обсуждать. Тем не менее предлагалось продолжить дискуссию. Это на словах... На деле же в нашей прессе была организована обстановка, при которой специалисты в этой области не могли выступить с разъяснением сути проблемы.

И после всего этого С. Залыгин в своей статье кощунственно сожалеет, что «мнение в пользу проекта тоже могло быть общественным, но при одном условии: если бы они высказали его во всеуслышание, если бы доказательно опровергли доводы против».

В то же время усилиями залыгиных в эту дискуссию было вовлечено большое количество неспециалистов и широкий круг людей, не имеющих представления об обсуждаемой проблеме.

Нам представляется, что в условиях острой нехватки воды, а также учитывая и большие сроки строительства таких объектов, вопросами переброски следует

¹ См. выступления В. Белова, Ю. Бондарева, В. Распутина и др. в третьем выпуске альманаха «Писатель и время». (Ред.)

заниматься всесторонне, и не только углубленно, но и расширенно, имея в виду водное хозяйство всей нашей страны, своевременно и обоснованно подготавливая ответ на любой вопрос в области водного хозяйства страны.

Что касается так называемой дискуссии, в которой основную степень ее «публицистичности» сыграла роль дилетантов, наиболее доступных к прессе, микрофону и телевизионной камере, с привлечением для видимой объективности некоторых научных работников — противников переброски и особенно ее результаты, толкуемые явно как «заносом», нанесли и наносят существенный вред и тормозят решение этой важной для страны проблемы.

Что же касается участия специалистов и неспециалистов в такой дискуссии, то у нас есть также свое мнение, а именно: неспециалисты должны принимать участие в решении таких сложных проблем лишь до определенного предела, как, скажем, в области медицины общественность может обсуждать лишь социальные аспекты здравоохранения. *Методы же лечения обсуждаются только специалистами, и самодеятельность в этой области преследуется в уголовном порядке.* (Курсив наш.— И. Г. и В. П.)

Некоторые журналисты и писатели, подобно С. Залыгину, объявившему себя специалистом-мелиоратором, помимо бестактности показывают свою некомпетентность и культивируют в читательской массе легкомысленный подход к этой сложной проблеме, внедряя в сознание, что каждый может быть здесь специалистом на основании того, что все мы в той или иной мере встречаемся с природой и очень ее любим. Нельзя судить о проектировщиках по своей технической безграмотности.

...Если приведенное выше не убеждает таких «борцов за природу», то мы хотели бы предложить всем борющимся за сохранение первозданной природы на Руси и сохранение кондового и посконного уклада вместо демагогических выступлений организовать движение под лозунгом «Назад — к предкам!» и личным примером доказать, что можно сделать на этом поприще.

Нам казалось бы, что создание такого массового движения решило бы вопрос сохранения окружающей среды. Если желающих вступить в это движение не найдется, по-видимому, в принудительном порядке в качестве ограниченного экологического эксперимента необходимо перевести на эту систему некоторые организации.

Наиболее подходящей организацией будет Союз писателей РСФСР. Территориально удобнее всего это сделать в Переделкине. В этом случае помимо прочих преимуществ будет еще одно: макулатуры, выпускаемой писателями (на бересте), будет не так уж много, а та, которая будет, может с успехом использоваться для разжигания в хижинах очагов (топящихся по-черному) и для туесков, коробов, лаптей и других сувениров, продающихся за валюту иностранным туристам.

Нам хотелось бы процитировать некоторые строки выступления на съезде писателей РСФСР Расула Гамзатова: «Сочетать национальное и интернациональное, отбросив всякое националистическое и шовинистическое...», «Гражданская позиция советского писателя — смысл его жизни. Между прочим, сейчас появилось много вульгаризаторов этого основополагающего понятия о чести и чистоте художника. Авторы некоторых произведений спекулируют на популярных темах... Я точно не могу сказать, где и сколько центнеров урожая получают с гектара земли. Но такого большого количества членов Союза писателей на гектар земли, наверное, нигде, как у нас, нет...»

Полезно более внимательно вчитаться в эти строки и помнить, что когда писатель касается сложной технической проблемы и формирования общественного мнения, то требования его к себе должны быть значительно выше, чем когда дело идет о поэзии и другой «обычной» литературе.

Нам кажется, что количество членов Союза писателей на гектар возделываемой земли в ближайшее время должно быть резко сокращено. Это, с одной стороны, должно быть осуществлено за счет существенного увеличения мелиораторами вводимой в оборот орошаемой земли, с другой — за счет исключения из Союза писателей РСФСР скатившихся к дилетантским, демагогическим, безапелляционным рассуждениям несведущих людей и конъюнктурщиков, паразитирующих на «модной теме».

В этом смысле «зоной вне критики» не должен остаться и новый главный редактор «Нового мира» С. Залыгин. Мы бы ему посоветовали держаться поскромнее. Во всяком случае, не пристало главному редактору выступать с дискуссионными статьями, да еще написанными в таком развязном, оскорбительном тоне, в качестве программных передовых в «своем» журнале.

Для дискуссионных статей есть своя рубрика (но такой развязный тон и в ней недопустим). Безусловно, печать — весьма острое оружие, но тот, кто к ней имеет повышенный доступ, должен уметь обращаться с этим оружием. К сожалению, это не наблюдается со стороны нового главного редактора «Нового мира».

Комментарии здесь вроде бы излишни. Тем более неуместен после прочтения такого письма разговор о тактичности и деликатности. Вероятно, потому С. Залыгин не счел нужным вдаваться в объяснения по поводу якобы «развязного тона» рубрики в журнале. Тем не менее мы хотели бы посоветовать авторам обвинительной инвективы прочесть статью «Культура дискуссий», опубликованную в «Правде» 3 августа 1987 года. Там, между прочим, есть примечательные слова: «В условиях гласности, открытости дискуссии становятся инструментом поиска истины, источником свежих мыслей, захватывая в свой круг многих людей. Через дискуссии проявляется многообразие мнений, и это очень хорошо. Через призму полемики яснее видны сильные и слабые стороны и обсуждаемого проекта важного государственного документа, и научной концепции, и эксперимента на предприятии, и состояния дел в коллективе. Через дискуссию, через столкновение мнений мы ищем и находим верные ответы на волнующие вопросы, оптимальные пути и цели».

И далее: «Словом, дискуссий у нас стало больше. А вот культуры вести их явно не хватает. Да, мы как бы заново проходим школу демократии, учимся жить в условиях гласности. Но призывать сейчас к тому, чтобы в спорах, дискуссиях мы не унижали друг друга, уважали точку зрения оппонента, право, как-то неловко. Это, если можно так выразиться, элементарное требование, естественное состояние души воспитанного человека... Будем учиться, ибо впереди у нас еще много будет разных дискуссий. И надо быстрее проходить школу гласности, демократии. Но каждый раз, сколь ни остра будет полемика, а она будет, сколь ни различны будут точки зрения, давайте подниматься выше групповых интересов, выше амбиций».

Однако вернемся к письмам иного стиля и характера, которые в подбор напечатаны в том же, седьмом, номере «Нового мира». Е. М. Подольский, старший научный сотрудник совета по изучению производительных сил при

Госплане СССР, кандидат технических наук, полностью разделяет обоснованные опасения писательской общественности:

«Многие обстоятельства убедили меня, инженера, написать этот отклик на вопросы, поднятые С. П. Залыгиным в его статье «Поворот». И не столько ее правдивость, глубина и смелость, а скрытая в ней большая тревога: что же будет дальше с нашей землей и реками, будут ли приняты меры по сокращению размаха водных сельскохозяйственных мелиораций, которые ведутся не только там, где это надо, но и там, где они не только не нужны, но и вредны, меры по предотвращению строительства гидростанций с большими затоплениями долин, многие из которых богаты либо лесом, полезными ископаемыми, либо своей неповторимой красотой? Основания для выступления, как мне кажется, у меня есть: имею тридцатилетний стаж работы в этой области, последние четыре года активно участвовал в обсуждении (и критике) ставшего бессмысленным проекта переброски воды в Волгу, в оценке действительной эффективности мелиораций и водохозяйственного строительства. Я в курсе дела самых последних документов. В журнал я обращаюсь потому, что так же, как и С. П. Залыгин, считаю, что в этой области создано совершенно ненормальное положение: *большая группа руководящих работников ряда ведомств задалась целью во что бы то ни стало продолжать этот курс и, отстаивая свои позиции, не останавливается даже перед дезинформацией и саботажем.* Все предпринимаемые попытки делового обсуждения этих вопросов (в экспертизах, комиссиях, совещаниях) не приносят результатов.

Недавно состоялся V гидрологический съезд в Ленинграде (под эгидой Госкомгидромета). Я присутствовал на нем и твердо заявляю: съезд проходил тенденциозно. *Не было ни одного доклада об экономии воды*, но докладов о перебросках хватало. Понятно, что августовское постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР было как снег на голову. Но открывавший съезд Ю. А. Израэль, основные докладчики и руководители секций и подсекций (И. А. Шикломанов, С. К. Черкавский, Г. В. Воропаев, Р. А. Нежиховский, А. Л. Великанов и др.) могли бы в своих докладах дать должную оценку этого постановления и правильную ориентацию в дальнейшей научной работе 1200 делегатов. Нет, этого не произошло. «Мы что, должны благодарить директивные органы за это постановление?..» — так из президиума съезда высказался в ответ на мой запрос председательствующий перед принятием резолюции. Воистину это был *«съезд нераскаившихся гидрологов»*, как его назвал Ю. К. Ефремов!

Та же картина при все тех же действующих лицах была и во второй по счету (за последние два года) комиссии, созданной по поручению правительства в марте сего года. Ни в группе «водные ресурсы» (А. А. Никонов), ни в группе «социальные и экономические вопросы» (А. Г. Аганбегян) не были рассмотрены затронутые здесь проблемы. Современные водохозяйственные балансы рек юга ЕТС были представлены в искаженном виде (ресурсы уменьшены, а потребление преувеличено), *оказались скрытыми резервы в 50 кубокилометров*, и «ничего не остается делать, как готовиться к переброскам с Севера». Дезинформация же о «большом вкладе» водных мелиораций в решение продовольственной проблемы осталась не вскрытой, хотя об этом известно многим членам комиссии. В частности, это известно академику А. Г. Аганбегяну, который подписывал в конце 1985 года заключение в комиссии вице-президента АН СССР А. Л. Яншина по этому вопросу.

Была сделана попытка доказать недоказуемое — что «сухие» мелиорации и поддержание плодородия земель у нас проводятся в достаточном объеме.

По данным же ЦСУ СССР, на охрану и рациональное использование земель за пятилетку (1981—1985) был израсходован всего 1 миллиард рублей. Закладка лесополос снизилась в 2,5 раза, почти совершенно не ведутся работы по закреплению оврагов, террасированию крутых склонов, противоэрозионным сооружениям.

Заканчивая, скажу так: *земля и вода — в опасности, требую научного суда над теми, кто эту опасность создает и углубляет!*

Прочитируем еще одно письмо — из ряда типичных, нашедших место на страницах журнала:

«Волей обстоятельств каждый из подписавших это письмо несознательно или сознательно принимал участие в том или ином разорительнейшем строительстве. Мы работали на крупнейших гидротехнических стройках, многие из нас более чем с пятидесятилетним стажем в партии, и, конечно, горько сознавать в итоге жизни — почему же не хотят учиться на нашем опыте, на наших ошибках люди нового поколения?

В свое время мы работали в коллективе Сталинградгидростроя, нам поручили строительство Астраханского водodelителя. Стоимость его 132 миллиона рублей. Капвложения заложены в среднем семнадцать — двадцать лет назад, но водodelитель десять лет не работает. Зря строили? Сколько мы потеряли, затратив деньги на строительство водodelителя? Приблизительно полмиллиарда рублей за счет омертвления капвложений. Кто же повинен в этом?

Далее нашему коллективу поручили построить крупнейшую на Волге насосную станцию мощностью 27 кубических метров воды в секунду для подачи воды на орошение полей Городищенской оросительной системы. Насосную построили в 1974 году, и вот двенадцать лет она работает меньше чем на половину мощностей. Воду некуда качать, нет площадей орошения. За шестнадцать лет с начала стройки построено 16 тысяч гектаров, а нужно для полной загрузки 27 тысяч гектаров. Значит, загрузка полная будет достигнута где-то еще через одиннадцать лет. А это двадцать семь лет строительства. За этот срок омертвленная часть капиталовложений — неиспользование мощностей — даст ущерб в 110—120 миллионов рублей.

Кто же допустил такой просчет, диспропорцию? Известно, допустил институт Волгогипроводхоз, но кто пропустил это в дело?

Если принять ведомственную точку зрения Минводхоза СССР, то такая неэффективность расходовании народных средств и ресурсов для них не имеет значения. Все затраты ведомство компенсирует сполна да еще в качестве дотации получает сотни миллионов рублей ежегодно под маркой «операционных», «стихийных» и прочих «непредвиденных расходов». Огромные деньги тратим, вред земле наносим, экономику губим, а «спросить за это, как у нас водится, будет не с кого», как сказал В. Распутин на Восьмом съезде писателей.

Сейчас, когда мы взялись за глобальное благоустройство земли, за ее всестороннюю мелиорацию, мы должны удовлетворительно справиться с выпавшими на нашу долю задачами.

Наши мелиораторы, взявшиеся за реконструкцию природы, ее благоустройство, не хотят отвечать не только сейчас, но и перед потомством за свои «про-

жекты». Все чаще раздаются реплики: «Не будем ворошить прошлое, не будем подвергать ревизии осуществленные проекты. Не будем осуждать... искать виновных...» и т. п. Мы добились того, что некому отвечать за содеянное перед государством и народом сейчас, но этого мало, нам хочется остаться безнаказанными и в памяти потомков.

Инженеры-гидротехники, участники строек: **ТРЕГУБОВ А. П.**, Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС, Астраханский вододелитель, оросительные системы Волгоградской, Астраханской областей; **БУССОВ А. П.**, Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС, гидромелиорация Главволговодстроя; **ЕНДОВИЦКИЙ С. М.**, Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС, проектный институт Гидропроект имени С. Я. Жука; **СТАХОВИЧ А. Н.**, Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС, проектный институт Оргтехводстрой; **ВАКУРОВ И. С.**, Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС, Сочигэсстрой, Горьковгэсстрой; **КРИВОШЕЕВ П. Ф.**, Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС, Левобережные оросительные системы; **ХАВРОНИН И. А.**, Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС, Городищенская оросительная система».

Предоставив полную возможность откровенно высказаться и той, и другой стороне, главный редактор наконец выступил и со своим словом. Это трудное, истинно в муках рожденное слово. В нем — боль и недоумение, яростный призыв опомниться, оглядеться вокруг и неугасающая надежда на то, что многое еще можно поправить. Если отбросить корысть, взаимные обиды, если проявить человечность... Тут уж не до тщеславия, не до каверзного стремления вознестись над министерствами и прочими солидными ведомствами, над «бездарными специалистами». Тут лишь бы разобраться, что же происходит с нами и землей, на которой живем, лишь бы донести до других свое потрясение, тревогу... С. Залыгин озаглавил монолог «А что же дальше?». Будет неверно, если кто-то подумает, что этот вопрос обращен только к ведомствам, администраторам и специалистам. Нет, он обращен к сердцу и уму каждого из нас.

После необходимых пояснений писатель приступает к главному: «Обвиняя противников переброски в дилетантстве, сторонники этого проекта в то же самое время упрекают многих наших выдающихся ученых в том, что они собирались для обсуждения проблемы в узком кругу, без участия защитников переброски, то есть не за «круглым», а за «полукруглым» столом. Может быть, это и так. Но кто же им-то мешал созвать свой «полукруг» из таких же вот крупных ученых? Кто мешал противопоставить мнение одного «полукруга» мнению другого?

Да дело-то в том, что среди сторонников переброски не было активно и открыто действующих крупных ученых.

Вот вам и «дилетантство» общественного мнения!

То же самое и в отношении писательской общественности — почему это все писатели, так или иначе причастные к проблеме, категорически против? Это несправедливо! Но почему же несправедливо, если среди писателей действительно никого не было «за»? И премии большие назначал Минводхоз за лучшие очерки о его деятельности — никто не соблазнился, некому было премии присуждать. Премии пришлось ликвидировать, комиссию по премиям распустить.

Да, лично я полагал, что уроки дискуссии теперь уже очевидны для всех ее участников и что сторона «потерпевшая» сделала для себя вполне

определенные выводы. Опять-таки общественного (а не узковедомственного) характера.

Так я, так мы — общественность — представляли себе дело, так представляли себе все то, что в августе прошлого года случилось. Но... оказывается, мы были слишком доверчивы, слишком оптимистичны, а может быть, и слишком легкомысленны.

...Вот Г. В. Воропаев больше чем полгода спустя после постановления выступает в печати («НТР: проблемы и решения», 1987, № 5), так ведь у него и в мыслях нет хоть как-то объяснить ошибки — свои собственные и своих верных помощников! Объяснить всякого рода подтасовки и подгонки!

Ничуть не бывало. «Мое мнение: проекту жить...» — вот так обозначил он свое выступление. И если жить проекту, так, значит, и директору жить в должности директора и коллективам проектировщиков, а их десятки тысяч, жить неплохо, во всяком случае не хуже, чем до сих пор. А может быть, и лучше.

Или вот еще говорят — надо искать виновных! Совсем оскорбительно! Их не только нет ни одного, их не может быть — вот что надо понять общественности! Вскорости мы подготовим кандидатуры к очередному награждению, а потом общественность должна будет их поприветствовать — вот ее дело!

Рабочий-нефтяник и журналист А. Земцов пишет о строительстве никому не нужного канала переброски Волга — Дон, об этом же пишут инженеры, заслуженные ветераны труда, называют размеры возможного омертвления капитальных вложений — 1,3 миллиарда — и еще, и еще, и еще приводят факты такого же рода, но... Но чего их слушать-то? Они — кто? Они же общественность, они дилетанты!

А вот у меня — тоже общественника — чем дальше, тем больше возникает недоумение, я ставил не раз, я поставил и в статье «Поворот» ряд серьезных, наболевших, если на то пошло, драматических и даже трагических вопросов нашей хозяйственной практики, но почему-то именно на них-то мне никто из оппонентов и не отвечает. Почему бы это? На второстепенные, на третьестепенные вопросы и ответы есть (пусть и неудовлетворительные, но есть), а на эти? Как будто бы этих вопросов нет вообще.

...Мне говорят: вы «утаили» от читателей вторую часть постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в которой речь идет о необходимости дальнейшей проработки проблемы переброски, а эта часть и есть на сегодняшний день главная. Смешно — как я могу утаить постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР? Но почему же никто из моих оппонентов не объяснит, как дошли они до жизни такой, остановить которую можно было только специальным постановлением? Ведь это примерно то же самое, как если бы мы говорили о решении Политбюро по Чернобылю только в той его части, которая касается ликвидации всех последствий аварии, но о самой аварии молчали, будто ее и не было! Так и здесь: нужно все-таки разобраться в причинах аварии проектов перебросок, в потерях, которые мы понесли, в причинах упорства их авторов, в методах камуфляжа, которые позволяют им выдавать аварию за нормальный ход вещей, а то и за достижение.

Вот один из моих оппонентов упрекает меня в том, что я преувеличил затраты на проект до 500 миллионов — 1 миллиарда рублей, и называет совсем другую цифру — 84 миллиона. Другой тоже упрекает и называет цифру «истинную» — 140 миллионов рублей.

...Посмотрите на земли наших северо-западных областей, областей Нечерноземья, да и Черноземья тоже,— они разрушаются, деградируют от беспощадной, искусственно вызванной эрозии, зарастают, забрасываются, а ведь это ради них, ради их улучшения было создано в свое время Министерство мелиорации и водного хозяйства. А что нынче представляют собой переосушенные земли Белоруссии и заболоченные земли Каракалпакии? Почему Ашхабад — город, расположенный в пустыне, спасают от заболачивания 150 скважин откачки? Что творится с землями «мелиорированной» Барабы на площади в сотни тысяч гектаров? Для чего строится, вот-вот будет строиться никому не нужная и неэкономичная Даугавпилская ГЭС, если она не принесет маленькой Латвии ничего, кроме материальных, культурно-исторических и моральных потерь? Кто доказал необходимость строительства Катунской ГЭС на Алтае?

Кто экономически и экологически обосновал проект строительства Туруханской ГЭС, строительства каскада ГЭС на Енисее, которые затопят поймы на протяжении тысяч километров, и уж тут-то нельзя спорить с тем, что это никак не повлияет на климат? Ведь энергии мы и так вырабатываем больше, чем многие высокоразвитые страны, но как мы ее используем, сколько теряем — вот что должно нас заинтересовать раньше, чем проектирование самых-самых крупных ГЭС. А почему создалось такое положение, при котором уже через несколько лет погибнут окончательно Ладожское озеро и Приладожье? К каким последствиям приведет строительство дамбы в Ленинграде, к чему — строительство Днепро-Бугского гидроузла, есть ли гарантии, что лиман не превратится в плантацию сине-зеленых водорослей, не заилится, не наполнится ядохимикатами,— кто ответит общественности на все эти вопросы?

Минводхоз может сказать: вы перечисляете и не «мои» объекты, ГЭС строим не мы, а Минэнерго.

Но ведь Минводхоз, кроме всего прочего, является еще и государственным водным контролером, он, по существу, должен отвечать за состояние и разумное использование всех водных ресурсов на всей территории нашей страны.

Хорош «контролер», если никто из работников Минводхоза, никто из сотрудников Института водных проблем ни в одном из своих писем по поводу статьи «Поворот» даже и не ставит этих вопросов, как будто их нет в природе. Так как же не грянуть национальной катастрофе? А может быть, она уже и грянула, да мы об этом не знаем, читая великолепные релиаии Минводхоза, подобные, скажем, специально и шикарно изданной им брошюре, которая распространялась среди делегатов XXVII съезда КПСС?

В чем же тут дело? Почему сложилось такое положение в нашем водном хозяйстве?

Не потому ли прежде всего, что Минводхоз — типичнейшая из типичных прозатратных организаций и ее задача как можно больше взять из бюджета средств (10,5 миллиарда рублей в год!) и как можно меньше отчитываться в конечных результатах их расходования?

Главный показатель деятельности Минводхоза — ввод новых объектов. Он их сам проектирует, сам определяет их стоимость и, по существу, сам себе сдает. Заказчику — что? Сколько бы объект ни стоил — ведь не его же это деньги-то, а того же Минводхоза. Такой «вал». Такой отчет в «освоении средств»... Вложены средства в проект, который остановило правительство,

или в откачку оросительной воды из-под города Ашхабада, или в реконструкцию и переустройство оросительных систем, никуда не годных, без коллекторной сети, лишь недавно построенных тем же Минводхозом,— все равно деньги-то израсходованы, так или иначе списаны, следовательно, и план выполнен...

Такое хозяйство. Такая экономика. Именно в такого рода экономике министр мелиорации и водного хозяйства товарищ Н. Ф. Васильев и видит преимущества социалистической системы и бережет их как зеницу собственного ока.

Да-да, нынче «компетентные лица» уже научились и устно, и тем более письменно избегать слова «переброска», еще так недавно и так приятно ласкавшего слух, теперь это слово заменено другим — «проблема». Ну ничего, эту жертву можно принести. Можно условиться, что если еще недавно под проблемой понималась необходимость пополнения стока Волги, а значит, и повышения уровня Каспия, то нынче, когда Каспий сам по себе пополнился на 80—90 годовых объемов проектируемой переброски (глаза бы не смотрели на этот факт!), нынче крайне необходимо отсасывать лишнюю воду из Волги. Как отсасывать? Да с помощью все того же перебросочного канала Волга — Дон.

В первоначальном значении проблема сохранилась и в том, как обеспечить водой те районы орошения, в которых давно уже тратится этой воды в 1,5—2 раза больше, чем следует. Логика такая: будем тратить воды как можно больше, а тогда можно ее и больше требовать.

Логика все та же, прозатратная: больше истратим — больше получим; логика пока что работает безотказно, касается ли она миллиардов рублей народных денег, бесконечно раздутых штатов или кубокилометров воды.

Учись, общественность!

Знай, общественность, что теперь тебе и неудобно, и невежливо твердить о растраченных миллионах, старый дядя омолодился, он, кажется, снова вступает в пору золотого детства. Для общества оно и вправду будет золотым...

Значит, так — меня упрекают в том, что я «скрываю от общественности решение Политбюро». Скрывай его или не скрывай, а там сказано вот что: «Рассмотрев вопросы осуществления проектных и других работ, связанных с переброской части стока северных и сибирских рек в южные районы страны, Политбюро в связи с необходимостью дополнительного изучения экологических и экономических аспектов этой проблемы, за что выступают и широкие круги общественности, признало целесообразным прекратить указанные работы. В принятом по данному вопросу постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР предусматривается сосредоточить главное внимание и сконцентрировать материальные средства прежде всего (разрядка моя.— С. З.) на более экономном и эффективном использовании имеющихся водных ресурсов и комплексном использовании всех факторов интенсификации сельскохозяйственного производства».

Так вот не я, а сторонники переброски произвольно, на основании одной строки решения — «...в связи с необходимостью дополнительного изучения экологических и экономических аспектов этой проблемы...» — истолковывают этот документ в целом. Почему же они не замечают то, о чем говорится прежде всего,— о том, что главное внимание и средства должны быть сосредото-

чены на использовании имеющихся водных ресурсов, имеющихся, а не переброшенных за тридевять земель?

Учись, общественность, все зависит от умения прочесть! Прочитал, «как надо», и продолжай себе строительство канала Волга — Дон, благо что теперь этот объект считается самостоятельным, к проекту переброски он теперь никакого отношения не имеет, а кто старое помянет, тому глаз вон...

Ну, строить — куда денешься? — приходится на виду у людей, а вот проектировать «вдали от шума городского» — это принцип. Ведь прозатратная система — закрытая система.

...Подумать только, сторонники переброски сравнивают себя с жертвами дискуссии 1948 года — они страдают, как страдали в ту пору вейсманисты-морганисты! Не знаю, как назвать такой трюк. Тогда шел разгром крупнейших ученых, так что же — нынешние водохозяйственники тоже страдают от избытка знаний и науки? Не слишком ли это высокомерно? Те ученые при всей нелепости обвинений в их адрес никогда не упрекались в растрате на ветер народных средств, а здесь сначала надо бы отчитаться перед народом в миллионах и в миллиардах, а потом обижаться.

Иначе это выглядит как в анекдоте: человека спрашивают, куда он израсходовал миллион, а он отвечает: какое право вы имеете меня обижать?

Или так: водохозяйственники жалуются на недостаток гласности — не давали и не дают им отстаивать свои взгляды. Но вот *главный редактор «Правды» В. Г. Афанасьев* на последнем съезде журналистов рассказал о том, что только «с огромным трудом, с помощью секретаря ЦК «Правде» удалось «пробить» материалы о Байкале, о необходимости пересмотреть необыкновенные планы — повернуть северные реки на юг». Это «Правде» и то не позволялось говорить о переброске, а в каком же положении были областные газеты? А районные?

В ту пору, когда гласности не было, «перебросчики» что-то и не жаловались, а когда она появилась, тогда — кар-ра-ул!

Мои оппоненты приписывают мне нелюбовь к мелиорации (и мелиораторам) в принципе. Но если бы это было так, мне, наверное, попросту были бы безразличны проблемы мелиорации.

Именно потому, что они мне не безразличны, я и пишу о них.

Ошибки... Могут они быть, конечно, могут — впервые строим новое общество, ищем новые пути, но вот в чем дело — почему ошибки-то нас не учат? Нет чтобы вырабатывать приемы и средства предотвращения ошибок, мы вырабатываем приемы и средства их камуфляжа и сокрытия, причем с хорошей, с благородной миной на лице.

Вот говорят: на ошибках учатся. Можно подумать, что чем больше человек делает ошибок, тем он становится умнее, а если правительство остановило осуществление проекта, побившего рекорды безграмотности и недобросовестности, так это безусловно заслуга ведомства, заслуга, которая сегодня же должна быть отмечена высокими наградами.

Вот мне вменяют в вину некоторые выдержки из моих работ семнадцатилетней давности.

Да, встречались в моих работах того времени абзацы и на эту тему. Было, было... Специальных работ по проблемам переброски стока и водохранилищ у меня не было, однако совсем не в этом дело. Дело не в том, как многие из нас смотрели на проблему тогда, а в том, как смотрят сейчас. В ту

пору все мы, и я в том числе, еще не знали, что у нас уйдет под затопление 2600 сел и 165 городов, не знали, что мы теряем 20 процентов урожая при уборке и хранении, и никак не могли предположить, что ради 2 процентов сельхозпродукции от заданий Продовольственной программы будет затеян «проект века», в ту пору я не читал сотен статей с убийственной и вполне заслуженной критикой нашего водного хозяйства. Я, разумеется, ничего не знал о том, что наступит время вопиющей бесхозяйственности в водном хозяйстве, но как раз тогда-то затеян будет совсем уже нелепый «проект века», который хозяйство это может подорвать окончательно, я не знал — в чьих руках эта важнейшая отрасль народного хозяйства и природопользования в конце концов окажется. В ту пору наше водное хозяйство меньше растрачивало народных средств и природных ресурсов, искало экономически оправданные, а не только прозатратные возможности своего существования. В ту пору оно было не в пример нынешнему поставлено гораздо лучше. Лучше же всего оно было тогда, когда всемогущего Минводхоза не было, а был только главк. (Вот бы и сейчас перенять нам тот опыт!) Как раз тогда закладывался широкий эксперимент с введением цены на воду, и в республиках, где эта цена была введена, расход оросительной воды сразу же сократился в 1,5 раза. Другое дело, что нынешнему Минводхозу эта экономия оказалась ни к чему, что цена на воду могла подорвать основы его стопроцентной и столь горячо любимой им прозатратности. Представьте себе, например, что Минводхоз покупает воду у государства, а затем продает потребителю с учетом стоимости ее доставки по каналам и сооружениям?»

Строя систему доказательств на очевидных, уже известных широкой общественности фактах, С. Залыгин ссылается на мнения авторитетных ученых.

Л. С. Понтрягин, академик:

«Качество научных проработок, выполненных названными институтами (Институт водных проблем АН СССР и Союзгипроводхоз.— С. З.) по проблеме переброски, не выдерживает никакой критики». К такому выводу пришло бюро отделения математики АН СССР, аналогичные постановления приняла бюро отделения механики и процессов управления, бюро отделений геологии, геофизики, геохимии и горных наук, общее собрание отделения математики АН СССР. Но тут же Л. С. Понтрягин добавил: «...предпринимаются неблагоприятные попытки добиться изменения формулировки названных постановлений. Все делается для того, чтобы обосновать бессмысленные дорогостоящие проекты».

Г. И. Петров, академик:

«У Энгельса... есть остроумное замечание о том, что если бы тот факт, что $2 \times 2 = 4$ задевал чьи-то интересы, то и его бы оспаривали. Директор ИВП АН СССР Г. В. Воропаев, его заместители член-корреспондент АН СССР М. Г. Хублярян и А. Л. Великанов, а также авторы методики в ее современном виде Д. Я. Раткович и В. Е. Привальский, вступив в спор с результатами беспристрастного анализа, проведенного математиками, по существу вступили в спор с таблицей умножения».

«Сотрудниками Института водных проблем были подогнаны величины в уравнениях (!), а сами уравнения решены неправильно, чтобы доказать таким способом монотонное-де понижение уровня Каспия и необходимость переброски вод северных рек... подтасовка научных расчетов в таком проекте являлась не

чем иным, как *решающим компонентом подготавливавшегося широко масштабного экологического и экономического преступления*».

Б. С. Соколов, академик:

«Проблема переброски стока северных рек России, проблема Байкала стала пробным камнем проверки силы советского общества в преодолении совершенно устаревших, антинаучных, волюнтаристских форм хозяйствования в борьбе против личностей любых рангов, действующих по принципу временщиков — «после нас хоть потоп», в борьбе за подлинную нравственность и культуру в общении с природой и разумное использование ее даров. Одновременно это борьба и за сохранение нашего неповторимого наследия, во всем идущего от родной земли и ее истории, борьба за будущее страны и занятое ею место в семье народов Земли».

«На этой мысли академика Б. С. Соколова нужно остановиться и снова обратиться (в понимании товарища О. А. Леонтьева) к вопросам «простым», — резонно замечает С. Залыгин. — В самом деле — почему же все-таки ведомство, его руководители не отстаивают свой проект в научных дискуссиях, не вступают в споры с одним или другим отделением АН СССР, а ищут обходные пути всякого рода докладных, подменяя научные споры решениями все новых и новых комиссий, ими же фактически снова и снова формируемых? Неужели на этом проекте для ведомства свет клином сошелся, и оно не может уступить один «объект», один из многих своих объектов?

Оказывается, не могут, не доросли, не демократизировались, не образовались до того, чтобы уступить. И причин тому с их точки зрения — более чем достаточно.

Нельзя уступать прежде всего потому, что все другие и уж во всяком случае многие проекты обоснованы еще меньше. Если уступить в этом пункте, не придется ли уступать и в десятках других?

Нельзя уступить потому, что ведомство и общественность столкнулись вот так впервые и это первое столкновение ведомству надо выиграть во что бы то ни стало. Надо выиграть его и некоторым надведомственным организациям, они тоже утверждают: делаем мы, а не общественность, и мы лучше знаем, что делаем! А если этому принципу надо принести в жертву миллиарды рублей, миллионы гектаров земель, сомневаться не приходится — они будут принесены...

Именно это положение и имел я в виду, когда писал в статье «Поворот»: «Государство и общество интересуется проблема охраны природы, а ведомство — максимальное (толковое и бестолковое) использование всех ее ресурсов. Государство и общество интересуется проблема повышения производительности труда, а ведомство — увеличение собственных штатов».

Едва ли не все беды советского общества, все перегибы, все незаконные репрессии, все культы личности, все сселения сельского населения в агрогорода, и явление на поля наши «царицы полей» — кукурузы, и слабосильные пятирежды герои труда тоже произошли из этого — нарушения разумных, открытых отношений между государством, ведомством и обществом.

Вот о чем идет речь, когда встает вопрос о проектах переброски части стока северных и сибирских рек. И прав, прав, еще раз прав академик Б. С. Соколов!

И ясно уже, что если мы не осуществим такого рода упорядочение и демократию, то лет через пятнадцать мы действительно станем одной из самых

малоземельных, низкоурожайных и бедных стран, мы окончательно погубим наши совершенно исключительные природные ресурсы, саму природу и себя погубим.

Эта реальная перспектива ни одного из моих оппонентов не тревожит, никто из них — в этом могли убедиться читатели — о такой перспективе и не заикается, хотя, казалось бы, кому-кому, а им, природопользователям, в этой проблеме надо бы быть первыми. Если же они в ней последние, так не потому ли, что своими руками эту проблему, эту перспективу создали и создают?

Вот передо мной письмо товарищей Пирмата Шермухамедова, председателя комитета по проблемам сохранения Аральского моря и Средне-Азиатской зоны культурного земледелия, и Абди-Кадыра Эргашева, ответственного секретаря национального комитета УзССР по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера»: Они пишут: «...многоплановые затруднения... из-за нехватки воды невозможно устранить путем одного грандиозного проекта, например, переброски части стока сибирских рек. Этот проект далеко не совершенен, и нельзя заранее предвидеть все те изменения и последствия этого в природно-климатическом и социально-духовном планах... Представляется нам куда более разумным придерживаться курса по рациональному и эффективному использованию имеющихся наших запасов воды».

Вот о чем надо говорить сейчас Минводхозу в полный голос, гораздо громче, чем о проблеме переброски,— об использовании местных водных ресурсов.

Может быть, читатели обратили внимание на то, что ни министр водного хозяйства, ни его заместители, ни начальники главков в нашей дискуссии участия не принимают?

Союзгипроводхоз и другие проектные подразделения — эти шлют письма, но министерство как таковое — ни-ни! Такое вот разделение труда и обязанностей. Все расписано — кому говорить вслух, кому помалкивать... И еще одно замечание.

Я то и дело слышу: а почему это Залыгин выступает от лица общественности — кто его уполномочил?! И правда, никто.

Но дело-то в том, что мне и не нужно ничьих полномочий — к чему они, если я выражаю свое мнение? Мои оппоненты выражают и свое, и ведомственное мнение, я — только свое. А это уже другое дело, что оно совпадает с мнением общественным. Мои оппоненты — бывают и такие случаи! — тоже не гнушаются общественным мнением, на него ссылаются, тоже утверждают: еще неизвестно, кого оно поддерживает больше.

Как же решить вопрос о направлении общественного мнения? Неужели этот вопрос не решается? Решается! Народным обсуждением он решается!

Давайте обсудим всем народом — как оценивает он деятельность Министерства мелиорации и водного хозяйства?

Пусть это министерство и его научный консультант — Институт водных проблем — расскажут нам о положении в водном хозяйстве и мелиоративных делах. Пусть будут представлены финансовые отчеты, пусть народный контроль эти отчеты подтвердит, равно как и отчеты о полученных (реальных) результатах, о фактических урожаях, о списанных («выключенных из водопользования»), заболоченных, засоленных, а также и о деградирующих землях,— надо же нам когда-нибудь наводить порядок в использовании земельных

и водных ресурсов, надо составить представление о реальном положении дел.

На обсуждение должны быть поставлены результаты и необходимость строительства дамбы Кара-Богазы, Волга — Дона, ленинградской дамбы, Катунской и Даугавпилской ГЭС и многих крупных объектов.

Материалов для обсуждения будет достаточно: отчеты Минводхоза, Института водных проблем и Госкомгидромета, наряду с ними все выступления печати последних лет, документальные фильмы «Земля в беде», «Цена воды», «Плотина», «Компьютерные игры». Фильмы эти почему-то до сих пор не демонстрируются вовсе или только от случая к случаю. Разумеется, Минводхоз покажет и свои ленты — их много, они красивые.

Выясним, почему Арал погибает от безводья, а прилегающая к нему Каракалпакская АССР — от заболачивания и засоления, откуда такое невероятие, такой парадокс? Конечно, еще поговорим и о переброске. Чем она так хороша и так удобна? Уж не тем ли, что если силы и средства водохозяйственников окажутся сосредоточенными на ней, если о ней будут писать, какая она великая, как всех нас осчастливит раз и навсегда, так под это дело можно начать «жизнь снова», омолодиться, *списать миллиарды*, восстановить престиж аварийщиков, а может быть, *и спустить на тормозах уже сейчас достаточно серьезные претензии прокуратуры?*

А что? Это только на первый взгляд может показаться невероятным, но разве такое решение навсегда исключается?

Ведь и эта открытая полемика еще года два-три тому назад могла показаться невероятной. Кому-то... Конечно, прежде всего тем, кто ее избегает, кто в ней не заинтересован ни в коем случае. Кто и сейчас не чувствует себя достаточно твердо и предпочитает некие «сложности» простым, но самым значительным в наше время вопросам. Подчеркиваю: самым значительным.

Если бы речь шла о какой-то другой, положим, промышленной, отрасли хозяйства, можно было бы и по-другому рассуждать: вот исправим ошибки, наверстаем упущенное, перевыполним план — и все встанет на свои места.

В природопользовании, в частности в водном хозяйстве, просчеты и злоупотребления практически неисправимы, засоленные и заболоченные земли списываются то и дело навсегда, полное восстановление их требует таких затрат и такого времени, которыми вряд ли мы когда-нибудь будем располагать. Нельзя до конца очистить и заросшие, гниющие водоемы.

Поэтому в природопользовании прежде всего нужно исключить все проекты, все работы, конечные результаты которых вызывают сомнения. Лишняя работа — это наша беда, исключите ее, лишнюю, отовсюду, и общество наше осуществит перестройку и будет процветать, но в природопользовании это не только беда, но и великий грех перед потомками, перед человеком и человечеством. Нет более ценного общественного достояния, чем природа, так не лучше ли уже сегодня обществу контролировать природопользование, чем завтра хвататься за голову, спасая пустыни от заболачивания, черноземы от деградации, водоемы от гниения?

Нам все время пытаются внушить, что общество не обладает необходимыми для этого знаниями. Но мне кажется, что люди, которые это утверждают, сами знают, что они лгут. Ведомства не спасали ни Нижнюю Обь, ни Байкал — их спасала общественность, а в обсуждении проектов переброски приняли участие такие научные силы, которыми не располагает ни одно ведомство.

И теперь уже немалый опыт нам говорит: *природу может спасти только общество, только оно!*

С последним утверждением С. Залыгина нельзя не согласиться. Действительно, спасение природы — в руках человека. *Об этом заявили и участники «Байкальской встречи»,* проходившей в Иркутске с первого по пятое августа 1987 года. В ней приняли участие шесть советских и семь японских писателей и ученых, которые проинформировали друг друга о проблемах экологии и нарастающих кризисных явлениях в природопользовании.

Лауреат премии «Лотос», прозаик Кадзуо Ёкомацу заявил на встрече:

«Не может писатель равнодушно проходить мимо умирающей реки, мимо срубленного дерева. Природу губят равнодушные люди. Кто-то ведь должен противостоять им. Я уверен: за прогресс, за скорости движения, за то, что многое делается вопреки здравому смыслу, придет расплата».

Собственно, ту же идею развил и **Виктор Астафьев:**

«Невероятно терпелива природа по отношению к нам. Если бы природа была такой злой, как мы, то давно бы мы вымерли. Нельзя назвать разумными людей, которые содеяли пятнадцать тысяч войн. И на одной, самой страшной из них, я был. Я видел, на что способен человек. У меня подчас такое ощущение, что «гомо сапиенс» просто занял в прекрасной природе чье-то место. Кого-то этот наглец убил и заступил чью-то дорогу. Беззащитны перед человеком земля, вода, воздух, зеленый росток. Глядя на родники, я думаю, что ведь есть все-таки что-то разумное, мудрое, что предназначено для жизни на планете.

Мы восхищаемся, что в невероятно трудных условиях плодоносит картошка. Но нельзя забывать, что всему есть предел. В один страшный день мы не обнаружим в земле клубней. Не могут все эти накопления химических веществ, все эти кислотные дожди, все эти отравленные ядами источники не натворить беды! Остается нам не только поклониться картошке, не только поклониться каждому родничку, каждой капле питьевой воды, но и действительно бороться за них. И все литераторы, литературная периодика обязаны в ущерб, может, другим темам бить в набат во имя спасения природы».

Как сообщила «Литературная газета» (19 августа 1987 г.), советские писатели выступили с докладами о загрязнении и нарушении природных процессов в озерах Байкал и Севан. Японские писатели и исследователи представили обстоятельный доклад о состоянии озера Бива и сложившейся ситуации в стране в связи с распространением болезни Минамата.

Состояние озер Байкал, Севан, Бива, которое из года в год осложняется эвтрофикацией — загрязнением биогенами в результате промышленной и человеческой деятельности, — дает основание рассматривать проблему не изолированно, а лишь как часть нарушения целостности окружающей среды. При этом необходимо учитывать, что в дальнейшем масштабы нарушения экосистемы озер, в которых аккумулируются запасы питьевой воды, растут катастрофически в век ядерной энергетики, высокой технологии и химической промышленности.

Было отмечено, что доклады, дискуссии, демонстрации фильмов подтвердили мысль о том, что почти все вопросы экологии, в частности экологии озер, — это звенья одной единой цепи, не разорвав которую мы поставим человечество уже в обозримом будущем перед катастрофой.

Сознавая, что вопросы, поднятые на «Байкальской встрече», требуют

своих неотложных решений, а также то, что с опасными явлениями нарушений экологии можно вести успешную борьбу лишь объединенными усилиями, участники «Байкальской встречи» выступили со следующим заявлением:

«Пресные озера и все источники питьевых вод — это общее достояние народов мира; дело их рационального использования и охраны — общее дело всего человечества;

— в ходе встреч в Иркутске была выявлена необходимость расширения контактов советских и японских, а также литераторов других стран в сфере предотвращения оскудения и загрязнения вод озер и охраны чистоты питьевых источников;

— выработать совместную программу ежегодных традиционных встреч писателей разных стран под названием «Байкальское движение» в различных регионах мира и в шестимесячный срок представить на рассмотрение комитета «Байкальского движения» проект программы;

— предложить возглавить «Байкальское движение» комитету в составе: с советской стороны — В. Распутин и З. Балаян, с японской — Нобуюки Накамото и Вахэй Татэмацу. Поручить комитету организовать очередную встречу «Байкальского движения» в 1988 году на озере Севан (Армянская ССР) и в 1989 году на озере Бива (Япония)».

Так что дискуссия о природе и природопользовании, о судьбе земли и в целом — нашей планеты Земля будет продолжена. Разговор о переброске рек — всего лишь часть большой и многогранной экологической проблемы, которую предстоит решать воистину всем миром.

С начала дискуссии о «проекте века» прошло уже несколько лет. За этот срок, после апрельского (1985) Пленума ЦК КПСС, принято немало важных партийных и государственных решений, в том числе по вопросам экологии. После январского и июньского (1987) Пленумов ЦК КПСС процессы обновления и демократизации, особенно в сфере управления экономикой, стали реальной действующей силой. Командно-административный стиль, объективно несущий в себе элементы бездумного волюнтаризма и зачастую отрицавший доводы самой жизни, яростно сопротивляясь, уступает экономическим методам хозяйствования, точному, научно обоснованному прогнозу. Закоснелого чиновника, готового в угоду своекорыстному расчету поступиться совестью, профессиональной честью и нашими общими интересами, теснит сама жизнь.

Ввиду наступивших перемен некоторые социально-экономические вопросы, поднимавшиеся участниками дискуссии, уже или сняты, или потеряли первоначальную остроту. Это естественно. Идет живой процесс обновления. Сказывается во всем и принятая радикальная реформа управления в экономике... Но значит ли это, что чиновник, голый администратор добровольно уступит свои позиции новым методам хозяйствования и руководства? Нет, он сопротивляется, отстаивает занятое ранее «жизненное пространство». С ним еще предстоит нелегкая борьба. И все же он уступит. Вынужден будет уступить!

Непросто поправить положение и навести упущенное в экономике. Но куда труднее разрядить напряженную экологическую обстановку. Многие ведь, как отмечали участники дискуссии, из-за экологически неграмотного хозяйствования, внедрения непродуманных проектов уже потеряно безвозвратно. Например, возникновение ряда рукотворных сибирских «морей» повлекло за собой гибель леса на больших пространствах и отравление воды продуктами разложения древесины. Кроме того, в моря, озера, водохранилища и реки

ежегодно сбрасывается до 6,5 кубокилометра неочищенных сточных вод, а это составляет десятки миллионов тонн ядовитых веществ.

Природа действительно в беде. Поэтому надо спешить. Надо спасать пашню — от иждивенцев-хозяйственников, чистоту водоемов — от загрязнения, а реки — от очередных прожектов их покорения. Надо спасать землю!

Тревога общественности закономерна. В последние годы ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли ряд постановлений, направленных на оздоровление экологической ситуации в районе таких природных и природно-исторических объектов, как музей-усадьба «Ясная Поляна», озеро Байкал, Ладожское озеро. Сделан обстоятельный анализ воздушного бассейна города Кемерово, других промышленных объектов. Но этого, конечно, недостаточно. Не случайно в ЦК КПСС еще раз всесторонне рассматривался вопрос общего экологического состояния в стране. Учитывая сложные обстоятельства, признано необходимым создать, по существу, первую в мире государственную экологическую службу на базе уже существующего Госкомитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. Подготавливается также Экологическая программа, которая должна стать основой Государственной программы охраны природы и рационального использования природных ресурсов.

Перестройка экономики и общественной жизни должна осуществляться одновременно с коренной перестройкой нашего отношения к природе. Подчеркивая эту мысль, «Правда» в публикации «Экология без косметики» (7 сентября 1987 г.) остерегает хозяйственников от порочной практики экономии на очистных и других защитных сооружениях. «Крайне медленно,— пишет газета,— разрабатываются малоотходные и безотходные технологические процессы, экономическая заинтересованность в природоохранной деятельности практически отсутствует. В условиях полного хозрасчета и самофинансирования эти проблемы еще более осложняются. Выход один — необходимо резко повысить производственную и экологическую дисциплину».

Для всякого непредубежденного человека несомненна огромная польза и общественная значимость состоявшейся дискуссии о повороте северных рек. Она стала не только стимулом и характерным признаком расширения и углубления нашей демократии и гласности, но и внесла свежую, оздоровляющую струю в откровенное обсуждение других, не менее важных и неотложных, экологических проблем.

Наше общество с трудом, но перестраивается, заново осмысливая пройденный этап жизни, ища новые пути решения сложных задач, в том числе экологических. Ряды защитников природы полнятся, охватывая все слои населения. Благодаря их активным действиям в последние годы по отдельным областям и регионам страны принят целый ряд важных государственных решений, которые направлены на спасение земли и леса, рек и озер, очищение воздушных бассейнов от промышленных выбросов. Хотя, как убеждает практика, принять то или иное решение еще полдела. Труднее добиться его неукоснительного выполнения, отстоять коренные положения от хитрых лазеек и обходных маневров тех, кто зачастую преследует узкоэгоистические цели, продиктованные ведомственными, групповыми, материальными либо бюрократически-карьеристскими соображениями.

Будем реалистами: ведь консерваторы тоже «перестраиваются», опминаясь от временного потрясения и спешно выдвигая новые контраргументы, доводы, факты и фактики. Лишь бы посеять сомнения да посылнее замутить

воду — и в прямом, и в переносном смысле. Об этих ухищрениях все чаще сообщает периодическая печать. 3 января 1988 года «Правда» опубликовала материал своего корреспондента об отчете партийного комитета института «Союзгипроводхоз» перед парторганизацией о работе по руководству перестройкой. Вы думаете, руководители и ученые института встревожились, пересмотрели прежние неверные взгляды? Дали всему случившемуся объективную оценку? Ничего подобного. Их, как видно из статьи «Антитечение», не вразумило даже постановление ЦК партии и правительства. «Институт лишился своего развернутого титула, но прежние гегемонистское настроение владыки вод с идеями актирек у него осталось,— заключает газета.— В его руках все та же реальная власть, те же ключевые позиции реально распоряжаться политикой мелиорации, судьбой рек и озер».

Новые маневры Минводхоза привели к тому, что вопреки принятым решениям началось сооружение канала Волга — Чограй, проект которого — составная часть проекта переброски стока северных рек на юг. На строительство планируется затратить около двух миллиардов рублей. Группа академиков и видных ученых страны, в их числе В. Большаков, А. Жирмунский, Б. Ласкорин, А. Румянцев, Б. Соколов, В. Егоров, Ю. Чернов, А. Яблоков и другие, потребовали немедленно прекратить эти работы, которые находятся в вопиющем противоречии с курсом на интенсификацию общественного производства, ресурсосбережение и охрану окружающей среды. Авторы этого письма считают необходимым просить ЦК КПСС и Совет Министров СССР принять постановление по социальному и экономическому развитию Калмыцкой АССР как района экологического бедствия. (См. «Правду» от 29 марта 1988 г., № 89.)

Не менее показательна также история со строительством Ржевского гидроузла на Верхней Волге. Несмотря на отрицательное заключение Академии наук СССР, авторы «будущего моря» все-таки добились того, что на волжских берегах начали безжалостно валить сосновый щит, намереваясь вырубить ценнейшие леса на площади в пять тысяч гектаров. 14 января 1987 г. член Государственной экспертной комиссии Госплана СССР И. Айдаров, инженер В. Гришин в ответ на многочисленные протесты попытались защитить явно негодную идею с гидроузлом в своем письме, напечатанном в газете «Советская Россия» под весьма многозначительным заголовком: «У ржевского проекта все преимущества». Но их «научно-экономические» обоснования убедительно опровергли в той же газете вице-президент АН СССР, академик, Герой Социалистического Труда А. Яншин, академик, член Государственной экспертной комиссии Госплана СССР Б. Ласкорин, член экспертной подкомиссии Госплана СССР по ТЭО Ржевского водохранилища В. Каминский.

В конце концов эта дискуссия завершилась отменой строительства гидроузла и деловым рассмотрением более оптимальных вариантов водообеспечения Москвы. При отсутствии широкой гласности все могло быть иначе. На этот раз Верхней Волге повезло. Но если иметь в виду экологическую ситуацию на всей Волге, она остается крайне напряженной. Такой вывод основан на результатах исследований экспедиции, проведенной лабораторией биосферных исследований Института литосферы АН СССР. Беседа с заведующим этой лабораторией, ученым-экологом Ф. Я. Шипуновым, известным страстными выступлениями в защиту российских черноземов и малых рек, дала возможность «Советской России» продолжить разговор на актуальную тему. Об этом можно прочесть в опубликованных материалах «Стоны Волги» (18

ноября 1987 г.), «Единственный грех» и «Консилиум у реки» (29 января 1988 г.).

Отрадно отметить, что откровенному разговору о наших наболевших отечественных проблемах во многом способствовали решения январского (1987) и февральского (1988) Пленумов ЦК КПСС, подготовка к XIX Всесоюзной партийной конференции. В докладе на ней М. С. Горбачева, аргументированных выступлениях делегатов — председателя колхоза «Ленинская искра» Чувашской АССР А. П. Айдака, председателя Государственного комитета СССР по охране природы Ф. Т. Моргуна, украинского писателя Б. И. Олейника и других с новой силой прозвучала тревога за судьбу нашей земли, русских черноземов. Примечательно, что Борис Олейник передал в адрес Всесоюзной партконференции обращение общественности республики «О пересмотре программы развития энергетики на Украине», под которым стоит шесть тысяч подписей. С трибуны высокого партийного форума писатель заявил, что «мы вправе потребовать привлечь к персональной ответственности проектировщиков, допустивших грубейшие просчеты в выборе площадок на Украине», в том числе для строительства Чернобыльской АЭС. Глубокая озабоченность отражена и в одной из принятых резолюций: «Конференция считает важнейшей задачей безусловное выполнение принятых программ по здравоохранению и охране окружающей среды, улучшению экологической обстановки в стране. В основе всех мероприятий в этих сферах должны быть интересы людей...»

В условиях гласности и демократии произошел заметный подъем общественной активности и общественного сознания. Вот почему обсуждение экологических проблем тоже приобретает поистине всенародный характер. Взять, к примеру, те же дискуссии о здоровье Байкала. За ними в Байкальске последовало заседание правительственной комиссии по контролю за состоянием природного комплекса бассейна озера. На нем была дана принципиальная оценка неудовлетворительной работе союзных министерств — Минэнерго, Минхиммаша, Минлесбумпрома и Минцветмета — по превращению загрязнения Байкала, оздоровлению экологической обстановки на его берегах.

Без участия в этом деле общественности, в том числе писательской, экологическая дисциплина может остаться благим пожеланием. В этом убеждают нас и дискуссии о переброске рек, о защите и охране природы и человека. Уроки дискуссий несомненны. Молчала общественность — ведомства и высокие администраторы творили, что хотели. Заговорила во весь голос — и бой, казалось, на первом этапе благодаря совместным действиям был выигран. Но это только казалось. Как видно из фактов, не укладывающихся в сознании, губители природы, не считаясь даже с государственными решениями, продолжают заливать, иссушать, засолять самые плодородные, издревле заселенные, священные для людей места. Поэтому, как во времена общенациональных бедствий, и стар и млад, все, кому дорог родительский дом, хутор, аул, речка детства и березовый перелесок, должны встать на защиту истерзанной земли.

Нужны активные действия. Не оставляйте без внимания и отпора ни одного случая экологического разбоя. Стучитесь во все двери! Если сегодня не остановить браконьеров земли и бюрократов, потворствующих им, случится непоправимое.

В следующих выпусках альманаха «Писатель и время» этот разговор будет продолжен. Ждем ваших писем.

«ЛОЦИЯ, ПО КОТОРОЙ ИДТИ»

«Браво, писатель Леонид Леонов!» — такое письмо, состоящее всего из четырех слов, пришло на телевидение после передачи «Идеал», в которой Леонид Максимович Леонов вместе с Юрием Васильевичем Бондаревым вели разговор о нравственных ценностях нашего общества, об истоках культуры и истинного патриотизма, о духовной жизни человека.

«Какое счастье слушать умного, светлого человека — писателя Леонида Леонова, как великолепно он мыслит — честно и правдиво. А ведь экран обладает качеством выявлять всякую фальшь, и люди сразу же это видят», — пишет телезритель из Ленинграда.

— Леонид Максимович, в последнее время — это видно и по письмам, и по общественным опросам, которые мы проводим, — люди обеспокоены нравственным состоянием общества: говорят, пишут, что исчезают, теряются такие важные человеческие качества, как доброта, честность, порядочность, деликатность, совесть... Как вы считаете, не преувеличена ли эта тревога, не напрасны, не чрезмерны ли эти опасения?

— Я повторю то, что в таких случаях писал в своих статьях: эпоха требует очень глубокого мышления обо всем, что происходит сейчас. Мне кажется, что, когда мать больна, надо ставить верный, точный диагноз, без лжи, без фальши, без двуличия. Не надо мазать ножку кровати йодом — это не поможет. Мне думается также... может быть, странные мысли — мышление вслух о таких важных, первостепенных предметах очень похоже на прогулку по минному полю, причем каждую минуту что-то может взорваться под ногами, с повреждением здоровья...

В основе всего лежит, думается, тот факт, что когда-то при раскорчевке предрассудков, как тогда говорилось, проклятой старины были повреждены самые важные корни, которыми тысячелетиями подряд питалась народная жизнь. Дело в том, что нельзя не признаться наконец в содеянных тогда многочисленных ошибках и перегибах, как было принято говорить. И перегибы эти, от которых стараемся мы излечиться сейчас, повторяемые нередко скоростным образом, порой отразились генетически на самом важном, они угнездились в каком-то гене... И оздоровление жизни, лечение этой болезни невысказанно без проникновения, без раздумий о самих генах действитель-

ности. Поверху здесь ничего нельзя сделать... Те процессы, которые казались нам временными, стали биологическими. И поэтому во имя спасения самых великих идей, спасения жизни, спасения Отечества нужно думать о корнях, думать вот об этом самом важном, неназываемом...

Дело в том, что полезно (и в литературе это уже начато) внимательно проникнуть, взглянуть в самую суть: что таится в душе народной под маской оптимизма и внешнего благополучия? Мне кажется, нам не надо стыдиться здесь искренности и откровенности, потому что и на Западе сложностей предостаточно, только там все это запудрено внешней пудрой, внешним блеском. Но мне кажется, и Запад сегодня начинает что-то понимать. Правда, корни многого лежат в затяжке какой-то хорошей, умной договоренности с Западом, в частности с Америкой. Притом несмотря на нашу искренность, отчаянную искренность, передовую, резкую искренность. Затяжка, видимо, состоит в том, что Западу и Америке, не испытавшим тех катаклизмов и огорчений военных лет, которые претерпели мы, просто не хватает воображения представить, что может случиться, если реализуется то, что готовится в мире... Такое положение мне напоминает положение «Титаника». К нему в глухую ночь приближается огромный айсберг, который сейчас вонзится ему в бок. А там тем временем танцуют, пляшут, поют, веселятся и не подозревают, что случится. Не подозревают объема горя, которое заглядывает к ним в иллюминатор. Спустя 20—30 минут после этого они будут стоять на палубе, подтягивая пояса, одетые как попало, и петь ту самую отходную, которую поют в таких случаях при крушении: «Ближе, ближе к тебе, господи». Вот все это нужно знать им.

Мне кажется, будущее может быть другим, хотя во многом отношении мир запоздал с положительным решением проблемы. И после такого интервала, после таких цунами, землетрясений, катаклизмов, крайних колебаний, страшных дрожаний под ногами может наступить отрадный полдень. И он будет! Но обеспечивается он серьезным важным актом, который должен произойти. Я не уверен, что он произойдет скоро, и я уже говорил не однажды, что именно этот пессимизм и заставляет меня так жарко и глубоко думать о тех бедах, которые покуда миражно представляются нам...

Вообще-то говоря, техническое могущество, которым мы владеем, — оно бессмысленно, убийственно. Оно самоубийственно без высокой нравственности. Оно ни за чем не нужно. Горе, может быть, в этом и состоит, что слишком рано открыли атомную энергию... В одном большом разговоре, который у меня был за границей, я сказал, что мы живем во время, когда абсолютно невозможно совершать ошибки. Абсолютно! Малейшая ошибка при нашей централизации может обернуться трагедией. Это мы видим на примере Чернобыля. Я вообще думаю, что Чернобыль должен пробудить потребность мышления во

всем мире. Это не только наша беда. Это беда всей нашей цивилизации. Понимаете, вот он — пробел, вот он проступил.

— А в чем вы видите нравственный долг писателя?

— В его добросовестности прежде всего. Вне зависимости от дарования. Писатели бывают разные. Но внутри себя, внутри своей организации мы должны работать на сто процентов того, что нам дано. Думаю, что при стопроцентной отдаче можно очень много сделать, потому что очень разнообразный инструментарий требуется сегодня эпохе. Важно, чтобы это было сделано.

Однажды я ехал в поезде, дело было в сумерках, напротив меня сидел человек. Он полез в карман, достал перочинный ножик и стал чинить карандаш, и ножик у него погнулся — такого качества был ножик. Вот чтобы этого не было...

— Многие телезрители спрашивают, как вы работаете над языком ваших произведений? Как добываетесь такой выразительности, емкости, точности фразы?

— Думаю, я ничего не добиваюсь. Видимо, есть врожденное качество абсолютного слуха на слово. Например, когда мне говорят слово «молодчики», во мне все протестует. Когда произносят — «зачитывают письмо» или «зачитывают доклад», меня коробит. Вероятно, все зарождается от мелодии, мелодия переходит в слово. Как это делается, рассказывать длинно — это могло бы составить целый сеанс по телевидению...

Часто я пользуюсь просто крестьянской речью. А мужики наши как-то не употребляют эпитетов. Он сказал слово «хлеб» или «вечер». И слово звучит абсолютно без дополнительной окраски эпитетом. Очень точно и метко. Я еще давно это заметил, по деревенской жизни. Покуда отец сидел в тюрьме в 1905 году, нас отправили в деревню, и я там много слышал народной речи. Я и сейчас гляжу в рот крестьянам, влюбленно гляжу, слушая, как они говорят, как они поразительно оперируют нарушением падежа, нарушением склонения, лишним каким-то допуском, абсолютно невероятным, но который может сделать только тот, кто работает родным языком! Так можно обращаться с матерью... И этим языком крестьянин достигает иногда поразительной выразительности. Отсюда страшная сила народных поговорок и пословиц: «Не накормивши — врага не навивешь», «Ближе к царю — ближе к смерти». А остальное — просто поиск. Это довольно трудное, мучительное дело. Вы знаете, у меня была статья «Талант и труд», там было определение как тезис: всякий чистый лист бумаги — потенциальное гениальное произведение, и потому всякий исписанный лист бумаги — только испорченный лист. Это верно. Не подумайте, что это кокетство, это на самом деле так, потому что ощущение несделанности, ощущение незавершенности всегда сопровождает настоящего художника, кем бы он ни был. И когда вам будут вколачивать такие понятия, как «счастье творца» и так далее, всякие торжественные слова, не верьте этому, не верьте.

— Леонид Максимович, если вспомнить вашу публицистику,

то многие статьи читаются удивительно современно. Взять хотя бы статью «О большой щепе». Она написана в 1965 году. Но там и проблемы Байкала, и проблема Ясной Поляны, и отношение к природе, то есть все то, о чем сейчас говорят громко, откровенно. Особенно пронзительно звучит статья «Раздумья у старого камня»¹. А ведь она написана в 1968 году...

— Когда Москву хотят препарировать в каком-то новом виде, то все это в разумных пределах и честной рукой нужно делать, потому что нам нужна не парикмахерская кукла... Стоит такая красotka, восковая, со светящимися глазками... Если бы такую красотку заключенному поместить в камеру и оставить на три ночи, я думаю, он сойдет с ума от этой красоти. Понимаете?! А надо сохранить те морщинки и родинки, которые на лице у матери! Вот именно эта родинка, вот именно эта маленькая морщинка, она была получена еще тогда, когда Едигей стоял под Москвой! Или — что меня всегда трогает, и трогает трагически, — когда в фильме каком-нибудь старушечка, сморщенная, в платке, благословляет наступающих солдат. Понимаете?! Это и есть национальная память. Национальная память, которая должна стать для всех национальной памятью, поскольку тогда мое отечество, моя страна, моя нация вела всю страну вперед: она руководила, она пробивалась на запад, на Дальний Восток, распространялась на север и так далее. Так было исторически. И если я смотрю на какие-то здания Рима или Флоренции, это тоже историческая память, это для меня тоже отечество. Потому что для многих наших больших людей и в XIX веке все это было вторым отечеством, и они писали об этом и кланялись за все это... Это называется уже реликвией. Поэтому-то и в Москве мне жалко многого.

У меня в статье «Раздумья у старого камня» есть намек, что мы должны быть бережны к таким вещам. Придем или не придем мы к тому решению, от которого будет зависеть судьба этих вещей и от которого будет зависеть очень многое в будущем? Это я заранее говорю, пророчески говорю, уверенно — у меня есть такая способность предвидения. А говорю я о том, что создавалось подвигом и охраняется только подвигом! Нужен каждодневный присмотр. И любовный присмотр. Как старуха мать приходит и вытирает пыль, которая накопилась за ночь. Иначе нельзя! Поэтому я и говорю о глубоком мышлении. Я ничего не хочу сказать, как это будет сделано, но я приглашаю к очень внимательному и очень ответственному рассмотрению этого вопроса. От этого зависит многое: откажемся мы от тех, кто закопан в земле, или нет? Или — когда начинается наша страна, в каком году она началась, откуда вести отсчет времени? Это очень решительно надо делать. Это надо выяснить.

¹ См. сборник «Писатель и время», третий выпуск. «Советский писатель», М., 1986.

Мне говорили: напиши в защиту мира. В 1960 году я написал сценарий «Бегство мистера Мак-Кинли» в защиту мира. Он печатался в «Правде». Там первая цитата такая: «Этим фильмом, этим сценарием автор голосует за мир во всем мире», и идет первый кадр, рисующий ту схватку, которой сейчас охвачен весь мир. Этот сценарий лежал 16 лет. Боритесь за мир... Ну, я боролся 16 лет, в 1976 году фильм поставили. Боритесь за старину... Я написал статью. 18 лет она лежала. И сегодня то, что я говорю, может быть, вы опубликуете в середине XXI века. Это очень важный вопрос, и хотя бы без моего участия, без нашего участия, но где-то, в какой-то инстанции этот вопрос должен быть решен четко и категорически. Я с моим народом готов разделить всю его участь и его историю, и я согласен на все, но надо предварительно все обсудить — со всеми последствиями, которые ждут нас в этом плане. От этого очень многое зависит.

— Но ведь много и хорошего делается сейчас в Москве. Вот, мы знаем, уже переименованы по прежним своим названиям некоторые улицы.

— Это только начало. Это самый легкий способ благообращения... Понимаете? А то ведь как было? Как меня зовут? Меня зовут Пантелей. Нехорошо. Называйте Альфред...

Вот сейчас поднят вопрос о церкви Вознесения у Никитских ворот, там хотят устроить музыкальный зал. Это хорошая мысль! И там будет отопление, и это надо сделать как-то умно, например, в стенах, как-то элегантно сделать, не нарушить того благоговения, с которым человек входит в такое место. Мы ведь в консерваторию вступаем с каким-то благоговением. Звуки, которыми пропитаны эти стены: и Чайковский, и Рубинштейн, и Шуберт, и Бетховен... Все это заставляет меня снимать шапку входя. Нужно сохранить эманацию почтения, которую внушает объект.

— На Западе именно Россию считают последним пристанищем, последним резервуаром духовности...

— Потому что этому предшествовал великий XIX век русской литературы... Это были раздумья большие — и Толстого, и Достоевского, и Пушкина, — раздумья о будущем... О человеческом счастье. Кроме того, и мы многое делали от почти несбыточной мечты построить человеческое счастье сразу. Человеческое счастье нельзя построить, оно складывается из данных, которые его обуславливают. Надо все детали отдельно выстроить, как дом...

Дом не сразу создается, этого чуда не бывает. Надо отдельно доски подготавливать, отдельно строгать их, чтобы без щелей, компактно, экономно все совпало в одну цель — счастье... А счастье сделать нельзя: нет фабрик, которые делают счастье, потому что мы не можем обусловить всех тех условий, которые составляют жизнь. Жизнь, она базируется на 10 тысячах координат, а на самом деле мы знаем только 400—300—200

координат... А о многом мы не догадываемся... Мы не подозреваем, что такое одиночество в абсолютной пустоте, если, скажем, полтора или два года лететь на Марс. Надо установить, выдержит ли человеческая психика... А мы строим счастье, мы гадаем об этих несчастных двухстах координат, которые мы знаем... Мы до сих пор открываем в человеческом теле желёзки, значения которых мы не знаем. Мы не знаем, зачем гипофиз, что-то еще, строим отдельные догадки только... На самом деле все гораздо сложнее: и жизнь, и счастье, и будущее. И надо все это обусловить на сегодня, обусловить: войти в какое-то нормальное русло, в естественное русло развития.

Ведь преэминентность достигается тем, что моря великие, большие геологические эпохи — их никогда нельзя было перегнуть метлой в другое русло. Они переливались сами, когда геологические условия были удобны и лоно было готово. Иначе нельзя. То есть надо подумать, чтобы все шло совершенно естественным путем.

Вот я слушаю последнее время, каждый день по телевидению передаются заседания, заседают по 20—40 человек, сидят 2—3 часа и обсуждают, приложив пальцы ко лбу, как надо организовать то, как надо организовать это... И часто не выходит. И меня пугает и берет отчаяние, потому что зачастую все это ведется почти на стрессе, на стрессовом накале, понимаете? Это опасно... Хотя как в природе делается процесс? Солнышко встает, пташки пробуждаются, поют, ромашка расцветает, яблоко зреет — без погони, без убеждения. Вот так и в жизни должно быть налажено.

Как найти этот механизм? Как найти эту простую радостную жизнь существования? Чтобы все без погони, без спешки делалось, все нормально, все расписано, но все не знают о времени, в которое надо уложиться... Все идет так правильно, и к вечеру цветы сами склоняют головки, когда солнце садится спать, и все спит, чтобы пробудиться утром. Как сделать, как найти очень простой механизм решения этой очень сложной проблемы?..

Сегодня столько условий, столько кондиций, что мы уже не можем их выполнять. Я недавно где-то прочел, что стресс при совмещении его с перегрузкой ведет к гибели объекта. Стресс и перегрузка — это разрушает. И то, что мы наблюдаем, — это очень опасный момент. Что заставляет меня так горячиться? Потому что я это понимаю очень жгуче и, по совести говоря, даже, может быть, гораздо серьезнее, чем я сейчас умею выразить словами...

Помню, как-то раз шли мы с Алексеем Максимовичем Горьким. Он спросил меня: что это вы так часто на небо поглядываете? А я ответил: «А если бы мы так, уткнувшись в благоустройство шей, смотрели бы только в землю, — звучало бы серьезно, было бы великим понятием звание человека, «человек — это звучит гордо»?» Он хмыкнул и замолчал. Счастье —

это гармоническое состояние души. Это гармоническое состояние... Причем это то состояние материи, которая спит... И вдруг однажды, может, в миллион лет, в миллиард лет, она созревает до такого состояния, когда она открывает глаза и оглядывается — где она находится в мироздании? Это и есть мысль, понимаете? И она опять закроет глаза и опять спит бездонное количество лет. Скажу, дай бог, чтобы она не открыла глаза в то время, когда термоядерное черное облако над ней встанет... Она открывает глаза, когда все хорошо, все начинается и все кончается.

Вот за этот домирный тихий покой!

Интенсификация, ход вперед, движение на полном ходу — и абсолютная естественность: абсолютная естественность нашего прогресса, нашего развития, эволюции нашей.

— Леонид Максимович, в фрагменте вашего нового романа «Мироздание по Дымкову», который публиковался в журнале «Наука и жизнь», есть такая мысль, что сейчас самое важное для человека найти ту точку на пересечении местности и пространства, о которой бы человек мог сказать: вот здесь, в этой точке, со своей болью обитаю Я...

— Вот именно, найти на карте свое место в привычных условиях: верить, что есть 10 тысяч координат, а о тех, которые еще не открыты, не надо говорить, что они не нужны человеку. Они нужны, они нужны: мы не подозреваем, но мы ими живем...

Надо чаще задавать вопрос — почему? Надо не только лишать водки людей, надо думать о том, почему они пьют? Всегда были пьяницы, и в селе, где я рос, и там были пьяницы...

Почему, откуда появилось у девчонок страшное слово «балдеть»? Это — страшное слово... В диагнозе это симптом, для которого нужны мыслители, чтобы понять, откуда родилось это слово. Я помню, в 1910 году, мне много лет, так вот, в 1910 году случилось рождение слова: в Киеве какой-то гимназист сказал своей подружке: «Пойдем в кинку». Дискуссия была в газетах — откуда появилась «кинка»? Откуда появилось «балдеть»? Анализируйте... И когда доберетесь до слова «балдеть», тогда вы поймете в чем дело. Вот туда и надо лить лекарство, денно и ночью, чтоб не мимо, не мимо...

— Когда читаешь ваши статьи, то видишь, что многие ваши прогнозы сегодня подтверждаются. Почему же все-таки писатели, а не ученые, не специалисты-социологи первыми предупреждают общество о грозящих ему опасностях?

— У нас больше воображения, мы более эмоциональны. Аппаратура наша такая: падает песчинка, а я могу написать, что обрушилась гора. Это специфика профессии. Все это воображение делает. Я однажды, в 30-х годах, на встрече с комсомольцами сказал: «Товарищи, должен вас огорчить, но в искусстве талант желателен».

Это можно вписать в математическое уравнение — что такое воображение. Это система образов, накоплений, приме-

няемых в современных условиях к моему нынешнему состоянию в этих условиях... Вот это — воображение. Оно подобно экрану. Для того чтобы видеть маленькое, чтобы было понятно — на экране герой во весь рост, вот такая голова у него. Понимаете, в искусстве преувеличение необходимо. Это и есть воображение.

— Но ученые ведь тоже должны предвидеть... Почему все-таки писатели — первые?

— Вы знаете, я не хочу вмешиваться в области, которые мне недоступны и на которые я взираю с большим почтением. Но мешает... толстый слой книг, который загораживает вот эту действительность... Трудно проглядывать вперед... Не мешает ли им это?

Тут уклон есть — это падение гуманитарного образования. Что ни говорите, а латинский язык весьма полезен. Знаете, как кожемяки в Нижнем Новгороде разминали кожу кулаками, вот так и латинский язык разминает мозги хорошо. Я очень благодарен гимназии и тому, что я изучал латинский. Ах, как это полезно, как полезно вместо той схоластики, которой потчуют порой. Очень полезно для ума. Не для ума, а для мышления...

— Сейчас слова «духовная жизнь», «духовное богатство» встречаются чуть ли не в каждой газете и стали такими расхожими. И хотелось бы попросить вас, Леонид Максимович, как бы вы растолковали это понятие?

— Понимаете, это очень трудно... Это какой-то высший слой творчества. Имеется здоровье, имеется душевный покой, имеется духовная сытость. И эти слои — все меньше, все тоньше. Это такой тонкий слой творчества... Очень тонкий слой, страшно тонкий и страшно хрупкий, как озон, который очень легко разрушить и который очень сильно сегодня нарушен в искусствах. Понимаете, в литературе пропадает сюжет, мышление, в живописи пропадает рисунок, композиция, в музыке пропадает мелодия... Появляются какие-то странные вещи в поведении молодежи и вообще людей.

— Многие предлагают создать специальную программу на телевидении, постоянную программу о духовной жизни человека, о нашей культуре, о культурном наследии, о мире наших чувств... Как вы считаете, возможна ли такая программа? Хорошо ли это будет?

— Я боюсь, что это возможно только при большом проценте искренности. А то моментально налетят утешители, уговорщики, которых мы ежедневно видим в таких количествах по любому поводу. У меня есть один тип в романе «Вор», который думает: «Ну, при случае я могу сказать так, а при случае — и наоборот». От них что угодно ожидать можно. Я им не верю, и когда я вижу их на экране, у меня вызывает это изжогу. Искренность! Понимаете? Пришло время...

Когда шел писательский съезд, я слушал выступления и думал: какую я бы цитату поставил, какой эпитаф? Мне

нравится одна частушка Ярославской области, я ее слышал там: «А давайте-ка, ребята, отойдем и поглядим, хорошо ли мы сидим?» Вот. Хорошо ли мы сидим, благополучно ли сидим в этих мягких креслах, и не превратятся ли они в головешки завтра? Понимаете, в чем дело?.. Это полезное было бы дело, но нужны искренность и правдивость. Причем не надо стесняться — надо говорить. Ведь один и тот же дом мы теряем, но если потеряем дом, то навсегда. Это надо твердо понять.

Пришло время максимальной искренности. И то, что на душе у народа скопилось, надо прочесть и принять как библейскую истину. Нельзя ошибиться в том, что народ чувствует, это и есть та стихийная магистраль. Та лощина, по которой надо идти.

Беседу вела Татьяна ЗЕМСКОВА

ЗЕМЛЯ, ВОДА И ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

1

Начнем, само собой, с земли. Все-таки за свою долгую историю у человека не было более верного союзника, и защитника, и друга, чем его земля. Чувство сыновней преданности к матушке-земле стало передаваться генетически, из поколения к поколению. И уж какими только словами наши предки ее не величали! Она для них и вечная, и святая, и родная, и кормилица. Сколько трудов и надежд в каждой борозде, в каждом колосочке, сколько народу полегло, чтобы защитить эти края, сколько комочков было взято, чтобы согреть душу там, на чужбине...

На земле, на ее смысле и красоте воспитывается наше потомство, формируются его вкусы, его идеалы. Земля, несомненно, оставила свой отпечаток и на характере народа, который ее обжил. Широта Волги, суровость Кавказских гор, бескрайность украинских степей, густая зелень Прибалтики и мягкие холмы Молдавии — все это можно легко обнаружить в фольклоре, в строе речи, в самом миропонимании народов, населяющих эти края.

Молдаване, то ли в силу своей чрезвычайной эмоциональности, то ли по каким другим причинам, довели любовь к родному краю до апогея. Само знамение жизнедеятельности природы, «фрунзэ верде», то есть лист зеленый, стало рефреном почти всех наших народных песен. Кроме того, словом «фрунзэ» обозначаются целые созвездия понятий, состояния материальных и нематериальных вещей, села, родственные ветви, и каждый раз, когда в московском метро слышу голос дикторши, объявляющей: «Следующая станция — «Фрунзенская», — предо мной мелькают счастливые лица молдаван, увидевших после долгих зимних холодов зеленые листочки — первые признаки весны.

Но не будем особо распространяться о своей малой родине, тем более что любовь — это одно из самых интимных проявлений человеческого духа. Отметим только, что малая родина — это не только вечный спутник нашей жизни. Она — опора нашего духа, смысл наших трудов, главный вершитель наших судеб.

Покинув свою малую родину почти что в двадцатилетнем возрасте, успев на той земле и потрудиться, и настрадаться, и встать на ноги, я оставил там свои любимые, заветные

уголочки, которые время от времени навещаю. У каждого из нас есть заветные уголки в родных краях. Речки и речушки, заречья, овраги, перелески, поляны, калитки, одинокие деревья, ничем для чужого глаза не примечательные дороги и тропинки. Там, в тех тайниках, должно быть, хранит душа свои неприкосновенные запасы, там наша совесть и наша честь, и потому, должно быть, трепещем каждый раз, когда оттуда до нас долетает весточка...

Однако, как сказал один из великих, в этой жизни все узнаешь. Меняемся мы, меняются и наши заветные уголки. Драматизм и сложность современного мира проникают даже в самые скрытые и интимные стороны нашего бытия. Было время, когда мои любимые уголки не хотели меня больше знать. Было время, когда, как говорится, и мои бы глаза на них не глядели. Потом, как это водится, помирились, и опять все пошло как будто по-старому, но однако... С некоторых пор какая-то беда стала витать над этими милыми моему сердцу уголками... Хоть и ухоженные до невозможности, хоть и рекордсменки по урожайности, хоть и украшены наградами, какая-то обреченность витала над ними...

Странная это вещь — интуиция. Иногда, в самые светлые праздники, в самые счастливые минуты жизни, она вдруг шепнет словечко, от которого весь содрогнешься. Отмахнуться от этого шепота невозможно. Более того, мы обязаны считаться с ним в первую очередь, ибо интуиция — главный и единственный наш инструмент, без которого художественная работа теряет всякий смысл.

2

Одно из самых древних бедствий Молдавии — хроническая нехватка пресной воды. Сколько раз, изведенная засухами, эта наша земля умирала на глазах наших предков, и сколько наших предков поумирало вместе с ней! В конце восемнадцатого века, во время второй русско-турецкой войны, сорокатысячная армия Румянцева-Задунайского, застигнутая жарой и засухой на Кубольте, осушила эту речушку в два дня и вынуждена была платить по золотому рублю за каждый бочонок днестровской воды, которую наши предки везли на своих клячах за сорок с лишним верст. В прошлом веке, когда запасы пресной воды никого особенно не интересовали, все географические справочники отмечали, что по запасам воды Бессарабская губерния стоит на последнем месте в Европе. Наши летописи и предания полны сказаний о засухах, из которых последняя, послевоенная, 1946—1947 годов, была одной из самых страшных и опустошительных.

Подверженная засухам, Молдавия к тому же не обладает решительно никакими резервами влаги. Три небольших притока Днестра — Рэут, Кубольта и Кэйнарь — в жаркое время

лета почти полностью пересыхают. Главные же наши реки — Днестр и Прут, питаясь карпатскими снегами, к середине лета тоже усыхают наполовину. Единственным запасом, оставленным нам судьбой на самый-самый черный день, был крохотный выход к устью полноводного Дуная и маленький отрезок Черноморского побережья. Но при создании Молдавской ССР отрезали юг нашего края, передав его, вместе с Измаильской областью, Украине. В качестве компенсации Молдавия получила несколько наиболее страдающих от засухи левобережных районов Укraiны.

Оставалось одно — взять лопату и пойти копать, в надежде напасть на тот самый-самый что ни на есть полноводный источник. Кто только не пробовал свое счастье на наших засушливых холмах! Какими только художествами не украшают колодцы до сих пор! Какими только легендами не окружают в Молдавии труды колодезных дел мастеров!

За минувшие полвека в моей родной деревне Хородиште из нашего рода почти никого не осталось. Ушли близкие, ушли и дальние. Нету больше ни отчего дома, ни того гигантского каштана, что красовался когда-то у наших ворот, и только в поле, недалеко от Кубольты, белеет одинокий камень, некогда прикрывавший колодец, выкопанный моим отцом. И хотя нет уже ни самого колодца, ни воды, само то место, а может быть, камень тот, в устной речи хородиштян все еще именуется «колодцем Пентелея».

И ничего нет удивительного в том, что колодцы в молдавских селах, а также место, к ним примыкающее,— одно из самых светлых и почитаемых мест. Здесь по утрам хозяйки в спешки обмениваются новостями. Детвора в течение дня нет-нет да и побежит к колодцу. Туда с пустым, обратно с полным ведром, ибо одно из первых поручений, на котором молдаване воспитывают свое потомство,— это принесение свежей воды. По вечерам у колодца собираются господари, главы семейств, ибо замечено было, что рядом с колодцем, под мерный перебор капель, и голоса как-то полнее звучат, и мысли приходят зрелые, славные, и, может, потому то, что у молдаван решается «у колодца», становится делом незыблемым, почти что святым.

3

Поговорив о земле и о воде, самое время поговорить о чувстве меры, о том странном, таинственном соотношении всего и вся, на котором, думается мне, держится мир. Потеряв чувство меры, мы, как правило, теряем все. Долгие века экологический баланс засушливой Молдавии, собранный нашими предками по крупинке, держался на одной ниточке, и достаточно было одного непродуманного решения...

Но, бог ты мой, до чего немилостива судьба к этой моей малой родине! Она ни за что не хочет дать ей золотую середину.

Либо в начале, либо в конце. Либо в верхней, либо в нижней строчке. Первое место в Европе по плотности населения — сто двадцать пять человек на один квадратный километр. И, как назло, последнее место по запасам воды. Опять-таки, до недавних пор, первое место в Союзе по концентрации неконтролируемой власти в одних руках. И — последнее место по тому, что принято теперь называть гласностью...

Тяжело об этом писать, но настали сроки называть вещи своими именами. Ни для кого не секрет, что обычно именуемый «застой шестидесятих годов» (надо полагать, со временем подберут более точное определение, соответствующее сути явления), так вот, этот пресловутый застой расправил свои крылья и взлетел с молдавских холмов. Плодородные земли, безропотная натура молдаван и обилие хорошего вина как бы подталкивали непомерные амбиции выйти за пределы дозволенного здравым смыслом и сотворить нечто такое, чтобы потрясти страну, а может, и весь мир.

Начали с создания хаоса, ибо нервозный хаос — естественная среда для самодуров. Народные традиции и нравственные устои были первыми принесены в жертву как остатки, мешающие продвижению вперед. Самодуру нужно, чтобы обязательно все начиналось с него. До него была пустыня, пришел он — и началась жизнь. Первый удар приняла на себя молдавская интеллигенция, особенно художественная, чутко реагирующая на все колебания традиций и морали. Мигом вырабатывались ярлыки, которые предстояло носить десятилетиями. Сколько светлых начинаний, в которых мы сегодня так нуждаемся, были уничтожены в самом зародыше; сколько перекалеченных судеб, скольких пришлось-таки схоронить...

Немало повидавшая на своем веку, Молдавия смотрела печальными глазами на эти буйства разрухи под знаменами созидания, и эти печальные, всепонимающие глаза стали раздражать «великих» экспериментаторов. Решено было растряссти саму республику, дабы она иначе смотрела на мир, и, бог ты мой, сколько раз карта республики кроилась и перекраивалась заново! На памяти одного поколения села по пять-шесть раз переходили из района в район. После бесконечных перетасовок, при нашей плотности населения, удалось-таки основать тут городочек, там районный центр, ибо, согласитесь, что это за руководитель, который так-таки ничего не основал?..

Вопрос о водных ресурсах решено было поднять на небывалую еще высоту. Разработали гигантские планы, и, пока те великие планы рассматривались разными инстанциями, распорядились вместо маленьких прудов создать огромные накопители. Зарегулировали стоки мелких вод, пока не погубили их. Тем временем великие накопители испаряются. Но вот идея канала Дунай — Днестр — Днепр не получает поддержки в верхах, и Молдавия остается без той толики воды, которую копила...

Хорошо было Дунаю и Днепру, находящимся вне пределов досягаемости кишиневских заправил, но бедному Днестру так досталось. Принялись строить в спешном порядке Дубосарскую ГЭС. Экономический эффект этой гидростанции ничтожен по сравнению с теми бедами, которые она натворила. Безводный Кишинев и сам питается днестровской водой, и, перебив ритмичность маловодной реки, «великие» энергетики поставили под угрозу водоснабжение самой столицы...

Недостаток пресной воды стал сказываться и на жителях Одессы. Ах, вы так сказали, должно быть, в Киеве! Отбираете воду? Ну, погодите же!.. И создали в верховьях Днестра свое водохранилище, отобравшее добрую треть днестровской воды. Если к этому добавить происшедшую несколько лет тому назад катастрофу — прорыв плотины соляных отходов в Западной Украине, убившей все живое в этой реке, если учесть, что, не успев толком вернуть реку к жизни, в Рыбнице, на ее берегу, спешно воздвигнут металлургический комбинат, то ничего удивительного в том, что Днестр стал одной из самых загрязненных и обреченных рек...

Решив таким образом проблему водоснабжения, принялись за садоводство. Выкорчевали все старые сады, заложили несколько гигантов, из которых флагман молдавского садоводства — красавец, раскинувшийся на двадцать тысяч гектаров. Смущало, правда, то обстоятельство, что такой гигант невозможно охватить взором, а если такое чудо не показывать иностранным гостям, какой тогда толк во всех этих деяниях!

Выход был найден. Решили показывать сад с вертолета, а сами плоды, для удобства, брать с собой в кабину. И долгие годы бесчисленные делегации, хрустя сочными яблоками, любовались гигантской панорамой. Легенды об этом саде разнеслись по всему миру, и мало кому приходило в голову, что этот сад — памятник самодурству. Весной не хватает пчел для его опыления, сотни гектаров остаются холостыми, без урожая. Чтобы выровнять положение, хозяева этого чудо-гиганта каждой весной объезжают хозяйство юга Украины и Молдавии, уговаривая пчеловодов помочь им. Предоставляется транспорт, более того, платят по пятнадцать рублей за каждый улей, но вот пчеловоды не торопятся, и на это у них свои резоны...

Создание блистательной республики на юге шло полным ходом. Мешали, правда, косые взгляды большинства, те самые крупницы народного здравого смысла, который редко когда попадает на удочку. Нужно было как-то избавиться от этих саркастических взглядов большинства, и вот южными орлами овладела идея — поставить самих производителей материальных благ вне игры, деликатно оттеснив труженика от той самой земли, на которой он стоял обеими ногами.

Сегодня мы с горечью вынуждены признать, что этот чудовищный план отчасти удался. Поначалу планирующие организации взяли на себя стратегическую сторону дела —

что, где, когда и как сеять. При создании крупных межколхозных станций технического обслуживания вспашка, сев и уборка тоже стали делом централизованной власти. Совет по делам колхозов собрал все экономические ресурсы в один карман. Только обработка полей все еще оставалась в руках самих колхозников. Некоторое время бурьяны и сорные травы служили как бы гарантом демократии — пока росли сорняки в поле, нужно было считаться с волей большинства.

Агрохимия стала манной небесной для кишиневских экспериментаторов. Таинственная пыль, разбрасываемая с самолетов, уничтожала сорняки, не трогая посевы, но, что самое главное, эти химикалии развязывали руки авантюристам, позволяя не считаться более ни с кем. Агрохимия косвенным образом вдохнула новую жизнь в самые фантазмагорические планы, и южные орлы, на глазах изумленного мира, взлетели наконец с молдавских холмов. Труженики полей остались, как говорится, с носом. Для прокорма им бросили кость в виде строительства ферм, сбора фруктов, овощей и выращивания табака.

Четверть века над полями Молдавии выются химические бури. С утра до вечера почти круглый год взлетают в воздух самолеты с пестицидами и гербицидами. То, что не влезает в самолет, подмешивают к семенам, устраивают дополнительные подкормки, растворяют в воде и поливают на огромных площадях. А то можно нередко увидеть и старушку, которая ходит по своему приусадебному участку с ведром, веником, брызгая что есть мочи на этот, как его, а чтоб ему пусто было...

Режим чрезвычайного напряжения сил стал нормой для молдавской земли. Аномальной мне представляется экономическая ситуация республики. При бюджете в 2,7 миллиарда рублей совокупный общественный продукт Молдавии достигает 18 миллиардов. Да позволят мне усомниться в мудрости такой политики. Сегодня преуспевающий хозяйственник думает только о том, чтобы как можно больше дать. Умный размышляет над тем, что он даст сегодня, а что остается на завтра. Мудрый же думает не только над сегодняшним и завтрашним, но и над послезавтрашним днем, ибо на этой земле жить и работать нашим детям, а они нам все-таки не чужие...

Увы, все это пустые мечтания, потому что пока что наша гордость и наша слава — наша земля-кормилица стала заложницей в руках карьеристов разных мастей и калибров. Сыпь пестицидов сколько угодно, лишь бы побольше собрать да побыстрее доложить наверх радостную весть о выполненном и перевыполненном плане, лишь бы продвинуться по служебной лестнице хоть сколько-нибудь. А то, что со временем из разных точек начнут возвращать продукцию как не пригодную для употребления в пищу, так это же произойдет в другом квартале, и скандал пойдет по другим департаментам...

В конце концов использование ядохимикатов в Молдавии вышло из-под контроля. Колхозам предоставлена полная свобода

да — сыпь и сыпь. И они сыплют. В десять — пятнадцать раз больше, чем принято по стране. Когда лето засушливое, ветры вместе с пылью снимают с пашен эти химикаты и несут их на села, на сады, на лица людей... Временами, соответственно с использованными ядохимикатами, меняется и цвет населения — в одних районах лица кирпичного, в других серо-мышинного цвета. Когда идут обильные дожди, потоки влаги снимают с пашен ядохимикаты, заливают ими долины, оставляя скот без пастбищ, потому что сегодня почти все долины между холмами — мертвые для растительности зоны.

Самое же страшное, однако, — это хорошая погода, с теплом и умеренными дождями, когда химикаты проникают куда надо и делают свое черное дело. Потому что, как нетрудно догадаться, на сорняках они не останавливаются. Ассимилируясь с питательными веществами, химикаты проникают в колос, в ягоду, в овощ. Особенно опасны нитраты — наиболее разрушительная часть этих ядохимикатов. Попав в человеческий организм и переименовавшись в нитраты, они прежде всего атакуют иммунную систему и наследственный аппарат. Сегодня самая большая проблема молдавского здравоохранения — иммунный дефицит населения. Что до наших наследников...

4

О детях нужно поговорить особо, ибо именно дети приняли на себя главный удар химизации сельского хозяйства. Ни для кого не секрет, что после увлечения пестицидами в Молдавии стали рождаться умственно неполноценные дети. Если в довоенные или первые послевоенные годы в Молдавии приходилось от силы по одному — да простит мне читатель это выражение — недоумку на все село, то сегодня в Молдавии действуют около пятидесяти школ, в которых собраны более десяти тысяч детей. Но это только часть из них. Многие родители не захотели расстаться со своим горем, и таким образом в каждом молдавском селе, в каждой школе, в каждом классном журнале после списка учеников следуют три-четыре пропущенные строчки, после чего еще пять-шесть фамилий, напротив которых — ни единой отметки.

Долгое время считалось, что виной всему — алкоголь, однако ученые из Молдавского института гигиены пришли к заключению, что если из ста случаев двадцать можно объяснить злоупотреблением спиртными напитками, то остальные восемьдесят, несомненно, результат интенсивной химизации.

Вторая беда Молдавии после химизации — это выращивание табака в ни с чем не сообразных размерах. Подумать только: площадь, отведенная под табак, приближается к площади наших виноградников, наших садов, и уж кто-то из остряков спрашивал себя, не пора ли вплести в герб республики вместе с колосьями и виноградными гроздьями и дымящуюся сигару?

Говорят, кое-кто из руководства республики категорически настаивает на выращивании табака, ибо табак дает валюту. Слов нет, валюта дело хорошее, но — не любой же ценой! Ибо кто не знает, что большая часть труда на табачных плантациях приходится на долю детей. И хотя использование детского труда при выращивании табака строжайше запрещено законом, не нужно обладать нюхом Шерлока Холмса, чтобы застать в каждой деревушке, на каждом шагу девчонок и мальчишек со слезящимися глазами, корпящих над шнуровойкой табака. Рядом, чуть поодаль, стоят в растерянности педагоги, и что-то не слышно, чтобы хоть одному директору школы было сделано хотя бы устное замечание за то, что бросил своих питомцев в это адово море никотина.

Еще одно испытание для молдавской детворы — уборка овощей и фруктов. Этот трудоемкий процесс почти полностью ложится на хрупкие плечи школьников и студентов. За лето, перед тем как нарумяниться и налиться соком, эти яблоки, персики и виноградины, как мы уже знаем, многократно обрабатывались разными химикалиями, а молодежь, ей что! Поработали, потрепались, посмеялись, кинули в рот ягодку-другую. А Молдавия, как мы помним, страдает хронической нехваткой воды. Там, в поле, горло промочить нечем, не то чтобы и фрукты еще вымыть. И так из года в год армия школьников и студентов на наших холмах, с глазу на глаз с этой чудовищной силой, убивающей все живое...

Что удивительного в том, что медицинскими комиссиями при военкоматах немало молдавских ребят призывного возраста признаются непригодными для несения воинской службы! О том, что ждет девочек, мы уже говорили. Добавим разве то, что при Кишиневском пединституте открыт факультет по подготовке учителей для умственно отсталых ребят.

5

Поговорив о земле, о воде и о той критической ситуации, в которой они оказались, самое время перейти к запятым. Первыми забили тревогу молдавские писатели. Что-то неладное стало твориться с родной речью. Вместо красивого, певучего, замешенного на древней латыни языка какой-то серый поток звуков, мешанина слов молдавских и русских, а то попадались и гибриды, которые, как говорится, и ни туда и ни сюда... Вся эта звуковая фанфаронада не только нарушала эстетические принципы языка, но ставила в тупик самих беседующих, ибо зачастую трудно было догадаться, кто и что хотел сказать.

Поручено было институту языка и литературы исследовать суть проблемы и войти в инстанции с рекомендациями. После долгих, кропотливейших исследований ученые-филологи пришли к заключению, что все дело в запятых. С запятыми у молдаван стали происходить какие-то курьезы. Вдруг с чего-то весь народ

как бы разучился ими пользоваться. Либо игнорируют их целиком, сбивая речь в единый поток, либо расставляют по одной запятой после каждого слова, что опять-таки ни с чем не образно.

Эти споры о запятых, должно быть, бушевали бы еще долго, если бы ученые-биологи не пришли бы на помощь своим коллегам — филологам. И вот, сначала тихо и робко, в коридорах и частных домах, затем все громче и громче, с трибун и страниц печати, стали говорить о признаках деградации в результате избыточного использования ядохимикатов.

Вы думаете, это вызвало сильнейшее волнение в высших эшелонах республиканской власти? Думаете, срочно были разработаны меры по строжайшему регламентированию ядохимикатов? Ничуть не бывало. Было принято постановление о всемерном улучшении преподавания и изучения молдавского языка, в котором можно найти и такой пункт — о совершенствовании ораторского искусства на молдавском языке...

6

А заметил ли ты, дорогой читатель, поразительный параллелизм, неотвратимую для нашей жизни двойственность? Как-то так получается, что слова у нас на одном берегу, дела на другом, и вместе они почти никогда не встречаются. В результате твердим день и ночь о разумном ведении хозяйства, а руки наши продолжают творить неразумное. Подсчитываем возможные прибыли в рублях, в миллионах, а тем временем то, что вне цены, то, что даровано нам судьбой и природой, летит под откос. Поднимаем на щит гласность и перестройку, а тем временем назначаются на ключевые посты люди, для которых гласность и перестройка — все равно что нож острый. Клянемся добром, мечтаем о счастье, о красоте, а тем временем...

Короче говоря, насыщение почвы в Молдавии ядохимикатами занимает сегодня первое место в мире. Нарушение экологического равновесия привело к гибели пчеловодства, нарушило миграцию перелетных птиц; поставлена под угрозу жизнь наших лесов.

Все-таки поразительная страна... Огромные просторы, тысячи и тысячи километров границ, чувствительные радары день и ночь берегут неприкосновенность нашей земли, а тем временем день за днем эскадрильи сельскохозяйственной авиации поднимают в воздух и распыляют тысячи тонн ядохимикатов, губя жизнь той самой земли, которую так рьяно и зорко охраняют пограничники. Да в самом ли деле мы великая, цивилизованная страна, или все это нам приснилось? Возможно ли издавать тысячи законов и постановлений по всяким, порой пустячным поводам и не иметь основополагающих законов, защищающих нашу землю, воду, воздух?! Допустимо ли содержать такую огромную армию правоохранительных органов,

которая не в состоянии защитить наше потомство, наше будущее от нашего же собственного варварства? Иметь тысячи организаций и не иметь единый орган по защите генофонда, той, сказал бы я, святой биологической ферментации, которая порождает личности, творческую энергию народа и на которой все держится?!

7

Было бы несправедливо утверждать, что за последние годы в Молдавии так-таки ничего не изменилось к лучшему. Завал, однако, был так велик, что — да простят мне молдавские товарищи — их усилия по преодолению застоя носят чисто символический характер. Шабашно-разгульный период, замещенный на хмеле и воровстве, держит наготове множество своих тайных и явных сторонников.

Они, конечно, все как один за перестройку. Они согласны с тем, что химизация сельского хозяйства Молдавии, при условии хронической нехватки воды и высокой плотности населения, есть дело уголовное.

— И все-таки, при нынешнем распределении обязанностей, на ком лежит ответственность по защите генофонда и, в более широком понимании, биофонда? Госбанк? Милиция? Здравсохранение?

— В принципе за это должна бы отвечать Академия наук республики, но на их мнение полагаться нельзя. При всем желании они не могут быть объективными, потому что все эти манипуляции с водой и химизацией — в конечном счете дело рук верхушки Академии, и прежде всего ее президента Тученко.

— И вы сложа руки смотрите, как Тученко ставит свои трагические опыты?

— С чего вы взяли, что мы сидим сложа руки? Принимаем меры. На днях вот Верховный Совет республики рассмотрит Закон о защите окружающей среды до двухтысячного года и далее...

Слова, слова, слова... А тем временем недалеко от столицы бульдозеры с грохотом разрывают глубины, готовя место под фундамент новой всесоюзной стройки. Крупнейшего в Европе завода по производству... чего бы вы думали? Пестицидов.

ПАКОСТЬ

Пакоствлив, как кошка,
труслив, как заяц

Русская поговорка

В тамбуре подъезда нашего дома вывернули лампочку. Вечером она еще удивленно и радостно сияла, а утром на стене чернел пустой патрон.

Лампочка стоила тридцать копеек, ее ввернул мой сосед, побывавший в электромагазине как раз в тот момент, когда там «выбросили» лампочки. Со дня сотворения дома в тамбуре нашего подъезда лампочек не было. И вот диво! Сияние! Кто-то еще вечером скрипнул пророческим голосом: «Сопрут!» Но мы не поверили брюзге, дом почти крайний на горе, в подъезде нашем, тоже крайнем, никогда не толкутся пьяницы, парни, сбежавшие с уроков, влюбленные парочки. Кошек у нас всего три на подъезд, собак всего две, почтовые ящики не искорежены, стены не расписаны — все живут «свои» люди, вежливые, смиренные, всегда здороваются друг с другом.

И все-таки лампочку увели! У себя! В своем подъезде! Непостижимо, правда?

«А чего тут непостижимого, — возразят мне, — да сплошь и рядом пакости творятся».

Вот послушайте.

В доме, совсем неподалеку от нашего, шесть лет подряд кто-то ночью выносил мусор под лестницу, и к весне его набиралась куча. Веснами эту начавшую разлагаться кучу убирали жители подъезда, выражали свои чувства сами понимаете какими словами. Его, пакостника, караулили, пытались по мусору угадать, кто это, но ни конверта, ни квитанции, ни газеты с номером квартиры за шесть лет так и не смогли найти.

Только смерть, опять же смерть — судья беспристрастный и строгий — разрешила роковой вопрос: умер преклонных лет серьезный мужчина — и мусор под лестницей прекратился...

Я знаю шофера, который, завидев собаку на дороге, обязательно старается ее задавить. У самого у него есть собака — лайка, ухоженная, умная. «У меня собака путная, а этих... Всех передавить надо!» Я ему толкую, что лишь фашистам свойственно определять, кто «путный», кто «непутный», кому жить, кому не жить. А он мне: «Слюнтяи вы все!.. Вот и позасорили жизнь-то».

Мы, значит, позасорили жизнь-то, а он, этаким новоявленный добровольный санитар-моралист, ее очищает.

Согласно морали такого вот блюстителя чистоты и порядка, стало быть, нужно вытирать ноги о коврик соседа — у него жена дома сидит, не работает. Если приспичит — разбить бутылку на чужой лестничной площадке, набросать окурков да еще и написать на стене что-нибудь выразительными словами на добрую память собратям и жильцам; коли старушка слаба и еле движется по автобусу или трамваю, давнуть ее молодецким плечом — пусть сидит, не путается под ногами; коли нет дичи в лесу, не нашлось, не попалась, но зарядов полон патронташ и стрелять хочется — перебить стаканы на телеграфных столбах; коли рыба в речке не клюет — подбросить ей «порошку» и на время обморок устроить; коли подманить дудкой или выследить марала не удастся — петлю на его пути; коли захотелось в доме иметь шкуру медведя, но его, медведя, боязно: задрать может, — борону ему, бродяге, — это когда борону оставляют вверх зубьями и зубья затачивают вроде жегры, наступив на такую борону, медведю ничего не остается как орать благим матом, взывая со звериной мольбой прекратить его муки.

Продолжить еще? Рассказать о тех, кто снимает шапки с чужих голов? Кто отбирает у детей серебрушки? Кто портит телефоны-автоматы? Кто разрушает автобусные остановки просто так, с тоски и от буйства сил? Кто тащит книги из библиотек? Кто таит пять копеек в потной ладони, стараясь сэкономить на автобусном билете? Кто стонет и визжит во время сеанса в кинотеатре, выражая свое эстетическое чувство? Кто врывает на всю ночь проигрыватели, чтобы повеселить соседей? Кто выбрасывает мусор в окно вагона, на головы путевых рабочих? Кто...

Продолжайте, продолжайте! Но пакостников по сравнению с порядочными людьми все же не так много. Откуда же такое чувство, что мы порой опутаны ими? Не оттого ли, что мы примирились с ними, опустили руки? Владимир Даль, опять же он, батюшка, давно и во все времена дающий нам точные ответы, называет пакость скверной, мерзостью, гадостью, злоумышлением, да еще дьявольским, и советует: «Всякую пакость к себе примени... На пакость всякого станет...»

Пакость чаще всего творится скрытно. Если бы ее «засветили», если бы видно сделалось, она, быть может, и прекратилась, ибо пакость, хотя и не всегда любит и часто не приемлет зрителя, все же иногда и при зрителе происходит и для него делается. Если бы пакостить негде было, не рыхлилась бы для нее почва, нечем бы стало ей прикрываться, пришлось бы нам кончать с очень многими дурными наклонностями. Ну, допустим, все из той же пресловутой торговли: себе и друзьям — получше, другим — что достанется; еще лучше: себя снабдить, остальные — как знают. В пятидесятые годы слово «ОРС» расшифро-

вывали так: «основное растащили сами, остальное раздали своим». Мораль сия воспрянула снова. Ну а после того, как растащили, себя и своих снабдили, можно вовсе ничего не делать, только эту шуштуру под названием «покупатель» презирать: месяцами не завозить в овощной магазин картошку — грязно; не принимать в продажу молоко — возни с посудой много; не заказывать хлеб — на хлебе план не потянешь.

А служебная пакость? Кому не доводилось на рабочем месте увидеть подвыпивших и играющих трудящихся — такие жизнерадостные работяги поталкивают молодецкими плечами друг друга или бороться возьмутся, а то карты вынут или домино и ну стучать. Случается услышать откровение: «Сто пятьдесят получаю — и ничего не делаю! Красота!»

Прошлой осенью довелось мне наблюдать, как сплавщики вытаскивали из реки катера на зимний отстой. Тринадцать человек их было, не считая двух мощных тракторов и трактористов. За день они вытащили на берег один катер из шести, поломав у него при этом гребной винт. Напившись и наигравшись вдосталь, бригадир с насмешкою спросил у меня, наблюдавшего за этим действием — работой сие назвать рука не поднимается: «Ну как?» И я с негодованием ему сказал, что сам видел, как в Финляндии подобную работу без матюгов и спешки делали двое рабочих-трактористов и что буржуй-хозяин за такую работу сегодня же вечером выгнал бы всех их вон. «Вот чтоб он нас не выгнал, мы его и турнули в семнадцатом году», — снисходительно хлопнул меня по плечу бригадир.

Ну что на это скажешь? Только руками разведешь и вспомнишь бабушку, которая без особого осуждения, почти с восторгом говаривала о таких вот трудягах: «Грамотные, язви их!..»

Игарка в тридцатых годах почти сплошь состояла из переселенческих барачков. Среди первых опытных двухэтажных барачков, строенных на мерзлоте, был и барак номер два, хорошо мне известный, — в нем жил мой дедушка с семьей. Этот барачок, как и все другие, мылся, белился, подметался поочередно. У входа в барачок были вбиты две длиннющие железяки — скоблики, лежали голики и веники (не на привязи, как нынче). В самом барачке ни росписей, ни художеств, а ведь в «силу климата» ребятишкам зимами приходилось играть в бабки, в чику, в прятки, в чехарду под лестницами. Дрались, конечно, парнички, выражались, покуривали в темных углах, но чтоб сорить — боже упаси! Любой житель барачка мог наткнуть тебя носом в грязь. Вдруг раздавался вопль: «Дзюба идет!» — и ребятишки кто куда, пряча на ходу серебрушки, бабки, окурки, палки. Дзюба Николай Охремович был старостою второго барачка. Гроза! Власть! Я не помню, чтобы он кого-нибудь стукнул — достаточно было его появления. Иногда Дзюба останавливался, нюхал табачное облако, выуживал какого-нибудь огольца из-под лестницы и держал его на весу за ухо минуту-другую, выразительно при этом глядя жертве в глаза. Орать не полагалось, потому что

на крик нагрянут родители и добавят — если уж сам Дзюба Николай Охремович тебя наказал, значит, и разбираться нечего, значит, заработал, значит, получай сполна за непотребное дело.

Я заходил в те старые бараки много лет спустя. В них «жили» вербованные. Слово «жили» я беру в кавычки и придаю ему условное значение — без кавычек оно не подходит для той картины, какую мне довелось видеть, да и сейчас при желании любой любопытный в любом нашем промышленном городе может ее увидеть.

Есть такое мудреное научное выражение — «среда обитания». Вот это изречение я бы употребил по отношению ко многим современным жилищам, да и не только к ним.

...Предложили мне выступить в одном шибко интеллектуальном учебном заведении. В нем только студентов пятнадцать тысяч. Перед выступлением, от волнения, видно, погнало меня в заведение с нарисованной на двери фигуркой в шляпе. Боже ты мой! Даже вокзальные картины, какие наблюдал я не раз в крупных городах, не говоря уж о богом и людьми забытых городишках, ни в какое сравнение не идут с тем, что я увидел.

Между тем в зале сидели и ждали моих речей и откровений философского порядка модно одетые парни и девушки, мыслящие современно, востро, озабоченные «глобальными вопросами», в особенности «вопросами жизни» — экологическими. А я им и брякни, что надо прежде за собой научиться убирать, потом умствовать, что экология как раз с этого и начинается, что, начав с нечистоплотности в вузе, они могут и впредь, когда станут сдавать или принимать в эксплуатацию, допустим, новое водохранилище, этакое рукотворное море, не смущаться тем, что вместо воды в нем плавает воняющей шубой водоросль под названием водяная чума, а берега устелит и загромоздит похожий на чудище плавник, вместо леса будет маячить кладбище черных обломанных стволов. И еще я сказал, что те, выгнанные нуждой из деревни в город дяди Вани и тети Мани, которые веками «незаметно» обихаживали интеллигентных горожан, стряпали, шили, пилили, возили, кончились, их дети и внуки сидят здесь, в зале, и хотят они того или не хотят, но обихаживать себя и свою землю придется им самим.

Кто-то хихикнул, кто-то нахмурился, а кто-то на меня обиделся: как же? — пришли покраснобайствовать вместе с писателем, интеллектом блеснуть, а он им такую грубость житейскую...

Пакость многообразна, границы ее бывают размыты житейским морем или сомкнуты с некими нагромождениями, разломами, выносами. Пакость может быть незаметной, но безвредной никогда не была и не будет.

Недавно я услышал рассказ о том, как «украли» ЛЭП! На четыреста верст! То есть одни проходимцы-мошенники, не построив, сдали ЛЭП, а другие мошенники приняли ее и все получили за это поощрения и премии. Лови-имай их теперь,

мошенников-то! Они сделали пакость и разбежались — угонись-ка за ними!

В глухой тайге, на перевале, видел я странные окаменения, серые и морщинистые, на магму вулканическую похожие, и не сразу догадался, что это бетон. «А чего удивляться-то? — сказал мне шофер.— По всем новым дорогам такое: бетон привезут — принять некому, людей нет. Не губить же машину, вот и вываливают сырой бетон в кусты». Машину, значит, губить нельзя, природу — можно!

Нет, я шибко покривил бы против истины, если бы окончательно сделал вывод, что пакость всегда интимна, локальна, одиночна. Ее можно творить и масштабно. Вот проектировали институты, утверждали инстанции, в том числе и местные, одну большую ГЭС с условием, что река ниже гидростанции зимой не будет замерзать лишь на протяжении 25—30 километров, то есть до большого города, которому предстояло еще бурно развиваться, гиблая в зимнюю пору, парящая, ознобная вода не дойдет. Построили мощную гидростанцию, отгремели оркестры, отшумели банкеты. Строители, да и не только они, получили награды — и оказалось, что река ниже ГЭС не замерзает на протяжении 250—300 километров! Какие бедствия и убытки от этого, какой нанесен урон роскошной природе — ведутся подсчеты. Теперь, с некоторым, мягко говоря, запозданием, власти города, ученые ломают голову над тем, как избежать бедствия, нанесенного проектировщиками, и заставить реку жить нормальной жизнью, избавить людей и природу от нечаянной напасти. Людей, большинства из тех, творивших, утверждавших и принимавших проект, пожалуй, за давностью лет уже не найти; но явно есть и сегодня иные мудрецы-молодцы, которые небось продолжают так же мыслить и творить дальше — выдумывать еще более «эффективные и экономичные» проекты.

Все мы хотим нормальных, грамотных проектов, а не липы с сиюминутной липовой экономией; нормальных, честных решений и их нормального, честного исполнения, нормального труда, нормального отдыха. Не один я, уже многие наши люди страшатся хитрых технических операций, экономных проектов, велеречивых статей, книг, кинокартин, где есть все, кроме искусства. Мне, да кабы только мне, всегда за вычурностью, за мнимой многоумной ученостью, прекраснодушными разглагольствовани-ями, высокими идеями, излагаемыми с открытым, невинным взором, в густоте словесного тумана чудятся плутни, желание скрыть истинное лицо иль отсутствие собственных идей и мыслей.

Кому нужно искусственно усложнять нашу и без того непростую жизнь, нагромождать препятствия там, где их не было и быть не должно? К примеру, все мы, граждане, пользующиеся услугами междугородной телефонной сети, могли заранее приобрести разовый талон на разговор. Это во многих случаях было удобно. Но наши намерения жить удобно угаданы и вовремя пресечены: дано указание принимать заказы на междугородный

разговор по разовым талонам только из гостиниц и больниц.

Сократилось количество разговоров, значит, и жалобы сократились, сократились заботы, хлопоты, «легче» стало обслуживать население. После этого уж не удивляешься, что, издав приказ или вынеся постановление повсеместно в стране сдавать корреспонденцию и всякую почту только в стандартных упаковках, Министерство связи не ударило палец о палец, чтобы данная упаковка появилась в продаже. Во всяком случае, у нас в Красноярске по-прежнему в почтовых отделениях связи одни почтовые конверты для писем да открытки с изображением сирени, пожелтевшей от тоски и долгого хранения. И нет по-прежнему конвертов большого и среднего формата, их не продают и без них соответствующую корреспонденцию не принимают. Те же конверты, которые изредка появляются, делаются из рыхлой бумаги, и бандероли, как правило, поступают в поврежденном состоянии, то есть в прах разбитые и растрепанные.

Наступит срок — он уже наступил — и вообще перестанут принимать корреспонденцию, запакованную нестандартно. Опять кое у кого убудет работы, забот и хлопот.

Что говорить, многие ведомства и министерства приучили себя к тому, что не они людям служат, а люди им, и гnevаются даже, когда им указывают на «мусор под лестницей».

Вы скажете: «Какая же это пакость?!»

Правильно! Преступление! Но оно начиналось с пакости, уверяю вас. Может, еще родители, может, дед с бабкой пакостные были и коростой пакости заразили этих, с позволения сказать, людей...

Умерла от ран и болезней достойная женщина, бывшая фронтовичка. Женщина та умирала долго, мучительно, на окраине, в доме гостиничного типа, в узенькой комнате. Возле нее никого не было, лишь верная подруга, тоже фронтовичка, навещала ее, прибирала в комнате, ухаживала за ней. Смерть уже стояла у изголовья больной, но она продолжала держаться, и подруга ее догадывалась почему: она не позволяла себе умереть раньше пятого или седьмого числа наступавшего месяца — хотела получить пенсию и отправить младшему сыну, у которого трое детей, а она не сумела его «обеспечить». Она умерла восьмого числа и просила не судить строго «мальчика», если он не прилетит на похороны, — очень далеко, а у него семья, важная работа.

У женщины-фронтовички была когда-то хорошая, еще от матери доставшаяся довоенная трехкомнатная квартира, она разменяла ее и отдала квартиру первому сыну, второму же сыну, жена которого все корила свекровку: «Завоевали, понимаете! Заработали... Сберкнижки нету! Нищета!» — винясь, посылала пенсию, оставляя себе копейки на питание. Последнюю пенсию смогла послать целиком — деньги ей сделались более не нужны.

Сын на похороны матери не прилетел...

Многообразна, разнолика жизнь, часто и грустна, и не похожи характеры людские друг на дружку, а вот дела, творимые ими,

обиход все же частенько совпадают и с обликом их, и с характером. Соответственно и пакость бывает похожа на самого пакостника.

Мне не раз доводилось бывать в покинутых русских деревнях. Ох, какое это зрелище! К нему не притерпеться, не привыкнуть. Я, во всяком разе, не смог. Ведь некоторым селам, которые так поспешно, охотно, вроде бы с облегчением списывали со счета, — тыща лет! А может, и более. И самое печальное зрелище — это оставленная, заброшенная русская изба, человеческое прибежище.

В деревне Гридкино на Вологодчине, которую, слышал я, спалили туристы мимоходом, стоял небольшой дом, обшитый самоструганным тесом, с дворовыми пристройками, резными наличниками, с начатой, но так и не законченной резьбой по карнизу. Двор заперт изнутри, на входной двери дома, под уже ветшающим козырьком, висячий, ржавчиной тронутый замок, и рядом в стену крепко всажен топор с гладеньким, ловко излаженным топорщиком. На крыльце веник и голик, лопата и лом прислонены к стене, под козырьком пересохший пучок зверобоя и душицы, на ободверине еле уже заметный крестик, сделанный мелом.

Я заглянул в окно покинутой избы. В ней еще не побывали городские браконьеры, и три старенькие иконы тускло отсвечивали святыми ликами в переднем углу. Крашенные полы в горнице, в средней и в кути были чисто вымыты, русская печь закрыта заслонкой, верх печи был задернут выцветшей ситцевой занавеской. На припечке опрокинуты чугушки, сковорода, в подпечье — ухваты, кочерга, сковородник, и прямо к припечью сложено беремья сухих дров, уже тронутых по белой бересте пылью. В этой местности дрова заготавливают весной, большей частью ольховые и березовые. За лето они высыхают до звона, и звонкие, чистые поленья радостно нести в дом, радостно горят они в печи.

Часы-ходики уперлись гирей в пол и стояли, в горнице остался половичок, кровать закинута ряднинкой, на окне керосиновая лампа, хотя и электричество было проведено в избу. В горнице же на стене в ряд висели черное пальто, шитое из перекрашенной шинели, и гордость прежних деревенских модниц — плюшевая жакетка, детские самодельные курточки, пальтишки; над «добром» этим виднелась полочка, и на ней стопкой лежали тетради, учебники, к стене приклеены плакаты послевоенной и военной поры, с красноармейцами, матерью, призывающей спасти Родину, трактористами, доярками и красногордым пьяницей, валяющимся в обнимку со свиньей в грязной канаве.

Здесь жили хозяева! Настоящие. Покидая родной дом из-за жизненных ли обстоятельств, по зову ли детей или в силу все сметающей на пути урбанизации, они не теряли веры, что в их дом кто-то придет не браконьером и бродягой — жителем придет, и с крестьянской обстоятельностью приготовили для него все необходимое: ломик — оторвать замок, без топора же и лопаты хозяин ни шагу; темной порой придешь — засвети лампу, без истопли

же дров куда? Затопи печь, путник или новопоселенец, согрей избу — и в ней живой дух поселится, и ночуй, живи в этом обихожном доме.

А через дорогу, уже затянутую ромашкой, травой муравой, одуванчиком и подорожником, изба распахнута настежь. Ворота сорваны с петель, створки уронены, проросли в щелях травой, жерди упали, поленницы свалены, козлина опрокинута вниз «рогами», валяются обломок пилы, колун, мясорубка, и всякого железа, тряпья, хомутов, колес — ступить некуда.

В самой избе кавардак невообразимый. На столе после еды все брошено, чашки, ложки, кружки заплесневели. Меж ними птичий и мышиный помет, на полу иссохшая и погнившая картошка, воняет кадка с прокисшей капустой, по окнам горшки с умершими цветами. Везде и всюду грязное перо, начатые и брошенные клубки ниток, поломанное ружье, пустые гильзы, подполье черным зевом испускает гнилой дух овощей, печка закопчена и скособочена, порванные тетради и книжки валяются по полу, и всюду бутылки, бутылки, из-под бормотухи и водки, большие и маленькие, битые и целые, — отсюда не выселялись, помолясь у порога и поклонившись покидаемому отеческому углу, здесь не было ни бога, ни памяти, отсюда отступали, драпали с пьяной ухарской удалью, и жительница этого дома небось плюнула с порога в захламленную избу с презрением: «Хватит! Поворочала! Теперь в городе жить стану, как барыня!..»

Мне не составляет труда представить, где и как живут первые хозяева, с семьей уехавшие из деревни, и где вторые. Первые живут в пятиэтажном доме на знакомой мне улице Большевистской. Дом как дом, постройки еще пятидесятых годов, малогабаритный, с совмещенными ванной и санузлом, на лестнице в доме не просто чистота, она еще и покрашена «своей» краской, на каждом этаже на окнах цветы, у каждой двери нехитрый коврик, в доме ни клопов, ни тараканов, в подъезде все почтовые ящики целы, лестничные барьеры не изрезаны, не скручены молодецкой рукой, на полу и под лестницей ни сора, ни окурков, ни пустых бутылок, ни стекла — сюда бродяги и блудные дети не ходят, они не любят такие дома.

Вторые хозяева живут, ясное дело, в том доме, на Акмолинской, где умирала бедная женщина-фронтовичка, а напротив нее дни и ночи пел, да какое там пел — «выдавал» расплюснутым нутром, сгоревшим от денатурата, клея, одеколона, разных аптечных пузырьков и прочих «напитков» голосом «отдыхающий ныне на пенсии» вечный арестант, всю сознательную жизнь проведенный в колониях: «А мы тянули вместе срок читьры хода, а ты, с-сэка, к другому фраиру ушла...»

Отчего терпим мы?! Вот он, пакостник, расшеперился, как конь, среди центра города, по ту и по другую сторону которого идут нарядно одетые девушки, дети, люди сплошь спешат на работу и с работы. Он сквернословит, задирает прохожих, презирая всякую мораль и нас вместе с нею. Да подойдите же, подойдите,

парни, и дайте ему пинкаря, потом за шкурку его и в кутузку! Он же в глаза нам плюет! Я бы и сам его скрутил, но уже стар, сед сделался и в Союзе писателей состою — мне должно действовать только словом. Значит, он изгаляется, а я ему: «В человеке должно быть все прекрасно», «Вы позорите честь советского человека!..»

Ох, сколько мы слов извели, сколько негодования высказали, сердце изорвали, нервы извели, вывесок больше всех грамотных народов написали, и все с приставкой «не»: «не курить!», «не бросать», «не переходить», «не шуметь», «не распивать». И что же, пакостник унялся? Притормозил? Засовестился? Да он как пакостил, так и пакостит, причем, по наблюдениям моим, особенно охотно пакостит под запретительными вывесками, потому что написаны они для проформы и покуражиться под ними пакостнику одно удовольствие, ему пакостная жизнь — цель жизни, пакостные дела — благо, пакостный спектакль — наслаждение, и тут никакие уговоры, никакая мораль, даже самая передовая, не годится, тут лишь одно средство возможно, оно, это верное средство, мудрым батюшкой Крыловым подсказано более ста лет назад: «Власть употребить!»

И силу, добавлю я, всеобщую, народную!

В прошлом году со мной приключилась беда. Шел по улице, поскользнулся и упал... Упал неудачно, хуже некуда: лицом о поребрик, сломал себе нос, рука выскочила в плече, повисла плетью. Было это примерно в семь часов вечера. В центре города, на Кировском проспекте, недалеко от дома, где живу.

С большим трудом поднялся, забрел в ближайший подъезд, пытался унять платком кровь. Куда там, я чувствовал, что держусь шоковым состоянием, боль накачивает все сильнее и надо быстро что-то сделать. И говорить-то не могу — рот разбит.

Решил повернуть назад, домой.

Я шел по улице, думаю, что не шатаюсь. Хорошо помню этот путь — метров примерно четыреста. Народу на улице было много. Навстречу прошли женщина с девочкой, какая-то парочка, пожилая женщина, мужчина, молодые ребята, все они вначале с любопытством взглядывали на меня, а потом отводили глаза, отворачивались. Хоть бы кто на этом пути подошел ко мне, спросил, что со мной, не нужно ли помочь. Я запомнил лица многих людей, — видимо, безотчетным вниманием, обостренным ожиданием помощи...

Боль путала сознание, но я понимал, что, если лягу сейчас на тротуаре, преспокойно будут перешагивать через меня, обходить. Надо добираться до дома. Так никто мне и не помог.

Позже я раздумывал над этой историей. Могли ли люди принять меня за пьяного? Вроде бы нет, вряд ли я производил такое впечатление. Но даже если бы и принимали за пьяного — они же видели, что я весь в крови, что-то случилось — упал, ударили, — почему же не помогли, не спросили хотя бы, в чем дело? Значит, пройти мимо, не ввязываться, не тратить времени, сил, «меня это не касается» стало чувством привычным?

С горечью вспоминая этих людей, поначалу злился, обвинял, недоумевал, потом стал вспоминать самого себя. Легко упрекать других, когда находишься в положении бедственном, но обязательно надо вспомнить и самого себя. Нечто подобное — желание отойти, уклониться, не ввязываться — и со мной было. Уличая себя, понимал, насколько в нашей жизни привычно стало это чувство, как оно пригрелось, незаметно укоренилось.

Я не собираюсь оглашать очередные жалобы на порчу нравов. Уровень снижения нашей отзывчивости заставил, однако,

призадуматься. Персонально виноватых нет. Кого винить? Оглянулся — и причин видимых не нашел.

Раздумывая, вспоминал фронтовое время, когда в голодной окопной нашей жизни исключено было, чтобы при виде раненого пройти мимо него. Из твоей части, из другой — было невозможно, чтобы кто-то отвернулся, сделал вид, что не заметил. Помогали, тащили на себе, перевязывали, подвозили... Кое-кто, может, и нарушал этот закон фронтовой жизни, так ведь были и дезертиры, и самострелы. Но не о них речь, мы сейчас — о главных жизненных правилах той поры.

И после войны это чувство взаимопомощи, взаимобязанности долго оставалось в нас. Но постепенно оно исчезло. Утратилось настолько, что человек считает возможным пройти мимо упавшего, пострадавшего, лежащего на земле. Мы привыкли делать оговорки, что-де не все люди такие, не все так поступают, но я сейчас не хочу оговариваться. Мне как-то пожаловались новгородские библиотекари: «Вот вы в «Блокадной книге» пишете, как ленинградцы поднимали упавших от голода, а у нас на днях сотрудница подвернула ногу, упала посреди площади, и все шли мимо, никто не остановился, не поднял ее. Как же это так?» Обида и даже упрек мне звучали в их словах.

И в самом деле, что же это с нами происходит? Как мы дошли до этого, как из нормальной отзывчивости перешли в равнодушие, в бездушие — и это тоже стало нормальным?

Не берусь назвать все причины, отчего ослабло чувство взаимопомощи, взаимобязанности, но думаю, что во многом это началось с разного рода социальной несправедливости, когда ложь, показуха, корысть действовали безнаказанно. Происходило это на глазах народа и губительнейшим образом влияло на духовное здоровье людей. Появилось и расцвело безразличие к своей работе, потеря всяких запретов — «им можно, а почему мне нельзя?». Начинало процветать вот то самое, что мы называем теперь мягко — бездуховность, равнодушие.

Естественно, это не могло не сказаться на взаимоотношениях людей внутри коллектива, на требовательности друг к другу, на взаимопомощи, ложь проникла в семью — все взаимосвязано, потому что мораль человека не состоит из изолированных правил жизни. И тот дух сплоченности, взаимовыручки, взаимозаботы, который сохранялся от войны, дух единства народа убывал.

У моего знакомого заболела мать. Ее должны были оперировать. Он слышал о том, что надо бы врачу «дать». Человек он стеснительный, но беспокойство о матери пересилило стеснительность, и он под видом того, что нужны будут какие-то лекарства, препараты, предложил врачу 25 рублей. На что врач развел руками и сказал: «Я таких денег не беру». — «А какие надо?» — «В десять раз больше». Мой знакомый — рядовой инженер, человек небогатый, но речь шла о здоровье матери, и он раздобыл деньги, принес их врачу стыдливо в конверте, а тот преспокойно вынул и пересчитал бумажки.

После операции мать умерла. Врач пояснил моему знакомому: «Я проверил, мать ваша умерла не в результате операции, у нее не выдержало сердце, поэтому деньги я оставляю себе», — убежденный в своей порядочности: вот если бы женщина умерла в результате операции, деньги бы он вернул.

С полным сознанием своей правоты произнес это врач государственной клиники, представитель профессии гуманной, человеколюбивой — так, во всяком случае, положено думать о врачах.

Упоминаю об этом случае не потому, что он особый, а потому, что его не считают особым.

Женщина развелась с мужем и через суд потребовала алименты. Присудили. А ребенок находится у родителей мужа, и мать эта даже думать не думает взять ребенка и заботиться о нем. Но алименты исправно получает. К сожалению, все больше случаев, когда матери отказываются от своих детей. Прежде это были единичные случаи, поражавшие людей. Сейчас с ними примирились.

Наши обильные разговоры о нравственности часто носят слишком общий характер. А нравственность состоит из конкретных вещей — из определенных чувств, свойств, понятий.

Одного из таких чувств — чувство милосердия. Термин для большинства старомодный, непопулярный сегодня и даже как будто отторгнутый нашей жизнью. Нечто свойственное лишь прежним временам. «Сестра милосердия», «брат милосердия» — даже словарь дает их как «устар.», то есть устаревшие понятия.

В Ленинграде в районе Аптекарского острова была некогда улица Милосердия. Сочли это название отжившим даже для улицы, переименовали в улицу Текстилей.

Слова стареют не случайно. Милосердие. Что оно — не модно? Не нужно?..

Изъять милосердие — значит лишить человека одного из важнейших проявлений нравственности. Древнее это необходимое чувство свойственно всему животному сообществу: милость к поверженным и пострадавшим. Как же так получилось, что чувство это в нас убыло, заглохло, оказалось запущенным? Мне могут возразить, приведя немало примеров трогательной отзывчивости, соболезнования, истинного милосердия. Примеры, они есть, и тем не менее мы ощущаем, и давно уже, отлив милосердия из нашей жизни. Если бы можно было произвести социологическое измерение этого чувства...

Недавняя трагедия в Чернобыле всколыхнула народ и душу народную. Бедствие проявило у людей самые добрые, горячие чувства, люди вызывались помогать и помогали — деньгами, всем, чем могли, 530 миллионов рублей добровольно пожертвовано в фонд помощи пострадавшим от аварии в Чернобыле. Это огромная цифра, но главное — душевный отклик: люди сами охотно разбирали детей, принимали пострадавших в свои дома, делились всем. Такой же отклик возник и при недавних бедствиях в Грузии, где произошел сход лавин, наводнение. Это, конечно, про-

явление всенародного милосердия, которое всегда было свойственно нашему народу: так всегда помогали погорельцам, так помогали во время голода, неурожая...

Но Чернобыль, землетрясения, наводнения — аварийные ситуации. Куда чаще милосердие и сочувствие требуются в нормальной, будничной жизни, от человека к человеку. Постоянная готовность помочь другому воспитывается, может быть, требованием, напоминанием о соседях, друзьях, нуждающихся в этом...

Уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. Думаю, что это чувство врожденное, данное нам вместе с инстинктами, с душой. Но если это чувство не употребляется, не упражняется, оно слабеет и атрофируется.

Упражняется ли милосердие в нашей жизни?.. Есть ли постоянная принуда для этого чувства? Часто ли мы получаем призыв к этому?

Вспомнилось, как в детстве отец, когда проходили мимо нищих, а нищих было много в моем детстве — слепых, калек, просто просящих подавание в поездах, на вокзалах, на рынках, — отец всегда давал медяк и говорил: поди подай. И я, преодолевая страх — нищенство нередко выглядело довольно страшновато, — подавал. Иногда преодолевая и свою жадность — хотелось приберечь деньги для себя, мы жили довольно бедно. Отец никогда не рассуждал, притворяются или не притворяются эти просители, в самом ли деле они калеки или нет. В это он не вникал: раз нищий — надо подать.

Как теперь я понимаю, это была практика милосердия, то необходимое упражнение в милосердии, без которого это чувство не может быть.

Хорошо, что нищих у нас сейчас нет. Но должны же быть какие-то другие обязательные формы проявления милосердия человеческого. Не ради упражнения, а потому, что немало есть в жизни нашей людей, которым необходимы сострадание и помощь.

После того падения пришлось побывать мне в больнице. Это была самая обыкновенная старая городская больница «Скорой помощи». Поскольку она старая, то уже не совсем обыкновенная, ибо находилась (и находится по сей день) в ужасном состоянии. Здание обветшало, полы в первом этаже шаткие, горячей воды нет, бегают крысы. Не буду называть эту больницу, потому что работают там превосходные врачи-энтузиасты, которые именно в таких больницах и удерживаются. Не хочу, чтобы они пострадали, ибо, как правило, достается им, а не начальству.

Ночами от боли не спалось, бродил я по коридору. Длинный этот коридор был заставлен койками и раскладушками с больными. Мест в палатах не хватало. Лежали вперемежку мужчины, женщины — постанывали, ворочались. Кто просил поднять, кто — пить.

Напоминало мне это фронтовой госпиталь после боя. С той лишь разницей, что санитарок не было. Давно известная беда не

только ленинградских больниц. На травматологическое отделение на девяносто больных имелась одна санитарка. То есть полагалось четыре, но не было. Время от времени присылали на эту роль «пятнадцатисуточниц» — вот до чего доходили. Но в эту ночь никаких подсобниц не было. Кого-то я поил, кого-то загипсованного поворачивал. Подозвала меня одна старая женщина. Попросила посидеть рядом. Пожаловалась, что страшно ей, заговорила про своих близких, которые далеко, про свою трудную, ныне одинокую жизнь. Взяла меня за руку. Замолчала. Я думал, заснула, а она умерла. Рука ее стала коченеть.

На фронте навиделся я всяких смертей. И то, что люди умирают в больницах, вещь неизбежная. Но эта смерть поразила меня. Чужого, неважно кого, подозвала эта женщина, томясь от одиночества перед лицом смерти. Невыносимое, должно быть, чувство. Наказание страшное, за что — неизвестно. Хоть к кому-то приклониться. Заботу о человеке, бесплатную медицину, гуманизм, коллективность жизни — как это все соединить с тем, что вот человек, отработав весь свой век, умирает в такой заброшенности? Не стыд ли это, не позор и вина наша всеобщая? У верующих существует таинство соборования, отпущение грехов. Человек причащается... Человек чувствует приближение конца. Ему легче, когда рядом — исполненный сочувствия и внимания, пусть даже чужой, не говоря уж о своих. Чью-то руку держать в этот прощальный миг, последнее слово сказать кому-то, чтобы его слышали. Хотя бы той же сестре милосердия, брату милосердия, которые у нас «устар.». В такие минуты проверяется милосердие как уровень общественной гуманности.

Конечно, положение, до которого доведены наши обыкновенные городские больницы, когда медсестры и врачи вынуждены брать на себя функции санитарок, чтобы больные не остались без ухода, — положение это тяжелейшее. Низки оклады санитарок, работа тяжелая, грязная — подать, перевернуть, обтереть, принести-унести. Ненормально, когда в той же больнице «Скорой помощи» постоянно теснота, не хватает медицинской техники. Но, кроме всего этого, в санитары не идут — профессия непрестижная, исчезло почтение к тому материнскому, святому, сострадательному, что делало уход за больными привилегией женской сердечности. Оклады окладами, но должны еще быть слава и уважение к делу милосердия. Санитарка, медсестра, — может, сегодня наиболее человеколюбивое занятие, где царит и побеждает не образование, а душевные качества человека. Именно здесь требуются терпение, доброта, нежность — этого не хватает всей медицине.

Молодежь охотно откликнулась на призывы — ехала на целину, на БАМ, на большие и малые стройки. Никто, однако, не обращался к ним: мол, нужны те, кто сможет утешать страждущих, поднимать павших духом, исцелять уходом своим. Желающие, несомненно, найдутся, шли же в госпитали, в больницы во время войны и совершали чудеса. То была война — возразят

мне. Но человек страдает и сегодня, и ныне жизнь человека так же дорога и хрупка.

Милосердие убывало не случайно. Во времена раскулачивания, в тяжкие годы массовых репрессий людям не позволяли оказывать помощь близким, соседям, семьям пострадавших. Не давали приютить детей арестованных, сосланных. Людей заставляли высказывать одобрение суровым приговорам. Даже сочувствие невинно арестованным запрещалось. Чувства, подобные милосердию, расценивались как подозрительные, а то и преступные: оно-де аполитичное, не классовое, в эпоху борьбы мешает, разрушает... Оно стало неположным в искусстве. Милосердие действительно могло мешать беззаконию, жестокости, оно мешало сажать, оговаривать, нарушать законность, избивать, уничтожать. В тридцатые годы, сороковые понятие это исчезло из нашего лексикона. Исчезло оно и из обихода, «милость к падшим» оказывали таясь и рискуя.

В «Памятнике», где так выношено каждое слово, Пушкин итожит заслуги своей поэзии классической формулой:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Как бы ни трактовать последнюю строку, в любом случае она есть прямой призыв к милосердию. Стоило бы проследить, как в поэзии и в прозе своей Пушкин настойчиво проводит эту тему. От «Пира Петра Первого», от «Капитанской дочки», «Выстрела», «Станционного смотрителя» — милость к падшим становится для русской литературы нравственным требованием, одной из высших обязанностей писателя. В течение девятнадцатого века русские писатели призывают видеть в таком забитом, ничтожнейшем чиновнике четырнадцатого класса, как станционный смотритель, человека с душой благородной, достойной любви и уважения. Пушкинский завет милости к падшим пронизывает творчество Гоголя и Тургенева, Некрасова и Достоевского, Толстого и Короленко, Чехова и Лескова. Это не только прямой призыв к милосердию вроде «Муму», но это и обращение писателей к героям униженным и оскорбленным, сирым, убогим, бесконечно одиноким, несчастным, к падшим, как Сонечка Мармеладова, как Катюша Маслова. Живое чувство сострадания, вины, покаяния в творчестве больших и малых писателей России росло и ширилось, завоевав этим народное признание, авторитет.

Социальные преобразования нового строя, казалось, создадут всеобщее царство равенства, свободы и братства счастливых рядовых людей. Но все оказалось сложнее. Литературе пришлось жить среди закрытых, запечатанных дверей, запретных тем, сейфов.

Важнейшие этапы истории нашей жизни стали неприкасаемы. Нельзя было рассказать о многих трагедиях, именах, событиях. Мало этого, социальная несправедливость, то, что люди терпели

порой от власть имущих, — обида, лишения, хамство, — изображение этого тщательно процеживалось, ограничивалось.

И может быть, только в военной литературе тема гуманности, милосердия прозвучала сильно и последовательно.

Милость к падшим — воспитание этого чувства, возвращение к нему, призыв к нему — необходимость настоятельная, трудно-оценимая. Я убежден, что литература наша, тем более сегодня, не может отказаться от пушкинского завета. Двери надо распечатывать. История неделима. Из нее нельзя выковыривать лишь лакомое, светлое. Печали истории нашей, и довоенной, и послевоенной, все еще ждут воздаяния — не возмездия, а соболезнования, признания. Я рад тому, что долг этот выполняют, каждый по-своему. Нельзя оценить добро и реальное движение нынешних перемен в отрыве от всего того немилосердно тяжкого, что доставалось нашим отцам да и нам самим. Одно дело — реабилитация перед законом, другое — воздать должное жертвам, тем, кто пострадал невинно. Историческая справедливость много значит для духовного здоровья. Сколько их, внуков и правнуков, мечтают, чтобы гибель их отцов не замалчивалась! В этом милосердие и к ушедшим, и к нам, живущим.

Недавно я прочел книгу «О всех созданиях — больших и малых». Автор Джеймс Хэрриот — английский сельский ветеринар. Профессия скромная, соответственно и пишут о ней редко. Книга эта о работе ветеринарного врача, как он ездит по йоркширским фермам, обслуживает скотину, птицу, заодно и собак, и кошек. Лечение животных — занятие многотрудное, часто опасное, а уж грязи хватает в полутемных скотных дворах, свинарниках. Чего только не приходится терпеть ветеринару от своих бессловесных пациентов — удары копытом, укусы; чтобы установить диагноз, нужна, кроме опыта, знаний, еще любовь к животным — к этим коровам, лошадям, овцам, кошкам, ко всем живым тварям. Любовь рождает наблюдательность и взаимопонимание. Будничная невыигрышная работа, круглосуточные вызовы, ничего захватывающего, героического не происходит, и тем не менее повествование волнует волнением особым, от которого мы отвыкли при чтении художественной литературы. Каждый раз приходится искать решения — что случилось, как спасти, как помочь страдающему животному? Происходит спасение, исцеление или же гибель... Подкупает сама достоверность происходящего. И юмор доброго человека, не упускающего случая подтрунить над собой. Однако главное в этой книге — горячее чувство сострадания всему живому. Вот наш ветеринар возится с псом, которого переломала машина. Пес ничейный, казалось бы, введи дозу снотворного, и все беды кончатся, но он проводит многочасовую сложную операцию, спасая эту жизнь. Другую старую псину кладет на операционный стол только потому, что представляет, какую невыносимую боль испытывает животное от заворота век.

Казалось бы, корова, овца, обреченные на убой, — что уж так печалиться о них; нет, для него они живые существа, которым

он, врач, должен помочь, исцелить или хотя бы уменьшить их муки. Удачи и неудачи — все они пронизаны благоговением к жизни, которое не слабеет, а растет из года в год.

Автор ни к чему не призывает, не морализует, и в этом, как всегда бывает, сила безыскусного рассказа.

Читая, я не без стыда вспоминал стаи бродячих собак в пригородных и дачных местностях — результат нашей жестокости и эгоизма — и думал, что напрасно мы столь иронично относились к бытующим во всем мире обществам защиты животных. Думалось о том, что развитие нравственного самосознания общества заставляет пересмотреть то, что когда-то с ходу отвергалось, какие-то формы общественной жизни, которые ныне можно использовать.

Таковы, допустим, формы филантропии. Опыт нашей России, да и западный опыт, заслуживает внимания. Принимать частное вспомоществование почему-то у нас считается неприличным, чуть ли не унижительным. Образовалась как бы условность нашей социалистической морали: страдать от одиночества — неприлично, одиночество — состояние, не свойственное советскому человеку. Быть несчастным — неприлично. Быть бедным — тоже. Между тем одиночество — бедствие не только старых, но и молодых, оно вовсе не случайность, не следствие плохого характера и т. п. Бедность? При этом пожимают плечами, бедных, мол, у нас нет, а если встречаются, то это недосмотр собеса, это государственная забота, которая освобождает нас от ответственности.

Между тем ясно, что милосердие — дело сугубо частное. Мы учредили Фонд культуры — благородную и нужную организацию. Ведь это тоже филантропия по отношению к памятникам, сокровищам истории и культуры. Фонд культуры — это прекрасно, но почему с такой же самодеятельностью не можем обратиться к нуждающимся людям? Разве социалистическое общество — это не общество взаимодействия, взаимопомощи, взаимодобра? «Филантропия» переводится с греческого как «человеколюбие». Надо, очевидно, создавать какие-то формы участия, внимания — помимо казенных. У нас есть скрытая бедность, застенчивая бедность. Есть бедность, которая и рада бы принять помощь, но мы сами ее стесняемся или не знаем о ней. Есть хронические больные, есть много разных бед, требующих участия неформального, деликатного. Такое участие нужно и для тех, кто может помогать, хочет помогать, как-то применить нерастраченные силы своего добротворства.

Я не знаю рецептов для проявления необходимого всем нам взаимовнимания, но уверен, что только из общего нашего понимания проблемы могут возникнуть какие-то конкретные выходы. Один человек — я, например, — может только бить в этот колокол тревоги и просить всех проникнуться ею и подумать, что же сделать, чтобы милосердие согревало нашу жизнь.

Мы воспевали героину, подвиги людей, преодолевающих трудности, бесстрашных борцов. Но где были произведения о людях,

не могущих одолеть несправедливости и тяготы жизни, о тех, кто упал духом и отчаялся?.. А сколько их было вокруг нас — и литература не протянула им руку, она лишь клеймила, осуждала и отчуждала падших. Идея о том, что несчастья и страдания несвойственны нашему человеку, стала столь сильной, что даже блокадную эпопею Ленинграда пытались изображать лишь как цепь подвигов и героических деяний. Нельзя было рассказать о Ленинграде как о городе наших страданий, неслыханных мук, которые принесла с собой война.

Слишком просто было бы возлагать всю вину на нашу и без того претерпевшую литературу, но не сказать об этом тоже нельзя. Нельзя смывать сих строк печальных. Нельзя забыть о том, что со времен «Тихого Дона» — этого великого, волнующего призыва милости к падшим — голос милосердия звучал все реже. В нашей послевоенной литературе нельзя найти строк сочувствия к народам, которых выселяли с родных мест, и совсем немного — к миллионам, которые безвинно претерпели за фашистскую оккупацию, к миллионам, которые претерпели за плен. Литература не может быть лишена права на сострадание. Можно, конечно, прикрыться щитом истории, можно считать, что раз нельзя было, то и не писали, но пример Булгакова, Ахматовой, Платонова — двух-трех писателей — лишь показывает, что можно было не убояться.

Что милость к падшим требует пушкинского мужества и веры.

Когда мотив этот стал возвращаться в литературу последних лет, как услышан он был всеми! Вспомните «Сашку» Вячеслава Кондратьева, вспомните стихи Вознесенского, Евтушенко, Окуджавы, «Знак беды» Быкова, а ныне и у других стала подниматься эта долгожданная тема, которая нужна для очеловечивания нашего бытия. К ней надо призывать и призывать, чтобы растревожить совесть, чтобы лечить глухоту души, чтобы человек перестал пожирать отпущенную ему жизнь, ничего не отдавая взамен и ничем не жертвуя.

Одно дело персонаж вымышленный, пусть с узнаваемыми чертами какого-либо прототипа. С вымышленным героем каши не сваришь. Иное дело герой живой, в полной амуниции анкетных данных. С героем автору надобно подружиться, иначе... Если не выйдет дружба у автора с героем, будет худо тому и другому. Да еще как худо бывает! О! Об этом пойдет речь чуть ниже.

За долгое время работы в документальном жанре приходили на ум общие мысли о том, какого надо найти героя, чтобы после не дергаться, не валить с больной головы на здоровую. Главная мысль такая: герой и автор должны обладать... психологической совместимостью. Годящихся в герои документальной прозы тысячи тысяч, мастеровитые, умные, скромные, отважные, морально устойчивые, — незаметных героев в нашей текущей действительности пруд пруди. Но первого попавшего почему-то не воспевашь, кого-то ищешь, бывает, и не находишь, а если находишь — не того, кто люб местному начальству, не такого, к какому приучен читатель газет. И значит, что же? После писателю и пришьют, и приклеят. Работать в документальном жанре как по минному полю идти: мины хотя и не смертельны, но больно контузят. (Об этом есть целая книга у А. Стреляного — «Поездка к матери».)

Однако вначале надо найти героя. Как ищешь, каким руководишься прибором при разыскании, я сказать не могу. Психологическая совместимость — дело тонкое, подсознательное. Зато уж если находишь — надолго, может быть, и до конца. Найденному герою сохраняешь верность (хотя, понятно, грессишь и с другими героями, таково твое ремесло): возведя «рядового человека» (пусть немного из ряда вон) в ранг литературного героя, берешь на себя обязанность перед ним. И он перед тобою.

Осенью 1978 года я приехал в село Карамышево Змеиногорского района Алтайского края. Колхоз «Восход» в те годы хорошо шел по хлебу, хотелось увидеть, кто, как дает нам большой хлеб. Осень стояла погожая, горизонт в предгорной алтайской степи замыкали синие горы. Председатель колхоза «Восход» Антон Григорьевич Афанасьев оказался собою красив, по-сибирски могуч, умен, нравом буен и весел, неуправляем (впоследствии это свойство принесло ему кучу невзгод, да и мне тоже). Я написал тогда очерк о председателе передового колхоза — «В степи у са-

мых гор». На другой год, как пришло время уборки, опять отправился в Карамышево: что-то осталось не сказанное — не только в очерке, но и в начатом у нас с председателем разговоре в машине с бормочущей рацией, в бесконечном круговращении по хлебной ниве, по всхолмленной степи от комбайна к комбайну, от тока к току. Так продолжалось четыре года: из Ленинграда на самолете, с двумя посадками, в Барнаул, ночь в поезде Бийск — Лениногорск, до станции Третьяки, на машине до Карамышева — снова и снова я попадал в мир чистых страстей высокого напряжения, в самое пекло борьбы за хлеб, когда председатель оставлял себе на роздых дай бог четыре часа в сутки.

Очерки об алтайском хлебе, о сибирском характере (потом их назвали повестями) я писал в упоении уборочной страды, тут же, на месте действия, — в гостинице колхоза «Восход», в короткие минуты нашей разлуки с председателем Афанасьевым. Писал и думал, что ежели бог тебе дал хоть малую толику таланта, осуществить его можно вкупе с талантом, найденным в жизни, дабы подзарядиться. Талантом движется каждое дело. Талант возвышает работу до творчества. Особенно это заметно на хлебной ниве, где каждый день — непочатый белый лист бумаги. Я думал, что поиск героя — это поиск таланта. Герой нашелся, писать алтайские повести мне было легко, счастливо...

Повесть «Легкий полевой обед» была напечатана в «Звезде» в 1980 году, в 1981-м вышла «Ранняя вьюга»...

Я писал о колхозе «Восход», о его председателе, однако оглядывался вокруг. В конце семидесятых — начале восьмидесятых «Восход» гремел на весь край высокими урожаями зерновых, по тридцать центнеров с гектара и более. Дела в колхозе складывались в соответствии с общей обстановкой в Змеиногорском районе. Следовало учитывать обстановку. Далеко впереди других хозяйств — не только по хлебу (здесь «Восход» выходил вперед), но и по мясу, молоку, общему экономическому уровню, соцкультбыту — шел сосед «Восхода», ордена Ленина колхоз «Россия» во главе с прославленным председателем Героем Социалистического Труда Ильей Яковлевичем Шумаковым. Шумаков — здешних алтайских кровей, активист в тридцатые годы, тяжело раненный на войне (командовал ротой разведчиков в боях под Москвой) — принял в 1950 году колхоз «Россия» чуть живым, как многие колхозы тогда, вложил в него страсть, волю, талант, жизнь, построил в Барановке современное агропромышленное предприятие.

Идущему впереди больше дается — при общих лимитах для района. Неодинаковость условий с соседом в «битве за хлеб» порой вызывала в председателе «Восхода» Афанасьеве... мягко говоря, несогласие. Ничего личного в конфликте между двумя председателями не было; в известные времена это называли «конфликтом хорошего с лучшим». Так казалось при первом взгляде. На поверку вышло значительно глубже, драматичнее, и характеры у председателей крутые, сибирские. Об этом есть в моих повестях.

Я писал об Афанасьеве, но чем более вживался в реалии глубинного алтайского района, тем явственнее ощущал решающее присутствие в каждом дне Шумакова. В 1981 году я ехал на Алтай с мыслью продолжить повествование о хлебе с точки зрения Шумакова. Но... в том году Илья Яковлевич ушел из жизни. Колхоз «Россия» переименовали в колхоз имени И. Я. Шумакова.

Далее произошло непредвиденное. Хотя... работающему в документальном жанре надо уметь считать варианты... В 1986 году я приехал в Карамышево...

II

В небесах погромыхивало, бродили грозы. Небо захмурет — и просветлеет, как мужнино лицо... Бывало, Антон Григорьевич Афанасьев — жене Полине Николаевне: «Ну ты че? Мы же спешим!» Жена подхватится: «Я думала...» Муж отойдет: «Ну ладно...»

Все так и поныне в семействе Афанасьевых в просторном их доме в Карамышеве. Пять лет прошло... И все не так. Утром Антон Григорьевич отпирает своим ключом колхозный гараж — это ему пока разрешают: держать служебную машину в восходовском гараже. Пока... Машина заводится не вдруг, это старый-престарый, чуть ли не времен освоения целины «ГАЗ-69». Шофер Петр Никитич молча смотрит, как бывший председатель «Восхода» выгоняет свою колымагу, запирает ворота, садится за руль. Он едет в Змеиногорск, проезжает центром этого прихотливо устроившегося меж гор в распадках городка, берегом озера выруливает на тракт, ведущий в Барановку. Там, на окраине Змеиногорска, контора и небольшой поселок совхоза «Янтарный». Антон Григорьевич Афанасьев теперь директорствует в этом плодоягодном хозяйстве.

Директор в «Янтарном», в отличие от председателя «Восхода», работает «от» и «до» (можно и после «до», никто не препятствует, но не принято). Особой страды, как в зерновых хозяйствах, тут не бывает: малина, черная смородина, крыжовник, облепиха наливаются медленно; когда приходит их срок, от уборщиков нет отбоя; убирают исполу: долю совхозу, толику себе. Яблоки нынче не уродились: зимой померзли; и вишни реденько висят в совхозном саду, как лампочки в Новый год на общественной елке...

С директором «Янтарного» мы объезжали угодя совхоза, углублялись в малиновые, черносмородиновые заросли; но почему-то не увлеклись: у совхозной ягоды другой вкус, чем у домашней... Директор все же усек двоих собирателей смородины, заподозрил в них браконьеров... Или, ближе к истине — номинальный хозяин сада принял меры против гипотетических воров. Проверил документы, — оказалось все чисто, ягоду брали по оформленным в совхозе накладным.

Поскучали в ягоднике, заглянули в только что построенную оранжерею; в ней повышенной влажности воздух — морось, ту-

ман; в грядках саженцы вишен — новое дело, новым директором затеянное; его плоды в туманной дали. Ну, что еще? Цех безалкогольных напитков: откуда-то, чуть не из Азербайджана, привозят эссенцию, здесь разбавляют, разливают по бутылкам — тархун. Отведали тархуна: сладко, много не выпьешь. Тархун разливают по мере надобности: завтра в Змеиногорске отмечают 250-летие рудного дела в здешних местах, съезжаются отовсюду гости. Уже воздвигли посреди площади памятный камень...

Афанасьев спервоначалу приналег — со всей своей завидной силушкой — на главное экономическое звено — производство плодоягодного винишка, на сбыт сего продукта... В то время, помню, посмеивался: «Становлюсь негоциантом...» Но и тут не судьба: общественная потребность в вине вдруг отпала по всем нам хорошо известной причине. По счастью (или по несчастью), дел в «Янтарном» хватало: строительство, соцкультбыт, агрономия — капитально запущенные. И еще небольшой клин под зерновыми. К этому полю новый директор отнесся с тем же тщанием, как, бывало, в «Восходе», возделал его по «интенсивной технологии», насколько позволили база и кадры «Янтарного». И кадры тоже предстояло, мягко говоря, переориентировать...

В 1982 году, после выхода в свет моих алтайских документальных повестей под общим заголовком «По тропинкам поля своего», я получил два письма — читательских отклика — от старого директора «Янтарного» Белоусова. Он укорял меня в том, что... я не того выбрал героя для повестей: следовало писать о Шумакове; Афанасьев на героя не тянет. Я отвечал, что каждый пахарь и сеятель на ниве, особенно на алтайской, достоин пера. И что все взаимосвязано, одно зацеплено за другое в хлебном конвейере. Взаимопонимания у меня с Белоусовым так и не возникло.

Разбирая бумаги прежнего директора «Янтарного», Афанасьев прочел и черновики его писем ко мне (письма перепечатывала секретарь-машинистка). И ничего, посмеялся.

Кстати, об упомянутом клине зерновых в «Янтарном»... Когда-то он послужил камнем преткновения (одним из камней) в существовании двух председателей сопредельных колхозов. В моей алтайской папке хранится копия письма (заверенная) Шумакова тогдашнему секретарю крайкома по сельскому хозяйству Овчинникову. Письмо писано в 1977 году. Привожу выдержки из письма, дабы пролить свет на характер отношений между двумя председателями.

«Уважаемый Василий Иванович!

Я пишу Вам эту записку, поймите меня правильно, не из каких-то корыстных побуждений, а просто, говоря шутя, чтобы восстановить «историческую несправедливость».

Я хорошо видел поля колхоза «Восход», видел и знаю, какой у них урожай в этом году, был бы не более, как по 16, ну, самое большее, 17 центнеров с гектара.

И каково же было мое удивление, когда я увидел и не верю своим глазам, что у него урожай 21 центнер с гектара...

И когда я начал разбираться дальше, то случайно установил, что за него по указанию т. Резникова В. Ф. и председателя райисполкома Бубнова И. К. сдают хлеб государству совхоз «Янтарный» — несколько тысяч центнеров и СПТУ-16 — со своего подсобного участка — и все это он приходит как намолоченный хлеб со своих полей и включает в свою урожайность...

Таким образом, учитывая все нижеперечисленное, за счет этого он нагнал урожайность на несуществующих четыре с половиной центнера на гектаре. Для чего? Почему?

Нашим лозунгом всегда было, есть и остается — и гектаров больше, и урожайность выше, а ему до гектаров фактически дела нет. Ему нужен рекорд, ему нужна слава, за которой он гоняется, как черт за ведьмой, причем самыми грязными и нечестными путями.

Поверьте мне, говорю Вам от чистой души и сердца, что славы лично для меня и для колхоза достаточно, даже больше, чем достаточно.

Но почему мы идем честным путем к этому, берем ее горбом, а где умишко позволяет и умом, а почему руководство колхоза «Восход» идет к этому не с парадного входа, а с черного входа?..»

Далее приводятся примеры захвата восходовцами земель, принадлежащих «России». Говорится об этом в той же интонации, как, скажем, писали о захвате американским империализмом Гренады. И — ставится вопрос ребром:

«Конечно, колхоз «Россия» — не «Янтарный», мы взыщем через суд за все годы, что он взял с нашей земли, но к этому добавить нужно, кто таков Афанасьев?

Как человек, как коммунист, как руководитель...

Здесь мне хочется понять, нельзя ли у них — «Янтарного», СПТУ-16 — забрать земли и передать нашему колхозу, т. к. она им ни к чему...

Извините меня, но я буду все-таки утверждать, как утверждал Галлилей, что земля вертится, что в колхозе «Восход» не может быть урожайности более, ну, на самый худой конец, 18 центнеров с гектара.

Я верю в то, что товарищ Жусенко наведет порядок в районе, так как он взялся его наводить. Он разберется, кто таков Афанасьев...»

Еще пара абзацев и точка. И подпись: «И. Шумаков».

Понятно, что по такому письму учредили комиссию. У меня есть и справка комиссии, вот ее заключительная строка: «Комиссия установила, что фактическая урожайность по колхозу «Восход» составила 21 центнер с гектара». Ни малейшей приписки комиссия не обнаружила. Справку подписали народный контроль, главный агроном крайсельхозуправления, главный землеустроитель, главный бухгалтер. Участвовал в комиссии и главный агроном «России» Меркулов...

Действие однажды поданного «сигнала» если и прослеживается в отчетности, то никак не предсказуемо в смысле затраты нервов, бурления самолюбий — все это небезразлично для судеб действующих лиц...

Но для чего, для чего, нас спросят, ковыряться в пожелтевших бумажках? В то время как — поглядите! — поспевают хлеба на всей алтайской степи — страшная сила хлебов! И такая стоит тишина на ниве в канун жатвы, как, может быть, перед боем в войну. А и боя не будет! Хлеб ляжет наземь без крови, без стога, с благоуханным вздохом облегчения. Сладостный хлебный запах соединится с горьким полынным духом...

Но мы ведем нить рассказа издалека. Нить — плетение человеческих судеб: как завязалось, куда повело. Так что лучше держаться фактов...

Осенью 1981 года секретарь Змеиногорского горкома Жусенко привез в Барановку Шахалевича — рекомендовать его председателем колхоза имени И. Я. Шумакова. Шумаковцы от себя выдвинули в председатели главного агронома Меркулова, но горком настоял на своем: поработали с партгруппой, должным образом представили Шахалевича общему собранию, переголосовывали дважды, пересчитывали руки, наскребли необходимое большинство. (Все это описано у меня в повести «Ранняя вьюга».)

И председатель ничем не знаменитого колхоза имени Тельмана в деревне Саввушке на берегу Кольванского озера Петр Никитович Шахалевич переместился в самое передовое по всем статьям хозяйство в крае, заступил на место легендарного Ильи Яковлевича Шумакова...

С чего он начал? Говорят, что с расставания с главным агрономом... Впрочем, Меркулов и сам не стал дожидаться инициативы нового председателя. Ему без труда приискалось место в краевом центре: главным агрономом крайсельхозуправления. Авторитет агронома был им заработан на полях колхоза «Россия»...

В начале восьмидесятых в Змеиногорском районе некоторым вдруг захотелось решительно сократить дорогу к авторитету. Взятая первым секретарем горкома Жусенко (и поддержанная в крае) «ставка на фаворита» самым пагубным образом сказалась на нравственном климате в районе. «Второго Шумакова» из Шахалевича не получилось, приходилось его авторитет искусственно поддувать. Теперь, после апрельского, 1985 года, Пленума ЦК, после XXVI съезда КПСС, об этом легко говорить, можно вещи назвать своими именами. А тогда...

Честному руководителю хозяйства в сложившейся обстановке, особенно по соседству с колхозом имени Шумакова, становилось невмоготу. «Не сработавшемуся» с Жусенко Афанасьеву надо было иметь крепкие нервы, чтобы нормально существовать на посту председателя «Восхода». С ростом урожайности возрастал план хлебосдачи — «от достигнутого», — надо было тянуть. И тянул! Однако тучи сгущались над головой восходовского председателя. Большой восходовский хлеб почему-то не помогал.

Неожиданно был смещен с должности председатель колхоза «Память Кирова» Николай Михайлович Бадулин, отдавший всю жизнь родному колхозу. Бадулину оставалось до пенсии — самая малость, но доработать ему не дали. Как это бывает с людьми, приросшими к делу, Николай Михайлович не вынес отлучения, вскорее и умер от рака.

Антон Григорьевич Афанасьев пережил гибель друга как тяжкую личную потерю: бывало, махнет полями в Корболиху, посидит с другом, отведет душу, поделится наболевшим — и друга ободрит, тому тоже нужно. И можно жить дальше...

В 1982 году в «Алтайской правде» напечатали статью «Зависть»... В статье содержится острая критика моих алтайских повестей: «Легкий полевой обед», «Ранняя вьюга». Ну что же, это в порядке вещей: мало кому из пишущих по живому или хотя бы близко к действительности не довелось испытать на собственной шкуре карающий пафос задетых, отображенных не так, как бы кому-то хотелось, или не отображенных. Зачастую обида произрастает по недоразумению: не так поняли автора или совсем не читали, кто-то что-то сказал. Но все равно...

Здесь к месту вспомнить, как больно пережил Василий Шукшин злопыхательскую критику на его фильм «Печки-лавочки», исходящую якобы от земляков-алтайцев. В статье «А времена меняются...», напечатанной в «Алтайской правде» в 1973 году, говорилось, к примеру, такое: «Мало, до обидного мало в фильме новых черт и явлений, присущих людям современных колхозов и совхозов, которые могли бы служить примером для зрителей... Жаль, что Шукшин не услышал подлинного голоса сегодняшнего алтайского села». Чувствуете абсолютную глухоту автора «отклика земляков» к языку искусства, к нравственному уроку, преподанному нам — именно мощью искусства Шукшина — в фильме «Печки-лавочки»? Под статьей «А времена меняются...» та же подпись, что под «Завистью», — имярек.

Критический пафос в статье «Зависть» опирается на выступление секретаря парткома колхоза имени Шумакова Бобровского на пленуме творческих союзов в Барнауле (дело было в 1982 году). Понятно, что выступление парторга не литературно-критическое... Правду о кадровой политике, проводимой Змеингорским горкомом КПСС, сеющей раздор в среде председателей колхозов, которую я пытался воспроизвести в моих документальных повестях — в меру допустимой тогда гласности, — квалифицировали как клевету на... Илью Яковлевича Шумакова.

Вот как об этом сказано в «Зависти»: «Те, кто живут и работают в колхозе имени И. Я. Шумакова, написали гневную отповедь Горышину, назвав его клеветником. Об этом говорил на объединенном пленуме правлений краевых организаций творческих союзов секретарь парткома колхоза имени И. Я. Шумакова В. Г. Бобровский. Это с возмущением восприняли участники пленума — писатели, журналисты, архитекторы и артисты, те, кто по-настоящему любит Алтай и его людей, кто стремится увековечить все

лучшее, что было, есть и будет в нашем крае, кому не по душе, когда обливают грязью нашу действительность, нашу гордость». И так далее. Спорить тут автору повестей не с кем, повести мало кто прочитал: подписчиков «Звезды» на Алтае, я узнавал, не густо. Речь шла не о лит. сочинениях как таковых, а о чем-то другом. То есть не речь, а организованная кампания.

«Зависть» обязали перепечатать во всех районных и городских газетах Алтайского края, дважды передали по радио. Называть тех лиц, которые тогда заваривали кашу, сейчас нет проку: «иных уж нет, а те далече». Даже парторга Бобровского на отчетно-перевыборном собрании в 1983 году коммунисты колхоза имени И. Я. Шумакова прокатили начисто. Одно из писем в «Звезду» — в духе «Зависти», с требованием покарать автора алтайских повестей, — подписал тогдашний секретарь Алтайского крайкома по идеологии А. Н. Невский; нынче и его нет среди действующих лиц.

Узел завязывался туго — по тем временам. Против кого узел-то? Обвинение автора повестей в клевете однозначно снималось при внимательном чтении текста оных. Виноватым — по разумению автора статьи «Зависть» — оказывался... председатель передового в крае по хлебу колхоза «Восход» Афанасьев. В чем же он виноват? Двадцать лет кормил нас хлебом насущным, ни разу не поступился ни в чем хлеборобской честью, получил самые высшие награды родины: два ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»... И вдруг его обвинили... в зависти. Уму непостижимо, но факт...

Обвинительный пафос статьи зиждется на примитивном представлении ее исполнителя об отношениях между взявшими на себя честь и бремя лидерства на хлебной ниве. Предложена следующая схема: один председатель колхоза позавидовал другому, более передовому, заслуженному, увенчанному. Своих силенок сравняться с передовым по всем статьям не хватило. Тут подвернулся писатель, завистник писателя охмурил: покатал его по красивым местам, попотчевал на пикнике, даже помылись однажды в бане — и дело в шляпе. Писатель завистника воспедал, тем самым истинного героя принизил. Все проще пареной репы.

Что поразило меня в статье «Зависть», так это какая-то петушиная заносчивость исполнителя, вопящего на весь край благим матом, сеющего дурную славу о честном, истовом хлеборобе, своем земляке.

Некоторые места в «Зависти», при всем ее запредельно-ненавистническом тоне, вызывают улыбку. Ну вот, например: «Горышин снова несется в белой «Волге» Афанасьева, шикует (!) в колхозной гостинице...» В то время когда я писал мои алтайские повести (в течение пяти лет приезжал из Ленинграда в Карамышево на уборочную), дома, по должности, мне подавалась к подъезду черная редакторская «Волга». Можно было «пошиковать» и по месту жительства, если бы очень захотелось. Правда, смешно?

Антону Григорьевичу Афанасьеву в ту пору было не до улыбок.

Держался он хорошо, как подобает сильному мужчине, сибиряку. О «Зависти» и прочих таких вещах, как я помню, ни разу разговора не заводил.

Но ведь живой человек. И со здоровьем стало неважно, зачастил по больницам. Когда помер директор плодоягодного совхоза «Янтарный» Белоусов, Афанасьев попросился на его место. Объединение совхозов приняло с распростертыми объятиями такой кадр. В районе и крае тоже не стали спорить. Многоопытный алтайский зерновик превратился в начинающего плодоягодника. Вот такая история, есть над чем поразмыслить. Какие сомнения, раздумья, душевные муки предшествовали этому поступку Антона Григорьевича Афанасьева, знает разве что его жена Полина Николаевна.

За новое дело Антон принялся со свойственным ему веселым азартом: чувство юмора не изменило ему. Да и то: ведь каждому смертному надо однажды решиться, достигнув известных лет, по доброй воле уйти из обжитого желанного кабинета.

Кабинет в «Янтарном» много скромнее, чем председательский в «Восходе». Но это — солнечный кабинет, всем доступный; в нем улыбаются, шутят — сам видел, решают дела и спорят, повышают голос, жмут на любимые мозоли, как всюду. Дел хватает. Алтай славен хлебом, а еще медом, целебной ягодой облепихой, малиной, смородиной. По веснам в алтайских садах зацветают яблони и вишни. Профессия садовода в чести.

III

18 ноября 1983 года в «Правде» была напечатана статья собкора по Алтайскому краю Виктора Сапова «Тайным голосом». В ней дан анализ положения дел в колхозе имени И. Я. Шумакова при новом председателе по истечении двух, всего двух лет! В. Сапов и в прежние годы, как каждый честный, с общественным темпераментом журналист на Алтае, пристально вглядывался в дела и судьбы змеиногорских председателей. И вот — «Тайным голосом»... «Пришел новый председатель, и отлаженный механизм стал давать перебои. Возьмем, к примеру, растениеводство. В нынешнем году здесь собрали на круг по 27,6 центнера с гектара. Рубеж, казалось бы, высокий. Но Змеиногорский район — это не Кулунда. Здешнюю зону нередко именуют «сибирской Кубанью». Почвы плодородные, и погода благоприятствует. Урожай тут получали гораздо выше».

И далее:

«Немало резервов имеется в животноводстве. На развитие этой отрасли колхоз истратил много средств. Построены комплексы — молочный, для выращивания свиней. Но в этих современных зданиях царит антисанитария. В результате большой падеж скота. В прошлом году из-за болезни животных молочный комплекс практически лишился стада».

Сказано в статье и о методах, которыми районные и другие

власти пытались взбодрить показатели теряющего лицо хозяйства: «В районе решили оказать виновным в бесхозяйственности помощь. Причем своеобразную. Чтобы не упали общие показатели, колхозу скорректировали план по молоку в сторону уменьшения. Под предлогом стихийного бедствия. Скостили колхозу и план по зерну под видом перевода его в ранг семеноводческих хозяйств. В итоге, имея на четверть больше пашни, чем соседний колхоз «Восход», тут в равных с ним условиях без особого труда выполняли два плана сдачи зерна государству. Тогда как в «Восходе» едва справлялись с одним. А это уже влияет на настроение людей в других хозяйствах района».

В этом корень всех зол, повлиявших не только на настроение, но и на судьбы некоторых честных тружеников в Змеиногорском районе: выборочный подход в кадровой политике, попустительство, местный фаворитизм, своевластие, отсутствие гласности.

Летом 1986 года я зашел в корпункт «Правды» в Барнауле. Виктор Сапов дал мне почитать корреспонденцию из Змеиногорского района. На чтение ушла незаметно вся ночь (ночи были тогда коротки). Хочу привести выдержки из писем змеиногорских сельских жителей: письма писаны в надежде на гласность. Они посвящены тому же предмету, который занимает меня в моих хождениях по предгорным степям западного Алтая. Только под другим углом зрения.

Вот письмо колхозников колхоза имени Тельмана, написанное в 1982 году, вскоре после перехода П. Н. Шахалевича из колхоза им. Тельмана в колхоз им. Шумакова. Письмо на двенадцати страницах убористым почерком. Начало опускаю.

«Считаем своим долгом и правом в своем письме сообщить Вам о деятельности некоторых руководителей и специалистов нашего хозяйства. Главный из них — это бывший председатель нашего колхоза Петр Никитович Шахалевич. В колхоз он пришел в марте 1969 года — председателем колхоза. С его приходом в течение нескольких лет дела в колхозе заметно изменились в лучшую сторону. Поднялась трудовая дисциплина, был объявлен бой пьяницам и лодырям, улучшились учет и сохранение материальных ценностей, сократились случаи воровства колхозного добра.

Люди поверили и пошли за ним. Колхоз из отстающих стал выходить в средние хозяйства, стали больше уделять внимания развитию всех отраслей колхозного производства. Шахалевич много сил отдавал для развития колхоза. По 15 часов в сутки находился на ногах. В 1972 году колхоз твердо стал на ноги, продав государству два плана зерна, и, конечно же, Шахалевич как председатель колхоза завоевал авторитет как в колхозе, так и в районе, и авторитет этот был заслуженный. Достигнув этого, Шахалевич стал злоупотреблять как своим авторитетом, так и своим положением.

Пренебрегаемость к критике, грубость и бестактность с кем бы то ни было, даже с учителями его и наших детей. Из-за чего много

прекрасных тружеников вынуждены были уехать из колхоза».

Далее речь идет о злостном головоуныистве, махинациях и мошенничестве в недавнем прошлом уважаемого председателя. Заключались сделки со строителями из южных республик. Недоделанные объекты вскоре разваливались. Деньги платились бешеные, безотчетные. Шла чехарда с покупкой-продажей автомобилей — председателю и его родне. И многое другое.

«В 1980 году Шахалевич начал строить себе особняк, правда, деревянный, но обложенный кирпичом. К августу 1981 года это строительство было закончено. В результате получился особняк из 6 комнат, с теплым двором, где предусмотрено даже автопоение, баня и кирпичный гараж. Все кругом было заасфальтировано и обнесено сплошной оградой. Все лето 1981 года Шахалевич держал на отделке своего дома плотников, сантехников, электриков, тогда как многие объекты животноводства остались к зиме неподготовленными. Причем материалы для своего дома Шахалевич приказывал списывать на другие объекты.

В 1979 году на берегу озера в живописном месте был построен 4-х комнатный дом с баней, который у нас сразу окрестили Кафтановской заимкой. На этой даче стали устраиваться приемы и угощения в честь контролеров, ревизоров и лично знакомых Шахалевичу людей. Причем все было бесплатно, как для тех, кто приехал, так и для тех, кто встретил. И вот уже на протяжении двух лет на этой даче по поводу и без повода пропиваются колхозные деньги, которые списываются на общественное питание и другими способами».

Затем приводится архикурьезная деталь:

«В 1979 году по настоянию Шахалевича в конторе колхоза шабашниками из Новосибирска была установлена за 1200 рублей самодельная селекторная установка, позволяющая прослушивать любой кабинет из кабинета председателя. И случайно (так ли уж случайно? — Г. Г.) одним из нас, диспетчером Ермоловым, был записан на магнитофонную пленку разговор... Речь шла об оформлении и получении 1000 рублей незаконным образом с участием Шахалевича. Эта пленка у нас имеется».

Прямо как в басне Крылова «Ворона и курица»:

Так часто человек в расчетах слеп и глух.
За счастьем, кажется, ты по пятам несешься:
А как на деле с ним сочтешься —
Попался, как ворона в суп.

Авторы письма тут же оговариваются:

«Шахалевич умный и расчетливый человек. Все, что ими делалось незаконно, они очень аккуратно оформляли документально».

Это важный штрих в социально-психологической характеристике бывшего председателя колхоза им. Тельмана, бывшего (я забегая вперед) председателя колхоза им. Шумакова.

Привожу заключительную часть письма:

«Пользуясь безнаказанностью и даже поддержкой отдельных

руководящих лиц района и даже края, Шахалевич превратился в хозяина колхоза. Его девиз — хоть и плохо, но по-моему — нанес очень много вреда колхозу. И этот человек после преждевременной смерти председателя ордена Ленина колхоза «Россия» товарища Шумакова И. Я. — передового не только в крае, но и в стране, — по настоятельной рекомендации ГК КПСС Змеиногорского района избирается председателем этого колхоза, хотя его там большинство колхозников не хотели. Ведь такие люди, как Шахалевич, убивают в человеке все самое светлое, доброе, подрывают авторитет нашей партии коммунистов, отрицательно влияют на воспитание нашей молодежи».

Под письмом семнадцать подписей.

Письмо писано до выхода в свет статьи В. Сапова «Тайным голосом». Статья эта самым существенным образом повлияла на дальнейший ход событий в Змеиногорском районе. Читательские отклики на статью однозначны по сути, но в каждом из них еще и характер-судьба взявшего в руки перо. Вот, к примеру:

«Колхоз им. Шумакова в с. Барановка и самого Т. Шумакова знал еще 20—25 лет тому назад. Знал, что колхоз им. Шумакова, как кузница кадров, давал руководителей району.

Все это время следил за успехами колхоза и радовался им. А в 1971 году я написал реферат на тему: «Изменения в социальной структуре общества. Дальнейшее укрепление единства советского народа». И как пример стирания грани между городом и деревней привел колхоз «Россия».

И вот прочел статью т. Сапова «Тайным голосом» и был до глубины души возмущен глумлением над памятью Героя Социалистического Труда Шумакова, над созидательным трудом колхозников колхоза «Россия» — им. Шумакова. Кому понадобилось ставить председателем в такой колхоз человека, скомпрометировавшего себя в другом хозяйстве? Как мог Шахалевич на глазах райкома и райисполкома порочными методами руководства вести дело к разладу такого крепкого хозяйства?

Так была заглушена критика в этом хозяйстве, что люди боялись высказать вслух свои мысли, суждения о недостатках, т. е. после критики им бы пришлось уйти с родных мест. Такое руководство подавило у колхозников веру в торжество справедливости, а в коллективе начался обратный процесс социалистической цивилизованности.

Я, как коммунист, как гражданин, предлагаю партийным, советским органам расследовать это уродливое явление в колхозе им. Шумакова и наказать виновных лиц, не считаясь, какие бы высокие посты они ни занимали.

*Д. Ананьин, 1915 года рождения,
ветеран войны и труда».*

Это — отклик-порыв, всплеск гражданских чувств «незаинтересованного» лично человека. А вот что писали из колхоза им. Шумакова.

«Извините, не знаем Вашего имени-отчества. Обращаемся к Вам с просьбой помочь нам в справедливости.

Когда вышла Ваша статья в «Правде», за день-два ее все прочитали и поняли так, как она дошла до наших умов. Что же стал делать Шахалевич? С первого же дня он стал опровергать написанное. Проводит собрания по участкам, совещания — и везде льет грязь в Вашу сторону. Вот, например, 25/XI в 17.00 Шахалевич собрал в зале заседаний главных специалистов, среднее звено, начальников участков, там были и врачи, и учителя, и культработники. Начал с того, что я же Сапова знаю с давних времен, он у меня был в Саввушке, обедали с ним за одним столом, вместе мылись даже в бане. Вы будто бы очень хороший друг А. Г. Афанасьева, и вот еще тогда предлагали мне (Шахалевичу), чтобы я с Афанасьевым шел против Вашего колхоза и т. Шумакова, но я не согласился и с тех пор Сапов на меня затаил зло. А сейчас Вы будто бы работаете совместно с И. А. Меркуловым против него. Вот так стоит и обливает грязью не только Вас, но и ряд руководящих в крае работников. Говорил много и все в свое оправдание, что статья лживая».

Как видим из сказанного в письме шумаковцев, обвинительные аргументы в адрес В. Сапова у Шахалевича те же, что в свое время у исполнителя статьи «Зависть»: простенькая триада — баня, прием пищи, дружба с Афанасьевым. Как будто писатели и корреспонденты дома ходят голодные и немытые, в Змеиногорский район едут, как к теще на блины. Однако почитаем дальше письмо шумаковцев.

«Мы сидим, все понимаем по-другому, а сказать не решились, т. к. нам кажется, он будет работать, но нам тогда надо куда-то уезжать. У него много власти, он злопамятный. У нас уже некоторые пострадали из-за того, что голосовали при выборах председателя против, например, Меркулов, Высоцкий, Литвинов. Это все ведущие работники в нашем хозяйстве, поставлены И. Я. Шумаковым. Наш председатель любит подхалимов, как Бяков. Тот все, что слышит и видит, не стесняясь, доносит ему. И Бобровский активно взялся прорабатывать Вашу статью.... Просим вашей помощи, уважаемый корреспондент, чтобы такие, как Шахалевич, Бяков, Бобровский, не стояли у власти...»

Подписи есть, но неразборчивы, впрочем, как и почерк писавшего письмо. И еще одно письмо из Барановки:

«Мы, колхозники колхоза им. И. Я. Шумакова, до глубины души возмущены предательским поведением Шахалевича. Он нам говорит, что то, что написано в «Правде», неправда. Шумаков, тот, бывало, наоборот, бой принимал на себя, говорил: «Да, я вот здесь виноват, а здесь вот нет, но я все исправлю». Бывало, придет со съезда и на собраниях рассказывает, все слушали, затаив дыхание. И никогда не говорил, что пишут в газете худые люди, наоборот, говорил, что там работать тяжело, такая сейчас обстановка напряженная. И мы верили его словам, всему сказанному.

Извините, как, когда его убрать — Шахалевича?»

Убрали самым неожиданным образом. Неожиданным для Змеиногорского горкома КПСС (Жусенко), райисполкома (Акишин), которые ставили Шахалевича против воли колхозников и опекали его. Коммунисты колхоза имени И. Я. Шумакова по своей инициативе собрали партийное собрание и исключили Шахалевича из партии. На общем собрании решили выдворить его из колхоза. На то и шумаковцы! Такова социалистическая демократия в действии! Тут же решили звать на председательство Ивана Андреевича Меркулова. Тот не заставил себя долго упрашивать, видя свою жизнь и цель не в кабинете (кабинет у него был почтенный, в краевом центре), а на хлебной ниве в родном ему колхозе. Сел и приехал в Барановку.

Вот такой получился хеппи энд в сочиненном жизнью весьма драматическом сюжете. Развитие событий в колхозе имени Шумакова предопределил общий дух времени, взятый партией курс на перестройку и обновление.

Правда, не все так просто и вдруг и ценою каких потерь — не сочтешь: человеческий фактор не выразишь в статистических величинах...

Е. И. Жусенко освободили от должности первого секретаря Змеиногорского горкома КПСС только осенью 1986 года...

IV

А хлеба... Хлеба на Алтае подгорели летом 1986 года. Дождей прождали все лето. Пришло время косить горох, тут и дожди перепали, именно в самых гороховых местах. Горох в дождь скопишь, он после высохнет и весь просыпется. Рожь можно жать, а дожди. Пшеница еще доспевала, дождя бы ей впрок... Все это мне объяснял Антон Григорьевич Афанасьев с упоением, как бывало. Мы ехали с ним на одну из пасек совхоза «Янтарный»: пчеловоды вывезли на лето ульи в поля, поближе к медоносам. Ехали полями колхоза «Восход». Афанасьев произносил похвальное слово забытому ныне колхозному трудодню:

— Ведь это же и коэффициент трудового участия, и конечный результат, и гласность, и моральный и материальный стимул, и тэ дэ и тэ пэ. Бывало, помню, мальчишкой, трудодень тебе запишут, ведь это какая же гордость была — о-ё-ёй! И у руководства полная ясность была, кто чего стоит. Сделанный труд документировался в трудовой книжке колхозника — и усердие, и умение, все! Раньше времени отказались от трудодня. Стали работать за зарплату, пошла уравниловка. И бригадный подряд, и все другое, что вводят нынче, заложено было в трудодне...

В паузах в монологе, крутя баранку, Антон Григорьевич что-нибудь припевал; в памяти у него находилась припевка соответственно моменту и настроению. Нашлась и для этого раза.

— Ах, мама, маменька, — пел-выговаривал бывалый ездок по здешней степи, — ты поимей в виду: не дашь мне валенки — я босиком уйду.

Въехали в массив высокорослой, усатой, как ячмень, колосистой, сверкающей, переливающейся на солнце после дождя пшеницы. Афанасьев остановил машину, вышел, потрогал колос, поглядел. «Алтайка» — на Алтае выведенный гибридный сорт сильной пшеницы. Подумал вслух:

— Интенсивная технология... Так мы же с превеликим нашим удовольствием... Мы и всегда по интенсивной, насколько хватало силенок...

Выражение лица у него стало другое в пшеничном поле, чем было в пыльных кустах малины-ягоды. Преобразился мужик, помолодел, загорелся, как прежде...

V

Погожим, по-алтайски лучезарным днем я приехал в Барановку. Иду по улице, а навстречу мне Юрий Межиров, ленинградский художник, давний мой товарищ. Порадовались, похлопали друг друга по плечам, поудивлялись такой встрече. «Ты здесь как?» — «А ты?» Оказывается, художник два месяца как в Барановке. Живет в колхозной гостинице, «шикует». Написал маслом пейзажи, сцены сельской жизни, портреты. Главным содеянным делом почитает портрет Ильи Яковлевича Шумакова... Я уже слышал, слух по краю прошелестел: портрет Шумакова нарисован, в кабинете повешен, все как в натуре, глядит как живой... Межиров портрет писал по сохранившимся фотографиям; их мало, сниматься покойник не любил.

— Надо было пожить в Барановке, — сказал Юрий Межиров, — потолкаться среди мужиков, сам дух уловить. У него очень типичное лицо. И его сыновья здесь.

Ивана Андреевича Меркулова пришлось подождать, он в полях. Приехал и первым делом повел меня в председательский кабинет похвастаться приобретением — портретом Шумакова. Портрет в багетовой раме, большой, исполненный в классической манере станковой живописи. Илья Яковлевич сидит за столом, не позирует, а словно проводит планерку. В руке у него дымится сигарета, все равно как в жизни. На челе печать работающей мысли. Взгляд прямой, проникающий каждого, кто вошел в кабинет. Так и пребудет теперь Илья Шумаков до скончания века в своем председательском кабинете. Соберутся колхозники, станут что-то решать — и поглядят в глаза Шумакову: а он бы как?..

VI

В то лето я долго-долго ехал по Алтаю. Взору открывались то опаленные, «подгоревшие», то первозданно-зеленые, то посеребрённые, с сединою, нивы. Над нивами ничего, кроме неба, зам-

кнувшего куполом солнечной синевы оком. Жизнь прекрасна и тем, что у нас есть Алтай; возвышен, вознесен, приближен к небу; отсюда дальше видать, чем из наших равнин и низин...

Мы ехали с Виктором Саповым, это была его последняя поездка по Алтаю: вскоре ему предстоял путь за те горы, в Монголию, тоже собкором «Правды». После десяти лет на Алтае... Виктор Сапов прощался с Алтаем, делился со мною Алтаем... За каждым новым холмом, когда казалось, что время быть какой-то конечной станции, граду, пределу, зыбющемуся мареву, вдруг разворачивались ярусы, амфитеатры, цирки, складки на лоне земли, как будто не заселенной со дня творенья — и изукрашенной, одетой в шелка и бархат...

Далее Змеиногорского района я не езживал прежде, и вдруг еще Третьяковский район, такой же увалистый и пшеничный, с грядой сиреневых гор вдалеке, — и другой, неведомый, манящий к себе, как обетованная земля...

В Староалейске мы зашли в райком партии, оказались в особенной атмосфере кабинета первого секретаря Анатолия Степановича Кондыкова. То есть дело не в кабинете, а в самом Кондыкове: ничего «кабинетного» не было в его облике и манерах, ничего «аппаратного»: молодой человек с приятным, тонким, интеллигентным лицом, располагающий к себе, благожелательный, подвижный, за секретарским столом не сидящий, с чувством юмора, умный, в курсе всех новостей, и литературных тоже. Он был первым секретарем Алтайского крайкома ВЛКСМ, сохранил в себе простоту комсомольского товарищества (далеко не всем «аппаратчикам» от комсомола свычнуню), готовность «заводиться» на разные дела. Рассказал о делах в районе, в том смысле, как перестраиваемся, налегая на такие понятия, как «интенсивная технология», «хозрасчет», «бригадный подряд», «конечный результат», «человеческий фактор» и что-то еще, кажется, «микроструктура». Хорошо владея этой терминологией, он как будто и подсмеивался над ней, прилагая каждое понятие к реальности своего района, самого глубинного в Алтайском крае. Он так и рвался все переделать, сломать шаблон, взбаламутить застой...

Речь зашла о предстоящих шукшинских чтениях в Сростках, о секрете не убывающего, напротив, возрастающего народного тяготения к Шукшину. Кондыков задумался и сказал: «Шукшин — это и есть перестройка». А ведь правда, так и есть, если вывести значение Шукшина за пределы искусства — и литературоведения.

Первый секретарь Третьяковского райкома КПСС Кондыков показал нам первый материальный плод перестройки, благо недалеко было идти: подвесной мост на тросах, перекинувшийся с берега на берег зеленоструйной реки Алей. Мост дал возможность жителям того берега Староалейска быстренько перебираться на этот, а раньше надо было ходить чуть не за три километра. Человеческий фактор с постройкой моста оказался в очевидном выигрыше — это в высшей степени ободряло первого секретаря. Глав-

ное, что сами спроектировали уникальный мосток — нашлись умные головы,— сами построили, внутренние средства изыскали... Анатолий Степанович (Сапов звал его по-комсомольски — Толей) развернул перед нами и перспективу уже начавшейся стройки, здесь же, на берегу Алея, на щепенистой, поросшей колючкой террасе; ряды постоянно действующей районной ярмарки, детскую площадку, спортивный городок, дискотеку и еще что-то. И дело уже на мази, уже сам съездил в Москву, попал на прием к министру культуры, увлек его своим проектом, убедил; что нужно для стройки, то «выбил».

VII

Поехали в колхоз «Сибирь», лучший в Третьяковском районе — не в том смысле лучший, как в Змеиногорском районе колхоз имени Шумакова: в высшем смысле, лучше и не бывает (колхоз имени Шумакова получает столько химических удобрений, сколько весь Третьяковский район), — а просто крепкое хозяйство, где все идет ладом: и хлеб, и мясо, и молоко — и голова председатель Анатолий Филиппович Курьянов.

Оказалось, что он родной племянник Ильи Яковлевича Шумакова,— помните, в одном из приведенных писем говорилось о том, что колхоз «Россия» при Шумакове стал кузницей кадров? Так оно и было. Анатолий Филиппович рассказал свою историю: начинал в «России» у Шумакова зоотехником, после института. Подал заявление в партию, надо было чем-то его подкрепить, каким-нибудь достойным поступком. Тогда в ходу был почин Гагановой: перейти из передового хозяйства в отстающее. Хуже всех тогда шли дела у соседей в Третьяковском районе, в Шипунихе, в колхозе «40 лет Октября». Председателем туда послали Панкратова — тоже шумаковский кадр, а Курьянова не посылали, он сам напросился, против воли дядюшки. Через некоторое время приезжает в Шипуниху Шумаков, посмотрел, говорит племяннику: «Давай отсюда взад пятки, покуда цел. А то, гляди, в тюрьму посадят, такие здесь дела».

Племянник не послушался дядюшку. Ослушников Илья Яковлевич воспитывал на свой манер. Вот как рассказывал об этом Курьянов: «Через год поехал я в Барановку: кормов не было, нечем кормить скотину. А в «России» соломы всегда полно. Захожу, спрашиваю Шумакова, мне говорят: «На заседании». Я жду. Заседание кончилось, ему сказали, что жду, он не принимает. Еще сидел часа два. Наконец принял. Я ему говорю: так и так, кормов нет, скот кормить нечем, одна надежда на солому. А ему это, я же знал, ничего не стоит соломки дать... Он подумал, говорит: «Я сам не могу. Вот созовем управляющих». Ну, созвали. Он обращается к ним: вот так и так, кто может дать соломы? Ну, они: бери! А он: «У кого есть позапрошлогдня?» Дали позапрошлогдней. Потом он мне говорит: «Еще обратишься, не дам. Сам выкручивайся».

И я все годы больше не обращался к нему».

Анатолий Филиппович шесть лет проработал зоотехником в Шипунихе, колхоз «40 лет Октября» стал на ноги. Оттуда пошел председателем в «Сибирь». И это — сам видел и поля и село, и мужиков и председателя — доброе хозяйство, и какая-то заметна ласковость у людей друг к другу, не чувствуется жесткости, заносчивости, как, бывало, в Змеиногорском районе...

Да, и вот еще что, не забыть бы: и Кондыков, и Курьянов с самым искренним восхищением рассказывали мне про агрономшу колхоза «40 лет Октября». Фамилию уронил из памяти, не нашел в блокноте. Так вот, эта агрономша уже сорок лет объезжает поля ежедневно верхом на коне. Ни разу не попользовалась механическим транспортом. Сорок лет... Наездница-агрономша из Шипунихи сохранила и статью, и резвость и, главное, не остудила радение к агрономскому труду, не растеряла в пути талант попечения об общественном злаке как о зенице ока.

Написать бы надо про агрономшу, как она скачет, скачет в степи над Алеем, сколько верст проскакала, сколько лет, сколько зим... Какая радость написать о добром человеке доброе слово...

Но надо нам поворачивать наших коней: Алтая вон еще сколько осталось!

Не знаю, вернусь ли когда в Алейскую степь, но на сигнальном щите моей памяти будет мерцать загоревшаяся лампочка: агрономша-наездница, Третьяковский район.

VIII

Змеиногорский тракт — одно, Бийский — другое, ну а Чуйский — третье...

Езда по Бийскому тракту — это кружение березовых хороводов, шествие колков, березовые острова в хлебах, жарках, васильках и кукушкиных слезках. Чуйский тракт, равнинная его часть, весь в тополях...

Не доезжая Бийска мы свернули в Троицкий район и вдруг попали в сосновую боровину. Здесь и старейший на Алтае леспромхоз — Боровлянский. Боры на Алтае тоже чудо природы, внезапные, как ливни в летнее пекло, изобильные всякой растительностью, с мощным древостоем, буйным подлеском. И с комами! В степном Алтае почти нет комаров, да и в горном тоже.

Зато мух! Боже милостивый! Кто пробовал сунуть нос в летнюю пору на свиноферму? У! Мушиное царство! В одном из свиносовхозов Троицкого района (кажется, в Петровском) у нас было выступление перед свиноводами, вроде как встреча с представителями прессы. Нас слушали, вежливо потупляя взоры, с таким выражением, что вот послушаем терпеливо, а после сами скажем. И правда, сказали, все как один. Начал дедок, ехидный, с подковыром: «На войне воевал, в совхозе вкалывал — и вот семнадцатый день без хлеба сажу». Оказалось — в селе закрыли пекарню, перевели на централизованное снабжение, хлеб везут из Бийска,

выпечка не та, что дома была, везут с перебоями, о буханки можно топоры точить.

Стали разбираться: зачем закрыли-то? Вроде как для экономии: укрупнение, централизация — проверенные, излюбленные основания для закрытия чего-нибудь, очень нужного людям. Если в Троицком районе хлеб свой, румяный, с пылу с жару, с хрустящей корочкой, жили и радовались, ибо хлеб — основа всего. Теперь грызут хлеб казенный, нелюбый; испорчено настроение у людей, того гляди испортят желудки. Кому от этого выгода, поди доищись. А логика? Алтай — всесоюзная житница; миллионы на алтайском хлебном довольствии. А на собственных пахарях экономят, местный «человеческий фактор» в расчет не берут.

IX

В Смоленском хоронили писателя Анатолия Соболева. Предали земле его прах. Анатолий Соболев умер летом в Москве на съезде писателей. Я видел его незадолго до смерти. Он был красив, замечен в толпе особой моряцкой красотой. Он был моряк, приехал на съезд от моря, из Калининграда. Пришел с заседания в номер, почувствовал сердечную слабость, прилег, потянулся к тумбочке за сердечным средством... И не дотянулся...

Он родился в Кытманове на Алтае. В тридцатые годы его отец — первый секретарь Смоленского райкома Алтайского края — осуществлял коллективизацию. За отцом охотились кулаки, в еду подсыпали отраву, сожгли райком. В 1937 году отца не стало... В 1943 году Соболев ушел добровольцем на войну, семнадцатилетним мальцом, из девятого класса...

На войне не бывает легких путей, однако война выбирает, кому что по силенкам. Соболеву выпало стать водолазом на Северном флоте. Баренцево море зело студено и солоно. Не каждый сдюжит, даже из выбранных. Толя Соболев смог, сгодились сибирская крепость духа и тела. В одной из автобиографических заметок он подсчитал, что провел под водой 3000 часов.

Однажды мы были с ним на днях литературы Баренцова моря. По принятому ритуалу вышли на спасателе к месту гибели моряков-североморцев в условно выбранный квадрат: все Баренцево море у Кольского побережья — некрополь безмянных могил. Спустили на воду венки. Я видел, как Соболев плакал — седой ветеран, пересиливший это море, эту самую страшную войну...

Соболев в высшей степени обладал редким человеческим талантом — отдавать тепло. Он был раскрыт вовне, для людей. Таковы и его книги... Бывало, встретишься с ним на каком-нибудь перепутье, обменяешься взглядом — и ладно, и хорошо...

После войны Соболев был инженером-металлургом в Кузбассе. Стал писать — и снова подался к морю. Его душа вмещала в себя две стихии — судьбы: алтайскую степную и моряцкую. Он завещал предать себя после смерти родной земле.

Анатолия Соболева похоронили в Аллее Славы в саду села

Смоленское, в ряду тех, кто не вернулся с войны. Земляка провожал весь Алтай.

День выдался жаркий. Еще не пришло время жатвы, еще подгорали хлеба.

Х

25 июля, в день рождения Шукшина, на гору Бикет — дозорный курган Алтайских гор в степи, — над остановленной, как мгновенье, латунно-мерцающей Катунью поднялось многое множество народа. Казалось, что-то произойдет на горе, откроется людям; пока неясно что, но важно, духоподъемно. Все виделось целокупно, крупно: Гора, Народ, Река, Небо. Разнообразные звуки: топот тысяч ног, шелест голосов, рев воды на порогах, бунчанье динамиков...

Для чего пришли эти люди на Гору? Куда позвал их родившийся в селе под горой Василий Шукшин? Чему научил? В чем обнадежил?..

С трибуны говорили речи. В бескрайнем, как все на Алтае, президиуме сидели видные люди. И никто не мог ответить на вставший в сферах вопрос. Человек есть тайна... Свою тайну Василий Шукшин унес с собою... И оставил людям надежду, ибо сказал им правду о них самих, призвал жить по правде и доказал — примером собственной жизни, искусства, таланта, — что правда сильнее лжи. Вот так... Но что-то еще оставалось, что-то мешало соединиться тем, что гуляли, сидели, лежали на траве плоскогорья, с теми, что маялись от палящего солнца в первом, втором, третьем рядах президиума.

Председательствовала на всенародной сходке на горе Бикет незримая, но явственная для всех госпожа Любовь («госпожа» в высшем смысле; не назовешь же Любовь «товарищем»). И никак ей было не осуществить председательских прав... Даже день рождения Шукшина на его родине можно заорганизовать в календарное мероприятие. Это мы умеем...

Писателей из Москвы и других городов привезли на гору Бикет в автобусе. «Икарус» решительно отказывался ехать в такую круть. Но надо было зачем-то. Вползли... Провели в президиум в сопровождении милиции. В том же порядке и увезли. При посадке в автобус нас, гостей, окружили славные, душевно растроганные люди (наибольшее их число сгуртилось вокруг актера Золотухина). Протягивали наши книги — поставить автограф. Протягивали нам руки — побыть вместе. Для того же и ехали мы из Москвы и других городов... К тому побуждала и простершая крыла над горою Бикет госпожа Любовь... Но приставленная к нам дама из крайкома, с типовой взбитой в виде парика прической, с перекосившимся от сложного чувства ответственности лицом, кричала: «Не смей!» Загоняла нас, как овец в кошару, в автобус.

Я знаю эту даму вне служебной сферы как добрейшую, милую женщину...

Будучи загнан в автобус на горе Бикет, я задавался тем самым вопросом, что в свое время и Василий Шукшин: «Как мы живем? Что с нами происходит?» Вопрос задан Василием Макаровичем — нам. Нам на него отвечать.

И еще я думал о Катунь. Со страниц печати мы знаем, что Катунь-реки не будет, а будет каскад катунских электростанций, чередуемых водохранилищами. Ученые Алтая недавно выступили в «Правде» с очень веским предостережением (и с самого начала предупреждали): с Катунь начинается Обь; с изменением водного режима Катунь другим станет водосток главной реки Сибири на всем ее тысячекилометровой пути к Ледовитому океану. И без Катунь, какова она есть, что-то главное потеряет природный комплекс Горного Алтая — нашей сибирской жемчужины. И не будет у нас Чемала...

Я подумал о том, что Катунь, давшая в своем ложе место Чуйскому тракту, — духовная родина Шукшина, частица мира песен, преданий, сибирского упорства, красоты. Не станет той Катунь, какую любил Шукшин, и чего-то мы все лишимся...

XI

Алтай стал нам ближе — с Шукшиным, как Пинега — с Абрамовым, Байкал и Ангара — с Распутиным, Вологодчина — с Беловым, киргизские степи и горы — с Чингизом Айтматовым.

Когда Шукшин снимал «Калину красную» в Белозерске на Вологодчине, я спросил у него, почему не Алтай, как было в прежних картинах. И он ответил примерно так: «Люди живут в нашем обширном государстве по одним законам нравственности. Под одним напряжением...»

Напряжение высоко!

Летом 1986 года хлеба на Алтае малость подгорели, зато выдалась долгая ясная осень; урожай убрали до снега. В колхозе имени Шумакова взяли по 29 центнеров на круг. Алтайский край отчитался по хлебосдаче — с почетом...

Хлеба родились и убирались испокон веков. Перевыполнялись планы. Ныне в большом алтайском хлебе есть явственный знак перемен. То есть не только в хлебе... И в том, что в Змеиногорске новый секретарь горкома, молодой, с новым подходом к людям. И хлеба в колхозе имени Шумакова убирал Иван Андреевич Меркулов — народом поставленный председатель. И великое множество людей пришло на гору Бикет, как будто за советом к Василию Макаровичу, как лучше жить («Шукшин — это перестройка»)...

Тех, что мешали жить по совести, по народному разумению, убрало с дороги наше новое время. Не всех так уж сразу, но кое-кого. Легче стало дышать.

Алтай еще себя покажет! Богатство Алтая не в хлебе едином, а в человеческом самородстве, в таланте, которому только дай волю...

Когда не бываешь подолгу в родных местах, в представлении остается неизменным образ малой родины, который сложился прежде. Годы бегут, а тебе все кажется: там ничто не меняется; при случае туда можно вернуться как в надежное пристанище и увидеть те же горы, леса и быстрюю воду в речке...

Недавняя поездка в станицу Кардоникскую в очередной раз убедила в обманчивости подобного самоутешения. Речка Аксаут заметно обмелела, вода потеряла привычную родниковую чистоту. Днем приглядишься повнимательнее: тянутся по ней, иногда расходясь лишайными кругами, ядовитые, с фиолетовым отливом, полосы машинных масел. Где-то в ущельях, радея за производственные показатели, в поте лица трудятся геологи. Либо нашенские шоферы, приписывая себе тонно-километры, сливают «лишнее» горючее прямо в ореховые кусты, в форельные заводы.

Лес по берегам Аксаута ростом стал выше, но поредел до неузнаваемости. Трава в нем на бесчисленных тропах дочерна выбита копытами животных; ежедневно, утром и вечером, гоняют по нему телят и коров. Кроме как в этом лесу, личный скот больше пасти негде. Некогда обширные луга с густым травостоем распахали, что называется, до упора, вплоть до русла. Урожай на этих прибавках, по сути на мочажниках, худые; обычно сколько посеешь, столько и соберешь. В общем — ни полноценной пашни, ни обильных лугов.

А колхоз наш «Знамя коммунизма», помнится, в послевоенные годы был знаменит достижениями на весь Ставропольский край. Умели здесь выращивать картофель и пшеницу, кукурузу и подсолнух, даже канатник, до глубокой осени выгуливали на отгонных пастбищах отары овец, лоснящихся от сытости бычков. Прибрежный лес и луга берегли. Управлял колхозом Даниил Григорьевич Травнев, от природы основательный хозяин. Учиться в институтах ему не привелось, однако науку о земле он, кажется, постиг сполна — конечно, по тогдашним временам и меркам.

Сначала под его опекой находился сравнительно невеликий и удобный в управлении колхоз, к которому относилась половина станицы — вся нижняя, от площади, сторона; другая же сторона, верхняя, принадлежала соседнему, тоже компактному, колхозу. Затем их объединили в одну, уже на восемь тысяч

душ, артель, а спустя несколько лет, воодушеваясь грандиозными оргпланами, прихватили еще отдаленные добавки — сельцо Хасаут-Греческое в горном ущелье и вновь оживший у речки Кардоник карачаевский аул Красный Октябрь.

По инерции, пока не стерлись ранее заведенные побочные механизмы, преобразованный механизм работал вроде бы исправно и почти не давал сбоев. Хотя хозяйскую основательность Даниил Григорьевич, можно сказать, подыстрил, а пыл остудил. Уже не во все углы удавалось ему заглянуть, не каждого работника удержать на примете. Но отдадим ему должное: все-таки проявлял недюжинную хватку, изворотливость и гибкость крестьянского ума. Укрепив личный авторитет государственными наградами, оброс влиятельными знакомствами и нужными связями и вроде бы уверенно двигал колхоз в гору.

На вид казался председатель свойским мужиком, носил мятый бостоновый костюм, невыглаженные рубахи, в непогоду обувал кирзовые сапоги. Между тем внешнее опрощение не мешало ему приобрести некоторые бюрократические замашки. Все реже он здоровался с рядовыми колхозниками, случалось, вдов погибших фронтовиков выгонял под горячую руку вон из конторы с их докучливыми просьбами. Женщины объясняли грубоватые повадки вредностью характера, мужчины — издерганностью и непомерной председательской занятостью. Иной раз станичники обращались ко мне с жалобами на его самоуправство: напиши, мол, куда следует, но, впрочем, тут же смягчались сердцем, прощая Даниилу Григорьевичу обиды из-за «трудной должности». Всем, рассуждали, на таком высоком месте не угодишь.

Чувствуя недовольство «низов», Даниил Григорьевич порою сердито ронял: «Вам бы лишь языки чесать! Возьмите вилы, покидайте на стог навильни — и дурь мигом сойдет».

Суров был председатель. В шестидесятые — семидесятые годы из станицы невесть куда начали убывать парни и девчата. Многие из них, при доброжелательном к ним отношении, вполне могли задержаться в колхозе и впоследствии составить основу его экономического благополучия, умственного потенциала. Но Травнев отмахивался:

— Обойдемся! Станица большая, не оскудеет.

Кто мог его образумить в ту пору из кардоничан? Не было у нас авторитета весомее. Так уж повелось — ни председатель стансовета, ни директора средней и восьмилетней школ не обладали такой неограниченной властью, как председатель колхоза. Что он велел, то и будет. Я помню, как уважаемый в районе учитель Иван Григорьевич Рештаков, фронтовой танкист с докрасна обгорелым лицом, не смог в свое время доказать, что нельзя, кощунственно разрушать на площади старинный храм, где во дни народных торжеств и бедствий собирались наши предки; храм низвергли и на историческом месте из его камней воздвигли Дворец культуры. У стариков и старух обрывалось сердце, когда они, приходя за солью и селедкой в магазин, наблюдали пота-

совки и поножовщину у культурного очага. По вечерам здесь, на святых камнях, затевались под «буги-вуги» танцы...

Подобно Ивану Григорьевичу, я тоже не сумел внушить Травневу, что неплохо бы в станице открыть новую библиотеку — на двадцать — тридцать тысяч томов книг, причем не только сугубо политических, но исторических, краеведческих, научных, литературоведческих и художественных, особенно из отечественной и мировой литературной классики, — словом, книг полезных и разных, без чего не обойтись современному человеку. Недоверчиво и, я бы сказал, презрительно глядел на меня Даниил Григорьевич. Когда же заходила речь о необходимости музея краеведения и местной истории в станице, он хмурился тучей, беспокойно ерзал на своем расшатанном стуле и сердито молвил: «Не забивайте мне голову чепуховиной. У меня она и без музеев кружится... Не до жиру — быть бы живу!»

В те годы многие из нас видели спасение деревни в различных «очагах культуры». По этому поводу немало гневных газетных и журнальных тирад обрушивалось на голову «непробиваемых» травневых. Спротивляясь их духовной слепоте и глухоте, как бы в укор потерявшим родословную и чувство исторической преемственности, местные подвижники на собственный страх и риск стали открывать в глубинке народные краеведческие музеи, библиотеки. Несколько позднее публицист Иван Васильев в псковском селе Борки тоже создаст библиотеку для своих земляков. Начинание похвальное. Но затем он же придет к мысли, что сельский мир, создаваемый на протяжении тысячелетия, отнюдь не тождествен упрощенным понятиям о внедрении в быт объектов культуры. Ибо сельский мир вбирает в себя такое множество нравственных норм, что его «с полным основанием можно назвать опытом народной жизни».

Разве в силах были противостоять разрушению многослойного бесценного опыта лишь внешние атрибуты культуры? Та же, допустим, библиотека, в которой зачастую и книг-то настоящих не найти, да и некому порой их читать...

Однако вернемся к Травневу. В 1976 году приезжаю к матери-отцу и вижу: на площади утвердил Даниил Григорьевич двухэтажный шикарный ресторан. В нем пошла такая размашистая и яростная гульба, что об этом сейчас, после некоторого всеобщего отрезвления, даже вспоминать страшновато. Последствия угара — сотни могил на станичном кладбище: кто пьяным разбился на мотоцикле, кого убили в драке, кто утонул в реке, у кого перед похмельем отказал «организм»... На том разросшемся кладбище покоится и мой друг Петр Шевченко, от природы талантливый художник. Мы с ним вместе учились в школе, затем в Москве, но после наши пути-дороги разошлись. В станице с Петром не считались, посмеивались над его «художественными причудами», даже мать мечтала его видеть начальником с «хорошей зарплатой». Что же касается Даниила Григорьевича, тот вовсе не признавал «любой живописной мазни».

Мой друг не вынес непонимания близких, запил горькую и стал похаживать в ресторан, приобщаясь к обществу замороженных пьяниц и заезжих наркоманов, которые охотились за маковыми головками в огородах стариков. Однажды ночью Петра нашли мертвым в хате. Говорят, кончился от угара.

И еще стоит в памяти эта картина. Постаревший учитель Иван Григорьевич, в соломенной шляпе, катит велосипед от колхозной канторы. Он едва узнал меня и едва сдержался, чтобы не разрыдаться. Сдали нервы у фронтовика. Он обращался к председателю с просьбой привезти ему дров, но Даниил Григорьевич обошелся с ним весьма круто: «Некогда нам возиться с учителями. Делов без вас по горло!»

Знал председатель, на кого накричать и нагнать страху, а перед кем и самому согнуться в пояснице. Упрямо стоял работяга-хитрован на капитанском мостике и, не выпуская штурвала из мозолистых рук, гнул свою линию, прищурился да приговаривал: «Мы тут сами с усами, разберемся. Как-нибудь помаленьку проживем. Тише едешь — дальше будешь».

К модным кампаниям и поветриям он относился с достаточной долей предубеждения и осторожности. Новшества ценил, но принимал с оглядкой, после семикратного отмеривания. В то же время не любил, чтобы кто-нибудь, пользуясь выгодной конъюнктурой, обходил его на поворотах. Сам тогда поднатуживался, смело вовлекал в оборот нажитые связи и, не гнушаясь той же конъюнктурой, используя удачные в данный момент новации, пусть на полшага, на пол-локтя, но опережал соседей. К примеру, из желания не отстать, не оказаться в «консерваторах» Даниил Григорьевич после мучительных колебаний все-таки велел расширить пашню за счет гибели стародавних лугов и сенокосных угодий. Хотя знал и впоследствии убедился вочию: нельзя, непозволительно тревожить в низине дернистый чернозем. В ливни бесценная земля смывается в реку, опасно обнажая мертвенно-желтый слой глины, россыпь голышей.

В молодости Даниил Григорьевич ездил на линейке, в преклонную пору — на персональной «Волге». Карьера его, по суждениям наших станичников, завершалась благополучно. Правда, рассказывали, он о чем-то крепко задумался и, словно навестывая упущенное, с лихорадочной поспешностью взялся строить себе внушительный дом, какие у нас редко возводят. Это его и погубило. Нагрянули разные комиссии и ревизоры-проверяющие, начали въедливо выяснять, на свои ли средства вел строительство, нет ли каких-нибудь противозаконных действий. Нарушения, понятно, обнаружили, ибо по той еще финансовой вольности не на каждый гвоздь и оцинкованный лист железа народ запасался отчетными документами. Как на грех, одновременно вскрылись в колхозе злоупотребления, о которых не мог не знать председатель, да, очевидно, помалкивал, не желая выносить сор из избы. На него легла тень подозрения. Даниил Григорьевич,

пережив всю эту кутерьму, изрядно истрепал себе нервы и слег в постель.

Вскоре он умер. Похоронили его с почестями, при немалом стечении народа. Южане отходчивы и многое простили старому председателю. Учли: нелегкие прожил он годы, в их числе и застойные. Тем не менее по станице блуждали всяческие слухи о якобы невероятных «капиталах» Даниила Григорьевича, о том, что он был не из праведников, да мало ли на свете злых языков. Вымыслы не подтвердились, а молва не затихает поныне. Ничем ее не вытравить — ни угрозами, ни публичными разъяснениями. В чем тут причина? Непросто ответить. Скорее — некая общая наша вина усугубила вину личную, все переплелось, наслоилось — и поди теперь разберись, кто прав, кто виноват, кто святой, а кто грешник. Тут сказалось, пожалуй, и давнее недоверие к Травневу. Ход будничных размышлений примерно таков: дескать, если вечно хитрил с земляками и начальством, всегда умел выкручиваться и выходить из воды сухим, да к тому же поглядывал свысока, да властно остегивал непослушных, не считался с нуждами вдов, словом, если очерствел и вознесся — неспроста под конец задумался и неспроста были ревизии.

Травнев олицетворяет собою образ ушедшего и неизбежно уходящего руководителя старой формовки — по-своему талантливого, в меру бескорыстного и все же не сумевшего исполнить долга без людского осуждения и укоризны. Чего-то он не понял. Не хватило простора души, чуткости и вместе с тем — мудрой дальновидности. О таких руководителях обычно говорят: хозяева дела. Но при этом, как бы извиняясь, добавляют: только не всегда поворачиваются лицом к человеку. Отсюда, из этого зарябившегося наносной мутью источника, и проистекают чаще всего их неумышленные беды, все недостатки и упущения — в экономике, воспитании работников.

Эти «хозяева дела» достаточно известны — по многим произведениям советской литературы. При случае их можно было возвести в ранг положительных героев и «маяков» (и возводили!) или, напротив, с тем же успехом низвергнуть с пьедестала. Наиболее правдиво тип таких руководителей и хозяйственников выявил Валентин Овечкин в «Районных буднях», вызвавших неудержимый поток и художественных, и документальных подражаний. Писатель резко противопоставляет волевого службиста Борзова демократически настроенному второму секретарю райкома партии Мартынову. Но, в сущности, это одно лицо в нескольких ипостасях, один верно угаданный тип. В различных обстоятельствах он меняет обличье, становясь попеременно то Борзовым, то Мартыновым и даже, чего совсем не заметила тогдашняя критика, тем и другим сразу!

Теперь-то нам с высоты прожитого это ясно. Мы поняли. Но Овечкин понимал еще тогда, в пятидесятые, когда вместе с Мартыновым незаметно восходила звезда и моего не столь знаменитого земляка — Травнева. Он тоже был многолик.

После Даниила Григорьевича наш колхоз начал сдавать одну позицию за другой. Новое-то руководство очутилось точно на выгоревшем косогоре, без травневских капитальных связей. Отныне следовало во всем полагаться только на себя, на свои знания, на дерзкую и выверенную инициативу. Но восприимчивки, в большинстве своем будучи безропотными учениками заслуженного учителя, на первых порах вряд ли осознали пиковое положение. Они по привычке работали лишь по указке, поэтому даже не пытались овладеть ситуацией и хотя бы на год-два заглянуть вперед. Их не тревожило, что производство молока в основном росло благодаря увеличению дойного стада, а хозрасчет внедрялся больше из приличия. Во что обходилась себестоимость продукции, для чего рекомендовали чековую систему расчетов, практически мало кто интересовался. Инерция мышления коварно внушала: это очередное поветрие, надобно спокойно выждать, и все вернется на круги своя...

Годами копившиеся червоточные болезни в экономике разом дали о себе знать. Сильное хозяйство превратилось в слабое, стало пользоваться государственными дотациями. Впрочем, оно считалось сильным, а было ли действительно таковым? Ведь во многом спасали травневские связи, приписки и утаивания, едва ли не узаконенные манипуляции с выполнением планов. Получив снисхождение в виде солидных надбавок к закупочным ценам, колхоз снова стал... рентабельным. Конечно, повышение рентабельности за счет государства предполагает подъем экономики и честное возвращение долга. Важно распорядиться выделенными средствами разумно, внедрить прогрессивные технологии, и самое, пожалуй, главное — в условиях экономической реформы утвердить хозрасчет, принципы самокупаемости.

По примеру многих хозяйств Ставрополья колхоз «Знамя коммунизма» тоже перешел на самокупаемость. Но пока здесь продолжают брать больше, чем давать. Приметой местного быта и уровня производства все еще служат тяпки, ручные косы и грабли.

Невероятно: постоянные кабинетные толки об интенсификации отраслей и тяпки на плечах долготерпеливых женщин, едущих пропалывать свеклу. При виде таких сцен больно ранят мою память грустные воспоминания. Вот так же я отправлялся с матерью в поле, пешком или на подводе, этак лет тридцать тому назад. Нынче, правда, ездят на грузовых машинах, некоторые — на личных. Когда же здесь произойдут перемены в производительной, без сезонного привлечения женской силы, обработке плантаций сахарной свеклы? Разумеется, виновата и промышленность, в частности, Министерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Сколько ни бьется, оно не может обеспечить селян надежной техникой для обработки и уборки трудоемких культур — свеклы и картофеля.

Так что же? Без конца кивать на министерство, на Москву? Народная мудрость гласит: на бога надейся, а сам не плошай.

Увы, старая мудрость уже не побуждает к действиям. Руководители и специалисты колхоза предпочитают ей житейский принцип, выуженный из современной практики: не высовывайся, инициатива наказуема. Над головой не каплет, зарплату начисляют — сиди и жди указаний. Чего еще надобно? Вон и колхозные экономисты, в условиях реформы, не хотят сопоставлять, анализировать доходы и расходы, вникать в себестоимость. По сравнению с предыдущим годом валовый объем продукции уменьшился — ну и что? Не беда... Люди не осознали еще, что пришла иная, более строгая пора.

«А пришла ли?» — недоуменно спрашивают некоторые из них. Не возьму на себя греха осуждать за это земляков. Проросли семена прошлого. Семена неверия.

Нет, не случайно вспомнился мне Травнев. Он оставил трудное наследство. Что взять из него с собою, от чего отказаться — вопрос не простой. Он имеет философское и социально-практическое значение и в пору начавшейся перестройки требует правдивых, без всякого лукавства, ответов. Вот и Николай Шмелев в статье «Авансы и долги», с болью размышляя о состоянии нашей экономики, стремится выявить причины торможения, топтания на месте, пугающего безразличия работников, то есть то, от чего следует отказаться. Не со всеми положениями и рецептами статьи можно согласиться, но автор прав в утверждении, что сугубо административный взгляд на экономические проблемы, почти религиозная вера в приказ «сверху» парализовали волю и способствовали отчуждению трудящихся от общественных целей и настоящего дела. Верно и то, что прекраснодушные призывы не могут более изменить стиль и мировоззрение многих руководителей, владеющих только техникой голого администраторства и аппаратного искусства.

Экономическая реформа ставит новые задачи. «Эти задачи, — пишет Н. Шмелев, — требуют не «волкодава», не «кулачного бойца», жесткого и, если смотреть правде в глаза, не особо обремененного моральными тормозами, а делового, компетентного, экономически грамотного и предприимчивого человека, привыкшего свято соблюдать этику деловых отношений, всегда и во всем держать свое слово, понимающего людей и их заботы, благожелательного, независимого, уверенного в себе и в силу именно этой уверенности не боящегося никаких форм демократической ответственности ни перед вышестоящими инстанциями, ни — что ныне особенно важно — перед своим собственным коллективом. Для выращивания такой фигуры нужны время и определенный климат в стране, но начинать надо уже сейчас, сегодня, иначе строить «хозрасчетный социализм» и работать при нем будет просто некому».

Некому? Простим Шмелеву вполне объяснимое полемическое заострение. Разумеется, «такие фигуры» компетентных хозяев были, есть и, несомненно, будут. Но что правда, то правда: их до обидного мало! А могло быть куда больше. Уже сегодня.

В таком случае, почему все-таки мало?.. Если истина познается в сравнении, то нам самое время познакомиться с другим колхозным руководителем — Николаем Дмитриевичем Терещенко.

II

О члене ЦК КПСС, дважды Герое Социалистического Труда, председателе колхоза «Путь к коммунизму» Степновского района Н. Д. Терещенко сейчас охотно говорят и пишут, еще охотнее берут у него интервью для телевидения, снимают документальные фильмы. У непосвященного человека, к тому же слегка озадаченного наступившим периодом широкой гласности и демократизации, информационным взрывом, может возникнуть подозрение: так ли это, быть может, журналисты и писатели эмоционально выдают желаемое за действительное?

Хочу сразу успокоить сомневающихся и маловеров: в том-то и незадача, что эффекта преувеличения нет. Тернистой тропой шел он к успеху, неожиданно выпавшей популярности.

Обычно в красочных путеводителях Ставрополье именуют не иначе как благодатным краем, где такая щедрая и неистощимо плодородная земля, что воткни в нее оглоблю — непременно явится телега. Да, сохранились еще в крае сильные, в их числе кубанские, черноземы, в горах произрастает даже субтропическая растительность, настраивающая на курортные впечатления, и тем не менее есть довольно обширные зоны рискованного земледелия, есть жесткий ветер «афганец», опаляющий губительным дыханием поля и лесополосы и вздымающийся в воздух, в виде тончайшей мутной пыли, миллионы центнеров веками создаваемого, ничем не заменимого гумуса.

И на этой земле тоже трудятся люди и, между прочим, выращивают неплохие урожаи. Так что разгадка не в одном природном феномене, но также, не побоюсь сказать, в исключительном трудолюбии, стойкости и даже, если хотите, в ревнивой настырности здешних характеров, воспитанных давней исторической традицией.

Мне, к примеру, понятно, отчего четверть века тому назад в фактической ставропольской полупустыне, в «песчаном» селе Иргаклы дерзновенный молодой человек Николай Терещенко отважился возглавить отстающий колхоз. Хотелось проверить себя, доказать, что и ты не зря пришел в этот мир, способен преобразить к лучшему хотя бы малую его частицу. Это уже была прочная, на всю жизнь философия души, философия, какую не выработали в себе ни Борзов, ни Травнев.

В полупустыне едва хватало урожая зерновых на семена. Жили колхозники в постоянный убыток. Недороды считали неотвратимым возмездием природы. Жаловались: скудна степь и пески невозможно укротить; нам, дескать, государство обязано предоставлять безвозвратные ссуды. Хотя бы за истовое постоянство, за привязанность к неласковой земле.

Терещенко вознамерился если не победить коварство стихии, то укротить и повернуть вспять ближние пески. С чего он начал? Нынче бы сказали — с человеческого фактора, то есть обыкновенного внимания к нуждам и заботам селян. Как помните, Даниил Григорьевич, благодушествуя на черноземах, незаметно для себя отделился от рядовых работников, на коих держится дело. Терещенко сам пошел к людям навстречу. Он понимал: задуманное можно исполнить сообща. Со свойственной ему ироничностью подбадривал молодых жителей:

— Ну что, хлопцы, приуныли на фоне серых хат? Советую почаще у них фотографироваться. Тут будет совсем другой пейзаж.

Тогда это воспринимали как шутку — следствие неунывающего нрава председателя. Но с годами село Иргаклы превратилось в зеленый городок. Заново в нем были отстроены улицы и переулки, в центре поднялись Дворец культуры и Дом торговли, спортивный комплекс с плавательным бассейном, различными сооружениями и площадками. И повсюду расцвели кусты роз.

Колхозники осознали цену любого слова председателя. Никогда он их не обманывал, не завораживал несбыточными обещаниями. Искренняя, открытая для всех жизнь первого в селе руководителя приобрела большую силу воздействия на окружающих, их настроение, мысли, поступки. Объявите вдруг иргаклинцам: Терещенко покидает их (допустим, согласился на повышение, что ему предлагали не раз), они всем миром побегут его отговаривать, да и Николай Дмитриевич ни при каких обстоятельствах не уедет отсюда, где на песке встал тугой, повесомее, нежели на ином черноземе, колос...

Подумать только: в каждую из трех последних пятилеток возрожденный колхоз увеличивал объем товарной продукции почти в полтора раза! За это же время выработка на одного человека утроилась и составила десять тысяч рублей. В среднем за минувшую пятилетку в Иргаклах ежегодно получали 2,6 миллиона рублей прибыли. Теперь намереваются получать четыре миллиона.

Однажды приезжие издалека гости поинтересовались у него «резервами колхоза».

— Резервы? — усмехнувшись, переспросил Терещенко. — Они, извиняюсь за прописи, в нашей организованности, дисциплине. Все мы точно опомнились и призываем друг друга к порядку. Жаль, что за наведение порядка принимаем элементарный переход от расхлябанности к волевому закручиванию гаек. Не сбить бы резьбу. Подлинный порядок ничего общего не имеет с нажимом. Он создается коллективным разумом.

— Николай Дмитриевич, а все же — с чего начинать?

— Хороший вопрос! — Председатель оживился и взглянул на собеседников молодо заблестевшими глазами. — Лично я советую неопытным руководителям: начинайте, хлопцы, с культуры села, фермы, полевого стана. Потом доберетесь до культуры про-

изводства. Вижу, не поняли. Тогда растолковываю им: у вас, говорю, механизатор заходит в красный уголок в заляпанных глиной сапогах. Доярка в чем была, в том и садится за обеденный стол. И вы хотите от них современной культуры труда, образцового порядка? Хотите соревноваться с голландскими животноводами? Нет, ребята, погодите маленько... Сразу только в сказках пастушки обращаются в принцев.

Не знаю, читал ли Николай Дмитриевич рассказ Н. С. Лескова «Загон», но в его ответе гостям заключена сходная грустная и мудрая ирония. В рассказе, если помните, тоже идет речь, вскользь, мимоходом, о деревенской культуре. Еще той — дореволюционной, почти ветхозаветной. Так вот, интересный молодой человек Всеволожский, «безумный мот», как известно, имел слабость выписывать себе и своей жене «прямо из Парижа» туалетные вещи и платья. И вдруг утонченный барин возгорелся облагодетельствовать своих крестьян, дабы им в «селе Райском было лучше жить, чем они жили в Орловской губернии, откуда их вывели». К их приходу на новое место Всеволожский приготовил целую «каменную деревню» взамен курных изб. «Не прошло одного месяца, — повествует язвительный автор, — как все домики прекрасной постройки были загажены, и новая деревня воняла так, что по ней нельзя было проехать без крайнего отвращения. Во всех окнах стекла были повыбиты, и оттуда валил смрад».

И впрямь неумно навязывать культуру быта не подготовленному к ней человеку, но и медлить с приобщением к ней, считать эту задачу несущественной в ряду других сельских проблем тоже неверно. Неподготовленных, невосприимчивых надо деятельно воспитывать с азов. Кстати, этому благоприятствует развернувшаяся борьба с пьянством и алкоголизмом, за трезвый и здоровый образ нашей жизни, который немислим без воспитания культурой. В самом обширном толковании этого слова. Малокультурный человек, полагает Терещенко, нынче становится помехой в деле. Вот почему в колхозе всерьез овладевают культурой быта и культурой производства. Цветы в селе, на фермах и полевых станах — не прихоть председателя. Развивая вкус и чувство красоты, эстетика окружающей среды противодействует трудно изживаемым рудиментам бескультурия. Чистота и порядок на улицах, во дворах и общественных зданиях, неукословно поддерживаемые изо дня в день, — первая ступень к общему порядку. Недаром в Иргаклы едут учиться и этому — со всех концов страны.

Человеку крупного дела невозможно жить без риска. И Терещенко рисковал. Нередко личной судьбой, благополучием близких. Обходил бюрократические инструкции, нелепые понукания, запреты. Сталкиваясь с наследниками борзовых, с их авторитарным стилем, умел защищаться от непомерного давления. Схлопотал себе инфаркт. Ничего, бывает. Перетерпел, выстоял.

Ему повезло. Может, еще оттого, что центральная пресса

в хвалебном тоне о нем писала реже, чем о других, таких же настырных, «хватких» хозяйственниках. Он как бы пребывал в спасительной тени безвестности... А вот братьям Стародубцевым — Василию, Дмитрию и Федору, знаменитой в стране председательской династии, не повезло. Им не удалось обойти тульских сплоченных ревнителей. Успех братьев вызвал у них черную зависть. Желание мести. Ведь повальная усредненность не выносит тех, кто хотя бы на вершок поднялся выше нее. Кто посмел иметь собственное мнение, «ослушался».

Маслица в разгоравшийся огонь зависти подливали невольно телепередачи и газетные очерки, поверхностно-восторженные писательские эссе. И приблизился час расплаты. Тут-то и понадобились хитрые финансовые «стоп-сигналы», всплыли подводные рифы. Деловые люди знают: при несовершенстве экономических и хозяйственных отношений пока любого руководителя, пусть он даже чистый голубь и денно и ночью печется о государственном благе, ничего не стоит подвести под уголовную статью. Улики отыщутся. Ибо и «чистый голубь» почти ежедневно вынужден балансировать на зыбкой грани закона и беззакония. Недомогание хозяйственного механизма вручило в руки гонителей бич. Им стали наказывать неугодных. «Своих» же, подпевал и льстецов, оберегали.

Так в тюрьме оказался сначала средний брат Дмитрий, затем очередь дошла и до младшего — Федора. А старший, Василий, стискивая зубы, продолжал стоять у руля крупнейшего в области объединенного колхоза имени Ленина. Понимал: надо работать и за двоих братьев. Доказывать семейную правоту. И доказывал: колхоз ежегодно продавал продукции на десятки миллионов рублей.

А что делали авторы упомянутых эссе, когда шла борьба? Конъюнктура складывалась не в пользу братьев, и очеркисты переключились на более выгодные темы. Лишь отдельные газетчики, наживая себе инфаркты и партийные выговоры, ратовали за справедливость.

Но были и другие защитники дела и чести. Среди них — «названный брат» Стародубцевых, директор госплемзавода «Зыбино» Владимир Васильевич Жарков. В 1981 году, подобно Дон Кихоту, он совершает отчаянный поступок: на областной партийной конференции предлагает отвести кандидатуру для внесения в список... тогдашнего первого секретаря Тульского обкома партии И. Юнака. «Зал онемел,— писал в «Правде» журналист Владимир Швецов, который до конца отстаивал дело братьев.— Юнак побледнел и уронил очки. Из задних рядов выбрался в проход лобастый крепыш и морской развалочкой направился к трибуне. У Василия (Стародубцева.— И. Г.) упало сердце: «Как Матросов — грудью на пулемет».

Незадолго до смерти Жарков сумел-таки сказать свое наболванное слово. Авторы эссе промолчали.

Между тем братья вернулись из тюрьмы. Народ снова избрал

Федора председателем колхоза имени 8 Марта. Ждали. Пока он отсиживал, никому не позволили занять свободную должность.

Высокой ценой защищалось право честного, компетентного хозяйственника — мыслить и действовать по-новому. В романах, повестях и очерках деловой человек обычно крушил все преграды, повергал навзничь кланы рутинеров, а в жизни чаще всего проигрывал сам. И становился жертвой этих самых рутинеров. Такова была жизнь в застойный период, и таковы были литературные сюжеты, вокруг которых искусственно устраивались затяжные и нудные, как осенние дожди, дискуссии.

Вся беда в том, что приведенная выше история — не исключение. Вспомним нашумевшее «дело В. Сургутского». Опытный директор подмосковного совхоза «Тучковский», обвиненный во всех смертных грехах завистниками, провел двадцать месяцев в следственном изоляторе. Наконец коллегия Мособлсуда оправдывает его за отсутствием события и состава преступления. Из государственной казны за ущерб от незаконного привлечения к уголовной ответственности директору выплачивают 22.359 рублей.

А гонители спокойны и неуязвимы. Вроде бы ничего не произошло. Наши скромные гонители до того наловчились, что, травя таланты, умудряются не отвечать за травлю. Вина их эфемерна. Она исчезает, как мираж. И вот уже, глядишь, нет вины. Никто не виноват... Овечкинские борзовы во сто крат бы выиграли, прояви они такую сноровку, гибкость и ускользаемость.

Причем действуют ускользаемые на разных «уровнях». По их лукавым наущениям и злобным наветам унижению подвергались люди, как правило, незаурядные, с прямым характером. Для ускользаемых волевой стиль руководства, отсутствие гласности — наилучшая среда обитания.

Очищение общественной атмосферы обнадеживает. Это нелегкая задача. В прошлом году на пленуме Башкирского обкома партии коммунисты сурово осудили его первого секретаря, теперь уже бывшего, М. Шакирова за преследование неугодных ему работников, различные нарушения социалистической законности. Был преподан урок подлинной демократии. На пленуме выступили и местные литераторы. Один из них произнес афористическую речь. Ее смысл сводился к двум фразам: «Мы так вериди Мидхату Закировичу, а он нас обманул. Но я предлагаю отпустить его с миром на заслуженную пенсию».

Я слушал — и, право же, неудобно было за этого литератора. Он якобы лишь сейчас прозрел. А до этого ничего не видел и не слышал, ни о чем не догадывался. И потому из гуманных, «общечеловеческих побуждений» взывал к всепрощению.

Сейчас нравственный климат в автономной республике заметно стал лучше. Но меня не оставляет мысль: а что нынче говорит людям уважаемый писатель? Какие проповедует истины, какие доводы находит в оправдание своей прежней позиции?

Вирус приспособленчества, душевной мимикрии... К не-

счастью, он поразил и «заповедные» сферы человеческой деятельности. Как заметил В. Шугаев, литературный процесс тоже «пропитан духом стяжательства». Серьезное обвинение...

Сильные, благородные характеры ждут нашей поддержки — и в жизни, и в литературе. Мы уже, кажется, осознаем: изображать благородные характеры в поучение читающей публике, а в обыденной действительности вести себя «усредненно», по этическим нормам ускользаемых, — это ли не кощунство и цинизм! Кому тогда нужны и такие писатели, и их произведения?

Этот вопрос задает нам время. Оно преподает и литературе нравственные уроки. Поэтому мне иногда представляется: будь мы посмелее, покрепче духом, сегодня бы талантливых Терещенко и Стародубцевых было куда больше. И кто знает, сел бы на скамью подсудимых не защищенный от подлости, преданный делу Федор Стародубцев. Возможно, и Н. Шмелев не тревожился бы так о выращивании сильных «фигур» и не пугал нас тем, что если мы не опомнимся, работать при «хозрасчетном социализме» будет некому.

Терещенко его строит давно. Сейчас в колхозе идет глубокая перепашка всех хозяйственных и организационных структур. Провели переаттестацию кадров, составили технологические карты и сделали вывод: с работой, которой прежде занималось 1130 человек, управятся 780. То же самое с техникой. Она эксплуатируется из рук вон плохо. В прошлом году двенадцать тракторов К-700 еле-еле осилили восемьдесят процентов выработки. Куда же это годится? Выгоднее лишние машины продать, чем вот так их использовать.

Проблему эффективного использования техники обсудили на районном семинаре. Вопрос острейший. Однако к начинанию колхоза многие отнеслись с холодком предубеждения. За годы всевозможных экспериментов люди основательно разуверились в их пользе. С виду вроде бы одобряют, кивают головой, а думы свои, тайные. Выжидают. Иные же, напротив, подвержены распространенной болезни, имя которой — бездеятельная мечтательность, то есть современная маниловщина. Съедутся, посмотрят, повосхищаются, отметят командировочные — и на том все кончается.

Николай Дмитриевич уверен: дай ей волю, маниловщина погубит любое живое дело... В общем, не удался семинар. Или ему так показалось? Нет, вот уже и «Ставропольская правда» пишет: «В беседах, да и на семинаре выяснилось, что однозначной оценки происходящего в Иргаклах нет. Далеко не все смотрят на опыт с оптимизмом и готовы тут же последовать за новаторами. Обнаружились и скептики. Многие их сомнения — от нежелания «творить, выдумывать, пробовать». Говорили так: «То, что позволено Терещенко, не позволено другим».

И дальше газета задавала сакраментальные, в духе минувшего, вопросы:

«Почему ж иные молодые руководители думают теперь только

о его славе, а не о цене, какой она досталась живому человеку? Не потому ли, что сами не хотят платить такую цену за то, чтобы их хозяйства не хлебниками у государства были, а его кормильцами?»

Я не берусь судить, надо ли нынче молодым руководителям расплачиваться за выход из прорыва, за инициативу и предприимчивость платой Стародубцевых и Сургутского. По-моему, слишком неоправданная цена. Быть может, при возобладании экономических методов управления над административными усилия хозяйственников будут направлены в спокойно-деловитое русло, а стрессы, связанные с выискиванием улик и криминала, станут досадным исключением.

Что ни толкуй, а с перестройкой на местах пока медлят. Случай в Иргаклах — характерное тому подтверждение. Дело не в частной инициативе колхоза — плохая она или хорошая. Медлят и потому, что боятся попасть впросак и оказаться в положении неугодных. Преподанные братьям Стародубцевым уроки тоже ведь не забываются. Да и всякие другие уроки, пренебрегавшие здравым смыслом, еще очень свежи в памяти...

Дрались за самостоятельность — не робели. Наступила пора самостоятельности, и многие растерялись. Хозрасчет, инициатива снизу, семейные фермы и звенья, индивидуальная трудовая деятельность, гласность и демократия — да неужто и впрямь пришла такая жизнь — и надолго?

Только время снимет недоуменные вопросы. Сам же Терещенко оценивает события с трезвой обстоятельностью. Главное — обозначилось движение. Застоявшаяся вода ищет нового русла. А сомнений не стоит опасаться. Через них тоже пробиваются ростки нового. Если в проведении намеченного не будет половинчатости и перестраховки, хитрых уклонений в сторону, если не мешать естественному течению жизни, ростки непременно обернутся добрыми всходами.

III

Характер во многом воспитывается обстоятельствами. В том числе характер делового человека, руководителя. На Ставрополе немало опытных секретарей райкомов, председателей колхозов, директоров совхозов, специалистов. Это прежде всего итог многолетнего воспитания работников в деле. Умной поддержкой характер можно укрупнить, придать ему необычайную жизнестойкость, но можно сделать его податливым и аморфным — чрезмерной опекой, дерганьем по мелочам.

В крае шла долгая и кропотливая работа по отбору квалифицированных кадров, овладению ими экономическими методами хозяйствования, интенсивными технологиями — с учетом отечественных и зарубежных достижений в земледелии и животноводстве. Радикальная реформа не застала ставропольчан врасплох. Они готовились к коренному перелому, преодолевая соб-

ственные ошибки, заблуждения. Травневы на этом пути не выдерживали и сходили на обочину.

И все же еще сильны общие препоны. Велика непотопляемость разношерстных ведомственных организаций, которые до сих пор сытно кормятся за счет села, но являются, по существу, нахлебниками, почти инородной надстройкой. Мало того, что разноликие эгоистические интересы продолжают вносить путаницу, — они сеют сомнения даже у настоящих хозяев. При такой чересполосице интересов неизбежны отчуждение хороших работников от земли, пренебрежение многовековым крестьянским опытом, что ведет к деградации культуры земледелия. Островки истинного хозяйствования не могут скрасить впечатления от всей безрадостной картины.

Поразительный факт: даже Терентий Семенович Мальцев, почетный академик ВАСХНИЛ, патриарх российского земледелия, в своем родном колхозе оказался, по сути, не у дел перед лицом этой вот страшной деградации. И здесь не стало хозяина. Поля в запустении, перестали давать хлеб. По мнению Мальцева, разгадка в том, что не найден «общий язык с мужиком».

Никакая воспитательная и разъяснительная работа не опрокинет безразличия, не пробудит чувства хозяина, если хозяин самолично не убедится в своих правах. Реформа и обязана наделить его такими правами. Только при этом условии мы будем вправе судить об истинном отношении крестьянина к земле, ее настоящему и будущему.

Пока же, к сожалению, он часто берет от нее все, что она в состоянии дать, и, довольствуясь сиюминутной выгодой, не позволяет ей отдохнуть, вернуть истраченные запасы жизни. Это не хозяин и не хлебороб. Скорее — безоглядный иждивенец с неким трудовым задатком, которого не заботит судьба последующих поколений.

Еще до недавней поры кое-кто наивно полагал, будто наша земля, точнее ее плодородный слой, неисчерпаема. При этом цитировали произвольно выхваченные из общего контекста слова В. В. Докучаева: «...нет таких цифр, какими можно было бы оценить силу и мощь... русского чернозема». Да и существует, мол, закон возрастающего плодородия почвы. Закон-то и вправду существует, но он исполняется, когда соблюдено доброе согласие человека с природой, предупреждающее действие разрушительных стихий, непредсказуемого вмешательства. Пора всемерно беречь и ограждать землю от разрушения. Чтобы, как сказал Т. С. Мальцев, почвоохранное, почвозащитное земледелие стало бы еще и п о ч в о о б р а з у ю щ и м.

С тревогой слежу за нынешней статистикой. Она ошеломляет. Несмотря на большие усилия энтузиастов, практиков и ученых, во всем мире происходит деградация почв. Эрозия за последнее столетие уничтожила 15 процентов земной суши. Ежедневно овраги «съедают» 264 гектара плодородной земли. Циклично повторяющиеся засухи и наступление песков расширяют зону

пустынь и полупустынь. Они уже заняли более трети земной поверхности — свыше 53 миллионов квадратных километров. А вся казахстанская целина уместилась на 20 миллионах гектаров. Крохотный лоскуток в безбрежном океане. Тем не менее непродуманная деятельность человека обостряет и без того критическую экологическую ситуацию.

Пожилые люди помнят, как в калмыцкие степи, на Черные земли, где буйствовала трава в человеческий рост, после войны гоняли на выпаса скот. Со всех сторон — Кубани и Ставрополя, Дона, Грузии, Астраханской области, Дагестана, других регионов... Нынче на обширных пространствах угрожающе проступили белые солончаки, желтеют пески и едва держится при ветре оскудевшая растительность. В Черноземельском районе я видел оставленную овцеферму совхоза «Комсомольский». Недавно здесь жили чабаны со своими многочисленными семьями, слышались голоса детей, в корытцах сверкала вода, а по утрам горланили петухи — и вот дома и пастбища замело. Люди покинули их, безропотно отступив к центральной усадьбе, тоже окруженной волнистыми наплывами песков.

Сейчас на Черных землях из трех миллионов гектаров «сильно сбитых» и «очень сильно сбитых» пастбищ соответственно 1195 тысяч и 534,4 тысячи гектаров. Пески, развеваемые и оголенные солончаки занимают 665 тысяч гектаров. Как ни печально, в Европе образовалась первая пустыня. Черные земли, истолченные копытами животных, вдвое выше нормы перегруженные отарами овец и стадами сайгаков и бычков, не выдержали. Пески пришли в неумеренное движение. Ежегодно они пожирают, буквально вытесняя людей, 50 тысяч гектаров пастбищ. И если не принять кардинальных мер, не преградить путь пустыне сегодня, какой же она станет завтра, ну, скажем, к двухтысячному году?

Северо-восточные районы Ставрополя, ощущая знойное дыхание песков, периодически подвергались засухе. С нею было уже свыклись. Как могли, допотопными средствами боролись с последствиями, противопоставляя стихии мужество и опыт земледельца. Но в 1969 году Калмыкия и Ставрополье приняли на себя невиданный прежде удар бури. Впоследствии эти трагические события, разыгравшиеся в степи, почти с документальной точностью очевидца воссоздаст А. Первенцев в романе «Черная буря»:

«Где-то в безжизненных пустынях рождался для вторжения циклон. Степняки называют его «шурган». Песчано-бугристые полупустыни Прикаспия, калмыцкие степи с намывами песчаных бурунов, эти страдальческие морщины земли принесли восточные ветры с их зловеще-планомерной цикличностью: трое суток — не перестал, еще трое суток, затем девять, спад, тишина, и снова на километры вверх, закрывая солнце, зловещий тайфун Предкавказья — черная буря. Поля высыхали, выдувался верхний почвенный покров, вместе с ним озимые пшеницы. От тяжести мелкозема трещали кровли ферм, кошары иногда не

выдерживали, рушились. Уносило незакрепленные скирды, ломало столбы коммуникаций, рвало электрические провода, заносило колодцы и реки, лесополосы и каналы».

В романе одному из героев, ответственному работнику, звонит «Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии» (имеется в виду Л. И. Брежнев.— *И. Г.*). Поинтересовавшись размерами бедствия, он заверяет, что «государство сделает все, чтобы помочь», и просит представить особо отличившихся к награждению орденами и медалями. Возможно, так все и было. Но важнее другое: все участники противоборства с бурей, да и сам автор, воспринимают ее удар как невероятный, почти исключительный случай, преходящее бедствие.

Все, дескать, уляжется само собой: поздравим отличившихся, отстроим порушенные дома и фермы, пересеем погибшие озимые, понемногу залечим раны земли, и она станет такой же, как раньше. Между тем почву сорвало на двух миллионах гектаров. Да еще погибло 758 тысяч гектаров озимых. А сколько было поднято в воздух и рассеяно ценнейшего мелкозема, унесено прочь с полей!

Бури стали повторяться чаще, сдирая на открытых буграх и косогорах весь пахотный слой. У лесополос наметало огромные завалы, реки и водоемы буквально забивались землей. Все опаснее обнажались мертвенно-блеклые язвы на полях.

Многому научила стихия. Люди поняли: бури бурями, но и человек не меньше повинен в создании экстремальной экологической обстановки. Это расплата за бездумное, варварское отношение к земле.

По заданию крайкома партии ученые и специалисты принялись за разработку комплексных почвозащитных мероприятий. Они включали в себя и технологию возделывания культур, и почвозащитную организацию территории с контурно-полевой моделью угодий, и лесо- и гидромелиоративные работы. В засушливых районах стали активно внедрять так называемую систему сухого земледелия — обработку почвы без обычной вспашки плугом. Одновременно начали приводить в порядок лесополосы, овраги, изъеденные водными потоками склоны.

Больше других от пыльных бурь пострадал совхоз «Овцевод» Изобильненского района. Директор А. Г. Шейкин, рассказывают, плакал, когда после разгула стихии перед его взором на полях предстали оспины «лунного ландшафта». Некоторые уж посчитали совхоз бесперспективным, но Шейкин не сдался. Он привлек к делу ученых Ставропольского научно-исследовательского института сельского хозяйства, знатных земледельцев, и «Овцевод» спасли. Более того — уже в десятой пятилетке здесь в среднем получили по 22 центнера зерна с гектара.

И так решительно поступали другие хозяйственники, специалисты края. Люди в полном значении этого слова боролись за оздоровление земли и большой хлеб. Так, в Шпаковском районе с истовой одержимостью ратовал за передовую систему зем-

леделия бывший первый секретарь райкома партии Александр Егорович Селиванов. Бывало, когда ни заглянешь к нему, он либо в поле, либо дискутирует с высоким приезжим начальством, которое навязывало району, находящемуся в армавирском коридоре ветров, тысячи голов дополнительного скота.

— Поймите же! — горячо убеждал непреклонных оппонентов Александр Егорович. — По преданию, в свое время козы съели Афины. Если мы не изменим специализацию, не вытесним из района часть овец — они съедят все наши земли. И мы пожнем не фигуральную — самую настоящую бурю!

В новаторских поисках Александру Егоровичу помогал ведущий лабораторией научно-исследовательского института Евгений Иванович Рябов. По виду он молод, да вкралась в густейший чуб предательская седина. Не просто им было отстаивать свои убеждения, смелые научно-производственные опыты. Невсегда безжизненные, источенные змеистыми щелями склоны Селиванов с Рябовым засеяли смесью трав и предотвратили разрушение покрова. Можно, можно остановить пески, можно уберечь и возродить землю! Надо лишь установить разумные с нею связи. И пахать, и сеять, и убирать должен один и тот же хозяин. Тогда он не будет истощать пашню, а наоборот — позаботится о накоплении ее естественных ресурсов. При бережном и заинтересованном хозяйствовании снова начнет действовать закон возрастающего плодородия почв.

Пока же он имеет обратное действие. При повсеместной экологической безграмотности населения оно порой приобретает угрожающие размеры. Это не может не волновать людей. Один из героев очерка Ивана Васильева «Обновление», например, убежден в том, что экологической слепоте современного крестьянина способствовал прогресс в земледелии, и прежде всего — механизация. Оттого якобы крестьянин, пишет он в своих записках, утратил «те знания природы, которые имели деды и прадеды». Отчасти верно. Но только отчасти! И уж совсем, по моему, неправильно заключать, будто «могучая машина лишила его этого опыта, он приобрел другой — всесокрушающего преобразования. Сегодня ясно: не одна машина привела к печальному итогу. Во-первых, машиной управляет человек. Во-вторых, куда деть бесхозяйственность, безысходность труда — как следствие нарушения естественных основ сельской жизни? Кстати, самому Васильеву, интересному исследователю нынешних процессов в деревне, ситуация достаточно ясна, но он почему-то предпочел пройти мимо односторонних суждений автора «записок».

Более точные и прямые ответы на нынешние загадки «экологической безграмотности», как это не покажется парадоксальным, дал еще сто лет тому назад выдающийся ученый и практик сельского хозяйства А. Н. Энгельгардт. В своих письмах «Из деревни», недавно переизданных к большой радости всех, кто интересуется судьбами села, автор делится привычным житейским наблюдением: «Все сено и солому со своего надела,

сено и солому, добытые на стороне, и весь корм крестьянин скармливает на своем дворе... Дрова, добытые на стороне, он сжигает дома, и зола опять-таки остается на его дворе. Все это, переработанное в навоз, с двора он вывозит на свою землю... Крестьянские наделы, постоянно удобряемые почвенными частицами, привозимыми извне, с хлебом, кормом, дровами, неминуемо должны год от года утучняться и, нет сомнения, превратятся со временем в тучные огороды».

Так же, добавим от себя, будет утучняться земля, надолго закрепленная за работающими колхозниками. Важно лишь поставить это дело на твердую экономическую и правовую основу, а не полагаться на новое, более изощренное покаяние.

Вернемся, однако, к природным бедствиям. Надо признать, ставропольские земледельцы выдержали первую схватку со стихией. Натиск пыльных бурь ослаб. Хотя успокаиваться рано. Надо постоянно быть начеку, совершенствуя искусство земледелия.

В этой пятилетке Ставрополье засыпало в закрома государства миллионы тонн добротного хлеба, продало сверх плана тысячи тонн мяса, шерсти, картофеля, другой продукции. Вместе с тем урожай зерновых минувшего года, прямо скажем, весьма низкий, свидетельствует: затраченных усилий по возрождению сил земли явно недостаточно. Данные науки и практики не могут не насторожить: уровень плодородия почвы пока не возобновляется. Содержание гумуса в ней по-прежнему имеет тенденцию к снижению. Потери происходят в основном из-за привычного нарушения проектов землеустройства, неправильной обработки полей, применения в основном минеральных удобрений. На одной из сессий краевого Совета народных депутатов я узнал тревожные цифры: из-за несоблюдения противоэрозионных мероприятий в крае практически безвозвратно теряется от 2 до 62 процентов гумуса, исходя из общего его расхода.

А кто поручится, что в других регионах положение лучше? Особенно много бед сельскому хозяйству продолжает наносить неумеренное применение гербицидов. Заодно с вредителями, сорняками и возбудителями болезней они поражают не только животных и растения, но и самого человека, загрязняют биосферу. Не одним ученым и практикам, но и писателям настал срок задуматься: стоит ли игра свеч, если около пятисот видов насекомых, грызуны, клещи и сорные растения уже успели приобрести устойчивость к восприятию пестицидов, а человек и земля оказались под угрозой вырождения? Спровоцированная «эволюционная игра» может нам дорого обойтись... Сошлюсь на свидетельство члена-корреспондента АН СССР А. Яблокова. Он пишет, что в середине 70-х годов, когда использование гербицидов было не столь значительным, как теперь, у нас в стране ежегодно погибало от отравления ими около 40 процентов лосей, кабанов и зайцев, свыше 77 процентов боровой дичи, уток и гусей и более 30 процентов рыб в пресных водоемах. Спросим: сколько

же погибает сейчас? В иных водоемах уже и погибать нечему.

Нам говорят: химизация препятствует естественному восстановлению плодородия почв, усиливает эрозию. И между тем на гектар земли увеличивается количество гербицидов и минеральных удобрений. Старожилы ставропольской степи рассказывают мне в письмах: когда вносили в землю органику и вовсе не ведали о химической защите растений, образование оврагов шло медленнее. Теперь же почву, лишенную травы, овраги изводят в течение двух-трех лет при обвальных селевых и ливневых потоках. А пески засыпают поля еще быстрее.

Так что же делать? Как бороться со злом? Оно ведь беспокоит всех земледельцев, в том числе великой Нечерноземной полосы. Упомянутый выше герой Ивана Васильева предлагает свой доморощенный вариант борьбы с разрушением земли и экологической безграмотностью: «Я прихожу к выводу, что в селе — в первую очередь в селе! — необходимы Дома Экологического Просвещения (ДЭПы), и если получится, как задумано, с пристройкой к моей избе, то в ней и надо открыть такой ДЭП, положить хотя бы начало. Не будет никакого возвращения хозяина, если не возвратит человеку знания предков о среде его обитания. Терять опыт поколений — преступно, идти вперед можно только путем прибавления опыта».

Несмотря на последнюю, вполне полезную мысль, все-таки поинтересуюсь: что это — язвительная ирония по поводу неких ДЭПов? Ирония от горького бессилия что-то изменить? На селе были и поныне, скажем, действуют кружки экономического просвещения — КЭПы, но экономика многих хозяйств благодаря им ненамного окрепла. Правда, это возражение я адресую не столько Ивану Васильеву, сколько его несколько странному персонажу. Неужто сей летописец всерьез полагается на свои ДЭПы и подобные им заведения? Рецепт, конечно, любопытный, да погоды он не сделает. Тут даже недостаточно авторитетных рекомендаций Академии наук СССР и ВАСХНИЛ. Ибо существует настоятельная потребность в государственном решении проблем возрождения земли.

Не может быть возвышеннее и благороднее цели, чем украсить и спасти на вечные времена родную землю. В который раз убеждаешься: в таком деле нужны отважные люди, «фигуры». Не менее отважным должен быть и писатель, дерзнувший не только изобразить сильную фигуру, но и вместе с нею сражаться с косностью, а если понадобится — защитить выстрадавшим словом самого защитника и работника земли.

Вовремя защитить!

Недавно состоялась XIX Всесоюзная партийная конференция. Судьбоносное событие. Мне довелось принимать участие в освещении ее работы. За минувшие шестьдесят лет нашей отечественной истории подобной открытости мнений еще не бывало.

В кулуарах встретился с Виктором Астафьевым. Он беспартийный, но приглашен на конференцию. Тоже примета времени!

Разговорились: сумеет ли наше село оправиться от тяжелых потрясений и перегибов, страхнет ли застойное оцепенение?

Особенно волнует Виктора Петровича настоящее и будущее северной деревни, близкой его сердцу вологодской земли:

— Сплошь да рядом позаросла область бурьяном. А почему? Не стало крестьянина-работника. Перевелся...

Как тут не согласиться. Например, не сразу найдешь виновных в на шумевшей ситуации с «архангельским мужиком» Сивковым. Вокруговую обложили его столичные и местные чиновники всяческими инструкциями, ограничениями — дыхнуть нельзя. И «архангельский мужик» растерялся. Причем в самый разгар перестройки. Когда, казалось бы, для настоящего хозяина наступает момент наибольшего благоприятствования. Позавидовали его заработку.

Как воспитывался наш доморощенный бюрократ? Раз он взошел на ступеньку начальника — ему вынь да положь соответствующую зарплату, пусть и незаработанную. Чем выше ступенька — выше зарплата. По ней судили (и, к сожалению, еще судят) о престижности поста. А тут, откуда ни возьмись, без протекции является какой-то мужик и начинает получать большие деньги, пусть и заработанные.

Это как же — больше начальства?! Урезонить его вслух неудобно. Заподозрят в черной зависти. Да и зачем бюрократу так глупо выявлять себя? Он, новоиспеченный «дворянин», хитер. У него в руках могущественные средства обуздания любой инициативы. Вот и пускаются в ход административные подсечки, инструкции, ведомственные распоряжения. И вместо того, чтобы дать этим «дворянам» по рукам, мы идем у них на поводу.

Страдает труженик — страдает земля. Об этом говорил и делегат конференции председатель колхоза А. П. Айдак из Чувашии:

— А Кара-Богаз-Гол? За потерянные там миллионы кто ответил? А за вред, нанесенный природе? За один миллион списанных на днях правительством России гектаров земель, считавшихся осушенными и орошенными?..

Это обращение и к нашему разуму, к нашей совести. Партийная конференция поставила жесткие вопросы. От них никуда не деться. На них надо ответить делом.

ИСПЫТАНИЕ ЧЕРНОБЫЛЕМ

Со времени аварии в Чернобыле минуло пять месяцев; некоторые уроки уже получены. Город, до трагических событий известный разве что в пределах республики да еще специалистам по Древней Руси (впервые упоминается в документах в 1193 году), ныне знает весь мир. И на всех языках слово Чернобыль звучит однозначно — как знак тревоги и беды, которая может разразиться не только в каком-то регионе, но и в масштабах всего мира, если человечество наконец не осознает, что становится с самой планетой Земля, когда атом взбунтуется уже не в реакторе, а в ядерных боеголовках.

На своем специальном заседании Политбюро ЦК КПСС прямо указало на причину происшедшего на ЧАЭС: «...авария произошла из-за целого ряда допущенных работниками этой электростанции грубых нарушений правил эксплуатации реакторных установок. На четвертом энергоблоке при выводе его на плановый ремонт в ночное время проводились эксперименты, связанные с исследованием режима работы турбогенераторов. При этом руководители и специалисты АЭС и сами не подготовились к этому эксперименту, и не согласовали его с соответствующими организациями, хотя обязаны были это сделать. Наконец, при самом проведении работ не обеспечивался должный контроль и не были приняты надлежащие меры безопасности».

Убедительно, прямым текстом, без эвфемизмов типа «наложения серии непредвиденных отказов». Открыто, честно. Без обиняков. По-партийному.

Конечно, со временем могут выплыть и дополнительные причины, приведшие к аварии. Но одну из них я уже сегодня берусь назвать. Более чем уверен, что среди движущих на пути к взрыву было и пылкое стремление первому перед кем-то отчитаться если не к очередной дате, то просто первому. Отчитаться, а там хоть и кукуруза не расти... Потом доделаем, подгоним, подкрасим.

Но с атомной энергией подобная философия не проходит. Она оборачивается апокалиптической реальностью: не только кукуруза или трава, но и все живое — до человека включительно — не растет после радиации.

Вот к чему приводит разрыв между словом и делом, оплата за слова до их воплощения в реальность. Наконец, карьеризм, который за миг удовлетворения амбиций преступит не только

отца-матерь, но даже технику безопасности на АЭС, нарушение которой грозит бедами многим людям.

Немало есть причин для раздумий. И прежде у многих возникло сомнение в правильности выбранного для станции места. АЭС запланирована была на берегах Припяти, крупнейшего по площади бассейна и водности притока Днепра. С ее низкими берегами, что немаловажно при четырехмесячном весеннем водополье, когда она затапливает значительные площади. И сейчас, когда предпринято столько усилий, затрачено столько народных средств на защиту водной среды, вопрос этот возникает снова и звучит уже не только уроком, но и предупреждением на будущее.

Конечно, неправомочно списывать вину только на начальство, ведь в ночь с 25 на 26 апреля, то есть с пятницы на субботу, некоторые рядовые, должностные дежурить на станции, ничтоже сумняшеся, видимо, как обычно, отправились кто в лес, кто по дрова...

Бесконтрольность, вальяжная расслабленность, этакая купеческая щедрость за счет общества в последнее время стали весьма распространенным явлением не только в некоторых верхних эшелонах, но и среди, так сказать, масс, которым ничего не стоило устроить затяжной перекур среди бела рабочего дня или отправиться в «командировку за горючим», а уж по части прогулов — тут низы, как правило, давали фору верхам.

Курс на перестройку и ускорение развития нашего общества уже самой своей сутью нанес ощутимый удар по этой психологии вседозволенности, всепрощенчества и бесхозяйственности. Случившееся на четвертом реакторе еще раз показало всем нам: вот к каким серьезным последствиям могут привести наше общество нарушения как законов технологии, так и наших нравственных и социальных принципов.

Попробую уточнить. Как и я, многие читатели помнят те годы, когда у нас по любому поводу собирались многочисленные совещания, активы кукурузо-, хлопко- и свекловодов, механизаторов и прочее. Всесоюзные, республиканские, краевые, областные...

Говорили много.

На некоторых совещаниях и активах принимались обязательства на год грядущий — скажем, вырастить столько-то центнеров кукурузы с га. Случалось, что эти обещания издавались увесистыми томами. А поскольку мощности нашей полиграфии оставляли желать лучшего, то эти тома выходили как раз в ту пору, когда новый урожай, мягко говоря, не подтверждал обещанного. Но это как-то забывалось в суете очередных активов, где принимались новые повышенные обязательства, как правило, выше невыполненных предыдущих.

Нет, я не иронизирую. В некоторых совещаниях и активах сам принимал участие и выступал искренне, от сердца. Да и тот несколько патетический стиль выступлений вырастал из благо-

родных традиций митингов периода гражданской войны и первых пятилеток. Мы еще помним, как прямо с митингов и парадов шли в бой солдаты Великой Отечественной. Как после летучих собраний участники их дружно брались за возрождение своей страны из послевоенных руин. На таких сходах люди говорили предметно, ощущая ладонями диск автомата или черенок лопаты. Они говорили по существу происходящего. В их словах звучали боль и радость не в пересказе, а лично.

Но на каком-то витке бытия, как мне представляется, наши социологи, философы да и мы, грешные, упустили из виду приход поколений, рожденных не только после гражданской, но уже и после Великой Отечественной. И то, что для отцов и дедов было прямой, личной реальностью, для них уже звучало как пусть и впечатляющий, но все же пересказ.

Если же учесть, что среди говоривших красиво случались и дремучие обыватели, и авантюристы, подобные одному нашумевшему в 60-х свиноводу, а подчас и просто стяжатели, то у части молодых появился определенный скепсис относительно красивых слов. Более того, они видели, как, скажем, орденосный председатель колхоза припрятывал гектары, урожай с которых плюсовал к легальным, и снова получал орден.

Мне могут возразить: мол, в семье не без урода. Какое-то там одно село или колхоз — нетипично. Можно бы и согласиться, но куда нам деваться от «практики» обмана государства в масштабах целой республики, как это произошло, скажем, в Узбекистане? Это уже, знаете ли, не какое-то одно село, район или даже город. Обман совершался на сотнях тысячах гектаров и на глазах у сотен тысяч людей. Так можно ли наивно полагать, что подобные вещи проходят бесследно?

Нет, побратимы, не проходят. Тем более что подобное совершалось не год и не два, а до того продолжительно, что упомянутый скепсис в молодом человеке мог перерасти в цинизм.

Я не драматизирую ситуацию: большинство наших советских людей трудилось и трудится честно. Но при всем этом не стоит забывать и о психологии восприятия, суть которой (да простится мне парафраз) почти адекватна формуле: плохое видится на расстоянии. Ибо хорошее, честное у нас стало нормой, сиречь будничным.

Неудивительно, что определенная часть людей решила, очевидно, что главное — понять и принять «правила игры», а все остальное приложится. Правила же эти, по их мнению, предполагали: говорить побольше и покрасивше, дабы понравиться начальству. Действовать же можно, как тебе удобнее, пусть даже дела твои полярны словам твоим. Вот из чего родилось своеобразное «соревнование», в котором сражались не за первенство в деле, а за то, кто первым, обогнав ближнего, возьмет высокое обязательство и погромче провозгласит его с трибуны. Причем особо ценными считались обещания, приуроченные

к какому-нибудь из торжественных праздников. (В свое время на Украине даже бытовал термин «датские стихи» — то есть куплеты, сработанные на скорую руку к определенной дате.)

Чернобыль помог нам предметно ощутить и тот зазор, на который мы раньше лишь стыдливо намекали, — зазор, образовавшийся между некоторыми выдвинутыми и выдвигавшими их. Длительное благодушное потакание «обещальникам» сформировало своеобразные непотопляемые «ценных и нужных» работников, которые очень умело совмещали в себе два полярных лица одновременно. Одно — для подчиненных: пренебрежительно-барское, нетерпимое к малейшей критике, в котором требовательная суровость часто подменялась оскорбительной грубостью. Другое — для начальствующих: корректное, с внешними признаками интеллигентности, мило улыбающееся — до угодливости. О подобных работниках ярко и образно сказал на встрече с партийным активом Краснодарского края М. С. Горбачев: «...прямо исполняют польку-бабочку вокруг руководителей...», «...краковяк с ними вытанцовывают».

Сколько раз мы сталкивались со случаями, когда целые коллективы годами сигнализировали о незавидных и непотребных делах, скажем, директора завода или совхоза, об их неуважительном отношении к работе, о стяжательстве их. А тем временем бурбон и ворюга оставался на занимаемом посту или, хуже того, подвигался вверх.

Можно ли во всем винить тех, кто брал на эти посты подобных янусов, ведь им рекомендовали не бурбонов, а весьма благопристойных, культурных людей с блестящими характеристиками? Откуда им было знать, что здесь всего лишь маска, если при образовавшемся зазоре информация о настоящем лице выдвинутца к ним просто не доходила? Но, с другой стороны, известно, что «рыбак рыбака...». Чаще всего срабатывало именно это. Со временем укоренившийся бурбон подтягивал себе подобного, тот — третьего и т. д. — до такой степени накопления, когда уже и высокое начальствующее лицо попадало в зависимость от подобных янусов.

Иногда такие образования, вырастая одно из другого по вертикали, создавали своеобразные закрытые корпоративные системы, где уже, в общем-то, и пристойный, честный начальник терял чувство времени и меры, принимая плотное кольцо янусов за народ, за общественность. Со временем подобная «общественность» настолько прибирала его к рукам, что он уже путал свое с государственным, а взятки — с элементарной благодарностью. И защищал «своих» от критики всеми недозволенными методами, вплоть до гонений на журналистов с применением неконституционных слежек.

Радиация от враждебного отношения к критике вселяла уверенность в безнаказанности. Коль скоро на критические выступления, по сути, не было ответов, то надо ли вообще на них реагировать? Может, действительно, эти писаки (сюда прежде

всего причислялись писатели) от неча делать мутят воду? И стоит ли в таком разе читать их писанину?

...Случилось так, что ровно за месяц до аварии в нашей писательской газете «Літературна Україна» за 27 марта был опубликован материал Л. Ковалевской о состоянии дел на строительстве, в частности, пятого энергоблока на ЧАЭС: технология строительства не соблюдается, срываются поставки почти всех заказов, оборудование прибывает или некомплектное, или — хуже того — с явным браком. Причем, уточняла автор, эти проблемы, усугубляясь, переходили с блока на блок.

Далее Л. Ковалевская пишет: «Приводя эти факты, хочу заострить внимание на недопустимости брака при сооружении атомных электростанций, где несущая возможность каждой конструкции должна отвечать норме».

Не будем переоценивать выступление газеты, уповая на то, что если бы вовремя было обращено внимание на этот и подобные сигналы, то, возможно, и не случилось бы... Я все о том же — о невнимании к выступлениям прессы, о пренебрежительном отношении, особенно со стороны «технарей» и ученых, к критическим замечаниям и советам гуманитариев, в частности журналистов и писателей. О том, что никто из причастных к сфере атомной энергетики «не заметил» материала в нашей «Літературке», хотя через несколько дней после аварии раздались десятки звонков в редакцию из различных инстанций с просьбой предоставить им мартовский номер.

Ныне, особенно после XXVII съезда КПСС, дела по этой линии улучшаются. Но вот что я заметил. Создалась удивительная ситуация: самые верхние верха призывают говорить откровенно, нелицеприятно о своих недочетах. А низы хоть и говорят, но все же еще с оглядкой. Думается мне, что здесь срабатывает не только инерция безразличия — начальству, мол, виднее. Позволю себе предположить, что на некоторых руководящих и просто работных людей подсознательно «давит» практика прошлого, когда сразу за критикой следовали не только оргвыводы, но и меры посуровой.

Нам надо еще раз, и теперь уже навсегда, внедрить в сознание, что критика ошибок того или иного товарища (если, конечно, они не носят криминального характера) — это помощь ему для осознания и искоренения просчетов в дальнейшей работе. Уверен, что эта атмосфера справедливости в значительной мере активизирует жизненную позицию каждого гражданина, укрепив в нем чувство хозяина своей страны.

Твердо стою на том, что при всей внезапности удара последствия его были бы значительно меньше, если бы наша готовность к любым неожиданностям на деле соответствовала той, которая нередко только на словах. В действительности же случилось нечто, тревожно напоминающее ситуацию сороковых, когда за несколько часов до войны мы еще пели: «...если завтра — в поход, мы сегодня к походу готовы».

Нет, к сожалению, далеко не все были готовы и в Чернобыле, и в Припяти, и — выше. В противном случае наши пожарные, беззаветно бросившиеся в огонь, были бы облачены в соответствующие по штату защитные одежды... Да и милиционеры, вплоть до начальствующего состава, получили бы значительно меньше бэров, если бы их экипировка была на уровне уставного требования.

Это прямые, зримые, физически болевые уроки Чернобыля. Они, повторяю, уже известны, о них говорили и писали на разных уровнях и в разных жанрах, а пока готовилась в редакции эта статья, появились и попытки художественных обобщений. Хотя с последними, на мой взгляд, стоило бы повременить из соображений этики: ведь пожар в чернобыльском доме еще не полностью ликвидирован. Нам сейчас надо как следует осмыслить случившееся. И в этом призвана помочь прежде всего документалистика, глубокая, сурово правдивая, создаваемая писателями, которые владеют не только словом и пером, а и научными знаниями в области ядерной физики и медицины. Причем не холодно фиксировать трагические исходы, а подвижнически искать выходы из создавшегося положения, чтобы всем миром построить саркофаг и навеки похоронить в нем беду, да будет она первой и — последней!

Морально-этические аспекты чернобыльского предостережения, казалось бы, не главное, но тем не менее и они остро ранят и сурово призывают честно взглянуть на некоторые странные явления, просматривающиеся в последнее время в нашем общезжитии.

Да, от возникновения рода человеческого неписанным правилом было особое отношение к «погорельцам»: разделить с ними кров, хлеб-соль, помочь материально и, главное, морально принять участие. И самым тяжким, непростительным грехом считалось поползновение погреть руки на чужой беде.

Я вспомнил год 41-й, длинные вереницы изможденных беженцев. Вспомнил, как мои односельчане, прихватив все съедобное, выходили навстречу страдальцам и оделяли их кто чем мог. А совсем ослабших забирали в хаты и вместе с ранеными красноармейцами, рискуя своей жизнью, прятали, выхаживали, хотя оккупанты подобное карали смертью.

Но вот читаю письмо в «ЛГ» от Холоденко Ольги Алексеевны из Киева: «В дом отдыха «Харьков» из Киева были направлены на оздоровление несколько сот детей (в основном дошкольников) с родителями. Стоимость путевки на 24 дня для матери с ребенком — 250 рублей (более 10 рублей в день)... Разместили нас в многочисленных комнатах в деревянных домиках без всяких удобств. Характер и качество питания неприемлемы для маленьких детей. Известно, что стоимость путевки в домах отдыха с таким уровнем комфорта составляет обычно 60—80 рублей. *Такой она была еще в прошлом году и здесь* (тут и далее курсив мой.— Б. О.). Расчет, видимо, простой. *В связи с событиями на Черно-*

быльской АЭС киевляне стремятся оздоровить детей за пределами Киева. Зная, что в такой ситуации никто торговаться не будет, кто-то из курортных начальников решил (воспользовавшись чужой бедой) улучшить показатели своей работы.

В статье Ю. Шербака, опубликованной в «ЛГ» 21 мая с. г., отмечалось, что в «южных районах отдельные рвачи, воспользовавшись общей тревогой, взвинтили цены на квартиры, сдаваемые киевлянам». *Похоже, что в данном случае в роли таких рвачей выступают работники, призванные по своей должности заботиться об отдыхе туристичеся.*

Вот таким простым спекулянтским способом «улучшили показатели работы» — повысили цену на путевки. Хотя на 400 отдыхающих с детьми всего четыре (!) душевые кабины, работающие с 10.30 до 14.00, и то не каждый день, да еще при постоянных перебоях с водой; не было воспитателей, не было врачебных осмотров, зато музыка гремела до 22 часов».

Этих и подобных фактов, к счастью, сравнительно немного. Но даже и один такой факт не может быть терпим, ибо речь идет в данном случае о грубом попрании священного принципа социальной справедливости.

Принцип этот насколько древний, настолько и универсальный. Но если в эксплуататорских формациях он декларировался как сугубо моральная заповедь — «Да воздастся!» — нарушаемая, впрочем, самой же системой, то в нашем, социалистическом, обществе принцип социальной справедливости составляет саму природу, я бы сказал, молекулярную структуру общества. Ведь и революция совершалась во имя торжества справедливости.

В последнее время мы по инерции пытаемся кивать на сухость, жесткость и прагматизм молодежи. Но ведь не кто иной, а именно юноши в пожарных робах бросились сбивать огонь с четвертого реактора. И некоторые из них заплатили всем. Не кто иной, а именно молодые солдаты и офицеры, рискуя жизнью, вели свои вертолеты на адский столб, пытаясь забросать жерло реактора мешками с песком, цементом, свинцом. Да и среди тех, кто ныне сражается с взбунтовавшимся атомом, — преимущественно молодые.

В то время как партия, правительство, миллионы советских людей, принявшие боль пострадавших как свою собственную, всеми силами стараются облегчить их участь, иные чиновные люди, имеющие гербовые печати и таким образом представляющие государство, поднимают цены на путевки и гоняют «по инстанциям» эвакуированных из родных домов людей. Вот что пишет в письме бывший художник-оформитель Чернобыльской АЭС Станислав Васильевич Константинов: «А мы тем временем катимся, как перекати-поле, по всему Союзу, устраиваясь на свой страх и риск — кто в пионерлагере кочегаром, кто в профилактории садовником, кто на пивзаводе грузчиком...»

Рассказав о своих мытарствах в поисках работы и жилья, о бездушии и безразличии работников «Киевэнерго» и руковод-

ства пионерлагеря, где он временно работал истопником, автор письма заключает: «Но бог с ним, авария реактора — дело уже прошлое, остались последствия. А авария в душах людей взрослых и, что самое главное, детей продолжается».

И не думайте, что я сгущаю краски. Не до этого. В один миг мы потеряли свой дом, свою работу, друзей, окружение, привычные заботы — весь свой микромир, все нажитое и выстраданное, ощупанное своими пальцами, согретое своим дыханием, свой, родной уголок, ставшую своей скамью у ворот!

Представить это нельзя. Только пережив, можно понять...

Площадь тридцатикилометровой зоны выключена из жизни не на день и не на год. Вряд ли кто рискнет сегодня назвать конкретные сроки возрождения к жизни этой земли, этих лесов и полей, двух городов и многих десятков сел. Пусть же не будет в душах людей, пострадавших от чернобыльской катастрофы, таких безжизненных на десятки лет пустошей. Пусть души заполняются теплотой истинного участия к конкретным живым людям, настоящего понимания всей глубины нашей боли и нашей беды. Я продолжаю верить в разум и доброту. Ибо зачем тогда все?»

Подумайте: даже в самую трудную минуту человек не теряет веры в идеалы нашего общества. И, вероятно, это помогло ему выдержать. Сейчас, после пяти месяцев мытарств, С. В. Константинов получил квартиру и работу по специальности в Горловке, где к нему наконец отнеслись с настоящей заботой и вниманием.

Да, уважаемые друзья! Пустоши в душах, особенно в трагическом свете чернобыльского пожара, еще просматриваются. И не стоит к ним «привязывать» только молодых. Ибо, как подчеркивал Шарль Монтескье, «лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов». И я добавлю — чтобы привить сострадание, милосердие, участие в чужом горе, надо, чтобы отцы страдали, милосердствовали, соучаствовали. Надо во все сферы нашей жизни — от искусства до школы — возратить такие понятия, как стыд, честь, совесть, правдивость, принципиальность, порядочность, милосердие, которые, по свидетельству тестов среди молодежи, занимают ныне в шкале ценностей предпоследнее место.

А мы даже эти высшие духовные и душевные чувства нередко пытаемся перевести в общий, абстрактный словесный ряд, отчитаться в своей добродетели «по валу», отчуждаясь от конкретного, живого человека, от его судьбы, моральных страданий. А подчас и в карьеристском устремлении спеша «первыми» поведать обществу о том, что все уже в порядке.

Слишком продолжительное время карьеризм, демагогия, двоедушие считались у нас сугубо моральными категориями, развенчивать которые должны в основном литература, театр и кино. Ну какой же тут криминал: да будь он трижды карьерист-

стом и демагогом, а раз дает план, следовательно, делает свое дело.

Вот и вырастили деляг в таком количестве, когда они уже стали критически опасной массой. Не случайно же партия в своем основном стратегическом документе — новой редакции Программы КПСС — к самому большому злу, тормозящему продвижение нашего общества по пути усовершенствования, приравняла и карьеризм, и демагогию, и лесть. Следовательно, и вести борьбу с этим злом надо на уровне государственном, всеми имеющимися средствами — от литературы до прокуратуры.

И самым мощным оружием должны стать демократия и гласность, чтобы, не откладывая на завтра, не прибегая к эвфемизмам, называть зло поименно, персонально, «на миру», какое бы высокое кресло оно ни оккупировало. Сразу же по его выявлении, а не на третий или, скажем, седьмой день. Дабы общество тоже, не откладывая, самым решительным образом искоренило его, и опять же «на миру»!

К этому зовут нас уроки Чернобыля. К этому зовут нас наивно открытые, чистые глаза наших детей, из которых мы хотим вырастить свою надежную смену.

В середине шестидесятых в повести «Отблеск костра» Юрий Трифонов так сформулировал главную задачу своей книги: «Основная идея — написать правду, какой бы жестокой и страшной она ни была. Правда ведь пригодится — когда-нибудь...» Какими важными и своевременными кажутся сегодня слова писателя. Ведь верим, что это «когда-нибудь...» наступило. Многие скажут: «Ну сколько можно о «правде»? С каждой трибуны, с каждой газетной полосы... Никого уже ею не удивишь. Ни «жестокой», ни «страшной»...» И все же... Все же та правда, которая подчас с такой легкостью самобичевания произносится сегодня, — о нашем дне. Гораздо тяжелее говорить правду о прошлом. Почему так? Может быть, потому, что в современности мы все свои, все наши победы и просчеты в конце концов на совести одного исторического поколения. Современность как бы дает нам шанс что-то наверстать, что-то исправить. Прошлое такого шанса не дает. Его приговор всегда суров, ибо не подлежит пересмотру. В «Отблеске костра» Трифонов имел в виду именно эту «историческую» правду, правду прошлого. И уж коли мы сегодня без лукавства говорим о гласности, то со всей прямотой встает вопрос о нашем отношении к недавнему прошлому, вернее, к тем его явлениям, которые долгое время были своеобразными «зонами умалчивания». Почти одновременно в литературе и искусстве появился ряд произведений, пытающихся осмыслить то время, вынести из исторического анализа уроки, действительно необходимые нам сегодня. Это фильм Т. Абуладзе «Покаяние», это роман А. Бека «Новое назначение»...

В их ряду и новый роман В. Дудинцева «Белые одежды».

— Хотелось бы узнать, что лично вас, Владимир Дмитриевич, побудило обратиться к одному из самых драматичных эпизодов в истории отечественной биологии? Нужен ли сегодня показ некоторых неприглядных сторон нашего недавнего прошлого?

— Иные говорят, что прошлое, не получившее должного анализа в наши дни, будет цепляться за спины и не давать покоя. Я с этим согласен и считаю, что тем людям, которых коробит вид саднящих ран, нужно наконец отважиться и взглянуть на них, а не брезгливо опускать глаза. Прошлое — не старый хлам, который раз в сто лет вытряхивают из сундуков с единственной целью — посмотреть, на что сгодится. Оно включает в себе очень многое, в том числе и следы пережитых тяжелых болезней,

повторение которых было бы нежелательно. Обращаясь к истории, мы вырабатываем в обществе социальный иммунитет к таким болезням.

Когда в стране действовала карточная система, по талону можно было купить хлеб на день или два вперед. А за вчерашний день двойную порцию получить было нельзя. С критикой дело обстоит иначе. Если ты не «отоварил» вчера свой талон на критику, то завтра получишь двойную порцию, за месяц не отоварился — «съешь» месячный паек. А если откажешься «съесть», все равно в конце концов весь «паек» будет твой — недостатки, вовремя не устраненные критикой, приведут к катастрофе. Критика, как и хлеб, нужна тебе же — для здоровья.

Но я обратился к недавнему прошлому вовсе не из потребности покритиковать «те» времена. Они, времена, были для меня, человека, стремящегося стать серьезным художником, великой страницей истории. Если бы «недавнего» времени не было и жизнь соответствовала бы тем картинам, которые были написаны представителями «лакировки» действительности в искусстве, мы бы не смогли увидеть истинную высоту, на которую способен подняться человек. Я убежден, что только в по-настоящему суровых условиях проявляются наши лучшие и худшие стороны. Мне кажется, что в обществе, где «не доносятся жизни проклятья в этот сад за высокой стеной», я и писателем не стал бы.

— Владимир Дмитриевич, читатели хорошо знают вашу книгу «Не хлебом единым». Недавно исполнилось тридцать лет первой журнальной публикации романа. И хотя дата эта позади, мне хотелось бы вернуться к разговору о нем. Ведь многие темы, важные для правильного понимания нового романа, берут истоки, как мне кажется, оттуда... Как получилось, что именно изобретатель стал главным героем «Не хлебом единым»?

— В послевоенные годы я работал в «Комсомолке» разъездным очеркистом и часто получал задания написать о различных изобретателях. Как бы специализировался по этой теме. Со многими изобретателями был знаком. Это были люди страстные, увлеченные, глубоко даровитые, полные внутреннего огня, готовые все поставить на карту ради научной истины. Перед моими глазами проходило много суровых судеб. От изобретателей я заразился ненавистью к определенному кругу людей в науке — к бюрократам, завистникам, демагогам, невеждам — и большим сочувствием и уважением к настоящим и честным ученым. Я вошел в некоторые инженерные и научно-технические общества, где специалисты занимались своими изобретениями. Приходилось «пробивать» новинки, то есть ходить в министерства, организовывать экспертизы, писать в газету статьи... Постепенно изобретатели, увидев во мне единомышленника, стали приносить свои досье — документы, письма в различные инстанции. Так начал накапливаться богатейший материал...

— Судя по отзывам современников, роман, напечатанный в

1956 году в «Новом мире», вызвал целую бурю дискуссий и споров. В чем сегодня «из исторического далека» вам видится причина его тогдашнего бурного успеха?

— Герои книги — изобретатели и ученые — оказались той группой людей, на которой особенно была заметна печать закономерностей того времени. Главный герой моего романа был узнаваем, и потому рассказ о его судьбе воспринимался читателями 50-х годов как антология судеб многих талантливых современников. Когда страсти вокруг романа немного улеглись, я даже подумал, что никогда ничего больше не напишу — жизнь вряд ли даст второй такой богатый материал. А возвращаться к газетному методу писания, когда строчишь «в номер», я уже не мог.

— Какие закономерности «того времени» вы имеете в виду?

— Закономерность, в общем-то, одна. Природа отторгает от своего организма инородные тела. Если мы, скажем, начинаем строить заводы на реках и сбрасывать в них ядовитые жидкости, природа, естественно, отвечает нам, ухудшая качество самой нашей жизни, — уменьшается сток рек, мрет рыба, гибнут леса, начинается эрозия почвы, падают урожаи хлеба.

Подобные явления я наблюдал, сталкиваясь с проблемами изобретателей. В обществе поселилась тяжелая болезнь — я имею в виду культ личности. Уверен: мы могли до огромных высот подняться, если бы не жил в организме нашего общества такой опасный недуг. Мы избежали бы многих страшных заблуждений, непоправимых ошибок, на исторической памяти нашего народа не было бы тысяч искалеченных судеб.

Как же реагировала на эту болезнь общественная природа? Разбуханием бюрократического аппарата со всеми вытекающими отсюда последствиями. К сожалению, у нас изобретатель всегда один-единственный в поле воин. Он идет по ведомственной цепочке, которой его новшество сильно осложняет жизнь. Одновременно он ищет единомышленников. И находит. Одним из них оказался когда-то я, писатель. И, глядя на эту цепочку, понимаешь, что не просто так неудачно сложилась судьба моего изобретателя, но действуют общие закономерности, система.

Те же закономерности действовали и в биологии.

Вскоре после появления романа «Не хлебом единым» я стал замечать, что ко мне потянулись многие ученые. Они ждали от меня помощи в своих бедах. Это были классические генетики, пострадавшие от бывшего в то время президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) академиком Лысенко, который навесил на генетику ярлыки «лженауки», «реакционного учения», «антинародного направления»... А единственно правильным в биологии признавал так называемое мичуринское направление — на самом деле вульгарную интерпретацию учения Мичурина. До печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ 1948 года генетики еще хоть как-то могли работать,

а после разгрома хромосомной теории на сессии вынуждены были уйти в сторону.

...Заблуждение в науке еще не означает невежества ученого.

Тихо Браге, не веря Копернику, создал свою модель Вселенной, в центр которой поместил Землю. Он был честным ученым и до конца жизни, неистовый в своем заблуждении, спорил с гелиоцентрической системой мира. Но шутовской колпак на Коперника надел не он, а невежда.

Яна Гуса погубило неверие в него людей. Но вязанку хвороста в костер, уже опаливший его ноги, подбросили те же услужливые невежды.

Невежда, в сущности, во все времена один, и не обязательно он одет в платье инквизитора. Его легко опознать — он агрессивен и подозрителен. Он не приемлет чужих точек зрения, любой альтернативы своим воззрениям. Это из его лексикона слова «запретить», «разгромить», «разоблачить»...

И такие слова произносили с высоких трибун ученые мужи, почетные академики. Они собрались на сессию для того, чтобы «обсудить положение в биологической науке», а «обсуждение» свелось к открытому разгрому классической генетики и отречению некоторых ученых-генетиков от своих научных убеждений. Демагогия тогда часто одерживала победу над научной трезвостью, объективностью, истиной. Но сегодня хотелось бы назвать имена тех ученых, кто в этой сложной обстановке сохранил достоинство, верность себе, своим научным воззрениям.

— Мне повезло — я общался с крупными специалистами, пострадавшими от действий Лысенко. Это были высокоодаренные люди с универсальной культурой, настоящие патриоты, подлинные ученые. Началось все с Владимира Павловича Эфроимсона, доктора наук, автора многих фундаментальных трудов по генетике. Его сокрушительные, но малоизвестные работы против Лысенко были опубликованы в 1956 году в Бюллетене Московского общества испытателей природы. В то время за свои научные взгляды Эфроимсон сильно пострадал. Встреча с Владимиром Павловичем открыла мне путь ко многим ученым: я познакомился с академиком Н. А. Майсуряном и его женой — доктором биологических наук А. И. Атабековой, с академиком Б. Л. Астауровым, членом-корреспондентом АН СССР И. А. Рапопортом, доктором биологических наук В. В. Сахаровым и Н. А. Лебедевой, которая в жизни сделала то же, что в романе «Белые одежды» Стригалева. Всем им я обязан тем, что книга увидела свет.

— Главный герой вашего нового романа Федор Иванович много размышляет над взаимоотношениями добра и зла. Жизнь мучает его. Он пытается бороться с вечной непобедимостью зла и в конце концов вырабатывает принципы для того, чтобы получить моральное право действовать против него. Этот нравственный стержень романа тоже сложился из ваших наблюдений за судьбами ученых-генетиков?

— Не совсем так. Тема возникла раньше. И опять-таки в свя-

зи с «Не хлебом единым». Уж коли у нас с вами зашел разговор об этом, я хотел бы рассказать об одном эпизоде. Он хотя и известен многим, но некоторыми неправильно истолковывается. Дело в том, что после публикации романа в «Новом мире» на Симонова, бывшего в то время главным редактором журнала, обрушились наши литературные чиновники.

Но Симонов сумел выработать такую линию поведения, которая меня, автора романа, так переполошившего бюрократов, в то время не просто смущала, но и обижала. Получалось, что он чуть ли не отказывался от меня и моего творения. И только позже я понял мудрость Симонова (уж кто-кто, а он знал тяжесть чиновничьих кулаков). Ведь в конце концов он сделал главное — опубликовал роман, все остальное уже не столь важно. И тогда я понял: если Симонов опять станет главным редактором, то новую книгу я понесу именно ему.

У ракеты, которая запустила спутник на орбиту, два выхода: или сгореть, или пройти сквозь плотные слои атмосферы, раскрыть парашют и благополучно приземлиться. А атмосфера у нас плотная...

Тогда-то впервые я понял, что человек добра, который чувствует, что он призван бороться за какую-то высшую истину, должен проститься с сентиментальностью. Он должен вырабатывать тактические принципы борьбы и быть готов к тяжелым моральным потерям.

Представьте, добро преследует зло, гонится за злом, а на дороге газон. Зло бросается через газон напрямик, а добро остановилось — ни за что не наступит на газон, хотя там даже таблички нет «Ходить запрещается!». Оно все равно такое добропорядочное, это добро, настолько связано нравственными принципами, моралью, что побежит вокруг газона, крича злу: «Остановись!» Зло, конечно, убежит. А если так — значит, нужны совершенно новые методы борьбы.

А уже потом биологи дали мне прекрасные иллюстрации. Расскажу о некоторых.

...Однажды в редакцию ботанического журнала входит одна из ученых-лысенковцев и приносит статью. В ней она превозносит президента ВАСХНИЛ до небес, пишет: «Лысенко — это Сталин в биологической науке». Сейчас же, прочитав это, зашумели некоторые члены редколлегии, обрадовались — говорят, надо немедленно печатать. Они знали: Сталин не любил, когда кого-нибудь называли Сталиным, и такая статья могла наконец подорвать мощь Лысенко. Но другие члены редколлегии возмутились: «Ни в коем случае! Такими методами мы никогда не боролись». И вернули статью, предупредив автора об ошибке. Вот как поступало добро.

Лысенковцы же черт знает что творили с этими добропорядочными профессорами, с этими живыми классиками. Один из главных «научных» тезисов Лысенко был тот, что есть виды, которые «диалектически», «скачкообразно» порождают другие виды.

Таким видом является и кукушка. «Кто видел,— задавал он вопрос на заседании Академии наук сидящим в бархатных шапочках академиком,— как кукушка несет яйца?» Никто не видел. «Хорошо, тогда я вам скажу. Она яиц не несет. А откуда берутся кукушата?» Опять все в недоумении. «Кукушат выводит пеночка. Пеночка несет яйцо, из которого в результате единства противоположностей, скачкообразно (тут он произносит набор псевдо-диалектических скучных терминов) выводится кукушонок»... Как пеночка порождает кукушку, так же, по Лысенко, одно дерево может породить другое. Иллюстрацию этому тезису нашел один из лысенковцев. Он обнаружил граб, из которого росла лещина — лесной орех. Забили во все колокола — сенсация! И во всевозможные учебники пошла фотография этого граба. А генетики, которые объединились вокруг ботанического журнала, во главе с его редактором академиком В. Н. Сукачевым, в это «открытие» не поверили. Они послали своего корреспондента на Кавказ. Тот раскрыл эту «загадку» природы. Оказалось, что в стволе у граба была развилка. Рядом же, в тени, росла длинная лещина, которая согнулась под своей тяжестью и легла прямо в развилку. Мимо проходил лесник, увидел это и произвел прививку. Прошло время, лещина привилась и начала расти на теле граба. Тогда лесник обрезал родной ствол лещины, и получилось, будто она растет прямо из «тела» граба.

Вскоре такой разоблачающий лысенковскую теорию материал появился в ботаническом журнале. А вслед за ним целый ряд подобных статей. И результат: вся редколлегия журнала во главе с академиком Сукачевым была снята за «травлю» академика Лысенко. Вот как действовало зло. И потому оно всегда побеждало, что добро не умело вести себя в стане врагов и постоянно себя выдавало. А этого делать было нельзя.

— Но можно ли человеку добра долго скрывать свои истинные убеждения, вилять, притворяться? Ведь рано или поздно возникнет ситуация, которая потребует от него либо измены, предательства, либо вынудит раскрыть себя — по крайней мере потребует ясной, четкой позиции. Не безнравственно ли вести двойную жизнь? Нет ли в такой позиции оправдания беспринципности?

— Сомнения в правомерности наших действий мешают делу — они не устраняют само зло, а устраняют с фронта борьбы еще одного солдата, который мог бы воевать.

Как, например, работала в свое время Нина Александровна Лебедева? Она заявила, что является сторонницей Лысенко, и благодаря этому получила допуск в лаборатории и оранжереи. Но каждый вечер, возвратившись домой, закрывалась ото всех и ставила опыты по классической генетике.

Жизнь, которая приобретает все большие скорости, напряжение, приближает добро и зло к решающим схваткам между собою. И в этих схватках добро должно побеждать. Но это ему

удастся лишь в том случае, если оно всегда будет превосходить противника.

В романе я привожу целый ряд критериев, с помощью которых человек может проверить самого себя, годится ли он для тактических действий, о которых мы говорили. Так что окончательный и исчерпывающий ответ ищите в романе.

— Владимир Дмитриевич, мне хотелось бы остановиться еще на одном вопросе, напрямую связанном с проблемами нравственности. Может ли человек искупить всей своей безупречной, честной жизнью один-единственный грех, совершенный в прошлом? Можно ли убить в себе память о беде, которую единожды ты причинил другому человеку? Герой вашего романа Федор Иванович один только раз предал талантливое исследователя. Да и то в детстве. Да и предал ли? Это был «честный пионерский донос». Но всю жизнь он пытается избавиться от комплекса вины... В общем-то, «вечная» тема искусства — искупление греха, расплата человека за совершенные неблагоприятные поступки. Но мне кажется, в эпоху, когда человек часто был вынужден идти на компромиссы, когда он был беззащитен перед лицом обстоятельств (о чем вы сами и говорили), суд памяти, совести не должен быть уж так суров...

— Да, у суда есть целая шкала смягчающих приговор обстоятельств. Суд может проявить снисхождение, скажем, к тому, кто совершил преступление в невменяемом состоянии. Особенности времени, несомненно, тоже одно из таких смягчающих обстоятельств. Но оно является смягчающим лишь для бесстрастного суда или для ваших посторонних глаз. А для того, кто виноват, смягчающих обстоятельств не существует. Совестьливый человек все равно будет нести свой грех до гроба. В том и состоит высшая мудрость и справедливость природы, что она придумала механизм совести.

Может быть, я слишком самонадеянно пытаюсь разрешить вопрос и за злого человека. Как решают эту проблему люди зла? Что они чувствуют? Что в них происходит? Не знаю. Но мне кажется, что совесть — это такой совершенный, безотказный механизм, что он срабатывает и в злом, безнравственном человеке. Разве вы не замечаете, что у скверных людей особая, специфическая внешность? Что с ними делается, какая сила лепит эти лица?

— Видите ли вы приметы лысенковщины в нашей сегодняшней жизни?

— К сожалению, иногда еще вижу. Во-первых, есть остаточные явления, говорящие о том, что само лысенковское заблуждение полностью не изжито. В некоторых учебных заведениях я до сих пор встречаюсь с рецидивами «переделки» пшеницы из яровой в озимую и обратно. Это или шарлатанство, или искреннее невежество. Во-вторых, лысенковщина сама по себе есть частный случай безнравственной практики «силового» отстаивания своей точки зрения. Лысенко лишь одним из первых удостоился чести

озаглавить своим именем это отвратительное явление в науке, которое нам еще предстоит изживать. Да и не только в науке. А задумайтесь, что стоит порой за авторитетом в искусстве? Я имею в виду дутый авторитет. Мы до сих пор живем в плену «заслуг» многих художников, чьи действительные заслуги ничтожны. Мы разворачиваем этим снисхождением самих себя. Боимся сказать правду иному «голому королю». А ведь согласно тому, что диктуют нам демократические основы нашего общества, один из главных принципов жизни — гласность, а значит, свобода выражения различных точек зрения и свобода отстаивания своих взглядов. Главным судьей в любом споре должен быть аргумент. А нажим, использование власти, различных связей — все это еще, увы, встречается.

Важно, чтобы заблуждения, ошибки отдельных лиц, облеченных властью, не выросли до уровня проблем всего общества, не стали узаконенным явлением, как это было в случае с Лысенко. И я верю, что процесс демократизации нашей жизни, который начался, сделает недопустимым повторение подобных заблуждений прошлого.

Беседу вела Н. ЗАГАЛЬСКАЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ХЛЕБНОЙ НИВЫ

История показывает, что духовное первенство, культурное руководство принадлежит тому народу, который сумел связать наибольшее количество солнечной энергии на единицу площади своих полей.

В. Р. Вильямс

1

Едва столичный экспресс, идущий на юг, промчится по долгому мосту за Оку, как по сторонам, до самого горизонта, возникнут поля и поля. Если стоит зрелое лето, они светло открываются желтым, даже золотистым цветом ржаной и пшеничной нивы, зелеными окошками овса, белыми с розовыми квадратами гречихи. И будут сопровождать поезд день и ночь и еще день на почти двухтысячеверстном пути, пока где-то за городом Белореченском электровоз не втянет вагоны в лесные долины Кавказа.

Ощущение душевного покоя охватывает человека, когда может он окинуть взором столь огромное пространство, занятое хлебной нивой — этим источником благополучия всех и каждого, великим даром природы и разумного человеческого труда.

Хлебные нивы страны... Они занимают в СССР 130—135 миллионов гектаров, или три пятых нашей пашни. Они дают ежегодно до двухсот и более миллионов тонн зерна — хлебного и крупяного, бобового и кукурузного, чтобы в магазинах и пекарнях никогда не выветривался изумительный запах свежих булок и калачей, чтобы наполнились сытным добром кормушки на фермах.

Далеко не все наши пашни равноценны. Одни из них дают высокие и устойчивые урожаи, потому что благоприятна среда обитания, хватает и воды, и тепла, и пищи. Другие находятся в аридных зонах — с нехваткой воды и с палящим зноем. Третьи слабы от природы, тяжелы и холодны. Выше Москвы и Горького, севернее Транссибирской железной дороги теплое время года заметно короче, чем под Киевом или Оренбургом. И все-таки, исключая годы жестоких засух — а они не становятся реже! — мы почти всегда получаем весомое зерно. Не уродит в одном регионе, так перекроет урожай в другом.

За всем этим стоят люди, мастера. Кто-то создал зерно для хлебной нивы на юге Европейской части СССР и для степей Поволжья, южного Урала и сухого Оренбуржья, для целинного

Казахстана, наконец. Другие ученые получили сорта колосовых для Нечерноземья, для капризного по погоде Зауралья, для ветреной Западно-Сибирской равнины и все еще диковатого Заиртышья. Сеют хлеб и на Амуре с его причудливой летней погодой, в Средней Азии, на песках Белоруссии, в республиках Прибалтики. Почти планетарный размер нашей страны, занимающей шестую часть мировой суши, естественно, потребовал таких сортов полезных растений, которые как можно точнее совпадают с природно-естественными условиями определенного региона.

Начало отечественной селекции на научной основе мы связываем с именем Николая Ивановича Вавилова, собравшего бесценный генетический фонд зерновых и других культур почти со всех материков мира.

Вместе с Василием Евграфовичем Писаревым, Дионисием Леопольдовичем Рудзинским, Сергеем Михайловичем Букасовым, Петром Михайловичем Жуковским, Алексеем Павловичем Шахурдиным и другими учеными, такими, как агрономы Чайнов и Кондратьев, Лисицын и Семполовский, Вавилов заложил основы современной науки селекции и сортового семеноводства. Эти мужественные люди составили ядро, вокруг которого собралась многочисленная молодежь, образовавшая в пятидесятых «могучую кучку» селекционеров — ученых и практиков, которые начали работать над созданием новых сортов.

Одним из немногих центров успешной работы был, конечно, Краснодар. Уже в начале пятидесятых годов здесь работали Павел Пантелеймонович Лукьяненко, Михаил Иванович Хаджинов и Василий Степанович Пустойт. С их трудами связан значительный скачок в урожайности основных культур. Здесь родилась, отсюда начала триумфальное шествие по миру озимая пшеница типа Безостая-1 с биологическим потенциалом в 60—80 центнеров с гектара, с толстой и крепкой соломиной, почти снявшей проблему полегания хлебов. Здесь создан высокомасличный подсолнечник, урожайные гибриды и сорта кукурузы.

Лукьяненко и его коллеги заметно опередили многих ученых.

Удачная селекция заставила иначе работать агрономов, механизаторов, машиностроителей — создателей комбайнов и жаток. Селекция обязала строже обращаться с севооборотами, сеять многолетние травы, по пласту которых та же Безостая давала рекордные урожаи — 80 центнеров с гектара, по-иному взглянуть на всю систему обработки почв. Это тот случай, когда наука — селекция — как бы дисциплинировала всех земледельцев, приподняла их уровень знаний.

Если селекция — это сплав научных знаний и искусства, то у Лукьяненко была явная склонность к искусству. Этот дар, особенное восприятие действительности и выдвинули его в первый ряд селекционеров-пшеничников.

В те годы возник Кубанский селекционный центр, позже названный именем П. П. Лукьяненко. И пошли из его лабораторий новые сорта — Кавказ, Аврора, Безостая — хорошие сами

по себе и отличные улучшатели других, дочерних сортов, обогативших генофонд пшеничного растения.

Это был задел на будущее.

Новые кубанские сорта — уже дело его учеников, забота нового поколения селекционеров, последователей Лукьяненко. Сам он скоропостижно умер в 1973 году. Умер в поле...

В этом же институте работал Михаил Иванович Хаджинов, человек несколько иного характера и наклонностей. Книжник и эрудит, воспитанник вавиловского ВИРа. В молодые годы аспирант Н. И. Вавилова, он постоянно находился в окружении книг, журналов на родных языках, хорошо владел английским.

Малого роста, худой, без надежды, как он сам повторял, когда-нибудь располнеть, необычайно подвижный, схватывающий мысли с лету, с доброй долей юмора, он судил о событиях точно и оригинально. Прекрасный собеседник!

Сюда, под Краснодар, в тяжелые годы лысенковщины его «сослал» сам Вавилов. Повелел взять из вировской коллекции кукурузы разные сорта и гибриды со всего света, подружиться с Майкопской станцией ВИРа и заняться этой культурой. Уже проводя, как рассказывал сам Хаджинов, остановился у окна кабинета и сказал вполголоса, рассматривая черную воду в Мойке:

— Тут у нас беспокойное время... Хочу, чтобы вас оно не затронуло. А кукуруза... Вы не хуже меня знаете, что это самая могучая культура из зерновых. У нас ее пока не оценили. Забыли. Вот и беритесь во славу Отечества. Словом, благословляю.

Михаил Иванович уехал и время зря не тратил. Получил на селекционной станции участок земли, сеял, наблюдал, убирал свои формы. Только на время недолгой оккупации Кубани уехал, захватив и свои драгоценные початки. Скоро вернулся. Наверстывая время, он взялся за прерванный труд. Возобновилась гибридизация, все более усложненная, еще тщательнее стал отбор и оценка образцов. Друзьям любил напоминать прочитанную где-то фразу: «Кукуруза сделала Америку богатой». И непременно добавлял, что в нашей стране немало климатически подходящих районов для этой культуры. Свой, так сказать, пока не использованный «кукурузный пояс» — от Украины до Ашхабада.

— Но прежде,— добавлял он,— надо доказать, что культура действительно богатырская. На слово у нас не поверят, хотя и сеют по личным огородам американский сорт «Стерлинг», неизвестно когда и как попавший на Кубань и Украину.

У Хаджинова появились первые удачные гибриды. Расширились посевы. На рядах высевали сорта, ломали мужские соцветия — султаны, принудительно опыляли пылью с других сортов. Сотни комбинаций, пока не получили растения с прекрасными желтозерными початками. Понимал: гетерозис, вспышка жизненных сил. Снова скрещивания, отбор. Лишь через четыре года убедился, что создана устойчивая популяция. Она получила название Краснодарская-1/49.

Вот с этой популяции, собственно, и началась серия удач.

Как раз шли годы поисков, новых направлений в сельском хозяйстве. Вдруг все загорелось сеять кукурузу, своеобразную палочку-выручалочку. Бросились искать сорта, семена. А они уже были у Михаила Ивановича Хаджинова и у Гая Саввича Галеева в Майкопе. Хорошие вести пришли тогда же из Днепропетровска, там Борис Павлович Соколов создавал свои сорта. Последовало очень быстрое их размножение: ведь кукуруза из одного зерна способна дать за год 800—1000 зерен...

Вскоре у Хаджинова подошли новые гибриды, как на конвейере, с номерами 303, 309, 381, за ними так называемые двойные гибриды: 436, 440, 334. И каждый лучше предыдущего! Лиха беда начало. Семена кукурузы шли нарасхват. Культура эта на новом месте открывала свои неиспользованные возможности. С присущим в те годы размахом ее пытались сеять даже на севере. Увы, там она не росла и по строжайшему приказу...

В шестидесятые годы у Хаджинова — уже большая, отлично оборудованная лаборатория, деловые и дружные сотрудники, атмосфера приподнятости и оптимизма. В 1963 году Михаилу Ивановичу присуждают звание лауреата Ленинской премии, в 1966 году избирают академиком ВАСХНИЛ и награждают Звездой Героя Социалистического Труда. К этому времени в стране кукурузу на зерно сеяли уже на миллионе гектаров, а на силос — много больше.

В одну из наших встреч он показал свежий журнал со своей обстоятельной статьей по проблемам селекции, сказал:

— Это — о главном, что настойчиво пропагандировал Вавилов. Считайте, что дело, пожалуй, всей моей жизни. В память Учителя.

В статье шла речь об открытии одного из приемов в селекции — цитоплазматической стерильности.

В семидесятые годы этот славный, неунывающий человек все чаще болел, но и в дни нездоровья работы не оставлял. Вместе с Галеевым, с Нормовым, с помощью образованного, энергичного Рядчикова ему удалось создать, используя в качестве доноров мутанты «опейк» и «флоури», формы кукурузы с повышенной белковой зерна. Дело такое, что можно назвать переворотом в селекции: в качестве корма белковая кукуруза понемногу приближалась к корму идеальному, сбалансированному. Пусть не сразу, но путь к такому корму наконец найден.

— Белковая проблема сложна,— говорил Хаджинов.— Ген белковости, к сожалению, прочно связан с геном низкой продуктивности. А нам нужна кукуруза и высокобелковая, и урожайная.

Осенью 1971 года, когда в Саратове торжественно открывали памятник Николаю Ивановичу Вавилову, я все время оглядывался, надеясь отыскать в толпе Михаила Ивановича. Не нашел. Уж раз не мог приехать почтить память своего Учителя, значит, серьезно болен.

Прошло какое-то время, и я увидел в газетах некролог...

Василий Степанович Пустовойт, друг Лукъяненко и Хаджинова, украинский селянин, кооперативный агроном в станице области Войска Кубанского, потом в сельскохозяйственной школе «Круглик» под Екатеринодаром...

Таков очень скромный путь человека, который проявил величайшую заинтересованность в подсолнечнике и занялся сперва его изучением, а потом и селекцией. Он одним из первых в нашей стране «углядел» в подсолнечнике большие способности создавать семянки с высоким содержанием масла. И занялся этим благородным окультуриванием, посвятив работе всю свою жизнь.

Человек привлекательной внешности, общительный, веселый по натуре, Василий Степанович просто удивлял всех своей работоспособностью. Каждый день, с утра до ночи! И так полвека, если не больше. Только с подсолнечником.

Уже будучи академиком ВАСХНИЛ, лауреатом Ленинской и Государственной премий, где-то к семидесяти годам Пустовойт получил поистине всемирную известность своими двадцатью сортами масличного подсолнечника с урожайностью в 30—35 центнеров с гектара. Семянки его сортов имели сперва 50—52 процента масла, а потом и 58! Гектар лучших сортов давал почти две тонны масла, ароматного, замечательного по вкусу. Вместе с Л. А. Ждановым из Ростова-на-Дону, Е. М. Плачек из Саратова и Б. К. Енкен из Харькова Пустовойт обеспечил нашу страну хорошим продовольственным маслом, которое уже много десятилетий можно купить в любом магазине.

Сорта 8931, 1646, Передовик, Смена — вот верхние ступеньки полувекового труда селекционера. Эти растения на поле почти не похожи на первоначальные, у них корзинка до 35—40 сантиметров в диаметре, крупные и наполненные семена, мощный облиственный стебель. Это детище усложненной гибридизации культурных и диких форм подсолнечника.

Пустовойт прожил хорошую жизнь, принес людям много добра. Памятник дважды Герою Социалистического Труда — бюст человека с бритой головой и твердо сжатыми губами — стоит ныне на усадьбе Института им. Пустовойта, на бывшем Круглике...

На пшеничном поле сказал свое веское слово Василий Николаевич Ремесло, украинский селекционер, чьи сорта надолго пережили его самого.

Славу и почести, связанные с созданием так называемых мионовских синтетических пшениц современного класса, занимавших ни много ни мало десятую часть всех пшеничных полей на земном шаре, пшениц с урожайностью в лучших хозяйствах до 90—109 центнеров с гектара — эти заслуженные почести Василий Николаевич воспринимал довольно спокойно. Две Звезды Героя Социалистического Труда, ордена, избрание в действи-

тельные члены Академии наук СССР, почетная Ленинская премия только повышали его нетерпение, его постоянную жажду к ежедневному труду для одного дела: получать злаки высочайшего класса, продвинуть их как можно шире от Украины, во все концы черноземных областей. Именно здесь устойчивые к холодам озимые формы могли давать на гектаре хорошей земли вдвое больше зерна, чем все другие сорта, тем более яровые.

Рожденные немереными трудами творческого поиска, при участии почти двух десятков известных и полудиких форм и сортов пшеницы, здешние Мироновская-808 и Мироновская-Юбилейная взяли от каждого родителя только один какой-нибудь полезный признак, освободившись от всего прочего, заурядного. И долго конкурировали с шедеврами мировой селекции. Мироновские озимые дают высокие урожаи в нормальные годы до широты Владимира и Йошкар-Олы, от Дуная на западе и до Иртыша на востоке. А Мироновские яровые, над которыми продолжают работу селекционеры уже без своего шефа, обещают новый урожайный злак экстра-класса.

Поговорив о селекционерах хлебного края — Украины, непременно надо сказать и о другом человеке из когорты славных, о знаменитом «ячменнике» Прокофии Фомиче Гаркавом, человеке, оставившем след в памяти людей как крестьянский самородок.

Седой — нет, лучше сказать — белоголовый, несколько сутуловатый, как все старики высокого роста, с лицом мудрым и светлоглазым, с румянцем на щеках, он в полной мере обладал той смышленостью речи и точным юморком, который так свойствен украинцам, потомкам запорожцев.

С ним легко работать сотрудникам. Уравновешенный и всезнающий, Гаркавый мог постоять за свои идеалы.

— Ячмень, — говорил он, — природой созданный злак для корма скотине. Это мы уже потом, много позже, отобрали двухрядную форму для варки пива. А вообще-то злак для откорма мясного стада, в зерне его прекрасно сбалансированы белки и углеводы, белка почти в полтора раза больше, чем в пшенице, особенно на богатых почвах и в сухом климате Причерноморья. К сожалению, мы не учитываем при планировании эту природную статью ячменей. Давайте еще раз критически посмотримся. Все знаем, что почти две трети получаемого зерна идет на корм скотине. Так? Только трети нам хватает на булки и паляницы. Одна ж осянковая! Вот и сыплет в кормушки бычкам безбелковую пшеницу, затрачиваем на кило привеса 4—5 кило зерна. Ну разве допустимо такое расточительство? Разве не очевидно здесь только погоня за «валом» в ущерб самим себе?

Эту мысль он высказал глуховатым, но сильным голосом с трибуны ежегодного собрания академиков ВАСХНИЛ. И добавил:

— Вот вам пример с Данией, страной молока и мяса. Так вот, датчане ежегодно получают 5—7 миллионов тонн ячменя и мень-

ше одного миллиона тонн пшеницы. Только умелым подбором культур маленькая страна удваивает ежегодные сборы растительного белка. А мы сколько же лет, дай бог памяти, толкуем о дефиците лизина, а ячменей высеваем по-прежнему мало. У нас в Одессе комбикормовый завод загоняет в свою продукцию пятьдесят процентов пшеницы и только десять процентов ячменя. А какие вокруг Одессы и по Черноморью ячмени стоят!.. Что я хочу, коллеги? Ячменя в стране надо сеять не 30—40 миллионов гектаров, как сейчас, а все 70—75, удвоить площадь за счет сокращения площади мягких пшениц, благо у нас есть десяток — другой приличных сортов ячменя с урожаем не меньше пшеничного. Зачем эти планы для «вала»? Мы постарели, а все нерасчетливы...

Сказано это было до Агропрома. К дельному совету нелишне прислушаться и сегодня.

Добавим, что Прокофий Фомич награжден Золотой Звездой Героя Социалистического Труда, у него медали Ленинской и Государственной премий, он — академик ВАСХНИЛ.

За полвека труда на селекционной ниве этот мудрый ученый создал среди прочих и такие выдающиеся ячмени, как засухоустойчивые Южный, Одесский-36, Одесский-82 с биологическим потенциалом в 60—65 центнеров зерна с гектара; наконец, Нутанс-518 для лесостепи, «Дружбу» для более влажных районов страны, который в Нечерноземье дает по 70 центнеров, а в Чехословакии и по 92! Вот это «Дружба»! Последние его сорта Одесский-100 и Первенец имеют в зерне 14 процентов белка против 10—12 в пшенице.

3

Целеустремленность, азарт творческого труда был присущ и Валентине Николаевне Мамонтовой.

Вспоминаю, что из ее рук (вместе с Л. Г. Ильиной) вышли одиннадцать сортов урожайных сильных пшениц с высокой белковостью, они и сегодня занимают в стране почти половину площади всех яровых пшениц. И дают в удачный год и на хорошей земле по 40—45 центнеров зерна.

Из этого зерна получается превосходная мука для макарон и пышных саратовских калачей. Вот какую оценку дала сорту Саратовская-29 английская лаборатория Кент-Джойса: «Эта краснозерная яровая пшеница заметно сильнее, чем большинство лучших пшениц Манитобы (Канада), она может улучшить большое количество мягкой слабой пшеницы. Превосходный сильный образец, совершенно выдающийся».

Работа Валентины Николаевны Мамонтовой была отмечена Золотой Звездой Героя Социалистического Труда, Ленинской премией и ученой степенью доктора сельскохозяйственных наук.

В ряду выдающихся селекционеров стоит и Иван Григорьевич Калининко из Зеленоградского селекционного центра в Ростовской области, человек очень скромный, сдержанный и работающий,

который сам нигде и никогда не говорит о своей работе, тем более об успехах на этой ниве. Он не без основания считает, что полным голосом о себе заявляют только сорта на широком поле.

Станичный агроном-полевод прекрасно знает степь с ее отчаянно сухим летом и с холодной ветреной зимой, часто почти без снега. Вот к этим условиям он и пытается подогнать свои новые сорта. И одновременно, насколько это возможно, изменить среду обитания пшениц на ростовских полях, которые тоже надо и улучшить, и защищать от экстремального климата.

Сегодня Калининко — выдающийся селекционер. Он вывел несколько стойких тургидных пшениц — Зерноградку-2, Донскую-остистую, Северодонскую, наконец, Донскую-полукарликовую с биологическим потенциалом в 60 центнеров с гектара. Все эти сорта оказались более выносливыми в бесснежные лютые зимы на открытых пространствах.

...И об Алексее Васильевиче Наволоцком нужно вспомнить, он пришел в селекционную науку после многолетней агрономической работы в поле — пришел не куда-нибудь, а на опытную станцию в Суйде, где бережно сохраняются до сих пор традиции создателя этой станции и всего селекционного дела Николая Ивановича Вавилова.

Уже в почтенных годах Наволоцкий вывел ряд хороших сортов яровых пшениц и удивил мир селекционеров и агрономов новым, из ряда выходящим сортом с названием Ленинградка. Детище Северо-Западного селекционного центра, эта пшеница имеет урожайность до 66 центнеров с гектара и приспособлена для влажного, холодноватого Северо-Запада страны с коротким летом и быстрой осенью.

Сорт за одно пятилетие сумел «завоевать» поля Эстонии, Латвии и Белоруссии, озерного края России и занимает сегодня сотни тысяч гектаров песчаных, подзолистых и лесных почв.

4

Вспоминая образы наших ведущих селекционеров, типические для каждого из них черты характера, поведения, «рабочий почерк», наконец, можно отметить, что у всех у них было что-то очень сходное, родственное, как у братьев в одной семье.

Это прежде всего широта агрономических взглядов и мышления, присущая великому множеству русских земледельцев и ученых, так или иначе связанных с землей. И какая-то особенная осмотрительность в действиях, неторопливость в поступках и выводах, когда, прежде чем отрезать, человек семь раз отмеривает. Черта исконно крестьянская, на первый взгляд, вроде бы противоречащая быстрому уму и азартной деятельности, даже исключая ловкость и скорость как рабочие признаки. Но это противоречие кажущееся, не больше.

Наш вдумчивый крестьянин-земледелец, особенно житель Русской равнины, долгое тысячелетие при любых обстоятельст-

вах кормил себя и страну, получал хлеб и все другое в окружении очень изменчивых и даже скупых сил природы.

Русский сказочник и философ Александр Николаевич Афанасьев в своем прекрасном произведении «Поэтические воззрения славян на природу» пишет:

«Природа являлась то нежной матерью, готовой вскормить земных обитателей своею грудью, то злой мачехой, которая вместо хлеба подает твердый камень, и в любых случаях всеильною властительницею, требующей полного и безотчетного подчинения... На раннем утре своего доисторического существования пра-народ... любил природу и боялся ее с детским простодушием и с напряженным вниманием следил за ее знаменами, от которых зависели и которыми определялись его житейские нужды. В ней находил он живое существо, всегда готовое отозваться и на скорбь и на веселье. Сам не сознавая того, он был поэтом; жадно вглядывался в картины обновляющегося весной мира, с трепетом ожидал восхода солнца и долго засматривался на блестящие краски утренней и вечерней зари, на небо, покрытое грозowymi тучами, на старые девственные леса, на поля, красующиеся цветами и зеленью».

Это поэтическое воззрение на природу дошло и до наших дней. Отсюда и то внимание, с которым земледельцы соотносят свои дела на поле с погодными условиями, с признаками завтрашнего дня и приметами дней будущих.

Умудренные опытом жизни, старые селекционеры знали, что ни одна ошибка людей природой не прощается. Взвзявшись за переделку растений, они обретали еще большую осторожность, старались не нарушить при этом природных законов, всякое небрежение к которым оборачивается бедой, бесхлебьем, бескормицей, откуда бы эти нарушения ни пришли, от неразумения или от общественных неурядиц.

Мы все — дети природы. И относиться к ней при всех обстоятельствах нужно так же, как к матери.

Вечный закон...

Свежему человеку могло показаться, что большой, грузный и замкнутый Лукьяненко расхаживал по дорожке — руки назад — среди делянок пшеницы просто удовольствия ради, отдыхал. Отнюдь! Это как раз самые труднейшие часы мыслительной работы, не переложимой на машину, пусть и будет она самой современной в мире ЭВМ.

Образ Лукьяненко неотделим от русского поля. Через эту нерасторжимую связь лучше осознается наш отечественный, реальный селекционер, ближе всех стоящий к растению, когда ему просто-напросто бывает нужно остаться один на один с живыми, но — увы! — молчаливыми зелеными нашими кормильцами. Они не ответят ни на один вопрос. Они молчат. А человек и в молчании этом ищет и находит ответ, узнает, как им живется, когда и как возникают у них кризисные состояния, почему получается вот так, а не иначе...

И не только о будущих своих сортах приходилось думать селекционерам — самым глубоким знатокам земледелия в самой большой и сложной по климату земледельческой стране мира — в СССР.

Они прекрасно понимали, что их искусство — создание высокоурожайного колоса — лишь половина пути к общему успеху в хлебопашестве, в обеспечении общества продовольствием. Вторая половина дела — это одновременное улучшение среды обитания, прежде всего пашни, которая может и вскормить наилучший колос, а может и обречь на хилое существование самый высокоурожайный сорт.

И сорт, и пашня должны быть достойны друг друга. В этом залог успеха! Чем выше биологический потенциал нового сорта, тем требовательней он к почвенному плодородию, под которым мы понимаем достаток пищи и воды для растений, а также благоприятные погодные условия.

Проблема плодородия на землях, где произрастает хлебная нива, беспокоила и — смею заверить! — продолжает беспокоить Ивана Григорьевича Калининко, чьи отличные сорта не всегда и далеко не ежегодно приносят высокий урожай. Голые, без лесной и стерневой защиты ростовские и ставропольские степи; севообороты без достаточного количества чистых паров и многолетних трав; нередкие особенно суровые зимы, когда ветер сдувает весь снег с полей в овраги и оставляет молодое озимое растение с глазу на глаз с тридцатиградусным морозом, — все это приводит к беде, к неурожаю. Самые лучшие сорта не выдерживают такого испытания холодом и вымерзают. Тогда селекционеру приходится говорить, писать, думать уже не столько о возможностях нового задуманного сорта, сколько о работе земледельца, агронома, которые, отступив от проверенной агротехники, ничем не помогают хлебным злакам выжить и обернуться высоким урожаем в самые тяжелые годы.

Результат таких вот «ножниц», разобщенности в земледелии, когда селекция зерновых явно опережает во многих регионах работу над улучшением пашни и вообще среды обитания, в какой-то мере сводит успех отечественной селекции до минимума. Конечно, и урожайность полей прирастает крайне медленно, судорожными скачками и находится в прямой и полной зависимости от погодных условий: хорошая снежная зима, майские дожди — вот и вырастает добрый хлеб; бесснежие и морозы в степи, летняя сушь — и урожай падает до самого минимального. Тогда пересев и убытки. Тогда всеобщее уныние и закупка зерна за рубежом.

Не лишне вспомнить, заглянув в статистические отчеты, о предыдущих урожаях. В конце сороковых — начале пятидесятых годов средняя урожайность зерновых в СССР колебалась где-то в пределах 8—12 центнеров с гектара, а закупки зерна государством оставались в пределах 40—60 миллионов тонн. Дальше сборы несколько поднялись, в 1966—1970 гг. мы получали в среднем

за год 167 миллионов тонн, в 1971—1975 гг. — 181 миллион тонн, в 1976—1980 гг. — 205 миллионов. И только в 1986 году сумели собрать 220 миллионов тонн, не дотянув до намеченного плана 10—15 миллионов тонн.

Слишком много областей и краев, где и условия климата приличные, и земля от природы неплохая, вот уже пять или шесть пятилетий все еще «борются» за стопудовый урожай и 16 центнеров с гектара считают за удачу. А воронежцы, орловцы, куряне нередко довольствуются и 8—10 центнерами с гектара. И это — на черноземах!

А ведь нас сегодня уже почти 280 миллионов человек, вдвое больше, чем в первые годы советской власти. Потребность в хлебе быстро растет, так быстро, что только средняя урожайность по стране в 20—25 центнеров зерна с гектара может полностью удовлетворить зерном и общество, и скотоводство.

При всем при этом можно уверенно заявить, что хорошие сорта для большинства районов страны у нас имеются. И для южных степей, и для Нечерноземья, даже для Сибири. Хороших пашен мало.

Снова и снова крестьяне и ученые обращаются к проверенным временем способам улучшения кормящей нас земли. Быстро растет интерес к родоначальнику отечественного почвоведения Василию Васильевичу Докучаеву, особенно к его труду «Наши степи прежде и теперь», к его продолжателям в науке и практике, к испытанным еще в тридцатых годах способам послонной обработки пашни, к многолетним травам, к органическим удобрениям, защите пашен от эрозии и бесхозяйственности, к полезащитному лесоразведению — в сущности, к настоящей, а не показной мелиорации (улучшению), которая как-то очень уж резко превратилась у нас в мелиорацию только водную, инженерную, вольно или невольно повторив — в новой ипостаси — лысенковщину, резкий отход от настоящей науки, связанной с многолетней практикой земледельческого труда.

В этих суетных хлопотах о «великих проектах» мы совсем забыли, что на Русской равнине у нас осталась незавершенной большая и нужная работа по защите пашни от неблагоприятных условий засушливых сезонов, которые все чаще и пагубней обрушиваются на страну: по данным академика В. Н. Виноградова в восемнадцатом веке было десять засушливых годов, а в девятнадцатом уже восемнадцать. Нынешнее столетие еще не кончилось, а мы можем записать, что было уже 23 засушливых года. Сравнение, как видим, во времени тревожное.

Один из самых надежных способов защиты от знойных ветров на нашем юге с черноземами — лесные полосы. Мы сажали их еще в сороковых годах, но допустили поспешность, ошибки и оставили работу на полдороге. В стране нужно посадить по крайней мере 12 миллионов гектаров лесополос, а имеем сегодня чуть больше двух миллионов гектаров. Незащищенность полей от ветров и водной эрозии привела к потере более шести миллионов

гектаров черноземов. Воронежская область, кажется, возглавляет растратчиков пашни — из трех миллионов гектаров пашни здесь под оврагами 458 тысяч...

И здесь же, в этой области, — столетней давности оазис, созданный при участии В. В. Докучаева, — хозяйство «Каменная степь», окруженное прекрасными лесополосами, с прудами в балках, с дерниной на полях. И с урожаями зерна в два-три раза большими, чем по области. В 1984 году при сильной засухе здесь получили по 23—27 центнеров зерна с гектара, а по области 7,4 центнера... Лесозащита позволяет использовать для урожая почти весь снеговой и дождевой приход воды, на четверть больше, чем на голых полях.

Мы позабыли страстный призыв Д. И. Менделеева, который писал после засухи 1891 года:

«Недостаток лесов очень силен именно там, на русском поле (губернии Астраханская, Екатеринославская, Херсонская), где польза от разведения была бы особенно ясно ощутительною... Вопрос засадки лесом южных степей принадлежит к разрешимым задачам... И я думаю, что работа в этом направлении настолько важна для будущего России, что считаю ее однозначною с защитой государства».

Леса должны работать на урожаи. Так было в глубокой древности, когда степи, защищенные дубравами и перелесками, покрытые высокими травами, перерезанные по всем направлениям балками с водой, накапливали гумус, создавая бесценного качества черноземную почву до двух метров глубиной. Так должно быть и сегодня, когда наметился и продолжается с пугающим ускорением процесс истощения гумуса, уплотнения его обработками, что ведет к замиранию в почве биологических процессов и, в конечном счете, к утрате плодородия...

5

Если не быть благодарным земле, отказаться от заботы о ней и посчитать себя законным нахлебником этой доброй матери, то недолго оказаться в тупике, в безвыходном положении — без хлеба и других благ, к которым мы так давно привыкли.

Высказанная Василием Робертовичем Вильямсом мысль о мастерстве использования солнечной энергии для создания благ общества — мы эту мысль вынесли эпиграфом к очерку, — как раз и напоминает каждому человеку о его нравственном долге хранить и пестовать мать-кормилицу — пашню, посредством которой солнечная энергия является к нам разнообразнейшей пищей, одеждой, всеми благами жизни.

Бессистемная эксплуатация пашни приводит к ее разрушению как живого вещества с очень тонкой и ранимой структурой, к нарушению обмена веществ и потере гумуса — этого живого начала почвы. В результате на больших площадях пашни в стране количество гумуса упало на 40—50 процентов, а в Нечерноземной зоне появились хозяйства и даже районы, где гумуса в пахот-

ном слое почти нет. В районах Костромской, Ярославской, Смоленской, Калининской, Владимирской областей гумуса от 1,4 до 2,7 процента — на грани полного исчезновения.

По стране за неполный век исчезло до 40 процентов гумуса! И главная причина — недооценка органических удобрений, подмена навоза минеральными туками, причина тем более опасная, что туки плохо усваиваются корнями растений, если недостает органического начала.

Длительные исследования дали профессору В. А. Ковде основание заявить:

«Черноземы потеряли запасы гумуса примерно вдвое по сравнению с тем, что было сто лет назад, во времена В. В. Докучаева. Они утратили рыхлую физическую структуру, превратились во многих случаях или в пылевидную массу или, что еще чаще и хуже, в цементированную, малопроницаемую для воздуха, воды и корней».

Каждое растение всем своим видом, статью, продуктивностью, в частности, облиственностью и развитием корневой системы, иначе говоря, способностью использовать бесконечную энергию солнца для создания органического вещества, непременно отражает состояние почвы, на которой оно произрастает.

Почва не просто индикатор растительности. Она, если можно так выразиться, одно биологическое тело с земным растением. Пестуя, давая водные растворы питательных веществ корням растений, почва сама живет и развивается за счет растения. Живое органическое вещество в ней создается при помощи зеленого листа, в конце жизни ложится на почву, отмирает, превращается в перегной и пополняет — опять же органической субстанцией — верхний слой земли, называемый плодородной почвой.

Вечный и поистине великий, бесценный для планеты процесс прежде всех и полнее всех описал в своих трудах выдающийся русский ученый Владимир Иванович Вернадский, создатель учения о биосфере и ноосфере, где в качестве преобразователя энергии назван и человеческий разум.

Человек способен ускорить создание живой, плодородной пленки — почвы на планете. К сожалению, он может сделать и обратное — истощить почву... Он может, как мы видим на примере с селекцией, создавать растения, способные использовать больше солнечной энергии для создания на каждом метре земли наивысшего количества органического вещества. Он способен много лучше, рачительней использовать запасы воды в тех районах, где ее мало, даже устраивать биологически разумные биоценозы — с лесами, лугами, реками и пашней всю красоту земную, которую мы ценим больше и больше.

Селекция, о которой шла речь, является только частью разумного отношения человека к среде обитания. Она неотделима от почвы и ее состояния. Она приносит пользу своими могучими сортами только при условии, что есть адекватные, тоже могучие плодородием пашни и луга — на черноземах, богатых лёссах,

пойменных местах. Любая форма хлебного злака, подсолнечника, свеклы, картофеля, кормовой травы создает полноценный продукт не сама по себе, а только в единстве с кормящей его почвой, солнцем, водой — со средой обитания.

«Всякий раз, когда нарушается взаимозависимость между растениями и средой его обитания, тотчас падает продуктивность растения. На самой хорошей пашне плохой сорт лишь слегка повысит урожайность, а то и просто не созреет или изнежится в непривычных для него условиях. Точно так же на худой земле самый отличный сорт уроdit плохо — гораздо хуже, чем местные слабые сорта. Все новые и новые урожайные сорта отличаются от старых повышенной требовательностью к условиям возделывания. Они выносят из почвы больше питательных веществ, расходуют больше воды. Если почва не имеет столько воды и пищи, достаточно интенсивные сорта страдают сильнее и недобирают в урожае больше».

Это мысль известного селекционера, члена-корреспондента ВАСХНИЛ Э. Д. Неттевича.

Теперь читатель осведомлен: в последние два десятилетия селекционеры страны поработали с хорошей отдачей. Почти для каждого региона великой нашей Родины подобраны формы злаков и других растений, дающие наибольший урожай. К сожалению, за эти же годы плодородие пашни не прирастало.

И еще одна мысль особенно привлекает внимание земледельцев и ученых: «Обеспечить рациональное использование земель, защиту их от ветровой и водной эрозии, селей, оползней, подтопления, заболачивания, иссушения и засоления. Усилить работу по улучшению сохранности сельскохозяйственных угодий, созданию полезащитных лесных полос. Рекультивировать около 660 тысяч гектаров земель. Постоянно расширять применение безопасных для человека и животного мира методов защиты сельскохозяйственных культур и леса от вредителей и болезней».

Здесь, наверное, будет уместно вспомнить высказывание К. Маркса о том, что «люди, пользующиеся землей, как добрые отцы семейств, должны оставить ее улучшенной последующим поколениям».

Теперь можно себе представить, с какой надеждой и благодарностью земледельцы страны восприняли Постановление XXVII съезда КПСС «Об основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года». В этом Постановлении мы находим обнадеживающие слова: «Продолжить последовательное освоение научно обоснованных систем ведения хозяйства, расширить применение почвозащитных методов обработки земли и проведение противоэрозийных мероприятий. Значительно повысить продуктивность и устойчивость земледелия, осуществить в этих целях комплекс мер по увеличению плодородия почв, введению интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур».

Такая вот задача. И реальность, с которой надо считаться.

Хорошо, что прозрение все-таки наступает и мы наконец можем убедиться, как неразрывно все взаимосвязано! «Коррекция плана» удивительным образом сразу же допускает и «коррекцию души», дефицит идет рука об руку со взяточничеством; низкое качество товаров провоцирует рецидивы космополитизма, хоть и бытового, но основательного; малейшее приглушение гласности порождает фантастические мещанские слухи, далеко не безболезненные для общества; ненаказуемость «вышестоящих» создает тромб в общей цепи демократии. И вот уже поощряется подхалимаж, не замечается чванство, нормой становится неискренность... Хорошо, что мы ясно видим это сегодня, вслух говорим об этом, хорошо, что именно общественное мнение с хирургической бескомпромиссностью вскрывает комплекс этих взаимосвязей: их корни и плоды одновременно. Вот почему мы на нынешней, ответственной дистанции времени сосредоточиваем внимание на тех явлениях, о которых раньше и подумать-то было грехом, считалось «ходьбой не в ногу».

Говоря сегодня о том многом, что особенно угнетало наше общество последние два-три десятка лет, мы справедливо во главу угла ставим губительные болезни духа: подхалимство, равнодушие, корыстолюбие, лицемерие. Мне же сегодня хочется поговорить о лести. Почему о лести? Потому что, когда кажется, что все уже позади — проверка бедой, славой, властью, достатком, когда вы с честью прошли все это и можете расслабиться, — не расслабляйтесь! Ибо тут вас подстережет, возможно, самое главное и коварное искушение: испытание лестью.

Был у меня знакомый, секретарь сельского райкома партии, молодой, общительный, на эту должность поднялся легко, без нервного ожидания, без имитации «бурной деятельности», без шепотков завистников — даже районных анонимщиков-профессионалов не воодушевил на очередную главу из серии: «Мы, группа честных труженников...»

Умел он на первых порах лукаво иронизировать над собой и другим позволяя «пошерстить функционера». В окружении его были люди прямые, в большинстве — бескорыстные и демократичные. Мне казалось, что он дорожил этой атмосферой веселой искренности и естественности отношений.

Но нашелся среди них один «доброжелатель», который из сугубо личных, закулисных соображений решил поссорить его с

председателем райисполкома. Он терпеливо выжидал момент, искал щель, уязвимое место в душе секретаря. И нащупал его: понял, что при всей простоте и демократичности секретарю очень важно, что о нем говорят. Остальное уже было делом минутным: подловил мгновение — и наклеузначил ему что-то гнусное... Впоследствии уже никто не смог выяснить, что именно. Что могло так больно задеть молодого секретаря? Так или иначе, но они поссорились — двое умных, честных и очень нужных району людей.

Друзья секретаря уговаривали его: брось, переступи через ложь, не верь наушнику, не теряй благородства. Приходил объясняться, почуяв навет, и сам председатель. Еще можно было остановить ссору, разобраться, но кто-то очень искусно подогревал ситуацию, кто-то очень уверенно дергал за ниточку, превращая сильного духовно человека в послушную марионетку. И секретаря уже слепила злость, он уже искал малейшую причину, чтобы показать власть, свести счеты.

Вот тогда бы первому остановить эту набухающую событиями историю, но то ли не придавал он ей серьезного значения, то ли взял сторону секретаря — так или иначе, но не вмешался. И события пошли заданным ходом. Уставшие от уговоров, от вдруг обнаруженной явной непорядочности, слепой ненависти, покидали секретаря истинные друзья — и не просто покидали, открыто сочувствовали и симпатизировали председателю: тот вел себя достойно.

А секретарь начал окружать себя льстецами, откровенными подхалимами, даже скомпрометировавшими себя бывшими «начальниками», оказавшимися на обочине, теми, которых сам недавно вместе с председателем увольнял за устаревший стиль работы с людьми. Не любили они его, конечно, скорее — ненавидели, но в этой истории поддерживали, заискивали, толкали в нужную для себя сторону. Лесть ломала человека на глазах, заставляла платить — поддержкой, выдвижением на посты, превеличенной похвалой на совещаниях.

У него заболел сын, и особо «преданные» расчетливо, демонстративно простаивали у больницы с шоколадкой, игрушкой или пепси-колой...

То, что его снимут, становилось очевидным, но он не дожид до этого времени. Внезапная смерть от инфаркта избавила его от позора. Но жизнь, которая, как известно, любит логику, довела сюжет до конца.

Почти год после смерти секретаря кто-то методично, с агрессивным напором слал анонимки. Грязные, мелочные, пропитанные каким-то затаенным мстительным чувством, полные подробностей, о которых могли знать только люди близкого круга, они упорно чернили покойного. Дескать, «посылал подчиненных дежурить у палаты больного сына», «душевно травмировал заслуженные кадры», «мешал работать райисполкому»...

Председатель райисполкома не находил себе места: а вдруг

заподозрят его? Было в анонимках многое, что давало повод так думать. Тогда один из бывших друзей секретаря, прокурор, решил положить конец этой тяжелой истории. Он начал расследование и выяснил, кто сочинял письма. Да, это был один из льстецов, преданно носивший шоколадки в больницу, обиженный тем, что его вначале турнули с прибыльного места, а потом, стараниями секретаря, назначили на менее авторитетную должность.

Пока был жив секретарь — жила и надежда на то, что усилия не напрасны, что унижение — неизбежное унижение ищущего чужих милостей человека — окупится, но тот ушел из жизни, не расплатившись до конца, и развязал в льстеце загнанные в подполье чувства: злость, подлость, мстительность. Неизбежную ненависть к тому, перед кем забывал о своем достоинстве.

Недавно в редакцию украинского литературного журнала «Вітчизна», где я работаю, пришел увесистый пакет из областного центра. Ворох стихов и письмо. Вы думаете, просьба опубликовать стихи? Нет, это было бы слишком на поверхности. «Не надо их печатать, даже если они понравятся вам! Это может вызвать волну недовольства среди местных перед моим приемом в союз. Только прочитайте, для меня это будет огромная радость, что вы (далее ах какие эпитеты каждому члену редколлегии — дух захватывает! — *В. Я.*) их читали, что знаете меня».

А вот и суть: «Я уверен, что меня там, в столице, провалят на приеме в союз, там некому сказать обо мне доброе слово. Ну и пусть! Я все равно буду радоваться, что обо мне говорили и что вы знаете меня...»

Лирика? Нет — математика. Простейшая, но все же. Да ну, подумает кто-то, стоит ли придавать такое значение письму человека, который просит поддержки? Решается его судьба, вот и бросился очертя голову. Сказать прямо не отважился, присахарил лезть. Зачем же ставить этот случай в один ряд с предыдущим, тем более что он, как говорится, из литературного быта, из того самого, в котором вот это письмо Тургенева из Парижа к Льву Толстому звучит с нежной естественностью: «Вы в моде — пуще кринолина. Сообщаю Вам это, потому, что ни говори — есть там где-то в сердце пупырушек, который такие похвалы (да и всякие) приятно щекочат. И пусть щекочат — на здоровье!»

Если бы этим эпизод с письмом из глубинки исчерпался — не стоило бы, конечно. Но...

Вскоре из города, откуда было получено письмо, приехал и зашел к нам в редакцию талантливый писатель, добрый, порядочный человек, и я спросил его об имярек. Он долго молчал, словно выходя из болевого приступа, а потом рассказал: да, знает он его, он ему и рекомендацию в союз дал, пообещал как-то, а тот запомнил — и «дожал». Перед голосованием «абитуриент» обошел всех местных писателей по квартирам со слезой, комплиментами и набрал нужный минимум голосов. Документы пошли дальше, в Киев (на этой стадии было послано письмо нам), и тогда он всем, не голосовавшим за него, «выдал» на всю катушку.

Рекомендатель попытался усостить его и услышал: «А ты кто такой? Самое выдающееся, что ты написал, — это рекомендацию мне!»

Станный все-таки феномен: с одной стороны, имущественные корни для произрастания лести как явления мы подрезали — трудно представить себе, чтобы горожанин, живущий с семьей в коммуналке, льстил знакомому, расположившемуся в уютном, спецпроектвом доме просто потому, что сам в этом доме не живет. Или колхозника, подхалимничающего перед соседом, в отличие от него имеющим двухэтажный особняк и новенькие «Жигули». Скорее, думаю, наоборот: из чувства социального самосохранения вторые будут льстить первым. Однако, подрезав корни, мы все еще не уничтожили почву, на которой обильно плодится лесь: если котящийся в коммуналке горожанин или «одноэтажный» крестьянин «нужные люди» (милый мой Киев даже обогатил свой разговорный лексикон хлестким понятием «нужник»), если через них можно что-то достать, выколотить, приобрести в обход других — именно им будут льстить. Не потому ли профессор, делающий сложнейшие операции, заискивает перед директором станции автотехобслуживания, когда у него нет нужной железки? Не потому ли в нашей сегодняшней жизни лесник (у него не все дубы сосчитаны), кладовщик (выписать можно, а вот получить...), врач (у него больничные листки), милиционер (а вдруг встретит, когда будешь идти со свадьбы?) чаще видят заискивающие улыбочки, глубокие поклоны и демонстративную преданность, чем, скажем, издерганные, замученные чадами этих «нужных людей» учителя или воспитательницы детского садика?

Представляю, сколько поучительных, леденящих душу историй могли бы рассказать те, кто слишком поздно понял, что руководящее кресло обладает «эффетом катапульты», о внезапных превращениях даже самых преданных льстецов и подхалимов в злобных зоиллов.

Помню рассказ одного начальника из Хмельницкой области. Бывшего, конечно. Случилось так, что, сняв его, в тот же день назначили другого. Уволенный освобождал стол от личных вещей, новый уже проводил совещание. Вещичек у бывшего собралось достаточно, и он привычно позвал через окно своего шофера помочь и отвезти его домой. Гришка подбоченясь курил у машины и сделал вид, что не расслышал. Когда его позвали вторично, ответил:

— Я уже вожу Ивана Степаныча... Спросите, если он разрешит...

Бывший рассказывал мне это через много месяцев после случившегося, но гнев его все еще был горяч, глубок и искренен:

— И это тот самый Гришка, который извинялся за каждую колдобину на плохой дороге, готов был завязать шнурок на моей туфле! Разве же я мог подумать...

Мог. И даже обязан был подумать, почему Гришка холуйство-

вал, унижался. От любви ли готов был ощущать себя денщиком, таким лакеем за государственный счет, или потому, что холуйство было прибыльно? Да и у кого научился раболепству этот деревенский парень, пришедший из армии? Не у своего ли «шефа», наблюдая его отношения с теми, кто стоял повыше? За что же так гневаться на Гришку? Что сотворил — то и получил. Принимая, поощряя лезть и холуйство, унижаешь человека, унизив, становишься зависимым от него...

Иван Дмитриевич Козий, директор одного из лесхозов, попал в беду. Его служебный «уазик» врезался во встречные «Жигули». За рулем был сам Козий — опытный шофер. Водитель «Жигулей» погиб. Весть об этом мгновенно облетела лесхоз: директор убил человека, говорят, перед этим обедал с лесничим, согрелись, будут судить...

Иван Дмитриевич лежал в больнице, был раздавлен случившимся. Боли в сломанной ноге не чувствовал — болью исходила душа. Он ждал своих: зама, секретаря парторганизации (наконец подобрал себе единомышленников!). Ждал их, чтобы рассказать, как все случилось. Но те не шли.

Поздно вечером прорвался в палату... Красицкий. На груженом лесовозе примчался прямо из лесу. Тот самый Красицкий, бывший парторг лесхоза, которого Козий недолюбливал за постоянное расшатывание директорского авторитета и на чьем переизбрании в конце концов настоял в райкоме. Пришел позлорадствовать, потешиться?

Нет, узнал, что беда с Козием. Пришел, чтобы побыть рядом. Поддержать.

Пришли жена, родственники, из конторских — экономист и техничка. Но тех, кого он упорно ждал, не было.

На второй день все прояснилось: водитель «Жигулей» был пьян, не справился с машиной на скорости, вылетел на встречную полосу движения. И вот тогда появились «единомышленники». С апельсинами, цветами (словно к роженице), извинялись, что вчера еще не знали об аварии, не пришли, что уже отправили венки, деньги на похороны погибшего водителя, горячо доказывали, что Козий не виноват, что об этом уже знают в райкоме, в прокуратуре, в тресте, что Иван Дмитриевич оправдан...

Козий не слушал их, думал о своем: как только встану на ноги, извинюсь перед Красицким. Это человек! А эти...

Сначала он хотел было выгнать их из палаты, но не хватило какого-то маленького усилия. А потом втянулся, уже ждал их визитов, чтобы услышать, как он нужен лесхозу, какие беспомощные без него «соратники». И все осталось по-прежнему. Пишу я это, Иван Дмитриевич, и понимаю, как неприятно будет вам, но ведь и сегодня — придут «соратники», успокоят, усыпят лезть. Не для вас рассказываю о случившемся — для других, которые еще способны усомниться: может, не мне лично, а «креслу», положению моему адресуется лезть? Может, хватит у них мужества задать себе этот вопрос?

Лесть — оружие тех, кто лишен собственного мнения, оружие серых, но агрессивных в своих амбициях посредственностей. Они не имеют врагов, потому что обезвреживают их лестью. Но они не имеют и настоящих друзей, потому что ничего не могут принести на алтарь дружбы, кроме... лести.

О скольких несбывшихся судьбах человеческих можно было бы сказать: погублен лестью и льстецами! Но я не знаю ни одного льстеца, расплатившегося своей судьбой за лесть. Лстец всегда в выигрыше, потому что проигрыш ему не страшен: надо лишь успеть перестроиться, переключиться на новый «объект», не потерять бдительности, не увязать в чувствах, чтобы в любой момент отрезать «концы».

Скольких прекрасных писателей недосчитались мы там, на вершине правды, совести и бесстрашия, только потому, что после первого же успеха они то ли попадали в святцы, то ли бронировались должностью и критика начинала им бессовестно льстить! Может, потому наш читатель и бросается, как правило, на то, что критикуют «литэксперты». Может, потому и взорвался так Юрий Бондарев в романе «Игра» против Молочкова, что ворами занимается милиция, алкоголиками — наркологи, хулиганами, анонимщиками, клеветниками, туеядцами, взяточниками — прокуратура, общественность и т. д., а лестью, поразившей в последнее время многие сферы нашей жизни, ставшей подлинной бедой, — только искусство, да и то робко, от случая к случаю. Если скажем, что и этого достаточно, значит, мы льстим самим себе.

Почему же такой непристижной оказалась эта тема в нашей современной литературе по сравнению с литературой прошлого? Не потому ли, что бес очень уютно, по-свойски чувствует себя и в нашем литературном товариществе, в творческой жизни, что приобрел право решающего голоса? Казалось бы, где, как не в творческом союзе, быть пристанищу истинного демократизма, правды, искренности — ведь перед еще не исписанным листом бумаги все равны. Но мы, кажется, уже почти забыли о том, что авторитет писателя создают его книги и читатель, а не занимаемая должность (кстати, выборная, хотя не всегда в наилучшем варианте). Стоит посредственному литератору сесть в административное кресло, как он из «многих других» постепенно передвигается в первые ряды, и уже даже неприлично усомниться в несуществующих достоинствах его книг. Как же подорвала, размыла свой авторитет и наша критика на этих накаченных лестью, дутых величинах!

А не превратился ли сам акт творчества, это высочайшее состояние духа, в затяжные приступы лести? Перед сиюминутной, конъюнктурной, выигрышной темой, местным руководством, издателями, официозной критикой да и читателем? И самое аморальное — перед героем, состоящим на внушительной должности, который просто обречен оставаться в любых обстоятельствах суперположительным. Шутка ли: украинская сатира,

обладающая пусть немногими, но яркими и смелыми перьями, в последнее десятилетие не поднимала критической «планки» выше уровня колхозного бригадира, гуляя, как правило, вокруг подвыпившего дядьки или злой тещи. Помню, как в одном романе вычеркивалась фамилия Крикливец (очень распространенная, кстати, на юге Украины) только потому, что ее же носил один председатель райисполкома.

Да и как было не процветать этой унижительной авторской лести перед «вышестоящим» героем своего произведения, если при наличии в романе или повести персонажа, скажем, служащего в милиции или в прокуратуре, требовалась ведомственная виза, охраняющая честь мундира! Казалось: вот-вот романы о деревне будет визировать Министерство сельского хозяйства. Не потому ли такой шумный переполох произвел, пусть не во всем бесспорный, роман Павло Загребельного «Южный комфорт», «вошедший» в сферы юстиции не с привычного парадного подъезда?

Да, неприятно, но необходимо признать, что «неприкасаемые заповедники» создавали и мы, писатели, пусть не всегда по собственной инициативе, но все же — заискивая, тщательно гримируя под положительных людей, наделенных властью, возведенных в некий безгрешный клан.

А сколько привычного внимания, критического заискивания потрачено нами на темы, считавшиеся на определенном этапе престижными! Вспомним многие пленумы, совещания, «круглые столы», посвященные произведениям о рабочем классе: издатели торопливо давали «зеленую улицу» этой теме, критика суетливо придумывала достоинства. Но именно в это время сделала отчаянный рывок... «деревенская проза», которую никто не поддерживал, не пестовал. Она-то и осталась, и работает сегодня.

Да, таких вопросов к самим себе накопилось в нашей творческой жизни много. И думать о них надо каждому из нас, чтобы отыскать опорные точки перестройки и качественного обновления нашей литературы. Одна из главных точек конечно же лезть, угодничество, конъюнктурная подмена ценностей. Как же мы будем обличать, бескомпромиссно вскрывать этот общественный порок, если бес лести не только взбалтывает наши чернила, но и безнаказанно водит нашей рукой? Прислушайтесь, он уже подсказывает: есть темы более важные...

Не будем лукавить: как-то незаметно, сосредоточившись на том, каким быть человеку в нашем обществе, мы не всегда задумывались над тем, каков он есть — тот обычный человек, не освещенный прожекторами, не забивающий костыли на БАМе, не улыбающийся нам из глубин космоса. Эти — на острие времени, они олицетворяют его. А ведь на тихих, не всегда просматриваемых перекрестках, в переулках, коридорах и кабинетах тоже жизнь, люди, страсти. И жажда успеха, желание возвыситься над другими — губительное, роковое, если присуще посредственности. Посредственность может выбиться только благодаря лес-

ти, а выбившись, она начинает тормозить, придерживать, подгонять к своему шаблону, своему уровню все, чего ни коснется...

Обращали ли вы внимание, что в жизненных драмах лесья никогда не требует главной роли? Она всегда остается как бы второстепенным действующим лицом. Лесья любит эту позицию и предпочитает полумрак, вкрадчивую интимность. Ей не нужны ни трибуны, ни многолюдье — там можно напороться и на недоумение, а то и на негодование публики, выдать себя с головой. Но служа вроде бы на задворках событий, она приводит в движение, создает фактически всю драму.

Можно поймать за руку и подвести под параграф закона лжеца, вора, пьяницу, взяточника, а сегодня — и анонимщика. Лесья же ненаказуема, хотя возникла, наверное, гораздо раньше названных грехов человеческих, когда сама незаметно надела маску, очень уж похожую на живое лицо. И пошла гулять, настаивая и покоряя каждого доверчивого, порой и «самых-самых»... И тут важна разница: если за слабость «простого смертного» расплачивается, в сущности, он сам, то личные пристрастия и нравственные ориентации «самых-самых» прямо отражаются на исторической судьбе и нравственном чувстве поколения. Ибо лесья, получившая право гражданства, рука об руку идет с лицемерием, холопством, ложью. Она переворачивает все с ног на голову, и в качестве добродетелей перестают цениться благородство, честность, принципиальность. Тяжелы бывают такие времена. Но еще тяжелее то, что оставляют они после себя.

Не имею права, да и не хочу сегодня, с большой временной дистанции, бросать горький упрек поколению наших родителей за тридцатые и вторую половину сороковых годов. Драматическое, очень многослойное время им выпало. Жажда деятельности, жажда идеалов и веры была настолько мощной, что без нее сама жизнь теряла смысл и опору. Но даже учитывая это, поражаешься: почему именно в те трудные, неустроенные, голодные годы миф о сверхчеловеке, которому-де все были обязаны всем — детством, жизнью, хлебом, судьбой и даже победой в Великой Отечественной, — почему этот миф был так прочен? Так неколебим? Почему забытым на долгие годы оказался пример Ленина — великий пример поведения Человека во главе партии и государства? Почему вся страна оказалась вовлеченной в эту грандиозную, почти эпическую лесью с идеей непогрешимости, всеведения и всезнания одного человека? Лесья, в которой соревновались уже не только отдельные люди, но и коллективы, города и нации: кто громче, кто эффектнее?

Вспоминаю об этом не для того, чтобы беречь душевные раны старшего поколения, не для того, чтобы бросить камень в прошлое, ибо это прошлое — наше, по прямому наследству! Хочу лишь объяснить, что мы в последующие годы, уже при становлении сознания моего поколения и тех, кто шел после нас, пожидали и пожидаем горькие плоды того прошлого. Когда лесья не просто помогала жить, но и выжить и потому стала

нормой жизни и поведения, расшатала, отравила на долгие годы молодую еще социалистическую мораль. Ведь если лезть поддерживается, охотно принимается и культивируется, приобретает легальный статус — она мгновенно распространяется «по вертикали», а проникнув в быт — уже трудноистребима.

Вот почему в последующие десятилетия оказалось, что наше сознание уже не могло функционировать без громких заискиваний, преувеличенных эпитетов, без обязательной лести. Убежден: не было бы у нас сегодня столько очевидных экономических, гражданских и нравственных проблем, если бы в шестидесятых — семидесятых годах мы не повторили некоторых ошибок прошлого, поддавшись искушению угодничеством и лезть.

Что греха таить — не бескорыстной была эта лезть, расчетливой. Стоило, скажем, развернуть за государственный счет «восточное» гостеприимство по случаю визита высокого гостя — и вроде бы уже можно безнаказанно обманывать государство приписками, держать личные стада овец на колхозных пастбищах, выдвигать своих чад и родственников — то есть жить по своей личной «конституции», нанося мощные удары по всей нашей системе демократии.

Трудно забыть — да и рано пока! — как в угоду одному (порой очень сомнительному) мнению составлялись и до неузнаваемости корректировались государственные планы, менялась структура управления, возникали искусственные моря, создавались грандиозные проекты, возводились помпезные памятники, — как правило, торопливо, «к случаю», — навсегда уродующие облик городов. Да и сами приписки, видимое для каждого рядового человека очковтирательство, корректировка правды жизни в сторону стерильно положительных примеров — все из желания подольститься, угодить, чтобы потом, утвердившись, сорвать свой куш.

Был на Украине один идеологический работник высокого ранга. Не называю его фамилии только из этических соображений — его уже нет в живых. Работал секретарем обкома по идеологии, сняли: не нашел общего языка с творческой интеллигенцией. Ох и затаил же он злость на эту самую интеллигенцию! Отсидевшись в тени, неожиданно для всех всплыл на большую руководящую должность в республике. И тот же час... Нет, сам он не занимался черной работой — это с ходу начали делать его клеветы, лезть и подхалимы. Они стали сводить счеты с теми, кто был негоден «хозяину» прежде, а заодно — и со своими недругами. Молниеносно в издательствах были рассыпаны десятки талантливых книг, положены на полку фильмы. На много лет были отвергнуты «Собор» Гончара, «Мальвы» Иванычука, «Четыре брода» Стельмаха, наложено табу на украинский исторический роман, не увидели экрана «Криница для жаждущих» и «Пропавшая грамота». Даже подписное издание трудов украинского историка Дмитра Яворницкого было торопливо прекращено, и подписчикам без объяснений вернули деньги.

«Помощники» работали всюду, полагаясь уже на личный вкус, торопясь предупредить мнение своего покровителя. Допускаю, что о многих акциях он и не знал, не санкционировал их, но подхалимы знали, что им простят «самодеятельность» — и тем более не накажут. Пороки такого руководства стали очевидными для всех, и его наконец сняли. И первыми, кто от него отвернулся, были его вчерашние обожатели. Они торопливо заметали следы, перестраивались на новую волну. Но как подсчитать сегодня непоправимые потери в идеологии и культуре на Украине в тот почти десятилетний отрезок времени?

Ох, как живуч и коварен этот бес лести! Его стихия — культ власти, социальное неравенство, дефицит демократии и чувства собственного достоинства. Он необуздан и страшен, когда неожиданно обретает легальный статус. Потому, думая о сегодняшнем дне, о необходимости полной перестройки нашего сознания, я не могу отделаться от боязни, что самое дорогое, нужное нам — обновление — тоже может превратиться в очередную кампанию угодничества, приятных разговоров и бодрящих примеров. Ведь если рядовой труженик убоится правды и станет заискивать перед своим начальством, говоря ему всякие приятные слова, то зачем же начальству перестраиваться? Что ему перестраивать в себе, если и таков, какой есть, он устраивает подчиненных? Ну а если — представим себе — цепочка заискиваний потянется вверх и вверх? Что тогда? Чем жива будет тогда наша надежда на обновление?

Когда сегодня областная газета выносит на первую полосу заголовок «Перестройка идет полным ходом», читатель угадывает: это редактор льстит своему начальству. А почему льстит? Потому что перестройка бьет по жизненным интересам льстеца, она не оставляет ему жизненного пространства и исторической перспективы — вот он и вынужден заискивать уже перед самой перестройкой в надежде переждать, отсидеться. Восхваляет ее, чтобы парализовать, «обезвредить». Но нуждаются ли в лести высокие и святые для нас понятия? Нуждаются ли в этом суррогате чувств прекрасные идеи и люди, искренне преданные делу?

В кабинет председателя Полтавского облсовпрофа Леонида Михайловича Вернигоры робко, воровато даже вошел районный работник профсоюза. Только вчера Вернигора вернулся из района, где на бюро райкома стоял вопрос о замене «профлидера», провалившего работу. Леонид Михайлович отстоял его, считая, что необходимо дать товарищу последний шанс. И вот сегодня тот без приглашения явился с утра. Что привело его?

Оказывается, вчера не успел поблагодарить, не успел сказать Леониду Михайловичу о его доброте, чуткости к простым людям, о его личной, Вернигоры, заслуге в сокращении доли ручного труда на Полтавщине, о том, что благодаря именно ему, Вернигоре, деятельность профсоюзов в области стала очень заметной, о том, что...

Леонид Михайлович взял несколько листов бумаги, достал ручку и положил перед посетителем:

— Я могу забыть все это. Потому изложите на бумаге. Слово в слово. Пусть останется мне на память. Завтра вы будете думать обо мне иначе: вчера на бюро я ошибся в вас, вы так ничего и не поняли. Пишите. Не буду вам мешать.

Мы вышли в приемную, а вскоре из кабинета выскочил и, не прощаясь, исчез тот, кто, может быть, впервые в жизни ощутил, как безотказное доселе оружие дало осечку.

Все то доброе, крепкое, надежное, что мы отстояли в себе и помогли отстоять другим, все то, что определяет характер нашего народа в целом, не требует преувеличений, оно велико и так. И лесть ему не нужна. Нужна только правда. И горькая — тоже.

Поэтому если у вас, дорогой читатель, возникнет томящее желание сказать своему начальнику слова похвалы, которые он, может быть, еще и не заслужил, или написать восторженную, «нужную» рецензию на книгу, которую вы накануне, зевая, с трудом дочитали до конца... Или воздать хвалу достижениям, которые будут, но еще не стали, как говорится, фактом жизни... Если все это вам нашептывает какой-то непонятный, упорный «внутренний» голос — знайте: это старается он, бес лести! Не поддавайтесь ему, гоните его прочь. Это будет ваш Поступок. Честный. Может быть, и героический.

Недавно я спросил одного из ветеранов нашего колхозного движения: как вам удалось тогда сколотить коллективные хозяйства? Ведь их пришлось организовать, так сказать, из *сплошных единоличников!* А мы, сказал он, добились того, что люди нам верили. Мы не допускали никакого обмана! Я был председателем, а сам-то ведь неграмотный. Подойдет человек с просьбой: дать пять кило зерна или там лошадь — съездить на свадьбу или похороны. Разрешения, понятно, не могу в письменном виде дать, поэтому вручаю ему *насыбай шакишу* (табакерку) или *камшу* (плеть) — иди, мол, к завскладом или к конюху, получи, что нужно. И ни разу не было, чтобы человек воспользовался моим доверием, лишнее взял. А в последние годы у нас как было?..

Вот сейчас привлекают к суду материально ответственное лицо, а в это время его бывший партийный вожак, по вине или при попустительстве которого совершены преступления, сидит дома, вся грудь — в наградах за эти самые «дела», и посмеивается: как хорошо, что я ничего не подписывал!

Мы, писатели, отдаем себе отчет в том, как трудно нынешним нашим настоящим партийным руководителям вернуть былую веру народа. Трудовой коллектив — будь то завод, совхоз или колхоз — это не футбольная команда, что за проигрыш ее расформируют и создают новую. Руководители меняются, а коллектив, народ остается. И работать надо с тем же самым народом. Со всеми и с каждым. Главная задача — не дать погаснуть искоркам страстной *надежды на справедливость*, которые вспыхнули в душах наших людей после апрельского (1985) Пленума ЦК КПСС и XXVII съезда партии. Народ все видит, все знает, нужны только гласность, привычка к правде. Не должно быть ни полуправды, ни двойной правды: одной — «официальной», другой — для всех остальных.

Как ни тяжело об этом говорить, но приходится признать, что долгие годы мы, каракалпаки (да если бы только мы одни!), словно бы играли в детскую игру «поезд». Сидели на стульях, трубили в трубы и делали вид, что едем вперед. А в действительности это жизнь проносилась мимо нас, крепко увязших в собственном самодовольстве, в привычке к двоедушию, к беззастенчивой демагогии, постоянно, как ненасытный Молох, требующей вранья, оправдывающей безделье, безответственность и прямой вред государству.

«Любой ценой добиться премии!», «У нас должно быть орденосцев больше, чем у других!» «Руководитель, который не создал комфортных условий для «представительства», а точнее, для себя и «нужных» людей,— это чужак, опасный, ненадежный человек» и т. д., и т. д.— такая система представлений и оценок глубоко вьелась в умы многих руководителей и исполнителей их воли.

Эта система способствовала планомерному созданию «торгово-родовой знати» — касте неуязвимых, которым дозволено все — воровать, расхватывать жадными руками начальственные посты, кормить из государственного кармана прихлебателей-родственников, расправляться с неугодными.

Гласность, словно весеннее солнце, растопила лед молчания, и правда широким потоком хлынула на страницы журналов и газет. Но вряд ли стоит забывать, что поток этот состоит не только из свежей воды, но и из мусора и хлама, накопившихся за время зимних холодов. И вот уже приходится читать на страницах газет выступления, в которых те, кому мы тоже обязаны своими сегодняшними бедами и прорехами, с помощью современной политической терминологии, умело жонглируя словами «перестройка» и «гласность», не только защищают свои старые окопы, но и идут в наступление, снова бодро рапортуют, призывают, обещают.

А сколько было проходных выступлений, где вся смелость автора сводилась к обличению сотоварищей по писательской организации, да еще с оговоркой: я-де мог бы назвать фамилию, да не буду этого делать потому-то и потому-то, ну, словом, не желая прослыть неблагородным. Мне эта «смелость» напоминает поведение пресловутой купеческой дочери, которой хотелось «и невинность соблюсти, и капитал приобрести». Я думаю, что смелость, как и правда, как и искусство, не может быть хуже или лучше, больше или меньше. Смелость — это смелость, и дозировать ее она не подлежит.

Иногда приходится слышать: не слишком ли широко мы открыли «шлюзы» гласности? Не затопит ли это половодье ростки нового, доброго? Поэтому нужно всячески поддерживать это новое, помогать ему пробиться, еще энергичнее бить в колокола.

И не надо обольщаться: далеко не все хотят перестраиваться, лишаться власти, незаслуженных благ, незримых и зримых, бронзовых бюстов при жизни. А пока эти люди есть, никто из нас не имеет права успокаиваться.

Уже третий год наша Каракалпакия проходит «курс лечения», но, если сказать честно, позитивных изменений куда меньше, чем ожидалось. Слишком сильной оказалась инерция мышления, слишком глубоки корни зла во всех сферах нашей жизни и деятельности, и прежде всего в кадровой политике. Январский Пленум ЦК КПСС взял решительный курс на обновление кадров, выдвижение руководителей и специалистов высоких деловых и нравственных качеств. Ну а что происходит нередко на

деле? Не секрет — об этом говорилось на пятом Пленуме ЦК Компартии Узбекистана, — что должностные лица, недавно выдвинутые на руководящие посты, нередко сегодня «падают», настигнутые собственным малодостойным прошлым.

Уверен, что немало у нас руководителей, даже готовых к тому, чтобы уйти «по собственному желанию», если им гарантируют, что их преемники не станут ворошить прошлое своих предшественников, не сделают их грехи объектом внимания правоохранительных органов.

Я спрашиваю себя: почему это происходит? Думаю, во многом вина за это ложится на «второй эшелон» — «советчиков»-кадровиков, сохранивших свои позиции. Формально к ним не придерешься. Вместо освобожденных от должности высокие посты с их подачи занимают «обкатанные» кандидатуры с вроде бы чистыми анкетами. Только ведь жили-то они, а порой и живут, и мыслят по образцу своих прежних шефов. Так что победа наша подчас видимая, а не полная. Люди вчерашнего дня хорошо позаботились о своей «смене». Чтобы вместо них пришли такие же «свои», а не чужие, чтобы «выросли» до еще более ответственных, чем прежде, должностей. Сколько невосполнимых потерь на счету нашего поколения, за которые не оправдаться перед потомками! За победными реляциями мы преступно проглядели и судьбу Арала. Рядом с нами, на наших глазах гибнет единственный хранитель наших земель от наступления великих пустынь, регулятор климатического режима нашего региона.

Мне много лет приходилось заниматься историей народа. Наши предки веками кочевали по беспокойным тропам времени, искали свое счастье.

Одно из главных условий этого счастья и процветания они видели в воссоединении Каракалпакии со старшим братом — народом русским. И разве можно переоценить ту огромную роль, которую сыграл русский народ в расцвете нашей республики, ее духовном и экономическом прогрессе?

Для решения нынешних сложнейших проблем, как отмечено и на январском Пленуме ЦК КПСС, нам нужны кадры честные, не зараженные местными «домашними болезнями», инициативные и по-настоящему демократичные и справедливые независимо от национальной принадлежности. Много ли среди них русских? Выясняется, что за последнее двадцатилетие численность русского населения по отношению к численности представителей всех местных национальностей вместе взятых у нас сократилась в два с половиной раза! Это отрицательно повлияло и на подготовку квалифицированных местных кадров с глубоким знанием русского языка. Ведь каракалпак только с помощью великого русского языка может с достаточной уверенностью опираться на фундамент марксистско-ленинской теории, мировой культуры и науки.

Сейчас в нашем Каракалпакском союзе писателей единственный русский писатель, да и тому за шестьдесят. Почему

нет притока молодых, которые писали бы по-русски? Одна из причин — негде им печататься! Еще в 1981 году, выступая на областной партийной конференции, я поставил вопрос о создании у нас литературного альманаха на русском языке. Вопрос и поныне остается открытым...

Пора задуматься над тем, что накануне 70-летия Октября в нашей республике нет не только русского театра, но и русской труппы в театре, носящем имя К. С. Станиславского. Да что там — даже синхронный перевод спектаклей на русский язык отсутствует и во «взрослом» театре, и в тюзе.

Перед зданием, носящим имя великого реформатора русского театра, стоит почему-то памятник классику каракалпакской литературы Бердаху, вызывая у людей вопросы: то ли памятник не там поставили, то ли театр не тем именем назвали. Театр давно утратил свой авторитет у горожан и жителей автономной республики. Бронзовый классик нередко чуть ли не единственная фигура, которую видишь возле театра перед началом спектакля. Не помогает привлечь зрителей принудительное распределение билетов, как это практикуется в студенческой среде. Что ж, ведь есть более жесткие меры «внедрения» искусства...

Недавно после республиканской конференции женщин, состоявшейся в помещении театра, все входы и выходы перекрыли работники милиции, а гардеробщикам было велено не выдавать делегатам одежду. Чабаны, доярки, колхозницы из дальних мест рвались домой, поскольку ничего хорошего от такого насильственного акта общения с искусством не ждали. На мой вопрос, зачем это делают, ответственный товарищ ответил: *они должны посмотреть концерт*. Как говорит народ, коня можно привести на водопой, но пить воду насильно его не заставишь. Разве это метод воспитания культурой?

Тем более что программа таких концертов всякий раз напоминает мне одного моего знакомого, который с четверть века тому назад неплохо нарисовал красками свою юрту и с тех пор показывает этот рисунок на каждом сходе жителей улицы... Новый гость ему еще, быть может, поаплодирует, а соседям все это успело изрядно надоест.

Одно из старейших культурных учреждений — республиканская библиотека — находится в жалком помещении, а административные здания, полные света и простора, растут в Нукусе.

Мы можем гордиться фондами нашего Музея искусств, собранными великим энтузиастом, русским художником Савицким. Но выставить свои богатства для всенародного обозрения музей не может нигде. Хотя одним из удачных вариантов решения этой проблемы представляется передача музею здания «Каракалпакирсовхозстроя», которое могло бы позволить также обрести наконец крышу и городскому Дому культуры. Но, к сожалению, мои обращения к некоторым членам бюро обкома партии не принесли никакого результата.

Из всех этих и многих других фактов и штрихов склады-

вается весьма неблагоприятная картина культурной и, если угодно, идеологической политики местных руководителей.

Куда смотрела интеллигенция республики? — можете спросить вы. Она любовалась своими наградами, все сравнивала себя с 1913 годом. А в свободное время привлекалась к сельхозработам. Любовалась потому, что плохо знала русский язык, не могла сравнить свои достижения с результатами представителей других народов. Плохое знание русского языка ограничивало круг ее чтения, а следовательно, и мышления в национальных рамках. К сожалению, этим же порокам были подвержены и литераторы. Их цели были сведены до уровня беззастенчивых од в честь выполнений планов. Конечно, были и есть другие, которые задолго до XXVII съезда стремились своими произведениями сформулировать мысль и сосредоточить внимание на многих болевых точках нашего существования. Но каково им приходилось?

Когда в 1978 году вышла в свет острая и честная повесть преподавателя Нукусского университета К. Мамбетова «Экзамен», то ему устроили такую обструкцию «сверху», что молодой писатель был чуть ли не доведен до инфаркта.

Недавно я выступал на областной конференции общества «Знание» с критикой в адрес руководства. Меня заинтересовал такой, например, факт, что в «Памятке» (очередном рапорте), выпущенной к конференции, было сообщено, что в 1986 году на темы литературы и искусства было прочитано 868 лекций. Ну, писательская организация, естественно, заинтересовалась, кто же, когда и где их читал, о чем рассказывали лекторы. Но когда мы обратились к руководству общества с просьбой показать тексты с выступлениями хоть одного писателя, выяснилось, что их попросту нет.

Я бы, может, и не стал говорить об этом на страницах центральной газеты, если бы при публикации отчета с этой конференции в республиканской печати все высказывания и фамилии выступавших с критикой в адрес нашего общества «Знание» были попросту опущены, полагаю, не по инициативе газетчиков.

Другой пример может показаться нескромным, но меня вынуждает сказать об этом позиция заведующего отделом пропаганды и агитации обкома партии Ж. Нарымбетова, высказанная на этой же конференции общества «Знание». Я тогда в своем выступлении заодно вспомнил о своем романе «Зеница ока», разоблачавшем приписки, кумовство, нарушение партийных норм. Набор этой книги в 1982 году был рассыпан по указанию свыше. Одним из первых тогда начал «разоблачительную» кампанию как раз именно Ж. Нарымбетов, тогда он был зав. лекторской группой обкома партии. Так вот сегодня, пять лет спустя, на конференции он заявил открыто, что придерживается своего тогдашнего мнения.

Что же это за мнение, которое так долго и упорно отстаивает

теперь уже заведующий отделом пропаганды и агитации областного комитета партии?

Вот его тогдашние претензии к роману: «Жизнь показывается недостаточно глубоко. Например, на партийном собрании директора избирают, обсуждают. Бригадиров избирают тайным голосованием и т. п.».

Еще.

«Он (герой) борется с лишними гектарами, очковтирательством в заготовке хлопка, овощей, мяса, молока. Но все эти факты не стоят выпуклого показа. Потому что их нет...» — утверждал тогда этот партийный работник.

Недавно этот роман вышел и в Москве, и в Каракалпакии.

Представьте себе, какова была бы тогда моя участь, если бы я был, скажем, районным корреспондентом Тохымбетовым из Чимбая, с которым несколько лет назад расправились за его правду о приписках как с клеветником.

Есть у нашего народа легенда, связанная с именем великого поэта Бердаха.

Влюбленный юноша, не имевший ничего для оплаты калыма, обратился за советом к аульному аксакалу. Тот спросил: «Неужели у тебя нет ничего для задабривания ее родителей?»

«Ничего! Кроме моего стыда!» — ответил юноша.

«*Нет богатства выше стыда человеческого!*» — сказал почтенный аксакал и повел юношу к родителям его любимой.

Сегодня надо каждому из нас учиться жить по законам, вернуть жгучее чувство стыда своему лицу, душе своей, отстоять сообща веру в правду, справедливость, не щадить себя в труде на благо Родины.

Нас много, нас почти триста миллионов больших и малых братьев, родных по общей истории, общим победам и неудачам, по мудрости и нравственности народной, по великому и могучему русскому языку. Огромная армия. Но самая большая армия непобедима, если каждый боец осознал свой священный долг перед родной землей и знает, за что и против чего он сражается. Так у нас уже было. Так, я верю, это и будет.

О ДОСТОИНСТВЕ ТРУДА

...освободить внутреннюю душевную силу человека невозможно действием извне: к этому благоприятному действию извне силой общественной необходимо соответственное внутреннее поведение каждого в отношении себя самого.

М. Пришвин

1

Нравственность, оторванная от практических дел, которыми живет страна и народ, мало что значит. Но и без нравственного смысла любая человеческая деятельность значит тоже немного.

Это особенно важно понимать сегодня, когда в поисках разумных решений мы все чаще обращаемся к специалистам и получаем подсказку со стороны,— область нашей личной ответственности как бы сужается. Некоторые очень серьезные задачи уже доверено решать «умным» машинам, а совесть в их механизм не заложена. Симпатии и пристрастия машинам чужды, и уже идут разговоры насчет совершенной их «объективности», чуть ли не «справедливости».

Возникает соблазн снять с себя и переложить на электронику духовные заботы: мол, там, где труд организован «по науке», внутренние человеческие мотивы ни к чему и их можно оставить для домашнего употребления. Делаются даже попытки подвести машинное основание под саму человеческую личность.

Это не домыслы, а факты, вызывающие тревогу. Позволю себе привести ряд выписок из газет и журналов, так сказать, документальное свидетельство о достаточно ясном умонастроении.

В научно-популярном журнале АН СССР «Химия и жизнь» совсем недавно (№ 2, 1986) опубликована статья, в которой рассказывается о том, как, «переселившись» в специальную машину», «сохранить человеческое «я» с его опытом, переживаниями и страстями». Понятно, это гипотеза, но каков наклон авторской мысли?! «Переселенец», в отличие от нас, грешных, «всегда успеет раньше подумать, а потом сказать, и у него не будет случая досадовать за слово, вылетевшее сгоряча. Жизнь его имеет все основания стать красивой, внутренний мир (?) — богатым...».

Газета «Известия» писала о «самых авторитетных научных изданиях», печатающих, однако, такие объявления:

«Предлагается недорогая персональная ЭВМ, которая решает... социальные проблемы» (!). Тут не то даже главное, что возможности компьютера преувеличены, но человек, выходит, освобождается от обязанности эти проблемы решать.

На очередной научной среде в «Литературной газете» доктор юридических наук, профессор приводит известные примеры безответственности и кумовства при защите диссертаций и предлагает: пусть оппонентов назначает ЭВМ, беря в расчет одну ученую их специализацию, — тогда двери науки «окажутся наглухо закрытыми для недоучек и проходимцев».

Но электронная осведомленность едва ли заменит честность. Компьютер зовут, чтобы избавить оппонента от нравственной нагрузки.

В молодежной газете «правдивая» ЭВМ противопоставляется «тертому калачу» районщику. Публикуется сообщение, что ЭВМ в Свердловске утерла нос работникам гостиничного хозяйства: «Неподкупная машина не скроет свободного местечка, не даст лишней брони «по знакомству». Названа корреспонденция обнадеживающе: «Гостей встречает ЭВМ».

Глядишь, иной журналист мечтает уже о «людях будущего», которые «не ступят и шагу (!), не сверившись с компьютером». А вместо устаревшего «совесть — лучший контролер» выдвинут современный лозунг: «Робот — лучший контролер совести» (!).

Можно подумать, человек нынче стал ненадежным. Взамен личности, осознающей свои возможности, свои потребности, свою ответственность, тут и там в наши размышления входит бесчувственный «работник». На «душу» уже прямо нападают как на помеху в труде.

В памятной статье Л. Аннинского «Верю в ход вещей» без обиняков сказано:

«По наблюдениям социологов, прибывающие на стройку «барыги» и «хвататели», то есть люди, «гоняющиеся за рублем», делают ту работу, которая требуется, и с ними нет проблем, а вот иные специалисты, едущие «по душе», с внутренним романтическим заданием, капризничают, а иногда даже бегут обратно».

Спору нет, «барыги» поставят к сроку и без рассуждений «хозяйственный объект», но ставить жизнь с ними рискованно. Возвышающего значения их труд не имеет, то даже и не труд, как мы его понимаем, — то всего лишь хорошо оплачиваемые физические и умственные операции. И если труд «по душе», «с внутренним романтическим заданием» нагружает администрацию своими проблемами, это радовать нас должно, а не пугать!

«Не рубли его подстегают, заставляя перегружать «КрАЗ» и выкраивать лишний рейс, а сама работа, берущая единым охватом сотни людей. В работе он не помнит, что это километры, кубометры и рубли, он возносится над ними в какую-то иную высь, где нет никакой бухгалтерии, а есть лишь движение, ритм

и празднество. Там он постоянно движется попутно, а потому двигаться легко. Чему попутно — он не мог бы сказать, похоже, попутно душе, ее изначальному наклону...»

Так говорит о своем Иване Петровиче В. Распутин («Пожар»).

Реальные герои труда не умеют столь выразительно описывать чувства, но они высказываются тем не менее достаточно определенно. И сегодня, пятьдесят лет спустя, нас трогают слова первых стахановцев, которые говорили об осуществлении заложенных в человеке возможностей, о преодолении преград и победе над обстоятельствами. Они ставили себе высокие нравственные задачи. Сравните: «Я решил выжать из оборудования все, что можно было, подчинить его своей воле» (Александр Бусыгин); «Мы с Дусей решили доказать, на что способны и женщины нашей страны» (Мария Виноградова).

Современное производство, возразят нам, впрямую меньше зависит от воли человека, технология более жестко диктует нынче свое, станку с ЧПУ нужен, скорее, добросовестный исполнитель, чем энтузиаст.

Пусть так (хотя это не везде и не совсем так), но, во-первых, должно видеть перспективу, гибкие технологии вписаны уже в повестку дня, на смену рабочим-операционникам идут мастера широкого профиля. Принимая ответственные решения, они сами организуют и контролируют свой труд. А во-вторых, духовные стимулы, зовущие нас к труду, остаются всегда неизменными. Обслуживание машин никого не может вдохновить. Не в радость, а в тягость будет работа, лишенная внутреннего смысла и ставшая только средством к жизни.

Что бы там ни говорили литературные критики, труд изначально ориентирован на радость, и не поднимешь хозяйство, минуя нравственный подъем личности.

2

«...все-таки придется нам признать относительно человека ту «низкую» и «некрасивую» истину, которая так корбит наши мечтательные сердца: плати ему — и он будет работать».

Читать это неприятно, но ничего неожиданного критик не сказал — он прямо выразил известное умонастроение нынешней публицистики. Объявив: «Выгодно!» — иной автор удовлетворенно умолкает, будто сказано последнее слово. Встретив на производстве лень или, напротив, трудолюбие, деловой публицист спешит к «экономическим причинам». По этой логике выходит, что центр управления человеческими поступками находится где-то в бухгалтерии и хорошее в людях поднимается при виде платежной ведомости.

Пришла новая мода — на экономизм.

Кто-то верно заметил, что дельные экономисты в дружеском кругу затмят сегодня даже хоккеистов команды мастеров. Однако, похоже, их плохо слушают, экономисты-то трезво оценивают

возможности материальных стимулов, внятно объясняют, что рубль не всемогущ. На их стороне статистика, которую наша печать уже взяла на вооружение. А статистика свидетельствует, что даже весьма значительное повышение заработной платы не оказывает сколько-нибудь заметного влияния на качество работы, улучшение трудовой дисциплины и т. д.

О том же можно сказать иначе: сегодня у многих работников отсутствует сколько-нибудь серьезное стремление к лишним деньгам. Отсюда еще не следует, что они все имеют и деньги им не нужны, но вот — не интересуются.

Надо ли этот интерес возбуждать?

Возьмем наугад рядовую газетную публикацию с благополучным «экономическим» финалом.

...Молодые операторы (выпускники профтехучилища) мучаются, не справляясь со сложной техникой. Рядом и вокруг похаживают опытные наладчики, на выручку не спешат. Но поменялась система оплаты труда, и тотчас новичкам была оказана помощь. Отрядный итог налицо.

«Сегодня операторы получают по триста рублей, а наладчики-операторы и того больше. Моральный климат на участке — образцовый (!). Вот он — архимедов рычаг экономики».

Радужный денежный подсчет, как оно часто теперь бывает, заглушил иные вопросы, а они не пустые.

Чему научила юных рабочих первая встреча с заводом? Отворачиваясь от новоиспеченных операторов (да еще про себя, наверно, и посмеиваясь), какой урок старшие преподали молодым? Забудется ли этот урок?

Срывай работу — и добьешься высоких расценок. Помогать без расчетов и видов глупо. Откликайся только на прямую выгоду. Может ли на том стоять «образцовый» моральный климат? Вышло как раз по рецепту литературного критика: «Плати ему — и он будет работать». Главное, что станки крутятся, а операторы и наладчики неплохо получают.

Систему оплаты труда на участке, ясно, надо было менять, и это, разумеется, заманчиво: сразу после училища — триста рублей! Сумма наводит, правда, на некоторые экономические сравнения и размышления, но мы свернем с протоптанного пути. Этот сюжет дает пищу для серьезного разговора о современном производстве как сфере внутреннего совершенствования человека. «Экономический» конфликт в данном случае нацеливает на вещи не менее реальные и повелительные, чем денежный расчет и хозяйственная целесообразность. Ибо есть должность, но есть же и долг: устаревшая система оплаты, ошибочно очерченные служебные обязанности не отменяют иных человеческих, гражданских побуждений. Податливость перед обстоятельствами на заводе заслуживает, по-видимому, не менее строгой оценки, чем податливость перед обстоятельствами в быту, на улице и т. д.

Вот другой знакомый жизненный сюжет, как его рассказывает публицист. Талантливый инженер предложил новую высоко-

эффективную технологию обработки семян. Ее успешно проврили на экспериментальном заводе, изобретателя поддержало министерство, но заведующий отделом института «победил» вроде бы всех. Он ставил палки в колеса, интриговал и, по правде говоря, довел изобретателя до смертельной болезни. Итоговый вопрос задан такой: «Разве стал бы отпихиваться институт от экспериментального завода, если бы многолетний простой бил по карману самих сотрудников?»

Оказывается, инженер-изобретатель «своей жизнью» «еще раз доказал проверенную человечеством истину: пренебрежение экономическими законами ведет к безнравственности...» (!).

«Человечество» таких «истин», конечно, не знает, и ничего подобного изобретатель не «доказал». Напротив, мы видим, история его жизни ясно свидетельствует, что талант выше расчетов и выгод и что достоинство дано человеку, чтобы выстоять перед «экономическим законом». Он «доказал», этот изобретатель, что можно получать меньше заслуженного и — если предан идее — забывать про карман.

Мысль насчет нравственного значения экономики в данном случае не почерпнута из жизни, а заготовлена, конечно, заранее, иначе не могли рядом с такой судьбой прозвучать слова о материальной заинтересованности. В этом сюжете у экономики место очень скромное. Повернись заведующий к эксперименту из денежных видов, разве это было б торжеством нравственности? С другой стороны, изобретатель в стимулировании материальном не нуждался, но ждал понимания и честности. Товарищи его, принявшие эксперимент на свои плечи, тоже действовали бескорыстно, в отличие от упомянутых выше наладчиков (те про «экономику» помнили, старались соблюсти ее законы и вели себя скверно).

Да, сегодня мы ставим задачу сделать труд выгодным каждому работнику, каждому предприятию, обществу в целом. Но это не значит, будто нашей жизнью управляет выгода. Как сказал в «Комсомольской правде» тюменский строитель: если совесть «сталкивают, не задумываясь, лбом с материальным интересом», пусть верх берет совесть!

А экономисты, добавим, пусть задумываются, как эти столкновения отводить. На то существуют у них свои приемы и аргументы, свой язык, который публицисту перенимать ни к чему. Экономика ведь не все вмещает, существуют иные нормы и отношения — сверх нее.

3

Мы разводим нравственные и хозяйственные аргументы, но помним, что они должны сойтись в поступке. Жизнь не разломишь надвое. Сказать проще, здоровая нравственная атмосфера естественна в крепком хозяйстве.

Однако понять это не всегда легко. Будет ошибкой думать, что деловитость прямо ведет к нравственности. Отнюдь. Нередко бывает «совсем наоборот». И нравственность не является залогом производственного успеха. Вообще причинно-следственная связь едва ли здесь различима.

Тут иные отношения, смысл их удобно пояснить, по-видимому, таким примером.

В доме светло, солнечный свет льется в окна, но сказать, что его порождают окна, нельзя. Они дают лучам вход — окна пропускают свет. Их можно зашторить или же распахнуть широко.

Разумное хозяйствование идет навстречу нашим нравственным побуждениям и открывает им простор. Деловая жизнь одушевляется, насыщаясь внутренним смыслом. И тогда самое что ни на есть прозаическое и материальное, например, получение зарплаты, мы переживаем как событие нравственное. И на руки тогда мы получаем не просто деньги, но знаки социального одобрения, свидетельства нужности.

Это наблюдал Илья Фояков на ленинградских промышленных объединениях, где проводится экономический эксперимент (очерк «Сколько весит творческий вклад?».— «Нева», 1985, № 6). До недавнего времени здесь была уравниловка: как ни работай — хорошо ли, «средне» или же плохо,— платили одинаково. Работали «средне». Давали денежные надбавки конструкторам и технологам, набавляли всем, чтобы никого не обидеть, и не помогало.

Сегодня личный трудовой вклад так или иначе учитывается, зависимость между деянием и воздаянием осознана. Изменилось отношение к рублю — вот что важно заметить, рубль теперь тесней связывается с работой.

Автор очерка тоже пережил здесь некую внутреннюю перестройку и так о ней пишет:

«Помнится, как-то на Алтае, в поездке, я рассказал своим спутникам о работе известного скульптора-антрополога М. Герасимова, восстанавливающего по костям черепа лица давно умерших людей. «Это надо же! — воскликнул шофер Витя.— Это сколько же денег человеку надо за такое дать!» «Не все, Виктор, деньгами изменяется!» — наставительно заметил кто-то из старших, и я тогда с ним, конечно, согласился. А сегодня думаю, что Витя был по-своему прав. Ибо «деньги» в его устах были конечно же мерой общественного признания!»

Не следует преуменьшать значение этой перемены во взглядах: слишком укрепилось нынче убеждение, что право «жить не хуже других» никак не связано с обязанностью не хуже других работать. Притязая смолоду на многое, иной до старости обижается и сердится, что получает меньше соседа, а то в расчет не берет, что платят по труду.

Почувствовав и признав эту зависимость, будем, однако, правильно ее оценивать. Нравственное удовлетворение от спра-

ведливой оплаты отнюдь не единственное и не самое значительное чувство, которое дарит труд.

«Главное» переживание трудящегося человека сжато выразил публицист и инженер Г. Кулагин, перефразировав известные горьковские слова: «Инженер — это звучит гордо!»

Так с некоторым даже вызовом назван стержневой раздел его последней статьи в журнале «Знамя» (1985, № 10). Взято широко — не отдельный человек, а общество. Некоторые примеры, выдвинутые здесь во славу инженерного труда, знакомы, правда, каждому школьнику, но числят-то их обычно по ведомству науки! А инженеру, объясняет Г. Кулагин, не к лицу «стыдиться самого себя», пристраиваясь к ученым, в его работе есть свои заманчивые свойства, свое достоинство и своя радость. Пусть инженер не открывает нам нового знания (это дано науке), зато он умеет распорядиться тем, что известно. Неожиданно сблизив предметы и действия, он вводит в нашу жизнь небывалые машины, сооружения, механизмы. Классический случай, на который ссылался еще Ф. Энгельс: инженерное изобретение вызвало когда-то всеобщую революцию в производстве одежды — плоды ее пожинаем и мы.

Конечно, рядовое инженерное изобретение не столь употребимо, однако и у него те же свойства: созданное однажды, оно несет свою добрую службу, оно пущено в ход, и нам без него уже нельзя.

Обозначая место инженерного труда в обществе, Г. Кулагин оглядывает большое пространство и время, его статья богата доводами, которые инженер, всерьез осознающий себя, надо думать, не обойдет.

Это вдохновляющее слово о профессии следует, впрочем, дополнить одним аргументом. Труд инженера повернут навстречу созидательной природе человека и потому изначально желателен.

Каждый поймет, о чем речь, посмотрев на детей. Если ребенок здоров, ему не мешают и не подталкивают его под локоть, он с упоением мастерит. Гонимый из дома в сарай и на чердак, кто из нас в юности не сооружал приемников и моторов? (Можно купить в магазине, но заманчивей продумать, рассчитать и все, как надо, сделать самому!) Обремененный иными заботами, каждый уважающий себя глава семьи имеет дома инструмент и при случае с удовольствием им пользуется. Признаемся себе: тут дорогá на столько даже польза, сколько особое, поднимающее нас «родительское» чувство. Вот трогательное подтверждение — запись, сделанная чутким социологом:

«Иду вчера по цеху, глянула в один из пролетов и вдруг узнала: моя кран-балка! В пятьдесят первом спроектировала и поставила здесь! До сих пор работает! А? Погладила ее, постучала, ничего, будет еще долго трудиться! И пошла дальше. И вот так в каждом цехе... Идешь и сталкиваешься: то тельферы, то кран-балки, то малые, то большие мосты — крутятся, двигаются, вертятся! Сколько их через мой стол прошло, сколько я на них

сил, нервов, слез истратила! — Вдруг она неожиданно для меня заплакала: — А при аттестации мне знаете какую зарплату определили? Такую же, как новичку, который только-только диплом получил. Разве это правильно? Справедливо?»

Думая о своем, В. Выжutowич (очерк «Инженерный расчет». — «Новый мир», 1985, № 9) услышал здесь один лишь аргумент в пользу оплаты «живого, сиюминутного» и «прошлого овеществленного труда». Оно верно, но важнее и серьезнее другое: это вот признание, чем дорог человеку инженерный труд. Учтем его. И тогда откроется, что конструктор, который бежит поминутно от кульмана в курилку, нуждается прежде всего не в деньгах. Ему бы осознать себя конструктором!

4

Посвященные ленинградскому эксперименту журнальные очерки показательны в том отношении, что сосредоточены на оплате и обходят стороной сам труд.

Задав вопрос: «Сколько весит творческий вклад?» — И. Фoняков не счел нужным даже объяснить, что конкретно делают герои очерка. Благотворное влияние эксперимента описано по формуле «чего теперь нет», и отсчет ведется от низкой отметки. Раньше, мол, инженеры ленились, кивая на перегрузки, а теперь просят дополнительные задания. Раньше была текучка кадров, а теперь конструкторы и технологи уже не пишут заявлений «по собственному желанию». Раньше с утра до вечера повсюду курили, а теперь уборщицы довольны — окурков не видать.

Если это победа эксперимента, то велика ли ей цена? Начав одинаково с исчезнувших коридорных курильщиков, И. Фoняков и В. Выжutowич сразу и увели разговор в сторону.

Целью эксперимента ставилось поднять достоинство инженерного труда, или, выражаясь языком деловых бумаг, усилить ответственность и заинтересованность инженера в повышении уровня и качества технических разработок. Что тут важно? Отнюдь не привязка к кульману, но внутреннее побуждение к труду, нравственная готовность, воодушевление, если хотите. А в очерке звучит знакомый мотив: «плати ему, и он будет работать». Надбавки идут за сокращение сроков, за сверхплановые задания, за объем выпущенной технической документации и т. д. «Хорошая работа без хорошего вознаграждения за нее — как любовь без взаимности: благородно, а счастья нет», — усмехается В. Выжutowич, не замечая, что шутка отдает цинизмом.

Конечно, деянию должно соответствовать воздаяние, это справедливо, и пусть так и будет. Но признать обратную зависимость, нацелить — «пусть каждый работает с оглядкой на оплату» — значит исказить задачи труда.

Сила света, льющегося в дом, не определяется размером окна — скажем так, возвращаясь к приведенной выше метафоре.

«Руководить стало легче... Удобнее стало управлять процессом коллективного творчества», — подводит предварительный итог эксперимента заместитель заведующего отделом НИИ. Публицист ему не перечит и с пониманием изучает инструмент, принятый для руководства, — таблички помесячных доплат.

Однако — «удобство» и «легкость»... Правильно ли ставится задача?

Надежны ли эти таблички?

У одного кривая доплат приближается к прямой («не взмывает высоко, но и низко не опускается»). Значит, вроде бы инженер «старательный, усидчивый». У другого — пунктир («то густо, то вовсе пусто»), отсюда выводится: «импульсивный... но не слишком организованный».

Если бы все было так просто!

Легко представить: требовательный к себе конструктор мучительно долго, упорно ищет решения. Идет будто бы бесплодная, до поры не видная, внутренняя работа («вовсе пусто»). Вдруг счастливое озарение, ответ обдуман мигом — задача решена. А конструктору ставится отметка: «импульсивный, но не слишком организованный»!

Пожалуй, иная одобрительная характеристика и обидна. Что это такое: «старательный, усидчивый»? Инженеры не дети.

И. Фоняков, впрочем, не скрывает, что у нормирования и количественной оценки инженерного труда есть противники. Он приводит слова О. А. Фирсова, который «убежденно» объяснял: «Работа конструктора — творческая, ее нельзя подчинить никаким нормативам и коэффициентам». Старейшина конструкторского корпуса Ленинграда на нескольких страницах выстраивает свои аргументы, автор очерка почтительно их принимает, но какие там были доводы, от нас скрыто. Противник нужен автору лишь как свидетельство сложности проблемы и «широкого общественного интереса к эксперименту»!

Чуть раньше по сходному поводу в очерке упомянут разговор с Г. Кулагиным, известным противником нормирования. «Нормированию в инженерном деле поддается только рутинная работа, — писал Г. Кулагин и в «Знамени», — то есть та, которой инженер должен заниматься как можно меньше».

Не возражая ему и не споря, И. Фоняков удовлетворяется тем, что нормирование идет гласно и гладко («никаких конфликтных ситуаций при этом не возникало»). Будто не бывает случаев, когда ошибки совершаются на виду и «бесконфликтно»!

Труд инженера не почувствован близко. Автор очерка шел на «экспериментальные» промышленные объединения, очевидно, просто с намерением загодя и во что бы ни стало все одобрить.

Такой подход среди пишущих вообще-то не редкость. Уже то, что эксперимент начат решением правительства, «понимается

кое-где, как прямая директива: даешь положительный результат!».

Подчеркнутые слова написаны В. Выжutowичем, хотя сам он работу ленинградских конструкторов показывает тоже с точки зрения «что тут ни делается, все к лучшему». Вопрос, как нормировать, поставлен в его очерке, похоже, только чтобы заинтриговать читателя.

Проблема не проясняется. Бросив на ходу: «Спору этому нет конца»,— автор следом приводит пример в защиту нормирования.

Прочитируем, это нам еще пригодится:

«На Ижорском заводе трем группам специалистов дали схожие по объему и сложности задания. Одной — не дробя, назначив лишь срок исполнения. Двум другим — вразбивку по неделям и дням, определяя конкретных исполнителей, каждому из которых задан был свой урок. И что же? Первая группа, рассказывал главный технолог с Ижоры, сроки сорвала. А вторая и третья управились с опережением графика. С тех пор вопрос, нормировать или не нормировать, у них не возникал».

Все ясно? Нет. Далее сообщаются цифры, которые испугают самого рьяного нормировщика: в объединении «Ленинградский электромеханический завод» установили... «около 18 тысяч норм: технологам — 2200, конструкторам — 7900 и т. д.»!

Что же скажет об этом публицист? А вот что:

«Да, платить каждому по труду им, пожалуй, сложнее, чем добиться от каждого по способностям (!). В распределении заработанного многое только на полпути к желанной цели. Впрочем, плата, даже заработная, не цель, а средство».

Читателю остается глубоко вздохнуть и сказать нечто философское, например: жизнь сложна.

6

Жизнь и в самом деле непроста, и публицистика сегодня не склонна, как в былые времена, выпрямлять развитие, сглаживать углы и лакировать. Теперь нам внятны противоречия и нерешенные вопросы.

Кажется даже, что в публицистике их стало слишком много. Куда ни глянь, рядом стоят проблемы: материальное стимулирование и внедрение научных разработок, нормирование и планирование, фонд зарплаты и штатное расписание и т. д. и т. п. Однако чаще всего это кажется неразрешимо острым лишь постольку, поскольку не поставлено в связь со смыслом и значением труда. Мы охотно поднимаем сегодня именно проблемы производства, упуская из вида само производство.

...На подшипниковом заводе чуть не половина металла идет в стружку и в хлам, на свалку. Правда, эта расточительность сулит немалые выгоды, автор пишет с некоторой даже патетикой: «блистательные перспективы». Металлический порошок из

отходов даст заводу миллионы рублей «дополнительного дохода» (Игорь Дуэль. «Замкнуть цепь». — «Знамя», 1984, № 12).

Прорехи устаревшей технологии будут латать деньгами. Впрочем, порошок промышленно не производится, и так оно, выходит, должно быть: «развернуться негде», объясняют нам, «из года в год срываются сроки реконструкции». Сложности и проблемы налицо, и все зависит от кого-то неназванного: «помещение обещают... двести квадратных метров в самое ближайшее время... это уже хоть что-то».

Когда-то главный металлург завода горел желанием «доказать заводчанам: объективные трудности — туфта». Теперь он вспоминает об этом как о наивности, смирившись со скупыми обещаниями, стесненным строительством, производством, приткнутым «по военному лихолетью» в старинные казармы, да так в них и оставшимся.

А во вчерашнем его «наивном» порыве было больше правды и понимания ситуации, чем в нынешней трезвой осмотрительности. Трезвость ведь сама по себе не цель и не благо, а только внутреннее сдерживающее средство. Тому, кто слишком спешит, тому, говорим мы, не хватает трезвости. В данном случае никакой спешки не наблюдается, а дела на подшипниковом вызывают к скорым переменам.

Автор пишет о продвижении разработок фундаментальной науки в производство. Подшипниковый и кирпичный заводы попали в очерк как иллюстрация трудностей на этом пути, все странно замкнулось на оборудовании, ставках и помещениях для лабораторий.

Публицист глянул на ситуацию глазами раздосадованной науки, пришедшей на производство, не готовое к встрече. Но самое болезненное здесь не судьба отдельной разработки, не упущенный «блистательный» доход и не внешние препятствия. Самое болезненное — взаимная внутренняя неготовность. Ставший нормой обесмысленный труд, который лишь наполовину — созидание, наполовину же — перевод добра. Равнодушие науки к производственной обстановке в целом и даже некий корыстный на нее расчет.

Поворот производства к науке представлен здесь как готовность платить. «С помощью средств, получаемых от внедрения своих разработок», институт будет иметь помещения, увеличит, разумеется, штат и купит себе новое оборудование.

Эти рыночные отношения, наверное, допустимы как ступенька к близости и временная связка. Но единство, которое мыслится в идеале, строится на других основаниях...

А пока на подшипниковом заводе для доходного порошка выделен «закуток», студент-дипломник, «заменив собой неисправный вибратор», трясет там ситечко, и это настраивает И. Дуэля, как полагается, на оптимизм: «Работают здесь люди, которые, несмотря на «замот», помнят о завтрашнем дне...»

Здесь время сказать, может быть, о самом важном: зачем публицист идет на завод, в лабораторию, в колхоз.

Прежде всего в практической деятельности усматривает он, как и положено писателю, серьезные человеческие переживания. Производственные проблемы ему надлежит понимать, но и соответственно к ним относиться. Он не дублер, его точка зрения выше собственно производственной, дело он ставит в связь со всей жизнью человека.

Публицист пишет о должном и справедливом, он идет на завод и в колхоз, чтобы хозяйствование осмыслить нравственно. Его обязанность, если угодно, сродни обязанности поэта, как она была когда-то емко обозначена,— пробуждать чувства добрые.

Публицист не умеет сказать, к примеру, как измерить инженерный труд количественно, на сей счет ему простительно и ошибиться. Однако он не вправе ошибиться насчет человеческого достоинства.

Производственник, озабоченный соблюдением графиков, вводит проведение нормирования и жесткий еженедельный контроль. Достигнув цели (даже с превышением — досрочно), главный технолог с Ижоры доволен. Сомнений, нормировать или не нормировать, у него нет, все ему ясно.

А публицист задумывается. С нравственной стороны отход от графика — еще не беда, важно, что за ним стоит. Один конструирует лучше, другой — быстрее. Должно ценить красоту и силу инженерных решений, а не только скорость. Человеческое самоуважение требует, чтобы к нашим действиям относились с доверием. Привести график к согласию с творческими интересами, конечно, непросто, но публицист загодя держит сторону труда, исходит из внутреннего его смысла.

Узкого производственника это, конечно, не особенно тревожит, хорошая работа видится ему в наружных, измеряемых фактах: в количестве вышедших из-под руки чертежей, в часах, проведенных у кульмана, в коэффициентах сложности и т. д. Что переживает инженер, склонившийся над чертежом, его не касается, но потому-то мы и говорим: узкий производственник.

Ограниченность склонна, мы знаем, выставлять себя за добродетель. Заведите речь о «чувствах и чаяниях», иной хозяйственник над вами свысока и посмеется в сознании полной своей правоты. Зачем нам эта лирика, скажет, мы — деловые люди, чувствовать будем после работы, нам надо продукцию выдавать!

Нечто подобное услышал Валентин Распутин в Министерстве лесной промышленности. «Мои слова о нравственности экономики... — пишет он в «Известиях», — воспринимались, я замечал, чем-то вроде лирической или идиллической демагогии, прости-тельной человеку моей профессии, имеющей даже какое-то

смутное общественное звучание, но бессмысленной в суровой практике жизни».

Размышляя над этим, полезно оглядываться назад. Раньше, скажем, в тридцатые годы, в послевоенное время были несколько иные ориентиры — производство возлагало большие надежды на человеческое сердце. Со счета его и сегодня вроде не сбрасывают, однако сначала держат в уме «объективную закономерность». На «человеческий фактор» публицистика стала чаще оглядываться, но вместо «энтузиазм», вместо «трудовой порыв» мы говорим — «настроение», вместо «сознательность» — «психология». Смена слов всегда многое объясняет... «Мое утверждение может показаться спорным, но мне кажется, что в современном производстве часто не хватает подлинного чувства». Это говорит не лирический поэт, а бригадир строителей, Герой Социалистического Труда В. Сериков.

8

По-видимому, случилось то, о чем когда-то с тревогой предупреждал В. Овечкин: мы слишком уверовали, что «объектив» все за нас работает».

Известны хорошие публицисты, которые ограничивают свою задачу тем, что указывают на реальное положение дел и предлагают строгие экономические, хозяйственные рекомендации. Мы отдаем им должное, они честно несут свою ношу. Но этот сугубо деловой подход, конечно, не распространяется на всех, и нельзя ставить нас перед выбором:

«Что должно стать главным объектом внимания публициста — характер сельского труженика, его мысли и чаяния или хозяйственная деятельность?» (Ю. Черниченко. «Очерк про очерк». — «Новый мир», № 1, 1985).

Человеческие чаяния неотрывны от человеческой деятельности и входят в ее состав на правах высокой побудительной причины — они приводят в движение наши внутренние силы.

Деловая публицистика способна толково объяснить, но она не зовет: специальный хозяйственный интерес заслоняет для нее чаяния.

Очерки Ю. Черниченко позволяют, что называется, пощупать руками современное производство, многое в них продумано, взвешено, поставлено на вид: экономика и техника, агрохимия и селекция, удобства и рентабельность. Автор ясно показывает, как не надо трудиться, и понимает, как надо. Но что значит труд? Где его место среди сокровенных жизненных ценностей! Эти вопросы в деловом очерке неуместны и звучат как «лирическая демагогия».

Такая публицистика остерегается далеко отходить от хозяйствования, и недаром: аргументы, понятные ей, в сфере нравственной теряют свою силу. Заговори хозяйственник про чаяния, выйдет узко и невдохновляюще.

«О чем мечтает зерновик Клепиков?» — спросил однажды Ю. Черниченко (в очерке «Бригадир») и ответил: «О прочной солоmine... О комбайне... О том, чтобы работать только со своей, да одной подшефной бригадой... О том, чтоб зимой не морозило, а в налив не сушило, не крутило ливнем и ветром, не мочило валки» и т. д. Автор поднимает глаза к небу: «...что же там, за «первым небом»? А еще небеса».

Деловой публицист отдал здесь дань откровенной литературщины, той самой, над которой он смеется в своей новомировской статье.

9

Хотим или не хотим мы того, от чувств и чаяний нам никуда не уйти. Они существуют, стоят в ряду причин, и производственники сегодня уже пытаются по-своему их учитывать.

И. Фоняков пишет о ленинградском эксперименте: «Впервые, по существу, предпринята попытка хоть как-то взвесить сугубо нравственные категории».

Зачем, однако, их «взвешивать»?

«Честность, порядочность, справедливость» должно, оказывается, соответственно оплачивать. Для того на ленинградской «Электросиле» ввели десятибалльную шкалу оценки.

Что оценивать честность в баллах смешно, автор очерка почувствовал («Можно ли утверждать, что Петров порядочен на «десятку», а Сидоров — только на «семерку?»). И тем не менее эту затею оправдал: «Без учета... сугубо нравственных категорий... никак не обойтись».

Но существуют вещи, которые подсчитывать нельзя. Выделить и так или иначе рассортировать «нравственные категории», конечно, можно, но от сложения их не выйдет нравственности. Чуткие люди всегда относились с подозрением к «поварам», которые думают, «будто составные части морали — все равно, что составные части торта или пирога».

Слишком многое тут не делится, и категории в нравственности допустимы лишь с сугубыми оговорками. Это предмет деликатный, непривычка к нему приводит, как было показано, к прямой подмене. Глядишь, лучшие человеческие чувства уже занесены в платежную ведомость!

И. Фонякова обрадовали учетные таблицы, где на ротапринте отпечатали: «честн., порядочн.», «проявл. чуткость и отзывч. к людям». Коль скоро мы повернули к нравственности, не следовало бы суконно сокращать эти слова. Но возникает вопрос, кто будет оценивать «честн.»? Заведующий отделом?

Готов ли он, достоин ли это поднять? Какие аргументы подведет под свою оценку? Поверят ли ему?

Если оценка движется в одном направлении, а именно сверху вниз, то как бы не слить и не спутать нравственность с должностью. Тогда каждый старший, не в пример рядовому, заведомо будет более «порядочн.» и «отзывч. к людям».

Нет, многое тут искажено, и сама задача поставлена формально. Не учитывать надо нравственность, а быть нравственным. Что, понятно, совсем не значит, будто мы вступаем здесь в область невидимых миру событий и расплывчатых благоположений. Нравственные ориентиры ясны и определены: честность, порядочность, отзывчивость — без всяких усечений.

Никто не зовет к отказу от оценок, оно и невозможно: люди на каждом шагу выражают свое отношение друг к другу — словом, жестом, взглядом, молчанием. Это ощутимо и действительно в здоровой трудовой общности, хотя оценки не отпечатаны на ротапринте и никем не заверены. Верней, именно потому, что не заверены и не отпечатаны!

Мы говорим о живом, непредумышленном движении к идеалу. Заметим: к идеалу, а не к цели, которой дано достигнуть и, получив свои десять баллов, считаться порядочными людьми по итогам месяца.

Нравственность заставит нас критически пересмотреть и внутренне отвергнуть явления, ставшие уже, увы, привычными и допустимыми. «Служебное вранье» и служебную безответственность, например. Василий Белов в «Раздумьях на родине» приводит на сей счет случай прямо-таки символический. На земле оставлен электропровод, убиты пять коров, и никто ответа не держал, поскольку «виноваты» объективные физико-химические законы.

«Видите ли... виновата несовместимость металлов. Провод оборвался на стыке.

— Ну и что?

— Медь не может соседствовать с алюминием».

Мы деликатно именуем «служебное вранье» необязательностью, и есть немало свидетельств, что обязательность среди руководителей производства сегодня не в чести. Вслух, конечно, все ратуют за трудовую спайку и хозяйственную дисциплину, а из-под руки расчетливо тянут в свою сторону. Притом, как заметила «Правда», на честное «нет» обижаются, а за лживое «да» еще и благодарят!

Стало уже как бы признаком ума и опыта сказать положенные слова в положенном месте и поскорее о них забыть, сойдя с трибуны. Вот и директор завода из очерка «Замкнуть цепь» знает, чего от него ждут, обещает, будто передовицу пишет, шумит в зале на городском совещании: «Внедрять порошковую металлургию... удержать... объем производства... изыскать, используя резервы...» А отказывается от своих слов в кабинете, без шума, «в рабочем порядке», спокойный, что за это не спросят, «войдут в положение».

Глядишь, публицист тоже вошел и — оправдал.

«А поставьте все же себя на место директора, заметят нам язвительно, побудьте-таки хоть минуту в его положении!» Аргумент серьезный, но надо быть честным! Да, за высокую себестоимость по головке не погладят, и что делать, мы не знаем,

и тем не менее надо быть честным. Ведь неясность, что делать, не может ослабить силу нравственного требования. Если принимать наличные условия и искать только удобное, исполнимое выгодное, то нравственность за ненадобностью просто отомрет.

Настаивая на честности, мы отнюдь не закрываем глаза на последствия поступков и вообще на обстановку, как она сложилась сегодня на производстве. Подлинная человеческая нравственность особняком от жизни не стоит и не сводится к безотнositельному и однообразному следованию неким отвлеченным правилам («дал слово — сдержи», «говори, что думаешь» и т. д.). Честность поворачивает лицом к реальности и обязывает к прямому, без утайки разбору всех ее обстоятельств.

Бегущий день поминутно и сызнова будет испытывать нас на прочность, близость к совершенству всегда относительна, и нравственность забирает не какой-то подлежащий оценке отдельный участок нашей деятельности, но всю ее без остатка.

Как-то драматург В. Розов предложил несколько часов в неделю отводить нравственной гигиене, так сказать, тренироваться на справедливость. Но специальные и дополнительные упражнения не нужны — здесь если и возможны тренировки, то в смысле тренироваться жить.

Понятно, что при всем желании эту работу мы не сумеем переложить на чужие плечи. За нас с вами никто ее не выполнит.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН



Когда меня спрашивают: «Какой вопрос ныне волнует вас больше всего?» — я всякий раз задумываюсь и все-таки отвечаю одно: «Литература и критика».

Конечно, я бы мог сказать, что меня больше всего беспокоят состояние современного мира, судьба экономики в начавшейся эре перестройки и все вопросы, связанные с экологией. Но я писатель, поэтому я живу литературой, которая неотделима от глобальных и неглобальных проблем. Каким является сегодня наше искусство, каким оно будет завтра? — это вопросы судьбы каждого из нас, кто чтит прошлое в нашей культуре и живет надеждой.

Думая о судьбе литературы, об этой сложной человеческой деятельности в новом времени, я задаю себе вопрос: что значит перестроиться серьезному писателю? По-видимому, это — духовная переналадка, изменение системы мышления. А еще вернее — переустройство его сознания, души, таланта, духовного опыта, что сделать почти невозможно, если даже есть нечто близкое императиву, что требует это сделать. Книги писателя — это его «я», выстраданное и воплощенное в слове. И коли этого своего «я» не было до нового времени, если писатель не являл собою личность со своим внутренним миром и своей болью, то он и не имел права называться писателем.

Да, интересна в литературе только индивидуальность, которую можно определить как личность. То есть это человек с резко выраженной особенностью выявлять истину, всегда исповедуя, защищая и утверждая ее. Он предан вечному богу — правде. И призван он посредством слова раскрывать человеческую тайну, тайну бытия, сущность человеческой жизни, ее несовершенства.

Серьезный писатель — это призвание на всю жизнь, постоянное критическое отношение к себе и постоянный поиск, где царствует неудовлетворенность собой. Так может ли он перестроиться так, как, например, можно перестроить завод? Тем не менее происходящие в стране изменения, касающиеся судеб мира, захватывают и писателя, и он, в свою очередь, критической мыслью может и должен оказывать влияние на происходящие процессы, еще обостреннее, еще ответственнее отнестись прежде всего к самому себе. Если бы я сказал, что теперь писатель начнет наконец говорить правду — это было бы, простите, глупостью. «Правду» начнут говорить приспособленец и лжец.

Серьезный писатель во все времена обязан быть вместе с народом и писать правду, искать истину и защищать всей своей работой справедливость. Именно вопрос о правде поставил в центр внимания XXVII съезд партии.

В связи с этим не только я думаю сейчас о той части печатной и устной критики, которая под знаменами демократии и гласности отказалась полностью от конструктивных начал. Рыцари совсем уж неслучайных разрушений в литературе, театре и кинематографе, еще вчера скромно молчавшие или скромно уходившие от самых насущных, больших вопросов, сегодня, со смелостью организованной безнаказанности превращая критику в моду черного цвета и никем не сдерживаемые в неистовстве сведения счетов, честолюбия и самоутверждения, устроили некую вольницу суждений — создание репутаций новых гениев и низвержение ценностей, травлю талантов, приведшую в иных случаях к печальному исходу. Происходит не очищение, а духовное загрязнение — для утверждения нервных самолюбий, мелких выгод, а не для развития нравственной жизни общества. Аксиома: критика — категория созидательная. Более того, в народе говорят: разрушать — не строить. Силой зла можно прекрасный дворец, построенный не в один год, превратить в груды кирпичей, в смрадные руины, облитые желчью. Новым рыцарям разрушения, право же, стоит помнить простую формулу: чти историческое прошлое, презирай страх, не делай зла, совершенствуй мужество. Им стоит поучиться у тех своих коллег, которые поняли перестройку как средство обновления нашей жизни.

В нынешней критике господствует своеволие без разумной осмотрительности, в то время как на критику ложится особая ответственность, возможно, даже сверхответственность. Я говорю это потому, что критически оценивать сегодня необходимо многое, однако надо уметь правильно оценивать и хорошо знать то, что критикуешь. Надо учиться критиковать, ибо нам часто не хватает культуры в оценке явлений жизни и явлений искусства. В условиях перестройки, демократизации критика должна быть пронизана социалистической моралью, она всегда должна быть партийной, основанной на правде.

Оценивая прошлое и настоящее, надо понимать, что действительно новым является лишь то, что продолжает великие традиции, ибо дерево растет в высоту, но оно не может расти, оторвавшись от своих корней, от земли. Новое — это не колдовская энергия, рожденная из пустоты. Все имеет свои истоки и начала. В противном случае критик окажется в положении тех «революционеров», кто уже кричал однажды: «Долой Пушкина с корабля современности!» — но был в конце концов сам отвергнут жизнью. Ясно же, что не все новое — талантливо. Это особенно разительно подтверждает наша современная архитектура: разрушая так называемое старое, бесценные памятники зодчества, она предложила бесстилевой стиль унылых коробок новоказарменного типа или безликий стиль стекла и бетона, заимствован-

ный в самой западной стране — Америке за неимением, видимо, собственных идей. Кого сейчас поразишь коллажем или абстрактными картинами? Кого удивишь расхристанной прозой, которая невинно развращала читательский вкус в 20-е годы? Но странно: то, что уже отжило и брошено много лет назад, некоторые индивиды поднимают, как знамя, и, размахивая этим знаменем, надрываются криком: «Долой традиции! Мы — новаторы! Все прошлое — долой!»

Использовать гласность, демократизацию нашей жизни таким образом — в собственных целях — это значит быть в закрытой контрпозиции к перестройке и основательно вредить ей.

То истинно новое, что возникает сейчас, есть пока еще обещание весны искусства. Весна — это прекрасная пора оживления. Сиреневые дни. Серебристое весеннее солнце. И зелень молодой листвы. Однако соки, необходимые для жизни этой свежей листвы, поднимаются из земли, от корней дерева, а именно — от единого ствола искусства, от его традиций. Непреложная и давно известная истина в том, что только развитие традиций и есть новое, что рождает непреходящую ценность.

К примеру, совершенный и современный стиль Бунина, Шолохова, Леонова, Булгакова, первоклассных мастеров формы и апостолов литературного языка, не мог возникнуть без совершенно иного стиля Пушкина, Карамзина, Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого, Достоевского, так же как современная музыка не могла родиться без вселенского колдовства Баха, Бетховена, Чайковского, Мусоргского, так же как современная живопись (включая многие «измы») — без Брейгеля, Босха, титанов Возрождения, французских и русских импрессионистов, без реалистической мощи Иванова, Сурикова, Нестерова. Отказ от истоков и традиций — это та самонадеянная невежественность, от чего надо было бы избавиться еще в начале века. К сожалению и печали, многие уроки прошлого ничему не научили гениев герастратовского толка. Эта властолюбивая самонадеянность периодически возникает, часто преобразуясь в одержимую тенденциозность разрушителей культуры, внушающих простакам один принцип: «Для будущего не имеет никакого значения, кто был твоей матерью!» Однако, какой бы ни была твоя мать, она родила тебя, а не электронная машина, и родственная частица матери всегда — в тебе. Поэтому сейчас, когда мы говорим о перестройке как о своеобразной революции, и прежде всего как о революции в сознании человека, мы не имеем права предавать созданные ценности и не понимать, что действительно является новым, а не разрушительной подделкой под новое, выставляемое демагогическим лукавством.

Было бы ошибочным и легкомысленным, совершив какой-либо прогрессивный шаг вперед в экономике, социальной жизни или в искусстве, оглядываться на Запад и искательно ждать, что там о нас скажут и подумают. В ожидании иностранной похвалы или хулы мы не сделаем ничего толкового. Когда слишком нервно

мы обращаем внимание на то, что говорят о нас на Западе, мы унижаем самих себя, теряем достоинство и самоуважение. Это в прошлом вредило нам, поэтому пора и здесь внести поправку здравого смысла и не повторять былых ошибок. Мы сами достаточно разумны и опытни, чтобы делать о себе правильные выводы.

Государство, как и человек, имеющий и последовательно отстаивающий свою точку зрения, вызывает уважение, если даже противоположная сторона по своему социальному положению придерживается иных взглядов. Играть в подстройку под чужое мнение, желать понравиться кому-нибудь — значит не уважать себя. Ведь нельзя перестройку превращать в подстройку под Запад. Новое дело трудного преобразования начинается ради нас, а если подстраиваться под чьи-либо посторонние установления, оно может закончиться — ради них. История помнит — одобрения Запада в отношении наших внутренних дел часто имели фальшивое, дезинформационное значение.

Когда я думаю о сегодняшних изменениях в нашей жизни, я невольно вспоминаю о том, что произошло с моей первой книгой рассказов. Эти послевоенные рассказы были написаны на не очень-то веселые для той поры темы, и в издательстве мне сказали: «Неплохо. Но давайте-ка перестраивайте их!» Это было в пятидесятых годах. Тогда тоже ставили вопрос о перестройке, однако не сумели превратить ее в дело, ибо волюнтаристское отношение к экономике оказалось надругательством над ее смыслом. Мы должны сделать так, чтобы нынешняя перестройка развивалась в полном соответствии с экономическим и духовным соотношением и не повторила бы горькую судьбу предшествующей...

Возвращаясь к своим первым рассказам, напомним: они были напечатаны с так называемым американским счастливым концом (хеппи-энд), что, конечно, не соответствовало тогдашней жизни. Трудно приходится начинать талантливым, именно талантливым молодым литераторам и по сей день, ибо нередко допускаются искажающие смысл субъективные вольности и редакторские вмешательства в их рукописи, которые к тому же проходят невыносимо долгий крестный путь — пока дойдут до читателя. Талант, как всегда, опасен чиновнику от литературы.

Силой своего убеждения, если хотите, силой своего духа, любви и ненависти можно заронить добрые семена в сознание людей. Литература познает человека через природу объективную и природу субъективную, через его поступки.

Невозможно научиться быть талантом — даже лучший, опытейший педагог-художник не способен сделать этого. Впрочем, можно научить пустопорожнему философствованию, но нельзя научить философии, так же как нельзя научить творить. Одному художнику — Сезанну — всегда не нравился другой художник — Энгр, и он говорил: посмотрите, как нежно, как трогательно написан источник, но он мертв, там нет жизни, это лишь изобра-

жение. То есть можно научиться строить фразу, описывать предметы, сооружать грамотно композицию, наконец, можно привить себе навык, как писать, скажем, портрет, диалог, пейзаж. Однако нельзя научить радости и трагедии, самой жизни, а в искусстве тому, что называется «чуть-чуть».

Герой может действовать, ходить, совершать поступки, дышать, страдать, улыбаться, но это будет мертвое изображение. Что же такое «чуть-чуть»? Как это ни парадоксально, «чуть-чуть» — это талант и вместе с тем вся жизнь художника. Возможно, конечно, сымитировать и заимствовать чужой стиль и даже чужое настроение. Но сымитировать невозможно биографию, опыт и, главное, душу писателя. Молодому писателю, чтобы стать писателем, надобно делать собственную биографию, не уходя от ударов жизни, не избегая острых ее углов, ибо все это воспитывает душу.

Художественное мастерство остается особым мастерством, и молодым писателям не следует во что бы то ни стало «продвигать» свои вещи на страницы газет и журналов. Ведь главное в судьбе художника не тщеславие, не место в литературе, а сама литература. Когда сейчас раздаются слишком громкие голоса некоторых молодых поэтов: «Сделайте нам рекламу, показывайте нас по телевидению!» — становится неловко от этой беззастенчивой требовательности, коей не обладали ни юный Лермонтов, ни Блок, ни Есенин. Разумеется, новые литературные дороги для новых талантов вряд ли во всех отношениях окажутся гладкими. Но так было всегда. Наиважнейшее в том, чтобы было резко сокращено время движения каждого из писателей к конечной цели, к выходу книги.

Что касается моей биографии, то вся она — это мои романы, это все, что я написал. Моя биография соткана из слов, если можно так сказать. Мои романы — это я и все боли и радости общества, в котором я живу. Самое непостижимое пространство лежит между реальностью и словом. Это пространство — мучения писателя, которые все-таки кончаются, когда завершится роман.

Существуют три категории в нашей жизни, великие и определяющие все: это политика, наука и искусство. Думаю, что судьба каждого из нас и всего человечества во многом зависит от влияния этих божеств — от силы практической и силы духовной.

Политика и наука призваны отвечать на вопросы действительности, а литература ставит вечные вопросы перед человеком, разгадывая его тайну за семью печатями, которую, к примеру, бессильна раскрыть наука. Достоевский занимает сейчас одно из ведущих мест по своему влиянию на умы людей, в то время как снобы зачисляют этого гения в разряд так называемый традиционный. Им необходима «р-революционность» в любом варианте. Всякий серьезный роман — это средство познания общества. Литература отвечает своему назначению, когда она

критически изменяет отношение человека к действительности. Это я называю политикой нравственности. Не могу представить себе, чтобы в наше сложнейшее время главенствующую роль стал бы играть такой тип повествования, как роман, лишенный душевной боли, подменяющий страдания и радости человеческие мелкой игрой в сложности грустящего в осеннем парке мещанина.

Иные писатели интересны сейчас только исторически — с точки зрения стиля, ритма, метафоры и фразы, однако такие титаны, как Толстой, Достоевский, Бунин, Шолохов, Леонов, Булгаков, современны на все времена в высшем понимании этого слова.

Главное: художественная истина лежит в умении писателя создать живую жизнь, ее трагизм, нелепость, радость, отчаяние, разные полюсы чувств, способных заставить или заплакать, или засмеяться. Эти противоположности определяют настоящее искусство независимо от того, как теоретики, утопающие в формулах, назовут роман — традиционным или нетрадиционным.

Есть и другая изощреннейшая литература, которая «высказала» все метафоры и прилагательные, но она архаична, эфемерна, жалка, тщедушна, малокровна, потому что в ней нет человеческой боли. Какой смысл в бесполезной этой красоте? Для чего она? Для кого?

Да, только та литература останется бессмертной, что говорит о человеке с любовью, горечью и со смехом.

Воздействует только та литература, которая рождается из гущи конфликтов нашего грешного и бренного мира.

Записал Николай ДОБРЮХА

КРИТИКА — КАТЕГОРИЯ ИСТИНЫ?

Пожалуй, не будет недозволенным преувеличением заявить, что в последние годы наша критика не только вяло тлеет на полосах газет, на страницах журналов, припорошенная серым пеплом равнодушия, но и жарко горела отчасти искусственным, отчасти правдолюбивым гневом, была занята созданием новых гениев Востока и Запада, мстительной обидой самолюбий и междоусобных тщеславий, переходящих в ненависть. Тут же заранее хочу иметь нечто вроде алиби, отрицая утверждение последователей критиконенавистника Теккеря, которые могли бы сказать, что цель теоретиков литературы — пасквильанство. Нет, добрые побуждения критики иные: первое — пробудить живых и не забывать мертвых; второе — говорить правду (доступную всем) на языке, враждебном бессвязному, комплиментарному бормотанию.

Мое убеждение — у нас есть критики подлинного таланта, их немного, но они без средневековой гордыни понимают, что литература существует не для критической ее оценки, а для читателя, что ласкать и хулить дарования, придумывать собственные непогрешимые модели, наваливать горы нелепостей на литературные персонажи — занятие недолговечное и малополезное. Страсть и пристрастие — не одно и то же. Победа и поражение — стороны одной медали. Тем более нельзя не согласиться с тем, что мы бываем раздражены, когда писатель переходит из данной ему кем-то литературной системы в позицию иную, как если бы элемент в таблице Менделеева при помощи оскорбительного своеволия оккупировал чужую территорию.

Замечено было, что в силу разных причин Марселя Пруста, Джойса и Кафку многие из теоретиков в подлиннике не читали, да и в переводе получитали, однако в опусах своих о западной культуре повторяют заимствованные за рубежом чрезмерно высокие оценки их творчества. Нынешнее апостольство в теории искусства, как правило, пишет в своих катехизисах категорическую формулу: если существует мое мнение, изливающее свет на истину, то два солнца на небосклоне мировой литературы быть не могут. Порой не истина, а мода творит широкое мнение.

Неудержимая запальчивость в критике еще не есть основной мотив для исследовательского творчества, которое всегда ищет в литературе «многогранный кристалл правды», а не групповую благодать взъерошенных единомышленников. В устных дискуссиях они обладают фальшиво-сильным голосом, опирающимся на диафрагму, в статьях используют до конца, как говорят в Китае, все волосики своей кисточки, чтобы вызвать у читателей ненависть к разбираемому роману и его автору. Молчание же их (пауза на четыре такта) неизменно значительно. Впрочем, критики эти не призывают в советники терпение. Они редко сдерживают в себе вызов вспльчивого дуэлянта, они надеются, что пистолет их заряжен надежными, отравленными пулями, в то время как пистолет противника по ошибке либеральных и необразованных секундантов не заряжен вовсе, либо его помогли разрядить коварные «друзья», жрецы царицы Зависти, умеющие приспосабливаться к нашей простодушной доверчивости.

Мыслью художника, наверное, должна двигать не страсть к красоте фраз, гибкости эпитета и занятого сюжета, а убежденность в воздействии правдой. Мыслью критика, наверное, призвано руководить не упоенное самодовольство пьедестального мышления и Верховного судьи, а вера в воздействие искренностью, умом, строгим и справедливым. Льва Толстого не надобно опускать до читающей публики, но читателя следует подымать до Толстого, и наши Толстые и Достоевские питались разумом и чувствами народа.

Самое непоправимое несчастье писателя — это утраченное время и бессилие перед несовершенством бытия и искусства.

Самая большая беда критика — это самонадеянность и само-явление на сцене искусства, желание играть роль спасителя, не имеющего, к огорчению, ни эстетических средств, ни этического плана для строительства своих конструкций, ни серьезных идей, способных держать эту конструкцию. В то же время быть неискренним не опасно, ведь не так уж трудно изображать восхищение там, где пахнет бесталанностью. Но что же есть то, что пребывает в природе всех духовных вещей и чувств и от чего исходят наши души? Истина? Познание? Справедливость? Совесть?

Невозможно согласиться с литературоведческим цинизмом приблизительно такого рода: Лев Толстой был тот, кто написал «Войну и мир», но тот, кто лежал бездыханный на чужой кровати на станции Астапово, уже не был Львом Толстым. Эта софистика лишена огромности жизни и смерти, времени и пространства между началом и концом. В подобной литературной теории нет трагедии между здравым смыслом и своеволием, поэтому многое подвержено резекции, и здесь приветствуются не только режущие и колющие инструменты, но и все разнообразие недоказуемых доказательств.

Какое множество статей рождалось на один день, чтобы уйти в небытие, оставив после себя след малоароматического свойства, что, впрочем, нередко и входило в задачу зловещего исследователя. Мы узнавали о немислимых болезнях и аномалиях классиков (Державин, Крылов, Пушкин, Гоголь, Толстой, Лесков, Достоевский, Блок, Есенин), о великих «плагиаторах», использующих несуществующие чужие дневники, чужие мысли, чужие методы, сюжеты и фразы (Шолохов, Михаил Булгаков), о беззастенчивых заимствованиях у западной культуры (Гоголь, Лермонтов, опять Пушкин и опять Михаил Булгаков).

Нет, критика в эти последние годы не забывала классику, не отставала от литературного процесса, от бурного развития прозы. Критика большей частью была регистрационным, описательным, рецензионным действием, лишенным четкого эстетического вкуса, подтачивающим, расшатывающим основы художественности, возводя на витрину сезонной моды литературный фельетон в одежде романа. Эта же критика, сумрачно насупясь, утверждала, что в прозе современной, в нашей изящной словесности нет никаких достижений, кроме документальных вещей, что гражданское чувство никого и ничто не радует.

Как будто, благословенно прикасаясь к истине, читали мы труды довольно плодовитых авторов, samozабвенно твердивших об элитарности и вместе публицистичности нынешней литературы: труды, исполненные неприступной объективности, свободного полета раскрепощенной мысли, страдальческого отцовского чувства по отношению к притомившейся и потерявшей ориентир бедной нашей литературе, труды, виртуозно соблазняющие ро-

манистов синтезом в мучительной заботе о процветании прозы «беллетризма».

С не меньшим любопытством мы читали и читаем статьи представительниц прекрасного пола, общеизвестных своим тактом, воспитанностью, своей женственной мягкостью в тоне статей, отсутствием какой-либо мужской раздражительности. Нельзя не заметить их добродетельной работы, покоряющей беспримерным знанием столичной и нестоличной жизни, интерьеров квартир, куртуазных тонкостей деревенского колорита, матерински ласковыми советами пребывающим в темноте и невежестве писателям-фронтовикам, как надобно думать, что чувствовать, как поступать на поле боя литературному герою. Помимо того что мы, читатели, благодарны чутким критикам за их не-любовь к гнилым «глистогонам»-интеллигентам, к коктейлям, антидемократизму, а тем паче к красивым героиням, которых мужчины — увы! — видят преимущественно в эмпирическо-физиологическом аспекте. При этом мы должны быть благодарны милосердным теоретикам за то, что вся современная проза не была ими определена как «альбомные побрякушки», коли скоро и сам Добролюбов употребил эти слова в адрес пушкинских стихотворений «Я вас любил...» и «Нет, нет, не должен я, не смею...».

Мы восхищаемся и известным энергичным прозаиком, и критиком из Минска за его достоинство, верность самому себе, за его безошибочную и непоколебимую преданность факту, документу, «сверхлитературе», что двигают вперед, вдохновляют всю нашу скромную художественную прозу, указывают ей победы, вершины и, конечно, цели... Наверное, мы должны быть особенно признательны этому автору за его очень серьезное заявление, которое призывает нас к тому, чтобы литература забыла, что она есть литература, благодаря чему «она станет в большей степени литературой, а завтра, может быть, станет трижды литературой». Загораясь мистическим призывом, с пылающими мечтой глазами долго думал я, как же сделать это всем нам скопом, но, спохватившись, прочитал далее фразы, объяснившие мне вразумительно, что «сегодняшний Толстой все «нормы» Толстого прежнего нарушил бы!» и что в наше время «как бы они (Толстой и Достоевский) взорвали всю свою прежнюю литературу, все свои координаты, все свои сюжеты, все свои навыки!».

Но почему так грустно и так тоскливо от всего этого?

Герои раннего Гоголя в затруднительном положении искали выход в почесывании «потылицы». Неужто поскрести в затылке и задохнуться от мечты? В данном случае научно-фантастическая фигура «тезы» о взрыве, рассчитанная на ошеломление слабых головок, не вызывает на спор, а подсказывает лишь одну фразу: о господи, Толстой и Достоевский могли взорвать себя в любую эпоху, если бы они перестали быть художниками, перестали быть Толстыми и Достоевскими.

Преодолевая внутреннюю робость, иногда хочется спросить:

не оказалась ли наша проказливая критика впереди прогресса?

И здесь я бы предложил утвердить следующий транспарант:

«Призывы новаторов-ударников в литературу окончатся плачевно не только для литературы, но и для новаторов, призванных в нее».

Вместе с этими словами почему-то вспоминаю, что ассонанс в стиле неотвязчиво мучил Флобера и порой он убирал его в течение недели. Думаю и о том, как неустанно правил свои вещи Бунин, уже тяжело больной, перед самой смертью, едва двигаясь. По-видимому, не крик, не сдирание кожи, а качество художественной плоти есть «сверхлитература». Но это еще не все. Прежде чем постигнуть идею (и чувства) писателя, надобно хотя бы сделать попытку проникнуть в его биографию, психологию, индивидуальную систему мышления, в его так называемый внутренний мир, прикоснуться к его боли. Лев Толстой не мог не написать «Казачков», «Войну и мир», «Воскресения», «Хаджи-Мурата» и не мог написать их иначе. Даже на минуту нельзя представить эти вещи как документальные — они сразу утратили бы всю силу воздействия.

Если мы, люди восьмидесятых годов, сравним литературу о войне, созданную в годы войны, и литературу послевоенную, то равнобедренного треугольника не получится.

Стендаль говорил, что критика часто превращалась в форму рекламы авторов и издателей, носила меркантильный характер. Мне же ясно, что писатель, которому нужно заставлять себя читать, — не писатель, и мы заранее скорбим: имя его не останется в памяти потомков. Мне ясно, что жанр романа — это феникс, восстающий из огня (сколько раз пытались его сжечь за всю его историю), жанр бессмертный, как жизнь мозговой материи, познающей себя через человека. Мне ясно и то, что роман — не голая публицистическая ярость, не система формальных приемов, а цепь фактов, тщательно осмысленных, подтверждающих истину, которая всеми гранями показывает нам «кристалл правды», то есть портреты добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти, а в конце концов — портрет времени и автопортрет писателя.

В галантный XVIII век французская критика была сверх меры изящной, грациозной, учливой, воспитанной, и только Дидро и Сент-Бёв сделали ее жгучей, живой, плодотворной. Карамзин и Белинский вывели русскую критику за пределы помпезности и формального анализа, вдохнули в нее душу и страстность.

Современная мировая критика не стремится к диалектическому треугольнику — автор, читатель, жизнь, она или односторонне социологична, или элитарна, или бесстыдно рекламна (покупатель — товар) по отношению к любой книге, как, скажем, к лечащей десны зубной пасте либо к таблеткам, якобы увеличивающим мужскую силу.

Наша критика середины восьмидесятых годов чаще всего совершает свое дело «лишь на основе анализа книжной и журнальной продукции» (фраза одной сердитой критикессы), совершает с размаху, сгоряча, в сердцах, опираясь главным образом на распространенные обороты литературной теории той же сердитой критикессы: «и пошло-поехало», «чем дальше, тем больше». И независимо от хулы и хвалы групповая критика не признает никакой возможности диалектических истин, что для нее смертельно. Она модно яритса, модно хмурится, даже восторгаясь, в то же время не пытается, не желает сопоставлять разные части разбитого зеркала разлаженного нашего бытия, чтобы познать его. А красота формы, глубина характера, сообразность стиля встречаются ею пожиманием плеч, недоумением («А зачем это? Устарело!»), вызывает у нее кислую гримасу («Два года назад мы сетовали на скуку, царящую в журналах»), раздирающую рот зевоту («Красота — это опущенный шлагбаум, стена, нет публицистической остроты фельетона»); эстетический инстинкт презираем ею, порой закрыт глухими заслонками, превосходство же чужого мышления рождает сопротивление и бешенство. Вместе с тем нелюбовь к литературе маскируется любовью к народу, правда — заботой о гражданственности, о читательском вкусе, о нравственной безгрешности. Здесь лицемерие и лицедейство так же победоносны, как заманивающие конные атаки времен Чингисхана.

Этой критике нет смысла возражать и доказывать, что критика — часть идеологии, что величие политики зависит от величия культуры, что не все современники Достоевского понимали Пушкина, что художник — боль и язык народа, что титан эпохи Возрождения Микеланджело умер в год рождения нового исполина, Шекспира, и поэтому как бы существует неразрывная связь в мировой и современной культуре, что и у такого величайшего гения, как Лев Толстой, мы можем при педантичном старании найти языковые несуразности, восторженно подмеченные эссеистом Виктором Шкловским, этим «великим мыслителем», «мамонтом культуры», по определению одного чересчур возбужденного поэта.

Нет смысла говорить, что совершенство красоты и красота, хотя и они относительны в подлунном мире, — это зенит художества, а не тупик пошлости и скудомыслия (куда мы упираемся лбом со скорбным сожалением), что наши романы должны вызывать доброту, сострадание, гнев, надежду. Видимо, плохо все то, что схвачено и прославлено лживой модой (она к тому же всегда коварна), а не признано временем. Поэтому нужно солдатское мужество, чтобы оставаться в литературе тем, кто ты есть; надо научиться не прощать себе собственную глупость и уметь без трагедийного плача судить и признавать свои ошибки.

Нет смысла говорить, что критика никогда не подымалась и не способна подняться над художником. Способны в несчастных случаях высоко подняться лишь сами творения критиков (Белин-

ский, Добролюбов, Аполлон Григорьев, Лессинг, Сент-Бёв).

Не бессмысленно ли задавать вопрос с оттенком либерального упрека: «Где они, победительные социально-нравственные и философские категории в нашей теории?»

Вопрос этот может вызвать, так сказать, кривую усмешку, кислую гримасу, бесовское хихиканье в ладошку. Но, может быть, все-таки неустанные «шекспировские могильщики», которые появляются то там, то здесь, отвергая гений Шолохова, создают во имя поднебесного искусства новые эстетические системы? И ради этого бьют и живых наскучивших серьезными проблемами знаменитостей, бьют по сединам, по лысынам, по старческим шеем, выражаясь языком Моэма? Может быть, в вознесении хвалы придуманному гению, который не раздражает превосходством своего мышления, они ищут тщеславное самоутверждение?

Наверное, где-то в этих координатах следует искать более или менее точный ответ самому себе. Ведь критическая работа, как и художественное произведение, — это переход от личного к общему, это проекция души критика, независимо даже от того, насколько он искренен, это освобождение в конечном счете от груза навязчивых идей и склонностей.

Вы найдете у нас много специалистов по древнегреческой, древнеримской и византийской культуре, эпохе Возрождения, множество знатоков французского импрессионизма, немецкого экспрессионизма, западного кубизма, модернизма, мирового примитивизма и т. д. Как редкость встретите вы специалистов по древнерусской культуре и, конечно, по современной эстетике.

В течение последних пятнадцати — двадцати лет вы могли прочитать неисчислимое количество статей, десятки исследований, солидных монографий, трудов о всех литературах мира, могли с почтительностью узнать, что Хемингуэй и Фолкнер были «величайшими из великих», «художниками-новаторами», а Гарсиа Маркес, распространивший немислимые отблески своего таланта на всю планетарную литературу, открыл человечеству невиданные и неизведанные континенты. Все трое, крупные художники, кстати, не раз утверждали, что вышли из русской литературы и хорошо знали ее. Но лесть и любезные преувеличения всегда делали рекламу и никогда — талант, тем не менее талант все более и более становится товаром.

Но тотчас же рядом с неужержимостью и самоистязающим восторгом одних теоретиков вы почувствуете робость, милую застенчивость, неудобство, стыдливость других по отношению к творчеству соотечественников, и — тут уже иная любезность, иной стиль, иная фразеология в работах о Шолохове, Булгакове, Платонове, не говоря о литературном процессе последних десятилетий. Не так давно академик Д. С. Лихачев, старейший, заслуженный ученый, послал взволнованную телеграмму в адрес пленума Союза писателей: «Самое важное в литературе сейчас — покаяние». Что это за обобщение? В чем же, разрешите спросить,

каяться, дорогой Дмитрий Сергеевич? По какой горькой причине мы должны посыпать голову пеплом и бить себя в грудь сосновыми шишками? Зачем нам всем уходить в монастырь траппистов и лицемерно морить себя? Уже тридцать лет серьезная наша литература находится в непрерывном движении, поднявшись до высших достижений советской романистики после «Тихого Дона». В ней были удачи и неудачи, падения и мирового значения подъемы — в ней не было затишья и успокоенности, подобно застою и безветрию в экономике. Поэтому принижать нашу спокойную литературу по меньшей мере несправедливо. Несколько переиначивая формулу академика Лихачева, хочу добавить, что авторитет ученого — это обязанность, далекая от права высказывать суждения с ненадежными крыльями.

Как из чудесных сосудов сказок Шахерезады, из туманностей запутанных репутаций, из протуберанцев себялюбивой энергии являются некие тени литературной борьбы, бойкие посредственности, фальшивые интеллектуалы, администраторы от ведомств, защищенные званиями, безнаказанностью и ложью, грубо или ласково глумливые присяжные судьи искусства, которые, по словам Александра Блока, «похваляют и поругивают, но... Всякая шавочка способна превратиться в дракончика»?

В одном из мартовских номеров «Литературной России» поэтесса Лариса Васильева писала с подкупающей искренностью: «Критикессы — явление весьма характерное для нашего времени. Умные, острые, злые, как осенние мухи (задираюсь не без умысла вызвать их на разговор), — Татьяна Иванова, Наталья Иванова, Алла Латынина, Инна Ростовцева, Алла Марченко, Лариса Баранова-Гонченко... Их статьи, как бы несогласны с ними вы ни были, читать интересно, что говорит о несомненном даровании. Они точно знают, как и подобает женщинам, что хорошо, что плохо, как надо и как не надо, чаще всего бескомпромиссно раздают восторги и оплеухи, исходя из неких, впрочем, не совсем ясных позиций, отдаленно напоминающих салонные взгляды дам начала века или пародию на них».

Несмотря на разительность тонких наблюдений, не со всем тут можно согласиться с Ларисой Васильевой, не все названные имена однозначны. К тому же почему надо разделять литературу на «женскую» и «мужскую»? Впрочем, дело это настолько деликатное, что я не берусь спорить с талантливой и умной поэтессой. Но я, как и Лариса Васильева, против «салонных взглядов дам» на серьезную литературу. Поясняю эту мысль на конкретном примере.

Недавно не без интереса раскрыл книгу с интригующим названием «Загадки известных книг», вышедшую в издательстве «Наука» (автор И. Галинская), и, углубляясь в чтение этого уникального труда, все более поражаюсь прозорливому наблюдению австрийского врача, встречая на каждой странице властвующую

щие в тексте «фрейдовские оговорки». Это не было оговорками в прямом смысле, то есть случайно вырвавшимися фразами по вине неустанно работающего подсознания. Оговорки эти — само рассмотрение романа «Мастер и Маргарита», переполненное экскурсами (оговорками?) в работы замечательного украинского просветителя и философа XVIII века Григория Сковороды, в Библию, в поэтику трубадуров, в поэмы об альбигойском крестовом походе, в провансальскую поэзию XIII века, в прозу Эрнста Гофмана, в статьи поэта и философа Соловьева, который «как бы подготовил эстетическую программу романа-сказки Михаила Булгакова», в энциклопедический словарь Брокгауза — Ефрона, в труды французского историка Пейра, изучавшего борьбу католического Рима с еретиками альбигойцами, в работы немецкого историка XIX века Густава Мюллера, в поэзию и прозу русских символистов. Здесь чувствуется титаническое старание одержимости, слышится неустанный шелест страниц источников, строптивное желание доказать, расшифровать то, что не нуждается в доказательствах и расшифровке.

Работа о романе «Мастер и Маргарита», вежливо говоря, переполнена странными рассуждениями о разных отголосках, подражаниях, текстовых совпадениях, о перенесении Булгаковым в роман заимствованных идей, прототипов провансальского поэта XIII века Гильема, об использовании автором в полной мере соловьевского эстетического анализа повестей-сказок Гофмана, о творческом переложении сюжетов из книги немецкого религиоведа Густава Мюллера и в конце концов о том, что «Божественная комедия» Данте — литературный источник «Мастера и Маргариты».

Что это — любовь или ненависть к замечательному писателю? Или любовь-ненависть исследователя к предмету исследования? Многое становится ясным, когда вы читаете, например, следующий абзац: «Известно, что различные формы влияния Гофмана на русскую литературу, как и различные формы переосмысления его творчества, являются традиционными. Начиная с 20-х годов XIX века гофмановское влияние преломлялось так или иначе в творчестве А. Погорельского, Н. Полевого, В. Одоевского. А через такие произведения, как «Гробовщик» и «Пиковая дама» Пушкина, «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Петербургские повести», «Портрет» Гоголя, «Двойник» Достоевского, оказало и оказывает воздействие на многих русских и советских писателей».

Мне кажется, что некоторым нашим теоретикам литературы, сознательно исповедующим формулу «оригинальных талантов в русском отечестве быть не может», традиционно свойственны нищета мысли, узость чувства, эстетическая безграмотность, затушеванная начитанностью, пренебрежение к национальному — истоки этих воинствующих пороков лежат не в сегодняшнем дне. Более того, пренебрежение к своей культуре, уходящее в прошлое, оказало и оказывает воздействие на довольно

широкий круг сегодняшних критиков и литературоведов. Еще в XVII веке говорилось, что в Англии один лишь Шекспир, и она, Англия, поэтому несказанно богата. У нас же, в отечественной культуре, были, вернее навечно есть, непревзойденные Пушкин, Толстой, Достоевский, Гоголь, Бунин, Шолохов, Булгаков, но мы делаем брезгливо-скучающую гримасу и сквозь зевоту говорим, что мы ужасно, непростительно, неприлично бедны. И даже готовы доказывать в бесстрашной глупости, что их творчество — это не наше сознание. Что же касается современной литературы, то наша нарочито пристрастная критика настолько смешала, перепутала таланты и неталанты, достоинство и непристойность, красоту и безобразие, свет и тьму, правду и ложь, групповщину и честное служение литературе, что подчас вконец задуроченному читателю ничего не остается, как то и дело сомневаться в истинности оценок.

Между тем в искусстве, как и в жизни, больше света и простора, чем мрака и ограниченности. Искусству не свойственны застой, иссякающее движение, вражда к правде и красоте.

Заметили ли вы преданность художника одной благословенной модели?

Я поразился, когда, к примеру, впервые увидел это у великой Зинаиды Серебряковой (ее женские портреты), у неповторимого Врубеля (портреты мужчин и женщин, голова Демона), у моего любимого Юона (синеющие мартовские снега с тенями берез на сугробах), у чрезвычайно близкого мне Кустодиева (его купчихи, рождество, русские городки, зима), у строго лирического Рылова (холодок воды, свежесть ее, простор), у насыщенно яркого Ладо Гудиашвили (выражение глаз на женских портретах), у Ренуара (лица женщин во многих его картинах, «ренуаровские» лица...), у Курбе (голова ирландки, «Купальщицы», «Сон»), у итальянца Рафаэля (этот художник шел к божественно-невинной красоте Сикстинской мадонны через десятки прекрасных лиц). Нужно ли упрекать художника за эту, казалось бы, влюбленность в его вещах? А кому, собственно говоря, дано право судить художника за его верность? Одержимая любовь к прекрасному презирает всякий суд, она глуха к нему, так как видит в этом назидательную и пустопорожнюю болтовню. Сколько раз повторялись, варьировались в искусстве тема Христа, богоматери, мадонны, тема старой Москвы с ее неподобным городским уютом, Петербурга с закатными набережными, Парижа с его Нотр-Дамом, Сенной и бульварами (Марке, Писсаро, Коровин). Кстати, добавлю, что здесь даже ракурсы взяты одни и те же, как будто набережная Сены или Нотр-Дам написаны были из окна одной и той же мастерской в разные времена года и разными художниками.

Могу представить, что вызову удивление у моих друзей живописцев, преданных чистейшему реализму, но не могу не

сказать вот о чем. Мы бранно ругали и ругаем Сальвадора Дали. И все-таки в своей сюрреалистической живописи он достиг художественных высот, потому что учился не только у современных «аформистов», но и у великих мастеров Возрождения. Мало ли это значит? Заметьте, как в картинах его, которые вроде бы отрицают четкую гармоничную материальность предметов, выписаны отдельные детали — руки, лица, человеческое тело, одежда, архитектурные сооружения. Они написаны с трагической мыслью реалиста, который может упиваться красотой мира нашего, но и чувствовать приближение апокалипсиса, — и эта реалистическая часть картины в соединении с «аформой» производят впечатление. Здесь секрет его живописи, в этом ключ к его странному таланту. Его искусство нельзя назвать «беспредметным», где господствует мысль бессмыслия, его кисть фиксирует вспышки, видения изуродованного болезнями цивилизации сознания — и уже этим позволяет познать нам тайны подсознательного.

Можно согласиться, что символизм опасен тем, что правду превращает в абстракцию, создавая хилый отпечаток ее. Сюрреализм бывает интересен, когда познает правду, часть правды, осколок ее, как и очень личные, автобиографические романы, оголенные исповеди, подобные искренности снов (сны нельзя подправить, улучшить либо ухудшить их). В этом случае сюрреализм — составная часть реализма, самого глубокого, мудрого, непостижимого метода выявления истины. Реализм же зеркального отражения действительности снисходительно терпит фальшивые романы и плохую живопись, являющие собой тезис, комментарий, регистрацию фактов. Тогда и форма томит вас однообразным цветом скуки, чаще всего — вязнет, утопает в месиве проселочной дороги, в невнятном умиленном бормотании, в стилевой чересполосице.

Красота и безобразие — две стороны человеческой жизни. В чистокровной отдельности их не существует в природе. Серьезная литература не приемлет ни «певцов» ни «очернителей», ни пессимистов, ни оптимистов — в ней управляет разумение и строгое чувство. Высокая проза не позволяет выдавать предательство за добродетель, прозябание за жизнь, убогость рефлексов за мысль, ритм за стихию чувств, что, кстати, иногда возможно в поэзии.

И нельзя не помнить, что судьба и удел думающего писателя, наделенного совестью, страдать перед всем сущим за грехи людские и вместе с тем за свои неосторожные, острые, обидные, гневные слова, обращенные к несовершенному человеку и человечеству. Ведь искусство — это не одно лишь узнавание мира, а очищение от грязи, порочных страстей, лжи, корыстолюбия, злобы, трусости...

Кто новаторы и кто традиционалисты? Что раньше — традиция? Новаторство? Новаторство возникает в состоянии звездно-туманного замысла, в настроении мелькнувшей идеи (как

зарождение новой планеты), и это самая нераспознанная тайна творчества. Однажды я прочитал фразу критика о каком-то романе: «Все, о чем идет речь, само по себе непримечательно и традиционно». Речь шла не о стиле, не о системе образов, но о сюжете, о злополучном «треугольнике»: муж, жена, любовник. Таким образом, и Стендаль, и Флобер, и Мопассан, и Лев Толстой, и Лесков, и Чехов, и Бунин — «непримечательные» традиционалисты, так как использовали треугольник как плагиаторы, взяв его, во-первых, у самой жизни, во-вторых, в древней и древнейшей литературе. Дело, конечно, не в том, что «он не любит ее, а она его любит», но в том, как он не любит ее, и почему и как она любит его, и в силу чего страдают оба и не находят справедливого выхода.

В самой жизни, в нашем бытии можно пересчитать все сюжеты, все фарсы, комедии, драмы, трагедии, повторяющиеся конфликты, тысячи лет не умирающие проблемы общечеловеческой значимости, которых уже касались художники разных времен и разных народов и будут касаться до скончания века. О, какая банальность и какая традиционность в этой жизни и в самом искусстве, в философии, в писании книг, черт бы их взял со всеми вечными, проклятыми «детскими» вопросами, не правда ли?

Новаторство опирается на традицию, традиция из глубин своих родит новаторство — таков бесконечный натуральный процесс, постоянно обновляющийся, реально, а не насильно отражающий всю историю развития национальной культуры, ее особенности во всемирном обращении мысли.

Увлеченность формальными экспериментами и социально-символическими видениями ни к чему значительному не привела мировую культуру. Тем более что они начались в бедных мансардах, а закончились в особняках миллионеров, умерли в салонной роскоши, проданные, преданные, забытые.

Кто же в конце концов художник — пророк, подсудимый, прокурор в обвинительном процессе, адвокат? Посторонний в зале суда, равнодушно слушающий дело о судьбе искусства?

Что ж, художнику предназначено быть если уж не пророком в наш материальный, технократический век, то беспристрастным исследователем всех аномалий земных и одновременно адвокатом души человеческой и не до конца погубленной еще красоты. Думаю, серьезная литературная критика — это строгий друг художника, просветитель и толкователь. Иначе она бессмысленна.

В движении жизни литературная критика — категория истины. По статуту охраны чести и правды критике должны быть противопоказаны развращение духа, проституция мысли, рабская учтивость, злоба провокатора, переработка желчи в клевету, кокетливая страсть нравиться сильным («купи меня, потребитель, я удовлетворю тебя!»). Ей противопоказаны и сладостное уми-

ление, предупредительные рукоплескания перед восковым пьедесталом и жевание архиизвестных истин.

Если критика не заметит, что разрушительное мышление любого из нас, фальшивое правдолюбие, вредоносные проекты неких ученых из всевозможных НИИ — это вожаемое мечтание увековечить свое имя хотя бы геростратовой славой, если обещающие изобилие спасители земли из Министерства мелиорации и водного хозяйства будут радовать нас лишь мизерной отдачей, не оправдывающей громадные затраты, если сверхсомнительное планирование гидроэлектростанций на реках Енисей и Катунь уничтожит эти жемчужины природы (а в зоне затопления будущего Катунского водохранилища несколько тысяч археологических памятников от эпохи неолита до средневековья), если все это погубит внушительная сила Министерства энергетики и электрификации, как будто не ведающего скорбного опыта Волги, Днепра, Иртыша, Ангары и десятков других рек и озер, если, наконец, авторы анонимных и не анонимных сочинений, источающих яд наветов на честных работников, на инакомыслящих коллег, приведут к разгрому талантов и энергичных работников — если наша критика, отрицая застойное и утверждая живое, не заставит жизнь распрощаться с омертвелым, если этого в нашем сознании не произойдет, от всех надежд повеет гнилостным запахом, и мы окажемся в построенном нами самими лабиринте из экономических и духовных руин. Тогда пройти этот лабиринт вряд ли удастся нам, ибо невозможен в природе союз между правдой и ложью, хотя он, как это ни горько, терпим между людьми.

Добро и зло рядом с нами каждый день. Воздаяние добру и возмездие злу должны быть законом, иначе справедливость потерпит поражение. Покорность и смирение перед злом — это сдача в плен рабству, борьба со злом поднимает нас на крыльях самоуважения и свободы.

Что же такое перестройка? Это обостренное чувство настоящего времени, это культ правды со всей ее горечью и надеждой.

С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ

Погожим осенним днем бродил по Боевке. Есть у нас, в Курске, прямо в городской черте такое урёмное местечко по берегам Тускари. Вокруг приборно шумит город, а здесь — девственная тишина. Среди соловьино-чащобного разнолесья возвышаются и неохватными колоннами подпирают небо серебристые тополя, словно поседевшие от времени. Говорят, им уже за двести лет. Иные сухозершат, в непогоду скрипят омертвевшими ветвями, в изреженных кронах перестукиваются, сноровисто плотничают дятлы, соря окрест трухлявой, бражно пахнущей щепой. А в прикорневых дуплах, похожих на индейские вигвамы, мальчишки, еще не обремененные думами о беге времени и прочих высоких премудростях, разжигают костры и даже подкладывают в огонь где-то раздобытую поржавевшую гранату, пытаясь исказнить старое дерево, причинить ему побольше боли и зла, всеми средствами повалить его, дабы насладиться зрелищем, как с оглушительным и раскатистым, на всю урёму, треском надломится поднебесный великан и, роняя сучья, давя и руша соседние деревья, рождая стон и ветер, грохнется о содрогнувшуюся землю.

Но чаще больное и старое дерево подрезают пилами специальные рабочие, расхватывают на края, и мощный трактор, зацепив тросами, отволакивает их куда-то...

При виде упавшего тополя на душе делается скорбно; некоторое время пристрастно замечаешь, что в силуэте леса чего-то не хватает; но потом постепенно смиряешься и привыкаешь, как и должно тому быть.

Старики уходят один за другим. Но лес остается. На смену ветеранам поднимаются новые поколения — кто еще совсем юный, с несколькими листочками на незатвердевшем прутике, а кто уже в подростковом высокомерии, расталкивая других, прогонисто рвется к солнцу.

Такой вот молодец — двумя руками не объять, — одетый в рубчатое корье у обножья, будто примеривший новые, неразношенные сапожки, но чуть выше ствол еще бархатно-гладкий, с темными поперечными пропестринами на бирюзовой, словно атласной рубашке, широко и жадно раскинутыми во все стороны ветвями-ручищами, как бы стремящимися побольше, пошире захватить вокруг себя пространство — такой вот удалец счастли-

во вымахал даже не на ровном месте, а на дне продолговатой, замусоренной канавы.

«Да ведь это же траншея! — вдруг знобко осенило меня, когда я взглядом проследил почти неприметную ложбину, ужиными извилами уползавшую под сырую сумеречную сень подлеска. — Ну конечно, траншея! Вот отвилочек, ведущий к пулеметному гнезду, а это вот ямка, заросшая черемушником, — бывший солдатский блиндажик...»

Сколько их, этих рубцов войны, еще виднеется на Курской земле. Особенно при вечерней заре, когда низкое, косое солнце удлиняет тени от оглаженных временем окопных брустверов. И вид их всегда холодит, оторапливает душу. Но все-таки не так поразил меня зловещий свет траншеи, как этот тополь, вознесшийся над окопом. Ведь он пророс и выбросил свой робкий побег никак не раньше, чем из траншеи ушли солдаты.

— Иначе они затоптали бы тебя, — сказал я сочувственно дереву. — Ведь ты был тогда еще такой крошечный!

Я уже толкал свою пушку по болотам Белоруссии, обходил немецкий сотысячный «котел» под Бобруйском, откуда черным вороньем несло горелые штабные бумаги и по ночам над окруженными лесами всплскивались мертвенно-бледные ракеты отчаяния, тогда как ты едва только проклюнулся крошечным красноватым росточком на дне брошенного окопа. И еще тебе надо было расти все лето, чтобы дотянуться верхним листком до бруствера и хотя бы на цыпочках взглянуть, что там, за окопом. Вот так-то, брат. А я к тому времени уже топал по дорогам Польши — соседней с нами земли, затянутой, как бывает поутру над тополями, низким слоистым дымом, сквозь который непреклонно и гордо возносились острые стрелы костелов. Особенно жарко и дымно горел Белосток... Помнятся гипсовые мадонны под тесовыми острыми кровельками на польских полевых перекрестках, скорбные и кроткие, с младенцами на руках, простреленными автоматными очередями... После мы пили пилотками из Нарева, севернее Варшавы. И лишь потом, уже по снегу, повернули на север, в Мазуры, и дальше — в тевтонские земли... Впрочем, что ты помнишь? Ничего ты не помнишь. Ведь ты, неохватная дылда, почти догнавший своих предков, вовсе не видел войны. Ты еще просто салага, маменькин сынок, дубина стоеросовая. Вот что ты! Я хлопал ладонями, стучал кулаками по его обножью, пытаюсь разглядеть затерянную в синеве вершину! Удары и шлепки мои были глухи и жалки, а ствол неподатлив и безразличен, как монолит, и я вдруг всем своим смятенным существом ощутил, какая толща времени напластовалась над нами, бывшими фронтовиками.

И еще был случай, когда я вот так же остро и знобко ощутил эту толщу.

Как-то пришла повестка из райвоенкомата. Обыкновенная служебная открытка с обычным предписанием явиться такого-то

к таким-то ноль-ноль по вопросу воинского учета. Дело привычное, как говаривал беловский Африканыч, захватил положенные документы, пошел. Дорога тоже привычная: все послевоенные годы райвоенкомат располагается на тихой обочонной улице с неказистыми провинциальными домишками. Как вселился после освобождения Курска в первое попавшееся уцелевшее помещение, так в нем и застрял. Город с тех пор вырос более чем вдвое. Учетной, допризывной и прочей работы намного прибавилось, а при таком вот наплыве, как в тот день, вызванный народ и вовсе размещать негде. Стиснутый соседними застройками, военкомат даже не имел маломальского двора, где можно было чем-то и как-то занять людей, не говоря уже о внутренних емкостях старого купеческого дома с его узкими загогулистыми коридорами и переходами, с бестолковыми клетушками служебных отделов. А известно, в такие часы, пока суд да дело, учетный контингент, ожидаючи, томится и мается и поголовно лезет за куревом. Предупреждай не предупреждай дежурный офицер, все равно в рукав да курнет кто-нибудь, за полу собственного плащишка дым да выпустит. Народ ушлый, бывшие окопники, у фрица под самым носом куривали! Через короткий срок в туго набитом коридоре становилось серо и непроглядно, и тогда какая-нибудь учетчица, не выдюжив, категорически поставленным военкоматским голосом объявляла: «Та-ак! Военные билеты все сдали? Сдали. Тогда — шиг-гом ар-рш отсюда! Все, все до единого!» — выгоняла на улицу.

Пока проходишь этот путь — от дома до военкомата, — странные превращения происходят с тобой. В начале пути голова еще полна дум о прерванных делах, ну, скажем, о том, ехать или не ехать на пленум... По выходе из лифта с тобой почтительно здороваются консьержка, это ее почтение невольно добавляет тебе сознания собственной значимости, и ты, самодовольно покашляв, добившись от голоса авторитетного звучания, надеваешь для большей респектабельности притемненные очки, а скорее для того, чтобы, не отводя глаз, рассматривать встречных прелестниц, бодро цокаешь по утреннему тротуару. Но, странное дело, как только ты, не забыв спрятать легкомысленные очки, вливаешься и смешиваешься с толпой у дверей военкомата, так все мирское, суетное, наносное оставляет тебя, срабатывают какие-то старые, дотоль подспудно дремавшие рефлексy стадности, откуда-то появляется готовность делать, как все, терпеливо и сколько угодно стоять, не спать, не есть, переносить любые невзгоды, терпеть жару, духоту, табачный дым, осеннюю морось, стекание дождевых капель за воротник и в то же время обострившимся ухом ловить и беспрекословно исполнять любые команды, даже такие: «Вот вы трое — собрать в коридоре все окурки и доложить».

Когда я подошел, у входа, на уличном тротуаре, уже толкалась, перемешивалась, гомонила, балагурила, ерничала, дружно хохотала и повально курила плотная толпа.

— А в чем дело? — спрашивали только что прибывшие.—
Зачем вызывают?

— А ты что, не слышал?

— Да нет, а что?

— Ну как — что?.. Ложку с котелком прихватил?

— Не-ет. А зачем? Что-нибудь серьезное?

— А то как же! Сейчас термос привезут. Будут по секундомеру смотреть, кто как пшенку рубает. Который разучился, не уложится во времени, того на месячную переподготовку.

Народ дружно регочет, а новичок смущенно озирается.

— Нет, правда, ребята...

— А правда такая: ты какого года?

— Двадцать пятого, а что?

— Ну вот и достукался: весь двадцать пятый на увольнение.

— Как — на увольнение? Снимают с учета?

— Ага! Под зад коленкой.

— Нет, правда — совсем? Что же, выходит, уже не нужны?

— А ты чего хотел? До вставных челюстей числиться?

Пора и совесть знать: послужил — дай послужить другому.

И я видел на лице бывшего солдата растерянность и смятение, какие испытал и сам только что. Небольшими группами по алфавиту, по несколько букв одновременно стали приглашать в зальчик. На кумачовом столе — графин и стопка краснокорых военных билетов. В каждом на тридцать четвертом пункте, где значилось: «Исключен с воинского учета за достижением предельного возраста состояния в запасе», стояла большая гербовая беспрекословная печать и комиссарская роспись. Всё! Обжалованию не подлежит. Отказаковались, голубчики! Подумать только: уходил подчистую, насовсем, безвозвратно двадцать пятый год! Уходили бывшие двадцатилетние солдаты Победы. Мальчишками форсировавшие Днепр, освободившие пол-Европы, штурмовавшие Берлин... Ходили в атаку, на яростные вспышки пулеметов, схватывались врукопашную в тесных, заваленных трупами траншеях, со связкой гранат ползли навстречу бегущим, лязгающим, отшлифованно сверкающим гусеницам... Но даже среди смертельной опасности они не были способны удержать свое еще не изжитое подростковое мальчишество, потребность озорства и шкоды. Помню, как в Польше ползли мы на нейтралку за ничейными огурцами. Весь смак этих вылазок заключался в том, что по всему живому били немецкие снайпера и надо было не попасться им на мушку. Ползли, прятаясь в ложбинах между гряд, затаивались, передыхали, усмиряли стук крови в висках, снова осторожно переползали. И, набив пазуху огурцами, счастливые и гордые, на животе переползали обратно. Вдруг — ти-у! Это снайпер бил по шевелящейся ботве. Заметил, гад. Хорошо, хоть не разрывной. Только продырявил листья над самой головой...

И вот они уходили. В окончательный и безвозвратный запас. Поседевшие, оплывшие, иные, наоборот, с язвенно запавшими

щеками и шамкающим ртом, натруженные, наработавшиеся за эти, в общем-то, нелегкие послевоенные годы. Дорогие мои мальчишки! Товарищи и содрузи по солдатским невзгодам и радостям. Какие вы все стали! Право, наворачивается слеза...

Они еще хорохорились, изображали из себя бравых, бывалых, якобы и до сих пор не растерявших той прежней бравости, шутили, вспоминали и пускали в ход окопные присловицы и побаски, вроде той, дескать: «Оторви бумажки твоего табачку закурить, а то спички дома забыл». Но мне-то видно: все они переживают и прячут в себе эти приспевшие горестные минуты. Никто из них не обрадовался предстоящей полной свободе — освобождению от самой святой обязанности быть защитником своей Родины. Никто с этим в глубине души не согласился и не смирил себя.

А тем временем майор за кумачовым столом выкрикивал:

— Никандров! Алексей Федотыч!

— Есть!

Торопливо из задних рядов, позвякивая медалями, на ходу шаря рукой у горла, будто проверяя, застегнута ли пуговица, к столу печатно вышагал и остановился, руки по швам, щуплый, неказистый мужичок в провислом куропаточно-сером пиджаке. Он снял сетчатую, под рисовую соломку, шляпу, сунул под мышку и провел ладонью по жидкому косому зачесу на темени.

— От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, — торжественно, уже в который раз, дойдя до буквы «Н», повторил майор, — благодарю Вас за доблестную и безупречную службу в рядах Советской Армии.

— Я на Северном флоте служил, — с гордецей уточнил Никандров, и майор, заглянув в его билет, поправился:

— ...за службу в рядах Советского Военно-Морского Флота...

— Служу Советскому Союзу! — истоиво грянул северофлотец, и тонкая, жилистая его шея и большие оттопыренные уши в как бы капустных прожилках враз залились краской.

Майор протянул Никандрову руку, потискал ему ладонь, а другой вручил военный билет.

— Разрешите обратиться, товарищ майор, — вытянулся Никандров.

— Пожалуйста, обращайтесь.

— А если того... Ну, чего-нибудь такое неладное... Дак как... Может, опять позовете?

— Обязательно позовем! — засмеялся майор.

— Учтите! — поднял палец Никандров и почему-то погрозил им майору: — Мы еще моге-ем!

Майор отечески потрепал морячка по плечу, одновременно легонько поворачивая и подталкивая его к залу, и тот, удовлетворенно надев шляпу, протопал на место, выкрикивая:

— Так что про нас не забывайте! Рановато еще...

— Да угомонись ты, полундра! — кто-то, смеясь, одернул североморца. — Весь проход песком засыпал.

В зале захохотали.

— А ты — заткнись! — огрызнулся моряк. — Еще поглядим, чей песок...

— Никудаев! Степан Петрович!

— Есть!

— От имени Президиума...

— Служу Советскому Союзу.

И вот, как выстрел в упор, неотвратимое, неизбежное:

— Носов!

Сердце разом толкнулось надрывно, обожгло виски.

— Есть такой?

— Есть... Иду...

Но идти за этой свободой действительно было трудно. Ноги подло обмякли, во рту сделалось сухо, шершаво... Надо бы в таком случае собраться с духом, найтись, как-то отшутиться, не показать виду, что тебе стало вдруг муторно, не по себе. Но не нашелся, молча, деревянно, глядя в одну точку чем-то занавешенными глазами, — не нашелся потому, что до последнего мгновения был внутренне не готов, не верил в такое, как в солдатской молодости не верил в свою смерть.

— От имени...

Возвращаясь к своему месту, раскрыл билет. А там, как у всех: «...за достижением предельного возраста».

Да, братцы, бежит время... Вот и в грядущем мае прогремят залпы уже сорокового салюта нашей Победы. Подумать только — сорокового! Какой высоченный тополь времени поднялся над нашими головами! Даже для страны это не малый отмер, не говоря об отдельном человеке. Иных уж нет, осиротели их боевые ордена и медали, а для уцелевших — это, как поется в песне, воистину «праздник с сединою на висках». А я бы от себя добавил: «И с валидолом в кармане». Ибо пошел я в прошлом году Девятого мая на курское мемориальное кладбище и после гранитных и мраморных плит, венков и высеченных бесконечных имен, всплесков музыки и тихих всхлипов замерших у надгробий пожилых женщин в черных платках, и особенно глядячи на поникших плечами, несмело шаркающих по кладбищенскому асфальту подошвами, с лихим белым пушком, колышимым майским победным ветром на обнаженных головах, бывших гвардейцев прославленных бригад, дивизий и корпусов, — после всего этого вдруг так прихватило, что забился в кусты и там едва отлежался. А нужного в тот момент в кармане и не оказалось...

Нам, уходящим, часто задают вопросы, ну, допустим, такие: можно ли ожидать от писателей, не принимавших участия в Великой Отечественной войне, тем более родившихся после, и даже много позже, значительных произведений на эту тему? И есть ли у писателей-фронтовиков какие-либо принципиальные преимущества? Относительно первого вопроса двух мнений быть не может: от литературы грядущих поколений следует ожидать

нового интересного осмысления темы Народной войны 1941 — 1945 годов. Тому вдохновляющий пример: Толстой и его «Война и мир». Он создавал роман спустя полвека после войны с Наполеоном, но такое впечатление, будто своего капитана Тушина писал с натуры в передышках между яростными налетами французских кирасир. Впрочем, возможно, что образ капитана Тушина у Льва Николаевича сложился и вызрел на сева­сто­поль­ских бастионах, где ему самому довелось понюхать подлинного поро­ху. К тому же надо учесть, что некоторые конкретные пушки, гремевшие на Бородино, в том же виде, теми же ядрами обороняли и Севастополь. Так что для Толстого конкретика войны оставалась почти неизменной и наглядной даже спустя почти полвека.

Что же касается преимуществ, то при условном равенстве талантов преимущество останется на стороне писателя-очевидца. Как бы мы ни изощрялись, нам никогда уже не превзойти «Слова о полку Игореве» с его невоспроизводимой историко-поэтичной плотью, источающей не подлежащие синтезу дух и аромат того времени. Можно написать тысячи современных поэм о походе на половцев, но такую, как «Слово», — никогда! Точно так же ни цветной пленкой, ни шириной экрана, ни количеством серий, ни головокружными трюками каскадеров не побить, не перещегоолять нам односерийного, черно-белого, простенько снятого старинными камерами незамысловатого «Чапаева» с его эпохальной нотой: «Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой...»

Из будущих книг неминуемо уйдут какие-то тонкости, приметы и характерные подробности минувшего времени, как, видимо, что-то ушло (и мы того не замечаем своим современным зрением) даже из «Войны и мира». Время в известной мере развяжет руки будущему писателю, ибо среди читателей-современников уже не будет дотошных очевидцев, какие окружают нас теперь. Сейчас ведь как: чуть что, сразу письмо или звонок: «Па-звольте! Откуда вы это взяли?! Да не было в сорок первом никаких раций! Я сам обслуживал полеты, знаю. Летят, как су­ндуки. Если что случится, экипажу ни до кого не докричатся. А вы пишете...»

И это, как правило, — не мелкое подсиживание, не злорадное потирание рук после писательской промашки, а естественное требование от литературы — правда и только правда. Он, читатель, тоже ведь участник войны, тоже очевидец и потому чутко и ревностно следит, как и о чем мы пишем. Литература о войне для такого читателя — не развлекательная словесность, а средство поддержания в себе гражданского чувства сопричастности с минувшими событиями, с судьбой Родины, ее героическим прошлым.

Такая ревностная опека, воистину народный контроль, дисциплинирует писателя, заставляет его быть осмотрительнее, взывает к его совести и чести.

Обвес и обмер в обращении с правдой безнравственны. Тем более безнравственно обмеривать будущие поколения, которые столь же незащитны перед нашим наследием, как и наши родившиеся или еще не родившиеся дети, зачатые в нетрезвом уме.

Правда — это важнейший компонент человеческой среды обитания, как, скажем, земля или воздух.

Растение, выросшее в тепличных условиях, то есть в искаженной среде, как правило, не может существовать или долго пребывает в открытом грунте. А открытый грунт это и есть сама жизнь, ее не прикрытая полиэтиленовой пленкой правда.

Для человека тепличная среда еще более опасна. Опасна не только для самого теплично возросшего, но и для окружающего его общества. Ибо теплица вовсе не уютный уголок благоденствия, как иногда кажется, а вредоносная сфера, растлевающая человеческое сознание и душу. Человек, воспитанный на тепличной материальной и духовной неправде, социально патологичен. Поведение его непредсказуемо.

Это — во взгляде в наше будущее.

А вот — из нашего прошлого.

Бесчисленные братские могилы и обелиски, в которых и под которыми зарыты двадцать миллионов наших соотечественников, — не только следствие того, что враг был силен и коварен, что напал он на нас внезапно и т. п., но еще и в какой-то степени на совести пишущих и говорящих языком литературы и искусства, что-то недоговаривавших, умалчивавших, а то и просто не то говоривших своему народу. Кто не помнит это благодушное: «Если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы»? С каким распирающим грудь энтузиазмом и гордостью пелось это по всей стране — в семейных ли застольях, в детских ли хорах, на всенародных праздниках, уличных колоннах, на разукрашенных кумачом площадях и стадионах. Мы, тогдашние, радовались этим словам, радость переходила в веру, а вера — в наше сознание. Но вскоре горестно обнаружилось, что пели, ликующе произносили всего лишь безответственные слова, выдававшие желаемое за действительность.

Слово вооружает, но оно и обезоруживает.

Обо всем этом мы не должны ни на минуту забывать, садясь за чистый лист бумаги или берясь за съемочную камеру.

Именно нами, прямыми очевидцами, закладывается основа исторической правды о войне, на которую потом будут опираться будущие поколения, как в свое время мы, стремясь постичь события, происходившие без нас, скажем, годы революции и гражданской войны, познавали из правды «Тихого Дона», «Хождения по мукам», «Разгрома», «Бега», «Железного потока» и других книг, выверенных временем и совестью художника.

Если литература вообще и военная литература в частности — зеркало жизни, то в последнее время, заглядывая в это зеркало,

мы, бывшие фронтовики, не всегда узнаем себя в нем. Тому причина — небрежное отношение к чистоте его поверхности, вследствие чего и возникает искажающая деформация. Примеров множество, особенно в кино. Последний пример: многосерийная лента «В лесах под Ковелем». Во вступительных титрах предупреждают, что фильм создан на документальной основе. Верю, но когда я вижу сытого, мордатого партизана, лежащего на бутафорских нарах в блистательных белосахарныхakraхмаленных кальсонах, когда я смотрю на ухоженный, чуть ли не с посыпанными песком дорожками партизанский лагерь, похожий на профсоюзный летний дом отдыха, с аккуратными землянками, благодушно подымливающей кухней под еловым навесом,— всё! Я этому фильму уже не верю. Не верю я в сцену с пистолетом, который лепит из тюремной пайки арестованный немцами скульптор и тут же, будучи голодным, жадно откусывает дуло... Все это картинно и дурно... Дальше я смотреть не стал... Слишком по представлению режиссеров все было легко и просто. Эти эффектные взрывы, летящие под откос вагоны и паровозы... Эта бесприцельная стрельба из автомата от живота, которую особенно нравится снимать молодым ковбойско-джинсовым режиссерам...

Да, вагоны и паровозы действительно летели под откосы, но далеко не такой ценой. Партизанский лагерь — это не стройотряд на природе. Это — затаенный остров в тылу врага, это постоянное чувство отрезанности от Большой земли, постоянная опасность обнаружения, ожидание предательства, выдачи, налета, облавы, это — напряженность с едой, а то и просто многодневное голодание, нехватка боеприпасов, медикаментов, это унижительные, извиняюсь, вши, от которых в тех обстоятельствах почти невозможно избавиться, наконец, самое страшное — тиф, иногда косивший бойцов страшнее вражеских автоматов.

В подобных условиях, далеких от киноэкранных, и действовали партизаны — совершали свои вылазки, снимали часовых, закладывали фугасы и мины.

Даже, в общем-то, в хорошем и достоверном фильме «Освобождение» постановщики не избежали искушения приукрасить наших бойцов. Всех одели в новые телогреечки, обули в сапожки и выдали красивые поблескивающие касочки. А в это время, когда мы готовились к операции «Багратион», явившейся темой одной из частей «Освобождения», на мне были вдрызг разбитые ботинки, тряпичные обмотки, подранные и неумело собственноручно зашитые на коленках х/б штаны, почти бесцветная гимнастерка без единого погона, и — никакой каски на лопухой остриженной голове. Ничего себе — красавчик! Потом, уже провав оборону, я стащил с убитого фрица сапоги — уж больно невмоготу было стыдно молодому, особенно когда на батарее появляются санинструкторши, ходить в обмотках. Но из трофейных сапог отвратительно воняло чужим, вражеским потом, и я не решился надеть, а саданул по ним из автомата. Кстати, из

автомата, а тем более из пушки на фронте стрелять приходилось далеко не каждый день, во всяком случае, гораздо реже, нежели в иных кинофильмах и книгах. Зато солдат трудился, как муравей, каждый день, а если нельзя днем — то ночами. Оттого так донельзя и было изношено наше обмундирование. И вовсе это не по бедности армии, так что стыдиться этого и излишне принаряжать нас в кинофильмах не надо. Маршал Еременко в своих воспоминаниях писал, что на Калининском фронте, чтобы проложить по болотистой местности всего только один километр фронтовой дороги, надо было спилить, разделить и подтащить к лежневке около тысячи деревьев! Вдумайтесь, что это была за адская работа. Какая же тут уцелеет гимнастерка!

Вообще война — это прежде всего терпение. Долго идти, тяжело нести, изо всех сил толкать, вытаскивать, копать, пилить, забивать, вычерпывать, крошить камень, долбить мерзлоту, не спать до умопомрачения или забываться мгновенным, как обморок, сном на ходу, мерзнуть, зуб на зуб не попадать, на посту колотить промерзлыми валенками нога об ногу или перемогать сырость, дождь, жару, жажду, терпеливо, иногда сутками ждать куда-то запропастившуюся кухню, грызть захудалый затхлый сухарь за неимением ничего другого. Курить листья, мох, добывать огонь кресалом, спать одетым, часто на сырой земле, а то и просто в снеговой ямке. Терпеть вражеские пули, зверские минометные обстрелы, подавлять в себе злость и искушение пальнуть ответно, зная, что каждый патрон, каждый снаряд на счету и тебя за это геройство по головке не погладят.

Опять же из воспоминаний маршала Еременко: «К началу наступления (январь 1942 года, Калининский фронт.— *Е. Н.*) отдельные дивизии, например, 360-я, не имели ни одной суточной дачи продовольствия. Пришлось искать выход из положения, отбирая у одной части небольшие запасы и передавая их другой, не имевшей ничего. Так были отобраны сухари у 358-й стрелковой дивизии и переданы 360-й, чтобы накормить людей хотя бы к вечеру первого дня наступления».

А мороз-то стоял лютый! А снега — по пояс! Идти надо было без сопровождения танков и даже артиллерии, потому что все застряло и отстало. В животе — пусто. И в вещмешке — тоже ничего. А впереди — в теплых укрытиях, за проволокой и минами — сытый и обогретый немец, вооруженный до зубов.

Все это и есть массовый героизм нашего народа на войне. Затыкание собственным телом амбразуры, бросание со связкой гранат под гусеницы совершали не все, единицы из сотен, но через горнило стойкости и долготерпения прошли миллионы безвестных Копёшкиных. И потому — победили подготовленного, разбойно вооруженного, наглого, самоуверенного и беспощадного врага.

Победили, но вовсе не так, как писал в рассказе «Мальчик из Семлёва» уважаемый литературный метр Константин Федин. В рассказе речь идет о мальчишке, одетом в военную форму,

с худенькой шейкой, вытянувшейся из слишком просторного воротника. «Его детское лицо выделялось нежностью красок и блеском широких глаз». И вот этот малыш, оказывается, приводит от немцев «языка».

« — Сколько же всего привел?

— В общем десять.

— Десять немцев? Ишь ты какой! И что же, поодиночке доставлял или как?

— Когда как,— ответил он врасстяжку,— то по одному, а то по двое.

— Как, и двоих приводил? Ну, расскажи, как это было.

— Да немцы в разведку чаще пьяные ходят.

— Что же они, качаются?

— Ну да...

— Да как же взял? Ты один, а их двое.

— Подбежал, стрельнул одному в руку, а другого по башке револьвером — стук! — и разоружил. Связал им руки назад, а потом наша разведка подоспела. И повели... — Он подождал немного и добавил: — Еще раз я тоже взял двоих, а один не захотел идти. Уперся — и никак.

— Ну и что же?

— Ничего. Пристрелил его, а другой пошел».

Оказывается, вот так — легко и просто — добывалась наша Победа. Откуда же тогда эти двадцать миллионов, если всякий пацан брал в плен сразу по два немца?..

Поэтому, когда в фильмах и книгах несоразмерно много красивой, феерической пальбы, взрывов, прыжков на шею врага или с крыши на крышу, самбовых приемов и подсечек, мы тем самым невольно отделяем, отгораживаем читателя и кинозрителя от соучастия в событиях минувшей войны. Ибо все это не про него, не совпадает с его чувствами и памятью о пережитом — памятью, которую и поныне тревожат по ночам кошмарные видения.

Дети смотрят на такую пальбу с живота, не целясь, и им дается весело.

А мне от этого грустно...

Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

Как много в слове нашем, в мыслях наших начинается с Пушкина! Своим умным и проникновенным стихом поэт уводит нас в какой-то рай, как заметил А. Н. Островский, в рай, в тонкой и благоуханной атмосфере которого возвышается душа, улучшаются помыслы, утончаются чувства... И даже — добавим от себя — даже окрест взглянешь как будто зачарованными глазами:

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный...

И какое славное, какое тонкое видение вдруг рождается в тебе совершенно из ничего — из каких-то нескольких обыкновенных слов, каких-то само собой разумеющихся понятий. Разве только вот этот «друг прелестный»... Но не этим ли словом, как волшебной палочкой, поэт убрал с твоего пути скудельные предметы окружающей тебя реальности? — и на тебя, освобожденного, обрушилась уже целая лавина чистого восторга:

Пора, красавица, проснись;
Открой сомкнуты негой взоры...

Сказать нельзя, что за чудо — эта высокая поэзия!
Да и в окно взглянуть — разве дух не захватит от восхищения?

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит...

Слово поэта отделило тьму от света, и теперь пусть за окном твоим вовсе не великолепные снежные ковры, не голубые небеса, а стена бетонная или кирпичная, пустырь, стройка какая-нибудь, свалка, гаражи, трубы, дымный город, — твоя душа уже освобождена от низкой власти обыденного мира. Пусть на минуту освобождена, всего только на одну минуту! — но в эту минуту ты за ново обретаешь утраченные было образы земного рая:

Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит...

И особенно торжественно делается на сердце, когда

Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь, не вельет ли в санки
Кобылку бурую запречь?

Да, да, велеть! Обязательно велеть! Ведь как хорошо, как замечательно прокатиться в санках!.. Но позвольте, сударь, говоришь ты себе в некоторой растерянности, велеть — кому?..

«Ведут ко мне коня...» Как это славно, красиво — конь! Но — ведут... Кто ведет? Почему? Откуда ведут?.. И вроде бы внушаешь себе: понятно, мол, другая ведь жизнь была, слуги, работники, господа, богатые и бедные, одним словом, чего спрашивать попусту, для чего возвышенные чувства разрушать этими мелкими вопросиками, и раз уж ведут коня, так скажи спасибо, садись и поезжай. Да не оглядывайся!.. Если не оглянешься, то вопросов и всяких там вопросиков не будет; если оглянешься, вопросы возникнут, а раз вопросы, то какой уж рай? — ведь рай только тогда и рай, когда нет никаких вопросов, когда все совершается в самом себе лично, или уж с «другом прелестным» вдвоем что-то совершаем, но по обоюдному, разумеется, порыву, и тогда только рай, в тонкой и благоуханной атмосфере которого возвышается душа...

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений дивной красоты...

Многое начинается с Пушкина в нашем слове, в наших мыслях и в душе нашей, но ведь только н а ч и н а е т с я!..

Глава первая

1

Однажды в литературном разговоре я спросил своего товарища литератора, с каким чувством встречает он в сочинениях старых писателей-аристократов слово «ч е р н ь»?

— Да как-то, знаешь, не обращаю внимания,— беззаботно ответил он.

— Во всяком случае, к себе никаким образом не относишь? Ну хотя бы в плане историческом, генеалогическом...

Он засмеялся и, видимо не всерьез приняв мой вопрос, сказал:

— А что, разве во времена Пушкина такое уж маленькое было сословье сочинителей? Мне бы местечко нашлось! — добивал он без тени сомнения.

Я спросил, на что же он обращает внимание в старой русской литературе.

— На художественность,— сказал он.— На благозвучность слова. На свободу выражения чувства.

— Но...— начал было я, однако товарищ довольно строго перебил меня:

— Я понял, куда ты клонишь. Но если хочешь знать, то я уверен, что «Бедная Лиза» в разрушении крепостного права в России сделала не меньше, чем «Путешествие из Петербурга» и «Записки охотника» вместе взятые.

— Но позволь, это совершенно разные вещи, да я в эту сторону вовсе и не клонил! Но все равно — как же сопоставлять?

— Да очень просто. «Бедная Лиза», как и вообще поэзия, воспитывает человека, в данном случае воспитывается гуманистическое отношение человека к человеку! И это самый надежный путь!

— Но какой же он длинный! И будь он единственный, где бы мы с тобой были! Впрочем, тебе бы местечко нашлось...

Наш литературный разговор перескочил, как это бывает, на что-то другое, а там — на третье, четвертое, и пяти минут не прошло, как мы уже и не помнили ни о черни, ни об аристократах молодых с простодушными барышнями, да и вся историческая перспектива, куда мы попытались заглянуть, затуманилась...

Но странно, как-то не уходила насовсем из памяти та безоговорочная уверенность моего товарища в отношении местечка. А на чернь, говорит, я просто не обращаю внимания... Признаться, мне завидной показалась такая свобода, потому что при этом слове, да и при некоторых других, я отчего-то всегда точно бы запинался, стеснение какое-то испытывал, хотя чего бы, кажется, запинаться. Может, думаю, что-то ты недопонимаешь? — а когда недопонимаешь, всегда возникают затруднения, всегда тяжело. Вот хотя бы когда и сам сочинишь чего-нибудь простенькое, рука не поворачивается написать слово «баба». И слово-то как будто хорошее, русское слово, отчасти и сугубо деревенское, простое, и все классики очень широко употребляли, так, что вроде бы и сомневаться нечего, а тем не менее нет-нет да и придет в голову: а вот о матери своей ты скажешь так: баба? — не скажешь. «По дороге шли две бабы и одна женщина...» Вот и пропадает во фразе благозвучность и свобода выражения.

Это если идти от примера, от высокого литературного образца. А если от своей жизни? От благозвучия живой действительности — к благозвучию слова? — да разве не на этом пути и слово Пушкина обрело красоту и смысл?! Но вот сто пятьдесят лет спустя хорошее русское слово почему-то не совпадает с тем, что оно пытается запечатлеть. «Какая,— говорит,— я тебе баба, бабой сваи заколачивают». Как будто сдвинулось что-то в самой жизни, произошла какая-то едва заметная тектоническая деформация и в самом человеке. Вот и старое доброе русское слово «баба» уже не совпадает с чувством самой доброй русской бабы. Правда, когда они между собой говорят, то тут всякие слова мелькнут, да еще и не такие, как баба, а покрепче, но ведь это совсем другое дело, когда между собой. Между собой годится и баба, и мужик, и Ванька с Петькой, и Мишка с Дашкой, но вот на людях, да еще и при чужих — тут уж будьте любезны: Иван Петрович, Марья Даниловна. А еще и так «Сказать попросту — жёнка, это на каждый день, а в праздник — жона».

Как же усложнилось по смыслу в отношении нашей жизни это простое русское слово, обеспечивавшее литературе такую благозвучность и ясность фразы!.. Ведь только что казалось все так просто, так обычно, а прикоснулись — и вопросы возникают один за другим. Как сложен стал мир новых человеческих взаимоотношений, и в каком затруднении оказывается доброе русское слово!.. «По дороге шли две бабы и одна... простая женщина». Нет, ничего не получается.

Но как же быть с литературной благозвучностью фразы? — ведь в основе благозвучности лежит простота и ясность выраженного фразой смысла... В такую вот минуту внутренних сомнений взял как-то «Записки охотника», чтобы истинной художественностью отодвинуть всякие вопросы и снова почувствовать красоту истинной благозвучности русского слова. Про Ермолая, про Калиныча, и про певца Яшку, и про Бирюка — как все замечательно, как точно и просто слово совпадает со смыслом, как естественно переливается в этом слове жизнь и чувство человека! Поразительно!.. И вдруг ловлю себя на том, что и на Ермолая, и на Калиныча, и на все вообще, на всю эту крепостную неволю смотрю глазами праздного молодого барина, независимого от Ермолая, от Калиныча... И вот Федора несчастного повели на конюшню пороть, а я ведь не

пошел с ним, а с господином Пеночкиным остался да чай со сливками попиваю. Разумеется, господин Пеночкин крепостник и подлец, однако ничего — сижу, сахарку подкладываю, разговоры разговариваю... Вот, думаю, штука — власть благозвучного художественного слова, сила впечатления и — не последнее дело — приятность самого местечка!..

Скажут: так нельзя рассуждать о литературе, не научно-де, не серьезно. Да я и сам вижу, что не научно и не серьезно, что я как будто бы что-то недопонимаю, а с другой стороны — отчего же и нельзя? Отчего нельзя искать ответа, если возникает вопрос? И отчего сейчас мне нельзя рассуждать о литературе, в которой описана твоя прошлая жизнь, с точки зрения Федора, которого порют на конюшне по прихоти барина, а можно рассуждать с точки зрения барина, пьющего чай со сливками и наслаждающегося благоуханием метафор. В конце концов и не о литературе как таковой, нет, мне только хочется понять... Ну вот то хотя бы понять, отчего же господин Пеночкин, такой тонкий, такой воспитанный господин, не проникся «Бедной Лизой»? Ведь не может быть, что не читал Карамзина, не говоря уже о Вольтере или Дидероте.

Может быть, он и прав, мой товарищ, в отношении пути: на долгом пути гуманистического просвещения и воспитания пролилось бы больше слез, но меньше крови. Но ведь сама Жизнь предпочла иной путь.

2

Понятно, что история не сводится к одним эпизодам борьбы за освобождение черного человека от рабства, угнетения и несправия. Есть у человечества и другие, более привлекательные для созерцания и документированные истории: история религий и социальных учений, история войн и история дипломатий, история науки и история культуры. И как в благодатную летнюю пору за густой листвой дерева не бывает видно черного корявого ствола и сучьев, так за этими частными, целевыми, специализированными историями, за множеством их редакций теряется из виду их несамостоятельность, потому что вольно или невольно они, эти целевые истории, отделяются от исторической жизни государства как национального или интернационального объединения, а всякая убедительная мысль об исторической жизни такого государственного объединения невозможна, если она не согласуется с положением черного народа в государстве, с положением черного человека, с отношением власти к черному человеку и, что не менее важно, с отношением самого черного человека к власти и государству. Дело тут не столько в гуманистических, политических или национальных обстоятельствах. Весь трудноразрешимый трагизм этой связи состоит в том, что отношение черного человека к власти и государству аккумуляруется на экономике государства. Или, как говорили в прежние времена, на состоянии казны. И от состояния казны странным образом зависел и личный авторитет государственных правителей. Так что задача их государственной деятельности состояла в том, чтобы постоянно наполнять казну, и наполнять теми способами, которые были наиболее удобны с точки зрения власти. А таким способом наполнения казны во все времена был один и удивительно однообразный — налог, которым обкладывалась вся жизнь, все существование черного человека. И чем алчнее были правители, чем примитивней была государственная экономическая мысль, чем грубее было отношение власти (в лице государственного аппарата) к черному человеку, тем очевиднее и грубее были налоги, тем бесправнее делался трудящийся человек. И все, что

способствовало, что утверждало безоговорочное право власти на труд, на все существование человека в государстве, все реформы и приемы, которыми смирялось бесправие человека, то было всегда поощряемо и охраняемо властью, считалось даже чем-то святым, заповедным. И стоило какому-то смельчаку усомниться в надежности таких взаимоотношений власти с народом и способом наполнения казны, а вместо того предложить способы более тонкие, гибкие и более результативные, способы, в которых лежал только намек на встречное положительное движение власти в сторону черного человека, как этот смельчак тотчас оказывался государственным преступником.

Дело, конечно, состояло не в преступлении по отношению к государству, дело, как правило, заключалось в том, что эти предлагаемые новые способы экономических взаимоотношений власти с трудящимся человеком отвергали старые грубые способы налогообложения, а с ними и весь тот сложившийся вокруг казны порядок вещей, всю сложившуюся систему личного обогащения и распределения личных привилегий; и это несмотря на то, что новый способ мог обещать в самом недалеком будущем еще большее личное обогащение и новые привилегии, — но всегда лучше синица в руке своей, чем журавль в небе, а потому новая система экономических взаимоотношений объявлялась преступной, а ее автор — государственным преступником.

Но самое, может быть, удивительное заключается в том, что такой новый способ отношения власти к человеку, в основе которого лежит самая малая возможность послаблений, свобод, почти никогда не был со стороны власти добровольным. Отчего же так? Какое удовлетворение находила власть в том, чтобы предпочесть благу и обилию в Русской земле благо своей полной власти над волей и животом черного человека? Нигде, кажется, не осталось в свете такой земли, как Русская, печально вздыхает на пороге своей родины Афанасий Никитин, повидавший много стран и народов: в Грузинской земле на все большое обилие, и Турецкая земля очень обильна, а в Волошской земле обильно и дешево, и Подольская земля обильна всем, а что же родная Русская земля? «Боже, сохрани ее! На этом свете нет страны, подобной ей, хотя бояре Русской земли несправедливы. Да станет Русская земля благоустроенной и да будет в ней справедливость. О, боже, боже, боже, боже...»

Бояре... Но вот другое время — время смелых, переломных реформ Петра Первого, время суровой борьбы со старым, закоренелым в несправедливостях и корысти боярством. Чего только не сделал Петр со своими единомышленниками во славу России, каких только смелых проектов и реформ не было предпринято в деле переустройства всего государственного аппарата и хозяйственного механизма, каких только льгот и поощрений не роздал царь своим молодым энергичным соратникам, каких только авантюристов не облагодетельствовал своим вниманием, какие только импортные советчики не вскормились в широком царском гнезде, но вот своему отечественному радетелю о благе государства, первому экономисту и писателю-публицисту Ивану Тихоновичу Посошкову, которого сам бог, кажется, послал на Русскую землю, и послал ко времени, не нашлось достойного места ни в самом гнезде, ни возле гнезда, ни даже в новых просторных департаментах, но нашлось такое место в недостроенной еще Петропавловской крепости. Отчего же так? — ведь не злой умысел руководил Посошковым, наоборот, он предлагал путь углубления реформ, предлагал власти так «казну собирать, чтобы царства не разорять». В чем состояло преступление Посошкова перед властью? Только в том, что он скор-

бит о разорении страны, о плохом возделывании земли, о неправом судопроизводстве над человеком, об истреблении лесов и предлагает множественные вымышленные налоги — поземельные, подушные, хомутейные, банные, прикольные, мостовые, пчельные, кожные и прочие мелочные «сборы», которыми казна никогда не сможет наполниться, заменить единым государственным «правдивым сбором», «ибо и с вола едина кожа содирается». Посошков в своей «Книге о скудости и богатстве» только предложил власти воспользоваться более гибкими — экономически — средствами эксплуатации человека, но эти средства, естественно, подразумевали некоторые хозяйственные права и свободы трудящемуся человеку... Вот это-то и было неприемлемо для юной государственной бюрократии, занявшей места в новых департаментах и коллегиях. Посошков хорошо знает, что это за люди — ненавистливые и завистливые, ябедники, обидники и любители неправды. Знает он и о том, что люди эти не простят ему, «не попустят мне на свете ни малого времени жить, но прекратят живот мой». Но воля его, страсть его сильнее этого страха, и пишет он свои «доношения о неисправах» не себя ради и «не похлебуя» любителям неправды, а только ради того, чтобы «желание мое в дело произвелось», чтобы пригодилось благу государства. Но в департаментах рассудили иначе.

Почему так нетерпима для властей только одна благосклонная мысль о достоинстве подневольного человека, хотя экономическая реальность и состояние казны, а также и личная алчность высших и правящих слоев постоянно вынуждены искать все новые и новые способы «сборов»? — но при этом почему-то предпочитают либо новые мелочные какие-нибудь налоги, либо новое повышение цены на вино и соль, либо какие-нибудь «операции» с монетами под предлогом облегчения веса гривенников для удобства перевозок — одним словом, все что угодно идет в ход, только не «правдивый сбор». Но вот уже испытаны и эти обычные средства «умножения казенных доходов», вот уже оказываются бесплодными и всякие полицейские меры, а казна пуста, разорение стоит уже у порога дворцов и департамента, и только сейчас в государственных головах, которые отрезвил страх начавшегося развала, вдруг появляется робкая мысль о народе, о том, что именно здесь государственная сила, государственное спасение. Как это и не покажется странным, но такие моменты в истории выпадают не на годы военных испытаний, но на годы мирные, внешне спокойные, — в веселое и беззаботное двадцатилетие Елизаветинского царствования — и находит историческая наука (в лице В. О. Ключевского) момент сознательного освоения этой социальной связи — отношений государства с черным народом. Может быть, это и закономерно. Бремя петровских войн и реформ, полная централизация политической и хозяйственной власти и на этой основе моментально разросшийся молодой государственный аппарат так сковали всю хозяйственную жизнь в государстве, что очень скоро, именно в последующие за Петром годы, именно в годы веселого и беззаботного двадцатилетия «дворцовых переворотов и Елизаветинского царствования», в «век лести и унижения», экономика государства не выдержала первого серьезного испытания в виде Семилетней войны, а страна наполнилась «местными бесшумными возмущениями крестьян» — предвестниками пугачевского пожара, который и вспыхнет через двадцать лет. Крушение становилось все более очевидным фактом, и именно это вынудило более «привычных к размышлению правителей» искать корень зла и пути спасения. И только тут «в сознании правящих сфер стала пробиваться мысль, что податный народ — не простой живой инвентарь государственного

хозяйства, но желает быть правомерным и правоспособным членом государственного союза, нуждающимся в справедливом определении своих прав и обязанностей перед государством». Под угрозой крушения изменился официальный взгляд на черный народ в совокупном «подушном» выражении. Власти в лице высших сановников пришлось признать, что главная государственная сила состоит в народе, положенном в подушный оклад.

Может быть, по своей революционности это «социологическое» открытие было не меньшим, чем открытие Ломоносовым атмосферы на Венере, но близость их, родство их не столько в значительности, сколько в том, что оба они оказались не нужны своему времени. И если «правлящая сфера» не услышала, не вняла предупреждениям своих «привычных к размышлению» сановников, то что же говорить о проектах Ломоносова по «приращению общей пользы», о «сохранении и размножении Российского народа», о его поэтично-политических манифестах, с которыми он обращается к царствующим особам, стараясь внушить им, что слава их и величие — не в военных делах, не в насилии над народом, но в мире, в соблюдении законов, традиций, в исправлении пороков, только это сделает народ единым и крепким, и только такой народ будет вам, монархам, «твердее всякого щита». Ломоносов был не единственным писателем в своем времени. Но русская поэзия «века лести и унижения» от Кантемира до Тредиаковского была совершенно невосприимчива к российской действительности, она пыталась осваивать русским словом мир вещей и понятий отвлеченного, в основном кабинетного и иностранного происхождения, сводя свое назначение к тому, чтобы украсить дворцовый интерьер и попутно выразить личную и полную преданность автора монаршей особе.

Воспевай же лира песнь сладку,
Анну то есть благополучну
К вящему всех врагов упадку
К нещастию в веки тем скучну...

(Тредиаковский)

Такая поэзия не могла быть полезной даже новому сознанию «правлящих сфер» о податном народе как главной силе государства. В несвязности, невнятности, неуклюжести таких од и панегириков выражался уровень гражданского и политического сознания авторов, традиционно литературная и сословная глухота к реальности государственного состояния, и таких слов мы сейчас не могли бы сказать по адресу молодой русской поэзии, не будь Ломоносова, не будь у нас другого поэтического примера. И дело, конечно, не в том, чтобы только сказать, дело в том, чтобы понять — понять национальную природу его слова, понять выразившуюся в этом слове новую историческую мысль, новое гражданское общественное сознание — ведь именно эти свойства окажутся основой, фундаментом всей будущей русской литературы. И на каком крепком личном основании стоит поэтическое слово самого Ломоносова! — ведь он и крестьянин, и академик, и придворный вельможа, в его лице соединилась вся Россия, все ее сословия, и это притом, что сам он — живой человек, воспринимающий свое время хотя и с досадой, но трезво и смело: он не желает быть шутком не то что у какого-то сановника, но даже и у самого господя бога, пока господь бог не отнимет у него разум. Мало того что он не желает быть шутком, он требует «за понесенные мною сверх моей профессии труды... наградить меня произведением в статские действительные советники, с ежегодною пенсиею по тысяче по осьмисот рублев по мою смерть...». Вот так в «век лести и униже-

ния» Ломоносов не выпрашивает себе привилегий и наград под «песнь сладку», он — требует. И — удивительное дело! — правительство безоговорочно выполняет эти требования! А ведь он даже в похвальных одах никому не льстил, наоборот, сколько горькой правды, сколько упреков высказал!

Хотя счастливые военные дела —
Монархам громкая на свете похвала;
Но ясной тишине возлюбленного мира
Прекраснее ко всем сияет их порфира.

И это во время с л а в н ы х побед русской армии на далеких полях европейского побоища в Семилетней войне! Ломоносов не устает на все лады внушать «правлящим сферам» эту самую дорогую ему — как крестьянину (ведь он до сих пор состоит в подушном окладе у себя на родине), как ученому, как патриоту — мысль о мире.

Неизвестно, ради чего гибнут тысячи и тысячи русских солдат в Пруссии и Померании, а в самой России крестьяне мрут от голода и болезней, бегут от рекрутских наборов, от бесправия и насилия. Казна вконец опустошена, государство, с такими жертвами и усилиями созданное Петром, на краю гибели, но в столице, наполненной чиновниками четырнадцати разрядов, балы и фейерверки...

Но войны рано или поздно кончаются, поредевшие полки под звуки бодрого барабанного боя возвращаются домой, а дома — разруха и запустение и все так старо, так ветхо — и в хозяйстве, и в покрое платья, и в книжках, и в головах, что дальше некуда. Но делать нечего, надо поправлять хозяйство, шить новые сюртуки, читать новые книжки, заводить, одним словом, новые порядки в несчастном отечестве. С волной неизбежных перемен возникает новое поколение чиновников, и это новое поколение государственных и правительственных людей не только по-новому думает, но оно и обширней, а потому и энергичней старого. А молодости и энергии сопутствуют смелость и жажда действий. Но русская государственная гражданская (экономическая) мысль оказалась такой неуклюжей! И такой несамостоятельной! Но спустя полвека после «первого экономиста» Россией, этой громадной страной, громадным народом командует уже не самодержец, а могучий и обширный, сложный по иерархической структуре государственный аппарат, еще более алчный по причине своей молодости и обширности, и этому аппарату уже не страшны ни новые книжки, ни новые мысли относительно способов увеличения доходов, ни афоризмы вольной, процветающей Европы, наоборот, эти вольтеровские афоризмы придают такой бодрости, так подогревают свою главную мысль, помогают посмелее взглянуть на жизнь, на ту же земельную собственность, на право одному человеку владеть другим человеком!.. Новое поколение государственных чиновников всех разрядов жадно осваивало новую терминологию, новые понятия, тем более что на французском они звучали гораздо невинней, так что истина о том, что крестьяне не рождаются с седлами на спине, а дворяне — со шпорами на пятках, легко относилась исключительно к остроумию «знатнейшего в нашем веке мужа».

Вольтер, вольтерьянство, Вольно-экономическое общество из самых доверенных, самых близких к трону сановников, даже императорские премии за проекты о том, что бы такое сделать с крестьянским трудом, не приносящим ожидаемых доходов, — все это отчасти повергает в смущение и трепет, однако что же все-таки делать с этими проклятыми вопросами о рабах, о крепостном труде, от которого давно уже отказалась Европа ввиду его нерентабельности? — как будто бы что-то и делать надо, необходимо даже что-то делать, вот и Франсуа Воль-

тер советует, и свои тоже, смущаясь, шепчут на эту же тему. Но куда все это может завести? Как-то уж слишком быстро распространились эти опасные французские мысли, слишком смело пошли они гулять по журналам и газетам. Уже не менее хлесткие афоризмы заговорили и русским языком — ведь этот чиновник иностранной коллегии Фонвизин начинает составлять свои злые комедии и проекты, в которых осмеливается говорить об отмене крепостного права!..

Быстро гаснет даже философская смелость государственных сановников — то ли быстро они стареют, то ли с высоты им открывается за вольными разговорами что-то большее и страшное? — так или иначе, но вот уже запрещен и сам «знатнейший муж», и все разговоры об освобождении «государственных рабов», и о недостатках в государственном механизме, и жалком положении просвещения, и воспитании молодежи. И состарившаяся вместе с государыней на пятнадцать — двадцать лет бюрократия легко отказалась от вольнодумства и единодушно поддержала новый курс.

Но как возникшая в умах «привычных к размышлению сановников» мысль о податном человеке постоянно подогревалась потребностью разрешения проблем приращения государственного и своего собственного состояния, так и возникшая в литературе мысль о достоинстве черного человека уже не могла исчезнуть, не могла ослепнуть от блеска и изящества французских афоризмов: в отличие от мысли государственной, то есть бюрократической, чиновничьей, мысль литературная была изначально самостоятельной, потому что происходила из действительной жизни, из сознания потребности «истребити из народа неправду и неисправности и насадити прямую правду», и этой литературной задаче служило родное слово и потому наиболее способное выразить истину. Посошков не исчез бесследно в казематах Петропавловской крепости, ябедники, завистники, обидники и любители неправды, как он и предполагал, «прекратили живот» его, но то, что он «не себя ради потрудился», сделалось уже заветом для Ломоносова, — как много у них общего в стремлении принести пользу отечеству, во взглядах на «беспечное житье народное», в самой патриотической страстности и, наконец, в публицистичности мысли, в живом русском слове!.. А Ломоносов оказывается уже «великим мужем» для Радищева — Радищев как бы перенимает эти важнейшие заветы о податном человеке, перенимает прямой взгляд на народную жизнь, на порядок вещей в государстве. И Радищев один в своем времени, как одни были в своем и Посошков, и Ломоносов, — Радищеву не с кем «беседовати о великом муже». Но вот уже что отлично: Радищев приглашает к заветному и душевному разговору читателя. Он обращается уже не к «отцу отечества», не к всепресветлейшему самодержцу, не к «государыне императрице всемилостивейшей», не к «Юноне порфироносной», нет, русская литература впервые обратилась к своему читателю, предлагая ему прямо посмотреть на жизнь в своем отечестве. И с этим читателем можно побеседовать откровенно и о самом заветном. И «пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу».

Но неужели власть так слепа, что довольствуется блеском золоченых спин своих ближних лакеев? Неужели ее не интересует действительное положение вещей в государстве, то самое положение, из которого происходят и многие бесшумные бунты, и пугачевские пожары, и революции? Неужели биологическое чувство самосохранения и постоянное стремление к нравственному очищению свойственно только низкой природе, а высшее общество, правящие сферы слепнут от каких-то иных устремлений и тем самым обрекают себя на пожары и рево-

люции? Казалось бы, у государственной мысли, ответственной за историческую перспективу, первая задача в том и состоит, чтобы прямо смотреть на положение вещей, на жизнь в стране, смотреть, видеть и понимать очевидное, делать выводы из бесшумных бунтов и пугачевских пожаров, предпринимать мирные способы к сохранению устоев, внимать предупреждениям о грозящей государству, следовательно, в первую очередь, правящему бюрократическому классу, опасности. Но — очередной радетель о пользе общества и народном благе опять объявляется государственным преступником и запирается в Петропавловский каземат.

На чем зиждется такое однообразие? Почему власть в лице просвещенной Екатерины выставляет против очевидной реальности свою царскую неправду о том, что «лучше судьбы наших крестьян нет по всей вселенной»? Какая государственная необходимость в утверждении этого очевидно ложного представления о самом главном в государстве — о положении раб о ч е г о народа? Неужели вместо того чтобы заинтересоваться свидетельством сочинителя о зреющей в недрах государства катастрофе, безопаснее упрятать его в Петропавловскую крепость, как будто от этого что-нибудь изменится в огромной стране, в самом положении вещей? Конечно, государственная мысль тоже не спит, она работает так же неустанно: улучшаются законы, уложения, укрепляются порядки, преимущественно посредством укрепления полицейского аппарата, проводится новое административное деление, образуются новые губернии, учреждаются новые департаменты и ведомства с новыми столоначальниками, то есть идет обычная рутинная государственная работа по укреплению и упрочению государственного аппарата, власти, хотя это может выдаваться за самые смелые реформы, обещающие в недалеком будущем новый подъем и расцвет. Но мысль, исходящая от прямого взгляда на порядок вещей, не гаснет в казематах и каторгах, она странным образом не только не пресекается, но живет, ширится и крепнет, она неуловима и неостановима, как верховой огонь в бору. Вот она уже объявилась не в виде информации, не в виде «доношения о неисправе», не в виде живописного образа доведенного до отчаяния раба, но уже в точных и прямых формулах политического документа, главный пункт которого состоит в том, что «рабство (крепостное право) должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно непременно навеки отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми» (Пестель. «Русская правда»).

Это «гнусное преимущество» — не какое-то случайное временное свойство домашней жизни, не что-то такое, что бывает «иногда», или «порой», или «в некоторых отдельных местах», и потому «гнусному преимуществу» можно не придавать особого значения, не замечать его; нет, это условие п о в с е д н е в н о г о и повсеместного существования, условие, защищаемое и поддерживаемое строгим законом и деятельностью всех государственных учреждений. Следовательно, «гнусное преимущество» — это основа всех общественных и личных взаимоотношений, главная интрига общественного и личного существования вообще. А если это так, то все иное уже невольно становится второстепенным, производным, зависимым. Такова правда, если смотреть на вещи прямо.

Но разве что-нибудь обязывает именно так смотреть? Экономические обстоятельства? Затруднения в средствах? Но разве нельзя эти затруднения устранить какой-нибудь новой реформой? Есть и иные способы успокоить всякий ропот... И вот уже опять можно не смотреть в ту сторону.

Пусть прекрасный и смелый князь или прекрасная нежная княгиня не сознают зависимости своего прекрасного положения, основанного на «гнусных

преимуществах», пусть их мысли и чувства не омрачены знанием того, на чем и на ком держится все счастье их возвышенной, прекрасной жизни, пусть для них в се является как бы само собой — такое неведение дорого вдвойне, потому что обеспечивает нравственный и психологический комфорт. Но что же искусство, которое ведает всеми общественными и человеческими тайнами, искусство, для которого проникновение в эти тайны является задачей, сутью и божественным предназначением? Неужели оно с детской (древнегреческой) непосредственностью служило этому неведению, старательно вырабатывало этику этого комфортного существования, основанного на неведении о «гнусных преимуществах»? Или это была служба сознательная, служба поощряемая, и тем щедрее поощряемая, чем убедительнее, изящнее была в своем усердии по воплощению желанных моделей бытия? Или искусство еще не умело говорить о жизни, основанной на «гнусном преимуществе», и потому оказывалось невольным соучастником этого «гнусного преимущества» и охраняло этот важнейший государственный и общественный секрет? Но как в сказочной жизни всегда находится простодушный ребенок, объявляющий всем, что король голый, так и в жизни реальной из тысячи человек, пользующихся «гнусными преимуществами», всегда найдется один честный и совестливый человек, пусть и случайный в своей среде, который не пожелает пользоваться этими преимуществами и восстанет против узаконенного несправедливого порядка вещей, так и среди тысячи сочинителей, не видящих, или не желающих видеть, или не умеющих внятно сказать о «гнусных преимуществах», всегда находится один, кто увидит это, не сможет служить заблуждению, не сможет молчать об этом и выдаст так строго, бдительно охраняемый государственный секрет.

Понятно, Радищев был не единственным просвещенным человеком в России, кто видел, понимал и сознавал глубину народного бесправия. Даже среди сочинителей он был не одинок: многочисленные «Путешествия» — жанр в те времена особенно распространенный — содержат весьма красноречивые намеки на произвол самовластия, на дикие порядки в помещичьих усадьбах (в духе обличительных насмешек и ироний Фонвизина). Но Радищев оказался тем простодушным «ребенком», который без оглядок, без ужимок, без филистерских аллегорий, без тонких намеков, прямо, ясно и сознательно сказал о правде существующего порядка вещей в государстве.

Почему его душа «страданиями человечества (бедноты, черноты) уязвлена стала»? — ведь многие тысячи таких же дворян и чиновников живут спокойно и превосходно благодаря этим страданиям и не уязвляются! Почему от сознания совершаемой повсюду несправедливости и своего, пусть невольного, участия в этом общем для своего сословия дела он, «умеренный человек», вдруг испытывает такой нестерпимый стыд, что не может удержать слез? — ведь многие и многие сочинители умеют найти в этой жизни столько смешного и веселого! Почему, наконец, он не может помолчать о том, от чего содрогнулась его душа?

Парижским вольнолюбивым образованием тут мало что объяснится. Нужно еще особое образование души, образование сочинительного таланта, тогда только сострадание к человеческому горю и бесправию рождает слово, которое не может молчать.

Для Радищева Ломоносов был «великим мужем» не по отделу математики или физики, а по отделу служения истине и Отечеству, по борьбе за убеждения, «на истине основанные», пусть бы это было и «власти противно». Русская литература уже выявила свою основную родовую черту, идущую от летописцев, от «Слова»,

от хождений,— трудиться не себя ради — и потому так смело заявила право на истину. И с высоты этих понятий стал ясно виден весь необозримый простор Отечества.

Что было истиной для Радищева? Откуда она в нем взялась? Истина исходит от самой жизни, от жизни народа, и народ ни от кого не таил этой истины, только мало кто желает эту истину лицемерить. Свое унижение, свое бесправие задавленный подневольным существованием и нищетой человек давно уже воспринимал как противоестественное всей человеческой природе, всему божескому закону и воспринимал это положение как временное и удобное только для князя, для барина, для вашего превосходительства. И это рабское бесправие сознавалось не только какими-то исключительными умниками или вождами, но всеми крестьянами, всем народом, так как давно и прямо было выражено в народном искусстве: в отличие от искусства светского, искусство народное не делало секрета из «гнусного преимущества» одного человека над другим. Вот один безымянный крепостной раб в «Путешествии» говорит проезжающему барину обыкновенные слова о своей жизни, о своем бесправии на этом белом свете, и у нашего барина точно пелена падает с глаз, и он начинает видеть окрест себя п р я м о, и увидел то, что еще минуту назад не видел и не понимал, и его потрясенная душа, сбросившая броню неведения, страданиями переполнилась, и мысль о том, что единственная причина этих страданий — другой человек, «всю кровь во мне воспалила».

Власть в лице обширнейшего государственного аппарата и высших сословий оказалась не готова к такому восприятию и пониманию действительности, и сочинитель, нарушивший своим словом благолепие и комфортность существования, был поспешно, но в духе сложившихся традиций объявлен государственным преступником.

3

Тема бесправия и неволи народа, тема попранного достоинства маленького человека становится после Радищева главной темой русской светской литературы,— разумеется, не в ее обширном текущем виде, но в том, какой мы видим ее сейчас, какой она дорога нам. Но литературе народной эта тема известна несравнимо раньше. Даже в героических былинах об Илье Муромце вся художественная интрига начинается с эпизода неправого княжеского суда, княжеского оскорбления «человека из народа». Этот неправый суд и оскорбление достоинства становятся пружиной былинного действия, условием драмы. Но еще хорошо видно, что бесправие здесь молодое, не ставшее само собой разумеющимся, с извинениями, похожее отчасти на игру, словно бы простолюдин только еще приручается к повиновению, к капризам власти. Былина еще дает возможность личного выбора: или ты смиришь себя, свое оскорбленное чувство и безоговорочным послушаньем заслужишь княжеское снисхождение и возможность занять местечко за столом в «честном пиру», или не смиришься, не уронишь свое достоинство и тогда будешь отвергнут от «честного пира» и послан на заставу. Богатырь Илья Муромец не может стерпеть оскорбления и отправляется на заставу.

В более поздней народной поэзии бесправное положение человека перед властью уже безусловное и всеобъемлющее.

Большого-то брата в солдаты куют,
А среднего-то брата в лакеи стригут,
А меньшого-то брата — в приказчики...

Куют, стригут, ведут... Здесь мы уже не оглядываемся, не спрашиваем, кто кует или кто стрижет. Конечно, даже у раба, у лакея есть родина, но что рабу до родины? Да и много ли родине чести в рабе и лакее? Только свободный человек дорог родине, как и родина дорога только свободному человеку.

Народная литература не преувеличивала глубины действительного унижения и бесправия человека. О том, каким это бесправие было в подлинной повседневной жизни, может неоспоримо свидетельствовать другой литературный жанр — эпистолярный, иначе сказать — челобитные, народные письма к высшей власти, жанр весьма распространенный на Руси во все времена, — не оттого, надо думать, что простому человеку очень уж хотелось писать, а потому что он уже не мог молчать. По свидетельству историка, исследовавшего земские челобитные первой половины семнадцатого века, в подавляющем большинстве своем это были жалобы на непосильное бремя от всякого рода налогов, с просьбами о льготах и облегчениях, с печальными причитаниями — обнищали, обдолжали, погибли вконец — и с мольбами о том, чтобы хоть некоторое время было позволено «побыть не в разоренье».

«Масса этих земских челобитных,— заключает историк,— сливается в какой-то непрерывный общий наболевший стон, которым и отвечало земство на давление, производимое на него созданием русского государства» (М. Богословский. «Земское самоуправление на русском Севере в XVII веке». 1912).

Но если этот стон стоит на Севере, который сравнительно еще свободен — ведь недаром туда устремляются беглые со всей России,— то что же тогда было в центральной России?! И если этот народный стон, вызываемый экономическим давлением государства на своего кормильца и опору, еще может прямо и не говорить о самом уровне осознания крестьянином своего бытия — кто же не закричит от боли? — то вот реакция на введение питейного дела в стране не только снимает всякие возможные сомнения насчет осознания своего бытия, но, наоборот, вызывает восхищение глубиной нравственного и экономического предвидения грозящей народу опасности от «государева кабацкого питья», потому что это «питье» порождает воровство, убытки в хозяйстве, насильства и разоренье. А челобитная вытегорских крестьян (1639) предлагает правительству уплачивать казне сумму, собиравшуюся на вытегорском кабаке, только бы уничтожить самый этот кабак. Крестьяне объясняют свое предложение тем, что им от того кабака чинятся обиды, убытки и воровства многие, что они на том кабаке пропиваются, участки их пустеют и казенные всякие подати запускаются в недоимку.

Правда, историк свидетельствует, что эти первые попытки крестьян бороться с «язвой русской жизни» правительство встречало благосклонно, но действовало двоядушно: закрывая отдельные кабаки и запрещая торговлю в развоз («гуляй-кабаки»), оно неукоснительно требовало от кабацких голов (работников питейной торговли) аккуратного выполнения заданий по сбору всей питейной суммы и даже сверх того...

Произвол администрации, неправый суд, поборы, насилие, попрание человеческого достоинства... Эта вековая бесправица перед лицом власти и силы не могла пройти бесследно, не могла не наложить отпечатка на все народное миропонимание, не могла не сделать это миропонимание обостренно социальным задолго до того, как в просвещенном обществе, в высшем сословии появились — тоже очень интересный процесс нравственного взросления — совестливые личности, увидевшие несправедливость в существующем порядке вещей и посмеявшие определить этот порядок как «гнусное преимущество».

— Друг мой, ты ошибаешься,— пытается еще вразумлять столичный путешественник работающего в поле в праздничный день крестьянина, — мучить людей законы запрещают.

— Мучить? Правда,— тотчас отвечает этот крестьянин, ибо про законы у него уже все давно обдуманно,— но небось, барин, не захочешь в мою кожу...

По части совершаемых над человеком мучений по закону крестьянин и знает больше просвещенного в вольном Париже барина, и думал несравнимо дольше, и прочувствовал спиной и душой, и все это уже выразил, высказал. И у него мало чего изменилось от встречи с баринком. Изменилось у барина: у барина вдруг глаза открылись, он прозрел, барину «так стало во внутренности» стыдно, что он едва не заплакал. Но слезы слезами, важнее другое: сознание барина оказалось уже готово воспринять эти слезы, объяснить этот жгучий стыд перед черной «братией» и понять ответственность своего сословия за ужасное, бесправное положение народа. Ужаснувшись и осознав эту новую для себя реальность, барин призывает свое сословье к принятию срочных мер, грозя ему, если эти меры не будут приняты, большими неприятностями в недалеком будущем.

И удивительно, как верно было его пророчество!

4

«Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие предметы...»

Если взглянешь окрест себя прямо, то увидишь одно; если взглянешь непрямо, можешь увидеть окрест себя другое...

Какое странное свойство действительности и способности сочинителей смотреть и прямо, и непрямо!.. Пушкин в своем рассуждении «об очень посредственном произведении» Радищева так определил эту двойственную задачу, которая возникла перед светской литературой при самом первом ее обращении к правде «гнусного преимущества»: «Он (Радищев) как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречьем; не лучше ли было указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ, как явное беззаконие; не лучше ли было представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян...»

Пушкин называет только что начавшую определяться, но важнейшую, как покажет самое недалекое будущее, черту русской литературы — эти два ее направления, два полюса, которые не столько разделяют саму реальную действительность и литературу, сколько охватывают и то и другое в одно магнитное поле интеллектуальной борьбы и определяют ее высокий национальный уровень. Искусства — светское и народное — разделены пропастью сословных предрассудков и неведения, но еще больше они отличаются — как черное и белое — нравственным отношением к своему человеку; народ разделен еще большей пропастью на сословья, на разряды, на классы. Но тем не менее есть некий высший счет, есть некие поля, вроде Бородинского, которые говорят, что разделение — состояние временное, вынужденное, тогда как единство — состояние вечное. Народная поэзия не сомневается, что как бы тяжело ни было бесправие черного человека, оно преодолимо, оно и будет преодолено. Всякая неправда, несправедливость, всякая ложь никогда долго не торжествуют, не говоря уже о каком бы то ни было их окончательном торжестве. Зло, каким бы

сильным и страшным ни было, таится во тьме подземелий и теряет всякое могущество с первыми лучами солнца. А литература светская? — разве она уже не потрясена открывшейся правдой о «гнусных преимуществах»? Не потому ли возникла эта дилемма: «Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречьем; не лучше ли было указать на благо, которое она (литература) в состоянии сотворить?..»

Пушкин задает вопрос, вопрос осторожный, и пытается как будто ответить, но не звучит ли ответ еще большим вопросом? Как не похоже это на Пушкина, поэтический гений которого не знает сомнений.

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа...

Но согласие или несогласие с правдой действительного положения в государстве черного человека — а как противоположность — и человека другого, «белого», — это не какое-то отдельное, особое знание или незнание, это согласие или несогласие с существующим порядком вещей для поэта, для художника — основа его личного нравственного и гражданского состояния. И этим состоянием определяется его творчество. Если сознание художника слепо и глухо к правде о человеке, если в силу своих биологических и интеллектуальных особенностей он не может прямо смотреть на жизнь, если он в упор не видит, где белое, а где черное, то его такое неведение искренне и творчество его искренне, но эта искренность убога и жалка перед лицом правды, а слово его слепо. Сознанию прозревшему можно и дальше притворяться слепым по тем или иным причинам, но такое его состояние будет уже неискренним, безнравственным, поведение — лживым. А если в основе творческого состояния лежит ложь, то каким же может быть творчество? — только лживым. Но может ли творчество быть лживым? Нет, не может. При этом условии творчество становится ремеслом, пусть оно называется и художественным, но качество и количество этого художественного ремесла зависит уже исключительно от личного усердия и усидчивости.

Этими разнообразными художественными устремлениями — сознательными и слепыми, заведомо лживыми и бессмысленно искренними, талантливыми и ремесленными — определяется «река» текущей литературы во всей своей массе, и это скорее понятие производственное, торговое, чем какое-то иное. Поток текущей литературы во всем своем торгово-хаотическом разнообразии приобретает те или иные черты, тот или иной смысл только тогда, когда оказывается под воздействием тех полярных значений, которые определяют характер жизни действительной, характер взаимоотношений государства с человеком. Ведь как только оказалось выясненным, что характер этих взаимоотношений носит свойство «гнусного преимущества», так буквально в с е сразу и определилось: что ложь и что правда, что убожество слепого неведения, а что прозрение, что вторично и не имеет смысла, а что определяет будущий путь. И на этой новой основе встает так же непреложно другая поэтическая ипостась:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан!..

У поэтического чувства совсем иное нравственное и гражданское состояние, иное с о з н а н и е. Пушкин не сомневался в своих убеждениях, не сомневался в том, как должен сочинитель поступать в отношении к верховной власти и вообще к власти одного сословья над другим.

Но не сомневался уже и Некрасов!

Может быть, трагедия Гоголя, трагедия его творческого духа происходит из того, что он не одолел свои сомнения?

В самом деле, вот он — юный товарищ Пушкина: сколько в лице его, не говоря о творчестве, живой силы, ясности, уверенности! И вон он спустя десять, пятнадцать лет: от каких тяжких дум поникла его голова? почему так странен этот остановившийся взгляд? неужели это все тот же Гоголь?!

Время изменило смысл главнейших социальных и нравственных понятий гораздо решительней, чем за эти короткие годы успела измениться в России конструкция карет и покроя сюртуков. Время обрушило на головы, склонные к размышлению, вопросы небывалого порядка — о народе, о его историческом месте, о его политических и поэтических воззрениях. И пусть не было еще ясных ответов, но традиционные поэтические образы, происходящие из неподвижно аристократического отношения к действительности, оказались несостоятельны. Они сами по себе по-прежнему прекрасны, эти образы, но это уже как бы и некая аппликация к жизни, а не сама жизнь, не действие во имя жизни. И не теряет ли смысл поэтическое творчество, если оно перестает действовать согласно с жизнью и во имя жизни? Но что же она сама, эта загадочная жизнь — жизнь народа, государства, жизнь России среди жизни других народов и других государств? Пушкинская дилемма утратила свой всеобъемлющий практический характер.

Гоголь в душе своей не мог положительно разрешить этих тяжелейших для художественного сознания вопросов, и нравственная и гражданская убежденность, дающая художнику уверенность, необходимую для творчества, оказалась утраченной.

Для сочинителя, для литературного работника, для талантливого даже ремесленника социальная, нравственная и философская неясность в этих понятиях не имеет первостепенного значения, он их просто не видит, ответы не нужны ему — они могут затруднить его усилия, он сочиняет, и в добросовестном изложении сюжетов состоит вся задача такого творчества. Для истинного художника, каким и был Гоголь, утрата ясности в этих важнейших вещах и смутность в ощущениях исторической перспективы трагична. Да, Русь летит, другие народы и государства посторониваются и дают ей дорогу. Но — «куда же несешься ты? дай ответ...». Ответ должен дать сам поэт, сам художник, и ответ не метафорический уже — такое творческое состояние души эпитетами не изъяснишь, душа томится неведением, предчувствиями: куда же несется птица-тройка? — душа жаждет знать, она хочет быть уверена, она хочет действия, и тогда найдутся эпитеты. Но... куда же она несется, птица-тройка? И «что значит это наводящее ужас движение?». Не поддадимся обаянию звучной метафоры: речь и здесь идет о народах и государствах.

Литература оказалась перед необходимостью не только изображения новой жизни и человека в ней, но и раздумья. Творчество Гоголя и вся его личная судьба явили новую дилемму художественного, поэтического отношения к действительности — как продолжение пушкинской...

5

Осознание всякого насилия аморальным, осознание нравственной и гражданской незаконности узаконенного государством и строго охраняемого угнетения одних ради благополучия других сделало Л. Толстого, последнего аристократа среди русских сочинителей, сознательным, а потому и безусловным, последо-

вательным врагом своего сословья, врагом высшей власти и всего государства во главе с царем, правительством и Синодом, то есть все тем же государственным преступником.

По сути, с первым пробуждением чувства и сознания Толстой пытался понять и объяснить несправедливость, аморальность действующего в мире механизма угнетения большинства людей ради привилегий меньшинства, и именно эта неустанная работа чувства и сознания дают его творчеству такое непоколебимое основание. Цепь его духовных кризисов, из которых складывается все движение его творчества и мысли, это не что иное как ступени познания одного и того же вопроса о нравственном существовании человека среди людей. Это чувство настолько естественно в Толстом, насколько оно уже естественно и для самой жизни, и не только в смысле теоретическом — философия, история, богословие, но и в практическом — черный человек уже не желает терпеть бесправие, но не желает права на такое явное бесправие уже и сам «белый» человек. И это сознательное чувство в Толстом не только прерогатива художественного творчества, но и условие всей его личной жизни, всех домашних взаимоотношений, вплоть до мелочей, до желания самому пахать, шить сапоги, обходиться без помощи других людей. Для него это очень трудно, до конца он так и не сможет отказаться от того, что он граф, — для этого шага Толстому не хватило еще одного усилия на том долгом и драматическом пути освобождения, который преодолел его несокрушимый творческий дух.

Несокрушимость его духа исходила из его твердых убеждений по отношению к крестьянину, к работнику, к трудящемуся человеку. Связь художественного творчества с действительностью выяснена русской эстетикой и критикой очень подробно, и то, что всякая творческая фантазия тем богаче и тем сильнее овладевает сочинителем, чем скуднее его сердце и мысль о действительности (Чернышевский. «Эстетическое отношение искусства к действительности»), стало уже аксиомой. Но это как бы и теория, некая истина вообще, истина на все времена. В каких же взаимоотношениях состоит конкретное время с конкретной художественной практической работой? — на этот важный вопрос Л. Толстой ответил очень ясно, и ответил так: «Ведь хорошо было греческому или римскому художнику, даже нашему художнику первой половины нашего столетия, когда были рабы и считалось, что так надо, с спокойным духом заставлять людей служить себе и своему удовольствию; но в наше время, когда во всех людях есть хотя бы смутное сознание о равноправности всех людей, нельзя заставлять людей подневольно трудиться для искусства, не решив прежде вопроса, правда ли, что искусство есть такое хорошее и важное дело, что оно выкупает это насилие?» («Что такое искусство?»)

Другими словами, условие «спокойного духа» художника заключается не в нем самом, не в его способности к творчеству, но в том, как он воспринимает положение трудящегося человека в своем времени, насколько это восприятие проникает в сущность взаимоотношений человека с государством.

Но, может быть, спустя сто лет и принимая личную творческую страсть Толстого, его личную борьбу со своим сословьем за некую норму в общественных отношениях, мы невольно искажаем и то время, и сам вопрос о равноправности, и место этого вопроса в искусстве? Может быть, во всей борьбе Толстого, в срывании масок и в разоблачении «власти господ» был у Толстого какой-то личный счет, о котором нам удобнее не знать? Может быть, те сочинители, кому не нужно было освобождать свою совесть и свое сознание от

сословных привилегий, а свой быт от подневольного труда других людей, может быть, те, кому демократическое положение в жизни досталось по рождению, как-то по-иному понимали и свое время, и свое творчество, и свое личное место в обществе и маленький человек виделся им вблизи не таким уж оскорбленным и униженным? В самом деле, Толстой все свел к двум крайностям: с одной стороны, тысячи, десятки тысяч «господ», «правительственных людей», «чиновников», с другой — миллионы «рабов». Но ведь были и другие сословья русских людей: мещане, военные, врачи, учителя, купцы, инженеры, ученые и т. д. Они как будто не имели прямого личного отношения к бесправию «рабов» ради привилегий и разных удовольствий «господ», во всяком случае, сознательно не служили укреплению и упрочению бесправия большинства ради удовольствий меньшинства. Как же бытие всех этих сословий, всего русского служилого общества отражалось в искусстве в свете основополагающей проблемы того времени — равноправности, необходимость которой, по уверению Толстого, осознали в се люди? И вот даже если мы не будем выяснять этот вопрос об униженных и оскорбленных, которым от бесправицы стало уже тошно жить на белом свете, на творчестве Достоевского, то разве так трудно увидеть, что именно тема бесправия и преодоления этого бесправия — главная тема творчества даже таких в социальном смысле спокойных писателей, как Чехов, Бунин, Короленко, Куприн, Андреев, Гаршин? Пусть даже в рассказах и повестях не идет речь о крайней бедноте или о «правительственных людях», которые лично повинны в насилиях и унижениях, пусть в рассказах и повестях живут и действуют инженеры и офицеры, дамы с собачками и умные доктора, художники и ученые с мировым именем, пусть они не имеют прямого отношения к угнетению людей во имя своих удовольствий; но если это умные и честные люди, если они восприимчивы к окружающей их жизни, если они смотрят на жизнь прямо — а только такие люди интересны в литературном произведении, — то на их судьбе, на их чувствах, поступках, мыслях и взаимоотношениях между собой не может не отозваться общий тон жизни в государстве — ведь умный и честный человек потому и умный и честный, что он патриот и гражданин.

Кроме того, пусть какой-то частный человек, какой-нибудь архиерей или дипломат, и не видит царящей вокруг бесправицы, пусть за своими духовными или государственными делами и заботами им недосуг замечать даже человеческое лицо обслуживающих их лакеев, — это еще как-то можно понять, объяснить душевной слепотой (кстати, очень удобная штука, когда человек не склонен к сомнениям относительно своих привилегий, — так надо), но нельзя понять нового русского писателя, который бы не заметил замерзающего на морозе кучера, не увидел оскорбленное человеческое достоинство, не услышал лицемерия, которым прикрываются безнравственность, насилие и пошлость в ставших как будто привычными взаимоотношениях людей. Да, река «текущего искусства» широка и многоструйна, искусство в своем текущем виде всегда и везде обслуживает все пестрое общество, все слои и группы, всякие интересы и пристрастия — от порнографических до политических, и обслуживает тем добросовестнее и усерднее, чем щедрее оплачивается. Но как бы мы сейчас ни раскланивались, ни шаркали ножкой перед тем или иным «забытым» именем, не можем не видеть и не понимать необязательности многих творческих устремлений для познания своего времени. Речь не о культуроведении, очень часто переходящем в культурорядие, не о музее и музейном восприятии истории, не о важности объективного отношения к культурному прошлому той или иной эпохи —

все это само собой разумеется, без этого невозможно наше знание, — речь о том духовном движении искусства в истории, которое сопровождает движение социальной жизни народа. Речь, наконец, о том, чтобы в силу своих личных пристрастий, в основе которых могут таиться самые разнообразные, самые высокие и самые низкие причины, не выдавать второстепенное, третьестепенное за главное. Главным же для русской литературы, с тех пор как она узрела, что «бедствия человека происходят от человека», стало одно — борьба за достоинство униженного и оскорбленного человека, борьба с «гнусными преимуществами», на которых строится жизнь в государстве, борьба за такое состояние жизни, в которой бы у всякого человека все было прекрасно... Поскольку в океане настоящего, реального бесправия, царящего в государстве, не так уж трудно одному человеку побывать «в коже» другого, то само знание, отчего происходят бедствия, превращается — при восприимчивости к чужому страданию — в личную душевную боль. А если этот человек — поэт, художник, писатель? И пусть он не знает, в чем состоит закономерность социальных условий своего времени, пусть он выставляет вперед не разум, а свое сердце, но если он увидел и воспринял сердцем страдание человека, происходящее от другого человека, если эта боль коснулась его души, то уже по одной ответственности перед своим талантом, перед своим творческим состоянием, происходящим от сострадания, он обязан выразить эту боль, описывая при этом не то что своего архиерея или ученого с мировым именем, но хотя бы какую-нибудь азиатскую или африканскую жизнь. Если же писатель не увидел страдания человека, не увидел несправедливости, бесправицы, либо такое положение человека в государстве он увидел, но оно оказалось ни к чему в его художестве при описании архиерея или ученого, то это значит только то, что писатель преднамеренно — или по недостатку таланта, либо по причине ремесленного свойства своих художественных способностей — искажил реальность, утаил, солгал, погрешил против правды, и с к а з и л действительность. И это искажение отразилось и на его произведении: оно сделалось по отношению к жизни либо сентиментально, либо романтично, либо псевдонародно, либо еще какое-то, но не реалистично. Талант в том и выражается, чтобы изобразить человека в согласии с общим тоном окружающей его жизни, с общей для всех идей времени. И разве не такими и предстают перед нами все персонажи Чехова или Куприна? Или Блока? Ни у самих писателей, ни у их персонажей из интеллигенции (врачи, учителя, ученые, архиереи и т. д.) не было личной вины за бесправную жизнь народа, не было личных претензий к «правительственным людям», они жили своей как будто жизнью и делали свое дело: лечили больных людей, учили, служили в банках, на телеграфе, в армии, они влюблялись, женились, воспитывали детей, ездили на дачи, на курорты и проч. и проч., и фактически их частная жизнь, их личные взаимоотношения могли быть — и часто такими и были — добродетельны, порядочны, красивы, но тем не менее все это красивое существование, все мысли и чувства проникнуты, точно болезнетворными микробами, сознанием совершающейся вокруг несправедливости, поправного человеческого достоинства и чести, торжества безнравственности, власти денег, тупой самодовольной силы, и на неизбежный для них вопрос: «Как жить?» — они сами себе отвечали: «Так жить невозможно!» И даже из такого ощущения действительности, не говоря уже о прямом бесправии, в котором находится черный человек, рождалось предчувствие неизбежных близких перемен. И недаром Блоку вспоминается летящая тройка Гоголя. Но тот колокольчик, который заливался чудным звоном, теперь уже гремит тревожным и возрас-

тающим гулом. И гул этот «возрастает так быстро, что с каждым годом мы слышим его ясней и ясней». Возрастающий тревожный гул — это пробудившаяся Россия, русский бесправный в веках народ, мы — это все привилегированные сословья, просвещенные слои, интеллигенция: «Есть между двумя станами — между народом и интеллигенцией — некая черта...» И вот эта летящая тройка, этот возрастающий гул. «А что, — спрашивает Блок, — если тройка... летит прямо на нас?» И это уже не смутный поэтический образ, это уже хорошо осмысленное и почти физическое предчувствие близкой гибели: «Над нами повисла косматая грудь коренника и готовы спуститься тяжелые копыта».

И разве история Октябрем 1917 года не подтвердила, что этот «образ», это предчувствие поэта было не литературным изобретением, а происходило из основания реальности?! И наоборот — всякое иное понимание реальности и иное предчувствие исторической перспективы, исходящее из той или иной сословной точки зрения на жизнь в государстве и положение народа, было ошибочным, ложным, искаженным, хотя, может быть, и приятным, удобным для такого миропонимания, и всякое искусство, всякое художественное устремление, основанное на сословном представлении о том, что хорошо, а что плохо, оказывалось заведомо несостоятельным перед реальностью своего времени. Революция, освободившая народ от бесправия — этой самой тягостной тягости, одним этим фактом доказала, в чем состояла — или должна была состоять — главная тема русского национального искусства. История подтвердила и правоту тех сочинителей, которые не улучшали, а разрушали несправедливый порядок узаконенных взаимоотношений человека с государством, обличали этот порядок, со времен Радищева пророчили канун «огромного переворота». И вот пророчества сбылись, переворот свершился.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой возбуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал...

Пушкин как будто вернулся к русскому народу, но уже к народу большому, вернулся и сам освобожденный и уже как равный всем нам — грамотным, читающим, думающим и равноправным. Теперь мы уже не только «бессмысленной толпой» внимаем благозвучным словам поэта, но и понимаем его, и можем отнести его песни к себе лично, к своим чувствам, потому что чувства добрые лирой возбуждаться могут только у свободного и равноправного с поэтом человека, потому что всякое добро только тогда добро, когда ты получаешь его не в виде милостыни или чаевых, а обретаешь на справедливой и достойной основе человеческих взаимоотношений.

Революция, утвердившая социальную справедливость и равноправие среди людей, сняла не только ярмо «гносного преимущества» со всей жизни народа, но сняла и с русского советского искусства оттенок сословности, где это оказалось возможным. Революция устранила вековое разделение народа на «два стана», устранила пропасть, которая разделяла народ на «черный» и «белый», пропасть, которую с таким страхом увидел Достоевский, а Блок назвал ее «очарованной и проклятой». Но и само восприятие революции как переворота, катастрофы, трагедии верно только для правящих, для привилегированных сословий. Для большого народа, для большой России революция была еще одним и вполне естественным шагом в своем освобождении. Освободившийся человек не мог нести нравственной ответственности за личную судьбу того, кто не желал его освобождения, кто противился этому освобождению.

А. Фадеев: Революция во всем... В стране — признаете, разумеется. А тут — в искусстве...

А. Неверов: Это вы оставьте. Октябрьская революция — воля масс, а тут массам навязывают чью-то другую волю...

Из разговора, 1921 год

1

С заботами о текущем дне очень легко забывается о той черте, за которой мы были другими. И такие вещи, как гражданское бесправие, унижение и оскорбление, утверждаемые официальным порядком вещей в государстве, нищета, голод и холод представляются некоей метафорой, неким материалом для книг, спектаклей и кинофильмов, опер и балетов, то есть каким-то странным положительным рабочим условием текущего искусства. И невольно получается, что оно, это наше прошлое, как будто само по себе, а мы сами по себе.

Конечно, зачем свободному трудящемуся человеку в наше время каждую минуту думать о том, что и когда было с ним в истории, что, когда и как о нем писали и думали «лучшие представители»; достаточно того, что ты об этом учил в школе, а между тем живешь себе поживаешь, делаешь свое дело, решаешь проблемы в положительном направлении, и пусть эти усилия твои, этот вклад в общее дело будут предметом твоей гордости.

Но спросим: как соотносится со всей нашей текущей действительностью наша текущая литература — таким же образом, как прежняя русская литература соотносилась с современной для нее текущей российской действительностью, или каким-то иным, согласным своему времени образом?

Сложность вопроса, на мой взгляд, состоит в том, что если наша текущая реальность отделяется от прошлой текущей реальности решительной чертой — Октябрьской революцией, да еще и сама в себе делится на различные состояния (например: до коллективизации и после, до войны и после войны, на период застоя и период перестройки), то в литературе, как и вообще в искусстве, такого качественного разделения на «до» и «после» не получается.

Понятно, что в литературе, как и во всяком деле, во всяком ремесле, новое качество приходит не столько с новыми провозглашенными общественными и политическими идеями, сколько с новыми поколениями художников, естественно несущих в своем сознании эти новые идеи. Но откуда возьмется это «естество», при котором человек (не только художник, но вообще всякий человек) без всяких усилий, оговорок и доказательств знает, что «так надо» и что иначе вообще быть не может? И вопрос этот никак не обойти, потому что именно здесь кроется тайна человеческого убеждения, тайна его поступка и поведения, а в отношении художника — тайна его творчества. Но многозначность тайны художественного ремесла состоит в том, что эти новые идеи, новое качественное состояние жизни народа и проистекающие из этого общественные перемены нужно (если, конечно, в душе есть такая потребность) не только самостоятельно осознать и понять историческую правомерность своей точки зрения, своего суждения хотя бы о каком-то частном факте действительности, но и уметь на достойном художественном уровне выразить это свое понимание. Но понимание может быть не самостоятельным, а воспринятым, усвоенным, а художест-

венный уровень работы, приемлемый для печатной машины, может держаться на подражании художественному образцу. Так в высокие тайны творчества на правах главного аргумента вмещивается тайна сугубо ремесленная — образец — и благо, и беда искусства. На влияние образца со своей обычной гениальной непосредственностью указал еще Пушкин — в том же рассуждении об Александре Радищеве, поступок которого (самовольное издание «Путешествия») «всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственной книгою». Так вот, посредственность «Путешествия», «не говоря даже о варварском слоге», Пушкин объяснял отчасти и тем, что в прозе Радищев «не имел образцов».

Но вот прошло сто лет, русская литература о многом научилась говорить, слово ее сделалось точным и благозвучным при обращении к самым «низким» сферам жизни, к самому «дну», а вот А. Блок говорит об образцах в прозе своего времени уже как о бедствии и придумывает для беллетристов обидное прозвище — «чеховцы», «бытовики» — для тех, кто пытается сочинять хорошую беллетристику «по Чехову».

Взгляд на образцы в искусстве и отношение к ним проистекают из осознания своей действительности и своего места в этой действительности (а часто и «местечка»), которое и определяет задачу литературного дела. И вполне естественно, что вопрос о том, как писать, о чем писать, для кого, особенно остро встал в первые годы советской власти, когда новое долгожданное социальное положение народа по отношению к государству и государства — к народу воспринималось обостренно и романтично и, естественно, отменяло старое искусство, принадлежавшее веками «другой стороне». Иначе не могло и быть. Но сам этот процесс оказался весьма бурным и энергичным, потому что хотя внешне аргументы были злободневного идеологического порядка, но под ними, как под прикрытием, шла откровенная борьба за право власти, за право диктата, за привилегии, оказавшиеся как бы свободными, за место под солнцем теперь и в будущем. Но вот одна личная судьба, где все это решалось без задних смыслов, а потому все и решилось удивительно спокойно и плодотворно, — судьба писателя А. Неверова, едва ли не первого писателя, для которого новое состояние народа в государстве, им самим завоеванное, оказалось естественным, а не подаренным ему благом. Да и сам писатель был не «с другой стороны», не из числа тех «нескольких сот тысяч», а свой, из «полтораста миллионов».

Красноречивым в литературной судьбе А. Неверова мне представляется уже одно то, что когда он овладевал сочинительским ремеслом по «образцам» и писал, подражая популярным тогда Л. Андрееву, Бунину, Горькому, то рассказы его были весьма заурядной беллетристической, и если бы дело на этом и закончилось, то в текущей литературе было бы одним «бытовиком» больше, только и всего. Но, к счастью, дело на этом не закончилось. У А. Неверова, в то время молодого сельского учителя, было какое-то свое соображение о жизни и о человеке, которое не давало ему вполне соглашаться со своими авторитетными учителями. И некий товарищ Неверова об этом так вспоминает: «Захлопнет книгу и скажет: «Ну, не так, не так, а за душу берет...» (свидетельство из документальной повести В. Чалмаева об А. Неверове «Пламя на ветру»).

Эта короткая фраза многое объясняет в художественной природе будущей повести А. Неверова «Ташкент — город хлебный», повести совершенно особой, совершенно новой в русской литературе, повести, которая просто не могла быть написана до Октябрьской революции. Внешне здесь все как будто традицион-

но: и сюжет «путешествия», и фигура крестьянского мальчика... Разве, например, мало таких мальчиков, голодных и холодных, в сочинениях Бунина или Горького?! Но истинная новизна повести А. Неверова не в сюжете, не во внешних признаках действительности, а в облике самого героя, в его взаимоотношениях с миром, в его поведении. Мишка Додонов, этот маленький человек, маленький мужичок, удивительно совпадает с самой революцией, с ее молодостью, с ее простодушной верой в грядущее счастье! И Мишка Додонов, и революция еще свободны той долгожданной свободой, они еще ничем не опутаны, никакими необходимостями и обстоятельствами, и как животворна, как могуча в них эта свобода! Такое счастливое совпадение героя с историческим временем и всего произведения — с действительностью не могло быть случайным творческим моментом; для таких точных совпадений у художника должен быть «спокойный дух» и уверенность, убеждение в том, что «так надо», что иначе в се не имеет смысла. И это именно то, что было «не так» в книгах, по которым он учился писать.

Есть в повести А. Неверова один рядовой, но очень значительный по смыслу эпизод из путешествия Мишки Додонова. На некоторой станции голодный Мишка увидел «на крыльчке зеленого вагона» барыню — «голова с разными гребенками... на пальцах — два кольца золотых. В одном ухе сережка блестит, и зубы не как у нас: тоже золотые». Барыня кидает оборванным и голодным ребятишкам остатки своего обеда. «Бросит барыня мосолок — ребятишки в драку. Упадут всей кучей и возьятся. Потом опять выстроятся в ряд. Перекидала мосолки барыня, бросила хлебную корочку».

Так и прошибла Мишку этакая досада: «Хлеб кидает, дура!»

Барыня, стоящая наверху, «на крыльчке зеленого вагона», — довольно обычный, свой для русской беллетристики персонаж, так что легко (по образцам) предположить, каковым ей видится мир в свете реально свершившегося «огромного переворота». Для барыни вполне естественно — при ее искреннем сострадании к голодным ребятишкам и в духе лучших старых традиций гуманизма — переживать это сильное впечатление и думать о всеобщей беде, постигшей страну, о конце, крахе России, в которой «все колеблется и дрожит» (из письма Горького к А. Неверову). Вполне возможно, барыня образованна и начитанна, читает по-французски и все знает про французские революции, про то, как свергали королей и королев, возможно, барыня знает не только афоризмы Вольтера, но и слова Наполеона о том, что самая страшная из революций — это революция пустых желудков; все, все знает воспитанная барыня, да вот не знает она только одного: что у этих голодных мальчиков, которым она мосолки бросает да хлебные корочки, есть и о ней, о барыне, свое рассуждение. Барыня, переполненная скорбью и состраданием, даже не предполагает, как про нее думает один из них.

Но это только один эпизод в повести, эпизод очень важный для всей мысли писателя о новом русском человеке. И мысль эта вовсе не сводится к доказательству противостояния дворцов и хижин, тут, по сути, и доказывать нечего, эту «свежую» тему беллетристика может успешно эксплуатировать, что она и делает. И если мы поначалу думали, что Мишка Додонов отправился за тем хлебом, которым утоляют голод или который можно выхватить, отнять у другого голодного человека, только еще более слабого, или выпросить в качестве милостыни у сердобольной барыни, то это оказывается далеко не так. Мишка Додонов совершает свое путешествие через всю потрясенную Россию за другим хлебом — в виде зерна, в виде семян, которыми он засеет выжженные засухой десятины возле

своей деревни, соберет урожай и накормит тем хлебом мать и сестру и еще многих людей. И вот эти «строгие хозяйские мысли» укладываются в его душе складно, радуют его сердце, а воображение своего посева «на будущую весну обволакивает Мишкины мысли ласковым, играющим теплом».

Мишка Додонов — первый свободный крестьянин в русской литературе, и как же велик и могуч оказался творческий, созидательный потенциал его души!.. Нигде так ясно, просто и отчетливо не выразилась мысль о том, что революция совершилась волей народа, и совершилась не ради какой-то абстрактно-будущей свободы всего человечества, но совершилась она ради освобождения Мишки Додонова от векового бесправия, и только его взгляд на события сейчас справедлив. Тем более что революция освободила в Мишке Додонове вовсе не какого-то дремучего варвара, не какие-то животные инстинкты, как это иногда представлялось, не разрушителя прежней культуры, а созидателя, творца, строителя своей жизни, и задача состояла в том, чтобы помочь этому строительству. Вот почему в повести А. Неверова смысл революции не искажался индивидуалистической сословной претензией или посторонней политической волей, тогда как — может быть и не преднамеренно — он искажался во многих иных произведениях, глядевших на жизнь с «крылечка зеленого вагона».

2

«Не так, не так, а за душу берет!..»

«Брать за душу», овладеть душой человека — не главная ли цель искусства? не заветная ли цель художника? Но и душой овладеть — ради чего? Желает ли сам человек, чтобы душой его кто-то овладевал?

А сам художник как будто бы и не стремится к этому. Для меня одно важно, говорит он, — выразить себя, свою мысль, свое чувство, свое представление о человеке, о времени...

«О времени и о себе», — заявляют современные художники слова. И у нас не хватает духу спросить: по какому праву навязывает он себя нам? Наоборот, мы как будто только этого и ждем и усаживаемся поудобнее в предвкушении некоего сильного зрелища — ведь артист работает для нас, для нашего удовлетворения, для нашей потехи. Мы как будто уверены, что, выражая свои права на нашу душу, на наше время, он выражает наши тайные мысли и претензии, он эти наши маленькие тайны делает большими и легальными. И мы, удовлетворенные, аплодируем.

Таковыми были вечные отношения текущего именного искусства с публикой. Они менялись только во время войн и революций, когда искусство пыталось осваивать новый для себя язык, новые понятия и новые слова, и это старое «я» казалось таким ничтожным, таким жалким перед несокрушимой громадой «МЫ». Но вот устанавливался мир, уставшие люди возвращались к своим делам и заботам, а вчера еще несокрушимая громада «мы» мало-помалу распадалась, и то, что вчера еще казалось неуместным и кошунственным, сегодня уже воспринималось совсем по-иному, вернее сказать, по-прежнему, по-старому.

— Не так, не так!..

Но как? — спросим мы. Разве прежняя мирная жизнь не похожа на мирную нынешнюю жизнь? Особенно та, где прямо не наблюдается момента угнетения человека человеком, где нет очевидного бесправия? Не говоря уже о том, что в прежней силе остаются прежние истины, прежние понятия добра и зла, правды и кривды, да и сам человек появляется на свет прежним порядком. И народ сам в себе по-прежнему делится на мужчин и женщин, на отцов и детей, на больных

и здоровых, на умных и скудоумных. Да, революция сняла это страшное разделение на богатых и бедных, пропасти уже нет, народ един, и люди по-прежнему любят друг друга или не любят, отцы не понимают детей, дети не желают понимать отцов. Но ведь это естественно, в этом состоит диалектика нашего развития, нашей жизни, что же тут может быть не так?

Да, все как будто на своем месте: при определенном уровне дарования писать слова, видеть, наблюдать, сравнивать, придумывать образы и метафоры, при определенной настойчивости и упорстве в овладении секретами мастерства, при восприимчивости к высоким художественным образцам, при определенной доле тщеславия... Казалось бы, что же еще? Но вот вдруг вырываются паразитические, из глубины души идущие признания: «Писать, как Толстой? Старо. Как Репин? Скучновато, консервативно. Снимать, как Эйзенштейн? Надоел старик. Вот почему и раздерганность, куча мала, пиршество многих, не достойных входить в сад искусства».

Современные интеллигенты в романе Ю. Бондарева «Игра» имеют прямое отношение к тому, что называется искусством, это профессионалы своего дела, и вот они ясно чувствуют, что оказались в каком-то тупике, они отчетливо понимают, что образцы — это еще не все, а то, что они умеют,— «не так, не так», но как? — не знают.

Но, может быть, дело не в достоинстве самой методики освоения текущей действительности, а в образцах? — ведь изменился не только мир, не только внешние социальные обстоятельства, но и сам человек, как можно предполагать, изменился в чем-то, в том же, например, восприятии самого себя, и эта перемена, в общем-то, замечена уже искусством, пусть не нашим, не советским, а западным, и вот если... Молодые, начинающие писатели, впрочем, давно уже исподтишка осваивали притчи Кафки и Камю, осваивали с помощью этого нового художественного опыта свою советскую действительность, и все шло сравнительно успешно, и хотя «образцы» видны были очень хорошо, но как-то неловко было объявлять об этом, сами эти имена как-то не выговаривались.

Но вот наконец-то явился образец, признанный везде, явился, можно сказать, литературный кумир! И стало еще более отчетливо, что Толстой — это и на самом деле старо, а о других и говорить нечего. В самом деле, все образцы как-то сильно померкли перед новым кумиром — Маркесом.

Да, образец, оказался настолько притягательным, что не только молодые попали в сферу латиноамериканского влияния, но даже такой почтенный и самостоятельный писатель, как С. Залыгин, и тот не смог устоять: вот, говорит он в одной телебеседе, зашел со своим новым романом в тупик, написал сорок листов, а чем кончить, не знаю; но вот Маркес помог, я, говорит, сделал по его примеру, да и герой у меня под стать — сто лет жизни, так что вот так уж...

И в самом деле, как подумаешь, образцы — это надежда и опора текущего художественного процесса, образцы сообщают этому художественному процессу достоинство и приемлемый уровень.

Так-то оно и так, но ведь образцы доступны многим, а как же быть с «садом искусств»? — ведь пошлость в таком виде особенно притягательна.

А между тем признание современных наших интеллектуалов из романа Ю. Бондарева начинается так:

«Где современные боги? Где кумиры и гении, которым хотелось бы подражать? Нет серьезных школ, никто не хочет авторитетов в искусстве, ибо всякий считает себя первым. Писать, как Толстой? Старо. Как Репин? Скучновато...»

Что ж, это правда, пусть прискорбная: нет богов, нет кумиров, нет серьезных школ... Но, может быть, для самого писателя было бы достойнее не только согласиться с такой характеристикой текущего искусства, но и спросить: а что, если не писать так, как писали Толстой и Репин, а думать о жизни и о человеке так, как думали Толстой и Репин? — и тогда, возможно, не потребуются художнику ни современные боги, ни кумиры, ни такой заманчивый по прелестям «сад искусств»?

3

Но скажем: ведь есть много и других писателей, других художников слова, которые вовсе не жаждут писать по-новому — «под Маркеса» — и не приходят в отчаяние относительно отсутствия кумиров и гениев, перед которыми так бы сладко было стоять на коленях, а знай себе сочиняют в согласии со своими возможностями и с той жизнью, какую видят и знают. И таких писателей, которые сочиняют «по жизни», в текущей литературе не меньше, чем тех, кто руководствуется образцами, и хотя благожелательная к таким писателям критика и утверждает, что именно они «создадут историю современности», с этим смелым заявлением быстрее соглашаешься, хотя в произведениях этих писателей «от жизни» и нет как будто размаха, такого, например, чтобы от берегов Печоры-реки до пляс Пигаль с красотками на любой вкус и карман. И вот хотя и нет такого географического и экологического размаха, нет трагических монологов по поводу грозящего земному шару атомного апокалипсиса или страшного суда, но — странное дело — правдивое изображение самой обыкновенной и натуральной жизни производит большее волнение и побуждает думать о конкретной действительности и действовать ради нее.

Но позвольте, скажут, да отчего у этих — правдивое изображение и побуждает, а у тех — мнимое и не побуждает? где критерий? где доказательства?

Одним из самых убедительных доказательств, на мой взгляд, может быть двенадцатилетний Мишка Додонов и барыня с «ненашими зубами», — не само ли время, не сама ли история поставила перед творческим сознанием эту дилемму? Правда, метафоры как будто грубые, не окончательные, но разве они не убедительнее других метафор? Разве в апокалипсисах, страшных судах, которыми человека пугает беллетристика, больше глубины и гуманизма? Разве в этом театре главное действующее лицо — не та же барыня? — ведь это ее терминология, ее образно-потребительский ряд. Во всяком случае, если эти драматические ощущения и предчувствия, эта гуманистическая игра в апокалипсис, страшный суд, конец мира и были когда-то реальностью, частью исторической действительности, разделенной «очарованной и проклятой пропастью», то Мишка Додонов отменил монополию такого взгляда на мир, на жизнь на земле, на свое будущее. Барыня уехала и увезла с собой и апокалипсис, и страшный суд, и конец своего мира, увезла свои понятия и пристрастия, как увезла свои золотые зубы и серьги в ушах и даже ту самую «пропасть». А что же осталось? — воля масс? Но есть в этом понятии что-то не очень доказуемое, не очень научное, как понятие «душа». И история в том облике, к которому мы привыкли, как будто не в силах держаться на слабых плечах Мишки Додонова, ведь история — не поэзия, это суровые события, действие, действительность, летопись, документы, и когда история опирается на плечи князей, царей, политиков, полководцев, у нее совсем иной вид. Да и как понимать, как сознавать прошлое помимо этих личностей и генеалогий? И другой вопрос

возникает: для чего Мишке Додонову нужен свой взгляд? Для чего ему нужна своя история? Но прежде спросим: а барыне свой взгляд для чего был нужен? Для чего ей нужна была своя история, своя литература, свой гуманизм? — только для того, чтобы уверенно, надежно, оправданно чувствовать себя в этой жизни. И поэтому и в истории, и в литературе хорошо было для нее только то, что поддерживало эту уверенность, этот исторический и социальный комфорт. Но в таком случае почему мы должны отказать свободному Мишке Додонову в своем взгляде на вещи, в своей истории, в своем гуманизме, иначе говоря, в своем праве сознательного исторического существования? Тем более что в основе его существования нет «гносного преимущества»!

Взгляд Мишки Додонова на историю свой, и этот взгляд не противопоставляется другому, этот взгляд не выставляет против «плохого» имени «хорошее» имя, этот взгляд ничего не отрицает, он продолжает сам себя, продолжает на новом социальном уровне, потому что сам он, Мишка Додонов, продолжает себя в качественно ином социальном и политическом статусе — статусе свободного человека в своей свободной стране. И этот новый статус ему не дан свыше как благоденствие, никто Мишке Додонову не подарил, не пожаловал его свободу, он стремился к ней и достиг ее,— в истории свободное состояние трудящегося человека неизбежно.

Для литературы, как и вообще для искусства, нет закрытых тем, как нет закрытых архивов и засекреченных документов, запретных фамилий и фактов,— литература обо всем этом может догадаться, как догадался А. Неверов о душе и мыслях своего Мишки, о его месте на земле и в государстве. У литературы есть счастливая возможность изображением обыкновенной жизни и обыкновенного человека выразить сущую правду времени и истории. И литература, пишущая «по жизни», как будто взяла на себя добровольно ответственность за эту правду: кто обязывал А. Неверова смотреть на действительность глазами Мишки Додонова, а М. Шолохова — выбрать среди множества самых драматических судеб судьбу Григория Мелехова?!

А для чего вообще нам нужна эта правда? Разве мы — по своей жизни, по судьбам своих родных, близких и знакомых — не знали, как было дело?

Все знают всё, беда с народом! —
Не тем, так этим знают родом,
Не по отметкам и рубцам,
Так мимоездом, мимоходом,
Не сам,
Так через тех, кто сам...¹

Знаем все, но тем не менее ждем, просим, жаждем правды, точно это какая-то живая вода. Для чего? Или все-таки не доверяем своему знанию? Или тяготит нас такая своя правда, ставшая тайной? Или тайна делает правду уродливой? Тогда как нам правда нужна только как нормальное, естественное условие здоровой жизни и как залог такой жизни в будущем. Свободному человеку не столько нужна, может быть, правда как факт, но нужна правда как исходное условие, без которого невозможно понять свою жизнь, свою судьбу, невозможно соединить свою судьбу с другими судьбами, объяснить, свести концы с концами. И не для праздного интереса человек хочет понять свою жизнь, свою историю и свою участь в истории, а для «спокойного духа»,

¹ Твардовский А. По праву памяти.

который необходим не только для художественного творчества, но и для того, чтобы овладеть и новыми орудиями труда, и новым качеством своего бытия. А если так, то не само ли народное государство и должно быть в первую очередь заинтересовано в «спокойном духе» своих граждан, своего трудящегося народа?! И вот эту-то духовную и политическую задачу и пыталась исполнить литература, прежде всего та, которая шла «от жизни». Говоря правду, которая всем была известна, она разрушала наше одиночество, скованное страхом и молчанием, разрушала наш пессимизм, тоску, она учила нас говорить прямо и без лукавства, она внушала нам надежду, рождала в нас сознание своего достоинства. Конечно, это был обходной путь литературы к человеку, но иного не было, да и потребности в этом ином как будто бы не возникало, как не возникает у голодного человека никаких иных высоких потребностей, кроме потребности в краюхе обыкновенного житного хлеба. Так и литература, исполнявшая в одиночку не свою первоочередную задачу, удовлетворяла нашу потребность в знании обыкновенной правды о прошлом. Для чего? Для нашего подтверждения чувства единства с историей и государством, для подтверждения и укрепления чувства, что мы не случайны, что мы — законные и нормальные дети народа, живущие в трудную и сложную эпоху раннего социализма.

Но это вовсе не говорит о том, что мы были неразборчивы в художественных достоинствах этих книг и с восторгом принимали все, что под предлогом правды нам рекомендовалось, порой даже весьма настойчиво. Да, читатель, читающий человек — это тоже великан и неуловимая тайна. Любопытством, пристрастием к сюжету эта тайна не то что не исчерпывается, если, конечно, любопытство — не болезнь, не всепоглощающая страсть, не душевная патология. При всем пристрастии к сюжетам читающему человеку всегда достает здравого смысла и воли снисходительно отнестись к своей слабости. Не давала серьезных оснований полагаться на свои рекомендации и наша текущая критика, может быть, из-за того, что сама оказалась несамостоятельной по причине невозможности свободно объясняться с читателем, и получившая необыкновенную свободу в области торговой рекламы и обслуживания отдельных имен. И читающему человеку — ведь он не настолько наивен, чтобы не почувствовать некой игры, к которой его призывают, — оставалось полагаться на себя, на свое знание, закаленное личным житейским опытом, на свой вкус, воспитанный на безупречных художественных образцах, — ведь мы, читающие, даже сами не подозреваем, как много умеем, как многому уже научились: и думать, и узнавать, и догадываться, и читать между строк, и понимать с полуслова, и отличать искреннее чувство от беллетристической поделки, драму от мелодрамы, подлинную правду от живописного правдоподобия, народность — от псевдонародности. А очень часто — и вообще обходиться без современной книги. И разве читающий человек был не прав, доверяя прежде всего себе? — когда оглянешься теперь на недавнее литературное прошлое, с удивлением и печалью видишь, как быстро успокоилось и обмелело так грозно шумевшее еще вчера море текущей литературы! Но — «печаль моя светла» — все это так естественно, что иначе и быть не могло. Да иначе и прежде никогда не бывало, — вспомним Пушкина: «Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу...» Или Некрасова: «Вчера газету я купил и прочитал я в ней...» А впредь будет ли иначе? Ведь и сам человек «яко глина» — падает и встает, падает и встает, преодолевая свои годы и свой исторический путь. И если лет через тридцать люди оглянутся на нашу текущую литературу, на это наше книжное море,

что они увидят? — при самом снисходительном чувстве они даже не так называемые имена увидят, а только отдельные удачные произведения, в слово которых прорывается личная житейская боль и высокая гражданская страсть. И вряд ли для наших потомков будет интересным и значительным вопрос о том, почему среди многих томов такого или другого писателя только одно сочинение удачное и достойно внимания,— разбираться в этом личном имуществе не особенно интересно даже и сейчас. Во всяком случае, картина вряд ли будет похожа на ту, какую сейчас переживаем мы, связанные, словно путями, и м е н а м и. И порукой тому — опыт недавнего прошлого. Вернее, наше нынешнее отношение к этому прошлому: мы, освобожденные от именных пут, с чувством облегчения забыли, или стараемся забыть, то, перед чем еще вчера покорно стояли на коленях. Но каждый из нас, человек, «яко глина» — падает и поднимается. И стоящие на коленях рано или поздно поднимутся. И тем дороже то слово, с которым мы поднимаемся. В поисках опоры понадежнее из «множества божественных молитв» мы выбираем не самые благозвучные, не те порывы поэтического красноречия, превращающие наш грешный и убогий мир в пышный театр, не те, что служат нашему умилению собственными достоинствами, зачастую мнимыми, — с этими «молитвами» мы обычно падаем. Но где оно, это драгоценное слово, с которым человек встает? В каких отдельных удачных сочинениях наличествовала крепящая нас «неведомая сила» — нас, все знающих «мимоездом и мимоходом»? Сила эта была в предельной правде личного поведения и личной боли — на войне, в холодном и голодном тылу, в разоренном мире твоей родной деревни, — только такая правда личного поведения, личного взгляда, личного сознания не роняла чувства достоинства и чести человека, потому что все, что зависело от него, он делал с чистым сердцем, и ему нечего было стыдиться, а если сама правда его существования воспринималась как укор и обвинение праздному и сытому человеку, ни за что не несущему ответственности, то при чем же тут Пряслины и Дрыновы, Матрены и Пелагеи, Марьи и Дарьи? — мы сами себя узнали в этих мужиках и бабах, парнях и девках, узнали своих близких, узнали свои города и деревни, и то, что мы узнали, принесло нам удовлетворение и надежду: наконец-то в книгах была наша правда!

4

Так-то так — правда, но вот нашей правде и говорит кривда: правдой, говорит, не прожить на белом свете...

И в самом деле, каким же сложным и драматичным оказалось это чувство удовлетворения обретенной правдой! Ведь книга — это все равно что официальный документ для читающего человека, так что разве мы не вправе были надеяться на полное признание правды и на последующую ее нерушимость во всей нашей публичной жизни, во всех наших общественных отношениях? Но не чуждо оказалось нам и чувство мстительного злорадства при виде правдивых книжных человеческих несчастий, и литература фельетонной ухмылкой, балагурством да иронией потакала и поддерживала эти наши чувства, которые уже совпадали с тоном нового времени, но которым мы еще не знали названия. Нам казалось, что литература, обличая, врачует. Но кто и кого обличал и кто нуждался во врачевателях? Кого, например, обличал, ерничая и вихляясь, согласно с задачей писателя, Федор Кузькин? А неутомимый Теркин освидетельствовал даже тот свет, оказавшийся удивительно похожим на казарму, так хорошо знакомую

нам и по этому свету, так что простодушный человек лишился и последней благой надежды.

Казалось, литература в праведном своем пафосе торопилась выговориться, выплеснуть на читающего человека всю скопившуюся годами невысказанную боль и досаду, она торопилась и з в е щ а т ь о том, как обстояло дело в таких-то и таких-то годах, в таких-то и таких-то местах, она вдохновенно торопилась выговориться, не особенно затрудняя себя и читающего человека вопросами,— правда свидетельства, и свидетельства художественного, оказалась единственной престижной задачей и целью. Одним словом, правда оказалась расхожим литературным товаром, а за прилавком красовалась, оказывается, старая наша знакомая барыня с «ненашими зубами»,— мы и не заметили, как она вернулась.

Этой правдой можно было бы удовлетвориться и в последующее время — ведь не одной же литературой живет человек! — если бы она, эта правда, стала поводом к серьезным рассуждениям о нашем современном, действительном бытии, если бы перешагнула за рамки обличений и фельетонов в нашу организованную публичную и государственную жизнь. Но вот этого-то и не случилось, да литературная мысль и не ставила вопроса именно так, поэтому долгожданная правда о недавнем прошлом, возбудившая в нас такие восторги и надежды, очень скоро стала общим местом, мало кого интересующим.

Литература по инерции еще торопилась говорить, торопилась удивлять посягательством на трагические факты нашей недавней истории, но уже все заметнее эта правда становилась предметом элементарной демагогии в некоей игре, в которую вовлекался и читающий человек, вовлекался как соучастник, как «широкий читатель», как некий безусловный потребитель правды. Литература как будто забыла о том, что человеку предстоит жить завтра не только сведениями о том, как проходила коллективизация в том или ином районе нашей огромной страны, не только информацией о тех или иных прошлых тайнах, а решением насущных забот и проблем, неотступно встающих у порога каждого дома, для решений же этих требуется умение думать, умение размышлять, естественная способность поступать в согласии со своими нравственными убеждениями. Мы знали эти свои проблемы и заботы в лицо, но не знали, как должны п р а в и л ь н о поступать, не знали, что делать, чтобы выходило хорошо, честно, благородно. Но тем не менее, вынужденные что-то решать и делать, поддавались тому общему движению и настроению, которое чем проще и п о н я т н е е было, тем заманчивее представлялось и легче исполнялось. А литература, объяснив нам прошлое, проинформировав о правде, оставила нас безоружными не только перед грядущим, но и перед настоящим днем, потому что не подала нам примера, не научила нас всерьез думать об этой правде как единственном условии всякого сознательного и созидательного действия. И правда, оказавшаяся в нашей душе только эмоциональной информацией, не добавила ли в зыбкое сознание наше горечи нигилистических дрожжей и созерцательного пессимизма? Трудно, конечно, сказать, лучше ли это оптимистического неведения, однако большинству книг, принесших нам некоторое информационное удовлетворение, мы отплатили тем, что они стали одноразовым чтением.

Впрочем, было бы даже и странно, если бы было по-другому. Если в области взаимоотношений литературы с человеком утверждается некая потребительская мораль, пусть бы и прикрытая иными словами, более благозвучными и удобными для тщеславия и претензий авторов, то как бы мы ни умилялись при слове

«литература», отношение к книге у человека вполне определенное, и в длинном ряду «товаров» книга оказывается самым уязвимым. И не телевидение тут виновато, как бы оно не преувеличивало свое могущество. Человек отказывается в своем внимании книге не потому, что она плоха или хороша (во-первых, даже если эти оценки вынесены критикой, то они не распространяются дальше литературной или околосреды, во-вторых, то, что «хорошо» для одного, вовсе не значит этого же и для другого, так как этот другой может быть по своей человеческой сути другим), человек может отказываться от книги только потому, что она не вызывает в нем чувства доверия и ответного положительного жизнетворчества. Может быть, то, что в духовном отношении бесполезно, отвергается потому, что одной этой бесполезностью как бы разбавляется энергия наших убеждений, расшатываются нравственные основы нашей обыкновенной здоровой жизни, между тем как эти основы нуждаются в неустанном упрочении. А если так, то не лучше ли отдать свои душевные силы чему-то надежному — той же классике, например? — ведь человеку для душевной потребности не так уж много и нужно настоящих книг, а «образцы» никогда еще не подводили читающего человека.

5

Но все заметнее и то, что писатели, особенно из тех, кто пишет «по жизни», почувствовали некий «холостой ход», что они хоть и пишут «по жизни», но жизни общества, жизни человека по главным, определяющим уровень этой жизни пунктам нет в их книгах, что речь скорее идет о правдивых частностях прошлого, порой даже и сомнительных.

Все заметнее и то, что дело даже не столько в художественных достоинствах письма, сколько в том, что беллетристический талант оказывается не у дела, оказывается непричастным к реальной жизни реального человека — как те сплывшие паровозы, поставленные на заросшие травой тупики.

Но скажем: да кто он такой, этот реальный современный человек, и что ему надо, ненасытному? — не в смысле гарантированных конституцией прав на труд и на отдых, на образование и медицинское обслуживание, — в конечном счете все это обеспечивается социальным строем, который человек выбрал в 1917 году и который поддерживает своим трудом, — и в смысле его гражданского сознательного действия, в области практических взаимоотношений человека со своим государством? Найдем ли мы какой-нибудь ответ на этот коренной вопрос всех наших проблем в нашей текущей литературе?

Теоретически тут все ясно: социалистические принципы, конституция, законы, одинаковые для всех, равноправие, выборная система... Но практическое взаимоотношение государства с различными общественными группами в нашем обществе и взаимоотношения государства с каждым конкретным человеком сейчас разнообразно и многоярусно...

И все было бы замечательно, поскольку чем больше какой бы то ни было независимости, тем больше желанной свободы. Но оказывается, что такое состояние общества чревато более серьезными проблемами, так как независимость общественных слоев и групп — это не столько различное понимание той или иной книги или театральной постановки, сколько различное отношение к вещам более серьезным: к своему делу, к своему труду, к обязанностям, различное понимание ответственности, переходящей незаметно в безответственность, различные претензии на привилегии, различное фактическое отношение к госу-

дарству, к закону, к принципу, к морали. И все это не само по себе и не в виде отдельных проблем, но самым странным и непредсказуемым образом аккумулируется в качестве нашей общественной жизни, в производственных отношениях, в экономике и политике. А всякий отдельный конкретный человек в своем практическом поведении вынужден применяться не к хорошим словам, не к замечательным принципам и призывам, а к утвердившимся в реальной жизни обстоятельствам. Но откуда они взялись, эти пресловутые обстоятельства? Об этом обычно умалчивает даже наша правдолюбивая литература (беллетристика и критика), ссылаясь на то, что она-де не врач, чтобы лечить болезни, она-де только на них указывает. Но кому же она, такая застенчивая, на что-то указывала — читателю, который «по жизни» знает в с е? Или ведомствам и учреждениям, которые управляют нашей жизнью?

Как бы там ни было, а приходит час, когда даже и государство не в состоянии справиться частичными реформами с экономическими проблемами, не затрагивая вопросов социального и нравственного порядка и всего того морально-этического фона, который делает пресловутые обстоятельства текущей действительности такими удручающе всемогущими и тягостными для прямого и трезвого взгляда на реальность.

Казалось бы, литература, пусть не вся текущая, но хотя бы пишущая «по жизни», верная провозглашаемой правде, могла бы выразить эту реальность, эту мысль «последнего времени», — разве не в этом и состояла ее общественная, патриотическая и художественная задача перед человеком, перед народом? Но эти замечательные принципы, прекрасные высокие задачи не сделались безоговорочным условием литературной практики. Мало того, и принципы, и задачи, и даже сама святая правда, к которой литература стремилась с такой страстью, сделались неким самостоятельным, самоцельным поэтично-ораторским предметом. Конечно, саму возможность провозглашать правду можно толковать и определенным шагом вперед в области нашей публичной жизни, однако художественная литература словно бы в каком-то странном замешательстве остановилась перед порогом, за которым открывались для нее совершенно новые возможности: писатели как будто не знали, что делать с правдой, для чего она нужна и нужна ли вообще для чего-то. Здесь-то и возникает вопрос о критической мысли, которой не было, о философии, которой не было, об истории, — без всего этого художественное творчество, в особенности же литературное, оказалось безоружным перед действительностью. Но разве виновата критика в том, что она была силой все тех же обстоятельств лишена своего языка и самостоятельной мысли? Или философия, обслуживающая старые понятия и потерявшая смысл перед лицом современного порядка вещей? Нет, виноватых как будто бы нет среди «нашего» брата, потому что в с е литературное дело оказалось зависимой частью организационно-бюрократического порядка вещей в государстве, точно такой же зависимой частью, какими были и другие — сельскохозяйственное, например, или машиностроительное. И парализованным оказался главный нерв художественного литературного творчества — мысль о человеке, мысль о достоинстве трудящегося человека, мысль о его искаженных взаимоотношениях с н а р о д н ы м государством. Точно так же, как и в сельскохозяйственном деле, и в машиностроительном, и в любом другом оказалась парализованной всякая самостоятельная творческая мысль. Но даже при всем при этом сходстве и сродстве творчество литературное было в более благоприятном положении, потому прежде всего, что оно индивидуально, и

художник как будто мог бы воспользоваться этим своим привилегированным положением, однако — «где современные боги? где кумиры и гении, которым хотелось бы подражать?..». И литература, даже в своих лучших образцах, не сумела ничего серьезного противопоставить сложившемуся безнравственному порядку вещей, не сумела распорядиться даже теми возможностями, которые предоставлялись условиями ремесла.

Всякий конкретный художник, всякий конкретный писатель может, конечно, оправдаться тем, что я-де ничего не могу, у меня-де нет своего печатного станка, таковы-де условия нашего общего дела. Так-то оно так, но если правда — цель сочинения, если в этой правде нет какой-то осознанной позитивной задачи в отношении человека, то правда, естественно, превращается в обличение более-менее известного «негативного явления», в фельетон, а по существу — в некое праздное злословье, в смелую игру на публику, в «театр на Таганке».

Внешне как будто все правильно и благородно, в лучших обличительных традициях, и для какого-то частного художественного устремления самоцельная правда, страсть к обличению и может сделаться смыслом и пафосом творчества, даже составить общественное лицо писателя — это всего лишь одна сторона художественного дела, а в смысле общественном даже и не главная. Главная состоит в человеке, на которого направлено это творчество, в душе этого человека, которая в силу одной житейской необходимости постоянно устремлена на положительное — пусть хотя бы во имя себя только! — действие, какова бы эта душа ни была и в каких бы условиях человек ни находился. Но кто этот человек, которому адресуется книга, кинофильм, театральная постановка? Ведь это не какая-то заведомо положительная и окончательная данность, пусть даже этот человек и трудящийся, опора и надежда государства. Душа всякого человека подвержена не меньшим устремлениям, чем душа художника, и разве только сила житейских обстоятельств и моральная атмосфера среды помогают ему определяться в жизни и делать тот или иной выбор. И почему-то считается, что произведение искусства всегда положительно влияет на этот выбор. Да, так удобно считать для самого искусства, для его работников, для художников. Но как с этим обстоит на самом деле? Вот мы говорим: народ, жизнь, требования народа, требования жизни. Но ведь народ — не какое-то монолитное социальное единство, занятое в так называемом материальном производстве, то есть на заводах, фабриках, полях и фермах. Во всяком случае, требованиями этого народа природа нашего застоя никак не может объясниться. Значит, есть такие слои и группы в народе, психология и социальные устремления которых обеспечили, может быть и невольное, этот самый общественный застой. И вот если так по-разному воспринимается разными слоями и группами народа реальность, то по-разному воспринимается и искусство с его «установками». И то, что хорошо и приятно в искусстве для одного «слоя», то может оказаться дурно для другого. Пусть этого не видно отчетливо в настоящую минуту. Но стоит оглянуться на литературу, уже переставшую быть текущей, как мы тотчас можем увидеть, что там отвечало требованиям жизни народа, а что — только настроениям отдельных социальных слоев или нашим представлениям и пристрастиям.

Такое практическое положение дела вовсе не мешало нашим разговорам о партийности искусства, мы даже праздновали юбилей статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература» и с особенным усердием повторяли, как

художественное творчество в буржуазном обществе подчиняется «денежному мешку», и при этом кощунственным выходил даже робкий дискуссионный вопрос о том, как же с подчинением искусства обстоит дело в нашем новом социалистическом обществе, как будто само собой разумелось, что у нас в се подчинено только интересам простого трудящегося человека и вообще не может быть и нет никакого «слоя», требования и воля которого являлись бы для советской литературы основополагающими, а гибкая литературная наука, особенно в профессорском и академическом варианте, без особого труда делала из Ленина щит, которым отгораживала безнравственную практику литературного производства от правильных рассуждений о литературе.

В сельскохозяйственном производстве, в машиностроительном или в любом другом гораздо легче различается ложь от правды, статистическое молоко и мясо от мяса и молока реального, хорошая машина от плохой. Литературное производство в этом смысле находится в гораздо более удобном положении, и в удобном тем более, если находится в руках ведомств, издателей, редакторов художественных журналов, руководителей творческих союзов, то есть в руках весьма небольшой группы людей, «аппарата». Русский человек гибок, заметил еще Ломоносов. Но наш аппаратчик гибок вдвойне, втройне, потому что гибкость эта — гибкость фарисея, политика от литературы, вооруженного современной к л а с с о в о й терминологией, и хотя политика от литературы текущей, но при определенной методе дела (не забудем литературную науку и философию, которые готовят эту терминологию) — и литературы вообще, и не только отечественной, но и мировой. Верные и точные слова, которые служили Ломоносову и Пушкину, Толстому и Блоку для определения порядка вещей в своем времени, при определенной сноровке могут служить и в наше время, хотя качество этой службы может быть совершенно иным, если и не противоположным. Да это замечательно видно и на самой нашей беллетристике, — ведь едва ли не все наши беллетристы уже стали писать, «как Толстой», «как Чехов», «как Бунин», не говоря об импортных образцах. И такое сходство не читателю важно и дорого, а важно и дорого литературному аппаратчику, издателю и редактору, всему литературному производству — ведь это как печать с подписью «разрешаю», и прежде всего именно эти люди и поощряют сходство с образцами. И предлог как будто верный и благородный, но под этим прикрытием таятся два обстоятельства: во-первых, сходство с образцом является гарантией внешнего качества беллетристики, что очень удобно для производства; во-вторых, следование образцу «освобождало» беллетристику от самостоятельного осознания своего времени, современного порядка вещей, современного характера взаимоотношений государства с человеком.

Но отечественные и импортные художественные образцы — это достояние не только литературных людей, но и людей читающих. И как образец производит действие на литератора, точно так же он производит действие и на читающего человека. Но действие это в некотором смысле даже противоположно: читающий человек «точит» на образцах свой художественный вкус и социальное зрение, он видит, КАК можно говорить о человеке, как можно говорить о взаимоотношениях человека с государством, как выражается в обыкновенной человеческой жизни «гнусное преимущество» классовой несправедливости. Но такая школа, которую дает образец, — это еще половина впечатления. Другую половину составляет впечатление от личного участия человека в жизни, его личное восприятие реальности, и реальности не мечтательной, а той самой,

которая постоянно, ежеминутно окружает его, которой и он сам действующая, мыслящая, страдающая часть. И вот с такой подготовкой, с таким университетом я читаю своего «толстовца» или «чеховца» и с первой же страницы вижу, что тут «не так»! И пусть даже за душу берет, что, правда, не часто случается, но — «не так»!

Естественно возникает вопрос: а как? Но выяснять эту проблему — не дело читателя. Он только на правах читающего книги человека видит, что наш «толстовец» или «чеховец», поощряемый похвалами, переносит художественную методику на изображение совершенно иной по социальной природе действительности, иных взаимоотношений человека с человеком и человека — с государством, с обществом, на совершенно иное социальное и национальное содержание. И пусть это перенесение методики делается из лучших художественных побуждений, но за этой ширмой, за этим внешним беллетристическим лоском происходит искажение сути вещей, искажение хотя бы потому только, что существо современных взаимоотношений человека с государством обходится стороной. Следовательно, в сочинении исчезает главный нерв, главная правда нашего общего бытия и остается одно бытовое правдоподобие, которое как нельзя лучше и удовлетворяет современное литературное производство.

6

Следование традициям русской классической литературы всегда считалось делом примерным и похвальным, всячески (преимущественно в общих словах) поощрялось и приветствовалось. Само по себе это и на самом деле замечательно, особенно для молодых, овладевающих ремеслом, преодолевающих литературное косноязычие. Но вот уже писатель овладел ремеслом, пишет хорошие рассказы, повести и романы, да вот какое дело: все у него в этих рассказах, повестях и романах как-то уж посредственно, серовато как-то, мимо какой-то главной жизни. Должно быть, не того взял героя, не угадал с персонажем. Но вот новая повесть, новый роман, новый герой, и все как будто правда, все есть, да правда какая-то необязательная, дачная, курортная — одним словом, второстепенная.

В самом деле, в чем выражается прежде всего традиция, как не в персонаже произведения, не в отношении к нему писателя, не в том, как писатель понимает человека в окружающей его жизни, в конкретной социальной обстановке? А кем был в русской классической литературе порядочный, честный, думающий, страдающий, вообще положительный человек — из дворян ли, из крестьян, мужчина или женщина? Он был преимущественно жертва. И такое состояние человека в литературе было оправдано не только общим состоянием жизни, державшейся на узаконенном бесправии народа, на «гнусном преимуществе», но и тем, что человек-жертва, униженный и оскорбленный, служил укором этому бесправию, был художественным олицетворением идеи, отрицающей государственное и общественное насилие, то есть идеи по сути гуманистической, положительной. И с точки зрения самого бесправного народа, эта идея, для узаконенных порядков «гнусного преимущества» отрицательная, была идеей положительной. И художественные произведения с такой идеей были народными не потому, что исходили в своей художественной задаче и эстетике из народного миропонимания, из народной точки зрения на суть вещей, а потому, что отрицали данную форму насилия, совпадали с народным отношением к бесправию, к несправедливости, к эксплуатации, осуществлявшейся государством ради интересов привилегированных сословий.

Усваивая сейчас по «образцам» художественную традицию, усваивая как некую исходную данность структуру человеческих взаимоотношений и чувств, мы усваиваем и сам тип героя, то есть человека-жертву, пусть и не прямую жертву очевидного беззакония власти и силы, но тем не менее человека, в круговую зависимость от всего на свете — начиная от плохой погоды и своего настроения до дурного начальника. Внешне, с бытовой точки зрения, это, может быть, и верно, потому что в ситуациях повседневной трудовой жизни современный человек и в самом деле кажется в круговую, до последней мелочи, зависим, и эта зависимость делает его слабым, покорным, робким, пассивным (это не исключает моментов и личного агрессивного поведения как вынужденной защиты) существом, особенно если такого человека отделить от конкретной социальной реальности и истории. — получается точь-в-точь какой-нибудь Акакий Акакиевич! И это внешне традиционное качество литературного персонажа может показаться сильным и похвальным, потому что, во-первых, все тут сразу всем понятно без лишних усилий; во-вторых, традиционно служит укором, упреком, обвинением или обличением, взывает к справедливости, к помощи, к исправлению «неисправ», то есть имеет прямое отношение к знакомой нам положительной идее.

Но спросим: кого мы упрекаем или обвиняем своим Акакием Акакиевичем или Поликушкой? Власть? Но ведь власть в принципе справедлива, она на родна, она сама хлопочет о благе народа и вправе не принимать эти упреки и обвинения на свой счет. И другое: эти упреки и обвинения адресуются, как правило, задним числом. И указывают на какой-нибудь административно-хозяйственный перегиб регионального значения. Но какое министерство или ведомство может взять на себя вину за неудачи и несчастья Кузьмы или Дарьи, Ивана или Марьи? За судьбу разбитых инфарктами «тринадцатых» и иных председателей? Нет таких добровольных ответчиков, ни персональных, ни коллективных. Наоборот, все об одном хлопочут: о благе народа. И никакой иной цели нет ни у кого. Кроме того, кому адресуются правдивые и обличительные книги? Разве Агропрому или Миннефтехиму с их министрами и заместителями на предмет пробуждения в их душах и умах чувства ответственности и широкого взгляда на природу вещей? Нет, книги адресуются исключительно широкому читателю, тем же Марьям и Дарьям, Поликушкам и Акакиям Акакиевичам, то есть все тем же самым людям, правда жизни которых описывается. Следовательно, даже в смысле «методологии» наша художественная работа в новых социальных условиях потеряла точный адрес — она оказалась исключительно иллюстративной. И естественно (это не значит — осознанно) возникает вопрос о необходимости гениев и кумиров: они нужны в качестве поводырей.

Может быть, было бы хорошо, если бы отношение этого широкого читателя к книге было сугубо потребительским, внешним. К сожалению, обыкновенные читающие люди, обыкновенный простодушный и доверчивый человек приносит в отношения с книгой иные чувства, более серьезные: книга все еще является (может быть, бессознательно, произвольно) не столько иллюстрацией, необязательным развлечением, сколько поучением, предметным уроком личного поведения, личного отношения к жизни, неким нравственным образцом. Такие отношения — тоже традиция, но традиция уже иного порядка, происходящая из взаимоотношений народа с народным искусством, по которой Слово, особенно слово книжное, было учителем жизни, а Образ — высший пример нравственного и житейского поведения. Однако это новое для человека ис-

куство не несло такого содержания, да и не могло его нести, так как было «заказано» для иных целей, предназначалось на иное восприятие, на иную психологию, на иное социальное сознание и миропонимание. То, в чем в русской классической литературе была заключена положительная идея относительно народа, теперь, буквально перенятая вместе с образцами, с художественной традицией, оборачивалась — для иного уже восприятия — идеей разрушительной, потому что человек-жертва — это всегда социально пассивное поведение, в этом его родовая черта, родовый признак, его поэтическая метафора, и эта метафора положительно действовала тогда, когда укоряла, обвиняла; теперь же пример такого поведения — в силу хотя бы сострадательного, милосердного отношения к своему брату. — внушал, утверждал такое поведение как неизбежное, невольно делая его нормой. А поэзия делала эту норму неотразимой. И не многие могли подняться над собой и сказать: «За душу берет, но не так, не так!» Значение искусства сводится к тому, что «берет за душу», — естественная потребительская мера. И она оказалась превосходна во всех отношениях: во-первых, потребление всегда приятнее и удобнее усилий, обязательств, духовной работы в постоянном воспитании своих чувств, мыслей, в постоянном контроле над своими мыслями, эмоциями, поступками; во-вторых, для административно-бюрократической структуры, организующей общественную жизнь, всегда удобнее человек потребляющий, человек социально пассивный, покладистый, привычный к потреблению, усвоивший определенные нормы поведения, определенный образ мыслей, человек, принявший поэтический образ поведения, образ жертвы.

Современный человек-жертва не действует как укор, как обвинение, — никакая социальная группа не возьмет на себя этот укор, но как литературный пример этот образ действует на волю и сознание человека и бессознательно узаконивает, утверждает в действительной жизни модель жертвенного, виноватого поведения. Во всяком случае, помогает слабому человеку приспособиться к удобной роли иждивенца в обстоятельствах, к которым он лично как будто не имеет никакого отношения и не властен над этими обстоятельствами. Человек-жертва, человек-иждивенец в литературе современной оправдывает и меня в моей беспомощности перед обстоятельствами — ведь все так похоже! — помогает истолковать свои неудачи и несчастья как от меня лично не зависящие, а это так хорошо успокаивает мою волю. И так я живу в ожидании, что обстоятельства изменятся в лучшую сторону, справедливость восторжествует, мне достанутся все причитающиеся мне блага. Но их почему-то все нет и нет, и справедливость почему-то не торжествует. Это меня начинает уже беспокоить, нервировать. Но единственное, что я теперь умею делать, — это потихоньку ворчать недовольно, потому что мне кажется, что я чего-то недополучил, что мне чего-то недодали.

Но предположим сказку, где герой не победил врага, не одолел испытаний, не переборол сам в себе своей слабости, соблазна, а только и делал, что оглядывался и ждал, как там другие, как там все, и не придет ли добрый дядя и не выручит ли его из тяжелых обстоятельств... Да, верно, такой сказки нет и быть не может. Но не потому быть не может, что такой жанр — сказка, а потому, что как сказка, так и все народное искусство, опираясь на правду, определяющую жизнь человека, преследует в отношении человека цель воспитания в нем чувства достоинства, самостоятельного сознания и воли, вкуса к действию, к победе над всеми разрушительными темными силами.

Но, не наследуя этих нравственных принципов, не наследуя существа

эстетики народного, то есть своего искусства, мы в ремесле своем литературном нашли спасение, нашли способ примениться к новому широкому читателю, а заодно и к обстоятельствам. Этим спасением оказался положительный герой! В сущности, это очень логичный теоретический выход.

В мирной жизни, в обстановке гражданского и общественного мира положительный герой оказывается особенно пристрастным к критическим ситуациям, и если это не какие-то стихийные бедствия или уголовные преступления, то обязательно какие-то болезненные исключения. И получается, что такое произведение по отношению ко в с е й жизни занимает особенное положение и освобождает чувства и мысль человека от необходимости повседневных духовных усилий в строительстве своего жития, в строительстве своих убеждений, своего мировосприятия, своего, в конечном итоге, поведения, в необходимости сознательно противостоять всякого рода искушениям потребительства, которое особенно губительно тогда, когда человек воспитался как иждивенец, без особых усилий приспособившийся к любым уродливым и болезненным обстоятельствам и «негативным явлениям» — такие явления для иждивенца наиболее приятная, питательная, «среда».

Если теоретически с положительным героем все замечательно образуется в текущей литературе, то практически все не так просто. Чаще всего такого героя приходится писателю измышлять. Но опыт показывает, что измышления в этом направлении ни к чему хорошему и долговечному не приводят. В лучшем случае получаются положительные должностные лица, в основном председатели колхозов, реже — директора заводов, инженеры, секретари райкомов, и совсем редко — секретари обкомов. Но убедительность этих положительных персонажей скорее театрального плана, чем литературно-художественного, потому что облик таких литературных персонажей проистекает не из закономерностей нашего общественного состояния, не из искреннего личн о г о переживания, а из умозрительных представлений авторов о том, каким должно быть положительное должностное лицо на современном этапе, что должно говорить и как вести себя.

7

В девятнадцатом веке литература подала воодушевляющий пример всем другим русским искусствам в новом понимании и изображении своей действительности, своего человека, каким бы он ни был в общественной иерархии — мелким ли чиновником в департаменте («но лучше не называть, в каком департаменте»), владельцем ли помещиком, бесправным крестьянином или гвардейским офицером. Литература девятнадцатого века воодушевила мыслью о человеческом достоинстве и литературную критическую мысль, и историческую науку, и философию. Обо всем этом говорить можно очень много и без малейшей натяжки, потому что примеров самых ярких в художественной практике русской культуры — великое множество. И один из них — влияние литературы, литературных «образцов» на художественную практику русской живописи, которая первая из искусств сознательно устремилась вслед за Пушкиным и Гоголем к лику и душе своего соотечественника.

Литература в двадцатом веке оказалась в ином положении по отношению к другим искусствам. Во всяком случае, то, что знает, умеет и может живопись или театр, они это знают, умеют и могут без литературы. Литература дает материал для театрального производства и кинопроизводства, некую фактическую основу, но повода к качественному изменению этих искусств, особенно

примеров нового художественного понимания своего времени и своего человека, литература не дает. Понятно, что тут не литература как таковая в своем совокупном виде виновата, сколько, может быть, то, что критическая мысль оказалась не в состоянии исполнить свою часть дела — выделить, собрать, обдумать и объявить все то, что в беллетристике в том или ином виде сохранилось нового, значительного и важного. У критики была возможность — и она этой возможностью превосходно пользовалась — говорить о том, что в текущей беллетристике плохо, пошло, лживо, но что хорошо, правдиво, что нужно человеку и жизни — об этом она не говорила. У самой критики не было выработано вкуса к самостоятельной мысли, и потому она так покорно и раболепно обслуживала административно-литературные «превосходительства».

Мысль, слово — первые жертвы административно-бюрократического произвола в науке, в искусстве, вообще в общественной жизни. Административно-бюрократический слой не нуждается ни в истине, ни в правде, ни в мысли, ни в слове. И потому, когда он начинает полновластно курировать науки и искусства, самыми различными способами и приемами понуждает их — в лице как творческих и научных организаций, так и отдельных покладистых художников и ученых — служить задачам, которые он, этот всемогущий Куратор, определяет важнейшими...

И литература, как и другие искусства, как и всякая общественная наука, лишенные доверия и возможностей самостоятельного размышления, оказываются беспомощны перед жизнью и как идеологическая и политическая сила.

Не заблуждаюсь ли я, говоря так? — спрашиваю я себя еще и еще, ведь сама свобода делает меня ответственным за правду, которая прямо смотрит на реальность. Может быть, в других сферах слова и мысли ситуация совсем иная, и если литература не подает примера другим искусствам, то, может быть, она сама не усвоила те новые понятия и смыслы, какие предлагали ей философия и история? Может быть, спрашиваю я, текущая литература беспомощна сама по себе? Сомнения вынуждали меня либо заручиться фактами и подтверждениями о том, что литература не может быть сама по себе хотя бы потому, что слово и мысль не принадлежат только литературе, либо вместо этих соображений опять поставить многоточие и отступить. Отступить не хотелось, я искал подтверждений, прямых и ясных, подтверждений не общих, не в виде предчувствий, намеков, но ясных и точных. Все кругом говорило, что время ясных и точных слов пришло, надо только искать эти подтверждения. Но где искать? — спросил я себя. А там, где сейчас ищет и весь народ, все люди, — в газетах. Газетное слово, к которому было такое сильное пренебрежение у людей, изменилось первым, оно стряхнуло оцепенение, стряхнуло золоченую ливрею с нашивками за услуги и заговорило живым человеческим голосом.

Бывало, возьмешь газету — мертвые, тяжелые фразы, робость, пустая трескотня, прямая ложь, и такая досада, такой стыд возьмет — за газету, за нашу так низко упавшую печать, за наше слово, которое поставлено обслуживать административно-бюрократическое лицемерие, оберегать благоприятный «микроклимат» его существования! Но и слово, оказывается, как человек упавший — поднимается. И вот мы видим, как наше слово поднимается. Да, оно поднимается вместе с человеком, они вместе встают, помогая друг другу, Слово и Человек!

Но как трудно подниматься человеку. Не потому трудно, что сил мало или

гнетет неуверенность, нет, надежда никогда не оставляет человека, пока он жив, надежда на то, что после ненастной осени придет рано или поздно весна и все в жизни обновится,— трудно потому, что, поднимаясь сам, ты пытаешься поднять и дело, поднять мысль, которая замята в липкую грязь тяжелыми подметками административно-бюрократического аппарата.

Общество быстрее чувствует необходимость в хлебе насущном, чем в хлебе духовном, и потому, когда дело принимает некие нежелательные и опасные размеры, начинает действовать энергично, пытаясь преодолеть новыми хозяйственными решениями, сконцентрированными в Продовольственной программе, эту серьезную государственную проблему.

Но такая же необходимость, если не более серьезная, существует и в проблемах хлеба духовного, в производстве духовного «продовольствия».

Но если журналистика не пример литературе как искусству, то ведь и другие искусства подают замечательные примеры осознания и осуществления своих задач по отношению к народу (а не к административно-бюрократическим слоям). Возможно, происходит это потому, что в других искусствах способ выражения не настолько строго стиснут условиями производства? Например, в музыке, в живописи? Возможно, музыка и живопись скорее почувствовали духовное состояние человека и отозвались на него, пришли человеку на помощь? Или в силу наибольшей условности своего языка, а потому и более сложные для бдительного административного кураторства эти искусства оказались более свободными и самостоятельными? Здесь мы видим примеры уже не единичных случайных выражений положительной идеи в отношении человека — эти случаи есть и в литературе, но вполне сознательных творческих усилий в направлении человека.

Хорошее дело — эти надежды, скажет иной уставший человек, а теперь ведь много уставших, с этим нельзя не согласиться, и нельзя игнорировать их суждения, тем более что усталость-то эта тягостна, от нее человеку освободиться хочется поскорее, но вот и возникает вопрос: как освободиться? во имя чего освобождаться? — так что не будем махать руками и послушаем уставшего человека. Так-то оно и так,— говорит он,— хорошее это дело — надежды, но все-таки, знаете ли, это отдает романтикой, лирическими предположениями, они очень даже знакомы мне и по прежним временам, а реальность, реальные обстоятельства, в которых человек живет повседневной жизнью, слишком сильны, чтобы так ими пренебрегать, капля, знаете ли, штука ничтожная, а камень между тем точит, и не всякий выдержит это повседневное испытание, ведь посмотрите, как часто случается даже с сильными личностями: вместо того чтобы показывать всем нам пример именно повседневной стойкости, он сегодня бьет себя в грудь, произносит правильные слова, клянется самым святым, а года через два-три поглядишь — уже кончился порох, уже заволочло глаза оловянным равнодушием, мысль сделалась ленива, слово лукаво, и все покатило по-старому; а простой человек все-таки слаб, особенно в одиночку слаб; да если еще не оправдались светлые надежды, тут уж совсем, знаете ли, голову повесишь, какая уж тут красота и достоинство, быть бы живу...

И нельзя не согласиться с уставшим человеком, нельзя не понять его: обстоятельства — штука серьезная, и никаких верных гарантий на будущее он не получит. Но ведь и у самого нашего социалистического народного государства нет иной крепкой надежды, помимо надежды на красивого со-

ветского человека! Государство не может быть красивым и сильным расцветом «негативных явлений», оно может быть красивым и сильным только красивым и крепким духом человека — теперь-то уж это яснее ясного. И не в этом ли самом состоит и существо «требований народа»? Красивый человек — единственное условие красоты и духовного здоровья всего народа. И человек — от рабочего до министра, как сейчас говорится,— человек, который выпрямится от сознания своего достоинства, делается не только невольным неспособником «негативному явлению», но его невольным и самым несокрушимым врагом. В этом единственное личное оружие человека, которым он может защитить и свою красоту, и красоту своей Родины. Ведь чувство патриотизма — не только военное, солдатское, жертвенное чувство. Оно не принадлежит монопольно и какому-либо учреждению или ведомству, которое может распределять его по спискам. Патриотизм — это твое и мое личное родовое историческое чувство, это наше достояние и ответственность. И оно способно благотворно действовать и в повседневной мирной жизни каждого человека, строить твое сознание, твое миропонимание, твои поступки и твою жизнь. Оно способно соединить людей разных сословий и общественных слоев в единство не условное, а реальное, дееспособное, потому что всякий отдельный человек (от рабочего до министра) красив не сам по себе, не отвлеченно, а только благородством своих помыслов и правым делом. Человек может быть красивым вполне только тогда, когда красива его Родина. Это нерушимое высокое обстоятельство, но это и гарантия слабому человеку, и условие победы над окаянными «негативными явлениями».

8

В литературе, на мой взгляд, пока нет одного красноречивого творческого опыта, в котором целеустремленно выразилась бы положительная идея в отношении человека, но есть счастливые случайности, которые свидетельствуют о том, что и литература воспринимает эту новую задачу в отношении человека, хотя еще и редко и робко, словно бы мы еще не до конца убедились в бесплодности своих усилий положительно влиять на действительность отрицательными средствами, а на человека — выискиванием и разоблачением в нем пороков и выставлением этих пороков на всеобщее ознакомление. Знакомить с тем, как было, не укорять тех, кто не слышит укоров, не жалобить тех, кто не видит слез, но воззвать прямо к человеку, напомнить о его достоинстве и чести, о его красоте, о его уме и ответственности перед самим собой, перед своим достоинством, перед своим будущим.

К кому же еще обращаться? К чему взывать в человеке? К его служебному долгу? О, сколько уже учат этого чиновника, сколько уже к нему взывают! И разве уже неясно, что ничему его не научишь, ничем не проймешь. Он может слушать даже твои обличения и упреки, даже с большим удовольствием будет слушать да еще и приговаривать, что у Гоголя да Салтыкова-Щедрина было позабористей, но ты-де не отчаивайся, учись, смелее вторгайся в жизнь, мы тебя не забудем, поддержим. Да и как ему не поддерживать, не поощрять внимание к себе? Ведь эти обличения укрепляют чиновника, делают его неким неизбежным явлением и очень даже своеобразно приспособливают к жизни, как же ему не похваливать своего обличителя?!

Но спроси: разве есть в творческих запасниках писателя варианты какого-

то правильного человеческого поведения? — ведь он, верный своему реалистическому методу, все берет «из жизни». Но вот в том-то и дело, что берет «из жизни» он как раз не все, а прежде всего то, что лучше видит, что ближе лежит, к чему сам по своей природе расположен.

Для писателей со сложившимися профессиональными навыками и способностями видеть в действительности только свой «материал» легче освоить новую политическую терминологию, чем иной, качественно новый взгляд на действительность, который бы естественно и спокойно выражался в практическом творчестве. Приспособиться к новому времени такому писателю отчасти помогают фразы и публицистическая работа. Однако новое качественное состояние всей современной жизни и духовное самочувствие человека, которым только и определяется нравственное здоровье народа, могут остаться в пределах умозрительных представлений и общих слов. Новая мысль, новый герой, совершенно новое житейское поведение человека стучатся в наши литературные двери.

9

Положительная художественная идея в отношении человека может быть только тогда убедительна, когда писатель исходит из правды, какой бы она ни была, а не из того умозрительного представления, как у нас может быть все замечательно и какие все люди хорошие, особенно те, которые на заводах и полях выполняют и перевыполняют план. Но в отличие от правдивой литературы прежних лет, правда здесь — не самоцель, не укор и не обвинение, даже не информация, не «доношение о неисправках» в том или ином регионе нашей огромной страны (правительственные люди об этом знают раньше и лучше писателей), но только повод к разговору с человеком о вещах, касающихся его чувств, его сознания, личной ответственности перед самим собой и своей жизнью, которую и загадить, и вычистить может только он сам.

Но такая сознательная литературная работа возможна сейчас потому, что испытаны и пройдены другие пути, высокая правда о времени и о человеке высказана и утверждена в литературе лучшими произведениями многих наших писателей.

Но это одно. Другое же состоит в том, что литературное сознательное творчество с положительной идеей в отношении человека нуждается в широком критическом осмыслении и понимании, а такой взгляд трудно совмещается с эгоистическим, элитарным представлением о литературе как о своем трудном и сладком деле, пусть бы эти отношения и представления подкреплялись рассуждениями об исключительных особенностях творческого труда и о некоем долговременном и обязательно благотворном действии литературного сочинения на условного читателя,— понятно, что это одно из утешений, которыми писатель сам себя взбадривает. Всякий человеческий труд особенный и творческий, хотя бы потенциально, и у нас никто никого не приневоливает делать не свою работу, а если она для тебя своя, то разве не служит наградой уже одно то, что ты ее выполняешь?! — и предоставь право судить о ее благотворном действии тому, для кого она предназначена, как и ты сам строго судишь чужую работу, исполненную для тебя. И это будет справедливо.

1984—1987

Хватит скитаться. Грешно столько лет топтать далекую тундру, когда столько дел на своей родной земле. Пора возвращаться к себе.

Вот и возвращаюсь. И везу в сонном плацкартном вагоне главный трофей — желание писать о своем родном городе.

Дождь моросит над площадью, сонный город — герой моих будущих записок — встречает звоном: вокзальные часы, рассеянно перебирая невидимые колокольцы, отбивают печально и строго первые такты симфонии Калининкова. Как же так? Столько лет прожил и ни разу не слышал эту симфонию целиком, только первые такты. А ведь этот плывущий над площадью Калининков как-никак земляк.

Шагаю, повторяя про себя: «ре-ми-ре-до-ре...» А как же дальше? Дальше-то как?

Возвращение

В тот же день — «соль-ля-си-до» — в музейной библиотеке я прошу все книги о моем родном Орле. На стол (не без удивления приносящей) ложится стопка брошюр.

— И это все?

Любовь Егоровна улыбается:

— Нет, есть еще «Дворянское гнездо» и «Жизнь Арсеньева».

— Спасибо, я помню.

Значит, все? Книжки можно и не листать, но я все-таки листаю: цитаты из «Дворянского гнезда» и «Жизни Арсеньева», фраза Лескова из интервью: «Орел воспоил на своих мелких водах столько великих литераторов, сколько не поставил их на службу Родине никакой другой русский народ». Интересно, что бы мы говорили туристам, не дай Лесков этого интервью корреспонденту «Биржевой газеты». Что бы мы высекали на камне и отливали в бронзе? Великая все-таки вещь газета... Из книжек-путеводителей о вас вряд ли что-нибудь узнают: некоторые комментируют цитаты, уточняют их, а другие просто состоят из цитат и фотографий: смотри, что там читать.

Столько же любви и боли потребовалось когда-то, чтобы нарисовать в «Дворянском гнезде» этот дом над обрывом и светящееся окно Лемма, чтобы и через почти полтора века людям захотелось привести сюда детей и сказать: смотри, это тот самый

дом, «где нежная грезил Лиза». Или другой, вырастающий как бы из грасского тумана, город юношеской страсти, по которому бродит влюбленный Арсеньев. В романе есть монолог героя, где он корит себя: столько лет жить в этом городе и ничего в нем не увидеть, кроме вывесок, извозчиков, управы. И все-таки, воссозданный через героя, Орел бунинский видится ясно, точно. Как же предстает тот город, где любили и страдали мы, наши дети и дети наших внуков? Нет, не в Монте-Карло мы жили, не только туристов принимали, не только цитировали лесковское интервью, не только на экскурсии отправлялись в другие земли. Страшная привычка смотреть на родину непридирчивым туристским окном: был Тургенев — хорошо! А еще и Лесков был? И Фет? Прекрасно! И «Пару гнедых» тоже здесь написали? Bravo! «И горько мне стало», — повторял я чьи-то чужие слова вопреки собственной уверенности в том, что лучше нашей земли не было и нет. Перед глазами уезжали и уезжали из маленького пыльного города, чтобы тосковать и писать о нем, великие и славные люди. На три дня возвращался сосланный в Спасское Тургенев. Нужно было подать «всемиловитвейшее» прошение, чтобы, изгнанному из столиц за безобидный некролог на смерть Гоголя, ему разрешили выехать из деревни. Губернатор, помнивший мнение начальства о том, что Гоголь — лакейский писатель и что-то такое там сжег, сесть Тургеневу не предложил, только холодно пожал руку. Ему и невдомек было, губернатору, что перед ним тот, кто сердцем своим восстановил сожженный второй том. Его можно было назвать «Живые души», потому что мертвых душ в природе не бывает, но назывался он «Записки охотника». Плюшкины и чичиковы, ноздревы и собакевичи в этой книге были уверены, что ревизские души принадлежали им, а на самом деле души эти жили сами по себе, мучились, страдали, пели, пили воду из чистых родников и мечтали на чистом-чистом, как вода, русском языке. Губернатор читал прошение, а перед ним стоял человек, который вот сейчас хлопнет оскорбленно дверью, сбежит по темной лестнице, чертыхнет и губернатора, и город, и уедет, чтобы никогда сюда не возвращаться. Но вернется памятником. Длилась мистерия расставаний: уехал из города Лесков, в ту же сторону отправился Дмитрий Писарев, следом — Писарев Александр, автор легких водевилей, Леонид Андреев отправился учиться в университет, позже скитался по земле бездомный Бунин, философии едет учиться в Лейпциг безродный Пришвин, собирают в дорогу пятилетнего Михаила Бахтина, скрываясь от полиции, дальше всех убежит — через Францию — полярный исследователь Русанов: его до сих пор ищут. Апухтин — больной и небогатый чиновник — будет пытаться изменить среду, прочтет публике десять лекций о Пушкине, плюнет и тоже уедет, задыхаясь. Уложены в коляску вещи Марко Вовчок, которой Жюль Верн поручил перевести не известные пока России романы, собирает конспекты и книги «Пушкин русской истории» Грановский. Столпотворение. Весь

день под надсадный аккомпанемент тракторного движка уезжали впопыхах из моего родного города все великие люди.

— Уезжайте,— шепчу я вслед каждому,— уходите, спешите, путешествуйте, скитайтесь, иначе ничего не напишете или напишете не все и не так. Пишите, не волнуйтесь. Александр Иванович Понятовский, хранитель вот этого музея, за тридцать лет соберет все, что можно собрать: рукописи и черновики, письма и открытки, булавки и визитные карточки, разбросанные по пути, ножи для разрезания бумаг и ваши вечные перья... Все увяжет в папочки и, проставив номера, затолкнет на стеллажи. По вашим комнатам день и ночь закружит досужая толпа. Вещи, на которых таблички «Руками не трогать», отполированы их упрямыми взглядами.

И как во сне я, кажется, протянул руки вперед и назвал фамилию: Горбов!

Здесь, в музее, его хорошо знали и главное — уважали: трудное это для нынешнего писателя дело — добиться, чтобы тебя искренне уважали те, кто день и ночь читает Тургенева и наизусть помнит все стихи Фета.

— «Дом под тополями»? — библиотекарь терпеливо ждет, пока я соображаю.

— Нет, мне тот роман, который нигде не напечатан.

— «Антиграст»?

— Да. «Антиграст-Н».

Пока я оформляю требование на рукописи писателя, умершего двенадцать лет назад, возьмите «Краткую литературную энциклопедию»:

«Горбов Евгений Константинович (р. 24.II (9.III), 1906, м. Теплик, Каменец-Подольской губ.— рус. сов. писатель. Печататься начал в 1934. В рассказах и небольших лирических повестях Г. проявилась любовь к «маленькому» ч-ку, погруженному в дела и заботы, обычному жителю тихого провинциального городка, сочувствие к его бедам и радостям, внимание к сложному, подчас драматическому процессу его духовного роста: повести «Куриная слепота» (1941), «Мирные жители» (1943), «Феня» (1954), роман «Дом под тополями» (1957)...»

Что значит — забытый писатель? По этим улицам он ходил, здесь поселил своих чуточку чудаковатых героев, сам жил здесь; после войны вместе с молодым тогда партизаном Василием Росляковым сразу после освобождения города пришел работать в газету. Забытый писатель? Нет, плохая у нас память, если рукопись романа, который сейчас принесет мне хранитель фондов, до сих пор томится, так и не дойдя до читателя.

Жилось под нашими тополями ему нелегко: там хвалили, здесь старались не замечать. Человек, называющий себя другом Горбова, работая с ним бок о бок, тайно визировал самую разгромную рецензию на его роман, который чуть позже расхвалят и назовут мастерским произведением наших дней и Караваева, и Федина, и Паустовский...

«Антиграст-Н» задуман в счастливые дни — не много таких дней было в его жизни.

Задумка такая: как будто бы изобретено лекарство от писательской графомании «антиграст-Н». Горбов щедро угощает им своих старых знакомых, жителей маленького вымышленного города, носящего фамилии реально существующих приживал от литературы. Двенадцать печатных листов, по объему — роман, по жанру — повесть под названием «Антиграст-Н». Заключен договор с издательством, получен, а через три года, конечно, истрачен аванс. Редакторы меняются, один требует распространить действие лекарства на актеров и режиссеров, другой — на завмагов, жуликов от прилавка, завхозов и всяческих шулеров. Становятся хуже рукопись, характер, здоровье, отношения в семье. Жаль, как жаль, что Горбов создал только роман, а не само лекарство — сколько бы хороших романов удалось тогда напечатать (и в частности этот, который лежит теперь в музее, тоже в одном экземпляре, разделяя судьбу его воспоминаний «Невидимое миру»).

Рукопись на столе. Я оформляю еще одну расписку, в которой чин чином значится, что музей передает мне для перепечатки сроком на один месяц белые автографы романа «Антиграст-Н» и воспоминаний «Невидимое миру» и что Союз писателей сохранность рукописей гарантирует.

Ответственный писательский секретарь, помнится, удивленно остановил перо:

— А это нам зачем?

— Миру показать.

— Ну, покажи, покажи,— и перо покатилося по бумажке, выводя витиеватую подпись.

Двадцать лет протомилась в «запасниках» рукопись. Двадцать лет о ней не вспомнил ни один из двадцати орловских писателей. А ведь многих он рекомендовал в Союз. И на каждом собрании: «Мы — наследники Тургенева, Бунина, Лескова...» Льстит давняя слава великих. Только плохие мы наследники, если романы совсем недавно ушедших от нас сданы в музейные архивы. Тургенев бы так не поступил, и Бунин бы вспомнил, и Лесков не спал бы спокойно, пока не пристроил рукопись собрата. Память писателя должна быть доброй и деятельной — иначе это не память. А без нее, без памяти, какой же это писатель? Борзописец.

Город, которого нет

«И горько мне стало», — повторял я откуда-то приплывшую фразу, повторял, неся домой чужую рукопись. Мы будем ходить сегодня по тому городу, где спокойно — на виду у всех знавших его писателей — лежит без движения рукопись, как думается мне, самого талантливого романа, написанного здесь за последние десятилетия. Про этот город ничего не известно туристам. Но

почему, до каких пор смотреть на землю, что тебя воспитала, глазами пришлого или приезжего человека?

Должны же мы наконец понять, почему издавна хорошие люди, выросшие здесь, не выдерживали и, плюнув, уезжали. Или оставались, как Горбов, знакомыми незнакомцами.

Нет, Евгений Константинович, нам еще понадобится придуманный вами «антиграст». Чудесное и очень необходимое сегодня, в наши дни лекарство. Отхлебнув для почина, я, с вашего позволения, пройду по городу, бережно неся за пазухой пузырек с чудодейственным препаратом.

С кого же начать? Писателей вымышленных вы угостили по собственной воле, нынешние не пьют, врачей, завхозов, продавцов, завскладами навязывали вам вылечить столичные редакторы.

Я бы лично угостил, с вашего разрешения, архитекторов. Ведь сколько старинных домов сносят, сколько этажерок поставили! (А что может ответить давно умерший писатель? Иди, угощай!)

Мы идем по городу. Путь наш, естественно, лежит вначале по широкой магистральной Комсомольской улице. Кто помнит, что было на месте этого скверика?

— Деревянный старинный дом.

Да, это был дом, где жила и выросла Марко Вовчок. Здесь, в гостиной своей тетки, она встречалась с Якушкиным и Киреевским, с Лесковым и Стаховичем, с Грановским и еще не упомянешь с кем. Ее проза нравилась Шевченко и Герцену, Добролюбову и Писареву. Ее романы публиковали в «Отечественных записках» Некрасов и Салтыков-Щедрин. А сколько было у нее душевных встреч с Тургеневым и Толстым, Аксаковым и Сеченовым, Менделеевым, Флобером и Жюль Верном (которого она, кстати, одной из первых переводила на русский). А еще она переводила Гюго, Андерсена...

Всего по дороге не расскажешь. Остановимся. Ведь нас сейчас интересует не только личность Марко Вовчок. Ее одноэтажный деревянный дом стоял вот на этом месте совсем еще недавно. История детективная. Вы знаете Василия Михайловича Катанова? Ну как же... Вы-то должны его знать. Детский писатель, знаток и любитель орловской старины. Раньше бы сказали: ревнитель. Это нечто противоположное, как мне кажется, оставшемуся до сих пор в словаре: любитель. Есть, значит, просто любитель, а еще есть ревнитель. Сейчас Василий Михайлович пишет увлекательные книги по истории края. А начал с газетных статей. И как-то, представьте себе, по натуре добродушный, признался мне, что считает себя злым гением. О каком доме, имеющем историческую ценность, ни напишет, через некоторое время дом тот сносят. И по пальцам начал считать те дома. А липы?..

Он мог бы вспомнить, как бросились на защиту старых лип на центральной площади люди, как защищали со слезами эти деревья, посаженные в начале прошлого века. И как ночью

приехали другие люди, чтобы все-таки убрать аллею. Народ защищал, а уполномоченные горисполкомом пилили. Ночью. Поди ты объясни людям, что горисполком — солидное учреждение и что по ночам они, конечно, тоже спокойно, как все честные люди, спят. Да, градостроителям показалось, что две трети старинной аллеи, посаженной в 1819 году, — лишние. И деревья... снесли. Почему ночью. На это я и сам не могу вам ответить. А дом Марко Вовчок снесли днем. Ранним весенним утром Василий Михайлович ехал в горисполком на обсуждение своей статьи, где всячески доказывал, что дом Марко Вовчок, как и прочие памятники истории, сносить нельзя. Он ехал в хорошем настроении и подмигнул дому: дескать, мы с тобой еще проживем, повоюем. В 12 часов дня собрались люди, которые должны были все взвесить и обсудить. Раиса Митрофановна Алексина, авторитетный историк, тогда заведовавшая Лесковским музеем, приводила исторические факты, шелестела бумагами. Вошел человек, тоже ответственный, и спросил, растерянно улыбаясь:

— О чем, собственно, идет речь? Дома не существует.

— Как так не существует? — воскликнул Василий Михайлович.

— Да так. Его снесли.

Так же или примерно так же закончил свою жизнь и другой дом, напротив. Он принадлежал когда-то Зинаиде Райх, актрисе, известной в истории советского театра. Сюда, к ней, да что там к ней; в этот дом приходил Сергей Есенин. Да что там приходил.

Вы помните, вы все, конечно, помните,
Как я стоял, приблизившись к стене...

К той самой стене, которую в одну ночь, вместе с тремя остальными, разобрали.

— Вы хотите знать пофамильно людей, ответственных за уничтожение этих домов? Прямо здесь, на улице?.. Погодите... Дело серьезное, путь долгий. Мы минуем злополучное для сюжета место: справа, на фундаменте памятного дома, разбит сейчас скверик, слева — тоже скверик. По брусчатой пешеходной Ленинградской, по горбатой отполированной мостовой, с которой у всякого из нас столько связано. Слева стоял дом, где жил революционер, соратник Ленина, Иосиф Федорович Дубровинский. Вспомнили? Туристов удивляет, как могли снести здание, которое обозначено мемориальной доской. Наивные люди.

Поднимаемся к деревянному одноэтажному особнячку. Здесь жил когда-то Грановский. Совсем еще недавно, три года назад, в этом доме, говоря военным языком, располагался штаб тех, кто по долгу совести встал на защиту ценностей, принадлежащих городу, но, как ни странно, не оцененных им.

Отступим в историю. 1829 год. Собравшись в Арзрум, Пушкин сделает двести верст крюка, чтобы по этой самой улочке подкатить к большому каменному одноэтажному дому. «Я приехал к нему в 8 часов утра и не застал дома. Извозчик мой сказал

мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен...»

Меня занимает этот час гения, проведенный в ожидании опального генерала. Пошел ли он пешком, оставив извозчика, вышел ли на крутой берег Орлика и так простоял на обрыве, глядя вниз, на редкие домишки Пушкирной слободы? Спустился к собору Михаила Архангела и долго стоял возле мельничной плотины? О чем он мог думать битый час, проведенный в ожидании генерала? Знал ли, что совсем недалеко, в десяти минутах ходьбы по Дворянским улицам,— дом, где родилась Анна Керн? Вряд ли. «Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью...» Тучный генерал забыл отчество поэта, и тому показалась неприятной, деланной улыбка из-под усов на круглом лице. «Когда же он задумавшись...— написано и зачеркнуто.— Когда же он задумывается и хмурится, то становится прекрасен...» Кажется, что здесь, подняв перо, улыбнулся сам Пушкин. Улыбнулся и продолжил, припоминая: «Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе...»

...Эти стены разбивали тяжелыми снарядами, подвешенными к стреле крана. Зовут этот тупой предмет почему-то «бабой». Да, дом генерала, которого любил Пушкин и побаивались цари, был взят по всем правилам фортификационного искусства. Штурмовали его ночью: били в исторические стены тяжелыми машинами. Орешек оказался крепким, и под утро машины временно отступили.

Тогда-то в доме Галаховых и собрались те, кто решил оборонять позиции. Главный хранитель фондов Тургеневского музея легендарный Александр Иванович Понятовский водрузил над развалинами самодельный транспарант: «Дом принадлежит музею И. С. Тургенева!» С Александром Ивановичем случился приступ астмы, вызвали «скорую помощь». Дрожащими руками помощники из ополчения набирали номера телефонов: вызывали подкрепление. Дозвонились до радиокомитета, который обещал поддержку. К вечеру радио неожиданно капитулировало, позвонили, извиняясь: «Все законно. Ивановой (той самой сотруднице музея, что просила помощи) велено жаловаться как частному лицу». (То есть не от имени музея.) «Частное лицо» Ивановой к этому времени распухло от бессильных слез.

Листаю протоколы ученых советов музея. Там, где дело касается памятников, они начинают походить на протоколы военных советов. Вот, например, Дворянское гнездо, район старого города с рядами одноэтажных крашенных домиков. По легенде, здесь жила Лиза Калитина, и дом каким-то чудом уцелел до наших дней. Можно составить целый том стихов и прозы, воспевающих этот уголок города. Туда войдут и стихи Бальмонта, и проза Андреева, и очень многие главы из бунинской «Жизни

Арсеньева». Но вот протоколы. Говорит заместитель директора музея по научной работе: «К Дворянскому гнезду было почти всегда варварское отношение: сначала хотели построить гостиницу, потом телерадиокомитет. Нам удалось отвоевать этот участок». И так в каждом протоколе, почти всякий год.

Кто же тот невидимый, но, судя по результатам, грозный противник, которого ученые стараются не называть по имени?

Я еще раз прошу временно отступить и оглянуться назад. В книге о «Дворянском гнезде» обязательно должны быть главы, которые помечены 1942 годом. Орел под немцами. Да что Орел, пол-Европы! По маминым рассказам, маленький, я представлял, что оккупация, в которой они жили в детстве, это какая-то страшная сказочная страна, куда их продали в рабство. Будто их купили какие-то немцы, потому и «а-купация». Выйдешь иногда утром в чистое зеленое поле. Где-то далеко на горизонте маячит отдельно стоящая купа берез и дальше — все равнина, равнина. Вздрогнешь, как подумаешь, что всю эту необъятную и такую русскую даль хотели обозвать Великой германской империей. Прочитались.

...Дом, где бывал в гостях А. С. Пушкин, дом, где бывал С. А. Есенин... Сколько их, таких домов, в моем городе! Подумалось: а ведь можно было бы организовать музей, который бы так и назывался — «музей одной встречи»...

Жаль, что такого музея больше никогда и нигде в мире не будет. Одним замечательным домом на земле стало меньше. Потеря великая, невозполнимая: в сентябре 1983 года разрушен дом, который пощадил самая разрушительная битва. Необходимо назвать персонально ответственных за этот урон: это бывший председатель горисполкома И. Г. Тимохин, главный архитектор города В. И. Филин, начальник (теперь тоже — бывший) управления культуры М. И. Жданова.

Сегодня, приходя в дом Грановского, я стараюсь не смотреть в ту сторону, где бессмысленно дыбится, ничего не знача для ума и сердца, дом орловской милиции. Замечателен он лишь тем, что стоит на фундаменте особняка, куда на два часа — очень важных в своей жизни — заехал Александр Сергеевич Пушкин.

Как же это произошло? Какая нужда заставила сносить в мирное время крепкий и красивый каменный особняк в исторической части города? Да, очень долгое время не удавалось найти документы, подтверждающие, что дом принадлежал отцу опального генерала, а «художественной ценности», признали специалисты, здание не имеет. Что это значит? Стоит, положим, в Орле скромный особняк начала XIX века. А где-нибудь в Вологде или Перми, в Свердловске или Саратове таких домов много. Для архитекторов из Москвы наш город — только страничка, несколько строк из книги «Русская архитектура». Но люди, которые на этой страничке живут, вряд ли утешатся, когда им скажут: у вас дом снесли, а в Вологде таких домов двенадцать. Мимо нашего проходили люди, сотни людей каждый день, он сам

был похож на старого денщика, который век свой прожил бедно, да честно, в службе, но не в услужении. Весь израненный, он мог ворчливо, но с гордостью говорить своим новоиспеченным сотоварищам по уличному строю: «Богатыри — не вы...»

А если бы с мемориальной доской, с золотым именем поэта по белому мраморному полю... Пройдет человек, и вздрогнет сердце: здесь был Пушкин.

Кстати, о золотом имени на белом мраморном поле. Вот уже два десятилетия все историки города просят сменить доску на доме губернаторов. Очень скупо она сообщает, что в этом доме бывал Лев Толстой. Да, в период работы над «Воскресением» Лев Николаевич приезжал к губернатору за разрешением осмотреть орловскую тюрьму. Но еще здесь родилась Анна Полторацкая; русский поэт Федор Николаевич Глинка, сосланный за участие в ранних декабристских организациях, по ходатайству Жуковского переведен был в 1832 году в Орел и прослужил в этом доме три долгих года; почти столько же времени отдал службе и дому губернаторов Алексей Апухтин; приезжал Тургенев за разрешением на выезд из Спасского-Лутовинова. Здесь конечно же бывал и Ермолов. Дом об этом почему-то умалчивает, скрывая от проходящих свою биографию. К чему?

Но вернемся к ермоловскому особняку. Очень долгое время не удавалось найти родословную дома. Генеральный план застройки Орла утвержден был когда-то без согласования с художественной общественностью города, с его историками и старожилами. Утвержден он был в те самые годы, когда считалось, что историзм чуть ли не противопоказан советской науке об архитектуре, когда ретивые борцы с пережитками «культы личности» поторопились объявить архитектуру не искусством, а строительством.

Не знаю, с каких заграничных журналов срисован план застройки нашего города, но имею подозрение, что в нем, этом городе дистиллированного завтра, много скверов, газонов и совсем нет старых домов, церквушек, старинных аллей и оврагов на берегах реки или просто в центре города. К несчастью, это будущее, судя по темпам разрушений, не за горами.

Словом, для того чтобы воплотить милицейский дом в кирпиче и бетоне, от музея Тургенева потребовали документы, подтверждающие, что обреченный особняк принадлежал тем-то, а не тем. Это была выдающаяся уловка. Всякому, кто знаком с архивным делом, ясно, что легче за жар-птицей сходить, чем найти в архивах когда-то оккупированных городов бумагу, потерянную сто лет назад.

А через две недели ночью подъехали машины... Задыхался от приступа астмы хранитель всех писательских фондов Александр Иванович Понятовский. А еще через месяц Раиса Митрофановна Алексина натолкнулась на документ, подтверждающий, что дом принадлежал отцу Ермолова: значит, он! Хотя найдись купчая на приобретение дома на месяц раньше, все равно подь-

ехали бы стенобитные машины. Вот дом Марко Вовчок и сфотографирован, красавец, и описан подробно в «Своде памятников»: «Усадьба Корнильева, которую снимала тетка писательницы, состояла из дома, двух жилых флигелей, деревянных «холодных служб» и большого сада. Сохранившийся в областном архиве проект капитального ремонта дома, относящийся к 1853 г., указывает местоположение усадьбы в плане города, дает расположение построек и внешний вид домов». Вот ведь как подробно, а снесли. И даже не ночью, а рано утром — где-то около двенадцати часов дня, пока шло заседание комиссии, обсуждавшей судьбу дома. Руководил разрушением тогда председатель райисполкома В. И. Логовской.

Чуть раньше варварски разрушен особняк, также подробно описанный в «Своде», — туда приезжал Есенин. Указано скромно и уклончиво: «Дом разобран в 1973 г.» Про другой дом, принадлежавший основоположнику цыганской литературы А. В. Германо, написано: «Не сохранился». А надо бы: не пощадили. Старинный орловский адвокат, который был исключен из университета еще за «толстовские беспорядки», как-то, встретив меня на улице, засмеялся и, показав на место дома Германо, сказал: — Вот как опасно быть знаменитым. Домище Германо снесли, а моя хибара рядом осталась.

Невеселый смех. Кстати, после статьи в «Советской России» про варварское отношение к памятникам в Орле автор ее, историк и поэт Василий Михайлович Катанов, был выведен из состава президиума Общества охраны памятников. А статьи, которые он упрямо приносил в редакцию областной газеты, лежали по полгода и больше, чтобы потом возвратиться к автору без объяснений.

Все, как говорилось в старину, под богом ходим... Теперь, кажется, просят документы, подтверждающие, что Дворянское гнездо — это точно то место, которое описано в романе Тургенева, и не какое-то иное. Институт торговли, расположившийся на месте бывших Дворянских улиц, «скупает» землю, застроенную одноэтажными домишками. То, что пощадил бог войны Марс, хочет снести бог торговли Меркурий.

Воспоминания о ели

За последнее десятилетие в нашем городе и окрестностях снесли десять зданий, имевших охранное значение республиканского значения, и сто так называемых памятников местного значения.

Сто десять домов — это ли не варварство? То под видом борьбы с религией, то под фанфары в честь нового метода — «орловской непрерывки», то просто так, без всяких видов, тихо, в ночи, ломают и сносят. Приходит новый председатель горисполкома, меняется главный архитектор... Как правило, это люди заезжие, присланные «на ловлю счастья...». Через несколько лет

они куда-то уходят, исчезают, никто не в силах вспомнить фамилии их, летописи молчат об их делах. Помню, как радовалось сердце, когда услышал историю необыкновенной елки. Она выросла, безымянная и гордая, на том самом месте, где должен был лечь новый мост через Оку. Молодые архитекторы пощадили ель, запланировав спуск моста так, что бетон обтекал могучее дерево, как река, с обеих сторон. Убедили начальство, что стоит ради красоты пойти на внеплановые затраты. И пошли. Брестский мост раздваивался по берегу, уступая место гордому дереву. Не день и не два стучался я по вечерам в крашенные калитки — не может быть, чтобы никто не помнил, как выросла эта ель. И нашел хозяина. В сорок первом году, отправляясь на фронт, двадцатилетний парень, уверенный, что с войны не вернется, принес из лесу саженец и попросил жену ухаживать за ним. Он дошел до Берлина и вернулся, елка за четыре года подросла и окрепла. Хотя и трудно приживается это дерево в городе.

Квартиру хозяину ели дали неподалеку. Скоро мы с ним пили чай, рассматривали семейные фотографии: каждый год у елки снимали детей, в праздники ее, живую, наряжали игрушками. В новогоднем номере «Комсомолки» за 1976 год я подробно рассказал об этой встрече. Как-то ночью ель спилили. Кто? За что? Кабинеты горисполкома хранят имена лесорубов как военную тайну. Разрушители нашей красоты неподотчетны народу, законы о сохранности памятников буксуют на месте, потому что персональной ответственности за их соблюдение никто не несет. И волнуется город, узнав, что заповедная Пушкарная слобода по проекту должна стать частью объездной дороги. «Так ли это?» — спрашивают люди, звоня в редакцию. Кто же знает — так ли, не так? «Поживем — увидим», — уклончиво отвечает горисполком. Кто-то, например, решил устроить в Михаило-Архангельской церкви, в самом центре города, картинную галерею. Вырыли в церкви котлован для подвальных помещений. Взмолилась галерея: как же мы будем хранить живопись и графику в сыром здании, которое к тому же стоит на берегу реки в зоне затопления? Затем сменился начальник управления культуры. Подумали. Решили, что галерея права. Теперь церковь разрушается, трещины идут по цоколю. Нет денег, чтобы зарыть котлован. Ее низкий приземистый купол описан Лесковым и Леонидом Андреевым, мимо этой церкви поднимался вверх по Дворянским улицам Арсеньев из бунинского романа. А что, если рухнет церковь? Кто ответит? Молчание. Безответны наши легендарные места от Дворянского гнезда до Бежина луга. В этом деловом веке нет у них паспортов, сомнительны родословные. «Это вы какую Лизу Калитину защищаете? — слышны голоса. — Ту, которая в монастырь ушла? Да, ослабили антирелигиозную пропаганду».

Или о доме Зинаиды Райх («Вы помните, вы все, конечно, помните...»): «Если мы будем оставлять дома всех женщин, которых любил Сергей Есенин...»

Слова сказаны одним из председателей горисполкома (сменилось их немало) за несколько дней перед тем, как дом снесли. Нет теперь председателя Удалова, нет и дома, но ответственный секретарь Общества охраны памятников Иван Иванович Еремин как сидел на том заседании в президиуме, так и сейчас — сидит. Время от времени он пишет статьи о памятниках разных эпох. Памятники разные, а статьи похожие. Все, по Ивану Ивановичу, решалось в нашей архитектуре как в сказке: захотелось купцу такому-то построить дом... Ну, например, купцу Серебрянникову. И зовет он архитектора Пухальского: поезжай, дескать, в Москву, обмерь и срисуй такой-то дом и построй точно такой же... Встречаясь с простодушным на вид Иваном Ивановичем, все никак не могу найти нужные слова, чтобы доходчиво объяснить, что художник-архитектор — Пухальский ли это, Мельников ли — был не такой простой человек, которого купец мог запросто подозвать указательным пальцем. Он, архитектор, был художником, и обмерять такой-то дом в Москве ему не было нужды. И у тех домов, что они построили в нашем маленьком городе, была своя художественная логика появления на свет божий. Замысел произведения искусства — именного ли, безымянного — невежеству просто неинтересен. Да и спешит Иван Иванович на очередное заседание: решают, сносить ли единственную в нашей земле деревянную церковь в селе Волконском?

История эта долго пишется. Пока я вымарывал черновики, позвонили из музея:

— Слышали? Решили снести Волконскую церковь!

— Кто решил?

— Церковь решили разобрать в Волконском и собрать ее в Сабурове.

— Почему? Кто решил?

А если ее разберут в Волконском и тут же разворуют на дрова? Сторожа на этот хлам явно не отыщется... Но в трубке уже короткие гудки.

Что такое деревянная церковь конца XVII века для наших мест? Это чудо, которое выжило, спаслось, уцелело от пожаров и набегов, случайностей и бомбежек. Что такое для нас, переживших Орловско-Курскую дугу, Пушкарная слобода, район наводки для самых разрушительных артиллерий? Что такое для нас ель, посаженная на развилке дорог простым солдатом, ель, которая могла бы расти еще триста лет, а значит (кто знает!), без нас, но благодаря нам могла отметить трехсотлетие победы над фашизмом?!

Почему же Общество охраны памятников (которое, кстати, создавал на Орловщине Михаил Михайлович Пришвин) доверило безвестному и безответственному Ивану Ивановичу, и вот уже двадцать лет доверяет, судьбу этих бесценных человеческих реликвий? Он сидел там, где решали снести дом Марко Вовчок и Зинаиды Райх, дом Ермолова и еще десятки домов. И вот теперь на очереди единственная на Орловщине деревянная церковь. Я,

моя жена, мои дети, женщина, что позвонила сегодня из музея, мои соседи, родственники мои и родственники моих друзей — мы все в свое время вступили в Общество охраны памятников. Почему же у нас ни разу за эти двадцать лет не спросили, доверяем ли мы Ивану Ивановичу охранять наши сокровища?

Но только я занес перо, чтобы напомнить о ветре перестройки, как зашелестела бумага на столе и голос из-за спины тихо и внятно произнес:

— Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много доброго на месте и в должности другого.

— Это вы сказали, Евгений Константинович?

— Нет, Гоголь Николай Васильевич. «Избранные места из переписки с друзьями».

— Мы, кстати, возле картинной галереи. Сегодня здесь открытие выставки. Зайдем? (А что может ответить остроумный человек? — Заходи.)

Прекрасные неизвестные

Картины, кажется, помолодели лет на сто. Некоторые только что отреставрированы и теперь дразнят глаз блеском свежего лака. Я привык видеть их без золоченых багетов, на столе или на старом мольберте. Год назад случайно прочел в газете — художнице Светлане Светличной присвоена квалификация реставратора первой категории, зашел поздравить... Боже, какой хаос предстал взору, какое унылое запустение: связки паркетных плиток и гроздь светильников, бочки с известью и речной песок в белом от бетона корыте. Все грудилось в центре зала, расползлось по комнатам. А в самой дальней и в самой унылой сидела красавица Светлана, грустно поглядывая на грязную клеенку громадных размеров, натянутую на подрамник. Клеенка потом оказалась нежной, полной тумана картиной Елены Дмитриевны Поленовой: вон она голубеет на торцовой стене — «Видение Бориса и Глеба воину Пелгую». По легенде, это видение решило исход чудского Ледового побоища.

Казалось тогда, что я застал мир в первый день его творения, и Светличная в белом халате была самым совершенным, но, увы, единственным произведением творца. Поздравление могло показаться кощунственным в этой помпейской разрухе. Мы молча рассматривали холсты, доставая их из неудобных деревянных пеналов. Боже, чего только не придумал и не свершил мир старинных мастеров, чтобы тешить взор и радовать сердце! Здесь не было тицианов, но были Боровиковский и Гау, пейзажи Маковского и Егора Шрейдера. Мясоедов, оказалось, наш земляк, а картины Шрейдера почти все погибли в оккупированном Харькове. На лондонской выставке 1874 года получила именную медаль картина Ефима Волкова «Болото. Утки». И мы ее тоже достали и рассматривали: точеная живопись раннего осеннего дня напоминала мне рассветы в холодной нашей тундре. А еще пастели — нежные,

теплые портреты неизвестных в розовом, голубом, белом. Сколько их, прекрасных неизвестных, улыбнулось мне в тот день из полутьмы веков! Некоторые картины были воспроизведены на афишах знаменитых выставок, одна путешествовала в те дни: уехала на гастроли с вернисажем за границу.

Когда-то картинной галерее в Орле отдали, скажем мягко, не очень удачное помещение: нижний этаж жилого дома. Соседство с жильцами над головой угрожало каждую минуту (особенно ночью) картинам, скульптурам и особенно нежной графике. Стоило, например, кому-то вверху не выключить воду в ванной, и самодельный дождь пролился на пастели двухвековой давности, на портрет Репниной и гравюры Чемесова, Зубова, Качалова и Герасимова. А здесь еще ремонт, который длился без малого два года: галерею вынудили вести его на весьма скромные средства.

Плохо говорят о скопидомах, которые покупают книги и никому не дают их читать. А ведь любой портрет какой-нибудь девочки в голубом, хранящийся только здесь, значит еще и тем, что существует в единственном экземпляре. Его нельзя снять с полки где-нибудь в другом месте или посмотреть на другой выставке: он уникален. И вот сейчас картины из бывших усадебных коллекций Романовых, Куракиных, Нарышкиных стали наконец достоянием народа. И вот в маленьком фойе — первые из остро желающих увидеть именно сегодня коллекцию орловских шедевров. В толпе очень много знакомых, очень. Улыбаются друг другу. Без надежды подойти делаем руками всякие дружеские знаки. Среди просто знакомых есть люди, которых я люблю. Все вместе, если задуматься, они приняли участие и в моей судьбе. Да что участие — они приняли саму судьбу, повернули ее почти что вспять. И самое ценное, что никто из них конечно же даже не подозревает об этом. Милые мои музейные люди! Какие документы вы мне показали, какие дали приоткрыли, какие книги благодаря вам мне удалось прочитать. А эти картины? Чуть-чуть смещается в пространстве и времени сознание: мы поглядываем друг на друга и на холсты — то они, живые люди, кажутся мне совершенными моделями старинных мастеров, застывшими на белом полотне стены, то неизвестные на холстах вдруг поведут бровью, улыбнутся уголками губ.

Но я все-таки расскажу прежде о людях, потому что непривычно трудно, рассказывая о дорогих тебе местах, все повторять по-стариковски «не то, не то», толковать о несостоявшемся душевном празднике. Что толку в разговорах об искусстве, если за этими разговорами не стоят, вот так улыбаясь, милые нам люди?

Я несу тяжелую рукопись в потрепанном портфеле и улыбаюсь. И кажется мне, что откуда-то издалека, поправляя очки-велосипед, улыбается ответно Евгений Константинович.

Я сказал: музейные люди. Когда-то, очень давно, когда эти портреты были совсем молодыми, появились в столице люди,

выделявшиеся среди прочих равных образованием, стремлением к новым знаниям, а главное — талантом понимать прошлое как вечно длящееся настоящее. Пушкин помянул их добрым словом в своей поэме. Чуть иронично, но ласково их называли «архивные юноши».

Время немало потрудилося, чтобы мужчин в архивах и музеях стало меньше. Или это музейев стало больше? Факт, что сейчас там работают исключительно женщины. Они приходят в музей, как правило, сразу после института — отличницы, книгочейки, которым недосуг свить надежное семейное гнездо. Поэтому с каждым годом все сильнее влюбляются они в писателя, жизнь которого поначалу просто собирались изучать. В каждом деле, конечно, есть свои подвижники, но рядом с книгой, документом, картиной, то есть рядом с историческими подлинниками, оказываются почему-то люди особого, героического склада. Близость ли к подлинникам, общение ли с ними воспитывает это особое племя людей? Откуда же тогда случайные и «фальшивые» историки и «веды»? — а их-то на этом пути тоже немало. Но пока — о людях-подлинниках.

Не очень сведущие в практической жизни, худенькие, бледнолицые девушки незаметно для иных поднимают свою обыденную, частную жизнь до уровня духовной. Их, правда, интересует только классика, они не притворяются, как иногда кажется обывателю, закрывая глаза в концертном зале, они, истинное слово, не унижаются, чтобы урвать или ухватить. С годами на них будто нисходит отраженный свет вечной энергии оригинала. Завороженный этим отблеском, однажды по делу проникнув в читальный зал местного архива, я прописал свою душу навсегда на этой необжитой и холодноватой площади, за столами этих маленьких залов.

Вот тыходишь, с тебя, как пыль, слетают должность, фамилия, отчество, ты протянул, как пропуск в вечность, белый квадратик «требования», и ты уж не тот, кто вошел сюда. Теперь ты — исследователь, брат истины, у которой нет двоюродных и троюродных — только родные. Всякий раз, когда творческая нужда диктует тебе адрес нового хранилища, как-то хорошо на душе и оттого, что обязательно встретишь на пути еще одного музейного человека. Гоголь сказал: «Клянусь, человек стоит того, чтобы его рассматривали с большим любопытством, нежели фабрику и развалину». Он называл таких людей «солью города». Можно предположить, что наличие таких людей в государственных запасниках народной памяти вызвано необходимостью. То есть сама природа как бы берется за то, чтобы посадить возле подлинников «своего» человека. В мире раритетов, где все до сих пор так ненадежно, где все или почти все зависит от добросовестности людей, их доброжелательности (доброкачественности, что ли), в этом мире только фанатизм музейного человека способен обеспечить пока непрерывность плодотворного исторического познания.

Жизнь у этих людей нелегкая. Во-первых, они сами не очень-то радеют, чтобы как-то облегчить свою собственную жизнь, во-вторых, цари в мире книг и документов, они часто бессильны сдержать пыл администраторов от культуры. И тогда, художник в душе, музейный человек, как я сейчас, не к месту, опять вспоминает Гоголя: «Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником; является предписание, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано». И поскольку истинных художников дела с каждым годом остается все меньше, а предписаний все больше или столько же, то в сознании бедного моего музейного человека делается вдруг такой сумбур, что не грех, если покажется ему, будто не какой-то жалкий нос, а вся голова, заручившись важным статским чином, взялась вдруг ходить по городу с неизвестными целями. Я, например, понимаю, что в нынешнем сельском хозяйстве на Орловщине образовалась прореха, если нужно отрывать тысячи городских людей от работы, в которой они смыслят, чтобы занять их той, в которой они не смыслят. Дело это, думается, временное, всякий на земле должен делать свою работу. Но кто это выдумал, чтобы в разгар туристского сезона пятнадцать женщин (из которых только десять способны выехать в поле), продолжая обслуживать орду туристов со всего света, обработали бы еще и пять гектаров поля со свеклой?.. Триста тысяч приезжающих за год. Пять, а летом, значит, десять экскурсий в день — и на все лето половина музея выбита из привычной рабочей колеи.

И вот я думаю: «Это же необыкновенные люди, виртуозные специалисты своего музейного дела». Неужели город не может взять на свои широкие плечи эти пять гектаров земли со свеклой, чтобы их-то разгрузить? Но является предписание: к такому-то сроку столько-то гектаров... тонн... И они едут. Потому что где-то там, в неведомой табели о рангах, музейный человек отнесен в графу «обслуживание населения». И той самой голове, что составляет предписание, невдомек, что обслуживают здесь не как в столовой — чтобы, значит, остались сыты и довольны, чтобы не расстрожились и не расстроились. А гость?! Избалованный сферой (что это за форма такая: сфера обслуживания?), бегло осматривает комнаты и документы, чтобы задать постоянный каверзный вопрос о женах, любовниках, незаконных детях знаменитого, но недавно умершего человека. Гостя обижать не принято, и на бестактный вопрос следует очень тактичный ответ — что-нибудь о браках церковных и гражданских и что свершаются они, видимо, на небесах. Есть что-то тоскливо-бездомное в этих несчислимых туристских группах. Несет их, как осенние листья, ветер бесчисленных странствий, стаями разлетаются они по старинным паркам, шебуршат войлоком огромных музейных сандалет. Как хочется согреть этих людей, сказать им какие-то ласковые слова, чтобы не таким неудобным, а то и враждебным («видал, как жил») казался им прошлый мир. Чтобы они не чувствовали себя пришлыми в прошлом. Но их много. Очередной «Икарус» заряжен ими

плотно, как рожок автомата. Пересыхает во рту от методичности, с какой эти красные автобусы подруливают к парку, дому, усадьбе. Попадая в такую группу туристом, я почему-то панически стесняюсь встретиться глазами с экскурсоводом. Не могу видеть, как самодовольно мы, туристы, требуем книгу отзывов, чтобы записать жестяные слова своей трафаретной благодарности. А рядом она — измученная, бледная, крутит дурацкую указку, улыбается. И она сквозь нас смотрит куда-то за окно, в парк, где так чудесно сейчас. Думает, должно быть, о том, кому отдала свое сердце: старый хозяин этой усадьбы, так чудесно писавший когда-то на природном русском языке. Для нее он, тонкий, умный, реальнее, чем вся наша группа, обутая в нелепые сандалии...

Архивы без юношей

Музейное дело, как и всякое другое на этой земле, начинали мужчины. В последний год века оперный тенор Антон Николаев подарил городу коллекцию картин. Откликнулись на бескорыстный дар все более или менее просвещенные люди. Сохранилась книжница, опубликованная тогда же. Список пожертвований вели первые хранители Ферио и Похвалинский. Вот уж воистину «с миру по нитке»: купцы, педагоги, дамы известные и дамы, пожелавшие остаться неизвестными, несли все, что считали интересным для будущих поколений, — картины и дагерротипы, старинный веер и «зуб некоего доисторического животного», книги, монеты, камни, шкатулки.

И к тому купцу, который захотел войти в историю с зубом доисторического животного, и к даме, пожелавшей остаться неизвестной, испытываю я сегодня чувство сыновней благодарности: они несли подлинники, несли свое — всем. В списке 300 с лишком фамилий — эпидемия доброхотства в маленьком провинциальном городе. Но, в общем-то, идеализировать отношение к музеям и памятникам оснований нет.

Было бы поспешным утверждать в противовес нынешнему отношению к памяти, что все тогда все понимали: были люди, которые понимали, были — которые нет. Утверждать, что психология этих отношений была решительно изменена революцией раз и навсегда, — тоже крайность. Откуда же тогда взялся в наше время «голова», который на городском совещании историков ляпнул о женщинах Есенина?

Но вот что изменилось действительно, так это государственное отношение к делу — навсегда и бесповоротно. Теперь народ имеет полное право не просить, а требовать уважительного отношения к истории. Одним из первых ленинских декретов был закон о национализации памятников прошлого, в том числе и тургеневской усадьбы. В самом конце 1917 года Валерий Брюсов, заведующий научными библиотеками Наркомпроса, назначил Михаила Португалова директором музея-библиотеки Ивана Сергеевича Тургенева. За безнадежное, казалось, дело — собрать

разбросанные по всему свету книги — взялся редкостный для своего времени знаток творчества русских классиков. В библиотеке едва насчитывалось три тысячи книг. Михаил Вениаминович начал свою службу с того, что создал в городе Тургеневское общество. И первым, кого пригласил участвовать в нем, был будущий академик Николай Иосифович Конрад. Они вместе преподавали западноевропейскую литературу в Орловском пролетарском университете. Такое наступило время: одни камни разбрасывать и тут же — другие собирать.

1918 год. Орел на осадном положении. Первый военный комиссар республики Подвойский приехал в город, чтобы организовать его оборону. Немцы хозяйничают рядом, на Украине, край теперь называется Брянским пограничным военным районом. Первое воскресенье весны — 6 марта. На общем собрании Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов избирается комиссия по охране памятников искусства и художественных ценностей. Люди, держа в одной руке винтовку, прежде чем отправиться в бой, другой голосуют за самых преданных классическому искусству людей.

Думаю об этом с гордостью за них и с горечью — за нас. Перебираю фамилии современников-земляков — самых ревностных защитников культуры (старины) — ученых, писателей, художников, музыкантов. Нет этих фамилий ни в списке президиума Общества охраны памятников, ни в таком же списке Общества охраны природы. О том, как исключили из правления известного в городе писателя и краеведа Василия Михайловича Катанова, я уже рассказал. Исключили за любовь к памятникам, за то, что он лучше многих столоначальников понимает, что и как нужно охранять. Думаю с горечью и перебираю дорогие имена последних музейных мужчин. Десять лет назад хмельной и бурной весной умер на собрании Союза писателей бессменный директор музея Тургенева, литературовед, известный читающей России, Леонид Николаевич Афонин. Ушел на пенсию, почувствовав себя лишним человеком в созданном им же, возрожденном мире Спасского-Лутовинова, лучший знаток старинных русских усадеб Борис Викторович Богданов.

Полгода, наверное, в тесный библиотечный «предбанник» Тургеневского музея нельзя было войти: на стенах, на столах, на полу били в глаза цифрами белые бумажные простыни. С утра до вечера, сменяя друг друга, сотрудницы зачеркивали номера, будто в «Спортлото» играли. Это сдавал свое хозяйство Александр Иванович Понятовский — главный хранитель, собиратель, описатель, пропагандист и агитатор фондов Тургенева, а вкуче с ним и Фета, Тютчева, Лескова, Андреева, Грановского, Якушкина, братьев Киреевских... Никто, кроме бухгалтера, никогда не вдумывался, какую должность занимает этот человек с пьербезуховским прищуром беспомощно-добрых глаз. Знали, что громадную. Знали, что в мире писательских вещей и документов он самый главный и самый знающий, а на вопрос, кем же он работает,

могли ответить: Понятовским. Сноха Лескова звала его Захватом Ивановичем. Но это была, пожалуй, по-лесковски чрезмерная шутка: ничего-то он никогда не захватывал. Со стороны так вообще казалось, что сокровища сами текли в тесную его кладовку, где висела на двери бесполезная сердитая табличка «Вход посторонним строго воспрещен». Входили запросто все, кто знал по-глубинному кроткий нрав этого грузного человека. Он отрывался от своей вечной пишущей машинки «ундервуд», лицо высвечивалось изнутри улыбкой, и, пока глаза твои обвыкали в темноте, он уже нес отечески радостное «а-а!» перед твоим именем-отчеством и сам шел навстречу.

Юрий Казаков как-то, скитаясь по бунинским палестинам, накупил мировых свечей. Они, подожженные, не горели, а благоухали, распространяя вокруг очень густой кондитерский запах. Одну им подаренную свечку я отнес Александру Ивановичу. Он долго тряс мою руку, как будто получил в подарок не мировую смолку на палочке, а крупный бриллиант. Я стал даже подозревать, что Понятовский смеется.

— Какой же смех? Все-таки Бунин... Казаков, знаете ли, дорогой мой...

Мне потом рассказывали, что, многое из того, что ему приносили, рухлядь всякую, он вечером выносил на помойку — брал, чтобы не обидеть, не оскорбить.

Фонды он собрал за тридцать лет уникальные: весь мир ему дарил (что там свечка!) рукописи бунинских стихов, черновики и чистовики Андреева, Фета, Апухтина, портреты и перья — вечные перья русской классической литературы. Ученые говорят, что редко какие литературные музеи имеют такие богатые писательские фонды.

Гром не грянул среди ясного неба, когда Понятовский положил на стол заявление с просьбой перевести его смотрителем в дом Грановского. Весь год перед этим в музей все чаще вызывали «неотложку»: Понятовский стал задыхаться от пыли документов, которые сам же и собрал в тесной своей каморке.

Он был художником своего дела, а теперь отрывает билеты, моет полы.

— Господи! Неужели ничего нельзя сделать, чтобы найти ему место достойнее? — возмущенно спрашивал меня ленинградский профессор.

— Штатное расписание, — мямлил я, — Александр Иванович сам настаивает на точном исполнении всех нелегких обязанностей музейного смотрителя.

«А почему бы и нет, — думал потом с досадой, — ведь он не виноват, что каморка фондов все тридцать лет была размером со спичечный коробок». «Да, — возражал осторожный голос-двойник, — но какую же должность можно придумать для этого человека? Кем провести его в строгой бухгалтерской ведомости?» «Александром Ивановичем Понятовским», — возмущался во мне бунтарь.

Существование музеев, как сказал известный русский библиотекарь и философ Федоров, служит вернейшим доказательством, что «сыны еще есть, что сыновнее чувство не исчезло, что остается еще надежда на спасение на земле». Тень Федорова, чудится мне, часто стоит в изголовье людей, посвятивших себя работе в музеях, где за ничтожную плату всякий желающий может убедиться, что бессмертие или вечная память на земле принципиально возможны. Видимо, изучая чужую биографию, музейный человек осваивает жизнь человеческую как сложное органическое соединение настоящего с прошлым. Только этим объясняю для себя, почему именно здесь рождаются люди особой породы, на других людей не похожие...

Вспомнилось, сколько сил ушло у работников Спасского-Лутовинова, чтобы доказать, что тесовый ресторан прямо напротив подлинной тургеневской часовни — кощунство над памятью о Тургеневе, который терпеть не мог пьянства и еще до всяких указов о его искоренении, чуть ли не сразу после указа об освобождении крестьян, стал бороться с пьянством всеми доступными средствами. Очень остроумное решение, потому что указа о борьбе с пьянством еще не было, а старинный, запрещающий торговать водкой возле церкви был. И добился-таки Иван Сергеевич: перенесли кабак от усадьбы на самый край села. Напрасно убеждали фельетонисты, остря перо, — современный кабак построили рядом со старинной церковью, а дом для работников музея там, где в старину стоял кабак. Ресторан стачали на загляденье: бревно к бревну, резьба по дереву, резные ставни. А дом для сотрудников, наскоро сложенный из бетонных плит, получился щелястым, холодным, воды в кранах вечно нет.

От Соловков до нашего Спасского-Лутовинова — везде условия жизни музейных работников неприглядные. Редко кого пускают в служебные комнаты музеев, но везде одно и то же: унылая комната, где прислониться негде, и столы, столы впритык друг к другу. Да, в музеях работают удивительные, редкие люди, но их должно быть больше. И жизнь таких людей, как Александр Иванович Понятовский, должна быть очень долгой и плодотворной жизнью, потому что такая жизнь сама по себе подвиг.

Музейные работники в нашем городе идут в праздничных колоннах на демонстрацию рядом с парикмахерами, сапожниками... Конечно, это мелочь — в каком месте колонны идти, но отражает эта мелочь, увы, взгляд будничной: для того, кто размечает порядок прохождения колонн, музейный человек проходит по ведомству обслуживания.

Обслуживать, то есть подстригать, кормить, обувать, могут в конце концов обыкновенные люди. Через всякие общие тетради и гроссбухи, которые пышно называем книгами отзывов, мы просим и требуем, чтобы они были мягче, сердечнее. И таких людей если не становится больше, то все-таки больше, чем злых и грубых. На месте музейной женщины обыкновенный человек, то есть вежливый, участливый и просто знающий свое дело, не справился бы

и с десятой долей обязанностей, которые выполняет она. Потому что дело не в знании, а в умении перестрадать, перечувствовать, переосмыслить. И эта работа, тяжкий труд познания, не поддается учету, хотя конечный результат, как сейчас принято говорить, такого труда огромен: он виден и невооруженным глазом. Музейная женщина живет в маленькой комнатке, в семье, кроме нее, муж и взрослая теперь уже дочь. Книги поставить негде, работать по вечерам нельзя, а на работе тоже нельзя, потому что рабочее место одной сотрудницы Тургеневского музея — на сцене, за кулисами, не в переносном смысле, а в самом прямом: в актовом зале музея, за потрепанной ширмой, обшарпанный стол, книги — редкие, драгоценные — свалены на диване. Это — место. А время действия — наши дни. Новый начальник управления культуры может и в будний день, на собрании, во всеуслышанье заявить:

— В будущей пятилетке квартир вашему коллективу не планируются.

И невдомек мне лично, как это можно планировать отсутствие жилья, тогда как в других организациях планирование начинается от обратного.

Уходят из музея мужчины. И разве только из музеев? Жалуются режиссеры: мало пьес, в которых можно занять бесчисленный женский состав театра; в институте культуры, где готовят режиссеров самодеятельности и организаторов клубной работы, на курсе из тридцати человек — один юноша. Сын ходил в первый класс с особой гордостью: «первую учительницу» звали... Владимир Александрович. Это был, наверное, единственный мужчина — преподаватель начальных классов в городе; теперь ушел работать в техникум. В галерее один мужчина — экскурсовод. На все литературные музеи нашего города один Александр Иванович Понятовский. Еще не отступил, служит. Среди научных сотрудников других мужчин нет. Гвоздя забить некому: чтобы шкаф передвинуть, надо кого-нибудь нанимать. Но дело даже не в гвозде. «Безотцовщина» в школе когда-то поразила Федора Абрамова. Выступая на телевидении незадолго перед смертью, он сокрушался: «Мы знаем, как страдает семья, когда в ней нет отца, хозяина. Но ведь и школа страдает. Раньше ведь этот вопрос не стоял, а сегодня, в какую школу ни зайдешь, почти сплошь одни женщины. Повторяю, ничего не хочу сказать плохого о женщине. Прекрасные учителя! Но не хватает мужского духа в школах».

Искусство и культура в целом невольны, может быть, теряют в прочтении женщинами свои коренные темы: мужества, силы, тему походного, воинского бытия как идеального образа жизни. Старое классическое искусство, истолкованное женщинами, теряет свою грубость и прямоту, а на первый план (в музейной экскурсии, в газетной статье, в научном исследовании) выходят такие качества героев, как рефлексия, любовь к детям, бытовые привязанности. Блок, слушая Ахматову, отметил: «Она пишет как бы перед мужчиной, а надо — как бы перед богом». Совершенно

непонятно, например, как это Тургенев, образ которого нарисован многими поколениями женщин-истолковательниц, мог любить охоту, искренне хвастаться количеством подстреленной дичи. Беда, естественно, не в том, что среди профессиональных орловских писателей нет больше охотников (кстати, все они мужчины). Повинуясь негласному читательскому требованию, писатели перестали говорить о болезнях, о бедности, о смерти — а они есть в природе. Вот и лось — громадное животное — бессильно плачет в рассказе одного моего земляка: зашиб ногу, прилег на лужайке, грустит, умирая какой-то пасторальной или буколической смертью. Это в прозе, это для взрослых. В кукольный театр мне, охотнику-промысловнику поневоле, и заходить стыдно: там изредка в день зайцы и мишки, обнявшись, дружно едят капусту, а на волка так и смотреть тошно — уж таким обалдуем сделали этого умного в природе зверя сегодняшние «братья и сестры Гримм» — ни в сказке сказать, ни пером описать. Слов нет, насилие воспевать грешно, но привычка принимать мир как сплошное «поле чудес в стране дураков» нашим детям тоже ни к чему. Герои детских сказок, написанных сегодня, не говорят, а пищут, пиликают, тикают. И все это такая неправда и чепуха, что хочется вскочить с места и крикнуть:

Добрый папаша,
К чему в обаянии
Бедного Ваню держать?
Вы уж позвольте
При лунном сиянии
Правду ему рассказать.

Пусть не всю правду, но только правду. Старая русская сказка не всегда и не только намеком учила. Там тоже действовали и говорили звери, но мужик превосходил медведя, и волка, и лису в природной хитрости, а сказка учила не лукавя непростыми отношениям человека и природы. С ранних лет, отданные на душевное воспитание Хрюше и Каркуше, наши дети начинают верить, что мир создан только для удовольствий и все неприятности закончатся в конце концов демонстрацией мультфильма, где звери обнимают друг друга, а не кусают и, упаси боже, не едят слабого.

Трезвый подсчет с карандашом в руках, конечно, многое ставит на свои места. Ровно сто лет назад в родном нашем городе было всего три гимназии, а сейчас 36 школ. В одной только школе современной обучается полторы-две тысячи человек, а в трех гимназиях когда-то — от силы пятьсот. В Орле не было ни одной публичной библиотеки, а всего на Россию их было не больше десятка. Столько же было и университетов. Работал один губернский музей, а сейчас их, не считая народных, десять. И все-таки мужчины нашлись бы и на двадцать музеев. Помню, как отрывал себя от музея (или музей от себя) Леонид Николаевич Афонин: уходил на преподавательскую работу в институт. Директор крупнейшего в мире Тургеневского научного центра, кандидат

наук, он получал тогда девяносто рублей зарплаты. А мужчина, конечно, при всех спорах о приоритете, остается кормильцем и содержателем семьи. Директор всемирно известного музея Пушкина в Михайловском потерял в юности руку, Авдеев в Мелихово — почти слеп. Так что этот единственный из всех возможных способ выражения таланта, проявления личности продиктован судьбой. Дай, конечно, бог, столько сделать в жизни, сколько сделал Гейченко, и так глубоко видеть, как Авдеев. Эти люди сейчас обласканы всеобщим вниманием, окружены почетом. Но как же трудно они начинали, и сколько мужества нужно было, чтобы преодолеть косность, настоять на своем, чтобы Мелихово и Михайловское стали тем, чем они стали сейчас, — оазисами культуры.

— Слышалось за спиной, — вспоминал Авдеев первые дни жизни Мелиховского музея, — барский дом восстанавливать не будем.

Это благодаря им, взвалившим на себя бремя первопреходства, ясно теперь каждому школьнику, что Чехов — не барин, и Пушкин — не барин, и Тургенев — не барин, и вся русская культура — поставлена как Спас на живой крови ее первых мучеников. Музеи учат не только истории, но и культуре исторического мышления. Радостно как-то был встречен в свое время афоризм одного из наших писателей: «Раньше в Тульской губернии жил один Лев Толстой, а сейчас там пятнадцать членов Союза писателей». Неправда, никогда Толстой не был один: то к Фету съездит, то Тургенева в гости позовет, то съедутся все вместе у Сухотиных. Культура не татарник и на голом месте не плодоносит.

Порой человеку, который приезжает в Спасское, кажется, что писатель, проклиная крепостничество, жил сам чуть ли не в чертогах. Это потому, что из всех усадебных домов прошлого века в округе восстановлен только один — тургеневский, сравнить его зримо не с чем. Усадеб небогатых помещиков практически не осталось, а ведь именно такими небогатыми помещиками были родители Апухтина, Полонского, Тютчева, Бунина...

Некоторые идеи библиотекаря Федорова, причем самые, казалось бы, фантастические, стали реальностью наших дней. Недаром Федорова любят, знают и чтут современные космонавты. Земные его замыслы сбываются медленнее. Вот это, например: «Музей и с предметной стороны есть (совокупность лиц) само человечество в его книжном и вообще вещественном выражении, то есть музей есть собор живущих сыновей с учеными во главе, собирающий произведения умерших людей, отцов». Причем собор с учеными во главе — это совсем не фантастика, именно так во времена Федорова и было: музеев мало, но все они с очень известными учеными во главе. Да и позже, вспомним опять Португалова — после революции, Афонина — после войны. А потом... Потом стало больше музеев, больше стало их посещать людей, собирательство превратилось в трудное дело, исследование собранного — в науку. Когда после войны, например, Любовь Егоровна

Максимова пришла в Тургеневский музей — в научной библиотеке было три тысячи книг. За сорок лет непрерывного и неутомимого собирательства, переписки со всем светом, поездок по научным библиотекам страны удалось увеличить библиотеку в двадцать раз. Любовь Егоровна заведует сейчас редким фондом. Зарплата — сто тридцать рублей. Столько же или почти столько же можно получить в должности смотрителя, то есть почти ни за что не отвечая.

Ученые придут к руководству музеями, когда экспозиция, умно и толково сделанная, будет приравнена к диссертации, когда музейное дело наконец будет государственно признано не менее ценным, чем преподавание в высшем учебном заведении. Когда директору клуба станут платить, как когда-то попу — с прихода, появятся на клубных отделениях института мужчины. А до тех пор женщина, которая волей-неволей сегодня и жнец, и швец, и на дуде игрец, будет тащить непосильный груз просвещения в одиночку. Ничего здесь не попишешь...

Неизвестные в масках

Несколькими страницами раньше я рассказал об открытии одной интересной выставки в картинной галерее города. Так вот, благодаря мужеству — другого слова я не подберу — «музейных» женщин эта выставка и получалась такой, какой ей надлежало быть. Женщины сделали все, чтобы на этой выставке не было и, к нашей чести, не будет никогда картин, которые десять лет назад олицетворяли гордость города: их часто выставляли, о них писали в газетах и книгах отзывов.

Орловская государственная коллекция картин началась в последний год прошлого века, когда тенор Антон Николаев (родной брат венециановского ученика) подарил губернскому музею, только созданному, свое собрание русских произведений. Позже, после революции, к ним присоединились холсты, реквизированные в имениях. Здесь были не очень известные, но первоклассные работы Боровиковского и (как оказалось) Рокотова, Зарянка и Тропинина, Ге и Шишкина, Серова, Ле Дантю и Гау, Гончаровой и Елены Поленовой. Западноевропейская часть орловской коллекции исследована плохо, и здесь возможны всякие сюрпризы: совсем недавно реставратор Светлана Светличная поработала над ветхим полотном Бирштадта, и засветился каким-то фосфорическим золотом солнца мрачный вид на реку с бизонами на первом плане. Работ этого популярного сейчас в Америке мастера середины прошлого века в крупнейших русских собраниях, судя по каталогам, совсем нет. На оборотной стороне холста бумажный ярлычок: «Собрание Аничкова дворца».

Часть собрания так и осталась в краеведческом музее. Спрятаны в подвалах сокровища — народу не доступны и науке не известны. А другая часть, стало быть, перешла в 1957 году в Орловскую картинную галерею. Конечно, начать надо было с рес-

таврации того, чем так неожиданно завладели. Но начали не с этого: пригласили на открытие передвижную выставку из Русского музея. Так орловцы, открыв собственную галерею, своих картин не увидели. Были Перов и Брюллов, Репин и Шишкин — русская живопись как бы начиналась с них, а в подвалах пылился XVIII век... Стеснялись собственной провинциальности.

...Год назад, летом, перед самым отлетом на Север, стоял я в долгой очереди на улице Горького. Спешили москвичи по своим столичным делам, очередь возле выставочного зала росла. Полдень, за стеклянной дверью, задернутой белой шторочкой, колдовало Центральное телевидение. Женщина за спиной нервно щелкала замком сумки: достанет часы, вздохнет и спрячет.

Могла бы уйти, но ждет, теряет время. Открываются наконец зашторенные двери, и сумрачная прохлада выставочного зала осязаемо ринулась навстречу. На стенах — сто восемь старинных пастелей: нежные, голубоватых тонов, влажные глаза печальных женщин. Незнакомые цвета военных мундиров, дети, усатый красавец Боклевский (вот он какой, первый иллюстратор Гоголя!). Незнакомки, неизвестные... сколько их, прекрасных неизвестных.

Здесь восемь пастелей... из собрания Орловской галереи. Как их не выставили в день открытия галереи, так и пролежали они тридцать лет в запасниках... пока наконец какой-то рассеянный жилец в квартире наверху забыл выключить воду в ванной. За ночь пастели так размокли, что даже на обертки бы не годились.

Восемь шедевров XVIII века.... На фотографиях, разложенных на столиках в Московском выставочном зале, в качестве наглядного пособия показано, в каком виде поступили работы во Всесоюзный реставрационный центр имени Грабаря. «Неизвестная с крестиком» — вместо лица сплошной синяк, над головой — утрата в виде грязного солнца. «Портрет Панина» Репиной — пергамент восемнадцатого века похож на детские каракули. А ведь и Барду, как говорят фотографии, практически был утрачен. Наши, орловские, работы не теряются даже среди самых ярких и громких имен. А ведь они были потеряны, и, если б не чудная работа реставраторов, встреча с ними никогда бы уже больше не состоялась.

Моя знакомая с сумочкой что-то пишет в «книгу отзывов». Не выдержал — заглянул: благодарит «за такую дефицитную выставку». Листаю странички, заполненные раньше:

«Становится страшно при мысли, что такие сокровища могли бы совсем погибнуть. Ветеран Великой Отечественной войны Васильчиков».

«Выставка пастельного портрета — истинное событие в жизни Москвы. Хотелось бы, чтобы вся коллекция попутешествовала по городам страны — Ленинград, Киев, Рязань, Калуга, Орел... Пусть поживет это собрание подольше...»

«Ух, до чего хорошо!» — начинается еще один отзыв. И закан-

чивается: «Неужели все это развезут по запасникам — и не останется ни каталогов, ни открыток? Блеснули — и снова в пыль забвения?»

Сегодня, через пятнадцать лет, эти работы в Орловскую картинную галерею попали, малая их часть выставлена наконец для обозрения и любования. Тридцать лет — три поколения детей (если мерить поколения школьными классами) выросло, так и не увидев этих неброских, но значительных картонов, холстов, пергаментов. Сколько людей могли бы любоваться, глядя на них, — приди они в детстве ли, в отрочестве, когда душа открыта прекрасному... и сколько их не придет сегодня, потому что некогда, недосуг, не до того — поздно. Но тогда, тридцать лет назад, казалось, что живопись начинается с «Бурлаков на Волге», с Перова и Айвазовского.

Имена, имена, имена... Сенсации — вот чего хотели сотрудники картинной галереи во главе с ее первым директором Игорем Ароновичем Круглым. «Имена» не замедлили появиться. Через три года галерея принимает у дирекции Художественных фондов Министерства культуры РСФСР двадцать пять шедевров. Больше ста тысяч рублей за один день потрачено. Работы немедленно выставляются, о них пишут. Здесь и «Лунная ночь» Саврасова, и «Охота с борзыми» Петра Соколова, и пейзаж Клевера, и два шута — с трубой и рожком — А. Матвеева. Деньги, правда, старые, реформа денежная только грядет. «Царевна Софья в заточении» Александра Литовченко, «Савояр» Василия Перова («брат» того «Савояра», что украшает зал Третьяковской галереи), «Розы» Константина Коровина...

Заключения все того же ВХНРЦ датированы в большинстве своем 1983 годом. Но еще в 1970 году о том, что большинство закупленных работ — фальшивки, авторитетно заявила экспертиза Государственной Третьяковской галереи. Акты экспертизы надежно спрятали в стол — и Министерство культуры РСФСР, и тогдашние работники галереи. Причем и покупка, и разоблачение одинаково солидно документированы: акты закупки подписаны реальными людьми — экспертами. Против названий многих картин стоят имена владельцев. Кто, например, этот неизвестный в Орле М. М. Музалевский, у которого в разные годы закуплены фальшивые «Работяга» Степанова и «Ветренный день» Левитана? Как поживает некий А. В. Хомяков, который продал нам, провинциалам, «Шута с рожком», «Шута с трубой» и якобы знаменитого брата «Савояра»? Взыщутся ли с него десятки тысяч рублей, которые он получил за фальшивки? А кто эти неизвестные, продавшие «Вид Кампаньи» Александра Иванова и «Явление Христа Марии Магдалине», выданное за его же работу? 600... 800... 900... Смотрю я на цену... «Считать заведомой фальсификацией», «Не может иметь музейного значения» — это в графе заключения экспертизы.

При славном директорстве И. А. Круглого фальшивки закупались партиями: та, о которой я рассказал, самая крупная. Затем,

через год, еще шесть работ, еще через год — две, еще через год — две. Но и после того, как он ушел, заслон не срабатывал: в 1966 году закуплено шесть фальшивых «шедевров». Последними (если они и впрямь последние) в 1970 году закуплены две сомнительные работы Юона.

В тот день, когда я с карандашом в руках подсчитывал убытки, нанесенные культуре города по вине неизвестных, выступал в Останкинском зале академик Лихачев. Он правильно сказал, что виновные в разрушении памятников должны нести не только моральную ответственность, но и юридическую. Но я улыбнулся, когда под одобрение зала Дмитрий Сергеевич сказал:

— Если человек украдет одну акварель, его будут судить, а если разрушит памятник, охраняемый государством, нет...

Милый Дмитрий Сергеевич, некого судить, даже если напрочь смыты водой восемь акварелей XVIII века. Никто никого не судит, даже если закуплено больше тридцати фальшивых полотен. Вот и сегодня, в день торжественного открытия выставки русских картин, никто не сказал собравшимся: «Товарищи! Простите, виноваты, что почти тридцать лет не показывали вам то, чем вы владеете. Передайте своим детям, которые выросли на фальшивках, что есть в нашем городе подлинные шедевры искусства, те, что предки передали в дар поколениям, а деды отстояли в боях и пожарах... «Нет, звучат: «Весомый вклад... Крупная победа... Успех...»

Русские картины на стенах... Среди них немало изумительных работ. А главное, что среди них нет больше фальшивок — только подлинники. А западные томятся по-прежнему в пеналах запасника — ждут своего часа. А час наступит не скоро, не раньше чем через пять лет: обещают открыть новое здание. Значит, через десять лет, то есть в самом конце века. Вырастут мои дети и ваши, и дети наших детей вырастут... Нет, не очень торжественно на душе. В тесном коридорчике галереи, прижатые друг к другу, стоим мы и ждем, когда закончатся речи.

В ритме «Камаринской»

Окруженный бронзовыми фигурками своих персонажей, будто пытается привстать по-стариковски тяжелый Лесков. Так устроен памятник, что сидит писатель в центре старого города, на бойком месте, спиной к Михайлоархангельской церкви, которая должна помнить его еще не бронзовым, а живым; взглядом он устремлен в гимназию, из которой радостно и самочинно бежал когда-то.

Я сижу на скамейке у памятника, замороженный ночным ледоходом. Мощная фигура, освещенная снизу прожекторами, видится со спины. За нами потрескивают, будто переговариваясь, тяжелые невидимые льдинки. Силуэты Левши и соборян плавают в густом молочном тумане, будто блуждают, потеряв дорогу в пространстве и перепутав времена. Опершись о слегу креста, понурила голову неразгаданная леди Макбет — зеленая патина, как-то

даже серебрясь, струится по плечам. Я представил вдруг, слушая перестук льдин, как хохотали бы преподаватели, скажи им в свое время, что здесь, между гимназией и храмом, поставят когда-нибудь памятник ученику, который дважды оставлен был в третьем классе. Я сижу в его тени, повторяя, как гимназист, классические строки, сказанные им мимоходом.

«Орел воспоил...» — в те времена эти слова могли приниматься буквально: водопровод в городе был торжественно открыт только в начале нашего века. Старожилы-то помнят роднички вдоль берега, по-хозяйски огороженный, с кружкой на камешке — для прохожего. Теперь их укрыла каменная набережная. Как только схлынет полая вода, выйдут на берег рано утром пушкарские женщины, станут полоскать в чистой реке белье, гулко прищелывая его липовыми вальками. Услышат ли этот влажный перестук мои внуки? Или валец, храня тепло многих поколений женских рук, будет на старости лет, как орден, носить музейную сердитую табличку «руками не трогать»?

Я мысленно населяю крепость, лежавшую когда-то в этой низине как на ладошке посреди двух рек, статными людьми в белых неподпоясанных рубахах. Они рубят, пилят, строгают. И все вокруг деревянное: дома, церкви, иконы, мостовые, лавки и палаты, вся утварь обиходная — братья и сестры того липового валька. Люди рубят дерево и не знают, что все построенное ими сгорит: Буклай Мурза пойдет ли от Днепра, крымский ли хан Давлет Гирей нагрянет, поляки ли, Лжедмитрий. А они не ведают и строят.

Сколько же раз на своем коротком веку полыхал и возрождался из пепла этот город при дороге? Топоры постукивают, барабаны их перебивают, топчется нетерпеливый мужик, готовый пуститься в пляс, и босой пяткой вдруг забьет «Камаринскую». А люди строят — топоры постукивают: гореть, гореть городу — от хана, от Буклая, от Лжедмитрия. И стучат в ритме «Камаринской» стальные топоры, и брусчатка перестукивается, и перезванивается медь. Вот восьмилетний Миша Глинка, бежавший с семьей от нашествия французов в Орел из столицы, силится отличить трезвон каждой орловской церкви, подражая ему на медных тазах. Да, знаменитая «Камаринская» внушена Глинке нашими крестьянами. А Мусоргский в «Сцене под Кромами» цитирует песни наших мужиков, нашим же собирателем записанные.

Если бы не он, бородатый чудац, дворянин, что водрузил на плечи короб, став безродным офеней-разносчиком... Если бы не он, думаю я, пристукивая ногой, если бы не он... А свадебный обряд Купавы с Мизгирем:

То не пава-свет
По двору ходит...

Мать Римского-Корсакова родом из тех самых малоархангельских наших краев, откуда Павел Иванович Якушкин подокри-

ки околоточных вывез короб драгоценных песен. Балакирев и Танеев черпали из этого песенного родника, Рахманинов называл себя «печально сухоходльным музыкантом».

Эх, становой! Удивил тебя Якушкин:

«Из Москвы за песнями? Как, такой-сякой! Пословица говорит: в Москву за песнями, а ты из Москвы за песнями приехал!»

Становой своих песен ценить не мог. Зато Якушкин знал, куда шел.

10 апреля 1861 года разговаривал он, стоя вот на том же самом месте, где сиюг теperь я и люблюсь подле Лескова ходом не видимого вечером льда.

«— Так и тогда дохдили до греха? — спрашивал Якушкин, а старик ему отвечал, видимо, поглаживая бороду:

— Как не доходить — доходило! А жили веселее, скромнее жили, по-божиию, оттого и пили куда меньше».

Прекрасно издан том сочинений П. И. Якушкина в 1986 году издательством «Современник»: красивый, недорогой, а главное — полный...

И рассказывает старик Якушкину, что город наш знаменит был перед другими тем, что стоял здесь — один на всех — единственный трактир. И народ туда заходить стыдился. Собирались в певческих — там и орган, и рожки, и дудки, и песни, конечно, на всякий лад. Узнает отец, что сын в трактире побывал, отдерет... Да что отец! Невесту парень не найдет, все отворачиваются: «трактирщик идет». Зато в певческих...

Хотелось бы поведать о сегодняшних наших певческих, да не могу: как повернули тогда на трактиры, так и не свернули с избранного пути. Только к Московской Олимпиаде — через Орел прошла эстафета греческого факела — выстроили три громадных притынных кабака, а певческой ни одной. Неужто пропиты голоса на родине знаменитых тургеневских певцов? Нет, конечно. Песни есть, приезжают к нам их записывать, и сами кое-что записываем на память. И коллективов фольклорных, судя по отчетам, — тьма. Время от времени слышишь или читаешь: хор профсоюзов с успехом выступил в Дании; в Австралию вылетел ансамбль песни и пляски профтехобразования.

На спектакли общенедоступного, как теперь шутят, Художественного театра легче мне попасть, чем застать на месте тот или иной народный коллектив. На областной смотр художественной самодеятельности, проходивший в громадном дворце, я не смог проникнуть: дворец тот оцепила милиция. Зал был битком забит участниками художественной самодеятельности, которые отчитывались перед комиссией. По великим праздникам выступают на улицах народные коллективы. Ну да это только слово такое — выступают: кто же там разберет в толпе, на площади, что они поют? Зато во все остальные дни года свободные залы отданы толпе пестро одетой молодежи, погоняемой жокеем-затейником. В Доме ли пионеров, во Дворце ли металлургов, в драматическом театре, на фронтоне которого благородный профиль Тургенева:

диско, диско, диско... А в кабаках, то бишь в ресторанах, визгливо и громко кричат, подражая дискокумирам, самодельные, на наших водах вспоенные ВИА.

На эти танцы с холодным названием «диско» нападают вообще-то много и охотно. Хочется не осуждать, а понять, чем они вызваны. Скорее всего, не тлетворным все-таки влиянием Запада. Он здесь и при чем и ни при чем. Все танцы, кроме, пожалуй, корогода, пришли на Русь с Запада. Сменялись направления музыки и ритмы, но атмосфера танцевальных вечеров оставалась по-прежнему гнетуще агрессивной. Когда видишь такое скопление молодых людей, то понимаешь, что они хотят веселиться. Но когда наблюдаешь, как беспомощно водят они плечами, перетаптываясь на месте, толкая друг друга, становится трудно. Люди, собравшиеся вместе, чтобы повеселиться, веселью-то не обучены. Здесь не танцуют, а мнутя, трутся, толкутся. И когда взрослые, облачившись в сутаны времен «Стоглава», с трибуны начинают обличать и клеймить их, глупое это перетаптывание вдруг начинает обретать некую идеологическую основу. А по моему, велика честь объявлять это неприглядное зрелище нашим идеологическим врагом номер там два или три. Народ молодой имеет право и должен двигаться, прыгать, играть танцы. И то, что он не умеет этого делать, есть преступное и тлетворное влияние взрослых, которые на редких семейных праздниках уже забыли, когда на виду у детей приглашали свою жену на танец.

Помните знаменитое место в «Войне и мире», когда старый князь отплясывает «Купора», а домашние восторженно глядят изо всех дверей? Вот как надо обличать!..

Дом без творчества

Дом народного творчества в Орле теперь называется научно-методическим центром народного творчества. Но как раньше, так и теперь не поют, не пляшут в том доме. В центре том бумажки: ими шелестят девушки, которым самое время петь и плясать. Они получают эти самые бумажки свыше и отсылают ниже.

Фольклор записывают в деревнях у старых женщин, которые и пели, и играли танцы в молодости под эти самые озорные слова. Потом самодельные композиторы перекадывают ноты для хора, но на концерте мы увидим и услышим совсем не то, что когда-то веселило народ. Мы знаем, как пелась эта песня, но понятия не имеем, как она игралась. В центре города, где на двух этажах перебирают бумажки девушки, нет сцены или площадки, где бы, сменяя друг друга, могли показывать народу свое искусство подлинники. Зато диско — во все вечера и во всех свободных залах. Можно отдать диско один зал, но дайте возможность послушать те самые хоры, которые где-то там в Дании, на Кубе или на Мальте срывают очередные бурные аплодисменты.

Когда-то меня поразила Новоафонская пещера — утроба, в которой поминаешь Данте, старинные наши легенды о пропастях

земных. В самом красивом зале, под наземными отблесками сталактитов, три раза в неделю (под цветомузыку, разумеется) собирается местная молодежь на диско-вечера. Да побойтесь вечности! Что же, ничего лучше выдумать уже нельзя, как погасить свет и включить красные фонари? Принято, значит, постановление, кем-то одобрено, и дружно решили: «Танцуем диско!» И пошло-поехало. В Орле нет такой пещеры. Но в центре города — прекрасное здание драматического театра, храм Мельпомены, как выражались в старину. Спектакли теперь даются в этом храме «в нагрузку»: покупаешь билет на танцы и платишь за спектакль, который смотреть все равно никто не идет.

Сто и двести человек приходят на такое шоу — десять проходят в зрительный зал и режутся, не обращая внимания на сцену. Остальные в буфете ожидают, когда закончится этот театральный балаган. У кассы молодые люди говорят: «Два билета на дискотеку». Дискотека имени Ивана Сергеевича Тургенева — как вам это понравится, а?

Наши клубы превратились просто-таки в чертоги — таких дворцов не бывало у аристократической знати прошлых столетий, стадионы превзошли своей помпезной громадой античные сооружения, которыми по праву столько тысячелетий гордился просвещенный мир. Наверное, качественно росла и культура, ради которой выстроили эти златокованные терема. Но ее рост как-то не поспевал за стремительным темпом зодчих. Здания строились как бы «на вырост», и народной культуре стало в них неуютно, а может быть, и страшно, как ребенку, оставшемуся на весь день в громадной и чужой квартире. Оно и правильно: дворец все-таки не жилое, а, так сказать, служебное помещение, предназначенное для пышных приемов и торжественных церемоний. И потому, сколько бы ни лепили дворцов, самой удобной музыкальной школой остается дом, построенный в 1877 году на деньги Орловского музыкального общества. Одна из двух художественных школ ютится в особнячке, построенном театральным деятелем прошлого Петром Петровичем Потемкиным. Другая — и сказать стыдно — вот уже несколько лет обитает в трехкомнатной квартире жилого дома. А рядом, облицованный мрамором, сверкает на солнце Дворец культуры, где сиротливо уютятся меж просторных залов комнатки для кружковой работы. Стыдно сказать, но кружки технического творчества пришлось по требованию врачей закрыть, потому что работали они в подвальных помещениях шикарного дворца. Дети рабочих лишены возможности заниматься техническим творчеством во дворце, построенном на деньги их родителей, неуютно им в трехкомнатной художественной школе, тесно в музыкальной, похожей в дни занятий на пенал первоклассника.

Сорок лет, затихая на время, идут разговоры о создании профессионального городского симфонического оркестра. Появляются музыканты-энтузиасты, закончившие консерваторию, пытаются чуть ли не на самодеятельных началах создать такой

оркестр и — через год разъезжаются. Удивительно ли, что родина одного из самых пронзительных композиторов прошлого века Василия Калинникова за сорок лет не воспитала для себя не только ни одного симфонического композитора, но и мало-мальски заметных исполнителей классической музыки? Удивительно ли, что в тесном зальчике местной филармонии с каждым годом все меньше и меньше слушателей на гастрольных концертах знаменитых пианистов и скрипачей, виолончелистов и мастеров вокального пения? Не удивительно. На открытии картинной галереи, разглядывая прекрасный портрет одного из Новосильцевых, я вспомнил прочитанную где-то и застрявшую в памяти картинку: юный Калинников тайком бегаёт слушать рояль — единственный на всю округу рояль. Вижу мальчика, бедно одетого, который прячется в кустах и слушает, как свершается где-то на ярко освещенной веранде таинство рождения сказочных звуков. Сын вот этого самого Новосильцева, что изображен на портрете, удивленно сказал мальчишке, уезжавшему учиться музыке в столицу: «Зря стремишься. Чайковского из тебя не получится».

Чайковского не получилось, а Калинников вышел!

Кажется мне, что первые звуки облетевшей весь мир симфонии, те самые «ре-ми-ре-до-ре», — звучащее воспоминание о детской сказке: бедный мальчик в росных зарослях холодной сирени, чужая веранда, за стеклами которой скользит, как золотая рыбка, прекрасная неизвестная в белом. Сейчас она стукнет крышкой рояля, и взвоятся звуки, и поплывут над садом...

Я слушал Первую симфонию в Москве, на тридцать седьмом году жизни, прежде долго созваниваясь с друзьями, которые проделали сложную работу, узнавая, кто, где и когда будет в Москве исполнять Калинникова...

Я вспомнил наш орловский магазин «Мелодия», где стадом стоят фортепьяно разных видов и названий. Спросил у продавца, сколько их в магазине.

— Сто сорок.

— А сколько же продаете в месяц?

— Одно. В сентябре — два.

Непопулярный инструмент? Да, в нашем городе, к сожалению, да.

Первое, что говорят сегодня детям, это традиционное, увы: пускай из вас не выйдет музыкантов, художников. Говорится так не одному поколению орловских ребятишек. И действительно, не выходит из них выдающихся музыкантов, художников, исполнителей. Но почему же, хочется крикнуть, непременно из них не выйдет и не выходит художников своего дела? Ведь количество талантов на тысячу душ населения, уверяют генетики, постоянно во все времена. Куда уехал рожденный на нашей земле новый Калинников? Чем занимается, рожденный Мясоедовым, передвижник наших лет? Тютчев, Бунин, Фет послевоенных поколений, под какими фамилиями скрылись вы и куда? Нет школы, утрачена традиция высокого искусства, которому у нас как бы про-

тивопоставлено другое — народное искусство. Что оно такое — народное? То, что впоено в любительских кружках, то, что самодеятельно, то, что на бесчисленных конкурсах завоевывает призы и грамоты, являясь (положа руку на сердце) пародией настоящего искусства? Почему народное — если оно действительно искусство — вот уже много десятилетий подряд существует в уничижительных, если вдуматься, условиях постоянно действующего конкурса? Смотр районный, областной, всероссийский, место первое, второе, третье... Как на ипподроме, оценивается в очках и баллах наша безотчетная любовь к хоровому пению, неясная тоска старинных напевов и причитаний. Я еще не видел, чтобы коллектив или человек, любящий песню — фольклорную ли, новую ли, — вышел, собрался да и запел для души, для себя, для немногих своих близких. Помните чудесную сцену, где в Притынном кабаке собрались люди разных званий и, подперев головы, слушают состязание двух певцов? «Он пел, — сказано про одного, — все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении...»

И про второго: «Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль».

И про слушающих: «У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы: глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня... Я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну... Николай Иванович потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой... Мы все стояли как оцепенелые...»

Сейчас они обнимутся, соперники, и один скажет: «Ты... твоя... ты выиграл» — и бросится вон из комнаты...

Я прерву тургеневских «Певцов», чтобы спросить себя: куда подевались и наше умение так петь, и наша потребность так слушать?

Наскоро сколоченный, быстро обученный, ярко выраженный коллектив... да — поет, да — завоевывает призы и грамоты, делит места. Я слушал, мы слушали, иногда аплодировали, но сердце-то, сердце не плачет. А значит, и не радуется, замирая всякий раз, когда случается редкая встреча с подлинным искусством.

Когда-то я нашел и переписал для себя начало статьи Горбова о народной культуре. Если не процитировать, то этим словам долго еще не видеть света. Листочек, исписанный торопливым карандашом, оборван на той самой ноте, которая, кажется, подхватывает внезапно прерванную песню безвестного старинного певца.

«2 декабря 1963 года. Сейчас широко поощряется всякая

бездарность, всякая кустарщина от искусства, что на приспособленческом... языке называется художественной самодеятельностью. Ведь надо же показать, какой у нас высокоталантливый народ! И горе тому, кто осмелится утверждать обратное; кто заявит во всеуслышанье: бездарность всегда бездарность, даже если она выступает на подмостках так называемого народного театра или народного хора, если она кроает стишки в заводскую стенгазету, малюет плохие картинки или, скажем, разрисовывает деревянные ложки. Талант — дело высокое, исключительное, и огульно ставить его на одну доску с художественной самодеятельностью — это значит совершать преступление перед культурой».

Представляю усталое лицо, вооруженное круглыми очками, и как он, поплеывая на пальцы, останавливает карандаш, отбрасывает в сторону: все равно, мол, не пойдет. А это очень гордые и точные слова человека, не заискивающего перед народом, потому что и он, автор тонких лирических повестей,— народ, а значит, и боль его за судьбу народной культуры — тоже народная боль. Скольких ошибок можно было избежать, будь эти слова произнесены вовремя. Еще люди в нашем городе любили ходить в театр, еще не так оглушительно визжали ВИА в ресторанах, еще верили, что вот-вот откроется большой концертный зал.

Театр одного зрителя

Когда я сижу в театральном кресле на новом спектакле сам-пят, а народ давно перестал приходить в этот зал, я с тоской думаю, что в эту минуту мне бы хотелось быть вместе с народом. Когда режиссер, он же драматург, Леонид Моисеев на этой сцене разыгрывает драму, в которой доблестный директор совхоза чуть ли не ценой собственной жизни добивается повышения качества яиц только потому, что их приказали теперь нести на экспорт, я думаю, что автор издевается и надо мной, и над моим народом: мы разве не имеем права есть свежие или там богатые белками и желтками яйца? Пьеса называется «Правда сердца», но там — неправда. И много другой неправды, своей и чужой, нес на сцену большого нашего театра бывший художественный руководитель Леонид Моисеев.

Если я перескажу все сальные намеки и фривольные ситуации, которыми напичканы представления, поставленные за семь лет работы Моисеева, кому-то, может быть, покажется, что народ валом должен валить на эту порнографию. Нет, говорю с гордостью, не такой наш народ, не ходит он на спектакли, напичканные пошлостью. Совсем недавно рукой этого режиссера сокрушительно подправлена «Поднятая целина», превращенная на сцене в похождения Лушки, сдобренная сальными жестами и монологами Щукаря. После рецензий в газете и резких выступлений критиков режиссер перекрестил «детиче»: ныне это не «Поднятая целина», а «Макар Нагульнов», и посвятил он его ни много ни мало XXVII съезду партии. В один из дней работы съезда отменили

спектакль «Макар Нагульников»: пришло семь зрителей. Я не знаю, радоваться или печалиться мне, сознавая, что в моем родном городе такой тонкий и чувствующий неправду зритель?

Не люблю, Евгений Константинович, людей, которые говорят «народ», набрав в грудь воздуха. Я против того, чтобы народ и его искусство толковались только в фольклорном смысле. Я — народ, и соседка слева Марья Александровна — народ, и муж ее, колченогий мой товарищ, и соседка Анна Михайловна, которой я дважды в неделю вызываю «скорую», и соседи снизу — Тамарка да Сашка — все мы одного племени-семени. И на конференции, где «Слово о полку Игореве» разбирают, на трибуне, в президиуме, в зале — все народ, народ. Разница между нами есть, конечно. Утром народ толпился, обступая холодные колонны бывшей таможни, — пришли слушать Дмитрия Сергеевича Лихачева; и, услышав, потекут по своим делам люди. Его знает мир, любит — это народная любовь. Кого-то знают, но не любят. Кого-то любят, но не знают. А для соседей снизу есть народное возмездие: слева Анна Михайловна, справа — Марья Александровна, а они — внизу — просто Сашка и Тамарка, — им по сорок лет, пропили-прогуляли свои отчества.

Вот идем мы с вами мимо областной филармонии, народ стоит за билетами: под щитом — «Ведущий передачи «Вокруг смеха» Александр Иванов». Людей на этот вечер придет, может быть, сколько было их на коротком выступлении академика Лихачева. Но главное начнется завтра, когда будут рассказывать, сколько заплачено за билет и что за эти деньги получено. Вот где будет смех, вот когда зазвучит острое фольклорное словцо по адресу ведущего, который разъезжает по городам, чтобы людей посмешить. Пройдет время, и возле той же филармонии объявится другой щит: «Владимир Мигуля, композитор, участник передачи «Утренняя почта».

Что же это за звание такое: «участник передачи», «ведущий передачи»? За что же такие цены на билеты, как будто «Ла Скала» приехал?

Подойдешь к такому щиту и стоишь, тупо уставясь. Кажется, будто провинциальность к нам из столицы экспортируют: за что же это? У нас и своей еще хватает: театр совсем никуда, нет своего симфонического оркестра, галерея только одна и с одним залом русского искусства. А здесь еще эта напасть вокруг «Утренней почты». Нет, так не всегда было. Книги теперь да редкая память стариков хранят золотые воспоминания о тех временах, когда на орловской сцене что ни сезон, то звезда, а то и созвездие. Щепкин здесь играл, Эрнесто Росси, спорили о совершенстве Савиной и Стрепетовой, гордились мы уроженцами этих мест — сценической фамилией Садовских и Гликерией Федотовой, Рошин-Инсаров играл у нас целую зиму. Все это были театральные антрепризы, одна сменяла другую, а счастье видеть Щепкина переходило от Курска к Орлу и — далее. Конечно, антрепризы состояли не сплошь из Комиссаржевских — плохая антреприза

смогла бы продержаться сезон, от силы два. Но не семь же сезонов подряд, как сейчас. И не могла она задолжать 250 тысяч рублей, никто б ей этих денег в безвозвратный долг не дал. А нынешний театр должен, и еще ему дадут. До каких же пор?

Город и театр давно разошлись, но, боясь огласки, живут врозь, не требуя официального развода. В осьмнадцатом веке деревянный театр графа Каменского вмещал 500 зрителей. Это означает, что вмещал на каждый спектакль. Сегодня во всех трех театрах города, может быть, за две недели наберется столько зрителей, сколько их приходило на крепостной спектакль в 1815 году. А город стал в десятки раз больше¹. Печальную летопись искусства нашего края неподкупно, как Нестор, ведет сегодня одно только статистическое управление. Я листаю их тяжелые гроссбухи, пытаюсь проследить динамику культуры за десять лет, в быстром течении которых мы под бумажные фанфары «поднимали» Нечерноземье. С каждым годом зрителей в зале театра все меньше и меньше. Соответственно все больше и больше выездов в область и за ее пределы. Народ нужен театру для выполнения финансового плана — на проездные, суточные, квартирные и прочие расходы, связанные с командировками; областной драматический театр (имя Тургенева рядом с названием этого учреждения звучит то насмешкой, то прямым издевательством) израсходовал за прошлый год больше, чем выручил от стационарных спектаклей. Поколение наших родителей никогда не испытало того, ради чего возник и существует истинный театр: они не пережили священного трепета. Таких встреч с искусством может быть немного в жизни одного человека. Но один раз в любой человеческой жизни она, такая встреча, все-таки должна состояться.

Как хорошо говорили основатели первого в мире детского театра на заре его жизни: «...театр должен окончательно убить в ребенке бациллу равнодушия к жизни. Он должен вызвать в детской душе трепет, и горение, и тягу к солнечной жизни». Не убивает, не вызывает. Жаль, потому что издавна Орел славился тем, что был здесь не просто зритель, а публика — братство людей, одержимых единой потребностью здесь, в зале, полнее постичь текущую жизнь, людей убежденных и убеждающихся на каждом настоящем спектакле, что театр — это искусство реальности во всех ее многообразных значениях. Увлекаемые душевным движением выдуманных сценических героев, наши сердца бьются тогда в унисон, не стесняясь друг друга, не только внимая, но исповедуясь соборно. Убить бациллу равнодушия можно единственным способом: превратить ее в вакцину. Привив-

¹ За десять лет колхозных клубов становилось все меньше и меньше: в 1974 году их было по области 95, а в 1984 году — 5; профсоюзных клубов было 77, а стало 50; киноустановок было в 1974 году 770, а стало 574. В немалом городе Миценске, в исконных тургеневских местах, за десять лет стало книг в библиотеках не больше, а меньше.

ка трепетного отношения к миру — вот что такое один настоящий спектакль театра.

Искусство должно внести в нашу жизнь нечто такое, чего другим путем достичь невозможно. Поэтому право на моральную дотацию имеет только такой театр, который всеми доступными ему средствами призывает сограждан к творчеству. Радостное столпотворение воцаряется возле театральной кассы всякий раз, когда на гастроли приезжает театр из другого города. Вот когда выползает на свет божий старинная орловская публика: старушки с темными вуалями на крошечных шляпках, их пожилые одинокие дочери, глядящие на мир немножко укоризненно, подчеркнута небрежные студенты, девушки в бледно-голубых бриджах и балахонах, красивые не тем, чем они красуются, а своей молодостью; стесняющиеся друг друга молодые семейные пары и снисходительно глядящие на родителей подростки. Провинциальный театр редко интересен тем, что идет на сцене. Вряд ли то, что привезли им из другого города сегодня, будет намного совершеннее того, что они презрели вчера у себя. Но какое трепетное и уважительное ожидание в лицах и движениях, сколько не растраченного желания сочувствовать и сопереживать! Когда три или четыре раза кряду орловская публика просит калининградских артистов повторить для них «Царя Федора Иоанновича», когда в оперном театре или на балетном спектакле воцаряется вопросительная тишина — не рано ли бить в ладони? — а затем, расплескивая аплодисменты, люди встают и благодарно вызывают и вызывают на сцену актеров, режиссера, художника, когда лица тех, кто на сцене, счастливо и близоруко улыбаются в зал... мне хочется выйти и крикнуть:

— Давайте никогда не расставаться! Пойдемте на Тургеневский бережок, веселой толпой пересечем площадь, и нами расцветет старинный курган Дворянского гнезда. Давайте возьмемся за руки, будем петь, дурачиться, познакомимся друг с другом, чтобы тут же забыть или перепутать имена, станем читать друг другу стихи, написанные когда-то нашим Фетом, нашим Апухтиным, нашим Тургеневым. Они для нас все это писали, тревожно, жадно вглядываясь в пространство, стремились представить, какими мы будем, люди следующего века, захотим ли понимать те чувства, тех людей. И мы понимаем, чувствуем, нас много, все мы разные, и жизнь у каждого из нас только одна. Кого-то, может статься, завтра уже не будет на этом свете, но сегодня мы — братья и сестры, мы — люди одного поколения, одной страны! Мы из одного города!

...Я стою вместе со всеми и аплодирую даже не тому, что было сегодня на сцене, а тому, что только будет завтра. Аплодирую, уверенный, что люди, пережившие со мной этот сегодняшней вечер, станут завтра чуточку лучше, чем были вчера, что все мы вместе поняли что-то такое, чего три часа назад не понимали. Каждый из нас видел свой спектакль, разные одежды мысленно примеривал, по-своему поправлял героев или домысливал их сценические

жизни. Мне жаль тех, кого не было вместе с нами: зря станут спрашивать — того, что произошло сегодня с нами, все равно не перескажешь. Жаль все-таки, что вот так едино и легко, а главное, все вместе мы встречаемся редко, очень редко, чересчур редко. Кто в этом виноват? Конечно, всегда семья, конечно, школа. Они, семья и школа, во всех бедах всегда виноваты. Но я мечтаю о таком мудром и прозорливом судии, который однажды в частном определении добавит: виноваты в не меньшей, а может быть, и в большей степени театры, библиотеки, городские кинотеатры, забывшие, что они не для плана поставлены, а для души, виноваты музеи, виновато городское начальство, которое так и не поставило в центре города концертного зала, виноват директор филармонии, который не думает день и ночь над тем, как наконец создать собственный симфонический оркестр...

Поверьте, мне нелегко так говорить, и праздная моя мечта о будущем, скорее всего нереальном, общем празднике больно царапает душу.

«Человек, не прочитавший «Одиссею», — сказал мне как-то на экзамене преподаватель, — чем-то незримо отличается от человека, который ее прочитал».

Я был глуп и, за ночь одолев все двадцать четыре песни, вдохновенно переведенные моим земляком Василием Андреевичем Жуковским, заглянул в зеркало. Вид мой зримо стал хуже, чем был вчера. Но когда я пришел сдавать экзамен, вооруженный знанием Гомера, преподаватель чем-то незримо отличался от того, каким я видел его неделю назад...

Человек, не видевший спектаклей Московского Художественного театра, не читавший Шекспира, Пушкина, Достоевского, не слышавший Мусоргского и Рахманинова, не видевший Болдина, Спасского, Ясной Поляны, незримо отличается от человека, который все это видел, слышал, читал. Кто не горевал и не сокрушался над утренней красотой горемычной Данаи, немножко отличается от того, кто над ее судьбой радовался и страдал. Список прекрасных мест, картин, произведений вы продолжите сами. А я хочу сказать следующее. Человек, не посмотревший, не переживший, не почувствовавший, не плакавший над вымыслом, блеском и красотой всего, что мы с вами перечислили, отличается зримо. И такого человека можно смело обозвать провинциалом.

Не буду указывать пальцем, Евгений Константинович, но педагог, никогда не бывающий на художественных выставках, писатель, не заглядывающий в музеи, и даже поэт, который ни разу в жизни не побывал в театре, врачи, не понимающие прекрасного и прекрасно без него обходящиеся, — это все не отвлеченная реальность и для меня: предстают лица, возникают фамилии. Никого не хочу обвинять, потому что думаю тревожно и устало о тех, кто делает из моих соотечественников провинциалов. Нет, существует провинция — вопреки уверениям. Но есть люди, которым удобно, чтобы мы оставались провинциалами.

Трудно сознаваться в неисповедимом. Уйду, не прощаясь, на крутой берег Дворянского гнезда. Еще жив пока домик, известный тем, что здесь жила Лиза Калитина, которой никогда не бывало на свете. Этим именем клялись влюбленные. Отзвуки этой клятвы отозвались в известных стихах. Дописывая далеко-далеко отсюда роман о собственной юности, седой Бунин вспомнил деревянный скрипучий мостик, которого теперь уже нет, и огни ночных окон, которые все так же освещают дорогу новым поколениям влюбленных. Будем верны традиции — погрустим на Дворянском гнезде. Здесь подают друг другу руку прошлое и будущее, правда и вымысел. Когда я прихожу сюда один, видится мне все одно и то же. В белой ротонде над самым обрывом, склонившись над концертным роялем, человек играет очень красивую музыку. Может быть, это вальс, не дававший покоя Тургеневу. А внизу, и рядом, и на площадке перед ротондой стоят люди, внимая тихой увертюре. Это какой-то большой праздник, явка на который обязательна для каждого. Кажется мне, что это традиционный карнавал, посвященный памяти Михаила Михайловича Бахтина, ученого и фантазера, который провел на этом берегу свои детские годы. На этом карнавале оживут и заговорят разом герои всех произведений, написанных здесь: Баргамот наконец-то сможет получить прощение у бедного Гераськи, и Кузовкин обнимется со своими обидчиками; возвратится из монастыря хозяйка дома, Лиза, станет искать глазами старика Лемма; подкатит в черной коляске запыленный охотник, и Левша подойдет к нему, чтобы полюбопытствовать: до сих пор ли чистят ружья кирпичом в этой удивительной стране? Здесь не будет знакомых и незнакомых, старых и новых, бедных и богатых, праздник — это короткая счастливая пора, когда каждый имеет право снова стать ребенком. Я буду бродить в этой легкой толпе, узнавая и не узнавая тех, кто скрылся под масками. Я буду среди своих, признавая земляков по той краткой и точной речи, которая еще звучит в наших краях. Настанет время прислушаться к голосам, которые вчера еще казались бесполезными, к словам точным и нежным, которые мы, стесняясь показаться несовременными, знаем, помним, но не произносим. Не будем в этот день беречь про запас самое ценное, что оставлено нам, — родниковые наши природные слова, нашу мягкую, чуть-чуть взволнованную речь, наш язык, которому, как верному другу, сказал Тургенев: «...не будь тебя, как не впасть в отчаяние...» В этих емких и непокорных словах, в их медленном среднерусском течении старое уживается с новым. Как семена, зреют в них забытые природный жест, ум, сметливость моего народа, его природная грация и та особая живая русская памятьливость на добрые дела.

Я пойду на Дворянское гнездо вечером, один. Здесь мы и расстанемся.

Новые проблемы нельзя решать устарелыми методами. Мысль отнюдь не новая, но еще никогда ее бесспорность не была столь наглядной, а наглядность столь требовательной, как в наши беспокойные дни.

В смятении и страхе ум человечества прикован к им же сотворенной проблеме — уцелеет ли на нашей планете свет разума или угаснет, погрузив в нескончаемую тьму всю Вселенную, ибо некому больше будет увидеть и осознать ее сияющую красоту.

В Делийской декларации, которую не назовешь иначе, как пример высоконравственной практической политики, говорится: «Сегодня человечество находится на решающем поворотном этапе своей истории. Ядерное оружие грозит уничтожить не только все, что было создано человеком на протяжении веков, но и самого человека и даже жизнь на земле. В ядерную эпоху человечество должно выработать новое политическое мышление, новую концепцию мира, дающую надежные гарантии выживания человечества».

Делийская декларация — документ великой всечеловеческой значимости, но есть, я думаю, глубокий исторический смысл в том, что родилась она из совершенно особых отношений между моей страной и Индией, которые стали развиваться сразу же после того, как Индия обрела право самостоятельно выбирать себе друзей. На протяжении тревожных и грозных десятилетий взаимоотношения между нашими странами показывают миру, что существует реальная возможность для государств с различными политическими системами жить в добрососедстве, ничуть не поступаясь своими национальными установлениями и ценностями.

Но тридцать лет назад — даже десять лет назад — такой документ не мог бы быть принят, ибо мир только сейчас для него созрел. И то не весь, и то не до осознания необходимости выбора нравственного, а не просто шага, продиктованного общим страхом.

Да, у человечества сейчас появилась неотложная общая забота — избежать войны и выжить, сохранить на планете жизнь. Но едва ли можно допустить, чтобы речь свелась только к выживанию, к выживанию любой ценой — вопреки всему во что бы то ни стало замирился друг с другом перед лицом общей беды. Возможно, это путь к выживанию, но никак не к жизни, достойной человека.

Прежде всего потому, что равновесие страха по самой своей природе не может быть прочным, оно шатко, ненадежно, насыщено взаимной подозрительностью и ненавистью, а следовательно — безнравственно в самой своей основе.

Нам всем, человечеству, необходимо возвести здание мира на прочном фундаменте отрицания насилия как фактора, способного решить что бы то ни было, на фундаменте прочной взаимозависимости, которая сделала бы противоестественной саму идею войны. Противоестественной тому высшему началу в человеке, которое пока что находило свое проявление лишь в отдельных выдающихся личностях.

Я хочу возвратиться здесь к тому, с чего начал: устаревшие методы не годятся для решения новых проблем. Однако возвращение к великим объединяющим идеям прошлого, которые бережно сохраняются в копилке человеческих надежд, может быть весьма и весьма плодотворно для отыскания новых методов.

Размышляя об Индии как о земле, на которой живут и бытуют великие, остро необходимые сейчас человечеству идеи глобального порядка, я называю для себя мысли на этот счет уроками Индии.

Бывают некие сверхидеи, которые занимают главенствующее положение в иерархии даже великих идей. Они ошеломляют своей простотой и космичностью, вначале они кажутся абстракцией, утопией, прекрасной мечтой, однако с каждым витком исторического развития человечество все ближе подходит к осознанию необходимости их реализации.

На заре цивилизации Индия выдвинула идею бесценности жизни, равно как и взаимосвязанности и тесной взаимозависимости всех ее форм. Уважение к жизни и сделало Индию великой цивилизацией, прошедшей многие и многие круги в своем развитии. За тысячелетия своей истории Индия накопила в недрах исторического сознания колоссальный опыт, подтверждающий абсолютный приоритет человеческой жизни, и этот опыт отражен в сокровищах индийской философской и художественной культуры.

Я убежден в том, что наши индологи, наши переводчики, наши издатели делают дело огромной, непреходящей ценности, все шире знакомя советского читателя с этими сокровищами.

Один из главных уроков Индии — ее отношение к войне, ее неприятие насилия, ее стремление искать грани сближения, а не сосредоточиваться на точках расхождения. За тысячелетия до того, как человек нашел способ уничтожить всю планету, Индия принципиально осудила насилие как таковое, ибо, по сути, в войне не бывает победы, война не только уносит жизни, она уродует сознание тех, кто остался жить.

Если мы сегодня уверены в том, что нам необходимо добиваться демилитаризации психологической, поскольку нет сомнения в том, что все войны действительно начинаются в умах

людей и там нужно вести против них борьбу, то в этой связи древние уроки Индии обретают и новизну, и остроту.

Индийская формула «единство в многообразии» должна стать девизом грядущего мира. Жизнь преподносит нам трудный урок — требует, чтобы научились видеть единство за внешним многообразием его проявлений и не просто смирились с многообразием, а понимали, что в его использовании и заключен главный смысл современного исторического процесса.

Род человеческий, который пришел к выводу о своей смертности, с новой силой ощущает потребность в нравственных решениях стоящих перед ним проблем.

И снова возвращаясь мыслью к урокам Индии — ее традиционная философия жизни ставит нравственный фактор если не во главу угла, то во всяком случае на один уровень с определяющими факторами. Как очевидна сегодня правота слов Махатмы Ганди: неправда, будто честность — это лучшая политика, честность — это единственно возможная политика.

И пусть в самой Индии происходят достаточно драматические события, пусть она сегодня сражается с проблемами, громадность которых еще больше усугубляется громадностью самой страны, — это не опровергает, не может опровергнуть ценности ее уроков, ибо величие Индии — это величие духа ее народа, пронесшего через тысячелетия высоту и благородство своих идеалов. Да, жизнь нынешней Индии нелегка, но Индия имеет право звать себя «самой развитой из развивающихся стран». Она вышла в разряд современных держав, но не принесла свою духовную традицию в жертву технологическому прогрессу.

Чувство всеобщей симпатии, которое вызывает Индия в нашей стране, можно смело назвать традиционным — наши страны никогда не воевали, никогда ничего не делили, между ними нет ни малейшего осадка горечи или недоверия. В глубинах народной памяти, в сказках, легендах, былинах моей страны Индия всегда рисовалась удивительной землей, благодатной и щедрой, заселенной прекрасными и мудрыми людьми.

Сегодня, когда наши страны соединены множественными узлами дружбы и мы имеем возможность познавать Индию не сказочную, а такую, какая она есть, еще больше возрастает наше уважение к ее прошлому, к ее настоящему, к накопленному ею опыту, который весомо лежит на общих весах человечества.

ЦЕНА — ЖИЗНЬ

— Должен сказать и, думаю, выражу общее убеждение — нынешний VIII съезд заметно отличается от предыдущих. Тут есть, разумеется, свои причины, своя логика. Время, которое пере-

живает нынче наше общество,— это время больших усилий к тому, чтобы добиться решительной перестройки во всех сферах бытия, а главное — в умонастроении, в психологии людей, без чего не может состояться подлинное обновление, ибо все остальные факторы упираются в начальный и конечный фактор — человеческий. В духе времени прошло и наше большое писательское собрание. В серьезных, острых, откровенных и страстных выступлениях был очерчен круг важных проблем, коренных, концептуальных вопросов жизни и литературы — таких, как упорядочение социальной справедливости, экологические тревоги, заботы о развитии национальных культур в современных условиях. Разумеется, подняты были и организационно-творческие, профессиональные вопросы, волнующие литераторов сегодня.

— Вы не выступали на съезде, а если бы вышли на трибуну, то о чем бы говорили?

— К сожалению, в этот раз я не успел подготовиться по объективным для меня причинам. Ну а если бы выступал с трибуны, то говорил бы прежде всего о проблемах национальных, о взаимодействии культур, литератур, языков. Эти вопросы для нас жизненно важны, поскольку наша страна федеративная, многонациональная, и то, что происходит в каждой из республик, имеет непременно и общее значение. Возможно, мы не всегда об этом думаем. Но это именно так. И от того, как развиваются национальные литературы на местах, насколько современны задачи, которые они решают на своей национальной почве и вместе с тем в общем контексте единого для всех нас социалистического образа жизни, во многом зависит гражданский, нравственный, духовный потенциал человека — что несет он в себе своему обществу и миру — гармонию отношений или трудносовместимость, высоту национального духа, желание уважать инонациональные ценности и в той же мере быть уважаемым как представитель определенного народа или высокомерие, равнодушие к другим, говорящим на иных языках. Это вопросы не академические, а самые что ни есть насущные, повседневные и оттого неотлагаемые. И в этом деле нам необходима гласность — как знамение нового в новом мышлении.

Культивировать гласность — таково веление времени.

Я уже говорил на партийном съезде у себя в республике и сейчас хочу повторить: надо отрешиться от старых измерений и сопоставлений, сбросить навсегда их путы. Мы все еще, обращаясь к состоянию национальных культур, вспоминаем, что были когда-то малограмотными, бесписьменными, и ссылаемся без конца на эти факты в своем осмыслении сегодняшней действительности. Как будто бы мы все еще живем в эпоху ликбеза, красных и черных досок. Но они уже давным-давно ушедшее и не могут сегодня служить точкой отсчета. Нельзя сейчас, положим, нашу индустрию, вообще экономику сравнивать с 1913 годом. Это глупо, не лезет ни в какие рамки — на дворе другое время, время научно-технической революции. И в подходе к развитию нацио-

нальных литератур, национальных культур должно быть другое измерение: нельзя уже ликовать по тому поводу, что все умеют читать и писать, что есть газеты, радио, телевидение, театры и т. д. Все это так, и хорошо, что так. Но нельзя же этим загораживаться от вновь возникающих, живых проблем живого, действующего народа и его культуры. Если бы я выступал на съезде, то сказал бы своим собратям по литературе, особенно публицистам и критикам: не надо изображать дело так, будто в наших национальных сферах все решено и нет никаких проблем. Не надо приводить в качестве примеров эти элементарные вещи, не об этом следует теперь размышлять. А о том, насколько глубоко и демократично развивается национальная культура, национальное самосознание в системе нашей интернациональной структуры. Интернационализм — не арифметика, не сумма слагаемых, а алгебра многих национальных культур, имеющих свою самостоятельность. И в то же время эта самоданность немислима без определенного общего знаменателя для всей нашей духовной культуры, без активного использования достижений более высокоразвитых культур. Вот об этом нам стоит толковать и в этих вещах пытаться разобраться.

Например, развитие национального литературного языка. Что происходит в нем, какие процессы? Предположим, заимствования — насколько они естественны, органичны, своевременны, не идут ли они подчас от консерватизма мышления, от лености ума, когда механически, а то и лести ради из одного языка переносят что-то в другой.

Я сразу хочу оговориться: общеизвестно, что русский язык — великий язык, и толковать сегодня о его роли для всех национальных культур страны равносильно тому, что ломиться в открытую дверь. Русский язык — великий, но это не означает, что не надо обращать внимания на внутренние закономерности другого национального языка и привносить в него, в частности из русского, то, что можно и не привносить. Курьезным фактом в этом смысле являются названия двух областных газет, выходящих на киргизском языке, — одна из них называется «Иссык-Кол правдасы», а другая — «Нарын правдасы». Меня это глубоко оскорбляет. Что же это за народ с тысячелетней историей за плечами, у которого в языке отсутствуют слова «правда», «истина», «справедливость»? Кому нужно такое коверканье русского языка и унижение киргизского, в котором только синонимов понятия «правда» насчитывается около десятка?! Развитие национальной литературы, какие бы талантливые писатели ни трудились в ней, связано с целым рядом других факторов, с общей культурой народа, с его образованием. Во Фрунзе киргизских школ не прибавляется, а строится их сотни. Давно назрела пора открыть в столице республики детские сады с киргизским языком. Никто сему не препятствует, но никто и не занимается, а ведь все это в современных условиях приобретает жизненно важное значение для народа. Что же это за национальная культура, которая не имеет своей базы?

Но когда подобные болевые мысли высказываются, то тут же находятся люди, которые начинают рассматривать это как проявление национализма, узости взглядов. К сожалению, этот зуд сверхбдительности, приистекающей в немалой степени от карьеризма, не встречает должного осуждения. Необходимо отметить в связи с этим, что в результате такая тенденция породила на местах особый тип демагога — говоруна-трибунщика, который сделал для себя восхваление русского языка к месту и не к месту и умаление собственного чуть ли не престижной профессией.

Умаление собственного национального языка, национальной самобытности — одна крайность, но есть и другая, противоположная ей, которая тоже вызывает возмущение. Я говорю о тенденции видеть свой народ только на Доске почета, видеть одни лишь достоинства, плюсы и не замечать минусов в его жизни. Понятное, объяснимое желание, но антидиалектическое, являющееся в какой-то мере тормозом на пути обновления.

Когда мы теоретически предполагаем, что со временем, в каком-то отдаленном будущем все языки сольются и будет только один или два языка в мире, захваченные этой перспективой, вряд ли мы отдаем себе отчет, что мир от этого обеднеет. Эти «победившие» языки не будут иметь окружающей подпитывающей среды. Однообразие не может обеспечить развития. Поэтому важно сохранить как можно дольше многообразие языков. В наше время информационного взрыва, когда возникли условия, нивелирующие все и вся, языковое иждивенчество никому не пойдет на пользу. Я все-таки стою на том, чтобы было множество литературных языков и чтобы у них были основательные возможности существовать и развиваться.

Бессмертие народа — в его языке. Каждый язык велик для своего народа. У каждого из нас есть свой сыновний долг перед народом, нас породившим, давшим нам самое большое свое богатство — свой язык: хранить чистоту его, приумножать богатство его.

Но вот мы сталкиваемся с новой диалектикой истории. Современное человеческое общество находится в постоянном и всевозрастающем контактировании, что все более становится всеобщей жизненной и культурной необходимостью. В этих условиях каждому человеку следует владеть несколькими языками. В литературах некоторых республик ныне возникает явление двуязычия. Я, кстати, принадлежу к писателям-билингвистам. Пишут, как известно, на родном языке и на русском В. Быков, И. Друцэ, М. и Р. Ибрагимбековы, Т. Пулатов... Я знаю много людей, хорошо владеющих несколькими языками — и народов нашей страны, и иностранными. Огромный мир литературы, культуры распахнут перед ними. Я уверен, что это путь будущего, — прекрасный мир должен быть распахнут перед всеми. Недавно я имел встречу с группой молодых алжирцев-трилингвистов — они хорошо знали

русский язык, безусловно, свой родной — арабский и превосходно французский... А одна молодая преподавательница еще и берберский язык. В них я вижу модель будущего.

— Я хотел бы повернуть беседу в сторону вашего творчества и обратиться к новому роману «Плаха», публикация которого началась в июньском номере «Нового мира», а в августовском была продолжена.

Как заметил Альберт Швейцер, простое размышление о смысле жизни уже само по себе имеет ценность. Герои ваших произведений, если говорить об их нравственно-философской наполненности, окрыленности, пытаются постичь сложную правду жизни, ее смысл, конечно, каждый на своем уровне, будь это уровень мудрого мышления старой крестьянки Толгонай в «Материнском поле» или Танабая в «Прощай, Гульсары!», которого называют «мужиком-философом». То, что вы писали в свое время о Едигее, о его познании мира и себя самого, мне кажется, проецируется в какой-то мере на новый роман, свидетельствует, что еще тогда у вас забрезжил его замысел: «Мой герой Буранный Едигей много и напряженно размышляет о смысле человеческого бытия... Есть люди, для которых этот вопрос связан с верой в бога, но ведь и для многих из них бог является не чем иным, как формой нравственности, совести, самосознания. Во всяком случае, одной из форм. Вот и мой герой — советский труженик, а не сектант — над этим вопросом задумывается, и ответ приходит не так просто, как в выступлениях заезжего лектора».

— Действительно, в предыдущем романе «И дольше века длится день» уже прозвучали эти нотки. Они прозвучали в размышлениях Едигея в тот час, когда он хоронил своего друга Казангапа. После трудных и мучительных поисков места для захоронения, перед тем как совершить положенный обряд, Едигей обращается к богу: «Я хочу верить, что ты есть и что ты в помыслах моих. И когда я обращаюсь к тебе с молитвами, то на самом деле я обращаюсь через тебя к себе...»

Как видите, хотя Едигей и взывает к всевышнему, по сути, он обращается к себе самому, потому что никто, кроме него самого и ему подобных, не разрешит его сомнения и тревоги. Если Едигей, так сказать, стихийный, простонародный мыслитель, не имеющий философской оснастки, то герой нового романа «Плаха» Авдий Каллистратов готовил себя к богословской деятельности, но чем-то они родственны — видимо, отношением к жизни, жаждой справедливости, чувством добра. Совершенно разные, тут Едигей и Авдий соприкасаются.

— В первой и второй частях романа несколько линий: Авдия Каллистратова, моюнкумской «хунты», анашистов, семьи волков, но ясно, что главный для вас все-таки — Авдий Каллистратов. Думаю, этот образ — неожиданность даже для тех ваших читателей, которые привыкли, что каждое последующее айтматовское произведение никогда не повторяет предыдущих, отличается тематической, художественной новизной. В «Плахе» впервые у

вас основное действующее лицо произведения — русский человек.

— Да, Авдий — русский, но я рассматриваю его шире — как христианина, хотя то, что в нем происходит, полагаю, касается и тех моих современников, которые своим происхождением связаны с иными вероисповеданиями. В данном случае я попытался совершить путь через религию — к человеку. Не к богу, а к человеку! Из всех линий романа для меня, безусловно, главная — Авдий, его искания.

— Но вы все-таки не случайно выбрали на роль главного героя христианина, а не мусульманина, скажем.

— Разумеется, не случайно. Христианская религия дает очень сильный посыл фигурой Иисуса Христа. Исламская религия, в которую я включен своим происхождением, подобной фигуры не имеет. Мухаммед — не мученик. Случались у него тяжкие, мучительные дни, но чтобы за идею распяли и чтобы он это простил людям навсегда — такого нет. Иисус Христос дает мне повод сказать современному человеку нечто сокровенное. Поэтому я, атеист, столкнулся с ним на своем творческом пути. Этим же объясняется мой выбор главного героя, то, что Авдий Каллистратов именно такой, какой он есть.

— Читая «Плаху», волей-неволей обращаешься к Достоевскому — князю Мышкину, Алеше Карамазову... А ваши Понтий Пилат и Иисус Назарян заставляют вспомнить Булгакова...

— Что я могу сказать по этому поводу? Мне приятно слышать это вовсе не потому, что я хочу как-то панибратски оказаться рядом с великими предшественниками. Работа так сложилась, что я соприкоснулся с теми же проблемами, которые когда-то нашли свое осмысление у них. Это вечные категории, вечные проблемы, к которым не только я, но и многие после нас будут приходить. Конечно, я думал о Булгакове в том аспекте, что Понтий Пилат и Иешуа, а у меня Понтий Пилат и Иисус Назарян — это одни и те же лица и находятся они в одной и той же ситуации. Но, надеюсь, внимательный читатель увидит, что эту ситуацию я пытался решить не то чтобы принципиально иным образом, но привести в диалог Понтия и Христа весьма существенный момент — с той поры как эта встреча нашла отражение у Булгакова, прошел определенный кусок истории и мы живем в несколько другом временном измерении. Мне хотелось привести нечто новое, то, что мы познаем сегодня, и, в частности, сказать о глобальной уязвимости человеческого мира как такового. Я вовсе не настаиваю, чтобы Страшный суд мы понимали напрямую, как ядерный конец света. Но именно осознание реальности этой угрозы заставило меня попытаться доказать, что надо бояться не вымышленного, мистического конца света, а того, что мы сами можем совершить, что может стать страшной действительностью.

— Оценка вашего романа критикой, в том числе на страницах «ЛГ», разумеется, впереди — после завершения его публикации. Но что вы можете сказать сегодня тем читателям «Плахи»,

которые считают, будто автор примиренчески относится к религии?

— Полагаю, что роман вызовет разные суждения, разные толкования. После завершения публикации я ожидаю серьезного литературно-критического, если хотите, философского разговора. Но судить о писателях, о произведениях, есть у них или нет симпатии к религии, вычитывая лишь знакомые формулы и не замечая, как и ради каких, вовсе не религиозных целей и идей они используются, — значит смотреть в книгу и ничего не видеть.

— Судя по вашим произведениям, музыка, песня очень много значат для вас. Вы ведь хотели одну из первых своих повестей назвать «Мелодия», имея в виду музыку любви, верно? Ту повесть, которой А. Твардовский, публикуя ее в «Новом мире», дал название «Джамиля». И свою первую книжку на киргизском языке вы назвали «Мелодия» — «Овон», не так ли?

В «Плахе» есть очень важный в философской структуре романа эпизод — когда Авдий Каллистратов слушает в Пушкинском музее староболгарские храмовые песнопения. На их волне ему открылась суть прочитанного однажды грузинского рассказа, вернее, баллады «Шестеро и седьмой».

В ваших произведениях легенда, притча, сказка, песня играют существенную роль. Вы придумали эту балладу? Ведь такой нет на самом деле? Или это парафраз старой грузинской были? Какую смысловую нагрузку она несет? Развязку баллады, гибель седьмого я поняла как несовпадение этики отдельной личности и общества. Седьмой не колеблясь убивает шестерых, ибо если враг не сдастся, его уничтожают — во имя общего дела, во имя идеи. Но как человек он не выдерживает этого своего поступка, для него убийство безнравственно. И конечно, очень существен тот момент, что о причинах, побудивших седьмого уйти из жизни, размышляет Авдий, и к тому же размышляет именно во время храмового пения, а одна из основных христианских заповедей, как известно, — «не убий».

— Можно расшифровать и так. Тут цепная реакция: шестеро оказывали яростное сопротивление, убивали, седьмой карает их за это, осуществляет возмездие, но карает таким же жестоким способом и, уничтожив, обнаруживает, что и себя как человека он уничтожил, — и получается заколдованный круг, трагедия. Такой баллады, конечно, нет, и я с некоторым беспокойством жду, как отзовутся о ней мои грузинские читатели и собратья по перу, насколько точно я сумел передать реалии, хотя не в них суть. Этой небольшой историей я хотел бы сказать, что гражданские войны всякий раз связаны с национальной трагедией, что приходится проходить через муки и кровь, через национальную трагедию, и это может выразиться в музыке, песнопениях, не только славящих борьбу, подвиг, запечатлевших радость победы, но и, наоборот, заставляющих сожалеть, печалиться о жертвах.

— Роман называется «Плаха». Я опять-таки слышала о другом, видимо первоначальном, названии — «Круговращение» и на-

ткнулась в тексте на его «отзвуки»: «...мне предстоит ... погрузиться в совсем иную жизнь, ту, что коллобродит испокон веков в омутах суеты и КОЛОВРАЩЕНИЙ...», «...через все КРУГОВРАЩЕНИЯ времени протянулась нить и к его судьбе». Почему вы изменили название? Ведь для вас название всегда очень важно.

— Действительно, я собирался — и это намерение остается — написать большой роман «Круговращение», который должен был вобрать в себя и историю Авдия Каллистратова, и историю семьи волков, и многое другое. Воплотить замысел — соединить разные сюжетные линии, разные времена в единое целое — оказалось очень сложно. И поняв, как долго мне предстоит работать над этой вещью, я решил историю Авдия написать отдельно. Я не предполагал, что она выльется в роман, думал — будет небольшая повесть, но она подверглась саморазвитию.

А название «Плаха», мне кажется, вытекает из содержания романа. Плаха — это не только помост, где совершают казнь, лобное место. Человек в течение своей жизни так или иначе оказывается перед плахой. Иногда он восходит на эту плаху, естественно, физически оставаясь живым, иногда не восходит. В данном случае название говорит о том, какой ценой дается плаха, восхождение к ней и есть ли в этом смысл, в этом пути на крестную муку.

— Роман начинается трагической нотой, пронзительными страницами о страшном, кровавом побоище в уникальной сайгачьей саванне, историей волчьей семьи. Для читателей Ваше обращение к миру природы, к образам животных не ново — иноходец Гульсары, верблюды Каранар, теперь волки Акбара и Ташчайнар, написанные с поразительной психологической, эмоциональной силой...

— Киргизский фольклор очень насыщен животным миром, потому что это фольклор скотоводов. И рядом с героем — обязательно его конь. С конем связаны гигантские психологические «куски» в великом «Манасе», например, когда повествуется о конных состязаниях — что происходит с человеческой душой в эти мгновения, какие страсти в ней вскипают, какие безумные столкновения случаются между людьми. Есть у нас удивительный, очень древний эпос «Коджоджаш», который восходит к тем временам, когда человек и природа, животный мир еще не были расчленены, не были разделены. Один его мотив я использовал в «Прощай, Гульсары!». Эпос рассказывает о том, как молодой удалой охотник Коджоджаш — кормилец племени — истребляет в горах всех диких коз. И однажды к нему с мольбой обращается Серая хромая коза. Она просит не убивать ее и старого Серого козла, потому что, кроме них, некому продолжить род. Серая коза неосторожно задевает его самолюбие, сказав, что если он не оставит их в покое, то навлечет на себя страшную кару. Охотник смеется над ее словами: что может она ему сделать? — и убивает старого козла. Серая коза, хоть и хромая, убегает от него, и,

догоняя ее, он оказывается на таких неприступных скалах, откуда ему нет спуска вниз и хода вверх. «Вот твоя кара», — уходя, говорит ему коза.

Так в мышлении древних вырисовывается экологический тупик. Конечно, у этого эпоса могут быть самые разные толкования. У меня такой вариант: еще в древности человек предостерегал себя от неразумного отношения к природе. Еще тогда обозначились эти аспекты экологических проблем, наших сегодняшних забот.

Так что истоки моего столь пристрастного отношения к животному миру еще и туда уходят корнями, в киргизский национальный фольклор.

— В прежних ваших вещах Танабай и его конь Гульсары, Едигей и его верблюды Каранар — это, если можно так сказать, родство душ, близость судеб, их неразделенность. А в «Плахе» волки возвышаются над человеком, над его низменными повадками. Во время облавы на сайгаков в моюнкумской саванне, «...в этом апокалиптическом безмолвии волчице Акбаре явилось лицо человека. Явилось так близко и так страшно, с такой четкостью, что она ужаснулась...».

— Зверю видится зверь.

— Притом Акбаре, хищнику, этот зверь-человек кажется страшным. Семья волков в романе находится как бы между двух человеческих миров. С одной стороны, планета людей в лице Авдия с его гуманным отношением ко всему живому, человеколюбием, желанием понять причины падения людей, помочь им не только нравуочениями, но и личным участием, с его жаждой любви: «Никогда не предполагал, что думать о любимой женщине и писать ей письмо станет смыслом моей жизни... Я не перестану любить до самой смерти...» С другой стороны, планета нелюдей — «хунта», как нарекла себя команда исполнителей моюнкумского злодеяния, алкоголики, бездомные, перекати-поле, живущие по звериным, в худшем смысле слова, законам, и молодые гонцы за анашой. У «хунты», по сути, ничего человеческого нет, а у волков — семья, узы привязанности, родительские чувства. Этот контраст мне видится с самого начала. Он подчеркивается сценой в Пушкинском музее, когда перед поездкой в степь с добытчиками анаши Авдий слушает софийских певцов: «Какой контраст — божественные гимны и темные страсти привокзальных Утюгов по дурному дыму от дурной травы. Не знаю, сознательно ли создавалась такая архитектоника первой и второй частей романа, но я, во всяком случае, увидела контраст довольно четко.

— Он проходит до самого конца романа. И в третьей части семья волков, их трагическая история тоже находится между двух миров, связана с историями двух семей, двух противоположных людей — чабанов Бостона Уркунчиева и его недруга Базарбая Нойгутова. Они — антиподы, как Авдий Каллистратов и Гришан — главарь анашистов, обращающий молодые души в свою

веру: «на свете все продается, все покупается», «деньги — это все».

— Почему вы «заболели» проблемами молодежи?

— Они, по-моему, сейчас очень обострились. Я помню себя студентом. Мы только что пережили войну, только стали приходить в себя, было много трудных, сложных моментов, но в наших молодых душах, подчас наивных, инфантильных, бурлил дух коллективизма, интернациональной спаянности. Может быть, тому способствовала война — общая беда.

— В ваших «Ранних журавлях» это очень хорошо показано.

— А сейчас я не хотел бы быть молодым. Хотя мне это и не дано, но я не хотел бы быть юнцом. Мне как-то неуютно среди нынешней молодежи.

Мы сами, наверное, виноваты в том, что происходит с неопределенной, юной частью общества. У нас нет голодных, нищих, бездомных, издержки нравственного воспитания, отсутствие высокой внутренней культуры приводят к потребительству, иждивенчеству, вещизму, когда во главу угла ставится материальный фактор, когда духовный потенциал приближается к нулевой отметке.

В значительной мере, я считаю, тут виновата семья, а еще больше — школа. Она, на мой взгляд, не соответствует тем возросшим требованиям времени и противоречиям, которые мы испытываем. Я беседовал недавно с человеком, одержимым идеей реформы, не той, которую мы сейчас пытаемся осуществить, а другой — глубинной, коренной, могущей превратить школу действительно в очаг гармоничного разностороннего развития, образования, воспитания. Когда буквально с двух-трех лет начнется приобщение детей к посильному труду, раннее приобщение к литературе, музыке, живописи. Предполагается, что группы будут маленькие, что к детям будет индивидуальный подход.

— Кто же пойдет на такие затраты?

— На народном образовании экономить нельзя, просто нехорошо. Переуплотнение классов даже при наличии прекрасных учителей отрицательно сказывается на качестве знаний учащихся да и на морали. Когда мы с помощью одного учителя обучаем полсотни детей — это же не обучение, а профанация его.

На съезде Компартии Киргизии я высказал эту свою тревогу, на примере ведущей школы № 5 в городе Фрунзе говорил о том, что ни Госплан республики, ни Министерство просвещения, ни Фрунзенский горисполком, ни соответствующие отделы ЦК годами и десятилетиями не могут решить проблем этой и других школ, в которых количество учеников все более увеличивается, утраивается, а стены и бюджет остаются прежними. Общество должно себя в чем-то серьезно умерить, но пойти на затраты в просвещении. Тогда мы сможем реально вести речь о научно-техническом прогрессе, тогда во множестве появятся таланты, умы с высоким нравственным, духовным потенциалом.

И комсомол, на мой взгляд, должен подумать о себе, по-моему,

он сильно зарутинизировался: не чувствуется его боевой, объединяющий, мобилизующий магический дух. Полагаю, и ему надо перестроиться, чтобы эффективнее воздействовать на молодежь, играть в ее жизни такую же роль, как в дни моей юности, а мое поколение искренне называет свою юность комсомольской. Это не пустое слово.

Отупляющий ширпотреб псевдоискусства тоже делает свое недоброе дело.

— Валентин Распутин сказал, что если бы Пушкин слушал не сказки и песни Арины Родионовны, а песни модной эстрадной певицы, то из него получился бы не Пушкин, а Дантес. Это, разумеется, гипербола, полемически заостренное преувеличение писателя, озабоченного духовной жизнью молодых современников. И дело не столько в песнях одной певицы, сколько в том, что разлитое море дешевой, безликой песенной мурлы, которая только и может, что развлекать, отвлекать, завлекать, но не способна вовлекать в духовную работу, пробуждать «чувства добрые», заполняет часы досуга молодежи.

— А показ ради забавы жестоких западных фильмов с погонями, избиениями, убиениями! Взрослые люди могут отнестись к этому критически. А дети, подростки, неопытные, неразборчивые, подхватывают механически, впитывают, подражают. И нельзя благодушествовать, надеясь, что ничего страшного не происходит: сейчас они жестокие, бессердечные, высокомерные, а подрастут — исправятся, мы их исправим. Исправлять трудно. И полагать, что если мы даем массовое среднее образование, то это решит все проблемы, — так полагать по меньшей мере наивно. Наоборот, чем выше уровень грамотности, тем больше трудностей, сложностей в воспитании, надо быть более тонкими в своих методах, в своих приемах, более изощренными, гибкими.

— Чем вы располагали, какими реалиями, фактами, когда вели анашистскую линию романа?

— К этой теме я тоже, конечно, обратился не случайно. Горькое письмо матери двух сыновей-наркоманов, напечатанное недавно в «Литгазете», — еще одно подтверждение существования этой болевой проблемы. Долгие годы мы сами от себя скрывали нашу беду. И меня волновали, естественно, вопросы: почему у части нашей молодежи возникает эта болезнь, какие существуют причины, семейные, личные, допускающие возможность такого порочного явления в нашем обществе? Откуда и как подступает оно исподволь к нам? Что, какие социальные неустройства толкают юные души на этот губительный путь?

Не они — мы должны думать и отвечать перед самими собой.

Однажды я поехал встречать поезд на очень далекую степную станцию. Поезд задержался на несколько часов, я бродил, не зная, куда девать себя, и один милиционер, узнав меня, предложил посидеть у них в отделении. Когда я вошел в служебное помещение, то увидел: в одном углу в железной клетке находились расхристанные мальцы, задержанные на товарных поездах за про-

воз анаши. В другом углу — вещественные улики: рюкзаки, сумки, чемоданы с той самой анашой. Мне стало дурно. Помочь им я не мог, потому что дело уже приняло юридический оборот. Письмо несчастной матери в «Литгазете» снова заставило меня вернуться к тому, о чем я думал тогда, о чем следовало хоть в публицистической форме, но обязательно написать: да, они нарушили закон и заслуживают кары, но им надо помочь, мы обязаны это сделать, их необходимо лечить, искать способы исцеления.

— Чингиз Торекулович, можно узнать, что вы сейчас читаете?

— Я был занят «Плахой» и не смог пока прочитать некоторые книги, которые очень хотел бы прочитать. Начал знакомиться с новой книгой А. Адамовича «Ничего важнее». И хотя в подзаголовке ее значится: «Современные проблемы военной прозы», даже по тем страницам, которые я успел прочитать, можно судить, что диапазон книги намного шире — актуальные проблемы не военной прозы только, а всей нашей художественной мысли, всей литературы, и не литературы только, но и жизни. Не сомневаюсь, что эта душа, которая называется Алесь Адамович, опять заставит меня думать, страдать, будет увлекать меня через страдания и переживание к чему-то доброму, настоящему, — в этом я не сомневаюсь: он уже так, и только так мною воспринимается. В новой книге он ведет разговор об этике и нравственности, о том, что сегодня иного пути, кроме гуманизма, нет.

Мы и сейчас выступаем против внесоциального понимания гуманизма, но, с другой стороны, в ядерную эпоху, когда над человечеством, над цивилизацией нависла реальная угроза их исчезновения, у нас более широкое, чем прежде, представление о гуманизме. Мы пытаемся найти универсальный подход к общечеловеческим проблемам. Сейчас, когда мир достиг такого уровня технического состояния и такого уровня противоречий, когда человечество в нравственном отношении не поспевает за теми достижениями, которые оно создает с помощью разума и рук своих, чрезвычайно важно, чтобы литература и искусство своими средствами оказали максимальное воздействие на человека, сказали ему, что нет таких убеждений, целей и задач, цена которым — жизнь человечества. Надо навсегда затвердить всечеловеческую заповедь для всех — только мир, и ничего иного!

Беседа вела Ирина РИШИНА

ТЫСЯЧЕЛЕНИЕ

*Беседа с патриархом Московским
и всея Руси ПИМЕНОМ*

— Известно, что 1000-летие Крещения Руси будет широко отмечаться во всем мире. На этот счет есть и специальная резолюция ЮНЕСКО. Юбилейные мероприятия состоятся более чем в 80 крупнейших христианских центрах Европы, Азии, Африки, Америки. И все-таки, пожалуйста, поподробнее о том, как готовились и будут проходить торжества, венчающие огромный путь Русской Православной церкви. Одновременно разрешите поздравить вас с этой поистине знаменательной исторической датой.

— Прежде всего сердечно благодарю вас за поздравление с 1000-летием Крещения Руси, которым мы отмечаем тысячелетие существования Русской Православной церкви.

Основные мероприятия юбилея пройдут в нашей стране с 5 по 16 июня. К ним относится Поместный Собор Русской Православной Церкви в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске. На нем будут рассмотрены вопросы внутренней жизни церкви, ее внешних связей, ее миротворческого служения. Ожидаем гостей со всей планеты. Приглашения направлены главам и представителям всех православных церквей, многих других христианских церквей и объединений, с которыми поддерживаем братские отношения и сотрудничество. Приглашены также видные представители иных религий и межрелигиозных организаций — с ними мы разделяем труды на благо мира между народами.

Одним из мест проведения празднования станет Большой театр. Здесь 10 июня состоится торжественный акт и праздничный концерт, посвященный 1000-летию Крещения Руси. После Москвы юбилейные торжества — с 14 по 16 июня — продолжатся в Киеве, Владимире, Ленинграде. А затем они будут проходить в епархиях по местной программе. В настоящее время юбилейные мероприятия осуществляются в зарубежных учреждениях нашей Церкви, расположенных в 30 странах.

В декабре 1980 года Священный Синод образовал широкопредставительную Комиссию по подготовке и проведению празднования 1000-летия Крещения Руси. Сделано на протяжении истекших лет много, в том числе разработана и программа Поместного Собора, на котором будет принят Устав Русской Православной Церкви.

В ходе подготовки к юбилейным торжествам мы провели три международных церковные научно-исследовательские конференции: церковно-историческую (Киев, июнь 1986 года), по богосло-

вию и духовности нашей Церкви (Москва, май 1987 года) и о литургической жизни и церковном искусстве Русской Православной Церкви (Ленинград, февраль 1988 года). Фактически эти конференции и положили начало празднованию. В них принимали участие иерархи и представители корпораций наших духовных академий, многие видные историки и богословы православных и инославных церквей, светские ученые наших и зарубежных научных центров. Получен богатый материал. В настоящее время идет процесс его публикации.

Большую лепту в подготовку к торжествам носит наш издательский отдел. Особое внимание уделяем Библии, ожидаем выхода в свет ее юбилейного издания. Выпущено около 50 наименований религиозно-богословской и историко-канонической литературы. Начато издание ежемесячного иллюстрированного бюллетеня «Московский церковный вестник» на русском и пяти иностранных языках. Почти вдвое увеличен тираж праздничного настольного календаря.

Дар к празднику — Библию на русском языке — с благодарностью приняли от скандинавских церквей.

На базе издательского отдела Московского патриархата создан информационный центр для работы с прессой и иностранными делегациями. Совместно с Торгово-промышленной палатой СССР на 28 зарубежных выставках показаны разделы о положении религии и церкви в стране. Вместе с ТАСС и ССОД тиражировали фотовыставку «1000-летие Русской Православной Церкви», которая широко разошлась за рубежом. В АПН издана на русском и нескольких других языках книга митрополита Белорусского и Минского Филарета «Изберем жизнь». По нашему заказу Гостелерадио и Госкино подготовили шесть фильмов о жизни Русской Православной Церкви, и еще восемь лент находятся в производстве. Фирма «Мелодия» выпускает юбилейную серию грампластинок с записью лучших хоров нашей Церкви. Гознак отчеканит к празднику памятную настольную медаль...

— Событие 988 года, ознаменовавшее собой официальное принятие Киевской Русью христианства в его восточной, византийской, традиции, является прежде всего историческим событием.

— И не только потому, что совершилось в далеком прошлом нашей Родины и заняло определенное место в ее истории. Оно является таковым по своему значению, по своим результатам, ибо, охватив своим влиянием все сферы жизни Руси, оно наполнило собой ее историческое время, придало отечественной истории новое положительное содержание и помогло нашей Родине занять достойное место во всемирном историческом процессе. С принятием христианства Киевская Русь утвердила свою самобытность и создала величественную по своему достоинству, классически ясную по стилю и тонкую по духовности и внутреннему благородству культуру еще в домонгольский период (конец X — середина

XIII века). Поэтому, празднуя 1000-летие Крещения Руси, мы отмечаем 1000-летие русской письменности и литературы, русской культуры.

— И, конечно, истории.

— Разумеется. Возьмем Куликовскую битву. В сознании поколений Куликово поле стало символом русской доблести и славы и вместе с тем благодарным признанием исторических заслуг Церкви, ее патриотического служения. Не погрешая правдой, скажу, что наша Церковь на протяжении всего своего бытия ревностно трудилась на благо своего народа, среди которого и в условиях которого Господь судил ей возвещать евангельскую истину. Святой равноапостольный великий Киевский князь Владимир, вводя на Руси христианство, стремился создать высокоразвитое, мощное государство по образцу Византии. В подвиге духовного просвещения народа заключалась высокая патриотическая миссия Церкви. Она осуществляла нравственное воспитание народа, полагала усилия для развития просвещения, для развития и совершенствования многих других сторон жизни нашего государства. В период феодальной раздробленности Руси, во время монголо-татарского ига (1243—1480 годы) Церковь оставалась фактически ее единственным объединяющим началом. Перенесение кафедры Митрополита всея Руси из Владимира в Москву предопределило политическое возвышение Москвы как общерусского центра. Опираясь на свой высокий нравственный авторитет, Церковь успешно осуществляла миссию примирения князей в период междоусобиц и содействовала объединению земель в централизованное Русское государство. Она помогала защите Отечества от вооруженных нашествий извне.

Личность преподобного Сергия как выдающегося церковного и государственного деятеля Московской Руси стоит в центре того духовного и национального возрождения, в котором истомленная и истерзанная ордынским гнетом Русь собрала свои нравственные силы, необходимые для того, чтобы осознать свое национальное и историческое призвание, сбросить ненавистное иго, объединиться и стать великой Россией. Отблеск святости преподобного Сергия, его духовной позиции лежит на всей его эпохе. Он посвятил созданный им храм Святой Троице и стремился все объединить по образу совершенного единства и любви, начиная со своей монашеской общины и кончая современной ему политической жизнью Руси. Он стремился к объединению государства и примирял враждующих удельных князей. Он благословил великого Московского князя Дмитрия на битву с татарами, победа над которыми на Куликовом поле подняла силы русского народа и влила в него веру в окончательное освобождение от ига Орды. В историю Русской Церкви преподобный Сергий вошел как небесный покровитель, национальный заступник России, игумен Земли Русской.

— Перестройка касается всех слоев нашего общества. Думается, она не может не затронуть и церковь. Хотя церковь и отделе-

на от государства, однако через умы прихожан она способна активно участвовать в жизни, деятельности Отечества.

— Вы совершенно правы, благотворный процесс перестройки, день ото дня все глубже проникающий во все стороны жизни советского общества, затрагивает и нашу Церковь, которая призывает свое духовенство и мирян к активному в нем участию. Вот как об этом говорится в предъюбилейном Послании Патриарха и Священного Синода от 21 июня 1987 года: «Каждый из нас, чад церковных, ныне призван своим гражданским и религиозным долгом ревностно участвовать в развитии и совершенствовании нашего общества. Нас воодушевляет стремление нашей страны укрепить общечеловеческие нравственные нормы в международных отношениях».

В этом году отмечалось 70-летие Декрета об отделении церкви от государства, или, как еще называется, Декрета о свободе совести. Регулируя положение Церкви в советском государстве, Декрет не отделяет ее от участия в жизни общества. Русская Православная Церковь изначала плодотворно трудилась на благо нашей Родины. Она стремится осуществлять эту миссию и в наши дни. Выдающийся иерарх Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергей (1944 год), возглавлявший церковное руководство с 1925 года, в своем Послании пастырям и пастве от 29 июля 1927 года так определил позицию духовенства и мирян Русской Православной Церкви к своему социалистическому государству: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи».

Возвращаясь к вопросу об отношении Церкви к перестройке, процесс которой, как известно, включает всестороннее обновление бытия нашего общества. С религиозной точки зрения обновление жизни является прежде всего следствием внутреннего обновления человека, его нравственного очищения. Нравственные достоинства личности являются основой крепости семейной жизни и добродетельного воспитания детей, следствием этих достоинств является честное отношение к труду, они побуждают к общественной активности. Церковь всячески служит этому.

— Иными словами, интересы Церкви и общества совпадают по ряду направлений. Мы все свидетели, какой бой дан пьянству, рвачеству, стяжательству, тем, кто не желает честно трудиться. Как направляется паства, как она воспитывается в этом отношении?

— Христианство учит: все люди рождаются в равном достоинстве, и каждый человек является носителем образа и подобия Божия; все люди призваны к ревностному труду и при этом обладают одинаковыми правами на блага жизни. Вместе с тем каждый человек живет в определенной общественно-политической структуре.

Чада Русской Православной Церкви, являющиеся гражданами Советского Союза, живут в условиях социалистического общест-

ва, программа которого, по нашему мнению, действительно высокоуманна и тем близка христианским идеалам.

Церковь предназначала человеку идеал безграничного нравственного совершенства, соответствующий врожденному стремлению человеческого духа исполнить в жизни свое призвание, найти источник радостного осмысления бытия, обрести благодать и истину. Законы советского общества, гарантирующие права граждан на образование, труд и отдых, открывают широкие возможности для свободного и творческого развития каждой личности.

Воспитывая верующих в сознательном и честном отношении к труду, Церковь исходит из вероисповедных и нравственных посылок учения о том, что труд является законом человеческого существования, исполнением воли Божией. В Священном Писании Ветхого завета высказывается суровое осуждение праздности и прививается глубокое уважение к труду. В Священном Писании Нового завета труд прославлен примером Господа Иисуса Христа. Бог освятил во Христе всякую трудовую деятельность. Апостол Павел высказал известное этическое требование: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». По учению Священного Писания, «ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют».

Церковь возводит труд в достоинство важнейшей нравственной добродетели и высоко превозносит его в категории этических ценностей. В воспитании паствы в добросовестном и честном отношении к труду духовенство видит свой пастырский и патриотический долг.

— В стране около 6800 приходов. В их жизни были разные времена. Как складываются сейчас отношения с органами государственной власти?

— Вы правы, верующие граждане нашей страны, наша Церковь, как и другие церкви и религиозные объединения, тяжело пережили трудные периоды в истории нашей Советской Родины. Известны незаконные репрессии в отношении многих священнослужителей, честных граждан и патриотов. В этом отношении представители Церкви разделили судьбу своих сограждан. Игнорирование законов нашего государства о религии привело к прекращению жизнедеятельности многих и многих общин. Разрушение многочисленных храмов, являющихся памятниками архитектуры древнего и позднейшего времен, нанесло значительный ущерб нашей национальной культуре.

Конституция Советского Союза статьей 52-й гарантирует свободу совести, и теперь это право неукоснительно соблюдается. Мы глубоко удовлетворены тем, что отношения между Церковью и государством носят ныне благожелательный характер. Приведу несколько ярких проявлений этих отношений.

В 1983 году, откликаясь на нашу просьбу, правительство СССР передало Русской Православной Церкви ансамбль Свято-Данилова монастыря в Москве, в котором была воссоздана мужская обитель и где в настоящее время устроится духовно-администра-

тивный центр Русской Православной Церкви. В Даниловом монастыре будет проходить одно из центральных событий празднования 1000-летия Крещения Руси.

В ноябре прошлого года нашей Церкви был передан правительством известнейший очаг духовного просвещения — комплекс монастыря Введенской Оптиной Пустыни в Калужской области и Ярославским облисполкомом ансамбль древнего Толгского монастыря. В Оптиной Пустыне воссоздан мужской монастырь, а в Толгском учреждена женская обитель.

— Церковь и местные власти. Какие здесь взаимоотношения?

— В настоящее время, в условиях перестройки, эти отношения имеют определенную тенденцию к положительному развитию. Однако в ряде районов страны местные общины и епархиальные управления все еще встречаются с неоправданными, по нашему мнению, сложностями и с затяжным характером решения насущных вопросов церковной жизни. Среди этих вопросов я выделил бы все еще существующую проблему регистрации православных общин, особенно остро ощущаемую в местах, где они вообще отсутствуют. Вместе с тем, по справедливости, я должен сказать, что и этот вопрос получил в истекшем году определенный сдвиг. Были зарегистрированы в различных регионах страны 16 новых православных общин. Мы радуемся этому.

— Есть ли приток молодежи в церкви, ее учебные заведения? Мы долго извращали и скрывали, приукрашивали, как кому-то хотелось, историю Родины, народа. Это, безусловно, подталкивало часть молодежи к религии, где искалась истина. Утолялась ли эта жажда откровения?

— Несомненно, определенная часть молодежи, юноши и девушки, проявляет живой интерес к вопросам веры и активно участвует в жизни Церкви. Из этого контингента пополняются наши духовно-учебные заведения: три семинарии и две академии, а также и регентские классы. Мы не испытываем недостатка в абитуриентах. В последние десятилетия клир нашей Церкви полностью обновился, и средний возраст священнослужителей стал значительно моложе. Вы затронули чрезвычайно важный для каждого нашего гражданина вопрос подлинного знания истории своего Отечества. Можно лишь горячо приветствовать серьезное внимание, какое обращено ныне на преподавание истории, на ее объективное изучение. Вместе с тем я не убежден, что проявляющийся современными молодыми людьми интерес к религиозным вопросам особо стимулируется недостаточным и неполноценным знанием ими истории нашей Родины. Думаю, что в основе этого стремления прежде всего лежит присущая человеку жажда к познанию духовных ценностей. Утоление этой жажды находится в прямой зависимости от усилий наших священнослужителей, от их знаний, духовного опыта, пастырского умения.

— Церковь всегда интересовалась средой, в которой протекает жизнь. Насколько волнуют ее вопросы экологии теперь?

— Проблема взаимоотношений человека и окружающего его

мира стоит изначально в христианстве. Патристическая мысль, основываясь на библейском учении, называет человека «микрокосмосом», то есть «малым миром», в отличие от окружающего мира, «макрокосмоса». Этим древние хотели подчеркнуть органическое единство, которое должно существовать между этими двумя мирами. Важное место в разработке данной проблемы занимала тема ответственности человека за судьбу «макрокосмоса».

Значительное внимание всегда уделялось этой проблеме и в Русской Православной Церкви. Не имея возможности остановиться на этом подробно, хочу отметить, что уже в Древней Руси была высказана глубокая мысль о том, что природа является храмом, в котором человек совершает свое творческое служение.

В наши дни отношения между человеком и природой зачастую строятся таким образом, что уже не позволяют, к глубокому сожалению, говорить о «храме природы». И хотя в последнее время, слава Богу, мы перестали употреблять такие выражения, как «обуздание природы» или «завоевание природы», однако в наших отношениях с окружающей средой обитания все еще доминирует потребительский принцип, независимо от того, идет ли речь о позиции ученых в вопросе переброски вод северных рек или же о позиции руководителей предприятий, расположенных на берегах Байкала, в отношении этого озера. Такой принцип коварен, обманчив: принося сиюминутную пользу, он в то же время безвозвратно губит экологическую среду и разрушает органическое единство между человеком и окружающим его миром. Он не способен открыть человеку величественный храм природы с его неисчерпаемой мудростью, с его удивительной целесообразностью.

Преодоление экологического кризиса, на наш взгляд, возможно только тогда, когда отношения между человеком и природой будут строиться на гармоничном взаимодействии.

— Какая работа ведется церковью по защите, сохранению памятников истории, архитектуры, культуры?

— Памятники отечественной истории и культуры являются общенародным достоянием, имеют национальное и мировое значение. Сохранение этих памятников составляет важнейшую задачу нашего времени, является нашим долгом перед будущими поколениями. В решении этой задачи участвует и Русская Православная Церковь. В наших духовных академиях на кафедрах церковной археологии, истории и патрологии описанию и изучению памятников церковного зодчества, иконографии и церковной письменности уделяется самое серьезное внимание. В Церкви постоянно и повсеместно проводятся работы по ремонту и реставрации храмов, многие из которых являются жемчужинами архитектуры. В настоящее время Церковь осуществляет восстановление архитектурных ансамблей, упомянутых мной выше,— древних монастырей Данилова, Введенской Оптиной Пустыни и Толгского.

Наша паства и духовенство систематически вносят свою не-

малую материальную лепту в охрану и реставрацию памятников архитектуры, осуществляемые государством.

Наша Церковь активно поддержала создание Советского фонда культуры на союзном и республиканском уровнях, и ее представители вошли в руководство этим фондом. Таким образом, перед Церковью открылась новая и немалая возможность участия в сохранении памятников отечественной истории, культуры.

— Как внутренние проблемы Церкви Вас волнуют?

— Современная жизнь Русской Православной Церкви в нашей стране характеризуется тем, что ее чада являются гражданами социалистического государства, и служение и свидетельство Церкви происходит в условиях социалистического общества, которое способно предоставить все необходимое для нормального течения духовной жизни своих граждан.

Конечно, было бы неверно полагать, что наша Церковь в своей жизнедеятельности не имеет никаких проблем. Выше я отметил многие из них. Добавлю еще две.

Первой отмечаю блуждания на духовной почве некоторых наших священнослужителей и мирян, сеющих в церковной ограде семена разномнения и соблазнов. Как правило, эти люди выступают с критикой церковного руководства, приписывают себе право выражать вонне истинные, как они полагают, интересы всех верующих, противопоставляют себя полноте Церкви.

Таких представителей духовенства и паствы немного, но, тем не менее, мы должны проявлять по отношению к тем из них, кто нарушает церковную дисциплину, строгий пастырский подход и врачующее душепопечительство ко всем.

Другой заботой является униатский вопрос. Он получил начало в конце 1596 года в результате насильственного присоединения к римско-католической церкви значительных частей нашей церкви в некоторых областях Украины и Белоруссии. В XVIII веке начался процесс ликвидации этой унии, носящей наименование Брестской. Этот процесс завершился на церковном соборе во Львове в 1946 году. Однако это деяние не получило понимания в определенных руководящих кругах Римско-Католической Церкви, и на протяжении многих лет мы сталкиваемся с усилиями извне, из которых выделяю националистическую деятельность Украинской Католической Церкви, направленную на возгревание отвергнутой украинским народом унии. Это обстоятельство глубоко огорчает нас и омрачает нормальный характер православно-католических отношений, так как униатский вопрос, помимо нашей Церкви, затрагивает и многие другие.

— Каково участие Церкви на ниве милосердия?

— Считаю весьма существенным постановку вами вопроса об участии Церкви в служении милосердию. Я убежден, что в этой чрезвычайно важной в духовно-нравственном отношении

сфере наша Церковь могла бы принести большую пользу нашему обществу, ибо милосердие, которое мы понимаем как сострадание и верность, является неотъемлемой частью жизни каждого христианина: «будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд», возвестил Христос в своей Нагорной проповеди (Евангелие от Луки, глава 6, стих 36).

Сестры наших женских монастырей могли бы, например, обслуживать лечебные заведения, занимающиеся тяжело больными людьми, трудиться в домах, в которых размещены увечные и инвалиды. Могут иметь место и другие формы служения милосердия Церкви. Мы хотели бы найти понимание в этом вопросе со стороны соответствующих наших ведомств.

— Миротворческая деятельность Русской Церкви. Какие акции в этом направлении она собирается предпринять в ближайшее время? Ее место, роль в движении религий за мир? Расскажите, пожалуйста, о движении «Война и мир в ядерный век».

— Что такое движение «Война и мир в ядерный век»? Я бы включил под это наименование многочисленные национальные, региональные и всемирные организации и движения, как религиозные, так и советские, как правило, с участием религиозных деятелей, посвящающие свои усилия спасению священного дара жизни от ядерной катастрофы. Эти организации и движения не обязательно сотрудничают между собой, но их объединяет стремление сделать все возможное для выживания человечества. Я коснусь лишь нескольких религиозных организаций и движений, проявляющих в наше время значительную миротворческую активность.

Начну с христианских церквей и религиозных объединений. Поскольку речь идет о войне и мире в ядерный век, я выделю страны Европы и Северной Америки, подписавшие в 1975 году в Хельсинки Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Справедливо будет сказать, что большая часть православных, католических, англиканских и протестантских церквей этого региона самым деятельным образом разделяет усилия по достижению ядерного разоружения и с этой целью делает все от них зависящее, чтобы претворить в жизнь Хельсинкские соглашения. В это миротворческое движение вовлечены Конференция Европейских Церквей, объединяющая подавляющее большинство не католических церквей нашего континента, и Совет Епископских Конференций Европы (Римско-Католическая Церковь). Большой вклад в эти усилия вносят Церковь Советского Союза и США, включая, естественно, и Русскую Православную Церковь. Миротворческое сотрудничество Церквей нашей страны и Национального Совета Церквей Христа в США, членами которого являются многие американские церкви, началось в 1956 году и получило большое развитие и динамизм. Отмечу успешно проведенные совместные советско-американские церковные программы поддержки

встреч в верхах в Женеве в ноябре 1985 года и в Вашингтоне в декабре 1987 года. Большое место в христианском антиядерном и миротворческом движении в целом занимает Всемирный Совет Церквей, созданный в 1948 году, в который входят свыше 300 церквей из более 100 стран мира, и среди них — шесть церквей из Советского Союза, в том числе Русская Православная Церковь. Необходимо отметить внушительную деятельность за ядерное разоружение всемирного миротворческого движения христиан из 90 стран, объединившихся для совместной деятельности на пользу мира и справедливости в Христианской мирной конференции. Наша церковь была одним из создателей этой конференции, зародившейся в 1958 году в Праге.

Другим набирающим ныне силу миротворческим движением является межрелигиозное сотрудничество по укреплению международного мира и справедливости, за ядерное и всеобъемлющее разоружение. По справедливости следует сказать, что начало этому движению в современных формах было положено Конференцией всех Церквей и религиозных объединений в СССР, посвященной вопросу защиты мира и проходившей в мае 1952 года в Троице-Сергиевой лавре в г. Загорске под Москвой. Эта конференция собралась в кризисной международной обстановке: шла война в Корее, могла стать реальностью ядерная катастрофа. Конференция дала стимул для развития сотрудничества церквей и религий Советского Союза и других стран в миротворческом служении, успешно осуществляющемся и в наши дни. Наиболее яркими проявлениями этого стали проведенные по инициативе и приглашению нашей церкви в Москве две выдающиеся всемирные межрелигиозные Конференции: в июне 1977 года — «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами» и в мае 1982 года — «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». Этот опыт поистине глобального религиозного миротворческого служения получил выражение в успешной работе религиозной секции Международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества» в феврале 1987 года в Москве и, мы надеемся, будет продолжен в деятельности новоучрежденного «Международного фонда за выживание и развитие человечества».

Отмечу еще один важный канал межрелигиозного миротворческого сотрудничества — учрежденную в 1970 году с участием нашей Церкви Всемирную конференцию «Религия и Мир», в программу активной деятельности которой входят усилия по ядерному разоружению.

Вы спросили меня о миротворческой деятельности Русской Православной Церкви. Она является органической частью церковного служения и осуществляется на протяжении всего тысячелетия ее бытия. Касаясь послевоенного периода, я уже упомянул многое в этом отношении. Добавлю, что в феврале 1986 года Священный Синод нашей Церкви принял особое

Послание «О войне и мире в ядерный век». В этом документе содержится разработанное на библейских и богословских основах, с учетом традиций Русской Православной Церкви, учение о христианском отношении к войне и христианском понимании мира в приложении к стоящей перед нашей Церковью первостепенной задаче делать все возможное для скорейшего избавления Земли от скверны ядерного оружия.

Необходимо особо сказать об активном участии Русской Православной Церкви, ее приходов, духовенства и паствы, в деятельности Советского фонда мира. Общецерковный взнос в этот фонд в 1987 году выразился в сумме около 30 миллионов рублей.

Одной из важных ближайших миротворческих задач нашей Церкви является поддержка, совместно с другими христианскими церквями нашей страны и Национальным Советом Церквей Христа в США, предстоящей встречи в верхах в Москве и связанного с ней подписания соглашения о пятидесятипроцентном сокращении стратегического наступательного оружия. Другой важной задачей является разработка и принятие на Поместном Соборе программы дальнейшей миротворческой деятельности Русской Православной Церкви. Эти и другие важные вопросы мы единодушно обсудили на недавнем Архиерейском предсоборном совещании в связи с 1000-летием Крещения Руси.

Интервью взял Владимир ЧЕРТКОВ

«Известия», 8 апреля 1988 г.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ



ВОСПОМИНАНИЯ О ЮРИИ КАЗАКОВЕ

I

Письма мастера

В феврале 1984 года я приехал в Москву, поселился в гостинице и, по обыкновению, тотчас же стал звонить друзьям и знакомым. В записной книжке моей много было телефонных номеров, но с кем бы я ни разговаривал, никого, как прежде, не потревожил вопросом: «А Казаков в Москве или в Абрамцеве? Давно его не видел?»

Нигде уже не было моего друга Юрия Павловича.

После смерти писателя сиротливо перечитываешь его произведения. Чуть ли не под каждой строкой большого мастера ищешь осадок его бытия, которое кончилось навсегда. Летом с чувством утраты, с сознанием того, что и эти листочки уже не новости, а своего рода реликвии, перебирал я его письма: на конвертах казаковской рукой начертаны мои адреса и моя фамилия. Да неужели я уж никогда не получу от него ни строки?! Никогда. Время нашей единственной человеческой связи прошло.

Письма Ю. П. Казакова забирают меня назад, в молодость, и мне там чего-то безумно жаль. От налетающих воспоминаний я не могу читать все подряд — тяжело! Больше всего, наверное, жаль мне самого времени. Нету чудес, но вдруг захочется снова проснуться в селении под Анапой неизвестным учителем, побеспокоиться втихомолку о трех рассказиках, отсланных мною на суд любимого писателя; снова бы караулить почтальоншу с толстой сумкой (в ней кипа писем, а мне опять нету?), гадать, сомневаться, наконец позабыть обо всем и... однажды... увидеть на столе... конверт с обратным адресом: «Ю. Казаков, Таруса, до востребования». Что там?

«...Не сердитесь за такой запоздалый ответ, дело в том, что я сейчас обретаюсь в Тарусе, в Москве бываю раз в месяц, и мне не могли вручить ваши рассказы.

Рассказы я прочел, и они мне понравились...

Рассказы ваши я попробую протолкнуть в «Молодую гвардию», хотя поручиться за успех дела трудновато. Рассказы не из легких для журналов — вы понимаете.

Но если с печатанием и не выйдет ничего, тужить вам особенно не надо, главное, что пишете вы хорошо, а печататься

будете немного раньше, немного позже, но будете (если, конечно, будете писать так же хорошо и много).

Вообще же предсказывать вам что-нибудь я не берусь, да и трудно это всегда и как-то совестно: что я — пророк? Одно положение верно во всех случаях: если автор талантлив и трудолюбив, значит, будет писателем. Трудолюбие в писательстве вещь не менее важная, чем талант. Сколько писателей мелькнуло и пропало, напечатав две-три вещи.

Мой вам совет, и этот совет вы постарайтесь запомнить и исполнять. Когда вас на первых порах не будут печатать, да и не только на первых, а и потом (если будете писать острые вещи), то никогда не злитесь, не давайте взятъ над собой верх раздражению, злобе, зависти. Никогда напряженно не ждите результатов из той или иной редакции. Постарайтесь даже забыть, что вы сдали рассказ и ждете ответа. И если вы выработаете в себе эти качества, очень много здоровья, нервов себе сбережете. А эти самые нервы вам еще пригодятся.

Вот и все. Будьте здоровы, желаю вам больших успехов.

Как только в журнале определится отношение к вашим рассказам, я вам напишу.

Таруса, 8 февр. 63».

Я перечитывал первое письмо Казакова бесконечно, радовался, мечтал и пугался. Писания мои не обругали, даже одобрили, а я еще ничего не умею! Меня вроде бы уже приравнили к строю литераторов, а я еще не знаю, как рассчитаться на «раз, два, три». Но, желая быть призванным на вечную службу, я в ответе из всех сил старался не отстать от Казакова в певучести и складности фраз. Помню ощущение глубокой неловкости, в которой я цепенел всякую минуту, когда воображал, что мой листок писатель держит перед собой где-то в Тарусе. Закон благотворной внутренней правды, слияние таинственного толчка чувства и упавшего на бумагу слова я открыл уже потом. Кончики нервов чутко предупреждают нас о вскочившей в строку фальши, о желании казаться, а не быть, об угождении «пустошным речам» и прочем. На первых порах понятия не имеешь об искрах свободы и забывчивости в творчестве; в голове одно: я пишу, я должен ставить слова как-то не так... С такими, наверное, вывертами и писал я тогда ответы Казакову.

Как бы то ни было, Юрий Павлович выбирал из моих писем нечто жизненное, моей судьбы касающееся, и тотчас откликнулся. Удивительное сочувствие мастера спустилось ко мне ни за что ни про что — как манна небесная. Он меня мимоходом, как бы в примечаниях, заранее оберегал от всякой кривизны.

«...Вообще же я бы вам порекомендовал сейчас попробовать свои силы на крепких радостных рассказах. Я думаю, что радость такая же сторона жизни, как и несчастье, ее, может быть,

меньше, но она есть, и можно очень честно писать об этом. Она, т. е. радость, очень сейчас подмочена во мнении думающего читателя, и как-то даже мы стесняемся иной раз писать оптимистические вещи, но оптимизм иной раз у нас спекулятивен, фанфаронен, а я говорю о другом оптимизме, вытекающем из естественной необходимости счастья и бодрости во всем живом... 13 апр. 63, Таруса...»

Теперь мне хотелось встретиться с ним. В отпуск я поехал в Москву. В редакции журнала «Молодая гвардия» меня разочаровали: Казаков появился на денек и опять уехал в Тарусу. Я насмелился потревожить его там.

Все воспоминания о том, как Куприн с половины пути в Ясную Поляну повернул назад, как Чехов, готовясь к встрече с Толстым, долго выбирал галстук, не выдуманы. Начинающие писатели тоже боятся мастеров, не великих, но известных. Я целый вечер кружил у бревенчатого дома, в котором Казаков снимал комнату. И с каким-то спасительным чувством отложил свой визит до утра. Вот он написал мне о счастье. С юности, разумеется, я беспокоился о том, чтобы моя судьба сложилась посчастливее; я каждый месяц этого счастья ждал, я в счастье верил, а начитавшись биографий великих художников Возрождения, согласился, что счастье творческого человека в страдании за искусство. В молодости, пока мы никому не нужны и ничем еще себя не проявили, множество особей постоянно как бы вопрошают: а ты кто такой?! И нам часто кажется, что мы в этом мире самые последние; никому нет дела до нашего таинственного чудесного шума в душе. Благие наши порывы вдруг перемальваются в жуткое самоуничужение, которое все застит; паренек или девушка перестают замечать многообразие жизни. Поражены бываем мы и томительной печалью собственного природного несовершенства, а скорее всего, незнанием своих дремлющих сил. Где-то наверху золотая среда, «невянущие дубравы» искусства, туда нас влечет, но есть ли смысл идти? Там ли тебе место? Добрые люди могут тебя приблизить, а потом что? Нечто похожее переживал тогда я, плутая по тарусским горушкам в поисках дома, в котором, может, и сочинил свой прекрасный рассказ «Адам и Ева» Ю. Казаков. Меня сковывают какие-то цепи. Я вроде недостоин даже того, чтобы постучаться в калитку К. Г. Паустовского и спросить у него о Казакове. Это здесь, наверное, составлялся сборник «Тарусские страницы»? Там и «Кирилловны» М. Цветаевой, и стихи Н. Заболоцкого, и очерк Паустовского «Иван Бунин», и... мой Ю. Казаков с тремя рассказами. Постояв у забора в позе странника, я, честное слово, ушел виноватым. Куда я рвусь?! Но именно в ту пору, в такие часы и минуты, когда все они, известные и простые, были для меня «мужами искусными», когда я за одно то, чтобы послушать мастеров, готов был отдать все отпускное время,— именно тогда мне посылалось счастье. Мо-

жет, потому мне и жаль сейчас того убежавшего времени. В страдании и растешь.

Рядом с Тарусой (вниз по Оке) стояла усадьба художника В. Д. Поленова. Полдень; уже и в жилых покоях Поленова побродил я, а у Казакова не был даже в ограде. Катер доставил меня в Тарусу. Наконец-то Казаков приехал из леса на мотоцикле. Почему он не похож? По рассказам, в нем должно быть что-то есенинское. Но он добродушно-грубоватый, рослый, тяжелый, как штангист. Он был молод, еще не женат, в той первой славе, которая никогда уже так не звенит. Все, кажется, украшалось приличием этой славы: и лысина, и даже заикание. Меня же и кудри не украшали. Казаков щедро выручал меня: много говорил, все как-то между прочим вставляя в истории имена известных писателей. Он месяц назад путешествовал по Северу с Е. Евтушенко, тогда гремевшим, и с Г. Семеновым. Я сказал Юрию Павловичу, как искал его, подходил к дому К. Г. Паустовского; испугала бумажка на заборе: «Константин Георгиевич болен и никого не принимает».

— Это жена защищает его. От поклонников. Старик в Москве. Мы были у него недавно с Евтушенко.

Опять как-то между прочим сказал: были, сидели, Паустовский их провожал. К 100-летию А. П. Чехова Паустовский поместил в «Литературной газете» коротенькие «Заметки на папиросной коробке» — я их выучил назубок! Я из-за Паустовского ссорился с другом детства. «Может, это и хорошо,— сказал мне нынче в Коктебеле писатель-москвич, с институтской скамьи видевший и слышавший «всех великих» и тогда уже судивший их весьма строго.— Детская святость перед искусством умчалась от меня рано. Я ко всему привык. Таруса, кхм! Я жил в Тарусе еще летом 1956 (!) года. Паустовский, закутанный в одеяло, ворчал что-то и ничего не пророчил такого, чтобы запомнилось. А ты прошел через преувеличения, идеализм. Наверное, это хорошо». Что было, то было.

В тот день я много интересного услышал от Казакова. История создания рассказа «Адам и Ева» была мне наукой. Как все, оказывается, интимно! Можно ждать приезда женщины и от тоски написать шедевр «Осень в дубовых лесах»; сходить на охоту с друзьями — и другой шедевр: что-то о себе и о нас. Осенью 1962 года по пути из Одессы на пароходе «Петр Великий» прочитал я в «Огоньке» рассказ «Плачу и рыдаю», вышел на боковую палубу, постоял, глядя на горизонт, и пробормотал слова героя рассказа: «Плачу и рыдаю, егда есть жизнь...» Какой же он, этот Казаков?

Чудеса: сижу я с ним в Тарусе, он несет из кладовки тарелку огурцов собственного засола и предлагает мне: «Угощайтесь...» Еще не понимаю, что здесь начинается дружба. Через несколько дней мы опять встретимся — в Доме литераторов в Москве.

«Знакомьтесь,— представлял он меня братцам-писателям,— скоро прочитаете его рассказы...»

Дома я ждал от него известий.

«...Дела у нас с вами пока грустные. Молодогвардейцы так и не решились взять ваши рассказы. Я забрал их оттуда (пока первые три) и тут же отдал в «Новый мир». Там, во всяком случае, будет скорый ответ. Даже если и отказ, то скорый...

Как вы поживаете? Есть ли что-нибудь новенького? Я бы не хотел, чтобы разные оттяжки и задержки с первыми рассказами охладили в вас желание работать. О первых рассказах забудьте и пишите каждый новый, будто предыдущих не было... Сент. 63, Москва...»

Если бы Казаков не отнес рассказы в «Новый мир», часто думал я и думаю теперь, иначе бы сложилась моя судьба и, возможно, я вообще не стал бы писателем. Мне очень повезло! — вот что я повторяю все двадцать лет. Через «Новый мир» я познакомился с писателями настоящими.

Пока же я выпускал под Анапой школьную стенгазету.

«...Как ваши рассказы? Выйдут они не скоро, если даже и примут, да это не беда, лишь бы взяли. Много ли написали нового? Я, когда начинал, много писал и быстро. Мог за день настроичить рассказ в авторский лист. А теперь вот как-то туго идет. Сюжетов мало. Да и те даже как-то и не сюжеты вовсе. У нас, русских, вообще с сюжетами никуда. Нет у нас сюжетов, а больше так — «жизнь», это у лучших, у плохих же ничего нет... 18 ноября, Москва...»

Именно в эти дни мой рассказ «Брянские» был уже набран в 11-й номер «Нового мира», и меня редакция просила в телеграмме «не прыгать до потолка» — мало ли что бывает: стоит вещь и вдруг выпадет.

Я между тем писал новое и всеми замыслами делился с Казаковым.

«...Меня немножко насторожила ваша «Чалдонка». Я не люблю сибиряков-писателей. А вы сибиряк. Смотрите, как бы вас не подмял материал. Он в Сибири всегда экзотичен и всегда портит писателей, они начинают писать смачно, цветисто, щеголевато, но это плохая смачность и щеголеватость, и очень они как-то похожи друг на друга, очень МЕСТНЫ, СИБИРСКИ. А вы должны быть русским писателем. А Русь — у нас, в Европе (я о литературе говорю). Вспомните Шишкова и прочих, вы поймете, что я имею в виду. Нет у них, вернее, в их материале, чего-то такого обыкновенного, что есть у нас, они экзотичнее, а экзотика в литературе хоть и хороша, но она НЕ ГЛАВНОЕ. Так что я насторожился, когда узнал о «Чалдонке», да еще

большая вещь! Впрочем, возможно, вы совсем другое хотите писать, и я тут стреляю мимо...

На первых порах вы все-таки посылайте мне свои вещи. Потом уж, когда оперитесь совсем, тогда никому не показывайте, а сначала — всегда полезно. Я, например, страсть как любил потчевать своими творениями, а потом уж поостыл... 28 дек. 63, Москва».

«...То, что вам теперь надо быть осторожной, как вы пишете, это ничего и даже к лучшему. Быть осторожной, как я понимаю, это не курить и не пить... поверьте — это прекрасно, не курить и не пить. Писателю нужна чистая голова и хорошее здоровье... 7 мая 64, Москва».

Осенью 1964 года еще два моих рассказа появились в журнале «Новый мир».

«Витя, погодите вы, ради господ, отречься от своих старых рассказов. М. б., ничего лучшего не напишите. Это не в укор вашему будущему. А просто я думаю, что человек должен любить себя прошлого, потому что, кто его знает, что там будет впереди. Я суверен. Каждый ваш рассказ написан «изо всех сил», в охотку, с удовольствием, если не с наслаждением, все они — история вашей жизни, вы потом это поймете, в них бродят разные ваши настроения, ваши поездки, ваша печаль и радость. Зачем же так морщиться на них. Тем более, что рассказы ваши вовсе не достойны, чтобы на них морщились, скорее наоборот. Или это у вас уже кокетство?»

Нехорошо, Витя! Все мы как-то изломаны, издерганы, нервны, все мы хотим чего-то этакого, и все нам и то не то, и это не то.

Не читайте вы, пожалуйста, этих критиков, берущихся рассуждать о современном стиле, о традициях и т. п. Вы знаете, я часто вспоминаю слова Достоевского из его «Дневника». Он там однажды как-то подумал о критике и вдруг понял, что критика (к тому времени, когда он писал это) вот уже сорок лет повторяла одно и то же, что, мол, у нас литературы нет, что нет светочей («маяков» — по-теперешнему), нет эпохальных произведений и т. д. и т. п. И тут же Достоевский вспомнил, что во все это время, когда критики служили отходную нашей литературе, был Пушкин, потом Лермонтов, Гоголь, Гончаров, Тургенев, начался блестяще Толстой, — не говоря уже о второстепенных, но все-таки блестящих поэтах, таких, как Фет, Баратынский, и не говоря, конечно, о самом Достоевском!

То, что вам грустно и, м. б., порой безысходно, это дело другое, это может происходить черт знает отчего. М. б., болезнь века, что ли, я не знаю. Но истоком этой грусти никак не должны служить ваши рассказы. И судьба у вас легкая (я имею в виду писательство) — если б вы знали, сколько сотен, тысяч и тысяч писателей пишут по много лет, и о них никто не скажет доброго

слова, их не печатают, хотя многие из них пишут, так сказать, не хуже других.

Очень бы хотел я с вами встретиться, да не судьба, видно. Я не приеду в Москву раньше 15 января. Мой переводной роман меня засосал... 12 дек. 64, Алма-Ама...»

Было ему в том году, когда он сидел в горах над переводом романа А. Нурпеисова, тридцать семь лет. Он всюду ездил, и я, прикованный к учительской кафедре, ему страшно завидовал.

В молодой литературе в те годы звучала «исповедальная проза». Подвергаясь искушению, как бы стыдясь перед шумными именами взяться за нечто мне родное, с детской зыбки привитое, я тоже кинулся описывать неприкаянного героя, растворяясь целиком в его чувствах. Самые жестокие замечания я выслушал в том же «Новом мире», но и Ю. Казаков не стал скрывать своих строгих суждений.

«...А твой герой не только не определился еще как человек (это и есть суть повести), но неясен мне и как работник. Кто он? Учитель? Или поэт? Или кто? Мне ясно только, что он что-то окончил, никуда не попал, у матери побывал и там не выжил, опять приехал и проч. и проч. Чтобы презирать кого-то, т. е. чтобы иметь право презирать, надо самому что-то делать... 20 фев. 66, Москва...»

Я обидчиво призадумался и принялся вещь разрывать, выбрасывать чужеродные куски и крепче брать за руку героя. Следы прежнего легкомыслия стереть полностью не удалось, но все же. Спасибо за правду, а то бы полетел совсем не туда. Через год я написал сразу две повести: «На долгую память» и «Люблю тебя светло». Но я по-прежнему нуждался в дружеской поддержке, в общении. Не было случая, чтобы я позабыл в столице о Казакове. Частенько в первый же день приезда я шел в Дом литераторов и заставал его там. Такси! — и к нему в Бескудниково. Уже я его не боялся, и он в разговоре (как и в письмах) обходился со мной как с младшим братишкой. Но дистанцию соблюдал я сам. Похоже, что я каждую минуту помнил о его первом письме и потому смотрел на него не снизу вверх, а просто благодарно. С этой благодарностью к добрым наставникам мы обязаны жить до конца. Иные примеры мне не нравятся.

Казаков побывал в Париже, повидался с друзьями И. А. Бунина и на даче в Абрамцеве рассказывал мне обо всех разговорах. В ту ночь мы наметили с ним «махнуть как-нибудь» на Орловщину, туда, где «в первобытном чистом состоянии души» начиналась «жизнь Арсеньева». И все у нас потом не получалось с поездкой.

«Жалко, опять мы с тобой не попали на Орловщину, жалко. Но такова судьба... 2 июля 68, Углич...»

Должен повиниться в скобках: мы не попали на Орловщину и в следующие десять лет.

«...знаешь, я о Бунине хочу написать, то есть пока о его доме, о вилле Бельведер, умиляет меня старик, как он работал в день, когда не дали ему Нобелевской премии, сидел и работал, а?.. 4 дек. 68, Абрамцево...»

О Бунине он не написал, а кому бы и писать, как не ему — он был им так просквожен, любил о нем рассуждать, восхищался писателем, который никогда ничего не имел, кроме книг, и был, по собственному признанию, «как птица всю жизнь».

«Писателю нужен дом или что-нибудь в этом роде. И очаг, знаешь, такой вообще очаг, чтобы порядок был и чтобы весь дом был подчинен работе этого писателя. Тогда хорошо...»

Он, кажется, мстил судьбе за то, что в детстве у него не было на Арбате даже двора, и потому он так вцепился в огороженный абрамцевский лес, в усадьбу свою, жил там месяцами и приглашал всех к себе: «...у меня даже в баньке, старичок, можно писать «Войну и мир»».

«...У каждого есть дом, детство, юность. И вот поэтому, мне кажется, повесть твоя, касаясь, может быть, самых сокровенных дней в жизни человека, любя эти дни и тоскуя о них, — должна быть близка каждому читателю...» — писал он 20 февраля 69-го года о моей повести «На долгую память».

Некоторые знаменитые писатели письма свои сочиняют. Обращаясь к друзьям, посторонним лицам, они всякую минуту помнят, что когда-нибудь после них письма соберет комиссия по литературному наследству и предложит для публикации. Оттого эти письма лишены непосредственности, отделаны и полны нарочитых высказываний. Высказывания Ю. Казакова — это все тот же дружеский разговор, это нечаянное мнение, не рассчитанное на то, чтобы его знали все. Нет там претензий на величавость и мессианство; там откровенность художника, и все.

«...Когда я гулял по Малеевке, мне все время попадалась на глаза вывеска со словами Тургенева: «Нет ничего сильнее и бесильнее слова». Так вот, я глядел на нее и думал о втором качестве слова, о его бессилии. Слово сильно, когда ты крикнешь: бей! А если ты слабым голосом скажешь: любите друг друга?! Сколько мы этих слов говорили! И что же? Говорить снова — скажешь ты и скажу я. Правильно, милый, и мы, а не мы, так еще кто-то будет говорить, пока останутся на земле хоть двое... 12 янв. 70 г. Абрамцево...»

«...Я как-то пришел к окончательному выводу, что в сей юдоли если и есть счастье, так это работа. Я имею в виду талантливую работу, то есть ощущение, что то, что ты сделал, — хорошо. Пусть тебя даже не печатают, пусть не замечают, но когда ты кончаешь и ставишь точку, на душе легко и мир прекрасен...
3 окт. 70, Абрамцево...»

II

Поедем к Сергию Радонежскому

После сна, медленно, по минутам привыкая к светлеющему миру, робко возвращая то, от чего отрешился я за ночь, усаживаюсь я со стаканом чая за стол и гляжу на окна высокой школы, где пишет сейчас что-то в тетрадку моя шестиклассница Настя. Гляжу на тростниково-тонкие кубанские тополя и повторяю последнюю строку в рассказе Бунина «Мистраль»: «Еще одно мое утро на земле». Вдруг издалека, из пятнадцатилетней давности, слышу голос Ю. Казакова:

— Ты знаешь, как я написал рассказ «Плачу и рыдаю»?

Мы сидели на его даче в Абрамцево — с той стороны дома, где веранда возвышалась над огородом, полдня покрытым тенью усадебного леса. Уже что-то сверчало в таинственной траве, с каждой минутой усадьба и окрестности становились темнее, древнее, и в баньке, казалось, поселился кто-то сказочно-страшный. На московской земле прервался на миг небесный свет, и душа сразу сближалась с теми, кто проживал тут в раздолье и двести, и триста, и шестьсот лет назад. А где-то, может, неподалеку, стихало сейчас у кого-нибудь дыхание, кто-то вскрикнул, заплакал; мы же на веранде, возгревая в себе разные чувства, уповали в забывчивости на долгоденствие. Вечер, лес, ничто не болит, и мы радуемся. Казаков, наскучавшийся без гостей, стал вспоминать лучшие свои деньки и писательское счастье. Он очень любил порассуждать вслух о простых чудесах бытия, никогда не теряя в нем свою персону. Счастливые мгновения слетались к нему как пчелы на пахучий цветок; едва начинал он рассказывать, все постное делалось вкусным, и самозабвенность обычной вроде бы речи пленяла завистью к тому, чем он жил, что видел и чувствовал. Я сидел подле него какой-то даже пристыженный, словно напрочь лишенный тех талантливых удовольствий, которые достались моему грубоватому собрату. Секрет же был в том, что он жадно любил все свое, со скупостью складывал в свою шкатулку, а потом по-барски разбрасывал перед всеми.

— Домбровский меня вдохновил. У него гениальная память, ты заметил? Мы как-то напарились в бане, вышли. И была ночь, звезды, Домбровский возьми и вспомни: «Кая житейская сла-

досьт пребывает печали непричастна?» Кая ли слава стоит на земле непреложна?.. Где есть мирское пристрастие? Где есть золото и серебро? Вся персть, вся пепел, вся сень...» Это откуда? Что ж ты, понимаешь, такой темный у нас? Пишешь, печатаешься в «Новом мире» (меня вот Твардовский прогнал), а ни бубу, святых отцов не читал. Я тоже не читал тогда, а Домбровский, тот что-нибудь и в журнале «Наука и религия» найдет. Ну вот, я ему говорю: «Ты спиши мне, старичок, я сделаю из этого шедевр». Иоанн Дамаскин! Гениально: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть...» У меня ухо хоть и как у тебя и моего Чифа, но как не услышать такое: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижу во гробе лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну и безславну, не имущую вида...» Я устами героя в рассказе «смерть» переправил на «жизнь». Так. Плачу и рыдаю — два слова, и рассказ в голове. Учись, старичок, а то, понимаешь, написал про брянских и думаешь — все? Не уезжай, поживи у меня, оставайся! Съездим в Лавру, и, глядишь, рассказик какой задумаешь. Там жива еще дочь Розанова, и у нее есть письма отцовские... Читал «Опавшие листья»? Подойдем к раке Сергия Радонежского... Оставайся...

Но я отказывался. Теперь жалею. Московские окрестности с усадьбами XIX века, церквями, обитанием каких-то многознающих интеллигентов, благовоспитанных, из тонкой косточки, горячили мое воображение — ведь я из крестьянской среды, мне надо обтесаться, послушать замечательные речи, налиться культурой, и полезно было почаще обретаться здесь, у кого-то пожить, но все было некогда, некогда, я виновато уплетался домой.

— Сергию Радонежскому поклонимся... Ты читал про него?

— А где я прочту?

— Не уезжай.

Почему не дано нам о чем-нибудь пожалеть загодя?!

Как всплывут вечера в Абрамцеве, прогулки вдоль Яснушки, парижские книги на казаковской этажерке, заправленный в машинку листочек с началом воспоминаний о поездке в Париж, сиделки у Ю. О. Домбровского (стилист Казаков крыл известного В. М-ва за вживление политики в каждый абзац), появление Ф. Д. Поленова, грустный вид Юрия Павловича после операции — в «предбаннике» Дома литераторов, его ответ какому-то нахалу: «А ты думаешь, что я уже ничего не напишу?» — как вспомнил это и другое, полусонно уже мерцающее, то беру старый «Огонек», который покупал в Ялте, и повторяю слова Иоанна Дамаскина в рассказе «Плачу и рыдаю». И сам я тогда плачу и рыдаю: отчего же я в те годы столько упустил? Звездой с небес упала ко мне прекрасная минута, и я скоренько распустился в довольстве, не побоялся, что большие друзья мои тоже не вечны, жил без программы, выбрасывал дни, недели, месяцы на препирательства с местными писателями, на тоску и самоуничтожение и ничего-ничего не успел, даже на письма отвечать не приучился, и кому, каким людям?!

Теперь я не с такой охотой еду в Москву. Что-то слиняло в литературных кругах, и утратила очарование когда-то загадочная для нас, провинциалов, московская среда. Все меньше там коренных москвичей, а прибывшие с окраин Руси начинающие таланты быстро раскусили, в каком углу лежит жирное, не стали столичными, но раннее свое естество запачкали. Ехал всегда к кому-то, а теперь? В шесть утра сразу легче дышалось, когда звонил с вокзала и слышал в трубке: «Ты где? Ну дак чего: давай к нам!» Казакову, если он скрывался у себя в Абрамцеве, я посылал записку. «Дорогой Витя! — отвечал он тотчас. — Приезжай, разумеется. Привет Ю. Д. Если он захочет, приезжайте вместе, только захватите пошамать чего-нибудь московского, а то в здешнем магазине пусто. Привет».

— Я тут один, не с кем выпить, поговорить... Заночуешь у меня, потолкуем, и считаешь, есть кто-то для тебя скоромное. «Дар» Набокова читал? Сiju, как святой Сергей после пострижения, один в своей церковке, только не молюсь, а он молился, «с уст псалмы не сходили», и ни одной просфорки за неделю не скушал. Недалеко отсюда было именице Радонеж, за Хотьковым. Съездим. Поздоровался с матерью?

— И поговорили.

Мать его Устинья Андреевна гордилась, конечно, талантом и известностью сына, а все-таки, как любая мать, больше пеклась о его благополучии и здоровье и в старании порою перебираала, ссорилась, указывала, командовала сыном, желая, чтобы все было по ее понятиям. Зачем матерям вселенская слава детей, когда нет того, ради чего и затеяна жизнь,— счастья простого? Маленькие ее подслеповатые глаза за очками томилась, кажется, целыми днями печалью, и в ту дальнюю комнату, где у сына за машинкой и книгами была какая-то оторванная, придуманная жизнь, не входила, как будто и не вставала от плиты, а так и горюнилась. Держала его на месте эта дача, держали старые родители. Вчера у Б. Зайцева в жизнеописании Сергия Радонежского я вычитал — отец отговаривает отрока Варфоломея уходить в скит: «Мы стали стары, немощны; послужить нам некому. Только послужи нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда». Это узда вечная, это долги детей.

— Покупай дачу в Абрамцеве, будем чаще встречаться, болтать о разном... Умер один академик, вдова продает дачу, и недорого, рядом со мной, будешь ходить ко мне с пивком, рыбкой, купи, старичок, а? Моя стоит тринадцать тыщ! Перевезешь свою Ольгу, напишешь роман, получишь тыщ двадцать и мне займешь, а то на уголь денег нет...

Все же почему он месяцами один? Однообразие впечатлений нас губит. Надо вырваться из самого себя, а как же вырвешься, если все время один? Нужны уколы посторонней среды, иначе ссохнешься в воспоминаниях, пусть и в любимых. В книгах будет перегоняться венозная кровь. Поститься в анахоретстве Казакову стало вредно, замыслы его иссякли, но он жил и жил,

прикованный к своей дачной скале. Возвращая мне книгу В. Н. Муромцевой-Буниной, он ничего не сказал, будет ли писать, нет об Иване Алексеевиче. Тогда я попросил его начертать «что-нибудь историческое» на последней стороне корочки, обернутой плотной белой бумагой. Он, сердясь, написал: «Хотел я эту книгу зачитать, но совестно... 1967—1971. Ю. Казаков». Теперь эта надпись как грустный аккорд несбывшейся симфонии.

— А я, знаешь, давно мечтаю написать о еде. Ты не смейся, очень интересно можно написать. Ты как — разбираешься в этом? Мы с Евтушенко ели семгу на Севере. Ночь наступает, вода светится, отойдешь, так захочется, чтобы тебя кто-нибудь полюбил, а тут уже и уха готова! Все, старичок, жизнь.

— Много обедов, да мало обетов, — пошутил я пословицей.

Сегодня, 8 августа, в день его рождения, когда набежало бы ему шестьдесят годочков, я прилетел бы к нему в Москву. Но дача в Абрамцеве пуста. Ездил я глядеть на сиротливые комнаты в Константиново, в Тригорское, в Ясную Поляну. То углы классиков, они жили давно. Но каково видеть одичавшие комнаты друга?! Ведь там и мои часы жизни тикали, там где-то в пылинках воздуха повисли наши голоса — неужели все пропадает? А на пленку я Юрия Павловича не записывал.

— Недавно я болел и перечитал всего Тургенева. Хорошо писали в старину! Все сейчас ругают его: не моден, устарел. А я, знаешь, читал на одном дыхании. Вкусное слово. О красоте формы у нас забыли, сочли, что ли, ее ненужной; рассказы, романы натканы пробле-емами. А у Ивана Сергеевича каждая страница изящна.

И нет его разговоров о Париже.

— Париж! Как раньше было просто. Чехов пишет: «А вы когда в Париж?» Спроси меня так. На какие шиши я поеду, и сколько надо мне хлопотать? Мне в Италии премию имени Данте присудили, а как забрать медаль? Кто-то за меня решил, что мне приятнее получить ее в посольстве в Москве, а не в Риме. А при Чехове ездили в Париж, в Рим, как в какую-нибудь Калугу. Кстати, Зайцев оттуда, из калужских мест. Он тебе прислал повесть о Жуковском? Жуковский оттуда же: из Белева. Поезжай-ка ты, братец, в Париж, знаешь когда? Ну осенью. Я тебя пускаю. И Зайцев, и Адамович тебя примут. И покормят: «Господа, прошу к столу!» Посидишь в квартире Бунина. Думаю, я сидел на том стуле, на котором Иван Алексеевич писал «Жизнь Арсеньева».

Его надо бы посылать за границу на несколько месяцев, он бы привозил после встреч с русскими людьми не презрение и жеманную политически хитроватую жалость, как это водилось у журналистов и некоторых писателей, а добросовестные впечатления о жизни наших соотечественников, десятилетиями сберегавших в чужой земле и русское чистое слово, и картины, и душу. Не те ездили за границу на казенные денежки, не те. Как в первый же

раз устремилась душа Казакова искать во Франции русские следы! Всю ночь я слушал его и любил за это. И был он как ребенок. Наверное, напрогнозировал себе заранее, что больше уж ему тех благословенных уголков не видать. Теперь, когда забурлил по нашим журналам поток эмигрантской литературы, из небытия отчалили к нам имена русских зарубежных писателей и в Ленинград из Парижа перебралась последняя «жемчужина в терновом венке русской эмиграции» Ирина Одоевцева, все труднее будет ахать и удивляться. Да и поздновато это случилось. Наше поколение перегорело, а кольнет ли молодежь историческая горечь — как гадать? Но в 1968 году посидеть в Париже с теми русскими, которые жили еще при Александре III, путешествовали на старом Афоне, хоронили А. П. Чехова, — с чем это сравнить? Разве что с детским чувством при чтении учебника по родной истории. И все это, я думаю, пережил Казаков, художник впечатлительный, с воображением.

— Зуров, душеприказчик Бунина, дал мне подержать Нобелевскую папку Ивана Алексеевича. Умри от зависти, я держал папку, в которой золотом написано: «Иван Алексеевич Бунин, при Нобель...»

И был он еще в ту ночь забавен, хвастлив, богат душой, вреден в мелочах.

— Вообще я в Париже попал в неловкое положение. Зайцев, Зуров — писатели, а я через каждые пять минут накидываюсь на них с вопросами о Бунине. Зуров написал роман «Зимний дворец». Сердился: «Да знаете, вот и какой-то Бабореко мне пишет из Москвы. Почему я должен ему отвечать, где они все были раньше? У меня у самого много работы». Ну, тут я разозлился: как можно меня сравнивать с Бабореко? И мы поругались немножко, а потом встретились в одном доме на обеде, и меня поразило: «Господа, к столу». И приятно: как когда-то в России. Они живут по-старому, и Зайцев пишет с ятем и ером. А чтобы ты представлял, как они говорят, я тебе прокручу запись.

Пленка эта пропала — как жаль! Там Б. К. Зайцев говорит о России и Бунине минут сорок, а на другой дорожке столько же Г. В. Адамович.

Пропала драгоценная пленка, пропали письма П. Л. Вячеславова ко мне, я их ссужал Казакову на время — там были строки о смерти В. Н. Муромцевой-Буниной. В этой пропаже какой-то знак, воры словно в сговоре с домовым почистили бумаги писателя, разбросали где-нибудь на станции или сожгли, варварским чутьем предсказав ему тяжелый крах.

— Ехали мы с ним в Грас, и Иван мне вдруг говорит: «Я всегда, Борис, боялся, что придет когда-нибудь хлыщ со стеклянными волосами и уведет ее от меня. Но я никогда не думал, что...»

Казакова уже нет, и нынче один я да еще кто-то понимает, о какой драме говорил Бунин Зайцеву.

— Ехали в Грас, — повторял Казаков, — и Иван ему говорит...
Давай теперь послушаем и Георгия Викторовича...

Пропало, верно, и письмо К. Паустовского от 21 октября 1966 года, из которого я выписал две строчки: «Юра, я скоро умру, поклонись от меня Тарусе и особенно тому месту, где была осень в дубовых лесах».

Я ожидал, что после Парижа вскроет Казаков в своем творчестве новый пласт.

Но «автор нежных дымчатых рассказов» надолго замолчал.

Нет его имени в журналах, не палит он из ручки статьями, ухмыляется, наверное, придуманным дискуссиям, всего один раз дал интервью. Конечно — никто не может знать сущего о мастере, потому что его самоотречение такая же тайна, как и творчество. Однако молчание Казакова словно подыгрывало критикам, червившим его прозу в первые годы. Они обвиняли его в подражании бунинскому стилю и мотивам, то есть прилепляли его рассказам вторичность, а между тем публика, когда читала его, ни разу не покосилась мыслью: на кого он похож, каким богам молится? Все-таки не Бунин, не Чехов, не Гамсун писал это, а Юрий Казаков, наш современник. Он стал предтечей, первым звонким аккордом в будущей симфонии расцветающей русской прозы после войны. Он был так свеж, его хотелось перечитывать, а некоторые абзацы помнить наизусть. Высокая тональность, чистота и серебристый свет русского языка, шелест «осени в дубовых лесах», любовь и одиночество, знакомая всем в молодости тоска по счастью — все было в его рассказах, и как после наслаждения читать чьи-то деревянные романы, кучами валявшиеся в магазинах? Ветерок эстетики проник в литературу с Казаковым. Потом засверкали другие замечательные писатели — со своей земляной народностью, правдой, дождевой тяжестью, серьезные и утренне-трезвые, и коим часом даже подумывалось, что в рассказах Казакова жизнь российская слишком легка, но... но все никак нельзя было оторваться от «Адама и Евы», «Плачу и рыдаю», «Запах хлеба...», нельзя было забыть и самого себя во дни первых чтений, заглушить эту скрипичную мелодию...

И все же — почему замолчал, сам выбрал себе распятие? Так бы и крикнул: да оглянись, Юра! да разозлись на себя, посмотри же, что у нас творится! мякиной завалили гнездо литературы! Несчетные журналисты-международники отобрали у нас половину читателей, прижились на веточках художественной литературы как бабочки-листовертки. Какой-то актер расписывает свои дни по минутам, скачет по Москве с утра до ночи (радио, телевидение, киносъемка, преподавание, спектакль), а перед сном еще «непременно читает последние новинки», еще и статью пишет, выбалтывается в интервью, то есть сует себя во все дыры, ибо убедился, что соваться везде — значит процветать. Какие-то провинциальные писаки изо дня в день отстригивают своими рубанками обязательное количество строк, затем, словно на дежурство, шествуют с рецензией на «кирпич» в отде-

ление Союза писателей, выверяют расположение сил противника (у них там всегда как на фронте), слушают новости из издательства (чью рукопись зарезали, кого грозят назначить в редакцию), в газетах сладостно ищут намеки на подкручивание гаек, потом в Бюро пропаганды литературы набирают пук путевок для выступлений в селе, едут на целую неделю кормиться и заглядывать в физиономии начальства, потом опять садятся на стул с мягкой подстилкой и обогащают словесность похвальной дружеской рецензией. А тут... такая затяжная апатия: поздно писатель ложится, поздно встает, и мысли все о том, что литература сейчас не нужна и писать не хочется. И древняя мудрость еще нежнее ласкает кислое настроение: «Глаз сразу объемлет великий сонм звезд, но если захочет кто объяснить подробно, что такое денница, что такое вечерняя звезда и что такое каждая звезда порознь, то потребуются ему много слов. Видишь ты звезды, творца же не видишь... Познай свою немощь...» А вот и князь П. А. Вяземский помогает столетним своим пессимизмом: «Все, что нынче читается с жадностью, разве это литература в прежнем смысле слова?» Вот уже Вяземский смотрит будто в наши годы: «Ныне очарования нет. Времена чародеев минули. Сила и владычество вымысла и художественности отжили свой век. Ремесленники слова этому радуются и празднуют падение идеальных предшественников. Капища опустели, говорят они: теперь на нашей улице праздник. Спросим: многие ли нынче пишут потому, что в груди их волнуются и роятся образы, созвучия, которые невольно и победительно просятся в формы, в картину, в жизнь искусства, в отвлеченное, но живое воссоздание мира, жизни духовной и вместе с тем жизни действительной? Кто пишет для того, что ему в силу воли и закона природы необходимо и сладостно разрешиться от бремени, таящегося и зреющего в груди его?»

Говорят, уход писателя из жизни озарен высшей неслучайностью, уступает место другим, более необходимым своему времени. Может, потому и умер Казаков-художник, что красота, нежная музыка искусства уже не властвуют над людьми?

Летом 1985 года возвращался я с женой и дочкой из Троице-Сергиевой лавры. Мы там ходили по двору, у стены Патриаршего дворца я снял Настю на фоне изображения святых, но к серебряной раке, где шестьсот лет пребывают мощи старца Сергия, мы не пробилась. Размягченный кротостью лиц, думая о великом множестве людей, оставивших нас навсегда, решил я упрямить друзей завести меня на дачу Казакова. Мы спускаемся вниз, въезжаем в высокую аллею, раньше времени поворачиваем, блуждаем.

Кто нынче «обитает в жилище твоём»?

Ездили мы отсюда с Ольгой на полдня в Мураново, и там, у шкафов со старыми журналами, я мечтал почитать когда-нибудь письма Ивана Аксакова (именно почему-то Ивана) и журился, что живу далеко от библиотек, в которых есть все,

что печаталось о России, что нужно мне для души. Судорогой сводило чувство от вида личных вещей Е. А. Боратынского и Ф. И. Тютчева: чернильниц, мундштуков, последнего гусиного пера, свеч, не заживавшихся после смерти Федора Ивановича. Хозяев нет! Так же через минуту увижу я бесприютную баньку Казакова, веранду, письменный стол. Скорбь человеческая! все мы протекаем в землю аки вода. Вспомнил я тотчас поэта Митю Голубкова, тихого, с острым носом, сидевшего в сумерках на веранде и рассуждавшего о Боратынском (он писал о нем книгу «Недуг бытия»),— это о Мите пишет Казаков в рассказе «Во сне ты горько плакал». Не до утра, как в Мураново, закрыты двери комнат, не музей здесь, а покинутая дача, на которую приедут в какое-нибудь воскресенье Тамара Михайловна и Алеша, уже у калитки вздрагивая в какой раз: все кончено, они одни. Тот же Митя Голубков читал тогда Боратынского на память, и нынче некоторые строки звенят над абрамцевским лесом еще грустней:

Не славь, обманутый Орфей,
Мне Элизейские селенья:
Элизий в памяти моей
И не кропим водой забвенья.
В нем мир цветущей старины
Умерших тени населяют,
Привычки жизни сохраняют
И чувств ее не лишены.
Там жив ты, Дельвиг! там за чашей
Еще со мною шутишь ты,
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты.

Все, чем я жил здесь тогда день-другой, мне хочется передать Настеньке, но она еще маленькая, ей не понять, чем драгоценна книга Б. Зайцева «Преподобный Сергей Радонежский» и почему я с трепетом брал на ночь в комнату, где стояла кровать Алеша, парижскую книгу Г. Адамовича и выписывал оттуда строчки о Бунине. Казаков тоже не спал, напевал что-то в другой комнате в постели, вставал, беспокоился, не скучно ли мне с книжкой, которую ему подписал в Париже сам автор, потом готовил на кухне кофе и приносил в чашечке и глаголил не уставая: «Брось ты переписывать! Поезжай лучше, и Адамович подарит тебе «Комментарии», а Зайцев о Чехове — ну еще раз, если почта затеряла! Только поезжай в Париж скорее, а то их не будет,— Зайцев с 1881 года, подумай, с 1881-го, год, когда убили Александра II, туда уже сами ангелы, старичок, не проникнут. То, как пишут, «от века тайна сокровенна». Страшно подумать! Ну, читай».

«Классический период литературы,— выписывал я у Г. Адамовича, чтобы напитаться живой росой,— великий русский XIX век: сколько в этих словах еще не вполне раскрытого значения, не вполне понятого содержания! Бунин сложился, вырос, окреп в веке двадцатом, но весь еще был связан с тем, что

одушевляло прошлое. Оттого, бывая у него, глядя на него, слушая его, хотелось наглядеться, послушаться: было чувство, что это последний луч какого-то чудного и ясного русского дня».

Сколько бы еще лет мог я навещать Юрия Павловича, и были бы мы все старше и старше, и что-нибудь неожиданное все равно написал он, может, о смоленских предках своих, которые с бессилием смотрят с фотографии (оттуда, из старой России), а может, еще что-то об Абрамцеве или о Лавре, — как теперь угадать? «Оставайся, поедem к Сергию Радонежскому...» Да мы-то едем из Лавры, а где ты, Юрий Павлович? в каких селениях? пухом ли покрыла тебя земля в той узенькой-узенькой щели, куда мы тебя опустили (бок о бок с тремя детскими могилками)? Может, потому и сподобился лечь в окружении детей, что гимнами детям и закончил свою литературу?

В Абрамцеве все как и раньше. Тишина и зеленый полог словно скрывают само время, и к ночи вовсе сливаешься чувством с аксаковской Русью. Теперь эта усадьба досталась Алеше. В тоске по Алеше и написаны последние рассказы. Все так понятно. Сижу в Пересыпи, оторвусь от машинки, зайду в огород. Брожу по буйной заросли и чувствую, что мне чего-то не хватает. Больше было радости месяц назад. Стрекозы вздрагивают и сверкают крылышками, чуть шевельнется зернистый укроп. Уже август. Под айвою лежит молодой пес Барон. Два щенка, Туман и Жулька, возят мордочками в чашке. Пospела алыча, взобрались на смородину улитки. А-ах, Настеньки нету в ограде! Только что, три недели назад, она здесь была, а сейчас едет в сухумском вагоне в Сочи. Тоскливо.

Казаков много раз говорил мне, что тоскует по Алеше.

Дом № 43. Под горку идем к крыльцу, разгребая руками траву на аллее. Никого нет?

...И в солнечном свете вижу боком стоящего высокого белого мальчика. Кажется, что смотрю я на картину Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Так похож мальчик по осанке и скорбно опущенной голове. Но это, конечно, не отрок Варфоломей (будущий Сергей Радонежский), а вчерашний десятиклассник Алеша Казаков, герой отцовских рассказов «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал»... Нет, я не подгоняю детали ради какого-то литературного замысла. Так было.

«Был ли у тебя отец? Ты мать любишь, это почти во всех твоих вещах присутствует, а отца как-то нет... Но почти всегда сын ближе отцу, даже в старых барских писаниях, когда отцы мало бывали с детьми, передавая их разным дядькам и гувернерам, все равно эти барчонки, вырастая, с особой мужской любовью вспоминали потом отцов своих. Вспомни хотя бы Бунина или «Дар» Набокова... (19 авг. 1969, Абрамцево)».

«История Кубанского казачьего войска» не издавалась 75 лет, об ее авторе не писали коллеги столько же Ф. А. Щербина — не просто член-корреспондент Петербургской академии наук, профессор, а историк, летописец Кубани.

Родиться на Кубани, жить там до семидесяти лет, прославить в своих трудах казачью историю, а на девятом десятке, уже принимая посланный день как милость небес, горестно смиряться, что вот-вот понесут его с закрытыми глазами не по улице с белыми хатками, к последнему приюту отца, матери и всех родственников, а по равнодушной златой Праге — зачем такая жестокость судьбы?

В 1911 году на обеде в Екатеринодаре в честь сорокалетия ученой деятельности земляки заверяли Ф. А. Щербину, что имя его не померкнет в родном казачьем краю, преподносили ему памятные бювары, подарки, низко кланялись автору «Истории Кубанского казачьего войска», но уже к пятидесятилетнему юбилею той же деятельности, в 1921 году, имя его было забыто.

В буржуазной Праге отметил он свои 75 лет. Не дома, а в Украинском университете столицы Чехословакии состоял он ординарным профессором; деканом юридического факультета по выбору; ректором; позднее — профессором Украинской Академии в Подебрадах. Был председателем Общества изучения казачества. Как и писатель Бунин в Париже, местной жизнью не увлекался, говорил на родном языке, любоваться европейскими странами не ездил — все думы и все время посвящал материнской земле: писал статьи, написал поэму «Черноморцы», читал лекции по статистике — печататься не было средств. Никакой надежды тогда на возвращение домой не было. И на эмигрантском острове приветствовали его в юбилейные дни такие же беженцы, как он, — казаки, унаследовавшие от своих предков — запорожцев долю вечных переселенцев. Студентка Галя Манжула читала на вечере стихотворение Г. Макухи, посвященное «диду».

— Сердечно благодарю, — ответил историк, — всех вспомнивших меня — казаков и неказаков. Желаю всем также здравствовать до возвращения на нашу Кубань. Буду работать... Есть еще порох в пороховницах, не притомилась сила казачья, не иступилось перо... Поддерживайте и вы славу своих отцов и дедов...

Отовсюду пришли к нему письма. Но был бы он счастливее, если бы положили ему на стол письмецо из родной станицы Новодеревянской, по которую он теперь писал в тиши...

для самого себя. Он покинул ее впервые в 1857 году, восьмилетним, и с высоты прошедших в России событий ему казалось, что первое прощание было прощанием пророческим, роковым, прощанием навсегда...

Так сладко было на 82-м году жизни снова подходить к станции Новодеревянковской — пускай и в призрачном сне. То шел он от Круглого лимана, где был хутор полковника Кокунько, то ехал на волах с противоположной стороны, по екатеринодарской дороге, от Соленых озер и Карабетовой балки с хутором бывшего наказного атамана Безкровного. Казаки возвращались с кошей в станицу. У дверцы всколыхнулась смуглая сестра Домочка: «Та то ж наш Федя!» И, как в младенчестве, совершал он «черепашью прогулку» к кургану, с которого впервые увидел широкую нескончаемую степь — с речками, лиманами, царинной.

Но что это? Так скоро кончились забавы, уже пора расставаться с Новодеревянковской. Он макал перо в зеркальную чернильницу и под стук экипажей на пражской улице писал об этой детской разлуке с домом.

«В последний раз поднялся я с постели, чтобы взглянуть на все дорогое в нашем дворе... Ранним утром я побывал в саду, в загонах, гладил собак, провожал глазами коров, следил за тем, как взяты были на налыгач волы и привязаны к яслям. Гнедого, на котором я поеду в Екатеринодар, хорошо покормили...

Ехали с нами из двора мать и сестра Марфа и проч. Соседи пришли взглянуть, когда мы выезжали. Никаких прощальных церемоний не было. Оставшиеся махали нам платками и шапками.

Я не плакал потому, что сидел рядом с матерью и никого не было около нас плакавшего».

Так покидал пределы своего детского горизонта и чеховский Егорушка.

1857 год — старина, сколько воды утекло на земле! Так неторопливо тянулось тогда все вокруг — и даже сама жизнь.

Удивительна и простота, среди которой рос Ф. А. Щербина. «Мать была хорошей пианисткой, и мы, дети, слушали ее в темноте...»; «...в библиотеке отца были книги по классической филологии, античной истории и философии...»; «...я говорил и читал по-французски и немецки почти так же хорошо, как и на родном языке... уроки отца дали мне значительно больше знаний в латыни и греческом, чем большинству мальчиков моего поколения...» — ничего похожего на то, что говорили о себе знаменитые историки и археологи, не мог промолвить историк кубанский, сын глухой степной стороны, где все умные книги, прежде всего «Четы-минеи» и сочинения Дм. Ростовского, были лишь у дьячка Харитона Захаровича. Мы с вами в образовании счастливее и Щербины, и всех предков наших, но порою в меньшей степени, чем предки, отдаем долги заботливому обществу. Трудолюбие Ф. А. Щербины, шествие через тернии казачьей

неграмотности к просвещению, к обязанности взвалить на себя раскопки былой истории восхищают.

Отец его, наверное, кое-чему научил бы, но рано умер. Мать много рассказывала о нем. Он был сирота. На сходе казаки решили отдать Андрея Щербину, потомка «разумных и письменных запорожцев», в Екатеринолебяжий мужской монастырь — выучиваться на дьячка. Оттого что отец умер, перестаравшись в познании богословских книг, маленький Федя долго не накидывался на учебу. Без отца существовали внатяжку. Брат Тимоша не являлся из Ставрополя по два года — нечем матери было оплатить фургон. Сестра Домочка рано привыкла к работе. Мать была счастлива, когда Андрюшу, без сияния в глазах стоявшего у золотых риз и дымящихся кадил, приняли в Екатеринодарское духовное училище на казенный счет. На казенный! — в этом все облегчение. И еще раз наступило расставание с новодеревянковской былью, с матерью, бессонным воплощением очага и колыбели, с той, которая была ему и кормилицей, и защитой, и душой всего сущего. «В момент расставания с матерью с особой болью в сердце поразила меня не вся процедура наших проводов и прощания, а один лишь момент: мать сидела на повозке одна! Эта мысль все время ворошилась у меня в голове, пока мы не пришли на квартиру в город. Мне хотелось плакать от тоски, но я крепился. Придя на квартиру, я украдкой сходил в конюшню, где стоял Гнедой, и после долгой натуги разрыдался...»

Прожившему век на одном пороге с родителями, не познавшему в чужом краю одиночества никогда этого не понять. Никогда дети, утомившие свое родство непослушанием, ссорами, привычкой, не вздохнут так безутешно: «Не сочтите это за игру фразой, если я скажу по сущей правде, что и теперь, на 82-м году своей жизни, я дорого бы дал за то, чтобы мать взяла меня за уши и крепко поцеловала... материнским поцелуем...»

Не библиотеки порождают желание писать историю своего народа. Никакого отзвука не дадут мертвые листы, ничто не воспламенится, ни одной загадки не разгадать, если не дано почувствовать душу народную. Происхождение, личная биография помогли Ф. А. Щербине. Сначала «черепашья прогулка» к кургану, любимые местечки — Береговая улица, царина, поездки, певучие малороссийские слова — зозуля (кукушка), кушанка (стадо овец), мнишки (сырники), казачьи лица — родственники, атаман В. К. Набока, пластун Костюк, типы черноморские; потом — столица Екатеринодар, речка Карасун, старый собор в окружении громадных дубов, главная улица Красная с лягушками в болотцах, дворец наказного атамана («...для детей Екатеринодар был легендарным местом...»), войсковой хор певчих, парад на Крепостной площади, и опять предания, опять запорожско-черноморские типы — слепой пластун Печеный в постолах из кабаньей кожи, бывавший когда-то с генералом Завадовским в закубанских походах, речистый

В. С. Вареник, смотритель училища Золотаренко, ночевавший под дубом с вросшей в его кору иконой, хозяин квартиры Гипецкий, тетушка Лукерья Камышанка; потом скитания по степи с земледельческой ассоциацией, новые знакомства — с потомками удалого Корнея Бурноса, есаулом Миргородским («...с одного маху рубал надвое...»); потом — Москва, Петровская академия, «пропаганда в народе», выдворение в Одессу, арест, революционные друзья — Софья Перовская, Андрей Желябов, снова арест, Тамань, и снова станица Новодеревянковская, хата, колодезь с гнездами ласточек в четырех углах сруба, кресты на кладбище на могилах уважаемых стариков — Кобицкого, Набоки. Круг замыкался.

В 1901 году предложили написать историю Кубанского войска знаменитому профессору Д. И. Эварницкому. Он в силу занятости своей отказался. Тогда выбор пал на Ф. А. Щербину.

100 тысяч дел валялось в связках в архиве; на 10 миллионах листов путалась в донесениях, приказах, формулярных списках, дознаниях, жалобах, письмах, отчетах неразобранная и не сведенная в единый фокус история. Как выловить оттуда самые золотые песчинки, да еще одному?

Дали в помощники шестерых. За четыре года Щербина написал первый том — 700 страниц! Через три года было готово еще 845 страниц второго тома. Советами помогал Е. Д. Фелицын. С ним Ф. А. Щербина объездил точки бывших кордонов, укреплений, аулы и станицы, проходил по тропам Адагумского отряда, плавал по ерикам и гирлам — местам передвижения лодок с ранеными в русско-турецкую войну 1855—1857 годов, читал донесения полковника П. Д. Бабыча из Темрюка о высадке англичан на Тамани, регистрацию обмена военнопленными на постах Великолагерном, Копыльском, Смоляном, Андреевском, обо всем, что забылось и забудется еще крепче, а именно: как не было дороги из Черномории в Анапу и Тамань; где находился Хомутовский пост; что творилось на речках Псебепс, Шуко, Чукупс и Шокон; кто были эти храбрецы — Шарап, Семеняка, Волкодав, Борзиков, Леурда, в одиночестве правившие на кордонах, косившие с отрядом сено и спавшие с ружьем; перед кем хлопотали о наградах за отличия в бою; какую переписку вели о черкесах и почему отправляли их в Новочеркасск; как по речке Джиге, Вороному ерику, Бугазу и болотам искали выгодный кордонный пункт Филипсон и в его свите Лев Сергеевич Пушкин, брат великого поэта. Жизни долговечной не хватило бы, если зарыться в каждый листик и изучать. С какой последовательностью вели бумаги даже первые черноморцы, по каким, казалось бы, пустякам сообщали сведения начальству, с какою странною хлопотливостью отвечали перед командующим за судьбу даже плененного врага! Было что почерпнуть Щербине для раздумий. А как было не покопаться в каракулях высадив-

шихся в Тамани запорожцев, не пожелать вырвать острым зрением в карандашной записке на твердой синей бумаге свою родовую фамилию?

«Все Щербины были добрыми запорожцами в Переясловском курене...»

В какой-то книге, уцелевшей от старой Сечи, есть собственноручная подпись прадеда по отцу — в ряду подписей вольных казаков, не поплывших от обиды в Турцию в 1775 году, а приносивших свою верность России. Дед прибыл на Тамань вместе с Головатым и Чепигой.

Вот где выкопался первый родничок кубанского историка Ф. А. Щербины. Родственные чувства к земле своей и предкам вызывали порыв к тяжким трудам летописца.

Старощербиновской его прабабушке Шишчихе, к которой он ездил мальчиком в гости, было 118 лет; до уничтожения Сечи на Днепре она прожила дивчиною среди запорожцев целых двадцать лет, и как же ей было не поклоняться славе и горю рыцарей с оселедцами, не внушать внукеку Феде любовь и к матери-Украине и к неньке-Кубани?! Еще сживал за плетнем казак Кобицкий, в пятнадцатилетнем возрасте заставший исход отцов в Черноморью. Великие воспоминания длинноусых стариков сопровождали детство Феде; ему даже казалось, что и он ехал на Кубань в 1782 году на бурых конях. Мальчик воспитывался переживаниями, настроениями и духом всей станицы. Набег на Васюринский курень, случившийся до его рождения, все равно, через разговоры старших, волновал его. Усыновление черкесского малыша, подобранного в разоренном ауле казаком Георгие-Афипского укрепления, шевелило интерес к чужой народности, а в юные годы, когда дружил с этим сиротой, названным Степаном,— и жалость. В 1855 году английская эскадра лупила по приморскому Ейску из пушек. Гул доносился до Новодеревянковской; вся станица скучилась на площади в единую громаду и поразила Федею воинственностью чувств, и он, это слияние народного схода запомнив, с семилетнего возраста при каждом удобном случае спешил к дощатому заборчику, откуда ему было лучше слышно то важное, над чем мудрили выборные головы, члены станичного сбора. До самой старости помнил он их слова, жесты, выражения на их лицах, как помнил сына бабушки Шишчихи, всегда лежавшего в одной и той же позе на траве в саду или на рядне в хате и курившего «люльку с долгим чубуком». Еще упряталась в душу чисто малороссийская ласковость женщин, их причитания: «Мои ж вы диточки, мои любые...» — и эта ласковость перевоплотилась потом в его чувство к степи и всему кубанскому. Народная казачья струнка звенела в нем стихийно и была камертоном справедливости. Всякий раз касаясь пером кого-нибудь из незабываемых, порою знаменитых, Щербина подчеркивал в нем черту «представителя демократической казачьей старины», очень любезной ему.

Поклонение казачьим традициям и порядкам, вечной казачьей самостийности не отнимало у Щербины правдивого взгляда на все далекое и близкое. Замашки панства были слишком заметны на каждом шагу.

«Со всех сторон,— пишет Щербина,— пан был огражден от нарушений его благородного положения. Офицера защищали его эполеты и погоны, поругание которых каралось каторгой и смертной казнью, а в повседневных случаях офицерская шапка с верхом, украшенным широкими позументами и особенно кокардой на фуражке. Черноморцы, в которых были еще свежи традиционные воззрения на выборного старшину, крайне недружелюбно и враждебно относились к вновь испеченным панам офицерам, к выскочкам и к особам с детскими замашками на панское достоинство».

В роду Щербины гордились другими заслугами. Вся станица помнила его добрейшего отца. «Он шел на зов каждого, отправлялся на требы среди глубокой ночи, в дождь, в грязь и холод к умирающему, ходил пешком, когда не на чем было ехать, отказывался от всякого вознаграждения, если замечал в семье нужду». По словам матери, он раздавал больше, нежели ему давали. Возможно, чувство равенства, жажда его и привели позднее Щербину к Софье Перовской и Андрею Желябову.

В «Истории Кубанского казачьего войска» Ф. А. Щербина не щадит привилегированной прыти даже в Захарии Чепиге, кошем атамане, наиболее близком к рядовому казаку. Уже в последние годы Запорожья повелось окончательное расслоение. Все оттуда принесли — и хорошее, и плохое. Все. И насмешливость над собой, и умелое ехидство. Щербина даже в своей сухой «Истории» любит типами черноморскими и позволяет себе вставлять живые картинки характеров, знакомых нам больше по «Тарасу Бульбе» Н. В. Гоголя. Щербина цитирует записку З. Чепиги к генералу, предлагавшему ему, седому холостяку, свою дочь в невесты: «Дочку вы мне рекомендуете в невесты. Благодарствую вам. Пусть буде здорова и многолетня. Жаль, шо из Польши приишов та и доси не оженився, все тыш нема счастья; особливо в Польше хотелось полячку забрать, так никого не було в старосты взяты. Не знаю, як дале уж буде, я и тут пидципляюсь сватать княгинь черкесских».

Обо всем этом приходится рассказывать кубанцам... в первый раз. Почему? Потому что «История Кубанского казачьего войска» не издавалась 75 лет, а об ее авторе не писали коллеги почти столько же. Многие кубанцы росли и учились в полном неведении, кто тут жил до них. Странно и горько заявлять, но это так: Ф. А. Щербина — последний солидный историк Кубани. Не просто член-корреспондент Петербургской академии наук, профессор, а историк, летописец, пусть и не златотканого шитья, как россияне. После него в учебных заведениях Кубани числи-

лись профессора, кандидаты исторических наук, но историка не существовало ни одного. И так на сегодняшний день!

Очевидно, плодovitость в историческом деле — следствие кровной любви к своей земле, любви такой невыразимо высокой, поэтической и реальной, какой славилась все настоящие историки. Не кинемся преувеличивать заслуг Ф. А. Щербины, но то, что он по чувству и по стилю жизни своей — истый кубанец, этого у него не отнимешь. А кто не заметил в нем этого, тот ничего не заметил. Ну разве что одни минусы. Казачья гордыня многих вытолкнула на чужбину — это тоже правда. Умер за рубежом и Ф. А. Щербина. Но это не значит, что имя его может быть волею и властью наших не пишущих, а лишь читающих лекции доцентов и профессоров затушевано навсегда. Превзойти Щербину можно только блестящими трудами! Упомянуть его имя с желчью и самим ничего не мочь — достойно ли это науки? Очумелое, до злости вульгарное толкование личности, ее побед и поражений в нынешнее, отдаленное от горячих пристрастий время неуместно. Такая позиция пенится отсутствием гуманизма, подлинной образованности и гибкого подхода к наследию.

Во введении к «Истории Кубанского казачьего войска» Ф. А. Щербина писал: «...время не ждет, и история родины говорит своим детям: пощадите памятники, сберегите мои сокровища!»

Пощадить уже надо и самого Ф. А. Щербину — его имя и труды принадлежат Кубани.

* * *

И вот мы дождалась: историки нарушили заговор молчания и решились в эпоху перестройки обнародовать свое мнение о Ф. А. Щербине. Тонкие нынче ученые! Прежде чем донести народу свою самостоятельную истину, они с трепетом несут ее в инстанции на сверку — достаточно ли, мол, уважаемые товарищи, она верна? Там скоренько эту, годами вывариваемую в ученом чугушке, истину, поправят, уточнят, кое-где подрежут, прилатают кусочки чистенького ситца, и тогда можно возвращаться с триумфом на кафедру, в редакцию газеты и куда угодно! Еще лучше ворваться в инстанцию с гневом правды: покушаются на наши основы! тащат в наши светлые ряды сомнительные имена! зачем нам патриархальщик Щербина?!

Есть такое народное присловье, похожее на вздох: «...если бы он встал да посмотрел...»

Так вот, если бы поднялся Ф. А. Щербина оттуда, из тартаровых глубин, то что бы он на своей «ридной Кубани» увидел, услышал и прочитал?

Он бы с недоумением узнал, что прощается смерть в Париже И. А. Бунину, Ф. И. Шаляпину, Б. К. Зайцеву, Е. И. Замятину и другим эмигрантам, бежавшим, по словам А. И. Куприна, «от дождя огненного, жизнь свою спасая», а ему, казаку Щербине, смерть в Праге самые доверенные кубанские историки

не простят никогда! «Преступления таких, как Щербина,— свинцово припечатает приговор упрямый профессор,— срока давности не имеют». Каково?!

А если преступлений нет? Что ж, мы их сосчитаем по зернышку. На то мы и ученые с большими окладами. Это неправду про нас распускают, будто мы больше думаем о своих семьях, чем о народе. Мы защищаем народ от скверны.

Историки защищают и запрещают, а народ молчит и думает свое. Мы в какое-то время почти узаконили право не считаться с тем, чем живет народная душа, что она смиренно терпит и к чему заветному приклоняется, несмотря на запреты. Мы полагали (а наиболее проворные «слуги народа» навязывали нарочно), что люди без помощи академических наущений и прямых одергиваний не способны разобраться ни в том, чем жили их отцы, ни в том, чем жили они сами. И перестали ученые что-то открывать, иметь на все истинно диалектическое, живое мнение. Они сотворили игру вперегонки: поскорее захватить неуютный тематический участок, набить кандидатские и докторские страницы соломой цитат и потом долгий беспечный срок убаюкивать себя шорохом пересохших лавров и любыми манерами обороняться от свежих идей. Пусть народ читает лишь нас и не смеет просить утоления какой-то там жажды своей души, так?

Но народ просит.

«Имя Федора Андреевича,— пишут из станицы Новодеревянской,— сейчас в станице знают очень и очень немногие. Но будем это положение исправлять. В 1986 году в дни работы XXVII съезда партии мы открыли в средней школе музей истории народного образования. Там есть единственная в станице экспозиция, посвященная Щербине. Помещены его фотографии, фотокопии обложек его трудов, которыми пользовался В. И. Ленин при написании своих работ, выписки из воспоминаний Щербины. Кто знаком с жизнью и трудами Щербины и понимает, что его не вычеркнуть из мира историков Кубани, изумлен той старательностью, с которой некоторые «кафедральные» ученые готовы зарыть его еще раз и навсегда. Ну разве он «стоял горой за угнетателей», «орудовал отравленным пером»? И как это удосужились «фашистские захватчики... прямо использовать... аргументы Ф. Щербины...», если он умер в 1936 году в возрасте 87 лет? Смешно и трагично. Кто читал его «Историю», совсем не чувствует, что она «прямой, щедро оплаченный политический заказ руководителей царского казачества». Партия сказала недавно: нельзя переписывать историю, нельзя пришивать старым деятелям того, чего не было. Нельзя, как сделали это недавно у нас на Кубани, праздновать 50-летие Кубанского казачьего хора,— ведь весь грамотный край помнит, что хор существовал еще до революции и ему уже 176 лет! Или ему сбавили годы потому, что, как мне передали, есть особое «социально-классовое представление»: старый хор был «идеоло-

гическим учреждением казачества и его официальным атрибутом», а новый является «социалистической общностью населения» — прежде всего «славного колхозного крестьянства, рабочих совхозов, станичной народной интеллигенции...»?! Особенно, хочется съязвить мне, особенно хорошо представляют «колхозное крестьянство» артисты, призванные в ряды хора со всех концов страны, знающие только ноты. Как же мы с нашим классовым подходом будем вскоре отмечать 200-летие города Краснодара? Краснодар-то звался «идеологически вредным» именем — Екатеринодаром! И сколько же тогда лет Ленинграду — в прошлом столице самодержавной России? И сколько лет Большому, Малому театрам? Грустно. Приезжайте в Новодеревянковскую, вам 93-летний М. М. Слесарь расскажет, в какой хатке жила семья Ф. А. Щербины...»

«Возле речки Албаши,— пишет мне уже сам М. М. Слесарь, «бывший казак бывшего казачьего войска»,— стояла саманная небольшая хатюшка невзрачного виду, крытая камышом, фасадом на юг, а одно окошко было на север. Эта хатюшка принадлежала родителям Ф. А. Щербины. Сейчас здесь пустырь. Через дорогу была деревянная церковь во имя Рождества Пресвятыя Богородицы с отдельною колокольней, построенная в 1835 году. В ограде были похоронены отец, мать Щербины и брат Тимоша. Сейчас здесь водокачка, остатки прошлого сада и бурьян. Я, будучи военным на курсах в Екатеринодаре, встречался с Ф. А. Щербиной, немного беседовал с ним как с земляком. Щербина был уже пожилым и одет просто, вел себя просто, как обычный человек. Очень давно читал его «Историю», и, если бы ее переиздали, я купил бы своим внукам на память — так важно молодым, которые не знают прошлого своей земли; а это жутко — не знать; надо сделать так, чтобы нас тоже услышали и вернули имя Ф. А. Щербины и его книги жителям Кубани...»

28 августа с. г. высказались в «Комсомольце Кубани» в защиту Ф. А. Щербины сами жители.

Но впереди еще долгая и, может быть, неравная борьба.

А почему она должна быть долгой? Почему голос народный может для кого-то звучать глуше голоса какого-то неизвестного ученого?

«МОЕ УПОВАНИЕ В КРАСОТЕ РУСИ»

О Борисе Шергине

Шергин родился в Архангельске в семье именитого корабельного мастера. Отец писателя, Виктор Васильевич, «берегам бывалец, морям проходец», умел и красное слово сказать, «виденное и пережитое, слышанное и читанное... пересказать так, что оно навсегда осталось в памяти...». Родным человеком почиталась в семье Наталья Петровна Бугаева, сказительница и песенница. Как писал о ней Шергин, «она... свято верила в домовых, хозяина и хозяйюшку, в банного, в водяного. Рассказывали таинственные были о древних людях. Пела стихи, пела песни». Нарядный и доброчестный дом Шергиных любили именитые мореходы и художные мастера. «Соберутся вместе, пригубят «чашу моря соловецкого», и тогда пойдут речи златоструйные, златословесные. О, какой пир был бы для художника, для поэта глядеть на этих людей и слышать их речи».

В родной семье наслушался Шергин и воспринял изустное поэтическое богатство и, еще будучи отроком, гимназистом, записывал старины и легенды печатными буквами в самосшитые тетради, украшал самолично рисунками. Радость от народного слова была столь сильна, столь непреходящим и целительным было это чувство, воспринятое детской впечатлительной душою, что оно-то, не тускнея, и согревало Шергина в долгой жизни и давало укрепу. «Для меня не велико то сокровище, которое моль ест, шашел точит, червь грызет. Но подлинно «золотым» назову я свое детство и юность, потому что обогатился на всю жизнь сокровищем, которое моль не ест, которое не линяет, не ветшает».

Память человечья оскудевает, теряет верные приметы, но радость, узнанная однажды обнаженным сердцем, не покидает человека до могилы.

Еще в молодые годы Шергин собрал по берегам Белого моря более ста сказок о Шише Московском, беглом холопе, и, литературно обработав их, вернул народу воистину дорогой дар.

Но пришла пора юноше ехать из дому в Москву учиться художеству. И сказала мать, провожая: улетаешь-де, сынок, на крыльях лебединых и край родной навсегда покидаешь. Сказала, словно в волшебное зеркальце подглядела — такое свойство имеет любящая материнская душа. На что сын воз-

мущенно, с обидою отнекивался — дескать, на время лишь покидаю дом, и нет на всей земле другого такого места, как Придвинье.

Я побывал у Шергина за четыре года до его смерти на Рождественском бульваре в убогой коммунальной комнатенке, где обитал он под присмотром уже тяжело больного племянника. Улыбаясь в бороду, неведомо чему радуясь, весь освещенный изнутри, приговаривал писатель: «Помню, как раньше к Архангельску подъезжаю, обязательно запою: «Скоро-скоро, нет, настанет тот денечек ангельский? Скоро-скоро, нет, появится городок Архангельский». Бывало, поезд из Москвы до Архангельска шел тридцать шесть часов. И вот сначала грубоватое владимирское оканье слушаешь, потом ярославское — оно помягче, потом круглое вологодское и, наконец, степенное архангельское. И говоры эти — как музыкальный инструмент. Каждый на свой лад».

Осталось Шергину вспоминать отчий край, ибо прилепился он сердцем к древлемосковской и Владимиро-Суздальской земле. Радонеж, Сергиев Посад, Хотьково — эти края стали его пристанищем.

Пока беседу вели, пили чай, я нарисовал Шергина, его напряженное, слепое, скоро меняющееся лицо. Вырвал листок из блокнота, отдал писателю на память. Тонкими художными перстами он ощупал бумагу, пробежался по слабому, едва намеченному изображению. «Хорошо нарисовал, чувствую, что похоже,— польстил он мне и засмеялся.— Ну и слава богу, опять с земляком свиделся. Не поверишь, но я Архангельск представляю, как золотую заставку моей жизни. Только вот никого из родных там не осталось. Но знаешь, есть поверье, что когда человек умирает, то душа его первые девять дней летает куда хочет. Вот тогда я уж обязательно слетаю в Архангельск. Ну да и ты кланяйся ему от меня, кланяйся».

Откуда было ведать старцу, что и я через шесть лет вылечу из северного гнездовья, может быть, навсегда, даже в мыслях не помышляя о том: помню, сколько было сказано мною тогда искренних клятвенных заверений, что нигде, кроме благословенного Севера, мне не жить...

Может, после моего ухода он записал: «Молодость все топит в вожделении. Молодость уверена, что любовь — страсть — главное в жизни... А пройдет этот хмель, протрезвится разум, тогда должно человеку стать целым... Следует отрясти с вежд липкий медвяный этот сон, и прохватиться, и осмотреться. Открой «вещия свои зеницы». В долине твоей уже вечер. Посмотри, как сияют горные вершины. Они отражают беззакатные зори, они никогда не меркнут. Восходи к ним: увидишь, какие дали будут тебе открываться. Доспей себя в «мужа совершенна».

Уже шаткою рукою, вразброс исповедовался Шергин, прощально доверяя бумаге самое сокровенное. На всяком клочке оберточном, на каждом случайном обрывке, что попадал под

руку. Мысли доверялись тленному, будто бы и невзрачному общежитию слов, и все эти бумаги, как рухлядь некая, складывались в сундук и замирали в глубине, дожидаясь своего часа. Многие из записей еще не пришли к нам, не вернулись, но явятся когда-нибудь светясь...

Какие же слова найти мне самые верные и точные, чтобы вызволить портрет писателя из немоты воображения и одухотворить его? Как бессильно порою бывает слово... В убогой каморке, невдала от окна, завешенного солдатским одеялом, на узкой железной койке сидит старец: у него громадный изжелтабледный лоб, коего уже редко касается дневной свет, тонкий благородный нос и поясная серебряная борода, как бы всколыхнутая тем восторгом, что исходит от немощного человека. У Шергина согбенная высохшая фигурка, окутанная длинной рубахой, но от широко распахнувшихся, слегка подголубленных слепых глаз, коих глубину не покидает живая мысль, от всего одухотворенного лица исходит та постоянная радость, которая мгновенно умиряет вас и укрепляет, и ваше посещение, ваш приход уже не тягостен ни вам, ни хозяину. От природы Шергин был не шибко красовит, но та долгая духовная работа, коей без остатка отдался писатель, то совершенствование, порой изнурительное, похожее на лютейшую немилость и каторгу, наложили на облик писателя свой отпечаток, по-иному вылепили его. Сотворили иное лицо. Оно стало прекрасно.

В юности отрезало трамваем ногу; потом любимая девушка покинула, и Шергин дал обет иночества; потом пятнадцать лет слепоты и пожизненное одиночество. Но Шергин полон дум о России, о грядущей жизни, о духовном устройении человека. По мысли писателя, чтобы будущее общежитие было цело, честно и прочно, надобно заняться самоустройением души. Здесь Шергин предельно откровенен, его заметки похожи на плач Даниила Заточника: «Я, заблуждающийся, претыкающий, недоумевающий, незнающий, несведущий, слепотствующий, из кривого и безумного своего опыта делаю самовольные выводы. Я, например, никак не жду над собою чудес физических исцелений. Я не верю, что у меня может появиться ампутированная нога. Медленно, но неуклонно гаснет зрение... Материя должна умирать... С точки зрения «мира сего», я из тех людей, каких называют «несчастливыми». Без ног, без глаз. Еле брожу, еле сижу. Профессор Маргулис как-то похлопал меня по плечу и, всегда холодный, равнодушный, участливо взглянул:

— Не много ли для одного человека?

Но я думаю: как много кругом несчастья, как много бедствующих, болящих, как много на свете несчастных, особливо в последние смертоносные годы...

...Так мало счастливых, в такову печаль упал и лежит род человеческий, особливо сынове российские, что в полку сих страдающих спокойнее быть для совести своей...»

Эта запись сделана в военное лихолетье, когда писателю не было и пятидесяти.

Поэзия выбирает себе верных духовных певцов. Сладко ли было такую жизнь перейти и не ошибиться, не споткнуться, не зажалобиться? Казалось бы, выгореть должна душа, испеплиться, покрыться мраком, излиться желчью, все вытравливая на своем пути, на доверчивых сердцах выжигая язвы. А тут выработал человек свой нравственный урок и упорно следовал ему до края: «Лукавый ведь может подсунуть тебе сознание: «Вот-де мне что приходится выносить! Вот-де что я терплю!..» Вот эта собственная бешенина и застит нам глаза, не дает понять, что не мы терпим, не я терплю, а от меня, и только от меня терпят...»

Осиянный человек слепыми глазами всматривается в огромную обитель души, и свет, истекая, невольно заражал радостью и меня. Я, молодой свежий человек, вдруг нашел укрепу у немощного слепого старца.

Над солдатской кроватью фотография, где Шергин с Марьей Кривополеновой. Марьюшка за два года до смерти, словно бы мать с запоздалым сыном-заскребышем. Да так оно и случилось. Оказался Шергин последним в цепи русских сказителей, кто еще мог донести старину в ее полноте. Вот проговариваются: дескать, в темени лютой пропадал народишко, в пьянстве, самоедстве. Но духовно нищему народу какая была бы нужда хранить свои предания и продлять на миру череду певцов: тут дай бог как бы озаботиться о своей утробушке. Да нет, вот в самом-то краю России, в Поморье, в ее засторонке, ровным светом горела свеча тысячелетней поэзии, эта неугасимая лампада, куда не забывали подливать масло. Но в семьдесят третьем году умер последний певец Борис Шергин, и долгий род сказителей кончился, наверное, навсегда. И разом отодвинулась отечественная история и заглянцевила.

Редкий был человек Борис Викторович Шергин, за всю жизнь написавший всего лишь одну книгу — «Океан-море русское». Но к этой книге все охотнее приникает всякая доброрадная, совестливая, жаждущая самоустроения душа. Из этого родникового срубца изопьют еще многие, и он не обмелеет.

Шергин вернулся к природе, как младший растерянный сын, случайно отлучившийся, попросил себе прощения и уже не удалялся от нее в самые тяжкие минуты, не требуя за верность награды. Груз бытия, который почти отряхнул с плеч писатель, уже не пригнетал, и Шергин из своей каморы на Рождественском бульваре мог наблюдать за землею почти с горных вышин. Шергину хватало одной черной ветви на перламутровом фоне неба, чтобы бесконечно наблюдать за нею, как за живым искренним существом, и наполняться любовью ко всему сущему. Лишь воспитай душу, изгони из нее лукавство и гордыню, наполни сердце любовью к каждой малой твари, и тогда природа откроется тебе, как волшебная книга. Только надобно проникнуться

всей сутью, что природа — «радость и богатство всем дарованное и одному тебе принадлежащее».

Шергин помнил памятью любви: это редкостный дар. Он не замолкнул в одиночестве, не затворился в гордыне от горюющего и ликующего люда, но с помощью ясного, доверчивого слова как бы позвал всех в свою обитель. Другое дело, что не все туда поспешили, и многие с беспокойным сердцем прошли мимо, не замедлив.

Нелюдимость, замкнутость — лишь форма проживания, бытования. Иной человек вроде бы толчется среди людей, оставаясь незрячим и одиноким, другой же обитает в своей каморке, завешенной грубым солдатским одеялом, но, тяготясь ею, не делает, однако, никаких усилий к освобождению, ибо обладает даром воображения, выволакивает из памяти когда-то прошедших мимо людей, которые милы его сердцу, и заселяет ими страницы своей книги. Живет вроде бы в сиротстве, но сам постоянно среди людей.

«Сердечное зрение» Шергина помогает и нам прозреть, поиному глянуть на заветную красоту Руси: ведь как хочется стряхнуть пелену с вежд, по капле вытравить из себя раба!

Дневники, оставшиеся от писателя во множестве, — это удивительная, искренняя исповедь, наука самостроения души. Такая искренность перед белым листом, судьба которого и движение во времени непредсказуемы, принадлежит лишь людям высокого полета, отмеченным особой тропой. Слова наискось спешат прочь с листа, в них трепет неверной, заблудившейся руки, но ясный путь духа.

«У меня часто теперь такие ощущения, что круг жизни завершается, начало моей жизни с концом сходится. И вот-вот спаяются края одного таинственного. Старость с детством радостным таинственно сольются. И оттого, что начало жизни и конец ее уже близки к слиянию, оттого, что магнитная сила неизбежная стягивает конец и начало в бесконечное золотое кольцо, так как уже проскакивает искра от концов кольца, — оттого и я чувствую сладко и радостно, как в детстве, таинственную жизнь, силу, пребывание праздника на земле... Только достойно надо конец-то жизни-кольца, из того же из чистого золота, каким было младенчество, ковать. А то и не соединятся концы-ти для вечности-бесконечности».

Проза, отмеченная печатью, тавром создателя, т. е. имеющая яркие, индивидуальные черты, поначалу обязательно сопротивляется читателю, выставляя интонационные, синтаксические, иные изобразительные преграды и ограничения. С трудом прорываешься в салон Анны Павловны Шерер, не зная французского, и, не замечаемый хозяйкой, долго мнешься у порога, стараясь догадаться, что связывает собравшихся здесь людей. Не сразуходишь в чеховскую «Степь», не сразу проникаешься горем Егорушки при расставании с матерью, все никак не можешь примериться к этому летнему дню, к таким вроде бы далеким от тебя заботам, прежде чем охватит тебя пламень поэзии. Не сразу заболит у тебя сердце при встрече с «Очарованным странником», не сразу ты поймешь и примешь его горькую исповедь, его неторопливую доверительность.

В «Русский лес» тожеходишь с некоторым раздражительным замешательством — никак не можешь настроить душу на восторженно-простодушную волну Поля, впервые приехавшей в Москву, на ее романтическую лучезарность, хоть и смягченную авторской улыбкой, но все же представляющейся поначалу чрезмерной. Поля встречается с Варей — и новый всплеск откровений, безудержной искренности, отдающей, на твой встопорщенный взгляд, какою-то заданной декларативностью.

Но вот Поля приходит в забытый отцовский дом, встречается с теткой Таисой, наблюдательной и памятливей на мелочи старой девой, милосердной горбуней, и появляется на страницах тайна чужой жизни, тени ее драм, комедий, отблески личных неустоек и любовных несчастий. Помните, когда Поля начинает приглядываться к фотографии на столе, к фотографиям на стенах и совершенно забывается за этим занятием — как неожиданно, как почему-то страшно возникает у порога Таиска. Мы вздрагиваем вместе с Полей от ее узнавания, в нас проникает предчувствие горестных судеб, свидетельницей и участницей которых была Таиска. Под тайной чужой жизни подразумеваю не романную интригу, не беллетристическую тайну (подброшенный ребенок с графским вензелем на пеленках, вдруг выплывший на свет политический оборотень из времен гражданской войны, неожиданно найденная карта с указанием, где спрятаны драгоценности из коллекции Эрмитажа), а те взаимоотношения героев книги, их житейские и сердечные несообразности, их

подвижнические страсти, которые вдруг становятся моими взаимоотношениями и страстями. Я вздрогнул вместе с Полей, несколько онемел от догадливости Таиски, и книга перестала сопротивляться, наконец-то впустила под свой кров.

Кстати, с Таиской в романе связано возникновение одного богатого, интересного стилистического приема, который, на мой взгляд, уместно назвать ПЕРЕДАЧЕЙ ГОЛОСА. При встречах с Полей Таиска со словоохотливостью одинокого, в основном молчащего человека обрушивает на нее тяжесть своих знаний о судьбах Полиных родителей, как и почему не удалась их совместная жизнь. Автор вроде бы отступает в тень перед наблюдательностью и словоохотливостью старой девы — поговори, мол, поговори, а я передохну. Но на самом деле только вроде бы отступает, только на переходах от главы к главе передает голос Таиске, а потом снова рассказывает сам, ибо Таиска всю жизнь домовничает и не везде поспевает своим приметливым оком и слухом за Иваном Матвеевичем и Леночкой. Но тем не менее Таиска все время стоит за плечом автора в этих главах, и нет-нет да окрасится повествование Таискиным словом, наблюдением, замечанием, житейской деталью: какой жидкий чайшко носила она гостям Ивана Матвеевича, студентам его, молодым спорщикам. И вот это совместное ведение рассказа автором и Таиской, смешение умного, усмешливого, неторопливого слога с Таискиной ясной, чуть причитающей скороговоркой углубляет, обогащает повествование, сообщает ему дополнительную изобразительную энергию.

В русский лес мы попадаем вместе с мальчиком Ваней Вихровым и его деревенским приятелем Демидкой, сыном трактирщика. Идем вслед за ними искать клад на Пустошах, в дремучую, не тронутую человеком чащу. Видим травы, деревья, узнаем их в лицо, слышим птиц, замечаем следы тайной жизни леса — где лось прошел, где дятел кормился — и приходим к роднику, волшебная вода которого и вспоит в Ване Вихрове неодолимое желание, неодолимую тягу служить русскому лесу, даст силу не покидать лес в беде, даст бесстрашие защищать лес от внутренних болезней и напастей и от размашистого топора эпохи. Там же, неподалеку от родника, во владениях Калины Тимофеевича, резко обозначится главная черта характера Вихрова: беречь телесные и душевные силы для главного дела, для РАБОТЫ В ЛЕСУ, напрочь отстраняя побочные, на его взгляд, страсти, сомнения, обиды. Порой Вихров будет казаться беспринципным, трусоватым, черствым, на самом же деле для леса он готов на любой отчаянный и рискованный шаг.

Демидка, сын трактирщика, украдет у Калины белку ручную по прозвищу Марья Елизаровна, Ваня Вихров пожалеет ее, попробует отнять у Демидки, но отступит перед торгашеским здравым смыслом молодого Золотухина, и это отступление некоторой горечью отзовется в читательском сердце: что ж ты Марью

Елизаровну не спас, Ванечка, что ж дрогнул-то! Но через некоторое время, через несколько судьбоопределяющих страниц Ваня кинется на всесильного Кмышева, ибо тот уничтожал Ванин лес, русский лес, и тут уж осторожность и незлобивость, столь характерные для житейского поведения Вани, начисто забыты, здесь уже неукротимая, львиная отвага переполняет его сердце.

Всю жизнь он отмахивался от злобы и клеветы Грацианского, от лакейского хамства Чередилова — много сердечных сил тратится на это отмахивание, порой грацианские и чередиловы кусают до кости, до бессонниц, до оргвыводов, и невозможно полностью разделить и принять такой способ соседства с врагами, чересчур редко восстает Вихров против зла, в ущерб душевному здоровью редко, но это такая старинная наша национальная черта, выраженная Леоновым с диалектической многозначностью. Терпелив русский человек, как-то раздражительно терпелив и медлителен в обстоятельствах, когда необходимо дать сдачи, когда, кажется, обязательно надо поквитаться: око за око, зуб за зуб, а он терпит, смущенно улыбается, смущенно говорит: да ну их! Хорошо бы, наверное, если бы поубавилось этой досадной генетической терпеливости и замедленности в ответе злу, но без этих качеств, скорее всего, невозможно понятие русского подвижничества, когда служение Делу превращается в добровольную схиму, в некое монашество, отринувшее от дела все житейские соблазны и даже проявление естественных чувств и привязанностей. Замечательная метафора, замечательный символ русского подвижничества выводятся из сцены объяснения Ивана Матвеевича с Леночкой. Объяснение в любви превращается в рассказ о главном деле жизни, о лесе, причем рассказ этот сопровождается, позволительно сказать, демонстрацией, проявлением таких свойств характера, которыми русские подвижники отталкивают в быту, которые крайне неудобны и по-своему эгоистичны в обыкновенном течении будней. Дело, дело, дело, и наш подвижник не замечает, как он приносит страдания и муки близким своим, не могущим относиться к делу с подвижническою рьяностью, не могущим отказаться от таких примет человеческого обихода, как ласка, забота, внимание.

Вихров рассказывает Леночке — среди сырого весеннего леса — конспект вводной лекции о лесоустройении в России, вернее, об истории лесоустройства, пытаясь вложить в этот (достаточно обширный, горячечно сбивчивый, а потому продолжительный по времени) конспект всю целомудренную глубину и полноту своего чувства к Леночке, и не замечает, что его пылкие, и высокие, и ИСКРЕННИЕ слова почти не доходят до Леночки — она стоит в холодной лесной луже, в ледяной кашнице, у нее отчаянно мерзнут ноги, ее отчаянно мучает стыд, что она не в силах из-за холода всем сердцем воспринимать прекрасные слова Ивана Матвеевича о русском лесе. Именно в эти минуты Вихров губит свое личное счастье, именно в холодном лесу Ле-

ночка поняла, что этот человек будет глух к движениям ее души при всей его сверхположительности. Как больно все же, что наша преданность делу, наши бескорыстные желания принести как можно больше пользы этому делу сопряжены с неизбежными нравственными утратами и недомоганиями. Впрочем, так ли уж они неизбежны? Неужели нравственная глухота и слепота — необходимая плата за преданность делу? Неужели обязательно, чтобы деловое бескорыстие, деловая неутомимость сопрягались с житейским равнодушием и бестолковостью? Все эти вопросы и все ответы (увы, сопрягаются, увы, такая плата необходима) присутствуют в метафоре подвижничества, исполненной Леоновым с головокружительным сочувствием к своим героям и с ледяной трезвостью к их добродетелям и порокам.

С метафорой этой мы часто встречаемся в жизни, на будничных тропах и дорогах. Интересно, кстати, представить, хоть на миг, как оживает метафора, как она материализуется, скажем, в прекрасную женщину с милым, добрым, мучительно грустным лицом. Мы встречаем эту женщину на площадях и улицах и теряемся, робеем от загадочно-притягивающей властности в ее взгляде и долго оборачиваемся ей вслед: что же она хотела сказать, что же она так пристально, насмешливо и печально смотрела на нас и что это за скорбная складка, тень набегает на ее губы? Впрочем, я увлекся... Метафора Дела, отчасти разлученного с чуткостью и добросердечием к ближним своим, оживает в нашей памяти не только в связи с судьбой русского леса, но и с нравственной досадой (с потерянностью Леночки, зябнувшей в весенней луже) при размышлении о других областях жизни.

Скажем, мы стараемся, чтобы дети наши учились в современной школе, современной, умной, идущей в ногу с достижениями науки и техники, и бурно перестраиваем ее, перекраиваем былые программы и планы, лишь бы не отстать от прогресса. Но среди бурных стараний и истовых усилий по переустройству школы мы не замечаем, как преподавание отечественной литературы превращается в ЛЕНОЧКУ, ЗЯБНУШЮЮ В ВЕСЕННЕЙ ЛУЖЕ. Дети наши уже не знают, кто такие Гончаров, Лесков, Салтыков-Шедрин, не говоря об именах поскромнее: Гаршин, Помяловский, Глеб Успенский, Эртель с его немеркнущими «Гардениными». Мы, как милый, увлеченный, глубоко порядочный Иван Матвеевич Вихров забыл о живой Леночке, стоящей перед ним и готовой разреветься от его черствости, забыли, что отечественная литература — ЖИВАЯ ДУША НАРОДА и изъятия, пропуски, умолчания в ее владениях приведут к черствости, рационализму, так сказать, к беспамятству в родстве наших детей, берущих в руки третье тысячелетие.

Наши журналы и издательства пылко и искренно шефствуют над нефтепромыслами, колхозами, стройками, тщательно, азартно и горячо вникая в экономические и хозяйственные проблемы, ибо от решения их зависит наше материальное богатство.

Но при этом шефстве совершенно забываются наши провинциальные писатели, живущие возле этих колхозов, строек и нефтепромыслов, забываются не столько даже как соучастники этого шефства, а как создатели книг, имеющих право на известность и общественное внимание не меньшее, нежели мы проявляем к нефтепромыслам и стройкам. Провинциальная литература (эпитет этот имеет не качественное, а местопребывающее значение), как Леночка, смущается, потупляет голову перед пылкостью увлеченностью наших журналов и издательств в хозяйственных начинаниях того или иного края и тихо недоумевают, как же можно при этом не замечать столь значительных ДУХОВНЫХ РЕСУРСОВ, так необходимых именно теперь, при столь бурном обновлении социально-нравственного облика страны. Вот краткий и беглый список имен, пришедших сейчас в голову: А. Зверев и Е. Суворов (Иркутск), Э. Русаков и О. Корабельников (Красноярск), М. Малиновский (Омск), Н. Шипилов и Т. Набатникова (Новосибирск, правда, Набатникова недавно и не по своей охоте переехала в Челябинск), В. Юровских (Шадринск), Ю. Фанкин (Муром), — все это серьезные писатели, обладающие свежестью слога и свежестью мысли и совершенно или почти совершенно неизвестные широкому читателю, и, следовательно, мы вправе сказать, что значительные духовные ресурсы лежат у нас втуне, а ведь вполне могут реализоваться, как реализовали дар милосердия Леночки, когда она вернулась или, точнее, сбежала от Вихрова к землякам, к родному народу, не позволила заглухнуть своему дару в мощном свете вихровского подвижничества.

Мы полюбили в последнее время жгучие и громкие слова, что надо незамедлительно оздоравливать литературную жизнь, освободиться от комплиментарной критики, от причин, порождающих плесень серой литературы, от зловещих перекосов в издательском деле, когда одних литераторов издают по десять раз в год, а других — раз в десять лет, от падения идейно-художественных критериев, от штормовой волны безвкусицы тоже надо спасаться, но все эти слова, увы, безадресны, все они — возмущение вообще и сотрясение воздуха. С некоторых литературных трибун я попробовал персонифицировать причины некоторых недостатков текущего литературного процесса, разумеется, как я понимаю их, но получил незамедлительное, жесткое, не терпящее возражений разъяснение: рано персонифицировать недостатки, ситуация в литературной жизни не созрела, надо погодить, пока созреет, теперь же давайте вообще погудим, покричим, какие мы хорошие и какими хотим стать решительно безоблачными. Просто само напрашивается сравнение текущей литературной жизни с Леночкой, которая никак не могла преодолеть страха перед гражданской двусмысленностью своего существования под кровом Вихрова, и лишь вмешательство старого большевика Валерия Крайнова в ее судьбу помогло Леночке преодолеть страх и вернуться, как я уже упоминал, к родному

народу. Вот и сегодняшней литературе необходимо преодолеть страх перед серостью, перед диким для литературы чинопочтением, перед многолетней привычкой взвешивать правду порциями, унциями, граммами, хотя давно известно, что в литературе правда — это мед, а деготь — это умолчания, поддавки и прочие некрасивые стилистические приемы.

Удивительно, что злодея, так сказать, образ отрицательного героя Леонов с первых же строк, с первого появления пишет черным серебром — таково мое ощущение тональности, употребленной при писании Грацианского. Не успел он взойти на страницы, а мы уже знаем, что голос у него жирный, глаза бегающие, и сразу же знаем, что он многолетний противник Вихрова, нечестный противник, и стилистика его прямой речи негодяйски скользка. Кажется бесконечной цепь его мелких и крупных злодейств: он — демагог и все время пытается обвинить Вихрова в антинародности его лесной теории и практики; он — агент охраны и предает в молодости Валерия Крайнова (разговор Грацианского с Чандвецким принадлежит к лучшим среди «черных» страниц, какие я читал); он — преступно равнодушный человек и не хочет помочь своей дочери, лежащей при смерти; он, в сущности, губит Наталью Сергеевну, а не взрыв фугаски, Наталья Сергеевна давно умерла, отравленная любовью к Грацианскому; он мелочно злобен, не может удержаться даже, чтобы не сказать Сереже, чей он сын, — нет даже намека на светлые проблески в характере Александра Яковлевича, душа его как бы изначально заполнена мерзостью крайнего себялюбия, по словам Чандвецкого, сознанием своего ничтожества, которое и стало движущей силой натуры Грацианского.

Многажды показывалась психология злодейства, так сказать, технология его, но никогда, на мой взгляд, не было в русской литературе физиологии злодейства, изображения этой физиологии — я имею в виду сцену у родника, когда Грацианский вонзает палку в гортань родника. Он не может не замутить родника, не может не попытаться уничтожить его — до смертельной бледности, до нервного припадка: сущность злодейства требует разрушения чистоты и гармонии. Поразительная сцена, показывающая неудержимость зла, его, позволительно сказать, антипоэзию! Порой черные краски кажутся чрезмерно, до фиолетовой тьмы, сгущенными, ну, например, в раскованно сатирических страницах, на которых компания Грацианского Андрейчик, Ейчик и просто Чик пытаются снять Вихрова с заведования кафедрой. Их идиотическая эрудированность, их махран заострены до крайнего гротеска, уже вроде бы чувствуешь, что реализм не поспекает за разгневанной речью автора, но тут же себя одергиваешь: Леонов не может позволить себе такого недосмотра, и, следовательно, открытые обличительные краски выбраны сознательно.

Конечно же, злодейство Грацианского, от первой строки до последней, сознательно показано одной лишь черно-серебристой

или, может быть, черно-жирной краской, и в этом показе нет насилия над реализмом. Леонов, должно быть, хотел показать будничность злодейства, его постоянное присутствие в нашей жизни и постоянные наши терпеливо скучноватые гримасы при виде этого злодейства. Грацианский аккумулирует ту житейскую, будничную энергию зла, которую мы в расхожем и неопасном гневном формулируем в таких фразах: столько лет кляузничает, а ему хоть бы что; насквозь изоврался, а мы терпим; ведь демагог, пробы ставить негде, а все как с гуся вода, все куда-то его выдвигают. Мы позволяем жить рядом этому злу, потому что оно не выбивает стекло, не сквернословит, не пристаёт с хамством к женщинам, не вламывается, короче говоря, в наши общежитские правила, — зло, соглашаемся мы, можно терпеть, если оно растворено в атмосфере наших общественных и служебных дел, и это наше непротивление грацианские прекрасно изучили, подолгу процветая в демагогии, в доносах, в антиделовом рвении, в миметизме, увенчанном общественным нашим признанием, — увы, мы так охотно выдвигаем многоговорящих и красно говорящих бездельников на всевозможные заметные должности.

Грацианство — необычайно опасное и необычайно злободневное заболевание. Симптомы его таковы: очевидны, доказаны следы проявления недуга, названы средства и способы борьбы с ним, но не хватает гражданской энергии, немедленного и деятельного протеста: изыди, враг! Короче, суть грацианства в перечислении недостатков, а не в ИСКОРЕНЕНИИ их. Когда мы знаем, что для спасения русского леса надо вкладывать больше средств в лесовозобновление, чем в лесодобычу, но не делаем этого, — значит, мы подвержены приступу грацианства; когда мы знаем, что в нашей идеологической, культурной работе много пустой, поселяющей гражданское раздражение болтовни, но никак не отказываемся от нее, — значит, вирус грацианства прочно коренится в нас. Вообще было бы крайне уместно ввести в наш обиход единицу измерения общественного зла под названием «ГРАЦИАН» — этим ядовито звучащим корнем мы бы мерили те или иные прегрешения против нравственности, против социальных преобразований «грацианами». Заболтался человек, заобещался, зарпортовался — выставляем ему сто «грацианов» и — улицы мести, макулатуру собирать или на исправление в Союз писателей, в качестве штатного, все называющего своими именами критика.

Чаще же всего «грацианами» надо мерить наши экологические прегрешения, ибо давно мы уже знаем, чего делать нельзя, и тем не менее делаем. Нельзя промышленные отходы выпускать в реки — выпускаем; нельзя сибирскую тайгу принимать за неистощимую кладовую — принимаем, жадно и бестолково размахивая в ней топором и сокращая ее пространства огнем ежегодных, возникших от нашей беспечности, пожаров; нельзя так расточительно затоплять обширнейшие земли по берегам Камы и Енисея, строя ГЭСы, — затопляем, даже не

пытаясь выгородить дамбами невосполнимые луга и пашни; нельзя вообще трогать большие северные и сибирские воды — трогаем, ибо часто взгляд наш не может оторваться от дороги только вот этого кратковременного дня.

РУССКИЙ ЛЕС просит, молит каждого из нас хоть чуть приподняться над будничной суетой, над сегодняшним куском хлеба и над сегодняшней нашей гражданской робостью и помочь ему умным, дальновидным и, следовательно, мужественным хозяйствованием. Если мы помним о детях и внуках, мы должны не только признавать ошибки, но и исправлять их, а самое главное, не повторять их. Если каждый из нас найдет в своей душе неуступчивое желание преодолеть равнодушие, бюрократический накат, преступную сытость временщиков во взаимоотношениях с природой, только тогда мы спасем и **РУССКИЙ ЛЕС**, и **РУССКИЕ ВОДЫ**. Только при помощи **ЛИЧНОГО** мужества и не боязни идти против сложившихся экономических и нравственных стереотипов — только при этом условии мы найдем согласие с природой.

Тридцать пять лет прошло с тех пор, как Леонов поставил завершающую точку в романе, а для милых авторскому сердцу героев — Поли и Сережи Вихровых — прожито после романного времени сорок пять лет. И как грустно, как страшно видеть, что поколение молодых Вихровых постарело и почти сошло с исторической сцены. Бескомпромиссные, несгибаемо честные, старающиеся сначала для Отечества, а потом уж для себя, может быть, чересчур суровые и прямолинейные — люди этого поколения вызывают у нас бесконечное, нежное, ностальгически прекрасное уважение. Теперешние Поли и Сережи Вихровы совсем не те — более ироничны, менее щепетильны, менее ригоричны, более терпимы к недостаткам, это не значит, что они хуже предвоенного поколения и, скажем, менее способны на подвиг во имя Родины, — нет, просто они проявляют свои высокие чувства сдержаннее, в иных формах, не столь простосердечно, как леонзвские Поля и Сережа. За это нельзя судить, потому что они дети иной жизни, иного воспитания, результат иных социально-нравственных борений. А их недостатки — это прежде всего наши недостатки, нашего стремления к компромиссам и гражданской обтекаемости. И чем строже мы спросим с себя, тем глубже и сердечнее поверят нам дети наши, поверят и приложат не меньше сил для укрепления социализма, чем Поля и Сережа Вихровы.

Последний романский день Ивана Матвеевича Вихрова завершается свиданием с родничком, пережившим войну и сохранившим былинную чистоту и звонкость голоса. От родника в овражке Иван Матвеевич приходит к другому **РОДНИКУ** — к собравшимся в доме Поле, Сереже и Родиону, чьи молодые голоса тоже звонки и прекрасны и вселяют надежду в завтрашний день. Давайте слушать голоса молодости, свежести, не позволим увядать родникам нашей жизни.

Полемиические заметки

Анатолий Стреляный

УСТУПКИ ОВЕЧКИНА

1

«Районные будни» Валентина Овечкина — это книга «о бурном администрировании» над селом, и как таковая она и сегодня ошеломительно злободневна.

Это книга о том, что система хлебозаготовок в стране «смахивает на продразверстку», а отсюда и методы руководства колхозами: «Нужно и не нужно — грозим, стращаем, нажимаем... Двадцать заседаний в месяц — вот работа и кипит! А заседания-то все закрытые...»

Это книга о том, что «очень уж много развелось у нас вокруг колхозного строя бюрократов», что проведением «хозяйственно-политических кампаний» и «мелочным опекунством» невозможно заменить «настоящей заинтересованности колхозников в хорошей работе».

Это книга о том, как устали от «опекунства», от работы «на сводку, на рапорт» лучшие, подлинно народные руководители и как процветают худшие, самозванцы: «Когда уж совсем до какой-то невыносимой подлости дойдет ответственный работник — тогда только снимают его», а народу «за что сняли, почему сняли» — так и не скажут. Это книга о том, что «мы совсем забыли простое, благородное слово «купил». Только и слышно: «достал», «добыл», «вырвал», «отхватил...»

Это книга о людях, которые задумываются, почему «у нас привыкли только перед верхами отвечать», почему «таких случаев не было, чтобы народ разжаловал, скажем, председателя облисполкома», почему партийная конференция не может выбрать секретаря без рекомендации сверху, почему «у нас на выборах собраниях, на конференциях так уж строго придерживаются списка» и «что страшного в том, если б еще было записано лишних человек пять».

Это книга о коммунистах, которые в сороковые годы уже отдавали себе отчет в том, что «надо все же как-то свободнее выбирать верхушку наших партийных органов», что «самый страшный враг у нас сегодня — формализм», которые спрашивали себя, «что же все-таки нам делать с Советами» и с «непомерно разбухшими» аппаратами управления включая и партийный, с показушным соцсоревнованием и с «повсеместным взяточничеством», чему способствовал «идиотский закон, одинаково карающий и взяточника, и взятодателя», с «возраст-

ным составом наших кадров» и с теми из них, кому выгодно постоянно шуметь о наших успехах и чужих неудачах.

Главным «администратором» в Троицком районе, будни которого наблюдает писатель, служит Виктор Семенович Борзов, первый секретарь райкома партии.

Это человек, который не просто забыл, а никогда и не подозревал, что колхозы создавались «не для упрощения лишь хлебозаготовок», а «для самих крестьян, для улучшения их жизни». Жесткий, недружелюбный, он мотался по полям, как объездчик, и эти самые крестьяне от него только и слышали: «Лодыри! Саботажники!» Все недостатки в колхозах он объяснял в своих телефонограммах не чем иным, как «исключительно... преступной беспечностью (председателей.— А. С.) и полным забвением интересов государства». Он мог в третьем часу ночи позвонить в сельсовет и приказать немедленно разыскать председателей колхозов и бригадиров. «Для чего это делал? Чтобы люди чувствовали: от этого секретаря и ночью нигде не скроешься! Я, бывало, не сплю — весь район не спит... Умел держать район в страхе божьем!..»

Борзов — человек, который считает, что действовать приказом, окриком, залпами директив — значит руководить «по-пролетарски». Материальную заинтересованность он с презрением называет «крестьянской справедливостью» и глушит самую мысль о ней. Борзов — это уравниловка, постоянный грабеж сильных хозяйств «на том основании, что стране нужен хлеб», и равнодушие к слабым, нередко отданным на откуп проходимцам. Ему невдомек, что «холуй и угодник урожая не сделает». Достойные люди при нем не хотят становиться председателями колхозов, потому что боятся: «Что ни сделают хорошего, все пойдет насмарку».

Иные страницы «Районных будней» звучат так сиюминутно, будто читаешь Салтыкова-Щедрина.

Большая часть книги писалась в 1954—1955 годах. Как раз в эти годы, после смерти Сталина, было немало сделано для оздоровления сельского хозяйства и сельской жизни: подняты закупочные цены, снижены налоги и списаны недоимки, ослаблены приказные порядки. Меньше стало разболтанности, блата, парадности и «поповской раздвоенности на слова и дела», больше — критики и самокритики. И вот уже через два года первый секретарь обкома партии Крылов говорит:

«Я недоволен нашей печатью... Там недостатки, там непорядки, там преступления. Нельзя же так односторонне освещать жизнь... Уже есть большие сдвиги. Сейчас нам надо уже не столько бичевать недостатки, сколько утверждать то новое, хорошее, что появилось у нас!»

Это он говорит секретарю райкома Мартынову, человеку из глубинки, оттуда, где не все еще и слышали само слово «перестройка», в то время тоже бывшее в ходу, где еще не у всех тридцатитысячников, посланных в деревню наводить порядок,

улеглись волосы, вставшие дыбом от того, что они там увидели. Москвич Долгушин, например, увидел, как сдаивали молоко на землю из-за нехватки бидонов, как половина колхозных коммунистов болтались без определенных занятий, а другая половина... «Пьют же сукины сыны до умопомрачения,— объясняли колхозники.— От водки болеют, водкой лечатся, водкой все дела вершат».

Свое недовольство печатью хозяин целой области выражает секретарю сельского райкома, бывшему газетчику, который волком выл в своем дневнике: «Сколько бед причинила нам трусливая, угодливая, лживая информация!» — и никогда не умел «написать статью о чем-нибудь хорошем, чтобы тут же не разозлиться на плохое».

Не зная всего этого за Мартыновым, Крылов делится с ним своим раздражением:

«Много стали нам писать в последнее время. Пишут и доярки, и свиарки, и учителя, и железнодорожники, и водопроводчики. У каждого какие-то государственные предложения, советы».

Какая же охватила его досада, когда выяснилось, что и свой брат, партийный работник, встал на тот же путь: перспективный Мартынов явился к нему в обком не с чем иным, как с целой рукописью на сорока восьми страницах о «нерешенных вопросах по сельскому хозяйству».

Крылов захлопнул папку с этой рукописью, отложил ее на край стола.

«Егозишь ты что-то все, товарищ Мартынов. Ну, чем ты не доволен? Чего тебе еще надо?.. Меньше уже надо заниматься всякими прожектами, а на той реальной основе, что создалась у нас, бороться за крутой подъем сельского хозяйства».

Описание обстановки этого разговора, может быть, лучшее место в книге.

«Полупущенные голубые шелковые шторы задерживали бьющие прямо в окна солнечные лучи, мягко рассеивали свет. Огромный, чуть не на весь кабинет, толстый ковер приятно пружинил под ногами — будто почва на старом высохшем торфянике. В углу медленно, с чуть слышным тиканьем ворочался под стеклом футляра-шкафа бронзовый маятник больших часов. Тихо журчали два вентилятора: один на сейфе, другой на столе. Но, кроме них, видимо, еще какие-то электрические приборы охлаждали воздух — в кабинете было прохладно, как в мраморных подземных залах московского метро... И Мартынову вдруг вспомнилось, как однажды на фронте его, командира стрелковой роты, вызвали с передовой, чуть ли не прямо из боя, в штаб дивизии...»

Человек, который окорачивает Мартынова, — тот самый Крылов, который совсем недавно, какой-нибудь год назад, в этом же кабинете с гневом говорил о своих областных «классиках»

пустозвонства, называл его, пустозвонство, «признаком обывательского отношения к партийной работе», рассказывал этому самому Мартынову, как трудно «таких артистов развенчивать», жаловался: «У них и стаж, и безукоризненная анкета, и диплом, и солидная осанка, и многолетнее пребывание в номенклатуре. И — связи».

2

«Районные будни» появились не на пустом месте. Печатная критика партийных работников и партийных организаций, целых направлений и явлений в партийной жизни была в то время обычным делом. В тридцатые — сороковые годы этой критики было не меньше, чем в пятидесятые — шестидесятые, не говоря уже о семидесятых, а больше, на порядок больше. Причем часто это была критика уничтожающая. Один герой написанного в 1983 году рассказа Марка Кострова «Снова мы у себя в Березове», лежа на печи в брошенном сельском доме, читает старые газеты, которыми оклеены стены. «Секретарь территориальной парторганизации нередко является на заседания исполкома навеселе, — узнает он из «Великолукской правды» 1946 года. — Накачка, запугивание руководителей колхозов, ругань — таков метод Орлова». «Неужто в те времена так смело можно было критиковать? — удивляется герой Кострова. — На всю область прищемили хвост Орлову!.. Я на всякий случай отклеил газетку. Сохраню ее на память о том боевом насыщенном времени».

Командирство, бюрократизм и комчванство назывались своими именами с такой решительностью, которая даже сейчас, в самом пылу разговоров о гласности, кажется невероятной. Во всяком случае, приведенное выше место из рассказа Кострова наши современники — редакторы Лениздата, где в 1986 году печаталась его книга, вымарали. Некоторые страницы Овечкина не случайно как две капли воды похожи на газетные корреспонденции сороковых годов.

«В третьей полеводческой бригаде они не нашли на поле бригадира коммуниста Милушкина, бригада начала сев без него. Милушкин в воскресенье справлял именины, третий день уже опохмелялся и все никак не мог вернуться к работоспособному состоянию... В первой бригаде некому было убирать с поля прошлогоднюю солому... Такая расхлябанность с первых же дней полевых работ не предвещала ничего хорошего в смысле сроков сева».

«Кучка негодяев в «Борьбе» превратила колхоз в свою вотчину. Разложившимся пьяницам и жуликам было не до хозяйства».

«Шайка бессовестных мазуриков захватила в свои руки главенство в колхозе... Долгушин предложил первым пунктом исключить из партии Бывалых: за полное бездействие в течение четырех месяцев, за попустительство врагам колхозного строя,

за шкурническое стремление удрать из колхоза, ничего не сделал для его подъема».

«Районные будни» продолжали обыкновенное по тем временам дело критики партийной работы и партийных работников. Своей книгой Овечкин показал, что писателю тоже можно болеть тем, чем давно болеют селькоры. Напечатав ее (первый очерк — «Борзов и Мартынов» — в 1952 году, последний — «Трудная весна» — в 1956-м), «Новый мир», в свою очередь, показал, что толстому журналу тоже можно хлопотать о том, о чем хлопочут газеты. Только газетные столбцы предавали гласности факты, а с журнальных страниц вставляли картины. Селькоры называли фамилии чинуш и головотяпов — писатель представил портреты, образы.

Что это были за картины? Что за образы? Первое, что бросается в глаза, — взвешенность овечкинских картин и образов. Думал об этом Овечкин или нет, но, на мой взгляд, он был и остается самым осмотрительным из лучших очеркистов-деревенщиков. Даже солиднейший Иван Васильев иной раз не так тщательно заботится о конструктивности каждого своего слова, как это делал порывистый автор «Районных будней». Книга, кажется теперь, создавалась не только Овечкиным-писателем, но и Овечкиным-редактором. Это было образцовое, братское содружество. Начиная работу в 1952 году, еще при жизни Сталина, они, писатель и редактор, молчаливо условились: книгу делаем не в стол, а для печати. Умный издатель должен будет сразу увидеть, что неприятностей она ему не причинит.

Рядом с плохим первым секретарем райкома партии трудится хороший второй. Плохого очень скоро, через сорок страниц, снимают, а на его место ставят хорошего, который через короткое время по собственному почину уступает свой пост еще лучшему. Сам же уходит поднимать другой, более запущенный район. Что еще надо?!

Плохой Борзов плох по-настоящему, от него много нешуточного зла. Это наиболее мощный образ плохого партийного руководителя в советской литературе. Но поглядите, что с ним делается в финале «Районных будней». Он становится председателем самого крупного в соседнем районе колхоза. И вот Борзов — против борзовщины! Хозяин, умница, а какой напор! Быстро осмотрелся и явился в обком — «заметно постаревший, загорелый, в запыленных сапогах, с головой, не бритой наголо, как раньше, а коротко остриженной под машинку», — явился требовать, чтобы ему на деле предоставили обещанное Центральным Комитетом «свободное планирование».

«Дали нам крылья, машем, машем мы ими, а взлететь не можем. — Вон как заговорил! — Сколько грузу еще на ногах, этого бюрократизма проклятого!.. Послали меня в колхоз — так дайте же мне возможность развернуться там по-настоящему!»

Новый Борзов критикует самого Крылова, который, когда выезжает в колхозы, «везет с собою в портфеле какие-то ре-

зервы для раздачи нуждающимся — память о посещении колхоза первым секретарем обкома партии».

«Нехорошо это, некрасиво!» — говорит Борзов.

И не кому-нибудь, а самому Борзову принадлежат наиболее точные слова о нем вчерашнем: «На меня стучали кулаками, и я стучал: на меня давили, и я давил. А насчет планов мы все тогда были так воспитаны: выполняй и не рассуждай, что из этого получится!.. Думаешь, у меня не болело сердце, когда иной раз заставлял колхоз чистосортные семена вывозить в хлебопоставку?..» И то еще достоинство надо учесть, которое выросло в наших глазах за прошедшие годы до масштабов героизма: не был Виктор Семенович «самоснабженцем». Когда вторая жена попробовала было его склонить — «Нет, говорю, голубушка! Борзов во многом, может, виноват перед партией, но в одном не виноват: никогда не залезал в государственный карман!» — прогнал я ее».

И как сбалансирован положительный Мартынов! Он сталкивается со множеством безобразий, трудностей и проблем, но ни в одном случае не проходит мимо, во все вникает, все меняет к лучшему. Чего не может решить сам, о том пишет докладные и письма в область и в Москву...

В одном колхозе ему сказали, что у них «третий год подряд не вызревают арбузы, убирают их осенью зелеными и скармливают свиньям. Он спросил — что за сорт? Оказалось, семена присланы с Кубани. Мартынов почувствовал завязку большого вопроса для постановки перед обкомом и Министерством сельского хозяйства...».

Поездив по другим колхозам, он узнал, что никуда не годятся существующие системы оплаты труда. Получается, что дояркам платят «не за надои молока и сохранение телят, а за то, чтобы не было на ферме ни телят, ни молока», трактористы зарабатывают тем больше, чем хуже урожай, который им придется убирать. «Надо написать в обком», — решает он. Послушав шофера-комсомольца, который пришел к нему «с практическим предложением, как в два счета ликвидировать повсеместное взяточничество» («надо сделать так, чтобы тот, кто дал взятку, не отвечал перед судом»), Мартынов тут же пообещал, что это предложение специальной «докладной запиской пошлет в Москву в Министерство юстиции».

Писание докладных, особенно таких, которые касаются крупнейших вопросов внутренней политики, — неотъемлемая часть служебной деятельности Мартынова. Он хочет, чтобы и другие его зили.

«Не в наших правах изменять законы, издавать новые указы, да. Но мы обязаны доводить до сведения наших руководителей все, что слышим в народе, думы народа», — внушает он директору МТС Глотову, впавшему в «политическую пассивность». Тот рассказывает о замордовавших его уполномоченных. Приказывают, угрожают...

«— Так на кой леший я здесь нужен, директор? Садись в мое кресло и командуй за меня!

— Больно податлив! Первому встречному свое кресло уступишь! Тебя Центральный Комитет посадил в это кресло!.. А ты не пробовал жаловаться на таких гастролеров в обком, в Цека?

— До бога высоко, до царя далеко..

— Вот за эту поговорку тебе выговор следовало бы влупить!»

И даже признаваясь в конце книги одному председателю колхоза, требующему «свободной торговли, без разнарядок и без блата», что «уже устал писать письма по таким вопросам», Мартынов продолжает настаивать: «Ты сам человек грамотный. Пиши, брат! Пиши в «Сельское хозяйство», в «Правду». Не носи эти мысли за пазухой».

То, что Мартынов такой писатель, очень удобно: он придает книге конструктивность и тем спасает ее — ведь поднимаемые проблемы получают хотя бы литературное разрешение.

Чтобы все истории и картины благополучно и правильно завершались, Овечкин следит сугубо. В книге нет ни одного безвыходного положения, ни одного не совсем проясненного пути решения, ни одной нотки сомнения, что все «думы народа» будут вот-вот услышаны и, стало быть, исполнятся. Не в этом ли заключалась основная работа над книгой, думается иной раз. Суровые начала — творчество, крик души, а благополучные концовки и «рессоры», которых все понимающие критики и братья-писатели будут великодушно и для пользы дела не замечать тридцать лет, — работа.

Даже первая часть очерка («Борзов и Мартынов»), где автор еще не знает, «какие решения примет обком об этом районе, как пойдут там дела дальше, как повернутся личные судьбы людей», не вызывает сомнений, что решения будут скорыми и правильными, дела пойдут лучше, судьбы людей повернутся по их заслугам. Эта несомненность зиждется на том хотя бы, что положительному герою Мартынову совершенно ясно, в чем все дело: в председателях. «Да будь у нас во всех отделах в райкоме партии и райсовете профессора, доктора экономических наук, — говорит он, — положение не улучшится, если в колхозах где-то останутся шляпы, пьяницы!..»

У Мартынова нет ни одной ошибочной или спорной мысли. Он все понимает правильно и обо всем судит зрело. Заночевав по случаю метели в общежитии трактористов, он, например, не только выслушивает их жалобы, но «долго и обстоятельно» разъясняет им, что «нельзя за неудачами отстающих колхозов не видеть огромных успехов передовых», что «двадцать три года существования колхозов не такой уж большой срок в истории после тысячелетий единоличного хозяйства, всего за такой малый срок не сделаешь...».

Мартынов знает: «Когда хорошо с партийным руководством,

тогда все в жизни налаживается правильно. Вот кто может повести за собой всю массу колхозников — рядовые колхозные коммунисты! Если они действительно коммунисты... В этом, в здоровых партийных организациях, залог прочности дела... Партия, партия и еще раз партия — вот ключ ко всему!..» Партийных работников он, помимо того, называет инженерами человеческих душ, полагая, что писатели, которым первоначально были адресованы эти слова, не обидятся. «Во всяком случае, партработники должны быть инженерами человеческих душ!..» — горячо говорит он влюбленной в него жене Борзова.

К слову: влюбленность эту замечает, но ничего такого себе не позволяет, любит свою, морально устойчив, что отмечает потом и приревновавший было Борзов...

Зимой Мартынов провел собрание районного партактива, где позволил людям говорить от души. «Смотри-ка, задал ты тему для разговора: о вреде пустословия, и уж который человек об этом говорит, повторяют друг друга!» — заметил ему редактор районной газеты. После этого Мартынова, по сигналу присутствовавшего на собрании инструктора обкома, вызывают в обком. Он ждет выволочки, а получает полное одобрение. «Пустословие — это душевная отравка, какой-то усыпляющий сознание дурман», — согласился с ним первый секретарь обкома. Он «говорил ровным голосом, медленно, с большими паузами, как бы проверяя вслух перед самим собой и Мартыновым мысли, давно выношенные.

— Партсобрание, актив, пленум — не самоцель. Собрание мы проводим не ради самого собрания, а ради того, чтобы после него коммунисты ринулись в бой!

Секретарю обкома было приятно совпадение их мыслей, Мартынову более чем приятно — радостно».

В другой раз Мартынов втайне от обкома проводит пленум райкома, на котором по его призыву решают послать председателями отстающих колхозов чуть ли не всех районных начальников: от председателя райисполкома до судьи. Опять он ждет неприятностей, но первый секретарь обкома и тут его поддерживает: «Ты — старый газетчик, а ну-ка распиши это все для нашей газеты». Жена Мартынова, слышавшая их телефонный разговор, «заглянула смеющимися глазами в лицо мужу, запустила пальцы в его густые волосы, взлохматила их».

Чем прискорбнее явление или история, которыми наполнены районные будни, тем благополучнее, красивее, сказочнее концы. Овечкин первым показывает, что после войны во многих колхозах заправляли не лучшие люди, а худшие. Целые деревни и районы были в настоящей, похуже кулацкой, кабале у проходимцев. Чуть ли не все коммунисты колхоза «Рассвет», например, оказались шайкой пьянчуг и воров, занявших самые хлебные места. И что же? Стоило посланцу Москвы, директору МТС Долгушину добраться до «Рассвета», как с ними тут же было по-

кончено, что нисколько не удивило лучших людей села. Ведь они всегда отлично понимали, что, как говорит Долгушину доярка Зайцева, «не все то идет от партии, что наши здешние партейцы делают. Слышим Москву по радио — вот то партия с нами разговаривает, то ее голос. Читаем газеты, постановления Цека — это партии слова. А на своих перестали уж и внимание обращать... Не верим мы, чтоб партия на таких пустобрехах держалась! Это мы все понимаем — где партия, а где охвостье, которое к партии примазалось. Нас эти поганцы не собьют с того пути, куда нас Цека зовет, не потеряем мы из-за них веру свою».

Второй секретарь обкома партии Масленников («добродушный на вид толстяк в широком сером макинтоше и зеленой плюшевой шляпе», а человек такой, для которого райкомы — «перевалочные пункты для директив», которому нужны «манекены, а не живые люди с умом и сердцем») дает Долгушину за вмешательство в дела «Рассвета» самый жесткий нагоняй. Более того, он вытаскивает Долгушина и Мартынова на бюро обкома, надеясь там с ними окончательно расправиться. Но первый секретарь обкома и тут выручает их. Заодно и на самого Масленникова раскрывает глаза непримиримому Мартынову:

«Вот ты назвал Масленникова толкачом и погонялой... но представь себе, что такие люди все же нужны в обкоме... Плохо ты знаешь наши кадры! Есть такие секретари райкомов и председатели райисполкомов, что только лишь тогда и начинают чуть шевелиться, когда получают предупреждение или выговор... И вот тут-то и необходимы нам такие люди, как Масленников... Он способен трое суток не спать, пока не проверит лично сам в каждом колхозе все сеялки или комбайны... Никто не может так, как он, расшевелить бездельников, создать в районе напряженную обстановку вокруг какой-то кампании. Это тоже надо ценить!..»

Второй секретарь Троицкого райкома партии Медведев, заменивший Мартынова, пока тот болел, оказывается человеком хуже Борзова, тупым и жестоким, самолюбивым и мелочным, с упоением давившим все, что было в районе живого, честного и деятельного. Председатели колхозов и директора МТС были для него не товарищами по работе, а «саботажниками», «срыващиками планов», «дезорганизаторами» и даже «вредителями колхозного строя». О рядовых колхозниках уж и говорить нечего — на них он смотрел только как на живых виновников невыполнения того-то или того-то. И что же опять? Собирается пленум райкома и без ведома обкома по предложению одного молодого колхозного парторга решает: «Объявить секретарю Троицкого райкома партии товарищу Медведеву выговор за возрождение в районе борзовских методов руководства колхозами!» Узнал об этом второй секретарь обкома Масленников... «Что это за дикий случай на пленуме райкома? Как можно без согласования с обкомом допускать такие вещи?.. Какой-то цирк

устроили из пленума! Безобразие! Мальчишество! Мы думали, что у нас в Троице зрелая партийная организация!» Узнал первый секретарь Крылов и... «Хорошо»,— говорит он Мартынову, соглашаясь обсудить на бюро обкома его предложение о снятии Медведева.

Наблюдая за тем, как старательно Овечкин обкатывает каждый свой булыжник и обкладывает подушками острые углы своих монолитов, как ловко он делает вид, что ничего особенного не совершает, а лишь следует за нашей жизнью, в которой все и всегда кончается хорошо, иногда можно было бы и улыбнуться той или иной из его хитростей. Можно было бы... Если бы только не так явственно тут пахло кровью — кровью литературного самогубства.

Лучшего места — и того не пощадил! Воспоминание Мартынова о вызове с передовой в штаб дивизии, где «было куда тише и не пахло так солдатским потом, гарью стреляных гильз, испражнениями и еще чем-то гниющим (разрядка моя.— А. С.) там впереди, за проволочными заграждениями, откуда подувал ветерок», в штаб, где ему попадались молодые щеголеватые военные, имевшие «все же смутное представление о настоящем бое, настоящей войне», а начальник связи дивизии держал в своем блиндаже под койкой «прикрытую газетой эмалированную посудину особого назначения»,— воспоминание это закончено все-таки тем, что командир дивизии оказался и храбрым («съел с солдатами не один пуд соли и видел смерть в глаза, вероятно, тысячу раз») и «мудрым человеком», знавшим, что «отрыв на длительное время от трудностей, которые несет на переднем крае народ, иной раз притупляет у начальника способности чутко улавливать настроение людей, обрывает те душевные нити» и так далее.

Да и обескураживающе быстрый поворот первого секретаря обкома Крылова от самокритики к самовосхвалению Мартынов старается понять не как-нибудь, а «по-человечески», объяснить не политически — тем, например, что Крылов испугался зашевелившихся низов («много стали писать нам в последнее время...»), а тем, что он слишком долго работал «в трудных условиях» и «ему уже хочется поскорее бы увидеть полный порядок всюду и сплошное довольство. Хочется нового «Кавалера Золотой Звезды» почитать, только получше написанного и уже про наши дни. А тут опять о недоработках, неполадках, неурядицах. Надоело ему уже это все хуже горькой редьки!.. Устал? Укатали сивку крутые горки?..»

3

Зачем и почему Овечкин это делал, помимо того что хотел увидеть книгу напечатанной?

Зачем и почему одновременно с реалистической, критической книгой о «бурном администрировании», одновременно

с теми «Районными буднями», о которых вот уже тридцать лет уважительно говорят в печати, он писал другую — утопическую, фантастическую книгу о перестройке?

В те годы о районных буднях писал еще один человек — Ефим Дорош, автор «Деревенского дневника», публицист, равный Овечкину по таланту, но совсем на него не похожий. Он тоже сознательно делал книгу не в стол, а для печати, но благополучных концовок не придумывал и розового тумана не подпускал — просто кое о чем особенно неугодно борзовым и крыловым умалчивал. Он не рассчитывал, что от его писаний что-то сразу и ощутимо изменится, не требовал принятия мер. А Овечкин рассчитывал и требовал, изо всех сил стремился своим пером ускорить и улучшить ход вещей, перед съездом колхозников посылал в Москву собственный проект колхозного устава и, выступая в жанре своего Мартынова, страшно страдал, когда оказывалось, что все впустую: «Пишешь-пишешь — и хотя бы на градус Земля сдвинулась!..» (А и то сказать: как болтало бы ее, как трясло и швыряло бы туда-сюда, если бы она могла сдвигаться от наших писаний!) Ефиму Дорошу с самого начала было ясно то, что нам открыл только позднейший опыт: обращение к служащим, как бы высоко они ни стояли, мало что дает, наше дело — обращаться к массе, к рядовому читателю, поскольку в конце концов только массой, уровнем ее культуры и остротой боли все решается.

Овечкин, наверное, думал иначе.

Не хочу я сказать, что твой брат
Не был гордою волей богат.
Но ты знаешь, кто ближнего любит
Больше собственной славы своей,
Тот и славу сознательно губит,
Если жертва спасает людей.

Может быть, эти строки Некрасова и об Овечкине?

Он грешил против искусства («славы») ради политики. Он поступался правдой жизни, чтобы приблизить другую правду — правду-справедливость, чтобы быстрее прошли времена «бурного администрирования» и начались новые — времена бурных демократических преобразований. Его благополучные концовки и струйки розового туманца, если не закрывать, но и не вылупливать на них глаза,— это ведь не что иное, как проекты и призывы, советы и намеки. «Районные будни» — это не только сказка, но и под-с-к-а-з-к-а: делайте так, как у меня написано, как мой Мартынов, как превзошедший его умом и силой посланец Москвы Долгушин! Делайте, и все будет хорошо.

Если найдется вдруг первый секретарь райкома, который позволит людям говорить от души на собрании партактива, не гоните его!

Если в каком-нибудь колхозе кто-то похожий на Долгушина соберет «море беспартийных» и с их помощью устроит «что-то вроде чистки партии», не гоните и его, не надо!

Если где-то сойдутся вдруг коммунисты целого района и без всякой команды снимут своего секретаря, оказавшегося, как выражался Мартынов, «пошляком и дубиной», не спешите кричать: «Безобразия! Мальчишество!»

Если где-то расширят заготовленный список кандидатов так, чтобы из десятка выбрать троих, не горюйте, а радуйтесь.

Не гоните и не горюйте — подражайте, следуйте примеру. Не бойтесь, решайтесь. Смотрите: раз это делают в книге, раз это напечатано, значит, точно так можете действовать и вы... Мартынова, который год а м и егозит, подает в обком и в Москву сигналы и «прожекты» и продолжает оставаться первым секретарем райкома, — в жизни такого Мартынова не было, нет и неизвестно, когда он будет. Но в том, что он, такой упорный писатель докладных, существует в книге, тоже подсказка одним: пишите и вы, пишите! И призыв к другим: прислушивайтесь к этим писателям, от них худа не будет, они хотят добра родине, не надо, как Крылов Мартынову, заглядывать им в глаза и спрашивать: «Ты вообще, товарищ Мартынов, не из породы донкихотов?..»

Как ни странно, как это ни противоречит тому азбучному положению, что сила литературы именно в ее художественности, правдивости несущих те или иные идеи образов и картин, «Районные будни» все еще могут быть кому-то полезны и своими слабостями — тем людям полезны, которые ждут от писателей не только сказок, но и подсказок. Впрочем, подсказки публике и властям — всегдашнее, природное занятие публицистики, особенно русской. Ефим Дорош подсказывал больше публике, Валентин Овечкин — властям, многие после них — ведомствам и даже учреждениям, из литературных дел это уж последнее...

Мне эта книга дорога другим.

Борзовы всегда считали и продолжают считать сейчас, что продрозверстка и приказ — как раз по нашим недостаткам и развитию. Переходить от продрозверстки к продралогу и от приказа к договору — значит упирать на материальный интерес. А какая, говорят они, может быть материальная заинтересованность, когда хорошо платить нечем? Какой может быть договор вместо приказа, если мы почти поголовно уверены, что сверху виднее, что так — лучше, так — по природе, ведь и семья не существовала без б о л ь ш а к а? Бедные, пока они бедные, управлять собой не могут и не хотят, бедному не до политики, ему лишь бы как-нибудь наесться да прикрыть наготу. Бедному, если уж говорить все до конца, лишь бы что-то урвать, отломить кусок неважно от чьего, но особенно, конечно, от н и ч ь е й н о г о п и р о г а. Общественное интересуется бедного только с этой точки зрения, потому и надо всячески охранять общественное — охранять от бедных и для них же, для бедных. Выгребать из их амбаров все под метелку... Что и призваны делать они, борзовы.

Это свое тайное убеждение борзовы сумели донести до многих даже очень хороших, хотя и не самых умных людей. В тайне

борзовых, думают они, что-то есть, не может не быть... по нашим-то недостаткам да по нашему развитию, по нашей-то сознательности. С нашей сознательностью далеко не уедешь. Это согласие с борзовыми я улавливаю даже у тех, кто говорит о приказном управлении, что оно устарело, изжило себя, не отвечает возросшему тому-то и тому-то. Ведь при этом подразумевают, а подчас и прямо пишут, что прежде — пятьдесят, сорок, тридцать лет назад — оно было оправданным. Когда слушаешь такие рассуждения, тогда и вспоминаешь, что «Районные будни» были завершены тридцать лет назад.

И думаешь: уж если такие коллективисты, как Овечкин и Мартынов, уже тогда считали приказ и продрозверстку вредоносными... Через шесть лет после войны, когда моя мать с теткой за неимением быков и коровы сами впрягались в борону и мать, сгибаясь до земли, мне говорила: «Смотри и запоминай, как мы работаем!» — если уж тогда Овечкин с Мартыновым не усматривали никакого общественного интереса в продрозверстке, а только шкурный интерес борзовых: властвовать, то о какой исторической или экономической необходимости можно толковать?!

Страдая оттого, что сельское хозяйство в упадке, что рядом с очень богатыми колхозами есть множество очень бедных (Мартынов: «Я думаю, такой пестроты не было и в старой деревне»), Овечкин не желал признавать никаких объективных причин. Он видел все зло только в борзовых. «Вот он волнуется, хлопает, нажимает, чтоб зябь пахали, хлеб везли, всякие планы выполняли, а близко ли к сердцу принимает он все это? — рассуждает Мартынов о Борзове. — Что стране нужен хлеб и нужно его очень много? Что хлеб нам понадобится и в будущем году, не одним днем живем?.. Что за всеми нашими сводками и цифрами — хорошая или плохая жизнь людей? А может быть, он только о себе думает? Не выполнили то-то и то-то — на дурном счету в обкоме будет район и он, секретарь». Мартынов, надо полагать, не раз слышал и про бедность, и про новизну пути, и про враждебное окружение. И все равно. Бедность — бедностью, новизна — новизной, окружение — окружением, «а времени прошло немало с тех пор, как мы колхозы организовали. Война была, оккупация, разорение, но и война уже давно окончилась»...

«Давно» — это шесть лет назад.

Чтобы внушить людям такое понятие насчет да в н о и тем самым ускорить перемены, Овечкин и писал. Сполна наделенный гордою волей, ради этого он и пренебрегал славой художника, безупречно верного натуре: выдавал желаемое за действительное, сглаживал острые углы.

А может быть, и так: то, что названо здесь жертвой, Овечкин понимал совсем иначе. «Я не искажал действительность, я ее щадил», мог бы, наверное, сказать он сейчас. Она ведь лежала перед ним в еще дымящихся развалинах, за нее только что было пролито столько крови — как было ему, уцелевшему фронтовику, не пощадить ее, не пойти на уступки? Бесстрашный и бескорыст-

ный, он боялся потревожить ее слишком прямым взглядом, ранить деловито-холодной требовательностью, боялся разворошить ее до дна, ведь тогда и у него самого могла бы пошатнуться вера, а без веры — как же?

Как ответила действительность на уступки Овечкина, на это бережное к себе отношение? Она ответила черной неблагодарностью. Множество мучивших Овечкина проблем не решены до сих пор. Что же касается «опекунов» над колхозами, то в наши дни оно даже усилилось и продолжает усиливаться. Число тех, кто с ложкой присматривает за теми, кто с сошкой, выросло многократно: по служащему населению иной райцентр сейчас не уступает тогдашнему областному, нынешняя колхозная контора — это послевоенный райком с исполкомом, не меньше. Часток инструкций, плановых, полуплановых, почти плановых и сверхплановых заданий и показателей — вешек, которыми сдерживается хозяйственная и общественная активность колхозов, гуще, чем во времена Овечкина.

Тридцатитысячник Долгушин приходит в ярость, когда узнает о «торгашеских извращениях» одного преуспевающего колхоза. Чем там только не промышляют, лишь бы не переводилась в кассе свежая копейка. На хлебе, на мясе-молоке не заработаешь — цены такие, что выручка не покрывает даже расходов на доставку этой основной продукции к железной дороге, так колхоз наловчился жить с другого, подсобного: с чеснока, клубники, барышничества. Долгушин, святая простота, жаждет председательской крови, секретарь же обкома, мордovorот Масленников и ухом не ведет, все, что он считает нужным сделать, да и то уступая принципиальному Долгушину, — небрежно осудить «купца» и тут же о нем забыть. Сейчас бы ему, этому купцу, пощады не дожидаться...

А многое ведь не изменилось к лучшему и в главном вопросе — хлебном. В 1986 году во многих местах все было так, как и в 1952-м, и в 1962-м, и в 1972-м, и в 1982-м. Заготовки проводились по-борзовски, в той «напряженной обстановке», создавать которую был такой мастер Масленников, проводились, как выражался Мартынов, «без политики», то есть без мысли о завтрашнем дне, о поощрении лучших колхозов, — хлебная выдача практически была одинаковой везде и всюду, жалкие триста граммов на заработанный рубль получали и те, кто вырастил полсотни центнеров на гектаре, и те, кто — двадцать. Как и вчера, и позавчера, и позавчера... А ведь это — то есть «хлебный вопрос», заготовки — был первейший вопрос в борьбе Борзова и Мартынова, с него началась книга, наделавшая шуму на тридцать с лишним лет, но так и не помогшая решить этот вопрос в пользу Мартынова.

Партийный работник из Горьковской области пишет мне: «Сей зимой одинаково скудно обеспечены фуражом и южные районы, где все «сгорело», и северные, где получили небывалый урожай». Это равенство в бедности было наведено древним борзовским способом дополнительных заданий — заданий, запрещенных

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным комплексом» и потому как бы негласных, да они и давались только устно. Этим же способом перевыполнялись планы в Удмуртии. «Как мы должны смотреть людям в глаза? — пишет человек из республиканского управленческого аппарата. — Ведь они же — секретари райкомов, председатели колхозов — думают, что это мы — болтуны, мы — карьеристы. Они не знают, что нам команда из Москвы, да притом телефонная».

«Старые язвы кровоточат по-прежнему, — пишет агроном из Лебединского района Сумской области. — Продажа хлеба: сначала план, потом задание, потом — план-задание, потом — план первый дополнительный, потом — второй... Колхоз — отдай все, а колхозу — что сможем».

Ответственный работник Агропрома, это уже из Москвы:

«Без четверти восемь утра был на работе, в десять вечера пришел с работы. Лежу пластом, гляжу в потолок. Что я делал четырнадцать часов? Слушал крик сверху и передавал вниз: «давай, давай!» Люди на местах возмущены до предела, им ведь обещали совсем другое. Лежу пластом, гляжу в потолок и думаю: что же это делается? Одной рукой пишем хорошие постановления, обещаем селу простор, кислород, стимулы, а другой рукой тут же рвем их в клочья... Соотносимо ли такое с серьезной работой по перестройке?.. Таким ли должен быть подход к решению насущных проблем современности?»

А уже раздаются голоса: лучше слушайте, больше замечайте, смелее воспевайте перестройку. И есть отклики. Талантливых пока нет, да их на этом витке, наверное, и быть не может, но старательные, искренние — пошли. Может быть, это тоже б е р е ж - н о с т ь — называть зеленым майским шумом первые мартовские просветы, надеясь тем самым ускорить вращение Земли? Есть, что ли, некий закон: пока хозяйничают борзовы, будут находиться и Овечкины — будут создавать Мартыновых, чтобы хоть так, на бумаге, торжествовать над борзовыми? Не знаю... Твердо знаю, ясно вижу только одно: на писательские уступки действительность никогда не откликается.

Чистые детские голоса поют согласным хором: «Раз ступенька, два ступенька, будет лесенка, раз словечко, два словечко, будет песенка». Фраза эта, напечатанная на бумаге (а она часто перепечатывается), называется стихами. Если отвлечься от неряшливого слога фразы, то смысл в ней имеется. Впрочем, об этом позже.

А теперь напомним тексты из популярнейших музыкальных произведений, известных на память буквально всякому. Например: «Сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер мая...» Или «У любви, как у пташки, крылья, ее нельзя никак поймать, тщетны были бы все усилья, но вновь ее вам не связать». Или: «На земле весь род людской чтит кумир священный, он царит над всей вселенной» и т. д.

Как все знают, это начальные фразы знаменитых арий из «Риголетто», «Кармен» и «Фауста», написанные величайшими композиторами Верди, Бизе, Гуно. В основу каждой из опер положены классические произведения Гюго, Мериме и Гёте. Но вот что характерно: цитированные отрывки не имеют никакого отношения к названным классикам, они написаны совсем другими людьми — так называемыми либреттистами, то есть профессиональными составителями текстов на музыку. Некоторые из сочинителей названных либретто были совсем скромными литераторами, иные — популярными в свое время писателями, как, например, один из либреттистов «Кармен» А. Мельяк — автор известных водевилей и сюжетов к опереттам Оффенбаха.

Итак, Мериме и Гёте никакого отношения к хабанере Кармен и куплетам Мефистофеля не имели, они даже скончались раньше, чем состоялись премьеры опер, написанных по их произведениям. Более того: хабанера, известная нам всем в русском переводе, тоже не есть сочинение мастеровитого Мельяка, а ремесленная калька российского переводчика прошлого века. Открывается примечательная линия: от классика Мериме — через великого Бизе — до безвестного автора «текста» хабанеры, ставшей столь популярной на русском языке вот уже сто лет (преьера «Кармен» состоялась в Петербурге в 1879 году).

Хабанера Кармен имеет все внешние признаки стихотворения: ритмический строй, подобие рифмы («поймать — связать»). Однако не подлежит сомнению, что слова хабанеры, ария Герцога и куплеты Мефистофеля имеют такое же отношение к истинной

поэзии, как и не менее знаменитые слова песенки из оперетты «Сильва»: «Без женщин жить нельзя на свете, нет, вы наши звезды, как сказал поэт...» Какой «поэт» это сказал — странно было бы спрашивать. Итак, есть «тексты» безвестных и не слишком одаренных авторов, имеющие громадную известность, а есть поэзия, причем истинная, а не отмеченная понятием «элитарности», которая тем не менее массовой популярности не имеет (один лишь пример — Тютчев).

Речь шла о временах дальних, а вот теперь о нынешних. Приведем несколько фраз из популярнейших музыкальных произведений, правда теперь уже не классических опер, а в жанре эстрады: «Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе...» Или: «Свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала» и т. д. «Поделись улыбкою своей, и она к тебе опять еще вернется». И наконец: «Все могут короли, все могут короли, и судьбами земли вершат они порой, но что ни говори, жениться по любви не может ни один, ни один король». Тоже ведь популярнейшие тексты, известные миллионам, а это явление нешуточное.

Тут следует присмотреться к смыслу и стилю цитированных текстов. Вот первая цитата из популярной песни: молодой солдат, возвратясь с войны, сообщает матери, что его товарищи погибли, а потом вдруг без всякого перехода хочет «пробежаться по росе», по траве то есть; в подлинной жизни подобная сцена выглядела бы по меньшей мере странно... Другое: как может «свадьба», некое совокупное действие многих людей, «петь», «плясать» или, скажем, «выпивать и закусывать»? Поют или танцуют люди, но этого никак нельзя сказать о собирательном понятии «свадьба» (как о поминках, юбилеях; любопытно было бы услышать: «юбилей плясал»).

Особенно жалко детей, но именно на них, к сожалению, специализировался Пляцковский. В традициях всех народов полагалось внушать детям идеалы доброты, бескорыстия, дружелюбия. А тут вот советуют «поделиться» добром потому лишь, что выгодное это дело... В данном случае не так уж даже важна сомнительная грамотность слов — «поделись улыбкою», как можно «поделить» улыбку?! Сказка «Алиса в стране чудес» полна самых необычайных фантазий, но такого там не отыскать: автор сказки недурно владел английским литературным языком.

Тексты песен Аллы Борисовны Пугачевой приобрели у нас необычайную популярность, телевидение буквально вдалбливает их в головы миллионов. Кто же сочинитель? Чьи слова звучат в распространяемых фонограммах? Алла Борисовна пробовала, например, петь на слова Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама. Конечно, Цветаева и Мандельштам — не классики, эстетика их может нравиться или нет (нам лично она не близка), но не подлежит сомнению, что то были крупные поэты, истинные мастера. Неудача данного предприятия Аллы Борисовны закономерна, и о нем следует задуматься. Более того, из малой той

частности можно сделать серьезный вывод: чем выше уровень поэзии, тем менее она подходит для песенного шлягера.

Закономерность тут представляется нам очень жесткой. Трудно вообразить, чтобы миллионы людей «пели и плясали» под «Чудное мгновенье» или «Выхожу один я на дорогу...», да еще впадали при этом в состояние, близкое к опьянению. Действительно, на оба названных «текста» созданы сильные музыкальные произведения, которые исполняли выдающиеся певцы, но... Видимо, сама природа высокой поэзии делает ее плохо приспособленной для «текстов». Кто же сочиняет для свехраспространенной Аллы Борисовны? Ответ виден на любом из ее «дисков» — некий Илья Резник, немолодой уже по внешности человек, в последнем списке СП не значащийся. Именно его «стихи», слепленные из словесного шлака, засоряют души миллионов.

Определив полярность истинной поэзии и «текстов», признав их несомненную несовместимость и непримиримость, а не признать этого нельзя, можно подобрать ключ ко многим явлениям в современной поэтической жизни.

Типичным «автором текстов» был популярнейший Высоцкий, чья слава в недавнем прошлом была безграничной. Издали наконец, после его кончины (о чем мы искренне сожалеем и негодуем!), сборник его произведений с нарочитым названием «Нерв». Нет сомнений, хотя доказать и невозможно, что число поклонников барда после этой публикации убавилось (из числа тех, разумеется, кто вообще читает книги). Мы убеждены, что издание в достаточном количестве пугачевско-резниковских текстов было бы очень полезно для оздоровления окружающей нас эстетической обстановки. Когда слышишь песенку вроде: «Вот стою я утром ранним над зеленою волной, у меня есть три желанья, нету рыбки золотой», то на тебя воздействует многое: мелькание света, оглушающий шум «музыки», раздражающая развязность исполнителей и, наконец, несовместимость сценического поведения певицы с ее возрастом. Все это вместе взятое — не пустяки! Но вот в спокойной обстановке кто-то сядет за стол и прочтет: «У меня есть три желанья» и т. д. У всякого культурного человека тут может возникнуть только одно «желание» — поскорее захлопнуть книжку.

Пока же, не встречая отпора или хотя бы подобающей оценки, «текстовики» шумно наступают с эстрады. В самое последнее время уже не только посредством фонограмм, а даже, так сказать, теоретически. 27 ноября 1986 года «Московский комсомолец» познакомил нас с одним из сочинителей, которого назвали «поэтом-песенником» (интересное все же уточнение: не «поэт» и не исполнитель песен, а именно «поэт-песенник»). Вот он: Валерий Сауткин, «ему (цитируем) 43 года, им написано более ста текстов для песен, многие из которых стали популярными». (Сто песен — очень много, у знаменитого Лебедева-Кумача вряд ли набежало такое число.) И вот плодовитый практик Сауткин заговорил на темы теоретические:

«Как и у многих поэтов, работающих в жанре эстрадной песни, у меня вызывает недоумение и даже раздражение, когда кто-то из критиков начинает раскладывать по полочкам песенный текст, находя в нем лишь недостатки... Ведь любая песня складывается из музыки и текста, и только в совокупности можно рассматривать ту или иную композицию с критической точки зрения. Не слыша музыки, невозможно разбирать текст... Итак, текст или поэзия? Наверное, все же текст. Если поэзия — искусство, то и текст песни — это тоже своего рода искусство, но стоящее чуть в стороне... Таким образом, мне кажется, что тексты песен — это отдельный, обособленный жанр».

Стиль тут не очень изящен, зато смысл выражен прямо: «тексты» существуют как особый жанр, «тоже своего рода (!) искусство», и нечего критикам лезть туда с мерками поэзии, это текстиков только «раздражает»...

Но что там молодежная газета, в бой вступила наитяжелейшая артиллерия — журнал «Вопросы философии». В № 7 за 1986 год выступил доктор философских наук В. И. Толстых: «В зеркале творчества (Владимир Высоцкий как явление культуры)». Ученый философ начал осторожно, сделав стандартную оговорку: Высоцкий — «явление сложное, весьма противоречивое».. Так можно сказать о чем угодно, но не будем придираться, тем более что суть заявлена далее уже без всяких оговорок:

«На чем держится общественный интерес к поэту? Как ни покажется странным такое утверждение, дело здесь не в таланте (!) и его своеобразии (!!), а в богатстве социальной значимости связей творца искусства с окружающим миром» (с. 114). В переводе с наукообразного жаргона получается: суть не в том, был ли у Высоцкого поэтический талант, неважно даже, если он не отличался художественным своеобразием (убийственная оценка!), главное — связь его с «окружающим миром», то есть прежде всего с теми, кто любил его сочинения (а кто не принимает — какая ж с ними «связь?»).

Осторожный философ предпочитал не цитировать текстов Высоцкого, но все же не удержался. Вот:

Как у вас там с мерзавцами? Бьют? Поделом.
Ведьмы вас не пугают шабашем?
Но не правда ли, зло называется злом
Даже там, в светлом будущем вашем.

И эти слабенькие строки подаются как предмет «философско-го» рассмотрения! Правда, философ не заметил тут неправильного ударения: в русском языке есть слова «шабáш» и «шáбаш», совершенно разные по смыслу, о чем можно узнать из любого толкового словаря. Да, полезно, когда «тексты» воспроизводятся на бумаге, оценка их становится куда более очевидной!

Из ныне числящихся членов СП Рождественский и Пляцковский — вне конкуренции по эстрадной распространенности, от ресторанов до пионерских сборов. В последние годы успешно

нагонять их стал Вознесенский. Поклонников поэта это обстоятельство должно бы насторожить: неужели им нравится, когда исполнитель песни на его слова вихляется всеми частями тела? Такое «прочтение текстов» — для поэзии ли вообще?

Примечателен в этой связи случай в поэтической судьбе Юрия Кузнецова. Скажем сразу, что мы весьма ценим этого поэта и убеждены, что последнего слова он еще не сказал, что ему доведется поведать очень и очень многое. Но вот одна мелочь... Однажды (скажем для точности — 21 ноября 1986-го) по первой программе телевидения прошел представительный эстрадный концерт. И вот некий Стас Намин, страдая у микрофона, распевал текст: «По свету катится орех, земля трясется». Фразу эту, понравившуюся, видимо, исполнителю, повторил он по меньшей мере дюжину раз, с большим напряжением в каждом отдельном случае. Как нетрудно установить, тут в несколько измененном виде исполнялся стих Кузнецова «Пустой орех» (сб. «Русский узел», с. 130).

Когда-то у нас любили цитировать старого германского социал-демократа Августа Бебеля: что же я сделал плохого для пролетариата, раз меня буржуазия хвалит?.. Чем же заслужил поэт быть исполненным в развязно-популярном «ансамбле» Стаса Намина? Для ответа достаточно прочесть стихотворение «Пустой орех». Там есть некое заигрывание с нечистой силой (при внутреннем отрицании ее, разумеется), самолюбование в мелкой бесовщине: «Судьба не терпит суеты, но я беспечный, так много в сердце пустоты, земной и вечной». Вот-де я какой, «натруженный и праздный», полюбуйтесь на меня во всяком, так сказать, виде.

Полюбовались, в исполнении Стаса Намина. Впечатление осталось именно таким, какое и должно возникнуть у всякого культурного российского человека — отрицательным. Юрий Кузнецов должен задуматься об этом крепче нас всех.

Что ж, у текстовиков есть шумное настоящее, есть и прошлое. Об одном очень интересном, но забытом случае из этого прошлого мы в заключение и расскажем. Сохранилось одно армейское предание времен первой мировой войны. Ждали приезда высоких иностранных гостей, и русский военный хор получил приказ срочно выучить «Марсельезу» на французском языке. Песенникам, молодым крестьянским ребятам, очень было трудно воспроизвести «Алонс анфан де ля патри, ле жур де гуар ет арие». Тогда лихой поручик сочинил следующие строки: «Алёна, салом нос потри, лежу на старом армяке». Предание гласит, что союзники остались очень довольны исполнением... Мы убеждены, что безвестный поручик был великим текстовиком!

И наконец, вспомним опять Пляцковского: «Раз словечко, два словечко, будет песенка»... А ведь прав, прав Михаил Спартакoвич! Для составления «текста» так и следует клеить «словечки» — два, три... сколько угодно! И чем непритязательней будет тут эстетический уровень, тем популярнее обещает стать шлягер.

Содержание

ОТЕЧЕСТВО

<i>Дмитрий Лихачев. «Мне нужен Пушкин, нужен, как Россия»</i>	4
<i>Владимир Гусев. Свет памяти</i>	23
<i>Николай Скатов. Прекрасен наш союз</i>	27
Праздник славянской письменности: каким ему быть? «Круглый стол» в Вологде	36
<i>Александр Ужанков. Письмена</i>	52
<i>Владимир Турбин. Война и мир. К. Н. Батюшкова. К 200-летию со дня рождения поэта</i>	63
<i>Вячеслав Клыкков. Рождение памятника</i>	67
<i>Василий Белов. Земля — наш дом, будем ее беречь</i>	70
<i>Владимир Крупин. Святыня</i>	75
<i>Валентин Пикуль. Проезжая мимо Любани</i>	83
<i>Виктор Кожемяко. Шацк рязанский и Шацк волынский</i>	94
<i>Эрнст Сафонов. Севастополь</i>	104
<i>Андрей Тарасов. Приключения модуля «Квант»</i>	122

ПЕРЕСТРОЙКА: Экология, экономика, нравственность.

<i>Иван Подсвилов, Владимир Стеценко. Вокруг поворота. Обзор дискуссии о переброске рек и защите природы</i>	138
<i>Леонид Леонов. «Лоция, по которой идти»</i>	188
<i>Ион Друцэ. Земля, вода и знаки препинания</i>	197
<i>Виктор Астафьев. Пакость</i>	207
<i>Даниил Гранин. О милосердии</i>	216
<i>Глеб Горышин. Хлеба подгорели</i>	225
<i>Иван Григорьев. Характеры и земля</i>	246
<i>Борис Олейник. Испытание Чернобылем</i>	267
<i>Владимир Дудинцев. Генетика совести</i>	276
<i>Вячеслав Пальман. Размышления у хлебной нивы</i>	284
<i>Владимир Яворовский. Бес лести</i>	298
<i>Тулепберген Каипбергенов. Это жгучее чувство стыда</i>	309
<i>Александр Обергынский. О достоинстве труда</i>	315

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

<i>Юрий Бондарев. С любовью и болью. Критика — категория истины?</i>	332
--	-----

<i>Евгений Носов. С сединою на висках</i>	350
<i>Юрий Галкин. Слова и годы</i>	361
<i>Владимир Почечикин. Записки провинциала</i>	403
<i>Чингиз Айтматов. Уроки Индии. Цена — жизнь</i>	442
<i>Тысячелетие. Беседа с патриархом Московским и всея Руси Пименом</i>	456

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

<i>Виктор Лихоносов. Воспоминания о Юрии Казакове. Корни историка</i>	468
<i>Владимир Личугин. «Мое упование в красоте Руси». О Бори- се Шергине</i>	494
<i>Вячеслав Шугаев. Вихровский ключ</i>	499

Полемические заметки

<i>Анатолий Стреляный. Уступки Овечкина</i>	507
<i>Сергей Семанов. Стихи и «тексты»</i>	522

Составитель
Иван Григорьевич Подсвиров

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

сборник № 4

Редактор *В. П. Стеценко*
Художественный редактор *Е. Ф. Капустин*
Технический редактор *Н. Н. Талько*
Корректор *С. Б. Блауштейн*

ИБ № 6261

Сдано в набор 20.04.88. Подписано к печати 06.10.88. А 05414. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Таймс. Офсетная печать. Усл. печ. л. 33.
Уч.-изд. л. 36,47. Тираж 50 000 экз. Заказ № 294. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Во-
ровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600,
г. Тула, проспект Ленина, 109

